327
М-671

СОВРЕМЕННАЯ МИРОВАЯ ПОЛИТИКА

Под редакцией А.Д. Богатурова

СОВРЕМЕННАЯ МИРОВАЯ ПОЛИТИКА

Прикладной анализ

Под редакцией
доктора политических наук, профессора
А. Д. Богатурова

Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по образованию в области международных отношений в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки «Международные отношения» и «Зарубежное регионоведение»

2-е издание, исправленное и дополненное

АСПЕКТ ПРЕСС
Москва
2010

УДК 327
ББК 66.4
С56

327
М-671

Рецензенты:
академик РАН *А. А. Кокошин*
доктор политических наук *Б. Ф. Мартынов*

Редактор кандидат политических наук *А. А. Байков*

Авторский коллектив
к. полит. н. А. А. Байков (гл. 30), д. и. н. Д. Г. Балуев (гл. 11),
д. полит. н. Э. Я. Баталов (гл. 4), д. полит. н. А. Д. Богатуров (гл. 1, 2, 7, 12, 18, 19),
к. и. н. Ю. В. Боровский (гл. 16), д. э. н. А. С. Булатов (гл. 14),
д. полит. н. А. В. Виноградов (гл. 17), д. полит. н. А. Д. Воскресенский (гл. 21),
д. полит. н. С. В. Голунов (гл. 29), к. полит. н. И. В. Данилин (гл. 27),
д. и. н. А. В. Крутских (гл. 25), к. и. н. В. М. Кулагин (гл. 9),
М. В. Мамонов (гл. 22), д. и. н. В. В. Наумкин (гл. 23),
д. и. н. В. Д. Писарев (гл. 24), д. полит. н. М. В. Стрежнева (гл. 28),
к. и. н. А. В. Фененко (гл. 3, 15, 26), д. э. н. Е. С. Хесин (гл. 13),
д. полит. н. М. А. Хрусталев (гл. 5, 6), к. филос. н. А. П. Цыганков
и д. филос. н. П. А. Цыганков (гл. 8), д. полит. н. Т. А. Шаклеина (гл. 10, 20)

С56 Современная мировая политика: Прикладной анализ / Отв. ред. А. Д. Богатуров. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Аспект Пресс, 2010. —592 с.

ISBN 978–5–7567–0580–5

Даже бегло просмотрев оглавление, читатель легко убедится в том, насколько существенно эта книга расширяет круг привычной проблематики мировой политики. Это — аналитический свод публикаций по наиболее актуальным проблемам международной действительности 2000-х годов. В его основе — разработки ведущих отечественных международников. Рассматриваются ключевые международные тенденции XXI века, новые черты мировой системы, специфика формирования современного миропорядка, роль крупных и малых стран в международной политике, место энергетического, военно-политического, информационно-технологического и экологического факторов.

Издание адресовано преподавателям, научным сотрудникам, магистрантам, аспирантам, студентам университетов, а также всем, кто интересуется современной международной жизнью и ключевыми вопросами развития современного мира.

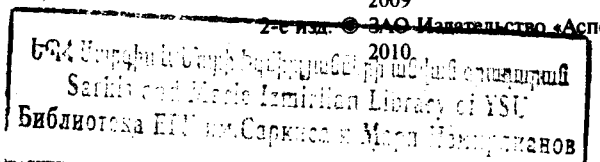


1079001

УДК 327
ББК 66.4

ISBN 978–5–7567–0580–5

1-е изд. © Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2009
2-е изд. © ЗАО Издательство «Аспект Пресс», 2010



Содержание

Предисловие 7

Раздел I
ПОНЯТИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА

Глава 1. **Понятие мировой политики** 15
Становление субдисциплины «мировая политика» (16). Проблематика мировой политики в зарубежных работах (18). Особенности российских трактовок (24). Определение мировой политики (28)

Глава 2. **Анклавная природа мировой политики и перспективы формирования мирового общества** 40
Мировое общество и международное сообщество (40). Глобализация и государственный суверенитет (43). Конгломератные общества и мировой конгломерат (48). Анклавная природа мировой политики в условиях глобализации (51). Траектории движения к единству мира и перспективы его вестернизации (54). Нелиберальные демократии в мировой политике (56). Противоречия современного миропорядка (60)

Глава 3. **Противоречия распространения демократии** 64
Демократия и глобальное управление (64). «Всемирная демократическая волна» 1990-х годов (68). Международная практика «принудительной демократизации» (73)

Глава 4. **Антропология мировой политики и международных отношений** 81
Проблематика человеческой жизни, интереса и нравственности в мирополитическом дискурсе (81). Проблемное поле антропологии международных отношений (84). «Человеческий фактор» в мировой политике (91).

Глава 5. **Методология системного исследования мировой политики** 100
Основные действующие лица международной политики и отношения между ними (100). Проблема регулируемости мировой политики (106). Взаимное положение основных государственных игроков (110). Война и конфликт между государствами (113). Формы сотрудничества субъектов мировой политики (118)

Глава 6. **Структура внешнеполитического курса государства** 122
Внешнеполитическая программа и формулирование государственного интереса (122). Понятие внешнеполитического ресурса (129). Внешнеполитическая идеология и формулирование доктрины (139). Фактор соотношения возможностей (146)

Глава 7. **Лидерство и критерии лидерства в мировой системе** 153
Американское лидерство и отношения России с США (153). «Парадокс мощи» и фактор силы в политике ведущих держав (155). Критерии лидерства (159). «Управляющий параметр» лидерства (162)

Глава 8. **Теория «демократического мира» и международная реальность** 167
Социологический аспект допущения о «демократическом мире» (167). Либеральная школа критики (172). Трактовки в традициях реализма и конструктивизма (174)

Глава 9. **Глобальная и мировая безопасность** 182
Пространство безопасности как предмет анализа (182). Субъекты действия в сфере безопасности (184). Предметное поле современных исследований безопасности (187). Концепция «секьюритизации» (191). Понятие глобальной безопасности (193). Источники глобальных опасностей (196)

Глава 10. **Американские концепции статус-кво и современного миропорядка** 202
Статус-кво и «упорядоченная анархия» в международных отношениях (203). Ревизионизм и консерватизм в отношении к миропорядку (205). Трудности и противоречия формирования новой структуры международных отношений (208).

Глава 11. **Политика в войне постиндустриальной эпохи** 215
Изменение представлений о войне после распада биполярности (215). Новый инструментарий достижения военных и политических целей (221).Понятие асимметрии в войне и конфликте (226)

Раздел II

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ВСЕМИРНЫЙ КРИЗИС

Глава 12. **Кризисный цикл в мировой политике и геополитические интересы России** 239
Мировые геополитические сдвиги в 2000-х годах (239). Становление новых геоэкономических приоритетов России (241). Признаки деградации системы партнерства России с Западом (244). Геополитический аспект российско-американских противоречий (248). Пределы и параметры сотрудничества США с Россией (251)

Глава 13. **Анатомия глобального спада** 259
Предпосылки и причины кризиса 2000-х годов (259). Особенности протекания кризисных явлений (268). Страновая и региональная специфика кризиса (270). Структурно-мирохозяйственный аспект (273).

Глава 14. **Американские финансы и глобальный кризис** 279
Пирамида перераспределения финансового риска (279). Попытки противостояния кризису в США (282). Влияние кризиса на экономику России (286)

Глава 15. **Стратегия нераспространения и международный бизнес** 293
Становление концепции контрраспространения в США (294). Идея «саморазоружения» и ее эффективность (298). Планы учреждения

внешнего управления над ядерными потенциалами (302). Сила как инструмент нераспространения (305). Роль транснационального бизнеса в вопросах распространения (309)

Глава 16. **Политизация мировой энергетики** 317

Факторы цен и физической нехватки энергоносителей (317). Политика стабилизации поставок нефти и газа (319). Влияние транснациональных энергетических корпораций (321). Тенденции изменения мирового энергобаланса (324)

Раздел III

НЕЗАПАД И ЗАПАД

Глава 17. **Государственно-политические «коды» Востока и Запада** 333

Основные черты мировосприятия в западном и незападном типах сознания (333). Государство и общество на Западе и Востоке (341). Восточный и западный типы социальной организации (345)

Глава 18. **Истоки американского поведения** 356

Идеи свободы и миссии во внешнеполитическом мышлении США (356). Американоцентризм (361). Представления об оптимуме отношений с Россией (363). Особенности американской школы изучения российской политики (367)

Глава 19. **Глобальные аспекты культурно-политического влияния США** 370

Понятие «американская цивилизация» и ее «поведенческие» особенности (371). «Ино-цивилизационные» анклавы внутри американского общества (375). Демократический прозелитизм в системе американских ценностей (378)

Глава 20. **США между гегемонизмом и лидерством** 385

Представления о лидерстве и гегемонии в США (385). Лидерство и порядок (390). Дискуссии о лидерстве в США (392)

Глава 21. **Незапад в сравнительном дискурсе** 400

Методология системно-сравнительного подхода (400). Типология различий западных и незападных политических систем (404). Специфика политического процесса в обществах Востока (407)

Глава 22. **Система внешнеполитических приоритетов современного Китая** 415

Китайское понимание «ответственной» внешней политики (417). Стратегия глобального добрососедства» (421)

Глава 23. **Ислам как «коллективный игрок»** 438

Вопрос о «субъектности» ислама в международной политике (439). Территориальность и детерриториальность ислама (445). Проблема демонизации образа ислама (448)

Раздел IV

РЕСУРСЫ, ИНТЕЛЛЕКТ, ТЕХНОЛОГИИ

Глава 24. **Дипломатия океанического соуправления** 459

Понятие и основы экосистемного подхода (460). Проблема соотношения экологических и политических границ между государствами (466). Понятие океанического соуправления (471)

Глава 25. **Политико-правовой режим глобальной информационной безопасности** 477

Информационно-коммуникационные технологии и международная деятельность России (477). Информационное оружие и международная безопасность (483). Международное сотрудничество в сфере информации (487)

Глава 26. **Конкуренция в космосе и международная безопасность** 491

Понятие космической безопасности (491). Международное сотрудничество в освоении космоса (495). Нарастание космического соперничества (499). Военный фактор в космосе (504)

Глава 27. **Инновационные циклы в политике России** 514

Роль государства в российской инновационной политике (515). Бизнес и инновации (521). Проблемы взаимодействия власти и бизнеса в сфере инноваций (524). Перспективы инновационной политики России (529)

Раздел V

ИНТЕГРАЦИЯ И ГРАНИЦЫ

Глава 28. **Интеграция и вовлечение как инструменты глобального управления** 537

Новый понятийный аппарат исследования интеграции (538). Негативная и позитивная «интеграции» (542). Интеграционная политика ЕС в глобальном контексте (548)

Глава 29. **Безопасность пограничных пространств** 554

Понятие пограничной безопасности и лимология как наука о границах (554). Основные подходы к обеспечению безопасности границ (557). Новая проблематика безопасности границ (560). Безопасность и ее восприятие на пограничных территориях (564)

Глава 30. **Региональные варианты международной интеграции** 569

Сдвиги в понимании интеграции и современный аналитический дискурс интеграционных исследований (571). Основные мотивы и исторические обусловленности интеграции в Европе и Азии (577). Культурно-политический фон европейской и восточноазиатской моделей интеграции (583)

Рекомендуемая литература 589

Сведения об авторах 591

Предисловие

Эта книга — результат работы большого коллектива людей, сосредоточенных на осмыслении политических проблем современного мира. Авторы отказались от попыток абстрактного теоретизирования. Современная библиографическая ситуация и научные дискуссии интересовали авторов лишь с точки зрения практической полезности для понимания мировых реалий. Монография нацелена прежде всего на учет интересов практиков: аналитиков-дипломатов, экспертов-международников систем государственной власти и управления, сотрудников спецслужб, преподавателей, ориентированных на подготовку магистров и бакалавров, — словом, всех тех, для кого теоретические выкладки служат инструментом повышения уровня анализа за счет включения в него элементов системного видения.

В исследовании международных отношений в России после 1991 года наметилось два направления. *Первое* в значительной степени связано с систематизацией и переосмыслением уже сложившихся философско-теоретических взглядов, изучением зарубежных и отечественных школ теоретической мысли. В этой струе лидирующие позиции занимают социологическая школа теории международных отношений МГУ имени М. В. Ломоносова (работы П. А. Цыганкова и его коллег, а также генетически связанные с ними книги М. М. Лебедевой, работающей в МГИМО МИД России). Рядом с ними — набирающее силу философско-политологическое направление исследований мировой политики в Санкт-Петербургском государственном университете (С. А. Ланцов, В. А. Ачкасов).

Второе направление ориентируется на решение практических задач, связанных с анализом международно-политической реальности. Оно отчасти опирается на исследования первой школы, но одновременно и отталкивается от них, уделяя основное внимание выявлению конкретных закономерностей мирового развития, анализу их прикладного значения для интересов мира, международной безопасности и национальных интересов Российской Федерации. В этом поле работают ученые школы прикладного системно-структурного анализа МГИМО,

исследователи Института мировой экономики и международных отношений (В. Г. Барановский, Н. А. Косолапов, Э. А. Поздняков), Института США и Канады (В. А. Кременюк), отчасти Института Европы РАН (С. А. Караганов) и другие ученые. На этом же «аналитическом поле» более 10 лет работают сетевые межрегиональные коллективы аналитиков-международников, организационно сгруппированные вокруг журнала «Международные процессы» и Научно-образовательного форума по международным отношениям. Похоже, что к этому типу аналитики тяготеет складывающаяся группа авторов-международников Государственного университета — Высшей школы экономики.

Предлагаемая вниманию читателя книга принадлежит ко второму течению, хотя в ее написании приняли участие и некоторые представители первого направления. В этом нет ничего странного. Во всех государствах мира школы международников взаимно пересекаются, тематически перекрывают друг друга и имеют между собой нередко столько же много общего, сколько и не совпадающего. В сущности, все международники стремятся или, во всяком случае, должны стремиться понять реальность. Просто все делают это по-разному, дополняя друг друга или друг другу оппонируя.

Главная задача книги — помочь читателю адекватно понять новые явления международной жизни, дать картину главных тенденций развития мира в их противоречивости, показать, каким образом новые тенденции влияют на внешнюю политику России, усложняя или упрощая достижение целей российской дипломатии.

Практику это позволит лучше осознать международно-политический контекст, в котором он работает, и, может быть, уточнить стратегию достижения успеха. Будущему специалисту после прочтения монографии международная реальность покажется менее непонятной и более податливой для активного воздействия, принять участие в оказании которого — смысл работы серьезного международника.

В работе представлены результаты труда исследователей московских и региональных центров. Она создавалась как пособие для изучения конкретики современной международной реальности с поправкой на интересы России и с обязательным учетом опыта развития нашей страны в последние десятилетия. Острая потребность реалистичного осмысления этого опыта, его соотнесения с имеющимися концепциями международного развития и оценка их способности или неспособности объяснить политические и иные реалии России — исходные аналитические посылки нашей книги.

Наиболее серьезными работами по мировой политике, выходившими в нашей стране, уместно назвать книгу М. М. Лебедевой «Мировая политика» (М., 2003, 2007) и издание санкт-петербургских авторов «Мировая политика и международные отношения» под редакцией С. А. Ланцова и В. А. Ачкасова (СПб., 2009). Из них первая написана как преимущественно *дискурсивная* работа. Ей присущ акцент на анализе философско-теоретических аспектов проблематики, борениях школ, сопоставлении авторских взглядов.

Авторы второй книги, верно уловив запрос на конкретику современной международной жизни, включили в текст наряду с теоретическими главами раздел о международной действительности. Оба эти труда, взятые вместе, в основном разрешили такие задачи, как определение проблемного поля, тематики дисциплины, которая в отечественной научной традиции пытается определить себя как мировая политика. Благодаря названным книгам студенты, приступающие к изучению этой сферы сегодня, могут получить представление о многих политических проблемах, которые определяют взаимодействия между странами и народами. Все вместе это позволяет сформировать у учащихся *подходы* к пониманию мировой реальности.

Предлагаемая книга — попытка дать политологический анализ *самой этой реальности* в ее динамике. Наша книга может показаться сложной для студентов младших курсов. Она адресована старшим учащимся, магистрантам, аспирантам, преподавателям и практикам международного общения, если последние испытывают потребность в более глубоком осмыслении мирополитического контекста своей профессиональной деятельности.

Разницу между нашей книгой и работами предшественников можно проиллюстрировать на примере проблематики глобализации. За последние 15 лет в России возник целый пласт публикаций по этой теме. Почти для всех относящихся к ней работ типичен акцент на идее движения мира к однородности и универсальности, основой которых будет, как постулируется, западный стандарт развития и международного общения.

В сфере отвлеченного теоретизирования это, может быть, и так. В сфере реальности сегодня это почти наверняка так — в том, что касается *мировой экономики*. Но в области *мирополитического* взаимодействия тезис о восхождении (или нисхождении) к универсальности больше вызывает вопросов, чем дает убедительные ответы.

Не похоже, что политические отношения США, России, стран ЕС, Китая, Индии и Бразилии определяются общими представлениями

о содержании и векторе развития мира. Нет оснований констатировать, что несколько веков вестернизации России, Китая, Японии и других крупных и малых государств обеспечили, говоря языком М. Вебера, их переход на западные матрицы экономического и политического поведения. Не видно, чтобы модели внутреннего развития названных стран пришли в соответствие с американскими или западноевропейскими «стандартами» политического управления, формирования и проведения внешней политики. Предмет острых споров — являются ли политические модели России, Южной Кореи и Японии аналогами или только внешними подобиями моделей политического устройства западных стран.

Глобализация, конечно, оказывает мощное влияние на мир, в том числе и на эти страны. Но ее влияние почти во всем, что выходит за рамки чистой экономики, заметно прежде всего в двух главных проявлениях. *Во-первых*, в мире возникает более широкий набор общепринятых «правил поведения в международном сообществе», поведенческих кодов на вход в сферу международных переговоров. *Во-вторых*, становится более многочисленным слой профессионально обученных посредников — дипломатов и бизнесменов, которые этими «поведенческими кодами» владеют. Но наличие «армии» специалистов по международной политике в Российской Федерации, в том числе высокопрофессиональных, не обеспечило перехода России на то, что в литературе принято считать западными «нормами» формирования внутренней и внешней политики. Аналогично — виртуозное владение японскими дипломатами техниками международных переговоров не преобразуется в переход Японии на американский, французский или иной «универсально цивилизованный» стандарт выработки и проведения политики или ведения транснационального бизнеса.

Более того, идея универсализации мирового политического бытия, всеобщих стандартов политического общения плохо сочетается с ростом разнородности стандартов политического, экономического и просто бытового поведения граждан Франции, Германии, Британии, Италии, Бельгии и многих других европейских стран, включая Россию. В силу утраты этими государствами своей прежней этнической однородности или в результате явного нарастания разнородности их населения под влиянием ускорения глобальных миграций мы наблюдаем тренд не к однородности, а к нарастанию разнородности моделей поведения. Конфликт между ними изливается в сферу внеш-

ней политики, например заметно изменяя отношение Франции и Германии к исламу. В этом смысле, например, *глобализация стимулирует не однородность, а разнородность мировой реальности, ее усложнение.*

В нашей книге выдвинута идея организации мира как конгломерата разных социально-политических укладов и моделей внешнеполитического поведения. Каждый из этих укладов образует устойчивый анклав («старого» и «нового», западного и незападного, «традиционного» и «современного»). При этом ни один из анклавов не в состоянии разрушить или растворить в себе рядом расположенный. Оба они одинаково устойчивы и способны обнаруживать тенденцию к росту.

Ожидать универсализации мира под влиянием глобализации разумно, скорее, в весьма отдаленной перспективе, а сосуществование анклавов разнородного — важнейшая характеристика мировой реальности, в которой предстоит работать нынешним студентам, магистрантам и аспирантам как минимум в ближайшие десятилетия. Наша книга должна практически подготовить их к этой работе. Одно дело дать читателю представление о «сильных» и «слабых» сторонах глобализации, другое — ввергнуть его в смуту романтических и обезоруживающих ожиданий скорого пришествия «светлого царствия глобальной гармонии и единения».

Хотелось бы предостеречь от крайностей. Предлагаемая книга — не попытка опровержения общепринятых теоретических тезисов. Ее задача — поставить их на почву международной реальности, показать, что некоторые из, казалось бы, уже прижившихся положений науки о международных отношениях *в жизни* «работают» вопреки тому, как они должны были бы работать *теоретически*. Цель монографии — ввести в оборот преподавания практические вопросы мировой политики, дополнить философско-теоретические аспекты изучения современных международных отношений (того, «как должно быть») анализом реальных тенденций и противоречий современности (того, «что и почему происходит на самом деле»).

В идеале в университетском учебном процессе, в том числе на разных его этапах, разумно использовать несколько разных пособий по мировой политике. Новые стандарты преподавания (ФГОС третьего поколения) позволяют преподавателям действовать достаточно свободно. Университеты вольны сами определять комбинации учебников для разных программ, факультетов и отделений, на которых готовят международников. Думается, в интересах студента дать ему возможность

ознакомиться с разными версиями понимания современности, тем более что они представляются взаимодополняющими как минимум в том, что касается конкретных книг, которые были названы выше. В МГИМО-Университете предлагаемая книга служит основой учебных курсов «Мегатренды мирового развития» и «Современная международная система» для учащихся первого года магистерских программ.

Алексей Богатуров
25 января 2010 г.

Раздел I

ПОНЯТИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА

1. Понятие мировой политики
2. Анклавная природа мировой политики и перспективы формирования мирового общества
3. Противоречия распространения демократии
4. Антропология мировой политики и международных отношений
5. Методология системного исследования мировой политики
6. Структура внешнеполитического курса государства
7. Лидерство и критерии лидерства в мировой системе
8. Теория «демократического мира» и международная реальность
9. Глобальная и мировая безопасность
10. Американские концепции статус-кво и современного миропорядка
11. Политика в войне постиндустриальной эпохи

Глава 1

Понятие мировой политики

Феномен мировой политики — один из главных для понимания современных отношений в планетарной системе. Но, несмотря на приток зарубежных идей и появление публикаций российских авторов по проблематике мировой политики, ее «самоопределение» как научной дисциплины не завершилось. Устоялся набор сюжетов, которые принято считать относящимися, скорее, к *мирополитическому*, чем к традиционному *международно-политическому* полю, материал сгруппирован по темам, а сами они собраны в целостность, которая уже позволяет выстраивать связные учебные курсы. «Задан» язык дискурса, который подвигает к «интуитивно-либеральному» пониманию мирополитической проблематики. В 2002 году появился первый отечественный учебник мировой политики[1].

Важно заметить, что становление мировой политики как самостоятельного исследовательского поля характерно для политических исследований преимущественно в России. В западных странах мирополитические штудии распылены по разным областям знания, «растеряны» между исследованиями традиционного международно-политического профиля и не претендуют на автономное академическое пространство. В научном сообществе США вообще отсутствует проблема размежевания мировой политики и международных отношений. Там исследования того и другого направлений сосуществуют нерасчлененно и организационно могут относиться как к международно-политическому, так и общеполитологическому блокам.

Равнодушие американских политологов к «самоопределению» мировой политики отчасти объяснимо их обычной иронией к философствованию (в европейском смысле) на темы международных отношений. Но более значимо то, что исследования мировой политики на Западе в содержательно-аналитическом отношении сегодня главным образом нейтральны, тогда как в России мировая политика остается политизированной либеральной сферой знания, в которой многие все еще склонны по-

дозревать «чужеродный злак», пересаженный на российскую почву. Отсюда — «встречный» защитный пафос самой мировой политики, ее стремление обособиться от исследований международных отношений.

Как бы то ни было, стихийное самоструктурирование мировой политики как автономной субдисциплины неожиданно оказалось отличительной чертой российской политологии, не характерной для научного процесса в странах Запада. Уже только этого было бы достаточно, чтобы отнестись к мирополитическому подходу серьезно. Но сверх того, он еще и способен обогатить исследовательский потенциал политологии в России, если разовьется из эмоционально-ценностной в обычную аналитическую концепцию и не станет отгораживаться от традиционных, но и более методологически фундированных отраслей знания — *в их числе историко-политических исследований.*

Становление субдисциплины «мировая политика»

В напряженной политической ситуации в России начала 1990-х годов в отечественном политологическом сообществе наметилась «ценностная» оппозиция между исследователями мирополитического и международно-политического направлений. В силу обстоятельств первые оказались представленными выходцами из социологической, психологической и в меньшей степени философской школы МГУ имени М. В. Ломоносова. Для них освоение проблематики международных отношений было во многом новаторством. Эту ветвь можно назвать мирополитической, хотя на Западе ее предпочли бы назвать «школой политической социологии», а то и просто «социологическим подходом».

Вторые происходили из разных ответвлений давно сложившегося к 1991 году сообщества международников — воспитанников историко-политической школы МГИМО МИД РФ, исторического факультета МГУ и (в какой-то степени) исторических факультетов региональных университетов — Томского, Нижегородского, Иркутского и некоторых других.

Первые, во многом начиная с нуля, не были отягощены традиционными взглядами на анализ международных ситуаций. Их сильной стороной и главным методологическим инструментом было внедрение социологических подходов в сферу анализа международных отношений. Логично, что внедрялись в основном зарубежные методики, поскольку отечественной школы социологического анализа в точном смысле слова до 1991 года в России не было.

Вторым новации в известном смысле давались труднее. Историко-политическая школа исследования международных отношений в МГИМО, ИМЭМО РАН, ИСК РАН и других академических институ-

тах (при всех ее слабостях) существовала около полувека, и ее выходцы дорожили аналитико-методологическим наследием, считая часть его пригодным для работы (при известной модернизации) и в новых интеллектуальных и международно-политических условиях[2].

Первые подозревали вторых в ретроградстве. Вторые первых — в дилетантизме знания о международных отношениях. Попытки П. А. Цыганкова осмыслить эту стихийно возникшую оппозицию в духе характерного для западных политологических сообществ деления исследователей на «либералов» и «реалистов» не были особенно плодотворными[3]. Оказалось, что часть выходцев из историко-политической школы примкнула к мирополитической (политико-социологической) платформе, а ряд ученых философско-социологического «корня» предпочли анализировать международные отношения с сознательной оглядкой на историко-политические исследования.

Точнее будет сказать, что в среде отечественных международников сформировались «горизонтальный» и «вертикальный» подходы к анализу. «Мирополитики» пытались «схватить» текущий («горизонтальный») срез реальности и осмыслить его в предельно тесной увязке с особенностями текущего внешнеполитического процесса, а «историко-политики» — понять современность «более размашисто», опрокидывая ее сиюминутный анализ «вниз по вертикали истории», на опыт прошлого.

При этом ни те, ни другие всерьез методологией не занимались, поскольку ситуация 1990-х годов в России к тому не располагала. Происходило массированное заимствование и первичное осмысление-освоение теоретических наработок западных коллег[4]. Шло десятилетие «парадигмы освоения» — невыносимо тяжелое материально и развращающе легкое профессионально. Наука перешла в режим массовой переподготовки и просветительства. Для успеха было достаточно читать зарубежные работы и связно пересказывать их читателю или слушателю.

Надо признать, что этот период принес много пользы. В среду международников были внедрены нужные ей современные теоретические и методологические подходы общей политологии, несопоставимо возросла осведомленность российских ученых о достижениях теории международных отношений на Западе. Стала организационно оформляться политико-социологическая школа международных отношений. Ее основой становились новый факультет политологии МГИМО (У) МИД России и Кафедра социологии международных отношений на философском факультете МГУ имени М. В. Ломоносова.

В такой ситуации не странно, что для разрешения вопросов теоретического самоопределения в исследованиях мировой политики времени не осталось. При наличии описаний «симптомов-признаков» мировой

политики не удалось найти ее рабочего определения как дисциплины. Осталось не вполне ясным, чем должна заниматься эта подотрасль знания, поскольку не были решены вопросы об объекте и предмете ее исследования. Не получилось и методологически корректного размежевания предметных полей «мировой политики» и «международных отношений» — сегодня оно проводится почти исключительно интуитивно.

Отметим, что все эти проблемы не разрешены и в западных научных сообществах, поскольку там они не имеют того значения, которое в силу разных условий приобрели в России. Тем важнее и интереснее является поиск ответов на канонические вопросы теоретического самоопределения мировой политики. Однако оно невозможно в отсутствие базового определения, выйти на которое, в свою очередь, нельзя без уяснения общего теоретического контекста поиска.

Проблематика мировой политики в зарубежных работах

Термин «мировая политика» в западной литературе, как и в русской, встречается давно и до сего дня беспорядочно употреблялся как синоним или почти синоним понятия «международные отношения». Правда, постепенно стали вызревать теоретические предпосылки для изменения такого словоупотребления. «Всемирная демократическая волна» начала 1990-х годов поднималась параллельно с разработкой в Вашингтоне доктрины «расширения демократии» (1993), которая предусматривала активное участие США в политических процессах внутри бывших социалистических стран. В отсутствие «железного занавеса» те лишь приветствовали стремление западных стран включиться в управление преобразованиями, не протестуя и не считая происходившее вмешательством в свои внутренние дела. Возник феномен «размягчения» суверенитета на востоке Европы.

В ее западной части развивался внешне похожий, хотя иной по своей природе процесс. Западноевропейские страны тоже тяготели к «преодолению» суверенитета каждой из них, но в рамках ускорившегося процесса интеграции. Параллелизм тенденций в западной и восточной частях Европы производил глубокое впечатление и звал к крупным обобщениям.

Тогда спектр сравнений решили расширить. Внимание было обращено на ситуацию в развивающихся государствах. Тезис о «бесполезности» суверенитета подтвердился и на материале стран «третьего мира»: многие бывшие колонии в силу экономической и политической слабости продолжали обладать суверенитетом лишь формально («фиктивно»), на деле не имея возможности его отстаивать не только перед более силь-

ными зарубежными государствами, но даже перед крупными многонациональными корпорациями.

Сведенный вместе материал, относящийся к развитию стран Западной Европы, бывшего социалистического лагеря и «третьего мира», дал основания для радикального теоретического вывода: «размягчение» суверенитета — общемировой тренд. Работы, развивающие этот тезис, заполонили книжный рынок, продолжая выходить в США, странах Западной Европы и даже Австралии вплоть до начавшейся в 2001 году второй афганской войны. Среди них были и книги серьезных международников — С. Краснера, Дж. Хобсона, С. Лоусон[5].

Конечно, концепция «размягчения» суверенитета имела под собой основания. Но она не была универсальной в той степени, на которую претендовала. Ее авторы закрывали глаза на очевидное: суверенитет США, Китая, Индии, Японии и других «старых» стран оставался прочным, а многие из новых государств (на Балканах, Кавказе и в Центральной Азии) предпочитали воевать за утверждение суверенитета, а не мириться с его «отмиранием».

Тем не менее в 1990-х годах гипотеза «размягчения» суверенитета в политологии возобладала, найдя до комичного пылких сторонников в России[6]. Свою роль сыграл и фактор конъюнктуры. Скептическое отношение к суверенитету формировалось на фоне правления в США демократической партии (1993–2000): интеллектуальный либерализм имел возможность опереться на либерализм политический.

Преобладание либеральной традиции вылилось в развитие двух направлений — исследований «глобального гражданского общества» *(world civil society)*[7] и проблематики мироуправления *(world governance)*[8]. Обрамляющей идеей этого аналитического комплекса стала глобализация, которая к концу правления У. Клинтона получила статус полуофициальной внешнеполитической доктрины США. Идея глобализации была достаточно привлекательной и аморфной[9], чтобы в комплексе возникших на ее основе концепций нашлось место для построений и либералов, и «мягких» реалистов[10].

Симпатии к концепции «размягчения» суверенитета выказывали представители обоих направлений[11]. Однако существовала «фигура умолчания» — западные ученые избегали высказываться о том, применим или неприменим тезис о «размягчении» суверенитета к Соединенным Штатам Америки. Эта недосказанность определила нежелание исследователей сколько-нибудь ясно высказываться по поводу самого понятия «мировая политика»[12].

Употребление этого термина фактически подразумевало слияние «миров» внешних и внутренних политик разных стран в некой нерасч-

леняемой сфере «единого мирового политического». Но высказываться в таком духе определенно ученые не стремились. Американцы — потому что улавливали: рассуждения в этом русле неизбежно приведут к выводу о наступлении эпохи мира-империи, «отцентрованного» под США. Откровенничать на эту тему либеральным интеллектуалам было в ту пору неловко.

Западноевропейцы не рвались развивать идею «единого мирового политического» по другим причинам. Они тоже понимали, к какому выводу она их приведет, и не желали казаться апологетами концепции «благожелательной гегемонии США», которая уже в 1990-х годах большинству образованных европейцев была неприятна.

В результате западные коллеги не стали делать выбор в пользу понятийной ясности, а понятие мировой политики стало функционировать в профессиональном дискурсе де-факто в роли эвфемизма для обозначения того, что в начале первого десятилетия 2000-х годов в США уже без ложной стыдливости стали называть «американской империей».

Не оказалось на Западе и организационных предпосылок для обособления мировой политики в форме субдисциплины. Более высокая подвижность системы исследований, регулярные смены тематики научных программ и частые перемещения ученых между университетами и исследовательскими центрами этому не способствовали. В итоге в США, Великобритании, Австралии исследования, которые можно определить как мирополитические, развивались преимущественно в рамках анализа проблем глобализации. Именно они и составили на Западе тот круг книг и статей, аналогичные которым в России относятся к числу работ по мировой политике.

Избегая завершенных теоретических построений, зарубежные авторы предпочитали «симптоматический анализ» реальности. Они вычленяли отдельные ее существенные стороны, проводили сравнения с эпохой биполярности, подчеркивали значение одних и отмечали угасание других тенденций. При этом демократизацией и социальными аспектами ситуации больше занимались ученые-либералы, а тематикой мироуправления — умеренные реалисты (Дж. Най, Р. Кохейн, Г. Аллисон, Дж. Доннахью).

Специально теорию на Западе никто не строил. Но из совокупности аналитических работ по глобализации «вычитывались» симптомы-признаки мировой политики: политический — демократизация тоталитарных обществ и их «транзит к демократии»[13], социальный — создание «глобального гражданского общества» через демократизацию международной политики и расширение включенности в нее негосударственных акторов, институционально-инструментальный — возрастание роли глобаль-

ного управления за счет усиления роли как универсальных международных организаций (ООН, МВФ, ВТО), так и закрытых международных организаций типа НАТО[14], *идейный* — распространение либеральных ценностей как этико-культурного фундамента будущего мирового гражданского общества.

При этом все школы исследований глобализации[15] строили анализ, исходя из признания победы США (для реалистов) или «демократии» (для либералов) в конфронтации с СССР, расширения возможностей Запада влиять на положение в бывших закрытых странах (за исключением Китая и некоторых других), необходимости использовать «исторический шанс», чтобы на неограниченный срок закрепить в мире преобладание США (для реалистов) и «сообщества развитых демократий» (для либералов). Язык исследований был разным, неодинаковыми были и тонкости оценок. Но западные школы в 1990-х годах — интуитивно, а в 2000-х годах более сознательно тяготели к пониманию международных отношений как производных от внутренней политики США, а внутренних дел любых стран мира — как «превращенной сферы» компетенции Вашингтона[16].

Исследователи глобализации перекодировали идею классического труда Х. Булла о мировом обществе как единении избранных — демократических стран — в окружении всех остальных (см. подробнее гл. 2). Ей было придано наступательное, прозелитическое звучание. Демократию предлагалось активно распространять, осваивая новые пространства, рисуя перспективу победы демократии во всемирном масштабе. Мировое общество теоретически расширялось до масштабов планеты, обещая поглотить то, что, по Буллу, было международным сообществом и состояло не только из демократических, но и всех остальных стран мира.

«Переворачивалось» и разработанное Х. Буллом понимание мирового и международного порядков. В его трактовке мировой порядок понимался более узко, чем международный: он означал порядок только между членами мирового общества. Международный порядок, по Х. Буллу, включал в себя отношения между всеми странами мира — как входящими в избранничество демократических государств, так и остававшихся вне его.

В исследованиях глобализации 1990-х годов мировой порядок трактовался уже как всеобщий — в том смысле, в каком Х. Булл понимал порядок международный. Предполагалось, что де-факто в него включены все страны мира — «хотят они того или нет». Процессы глобализации и доминирование государств «демократического ядра», рассуждали эксперты, вынуждают всех остальных субъектов международных от-

ношений определять свое местоположение относительно разрастающегося «мирового порядка». Значит, все международные акторы так или иначе в него объективно погружены.

Парадоксально, но на почве изначально умеренной и либеральной школы исследований глобализации на Западе стала вырастать гораздо менее либеральная и даже совсем нелиберальная школа сторонников концепции «демократической империи». К середине первого десятилетия XXI века она фактически заместила собой прежние исследования глобализации.

До конца 1990-х годов слово «империя» в США носило негативный оттенок: им, например, называли Советский Союз, подчеркивая его репрессивную сущность. Сегодня американская политология склонна употреблять этот термин нейтрально для обозначения определенного типа политической организации многоэтничного общества. В новой тематической структуре политической науки главное место заняла проблематика применения силы и транснациональных войн. В отличие от предшествовавшего десятилетия глобализация утратила прежде отводимую ей функцию «позитивного знака»: события 11 сентября 2001 года показали, что глобализация может быть опасна — даже для страны, более других сделавшей для ее распространения. На этом фоне в США сложилось направление анализа современных международных отношений под углом зрения общемировой «демократической империи», которую, как полагают американские политологи, всерьез замыслила построить республиканская администрация.

Исследования «демо-империалистического» направления распадаются на две группы: апологетическую и критическую. Первая, менее многочисленная, строит анализ в воинственном конформистском духе. Относящиеся к ней авторы отбросили романтические иллюзии, характерные для исследователей глобального демократического общества[17], но переняли у них идею саморасширения демократии до вселенских масштабов. В старых схемах они изменили всего два, но главных постулата. Во-первых, инструментом «расширения демократии», по мысли «апологетов», должны быть не «общество демократий», а Соединенные Штаты. Во-вторых, не международные институты, а США должны стать в центр глобального мироуправления[18]. Пространство мира стало отождествляться с пространством «естественного» американского лидерства, а идея глобального демократического общества трансформировалась в доктрину тотальной (тоталитарной — по выражению Т. А. Алексеевой, переосмысливающей словоупотребление Якоба Талмона[19]) демократии.

Вторая группа — «демо-империалисты-критики» — весьма многочисленна. Она признает тенденцию к формированию «всемирной демократической империи», но не принимает ее. В эту группы входят серьезные международники (С. Браун, Р. Фалк, С. Тэлбот и др.[20]). Они считают современную ситуацию благоприятной как для США, так и для дела демократизации мира. Ученые этой группы принимают логику «нахождения внутри единой сферы мирового политического», но считают, что американская администрация неправильно строит политику в современных условиях, слишком много ответственности принимая на себя и слишком мало учитывая интересы других стран, прежде всего союзных Соединенным Штатам[21]. Представители этого направления критически оценивают роль силы в современной международной политике, считая, что наращивание военной и военно-технологической мощи в отрыве от комплексного использования политических мер и сотрудничества с другими странами мира не обеспечивает США искомого места в международных отношениях и дезориентирует страну в вопросах обеспечения национальной безопасности[22].

Не вдаваясь в тонкости оценок, характерных для аналитических течений 2000-х годов, стоит заметить, что в методологическом отношении исследователи «демо-империализма» сделали немного для разработки проблематики мировой политики. В этом смысле определенный потенциал концептуальной фундаментальности продемонстрировали лишь авторы структурно-реалистической ветви «чистой» теории международных отношений. Их работы содержали методологическое зерно, использование которого как минимум помогало определить место мировой политики в хитросплетении ее отношений с сопряженными дисциплинарными полями.

С начала 1990-х годов американские и британские реалисты-структуралисты, «наследники-опровергатели» К. Уольтца, сгруппировавшиеся вокруг Б. Бузана, похоже, сознательно отстранялись от теоретических баталий вокруг анализа глобализации, уступая поле либералам и «мягким» реалистам школы мироуправления. Не вступили они в диалог и с обеими разновидностями течения исследований «демо-империализма».

Отстраненность от основного течения позволила реалистам-структуралистам сохранить здоровый скепсис по отношению к постулатам как школы глобализации, так и «демо-империалистического» направления. Реалисты-структуралисты и не думали усомниться в глобализации, как не стремились они и оспорить идею американского превосходства. Они лишь холодно отрицали «революционную», «сакрально-преобразующую» природу первой и подчеркивали преходящий характер второго[23].

Упоенные принадлежностью к «мейнстриму», исследователи глобального демократического общества стремились подчеркнуть взрывной характер возникновения мирополитического излома начала 1990-х годов, тем самым порывая с логикой и фактологической базой предшествующих этапов развития теории и подрывая обоснованность своих схем.

Реалисты-структуралисты проявляли аналитически бережное, внимательное отношение к предшествующим состояниям международной системы, которое позволяло воспринимать реальность через призму соотношения новаций и преемственности в фундаментальных мировых явлениях. Благодаря этому сложнейшие явления 1990-х и 2000-х годов можно было вписать в контекст долгосрочных тенденций развития.

Правда, подобно исследователям глобализации и «демо-империализма», реалисты-структуралисты не стали заниматься концептуализацией мировой политики. Но их аналитическая позиция объективно подталкивала к необходимости сомкнуть вертикальную (историко-политическую) и горизонтальную (политико-социологическую) призмы анализа в интересах нахождения синтетического понимания мирополитического феномена.

Особенности российских трактовок

Теоретический контекст развития интеллектуальной ситуации в России испытывал сильнейшее влияние процессов, развивающихся на Западе. Он был по-своему не менее сложным, но совершенно иным. Исследования глобализации проявили себя в России поздно (не ранее 1997–1998 годов), пережили взлет и стали терять популярность, как и в западных странах, в первые годы нового века. Случайно или закономерно — впервые за полтора десятилетия произошла синхронизация развития научной жизни в России и на Западе.

Однако в России разработки в русле глобализации не замещали мирополитические исследования. Во второй половине 1990-х годов в ряде российских университетов были созданы новые структуры, которым было вменено в обязанность заниматься мирополитической проблематикой. «Благодаря» этому мировая политика была буквально «вытолкнута» на положение протодисциплины. Если на Западе проблематика глобализации растворила мировую политику, то в России она стала частью ее предметного поля. Соответственно, в западных странах падение интереса к глобализации повлекло понижение статуса мирополитической тематики, а в России такой обусловленности не было. Скорее, спад популярности глобализационной тематики лишь обострил потребность в методологическом обосновании мирополитического подхода.

При этом отсутствие соответствующих готовых концептов западной науки лишало основания надеяться на их привычное заимствование. Возделывать исследовательское поле предстояло самостоятельно — на базе того, что было по крупицам внесено в российскую науку за предшествующие десять лет, и с учетом отечественных разработок.

За десять лет российский контекст поиска теории мировой политики стал определяться наличием трех групп авторов. Первыми по продуктивности среди них оказались «прагматики». В их круг вошли представители как политико-социологической, так и историко-политической школ, которых интересовала мирополитическая проблематика. Круг авторов никак не коррелировал с их принадлежностью к тем или иным исследовательским центрам, и сами авторы составляли неоднородную группу. Одни осмысливали реальность критически (Н. А. Косолапов, А. Г. Володин, Г. К. Широков, В. Б. Кувалдин, Б. Г. Капустин, А. С. Панарин), другие стремились подойти к ней формалистически нейтрально (М. А. Чешков, Н. А. Симония, В. Г. Хорос, А. Д. Богатуров), третьи склонялись к полезности примирения с ней (А. Ю. Мельвиль, М. М. Лебедева, В. Л. Иноземцев, В. В. Михеев, В. М. Кулагин).

По-разному осмысливая новую ситуацию, ученые были едины в интуитивном стремлении найти вариант концептуализации, который, с одной стороны, был бы адекватен действительности, а с другой — не порождал бы стимула «восстать против нее» или от нее отгородиться. Мысль использовать в этих целях идею мировой политики посредством ее доработки в ключе синтеза основных аналитических подходов родилась на стыке конкурентного сопоставления всех этих взглядов.

Де-факто «прагматикам» противостояло течение «фундаменталистов-охранителей». Они главным образом, но не исключительно, представлены в публикациях группы отечественной вульгарной геополитики А. Дугина. Подчеркивая свое национал-патриотическое «я», это течение на самом деле испытывает сильнейшее влияние западной («новой» американской и «старой» германской) политологии, но прежде всего — школы вульгарной геополитики З. Бжезинского[24]. Катастрофическая распространенность книг русской и американской вульгарной геополитики в виде печатных продуктов Дугина и Бжезинского формирует в России (особенно в регионах) интеллектуальную среду, в которой понимание мирополитического подхода, конечно, затруднено.

К «фундаменталистам-охранителям» примыкают труды профессиональных, но консервативных историков, полагающих возможным анализировать современные международные отношения путем «литературно-редакционного исправления» тех концепций, которыми отечественная наука пользовалась в 40–80-х годах прошлого века. Эти работы

представляют собой версии изложений на базе исправлений и сокращений текстов «Истории дипломатии», трех изданий учебника «История международных отношений и внешней политики СССР» и двухтомника «Внешняя политика Советского Союза». Конечно, выход подобных книг был во многом связан с нехваткой серьезных новых трудов по международным отношениям. Но приходится констатировать, что попытки осмыслить международные отношения последних десятилетий таким образом оказались неудачными и в методологическом, и в содержательном отношениях[25].

Третью группу авторов составили ученые собственно «историко-политического корня», которые не отвергали политологию, но чувствовали себя увереннее не на ее методологическом поле, а на платформе либерального «политического историзма». Эта школа обогатила 1990-е годы рядом ценных работ. Они выходили в Институте всеобщей истории и Институте российской истории РАН под руководством и при непосредственном участии А. О. Чубарьяна, М. М. Наринского, Л. Н. Нежинского, А. М. Филитова, Н. И. Егоровой, Арт. А. Улуняна[26]. Книги авторов этого ряда представляли собой важный шаг к нахождению оптимального сочетания классической истории с политической наукой, правда, с акцентом на методологии первой.

Наконец, важно отметить, что на стыке между «прагматиками» и исследователями историко-политического направления работает целая группа ученых, принадлежность которых трудно определить однозначно. Они тяготеют к мирополитическому подходу, но в то же время выпускают работы исторического профиля. В Москве эту группу составляет довольно многочисленный коллектив авторов вышедшей в свет «Системной истории международных отношений в четырех томах» (М. А. Хрусталев, Т. А. Шаклеина, А. Д. Воскресенский, В. И. Батюк, Б. Ф. Мартынов, С. И. Лунев, П. Е. Смирнов, Д. В. Поликанов и др.)[27].

Хотя контекст поиска теории мировой политики определялся наличием трех упомянутых платформ и промежуточной группы ученых, сам этот поиск вела немногочисленная группа авторов, при этом интеллектуально между собой почти не связанных. Для всех них вместе построение инструментальной концепции мировой политики не составило бы особого труда. Но они работали порознь, и панорамного видения не получалось. Его не дало и течение политической социологии, лучше других оформленное организационно и первым представившее вариант обобщенного видения предмета[28].

Структурно получившаяся схема оказалась вполне жизнеспособной. В содержательном отношении она несла черты чрезмерной увлеченности аргументацией и принципом отбора материала, характерными для

зарубежных работ школы глобального гражданского общества. Этот «недостаток», конечно, можно одновременно считать и «достоинством». Благодаря ему российский читатель приобщается к западным аналитическим нормам и получает лучшее представление о роли, которую играют в международных отношениях вопросы формирования личности, политической психологии, внешнеполитического процесса, организации институтов. Еще важнее — присущий мирополитическим работам акцент на свободе, правах личности, морали, культурных особенностях.

В то же время в политико-социологической версии понимания мировой политики было мало интереса к тому, что называется реальной мироцелостностью во всех ее действительных противоречиях, к системным аспектам международных отношений, хитросплетениям практического взаимодействия между государствами. Было заметно «формальное» отношение к понятиям «реалистического» ряда — национальный (государственный) интерес, власть, сила. Сквозила недооценка необходимости конкретно-событийных привязок суждений, их соотнесения с фактурой международной действительности[29].

Эмоционально настойчивое желание трактовать мировую политику как феномен, отличный от международных отношений в отсутствие убедительных различений их предметных полей, создавало впечатление посягательства на изменение «генетического кода» специальности «международные отношения». Между тем было очевидно, что чрезмерный уклон науки о международных отношениях в сторону «глубокой социологии» и общеполитического знания мог увести ее от реальности, а это было бы сопряжено с потерей специфических технологий прикладного анализа международных отношений, который остается наиболее востребованным внешнеполитической практикой.

Приводимая аргументация не вполне убеждала. Главным доводом политико-социологического подхода в пользу самостоятельности мировой политики по отношению к международным отношениям был тезис о «смене субъекта». Он опирался на правильное наблюдение, что если прежде субъектами международных отношений выступали исключительно государства, то теперь ими стали и негосударственные акторы, прежде всего транснациональные — ТНК, международные организации, движения, дисперсные сетевые субъекты[30] и даже индивиды.

Конечно, тезис об изменении природы субъектности был неопровержимым. Но его и не надо было опровергать, достаточно было усомниться в его новизне, ведь ТНК стали крупнейшими игроками международной политики еще в конце 60-х годов прошлого века, и по крайней мере с середины 80-х годов мысль эта для отечественных публикаций была почти банальной[31].

Другим ключевым аргументом школы политической социологии была ссылка на «сжатие мира» во времени и пространстве, которое объективно делает события и процессы в одной точке мира все более зависимыми от процессов и событий, происходящих в другой, а государственный суверенитет — все более символическим.

Но скептики принимали значение и этого довода, верно замечая, что первые варианты концепций взаимозависимости в международных отношениях относятся ко времени не позднее конца 50-х годов прошлого века и тоже новаторскими быть названы не могут.

Продуктивной дискуссии не получалось, да ее в академическом смысле просто и не было. Авторы продолжали писать и публиковать работы, предпочитая между собой не встречаться — воспроизводилась характерная для Запада ситуация мозаики. Однако при не окрепшей традиции политической теории в России такой вариант развития интеллектуальной ситуации означал бы лишь дальнейшее ослабление ее потенциала вследствие распыления интеллектуальной энергии.

Альтернативой могло бы стать нахождение синтетической платформы, которая позволила бы органично соединить в единой инструментальной концепции положения, разработанные в рамках разных школ, в том числе между собой и не во всем согласных. Такой подход теоретически мог показаться недостаточно принципиальным. Но для интересов прояснения ситуации и в интересах прикладного анализа только так и следовало поступать. Тем более что в ключе подобного «синтетического ревизионизма» работают многие западные коллеги. Пример тому — выстроенная на стыке историко-политического, институционального и глобализационного подходов аналитическая матрица Дж. Айкенбери[32], вполне продуктивная в анализе международных отношений.

Определение мировой политики

Не отказываясь от описаний «симптомов» мировой политики, прекрасно проработанных в западных работах и адекватно отраженных в версиях российской политико-социологической школы, стоит отказаться от попыток с них и начинать обоснование концепции. Во-первых, потому что распыленные симптоматические описания «в духе постмодерна» по определению остаются частными, фрагментарными, вспомогательными и потому нехороши в роли основополагающих тезисов.

Во-вторых, они особенно плохо воспринимаются в качестве таковых в профессиональном сообществе в России. Особенности русской гуманитарной культуры с ее причудливым замесом на немецкой классической философии, органичной тоталитарности сознания «по Бер-

дяеву» и восьмидесятилетней «ленинизации» делают ее восприимчивой скорее к крупным идеям, способным объяснить частности, чем к синтезированию общего из множества неорганизованных деталей.

Следуя логике таким образом понимаемого восприятия в отечественной профессиональной среде, вариант рассуждения о концепции мировой политики уместно представить в виде семи тезисов.

1. Тезис первый. *Эпистемология.* Наиболее убедительной и ясной является мысль о том, что мировая политика характеризует новое качественное состояние международной среды, в которой действуют субъекты международного взаимодействия — как традиционные (государства), так и новые (все остальные). Этот тезис можно принять за основополагающий. С одной стороны, ввиду его богатой философской и семантической «нагруженности», с другой — с учетом его понятности для основных составляющих интеллектуального спектра в России: от либеральных социологов до радикальных марксистов.

Это не значит, что все согласятся с предлагаемым пониманием. Однако это предполагает, что будет сделан шаг к преодолению «методологического кустарничества» и по поводу предлагаемого можно будет по крайней мере повести корректную научную дискуссию в единообразно понимаемых терминологических и методологических рамках. За двадцать лет ни на Западе, ни в России постмодернизм в теории международных отношений ничем не доказал своей аналитической плодотворности, поэтому какой смысл далее держаться приписываемой ему логики и методологических («антиметодологических») установок («антиустановок»).

Тезис о том, что понятие «мировая политика» воплощает новое качественное состояние международной среды, методологически и эпистемологически имеет для концепции решающее значение, поскольку только он позволяет теоретически корректно уйти от отождествления мировой политики с традиционными международными отношениями эпохи до начала 1990-х годов.

Однако при такой постановке вопроса атак со стороны потенциальных оппонентов из рядов историко-политического направления может вообще не последовать. Критикам будет, к примеру, понятно, что тезис о новом качестве международной среды реально «работает»: именно из-за этого нового ее состояния при внешней похожести международных условий (низкая вероятность ядерного конфликта) в 1970-х годах, с одной стороны, и затем в 1990-х — с другой, сильнейшие страны мира вели себя по отношению друг к другу совершенно по-разному.

При этом в выстраиваемой схеме находится достойное место для двух тенденций-симптомов («смена субъекта» и «сжатие планеты»), о ко-

торых с некоторым жаром пишут авторы школы политической социологии и с несколько холодным вниманием — исследователи историко-политического корня. Оба эти важных тренда в самом деле способствовали возникновению качественно нового состояния среды. Просто не они сами по себе передают его специфику.

2. Тезис второй. *Параметр нового качества.* Специфика новизны определяется тем, что для оценки положения на планете в целом характеристики состояния международной среды стали и продолжают становиться важнее, чем характеристики поведения отдельных, даже самых сильных акторов (старых или новых, демократических или авторитарных, национальных или транснациональных). Среда, образно говоря, подобно траве, она начинает «прорастать» сквозь «бетон» сообщества государств, оплетать его, в известной мере сковывая и в этом смысле подчиняя себе.

Конечно, очень важно, какая администрация находится у власти в Вашингтоне — напористая и националистическая или умеренная и либеральная. Но для международных отношений в целом важнее, какой окажется среда, сквозь которую будут преломляться импульсы, исходящие от любой американской власти.

С мирополитической точки зрения ключевые параметры анализа — это характер эволюции систем вооружений и скорость распространения технологий их производства по миру, показатели транснационализации международной экономики, характеристики всемирного виртуального пространства, включая сферу действия глобальных систем наведения ракет, контуры сферы единообразного понимания морали и права, индикаторы транспортной (и военно-транспортной) проницаемости планеты, характеристики ее экологического состояния, наконец, соотношение всей совокупности земных дел с реальным положением дел в космосе.

Приведенный тезис — целиком из арсенала мирополитического анализа. Но его нетрудно и полезно дополнить историко-политическим обоснованием.

Становление мировой политики связано с тенденцией к уплотнению международной среды и повышению ее проницаемости для импульсов влияния, которые участники международного общения посылают друг другу. Среда, присущая международной системе пятьдесят лет назад, была более разряженной, чем сегодня, а государства в ней имели больше свободы действий. На материале международных отношений в Восточной Азии этот феномен был описан в одной из российских работ еще в 1996 году. Но тогда ее автор счел «открытый им» феномен регио-

нальной особенностью, не соотнося его с общемировыми трендами, как стоило бы сделать с теперешних позиций.

Тенденцию к уплотнению международной среды можно проследить на протяжении веков. С одной стороны, она характеризуется нарастанием взаимной обусловленности поведения государств, уменьшением свободы их действий под влиянием самоограничений или ограничений, налагаемых извне, а с другой — ростом подверженности внутренних процессов в отдельных государствах внешним влияниям.

Самоограничения и ограничения могли быть любой природы. В 50–80-х годах прошлого века в Европе это была «блоковая дисциплина». В тот же период в Восточной Азии — страх больших держав спровоцировать «большую войну» и высокая активность малых и средних стран, научившихся, пользуясь этим, иногда навязывать сильным государствам свои варианты решения местных проблем. В 1990-х годах универсальным инструментом уплотнения среды стало нарастание ее финансово-экономико-информационной однородности.

3. Тезис третий. *Гносеология.* Можно сказать, что глобализация и обозначала процесс уплотнения международной среды. Но можно этого не делать, продолжая считать ее «особым» явлением. Важно иное. Глобализация не только прекрасно вписывается в понимание, присущее историко-политической школе, она вписывается в нее даже органичнее, чем в логику мирополитического направления. По определению глобализация — не что иное, как процесс становления нового качества международной среды, а мировая политика — его результат. Вот почему глобализацию убедительнее всего представить как инструмент преобразования традиционных международных отношений в мировую политику. Так снова обеспечивается совместимость научных интересов и аналитических подходов обеих школ — историко-политической и политико-социальной.

> Следовательно, с гносеологической точки зрения, **мировая политика** в известном смысле — не что иное, как современный этап развития того, что мы привыкли называть системой международных отношений, подразумевая под ними преимущественно отношения между государствами.

Выявляется, таким образом, гносеологическое родство мировой политики и международных отношений, хотя, конечно, первая со временем приобрела для себя существенно иное поле изучения. Об этом будет сказано дальше.

4. Тезис четвертый. *Различение объектов.* В цельном виде определения мировой политики ни в западных, ни в отечественных публикациях встретить не довелось. Между тем найти определение — как раз и зна-

чит освободить мировую политику от зависимости, которая ее окружает в семье международников-традиционалистов. Поскольку поиск определения неизбежно идет в контексте сопоставления мировой политики и международных отношений, уместно прежде провести «инвентаризацию» отличий объекта изучения мировой политики, с одной стороны, и традиционной науки о международных отношениях — с другой.

В традиционных международных отношениях, согласно принципу суверенитета государства и невмешательства во внутренние дела, существовало жесткое разделение между внешней и внутренней политиками государств. С правовой точки зрения, объектом взаимодействия стран являлись исключительно (почти) вопросы их поведения в отношении друг друга, но не в отношении собственных граждан (подданных). Взаимодействие между субъектами международных отношений, таким образом, происходило по внешнему контуру, «по касательной». Поэтому объектом изучения традиционной науки о международных отношениях была сфера взаимодействия внешних политик отдельных государств.

В 60-х годах прошлого века в этом смысле кое-что изменилось. Благодаря экспансии системного подхода в исследованиях утвердился постулат о несводимости свойств международных отношений в целом к сумме внешних политик отдельных стран. Соответственно, объектом изучения науки стали не только совокупность непосредственных взаимодействий внешних политик государств, но и закономерности развития всей миросистемной целостности, которая, как следовало из системной логики, обладает определенной автономией свойств по отношению к совокупности внешних политик стран мира. Кроме того, составной частью объекта исследования стали так называемые общие (или глобальные) проблемы международных отношений — контроль над вооружениями, энергоснабжение, преодоление отсталости бывших колоний, вопросы культурного обмена, оказание гуманитарной помощи и т.п.

Объектом изучения науки о международных отношениях к началу 1990-х годов считались, во-первых, политические отношения между традиционными и новыми субъектами международного общения по поводу их действий в отношении друг друга, во-вторых, межсубъектные взаимодействия по поводу решения общемировых проблем, в-третьих, автономные свойства системы международных отношений в целом (качества общесистемного уровня).

Возникновение новой международно-политической реальности в 1990-х годах привело к тому, что резко изменилось содержание общения между субъектами в международной системе. Не только новые субъекты общения, но и государства стали регулярно вступать в раз-

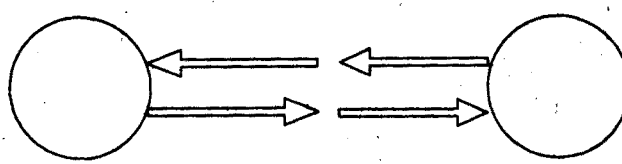
нопланового взаимодействие между собой по поводу действий не только в отношении друг друга, но и своих внутриполитических проблем. Более того, эта практика постепенно приобретала моральную, а затем частично и политическую легитимность.

Конечно, можно возразить, резонно заметив, что попытки одних стран давать оценки внутренним процессам, имевшим место в других, оказывать на них влияние и даже прямо вмешиваться во внутренние дела зарубежных государств, происходили «чуть ли не века». В самом деле, это так, но со времен вестфальских установлений вмешательство во внутренние дела все равно «в норме» считалось «незаконным» и допускалось как некое исключение, временное отступление от правил. Именно в этом смысле международная среда 1990-х годов принесла радикальные перемены: вмешательство в дела других стран стало представляться как новая норма поведения — правило, которое с полной серьезностью стало претендовать на роль универсального, к тому же подкрепленного мощной военной силой такой организации, как НАТО. Почти все 1990-е годы прошли под знаком легитимации того, что, с точки зрения вестфальских норм, было не чем иным, как нелегитимным вторжением в сферу исключительной внутренней компетенции суверенного государства. Суверенитет как принцип стал открыто, систематически, в широких масштабах подвергаться сомнению на практике только в 1990-х годах. И именно тогда он стал получать хотя и не полное, но все же довольно широкое международное политико-правовое обоснование[33].

В 1992 году руководители Российской Федерации и США подписали знаменитые Кэмп-Дэвидскую декларацию и Вашингтонскую хартию российско-американского партнерства и дружбы — дотоле немыслимые документы, значительные части которых представляли собой развернутые обязательства российской стороны проводить внутреннюю политику в соответствии с новыми политическими принципами (демократии и гарантии прав человека), сотрудничая в этих вопросах с США и другими зарубежными партнерами. Значимо было не то, что предметом обсуждения сторон стали вопросы внутренней жизни России (в неофициальном порядке подобные обсуждения происходили на советско-американских встречах не один раз), а то, что Москва де-факто признала подобную практику нормой международного общения.

Таким образом, наряду со сферой чисто внешнеполитического взаимодействия, объектом дипломатических переговоров стала внутренняя политика государств. Если прежде международные отношения представляли собой взаимодействие по «внешнему контуру» отношений, то

а) взаимодействие акторов в традиционных международных отношениях. Импульсы взаимного влияния тормозятся на «внешнем контуре» отношений (взаимодействие внешних политик)



б) взаимодействие акторов в мировой политике. Импульсы влияния беспрепятственно распространяются «по всей толще» внешней и внутренней политик субъектов

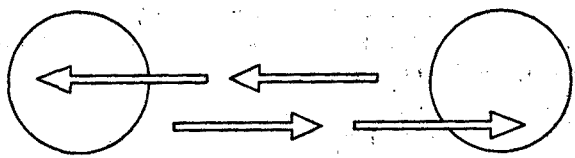


Рис. 1. Графическое представление взаимодействия субъектов в традиционных международных отношениях (*а*) и в мировой политике (*б*)

в 1990-х годах оно становилось взаимодействием «на всю глубину» политики государств. Методологически это и было «водоразделом».

Разом и радикально изменился предмет международного взаимодействия. Фактически родился новый объект изучения, значит, могла родиться и новая отрасль знания. Она и стала формироваться. Применительно к российской ситуации рождение науки о мировой политике можно датировать 1993 годом.

5. Тезис пятый. *Определение.* Таким образом, традиционные международные отношения — это преимущественно отношения между государствами по поводу их политики в отношении друг друга и общемировых проблем.

Мировая политика — это сфера нерасчлененного взаимодействия между субъектами международных отношений по поводу как их действий в отношении друг друга и решения общемировых проблем, так и политики каждого из них в отношении собственных внутренних проблем и ситуаций.

При таком прочтении перестает казаться аномалией и «зависать» вне рациональных теоретических обоснований феномен гуманитарных интервенций. Они предстают как специфический метод регулирования, характерный и стремящийся стать универсальной нормой именно на

этапе перерастания традиционных международных отношений в мирополитические.

Очевидно, что предмет исследования мировой политики гораздо обширнее, разнороднее и сложнее, чем тот, которым занимаются традиционные международные отношения. Но не означает ли это, что мировая политика, развившись в полномасштабную дисциплину, «поглотит» международные отношения? Вряд ли стоит полностью исключать такую перспективу. Вместе с тем ее убедительность вовсе не бесспорна. Она может зависеть от важных и трудно просчитываемых обстоятельств.

Главным из них пока представляется возникновение наряду с тенденцией к «преодолению суверенитета» своего рода контртенденции к его консолидации. Идея отмирания суверенитета, пассивно принятая было российской властью в 1990-х годах, в начале 2000-х стала ею активно отвергаться. После американо-британской оккупации Ирака в 2003 году бывший тогда президентом России В. Путин сделал по этому поводу ряд совершенно определенных заявлений в отрицательном смысле. Надо отметить, что такая позиция разделяется довольно большим кругом государств. Значит, слияние сфер внешней и внутренней политики государств вряд ли приобретет характер необоримой всеобщей тенденции, хотя оно будет характерным для отношений в довольно большом и, вероятно, возрастающем секторе политических отношений на планете.

Похоже, что в обозримой перспективе «отпочковавшаяся» от науки о международных отношениях мировая политика продолжит развиваться как близкородственная им субдисциплина, связанная и отчасти зависящая от традиционной науки о международных отношениях как в предмете исследования, так и (что существеннее) в методологии проверки достоверности постулатов.

Тезис шестой. *Верификация.* Скажем прямо: и традиционная наука о международных отношениях, и мировая политика в этом смысле уязвимы для критики. И все же в этом смысле «старая школа» международных отношений при всех ее слабостях (консерватизм, предубеждение в отношении социологических школ анализа) обладает преимуществом.

Политическая социология, в значительной мере воспитавшая мирополитические исследования, инструмент проверки своих выводов не имеет. Ими служат опросы — своего рода замеры состояния политической среды. Если таковые проведены корректно, они способны более или менее достоверно подтвердить или опровергнуть аналитические заключения.

Старая историко-политическая наука о международных отношениях школы МГИМО-ИМЭМО использует в качестве инструмента верификации метод ретроспективного сопоставления. Он менее надежен, чем тот, которым может пользоваться социология. Но этот метод все же

позволяет судить о правильности или неправильности выводов исследователей, хотя и по прошествии длительного времени. Ввиду этого систематически (минимум раз в 15 лет) возникает потребность в переосмыслении смысла и направленности международных тенденций.

Мировая политика в ее нынешнем виде и состоянии, тем более работая в рамках своего предметного поля изолированно от науки о международных отношениях, не имеет механизма верификации вовсе. Она практически не может пользоваться инструментарием социологов, чтобы проводить замеры состояния мирополитической среды в планетарном масштабе, но одновременно пропитана скепсисом по отношению к историко-политической школе.

7. Тезис седьмой. *Предметный уровень.* Если на уровне объектов исследования обеих дисциплин провести границу между ними относительно легко, то жестко «развести» их на уровне предметов исследования — сложнее.

Не повторяя устаревшие за минувшие годы предметные перечни ГОСТа Минобразования, представим в виде таблицы картину новых предметов «исключительного ведения» международных отношений и мировой политики, а также сферу их совместного предметного ведения.

Таблица 1

Предметы исследования международных отношений и мировой политики

Международные отношения	Мировая политика	Предметы «общей компетенции»
Историко-политические аспекты МО	Социологические и политико-психологические аспекты МО	Философия и теория международных отношений
Контроль над вооружениями, вопросы распространения	Контроль над деятельностью международных криминальных сетей	Международные переговоры о борьбе с деятельностью криминальных сетей
Жесткая безопасность (*Hard security*)	Мягкая безопасность (*Soft Security*)	Внутренняя безопасность (*Homeland Security*) от транснациональных угроз
Межправительственные организации формального типа (ООН, НАТО, ОДКБ)	Международные организации неформального, в том числе сетевого типа («сетевой» антиглобализм, «Международная амнистия», «Гринпис»)	Международные организации переходного и смешанного типа («группа восьми»)

Окончание табл. 1

Международные отношения	Мировая политика	Предметы «общей компетенции»
Межстрановая интеграция	Интегристские движения и НПО	Трансграничное сотрудничество всех форм
Межстрановое экологическое сотрудничество	Экологические движения	Экохолистика во всех проявлениях
Роль государств и межгосударственных организаций в разрешении конфликтов	Роль ТНК в вопросах развития	Глобальные аспекты проблемы разрыва в развитии
Унификация международных стандартов прав человека	Сравнительное правозащитное право (*Comparative Human Rights Law*)	Кодификация деятельности международных правозащитных институтов

Таблицу легко развернуть и в более пространную. Но даже приведенные сопоставления, несомненно, убеждают, с одной стороны, в наличии разных, уже кое в чем высокоспециализированных предметных полей у международных отношений и мировой политики, с другой — в очевидной взаимосвязанности и взаимозависимости предметов их ведения.

Вот почему оптимальным вариантом взаимоотношений науки о международных отношениях и мировой политики видится их равноположенное развитие как сопредельных субдисциплин в будущем и школ анализа сегодня. Каждое из ответвлений знания обладает своими несомненными преимуществами и очевидными слабостями.

Примечания

[1] *Лебедева М. М.* Мировая политика. М., 2003. Ряд важных положений мирополитического подхода развиты в коллективной работе «Категории политической науки», выполненной под руководством А. Ю. Мельвиля (М., 2002).

[2] *Тюлин И. Г.* Исследования международных отношений в России: Вчера, сегодня, завтра // Космополис: Альманах. М., 1997. С. 18–28.

[3] *Цыганков А., Цыганков П.* Теория международных отношений в России: Отчего не спешат появляться школы? // Международные процессы. 2003. № 3.

[4] Этой теме была посвящена статья А. Д. Богатурова «Десять лет парадигмы освоения» в журнале «Pro et Contra» (2000. № 1), которая вылилась в дискуссию на страницах журнала, продолжавшуюся около двух лет.

[5] *Krasner S.* Sovereignty. Organized Hypocrisy. Princeton: Princeton University Press, 1999; *Hobson J.* The State and International Relations. Cambridge — New York: Cambridge University Press, 2001; The New Agenda for International Relations / S. Lawson (ed). Malden, MA: Polity, 2002.

[6] Одна из работ этого направления настолько поразила российское сообщество международников, что стала основой для программ нескольких международных конференций, статей и даже глав в учебниках. Речь идет о книге «Beyond Westphalia. A State Sovereignty and International Intervention» (G. Lyons and M. Mastanduno (eds). Baltimore — London: Johns Hopkins University Press, 1995).

[7] The Rise of Neoliberalism and Institutional Analysis / J. Campbell and O. Pedersen (eds). Princeton: Princeton University Press, 2001.

[8] *Shaw M.* Theory of Global State. Globalization as an Unfinished Revolution. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

[9] Governance in a Globalizing World / J. Nye and J. Donnahue (eds). Washington: Brookings Institution Press, 2000; *Irie A.* Global Community. The Role of International Organizations in the Making of the Contemporary World. Berkeley: University of California Press, 2002.

[10] Globalization and Human Rights / A. Brysk (ed). Berkeley: [б.и.], 2002.

[11] *Faulks K.* Political Sociology. Critical Introduction. New York.: New York University Press, 1999.

[12] International Order and the Future of World Politics / T. V. Paul and J. Hall (eds). Cambridge — New York: Cambridge University Press, 1999.

[13] В России проблематику транзитологии разрабатывал прежде всего А. Ю. Мельвиль. См.: *Мельвиль А. Ю.* Демократические транзиты (теоретико-методологические и прикладные аспекты). М., 1999, а также *Ильин М. В., Мельвиль А. Ю., Федоров Ю. Е.* Демократия и демократизация // Полис. 1996. № 5. Со взглядами транзитологов дискутировал Б. Г. Капустин. См.: *Капустин Б. Г.* Конец транзитологии? // Полис. 2001. № 4. С. 6–9; и *Он же*: Посткоммунизм как постсовременность // Полис. 2001. № 5. С. 23–24.

[14] Governance in a Globalizing World.

[15] В 2000-х годах очевиден спад волны политологических штудий по глобализации. Тематика глобализации уходит (или возвращается) в сферу экономических исследований, где ей, строго говоря, и полагалось находиться. Заметней стал критический настрой в отношении глобализации как явления. См., например: *James H.* The End of Globalization. Lessons from the Great Depression. Cambridge: The Harvard University Press, 2001.

[16] *Camerton F.* US Foreign Policy after the Cold War. Global Hegemon or Reluctant Sheriff. London — New York: Routhledge, 2002.

[17] *Lawson S.* International Relations. Cambridge: Polity, 2003.

[18] *Art R.* A Grand Strategy for America. Ithaca — London: Cornell University Press, 2003. Ср.: *Богатуров А. Д., Косолапов Н. А., Хрусталев М. А.* Очерки теории и политического анализа международных отношений. М., 2002. С. 253–265.

[19] *Talmon J. L.* The Origins of Totalitarian Democracy. London: Secker and Wartburb, 1955.

[20] *Brown S.* The Illusion of Control. Force and Foreign Policy in the Twenty-First Century. Washington: The Brookings Institution Press, 2003; *Falk* R. The Great Terror War. New York: The Olive Branch Press, 2003.

[21] Ср. также: *Daalder I. and Lindsay J.* America Unbound. The Bush Revolution in Foreign Policy. Washington: Brookings Institution Press, 2003.

[22] *Byman D. and Waxman M.* The Dynamics of Coercion. American Foreign Policy and the Limits of Military Might. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

[23] *Donnelly J.* Realism and International Relations. Cambridge — New York: Cambridge University Press, 2003; *Buzan B., Jihnes C. and Little R.* The Logic of Anarchy. Neorealism to Structural Realism. New York: Columbia University Press, 1993.

[24] *Дугин А.* Основы геополитики. М., 2000; *Бжезинский З.* Великая шахматная доска. М., 1999. Вульгарных геополитиков-публицистов необходимо отличать от респектабельного течения геополитиков академического направления (Николай Мироненко, Владимир Колосов, Николай Замятин, отчасти даже Михаил Ильин), к которым примыкал скончавшийся в 2009 году талантливый писатель геополитической темы Вадим Леонидович Цымбурский.

[25] *Протопопов А. С.* и др. История международных отношений и внешней политики России (1648–2000). М., 2001; *Иванова И. И.* История международных отношений от античности до конца Первой мировой войны: Учеб. пособие. Ч. 1. Владивосток, 2001.

[26] *Наринский М. М.* История международных отношений (1945–1975). М., 2004; Советская внешняя политики в годы «холодной войны» (1945–1985). Новое прочтение / Отв. ред. Л. Н. Нежинский. М., 1995; «Холодная война»: Новые подходы, новые документы / Отв. ред. М. М. Наринский. М., 1995; *Чубарьян А.О.* Новая история «холодной войны» // Новая и новейшая история. 1997. № 6; Сталинское десятилетие «холодной войны» / Отв. ред. Н. И. Егорова, А. О. Чубарьян, И. В. Гайдук. М., 1999; *Злобин А. А., Клейменова Н. Е., Сидоров А. Ю.* Программа учебного курса «История международных отношений и внешней политики России (1648–1945)». М., 2000.

[27] См.: Системная история международных отношений: В 4 т. 1918–2003: События и документы. М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2000–2004.

[28] *Лебедева М. М.* Указ. соч.

[29] *Цыганков П. А.* Политология и наука о международных отношениях: Проблема разграничения предметных полей // Социально-политический журнал. 1995. № 5. С. 57–65.

[30] Networks and Netwars / H. Arquilla and D. Ronfeld (eds). Santa Monica: Rand, 2001.

[31] Система, структура и процесс развития современных международных отношений / Отв. ред. В. И. Гантман. М.: Наука, 1984.

[32] *Ikenberry J.* After Victory. Institutions, Strategic Restraints and the Rebuilding of Order After Major Wars. Pricenton, 2001.

[33] Подробнее см.: *Богатуров А.* Современный международный порядок // Международные процессы. 2003. № 1.

Глава 2

Анклавная природа мировой политики и перспективы формирования мирового общества

С распада в 1991 году биполярности прошло почти двадцать лет. После недолгого кризиса миросистемного регулирования, когда державы уже не могли управлять миром по-старому, а дирижировать им по-новому еще не умели, с середины 1990-х годов утвердилась плюралистическая однополярность. Тон стали задавать США и примкнувшие к ним страны ЕС, Япония и Канада. Рядом с прежней системой мироуправления (вокруг ООН) была выстроена новая вертикаль принятия решений (развитые демократические страны — НАТО). Несмотря на дискуссии о многополярном мире, сообщество стран и народов сделалось еще иерархичнее. На вершине пирамиды утвердились США и их союзники. Они стали без особых церемоний использовать силу по своему усмотрению.

Мировое общество и международное сообщество

«Впечатав» в конце 1970-х в международный интеллектуальный оборот термин «мировое общество», Хэдли Булл считал, что внутри *международной системы* (*international system*), охватывающей все государства мира, всегда существовало некое протоядро, которое он назвал *международным обществом* (*international society*). Разница между первым и вторым заключалась в том, что страны, входящие в международное общество, в отношениях между собой руководствовались не только практическими интересами момента, но и общепризнанным кодексом поведения, который был основан на разделяемых этими государствами нравственных ценностях[1]. Рассматривая разные виды международных обществ (христианский, европейский), Булл в конце концов сформулировал идею *мирового международного общества* (*world international*

society), по-прежнему отделяя его от совокупности всего «остального», что составляет международную систему.

В этой главе в значении Буллова мирового международного общества будет применяться выражение *мировое общество,* а вместо международной системы — *международное сообщество.* Первая замена сделана, чтобы облегчить русским читателям восприятие. Вторая — содержательна. Булл видел международные отношения сквозь призму системности, что для 1960–1980-х годов было новаторским. Но к 1990-м такой подход перестал казаться единственно соответствующим достигнутому уровню методологии знания — во многом благодаря тому, что в науку о международных отношениях проникли понятия и логика синергетики, чьи подходы не укладывались в то, что прежде считалось системным видением. Поэтому в главе слово «система» будет употребляться расширительно, тем более что *видение международных отношений как системы, если не рассматривать их как глобальный конгломерат, неполно*[2].

Для западных политиков концепция Булла, ставшая достоянием читающей публики в 1977 году, но по достоинству оцененная только в пору «перестройки» в СССР, конечно же, не официальный «догмат веры». Но идеи ученого, а еще более их последующие переосмысления остаются ключевыми для понимания смысла современного мирополитического процесса и его противоречий.

Самого Булла занимала прежде всего не структура мира, а правила поведения государств. Взаимоотношения мирового общества и международного сообщества были для него вторичны, и уж совсем мало его волновал вопрос о перспективах и методах «преподавания» этих правил государствам, которые не вошли в круг индустриальных демократических стран. В последних Булл видел идеализированный прообраз мирового общества, его ячейку (анклав) в международном сообществе, из которой на остальной мир распространяется благотворное влияние и нормы международного права.

В этой картине мира страны—носители сознания мирового общества составляли меньшинство. Однако они принадлежали к демократической традиции и потому представляли собой передовую часть международного сообщества, обладали не только военно-техническим и экономическим, но и моральным превосходством. Для мыслителя либеральной школы ценность этой традиции сомнению не подлежала. Подобная интеллектуальная ситуация, может быть, нормальна для западного сознания, избалованного десятилетним победоносным шествием либерализма. Однако она озадачивает в России, где здоровое аналитическое сознание привыкло беречь в себе способность к сомнению по

отношению к истинам, не подтверждаемым опытом. Русского читателя старшего и среднего поколений превосходная по стройности концепция Булла обескураживает логическими параллелями. Мировое общество воспринимается как «авангард международного сообщества» — это сходно с тем, что в работах В. Ленина коммунистическая партия фигурирует в роли революционного авангарда рабочего класса[3]. Как Ленин не считал нужным поднимать весь класс до уровня авангарда, так и Булл не настаивал на расширении мирового общества до масштабов сообщества наций.

Он справедливо полагал, что и в международном сообществе между странами может быть много общего — например, стремление снизить вероятность войн, чтобы избежать потерь. Но лишь в мировом обществе, настаивал Булл, государства спаяны приверженностью единым стандартам этики. Войны, считал он, утрачивают в такой ситуации смысл; они противоречат настрою государств мирового общества уважать *в отношениях между собой* свободу, демократию и мир как ценности для каждого и условия процветания для всех. Отсюда романтический вывод: демократии (по определению) не воюют между собой (не могут, не предназначены для того, чтобы воевать).

Булл в самом деле не помышлял об «экспорте мирового общества», то есть о его взрывном распространении на весь мир, хотя в принципе подобного не исключал. Идея мировой пролетарской революции была ученому, по-видимому, слишком отвратительна, и он постарался уберечь свою схему от вульгарного прозелитизма. Да и в целом дух его работы был преимущественно оборонительным: постулируя избранность демократических стран, даже если она была избранностью меньшинства, как ценность, автор стремился отграничить «авангард» мира от его «арьергарда»[4].

Самозащитный пафос Булла соответствовал духу первой половины 1970-х годов с естественным для западного интеллекта шоком от поражения США во Вьетнаме (1973), с одной стороны, и дерзкой «нефтяной атаки» арабских стран на Запад (1973–1974) — с другой. На таком фоне идея мирового общества подчеркивала ценность консолидации развитых стран: демократии, не воюющие друг с другом и рожденные для сотрудничества, представали залогом благоденствия — прежде всего «мирового общества», но также и всех остальных стран.

Хотя до «перестройки» в Советском Союзе (1986) Булл не дожил, его идеи, похоже, «оплодотворили» целое поколение писавших о глобализации. Поскольку обстановка изменилась, их интерпретации утратили оборонительно-мобилизующий настрой оригинала. Многообразные теории глобализации приобрели настолько отчетливые черты наступательности, что ассоциируются сегодня не с «гетто избранничеств», а с призраком «мировой либеральной революции» — зеркально-

го отражения коминтерновской химеры всемирной пролетарской революции, перекодированной сообразно реалиям конца XX века.

Мировое общество, которое исходно мыслилось как привилегированный клуб цивилизованных стран, после распада СССР и разворота постсоциалистических государств к сотрудничеству с Западом стало почитаться безальтернативной перспективой всего человечества. Странам международного сообщества стали предлагать «подрасти» до уровня мирового общества. С одной стороны, сулили помощь и поддержку, с другой — попугивали тем, что глобализация все равно приведет к их поглощению мощной экономической машиной Запада. Международное сообщество стало выглядеть внешней оболочкой разбухающего ядра—анклава мирового общества, которую ему предстояло неминуемо заполнить.

Так из синтеза исходной идеи мирового общества и наслоившихся на нее концепций глобализации на Западе выросла новая интеллектуальная парадигма и этико-теоретическая платформа международных отношений. Концепция «расширения демократии», которую весной 1993 года огласил помощник президента США по национальной безопасности Энтони Лейк, сыграла роль политико-идеологического обрамления, рассчитанного на практическую реализацию этой платформы. Начало переговоров о расширении НАТО в 1997 году и параллельное распространение европейских интеграционных структур на Восток стали рубежными событиями — начало осуществляться то, что предначертали теоретики. *Экспансия*[5] *мирового общества на планете стала главной тенденцией международной жизни.*

Глобализация и государственный суверенитет

Концепция мирового общества не была плодом одних лишь мыслительных упражнений теоретиков и конъюнктурных побуждений политиков. Ее фундаментом служили материальные и виртуальные новации, обобщаемые словом «*глобализация*»[6]. В литературе оно в различных сочетаниях обозначало по меньшей мере восемь основных тенденций и явлений:

1) повышение проницаемости межгосударственных перегородок (феномены «преодоления границ» и «экономического гражданства»[7]);
2) возрастание объемов и интенсивности трансгосударственных, транснациональных перетоков капиталов, информации, услуг и человеческих ресурсов;
3) распространение западных стандартов потребления, быта, само- и мировосприятия на все другие части планеты;

4) усиление роли вне-, над-, транс- и просто негосударственных регуляторов мировой экономики и международных отношений[8];
5) экспорт и вживление в политическую ткань разных стран мира тех или других вариаций модели демократического устройства;
6) формирование виртуального пространства электронного общения, увеличивающего возможности для социализации личности, непосредственного приобщения индивида, где бы тот ни находился, к мировым информационным процессам;
7) возникновение в сфере глобальных информационных сетей образа ответственности всех и каждого индивида за чужие судьбы, проблемы, конфликты, состояние окружающей среды, политические и иные события в любых, возможно, даже неизвестных человеку уголках мира;
8) возникновение «идеологии глобализации» как совокупности взаимосвязанных постулатов, призванных обосновать благо и неизбежность тенденций, «работающих» на объединение мира под руководством его «цивилизованного центра».

Глобализация — это процесс разрастания в масштабах планеты наднациональной сети-оболочки отношений асимметричной взаимозависимости между всеми субъектами международного взаимодействия — включая государства, а также межгосударственных, надгосударственных и негосударственных игроков.

Этот процесс сопровождается *опережающим* становлением нового типа миро- и самовосприятия, в основе которого лежат представления о единстве мира, подобии его частей-составляющих и их неизбежной ко-эволюции к дальнейшему единению, слиянию и сплаву в некоторое глобальное целое. При этом общего мнения относительно параметров и характеристик этого целого нет.

Простой обзор проявлений глобализации позволяет подразделить их на материальные (объективные) и виртуальные (манипуляционные). К первым относится все, что касается реального движения финансовых потоков и его обеспечения, трансферта технологий, товаров и услуг, массовых миграций, строительства глобальных информационных сетей. Ко вторым — содержательное наполнение этих сетей, распространение определенных ценностей и оценочных стандартов, формирование и продвижение предназначенных международному общественному мнению психологических и политико-психологических установок.

Очевидно, **глобализация** — это не только то, что существует на самом деле, но и то, что людям предлагают думать и что они думают о происходящем и его перспективах.

В самом деле, если материальные проявления глобализации не вызывают сомнений, то ряд «выводов», формально апеллирующих к материальной стороне глобализации, не кажутся безупречными. Во всяком случае, в той мере, в какой позволяют судить анализ ситуации на пространстве новых государств в зоне бывшего СССР, и в частности в России.

В российской политико-интеллектуальной ситуации наиболее сомнительными кажутся три постулата теорий глобализации: кризис и устаревание государства, модернизация и вестернизация как естественный результат глобализации, «демократическая однополярность» как предпочтительный способ организации международной структуры.

В отечественной традиции идея отмирания государства известна по трудам коммунистов и левых социал-демократов, которые заимствовали представление о возможности заменить государство «свободно самоуправляющимися» сообществами граждан из западноевропейских источников. Правда, с победой советской власти в России и возникновением «реального социализма» гипотезу отмирания государства отодвинули в неопределенное будущее. Важнейшей национальной задачей стало считаться укрепление социалистической державы. Ситуация принципиально не менялась до конца 1980-х годов, когда М. Горбачев приступил к реформе государственной системы — изменению отношений компартии с государством и модификации основ советской федерации.

Попытка отказаться от презумпции ценности государственнического начала окончилась для СССР плачевно. Правда, Б.Ельцину игра на антигосударственнической волне принесла успех. Она позволила ему прийти к верховной власти в результате «отделения» Российской Федерации от СССР. Смутные годы суверенизации и кризисов самоопределения, конфликт в Чечне 1994–1996 годов, нестабильности государственных институтов по инерции проходили под знаком отрицания «старого» государства. Это оборачивалось отрицанием государства вообще и единого государства в частности, пока в сентябре 1998 года не было сформировано правительство Е.Примакова, обозначившего поворот к возвращению государственнической идеологии в измененном виде. Повторное обострение ситуации в Чечне в конце 1990-х годов придало государственничеству новый стимул. Страна стала возвращаться к опоре на сильное государство как главный, хотя и не монопольный инструмент защиты национальных интересов.

События 1998–1999 годов в России позволили организационно оформиться тенденции, которая и до того выделяла ее на фоне процессов в зарубежной Европе. Там в 1980–1990-х годах интеллектуалы и политики были настроены на отрицание национально-государственных начал и идеализировали надгосударственные, интеграционные и реги-

оналистские начала. Присоединяя к себе Центральную Европу (прежде всего ГДР), Европа Западная готовилась отречься от отдельных германского, французского, итальянского или британского государств во имя консолидации коллективной субъектности Европейского Союза. Его непосредственными участниками *вместе* (а со временем и *наряду)* с историческими государствами — Францией, Германией, Испанией и Соединенным Королевством — могли бы стать входящие в них исторические области (Корсика, Савойя, Бавария, Страна Басков, Шотландия), а может быть, и новообразования («трансграничные еврорегионы» вроде украинско-русино-венгерских Карпат, австро-итальянского Притиролья, польско-германской Померании)[9].

«Единая Европа», которая в результате революций национального самоопределения XIX века начала превращаться в современный мировой центр, прошла в XX через порожденные национализмом мировые войны, чтобы на склоне тысячелетия снова столкнуться с той же угрозой в условиях мира и богатства. Реагируя на возрождение националистической угрозы «изнутри», западноевропейские страны стали вырабатывать собственный, учитывающий региональную специфику рецепт: как предупредить эту угрозу и управлять вызревающим конфликтом. Среди «евролибералов» появился интерес к проблеме «устаревания» национального государства. Этот «индуцированный невроз» распространился по всему миру, включая США[10].

Европейский рецепт предлагает «растворить» проблему самоопределения отдельных этнических групп в интеграции всех европейских народов. Чем острее ощущают в Лондоне шотландскую и североирландскую угрозы, в Париже — корсиканскую, в Мадриде — каталонскую и басконскую, а в Риме — южнотирольскую и ломбардскую, тем с большим нажимом политики говорят об ускорении интеграции. Укрепляя национальное начало, западноевропейские страны создают средство, которое позволило бы им обуздать радикальное самоопределение. Устремление понятное, пока западноевропейцы работают над решением собственных проблем, но и угрожающее, когда методы наднационального регулирования экспортируют за пределы «интегрированной Европы» — на территорию бывшего СССР.

Теории глобализации безапелляционно акцентируют мировые тенденции к модернизации и преодолению «отсталости» по известным лекалам. В качестве универсальных предлагают образцы решений, выработанные на основе западного опыта. Пока он воздействует на умы, демонстрируя свою привлекательность, оснований возражать нет. Но когда стандарты «мирового общества» насаждают силой, следует называть вещи своими именами. Форсированные попытки действовать, исходя

из ненужности государственного суверенитета там, где забота о его укреплении объективно составляет главную задачу, приводят к военным конфликтам. Пример насильственного проецирования стандартов мирового общества на «приграничные» зоны — балканские войны конца 1990-х годов.

Большинство новых государств Юго-Восточной, Восточной Европы и зоны бывшего СССР не столько страшатся национализма, сколько признательны ему как основной движущей силе, благодаря которой они возникли на карте мира. Ни у одной из таких стран, включая Россию, не было возможности «пресытиться» государственностью и «устать» от нее. В России западноевропейские рекомендации «преодолевать» государственность при помощи интеграции кажутся либерально-утопическим аналогом советских попыток перенести отсталые общества из средневековья в социализм и коммунизм, минуя рыночные отношения и начальное промышленное производство.

В принципе теоретики упрекают государство справедливо. Во-первых, они сомневаются, нужно ли оно в условиях, когда каждый гражданин может напрямую обратиться для защиты своих интересов в международные правозащитные, судебные и другие органы. Во-вторых, в стабильной Западной Европе убедительно звучат слова о необходимости защищать не всесильное государство от людей, а наоборот. В-третьих, надгосударственные и трансгосударственные субъекты (международные финансовые институты и МНК) обладают ресурсами, которые намного превосходят возможности большинства государств. Поэтому их суверенитет, во всяком случае экономический, становится фиктивным. Наконец, в-четвертых, как отмечают некоторые исследователи, «обычное» государство не способно регулировать межэтнические отношения, которые успешнее разрешимы в рамках надгосударственных общностей.

Вряд ли кто-либо возьмется всерьез оспаривать любое из этих замечаний по сути. Эти и другие слабости государства очевидны и россиянам. Но в России потребность граждан в защите *от* государства по-иному соотносится с защитой граждан *при его помощи*. Найти управу на произвол российского чиновника можно было бы, хотя с трудом, также и в Гааге (в Москве выросла сеть агентов, оказывающих соответствующую помощь гражданам). Но как с помощью санкций извне России защитить жителей Ставрополья, Ростовской области и даже Москвы от изгнания из родных домов, похищений, взрывов, террора и рэкета?

Не менее показателен опыт стран СНГ и большей части государств Восточной Европы, где преобладает тенденция не к «преодолению» государства, а к его усилению. Оно должно служить в первую очередь силовому регулированию внутренних гражданских отношений (Хорватия,

Сербия, Румыния, Латвия, Эстония, Белоруссия, Грузия, новые государства Центральной Азии), противостоянию гипотетической или реальной внешней угрозе (Албания, Македония, Армения, Азербайджан), задачам социально-экономического развития (Украина). Наконец, всем перечисленным государствам государственническая философия политики служит инструментом утверждения новой идентичности. Важно, что и в Соединенных Штатах постулат глобализации об «одолении» государства надгосударственностью вызывает больше сомнений, чем понимания.

Конгломератные общества и мировой конгломерат

В 2000-х годах в отечественной науке возрос скептицизм по поводу возможности объяснить российский «политический феномен» только через призму западного опыта. Теоретические представления о глобализации как нарастающей однородности мира неполно отражают многообразие реальности и не позволяют приемлемо объяснить, каким образом с глобализацией соотносится ситуация в России.

В этой связи значение приобретает вопрос о траекториях мирового развития, пункте его назначения. Запрограммирован мир на уподобление Западу через модернизации Незапада, или взаимодействие разнородных пластов бытования на планете происходит по более сложным законам, чем преобразование «отсталых стран» в «передовые»?

Если окажется, что растворение «традиционного» (незападного) в «современном» (западном) — всеобщая закономерность и преодоление внутренней разнородности любого общества — лишь вопрос времени, то придется признать убедительной версию о движении планеты к «мировому обществу». Если увидится, что «традиционное» и «современное» не «пожирают» друг друга, а могут долго и успешно сосуществовать, то уместно будет оспорить и сценарий неизбежной трансформации разнородных составляющих мира в сплошной однородный массив «современного».

Все общества можно подразделить на традиционные, современные и *конгломератные, причем Россия относится к числу последних.* При этом под первыми понимаются общества, поведение членов которых основано не на рациональном целеполагании, а на опыте, традиции, ритуале, воспроизводстве устойчивых форм мышления. Основной мотив действия — следование уже известному образцу («свой путь»), а не разуму («умствование»). Модель поведения задается культурным опытом, который выражается в изустной традиции, неписаных регламентах быта, религиозных катехизисах, сборниках изречений. В таких обществах новации выступают в известном смысле «интуитивными прозрениями», а не «интеллектуальными прорывами». А сфера сознательной активно-

сти ограничивается контролем за соблюдением ранее определенных правил и норм. Таков Незапад.

В обществах второй группы, понимаемых как «современные», модели поведения строятся, напротив, с опорой на осмысление, рациональное целеполагание, нахождение завершенных форм знания (цельных картин действительности). В рационально ориентированной культуре основа бытия — правила рассудочного поведения. Новации выступают как результат сознательного обдумывания, итог концентрации интеллектуальных усилий. Это характерно для Запада. Современное западное общество — общество рациональное в отличие от иррационального традиционного общества.

Общества третьей группы названы **конгломератными**[11]. Под ними понимаются общества, для которых характерно длительное сосуществование разнородных массивов укладов и отношений. Эти массивы образуют внутри общества устойчивые **анклавы, которые организованы достаточно** эффективно, чтобы неопределенно долго выживать и развиваться в рамках обрамляющего общества-конгломерата, сохраняя между собой неизменные пропорции.

Такие общества возникают в результате взаимодействия западных и незападных массивов мирового бытия.

Более других важны четыре момента: 1) конгломератные общества — это мегаструктуры, состоящие из анклавов; 2) анклавы устойчивы, это не остаточные явления и не отмирающие формы отношений; 3) присутствие анклавов в общественной структуре не ведет ни к расцвету, ни к упадку общества; 4) конгломератный тип организации общества бывает инструментом чрезвычайно успешного приспособления страны к современной экономической среде.

Анклавы — это относительно автономные замкнутые пространства, отличающиеся от окружения по базовым характеристикам. Анклавы отделены друг от друга социальными переборками, которые закрепляются в устойчивых моделях поведения, психологических запретах и/или стимуляторах, препятствующих разложению границ между общинами и группами или способствующих их сохранению.

Модернизация во всех странах, в том числе в России, исходно сама концентрировалась в анклавах — столицах и крупных городах. Такие анклавы затем могли делаться более многочисленными, оставаясь, тем не менее, анклавами и не обязательно образуя сплошные пласты современного. Рядом с анклавами современного оставались обширные анклавы архаичного, которое не исчезало, а приспосабливалось к новой ситуации. Анклавы архаики в виде малых городов и сел плотным слоем

окружают в России Москву, Санкт-Петербург, которые, в свою очередь, представляют собой анклавы глобализации. То же самое можно сказать в политическом отношении о Париже в окружении его черных пригородов, а в психологическом — о белых районах Манхэттена в Нью-Йорке, на которые наступают афроамериканские кварталы.

Анклав традиционного не обречен раствориться в окружающей среде, а анклаву современного не гарантировано преобладание в масштабах всего общества. Среда может стремиться поглотить анклав. Но анклав может успешно сопротивляться ей. В процессе такого взаимодействия и возникает «сдвоенная» структура общества. Она способна помочь обществу адаптировать достижения техногенной цивилизации (как в технополисах Индии). Но одновременно — сохранить условия для воспроизводства архаичных трудовых мотиваций. Последние в соединении с современной техникой нередко дают мощный экономический эффект: Китай, Япония, Южная Корея и Тайвань — примеры эффективности конгломератных обществ. Они сумели разбогатеть на базе использования традиционного отношения своих граждан к работе.

Поэтому было бы ошибкой рассматривать конгломератные общества как внутренне противоречивые, надломленные и обреченные. Конгломерат — ни хорошо, ни плохо. Общества, организованные таким образом, не обязательно уступают по характеристикам однородным обществам. Кроме того, именно анклавный тип организации обществ в силу ряда важных причин — прежде всего миграций — начинает преобладать в новом веке.

Конгломерат не противоречит идее единства. Но единство конгломерата — суммативность, соединение разного, а не слитность в однородном. Это единство «по внешнему контуру», через со-развитие разностей, а не через слияние в одинаковом.

> Отношения разнородных элементов в обычных системах складываются по диалектической формуле отрицания отрицания. Противоположности, сливаясь, образуют новое качество, одновременно утрачивая свойства исходных частей. Отношения между разнородными составляющими в конгломератах построены не на превращении одних форм в другие, а на их параллельном — но разноплоскостном со-развитии.

Анклавы в конгломератах взаимодействуют между собой косвенно: они взаимно влияют и соприкасаются, но не сливаются, не образуют сплав, не приобретают новых качеств за счет утраты исходных.

При этом разные элементы могут образовывать целостность. Русский, чеченский и ингушский уклады на Северном Кавказе не сплавились в «советский уклад» Чечено-Ингушской АССР, что не мешало им

тридцать лет воплощать единство в рамках одной административно-политической единицы. Еврейский и арабо-палестинский уклады в Израиле ничем, походящим на сплав, мир не поразили, но обе общины образуют целое — геополитически и политико-административно. То же можно сказать о единстве русских и эстонцев в Эстонской Республике или русских и латышей в Латвии.

Во всех примерах целостность — налицо. Но она не тяготеет к «сплошной однородности» составляющих. Унифицирующие связи не преобладают над разъединяющими. Разнородные элементы сосуществуют, сохраняя автономию; сополагаются, но не разрушают друг друга. Они совместно развиваются в рамках общего политического обрамления.

Развиваясь в разных плоскостях, анклавы способны выживать неопределенно долго. Но они не паразитируют на обществе. Анклавы традиционного могут выполнять важные регулирующие функции. Родоплеменные и клановые отношения играют колоссальную упорядочивающую роль в молодых независимых государствах Закавказья, Центральной Азии или Юго-Восточной Европы. Касты остаются важнейшим структурирующим элементом политической жизни Индии. Архаично организованные этнические сообщества наращивают свое влияние на политическую жизнь и внутреннюю безопасность в США.

Можно допустить, что тип отношений, свойственный одному анклаву, может пользоваться поддержкой власти, получая шанс для экспансии в сопредельные анклавы и их полного освоения. Но так происходит в теории. *Для конгломератных обществ характерна устойчивая востребованность всех типов отношений.* Происходит, так сказать, специализация каждого анклава на той или иной функции. Общество, например, российское воспроизводит все типы связей, прагматично пользуясь их многообразием.

Большинство российской элиты (либеральной и антилиберальной) мыслит одновременно «современно» и «традиционно». «Современно» при решении вопросов получения кредитов и банковских спекуляций, «традиционно» — в практике управления не только через официальные институты, но помимо них — через земляков, фаворитов, бывших сослуживцев или «партийные группы в непартийных организациях».

Анклавная природа мировой политики в условиях глобализации

Анклавная природа мировой политики выражается в том, что глобализация в современном мире, как отмечалось выше, носит ячеистый, «дырчатый», в прямом смысле сетевой характер.

Она не порождает сплошной, тотальный массив глобализированного бытия, а ведет к образованию анклавов постсовременного, которые развиваются рядом и «вперемешку» с анклавами жизненных пластов, мало затронутых глобализацией или почти не затронутых ею вовсе.

Конгломератные общества представляют собой сектор мировой политики. Составляющие его страны не образуют сплошной массив, а его границы не легко распознаются: «быть конгломератом» не престижно, потому что принято считать, что он неустойчив и обречен на распад. Теоретики рекомендуют поскорее преодолевать конгломератность и становиться обычными обществами западного типа. Преодоление конгломератности, «изживание Незапада в себе» описывается как знак приобщенности к высшему и прогрессивному.

Такое видение мировой гармонии отражает понимание исторического времени как времени линейного, а исторического процесса — как последовательно-стадиального. Его посылками являются представления об историческом прогрессе как восхождении от низших форм к высшим, от простого — к сложному. На презумпции линейного прогресса возведены теории модернизации традиционных обществ, из которых следует, что страны, вступившие на путь модернизации позже, должны со временем стать аналогами обществ, которые приступили к ней раньше. В сущности концепция линейно-прогрессивного развития ориентирует на «поглощение» Западом Незапада. Проблема, однако, в том, что в реальности все обстоит не совсем так.

«Современные» Япония, Южная Корея, Китай, Индия и Россия подобными Западу не становятся. Они остаются многослойными структурами, в которых сосуществуют пласты «традиционного» и «современного». Импульсы новаций в названных странах не приводят к возникновению *на месте конгломеративного общества однородной социо-культурной амальгамы «современного» типа. Они приводят к воспроизводству новой, но тоже конгломеративной общности.* Каждая из составляющих конгломератных обществ восприняв «свою долю» исторических новаций «порознь», не утрачивает своей «отдельной сущности».

Каждый анклав развивается и в своем собственном, «параллельном» времени, и в «оплетающем» его временном потоке, в который «вписан» весь конгломерат. *Общество воспринимает новации каждым анклавом в отдельности* и постепенно в целом увеличивает в себе присутствие инновационного содержания. При этом оно сохраняет свою сдвоенную внутреннюю структуру.

Нынешние отношения между российскими губернаторами и членами федерального правительства отличаются от тех, что существовали между приказными дьяками и просителями во времена Алексея Ми-

хайловича. Но в обоих случаях эти отношения регулировали и регулируют не столько писаные законы, сколько неформальные связи и симпатии-антипатии (взывающие к землячеству, родству, знакомству, совместной учебе, принадлежности к одним и тем же клубам, гласным и негласным объединениям по интересам).

Точно так же «современные» для начала XVIII века бюрократические методы управления при Петре Великом отличаются от теперешних процедур, но круговая оборона чиновников перед просителями-гражданами, и сегодня бесправными, принципиальных изменений не претерпела. Фактический механизм, при помощи которого люди преодолевают бюрократические тупики, как и триста лет назад, зависит от того, есть ли у заявителя каналы неформального воздействия на разрешающую инстанцию. Чиновнику выгодно представляться носителем «современного», и потому, агитируя в соответствии с новыми законами за избрание в законодательное собрание «своего» депутата, он ведет себя в духе времени. Но прозрачность прохождения бумаг через его ведомство ему совсем не выгодна, потому что в других случаях он поступает вполне «традиционно» (например, вымогает мзду с просителей).

Усомнившись в правильности видения развития через призму «стреловидного прогресса», можно перестать удивляться живучести конгломератов и повернуться к их изучению как исторически устойчивых субъектов — тем более что конгломераты распространены шире, чем можно подумать.

Примеры конгломератов — упоминавшийся Израиль или Турция с Турецким Курдистаном. К этой же группе можно причислить и Индию, где «современное» поведение ассоциируется с принадлежностью к высшим кастам, а «традиционное» — к низшим. В этот же ряд с 1990-х годах стало уместно помещать и Соединенные Штаты, на глазах утрачивающие способность оставаться «плавильным котлом» разноэтничных групп. Стоит задуматься над тем, отчего с таким накалом латиноамериканское, черное и арабо-исламское меньшинства в США демонстрируют отсутствие у них желания следовать «современным» правилам поведения и, напротив, тягу к тому, что в американской литературе именуется «традиционным образом жизни».

Группу этнически гомогенных конгломератов дают Япония и Южная Корея, в которых границы анклавов современного и традиционного поведения существуют в перемежающейся форме: одни и те же индивиды (или их группы) воплощают в зависимости от ситуации то современный (в бизнесе, в городе), то традиционный (в быту, в деревне). К этой второй группе есть основания отнести Россию и Китай. В обеих странах в пределах одних и тех же этнических массивов различимы ан-

клавы современного (меркантилистского) и традиционного типов поведения, с той разницей, что в КНР ось соположения проходит по линии «побережье — внутренние районы», а в России она сопрягается с водоразделом «столицы — провинции».

Многообразие форм конгломератов и их автономность от универсальных закономерностей дают основание говорить о существовании особого типа развития обществ и межгосударственного сообщества в целом. Как антипод «поглощающему» его можно назвать равноположенным развитием.

Концепция линейного развития акцентирует неизбежность перехода одних форм в другие (не-западных — в западные). Равноположенное развитие позволяет преодолеть историко-мессианскую воинственность западной цивилизации. Оно постулирует возможность неразрушительных форм взаимовлияния стран и народов. Возникает «ненасильственное» обоснование идеи единства мира как общности, соединяющей противоположности, но не обрекающей их враждебному противостоянию в борьбе за сохранение идентичности каждой. Идея равноположенного развития и противостоит, и дополняет концепцию линейности, подчеркивая, что *разнородные элементы мира могут развиваться одинаково успешно, сохраняя за собой достаточные перспективы на будущее.*

Траектории движения к единству мира и перспективы его вестернизации

«Невместимость» международных реальностей в русло теорий глобализации сводит к воздействию фактора исторической асинхронности — отставания России и связанной с ней поясной зоны Центральной Евразии от Западной Европы и Северной Америки. Если полагаться на теории глобализации, то следует ожидать, что «отставшие» страны со временем «подтянутся» и избавятся от ненужной архаики. Это подготовит их к вхождению в мировое общество. При таком взгляде трудно возражать против того, что весь мир «естественно обречен» рано или поздно стать сплошным Западом, а международное сообщество — мировым обществом.

Теории глобализации строятся на понимании связей между субъектами как жестких и лучевых. Имеется в виду, что такие связи проникают повсюду и на своем пути все видоизменяют. Им отводится роль инструмента унификации мира.

Однако распространение импульса по лучу — не единственно возможный тип связей в международной среде. Они бывают не только жесткими, пронзающими и лучевыми, но и мягкими, гибкими и опоясыва-

ющими. А значит, передаваемое через них воздействие не обязательно должно «вонзаться вглубь», а может растекаться по поверхности, вдоль внешних мембран-оболочек объекта — что и происходит на деле. Видоизменяющие импульсы просачиваются сквозь мембраны — но постепенно, дозированно и в меру проницаемости мембран. Внешние импульсы способны менять внутренние структуры объектов, но не обязательно радикально.

Следуя такой логике, страны, не входящие в «гетто избранничеств» мирового общества (Россия в том числе), не обязательно должны поддаваться воздействию внешнего мира настолько, чтобы видоизменялась их сущность. Причем эти общества могут избегать уподобления, прагматично используя благоприятные элементы внешних воздействий, допуская их в одни и не допуская в другие сферы своей внутренней жизни. Япония и Корея, освоив западные стандарты бизнеса, не позволили внешним влияниям разрушить традиционные для них модели производственного поведения (отношение к работе как к сакрализованному долгу; соотношение между потреблением и отдыхом, с одной стороны, накоплением и трудовыми занятиями — с другой, в котором важнее считаются последние). Более того, сумев найти оптимальные сочетания новаций и архаики, эти страны сами приобрели черты новой субъектности, выступая в качестве образца для подражания в глазах самих западных обществ.

Общества и элиты многих стран мира в равной мере нуждаются как в современном, так и архаичном. И до тех пор пока эта мотивировка сохраняется, конгломератная структура общества не изменится.

Можно ли считать, что совокупность современных международных отношений представляет собой конгломерат? Отвергать эту версию оснований нет. Ни практически, ни теоретически мир не утратит цельности, усомнившись в монополии линейно-прогрессивного *credo*. Движение-развитие может происходить по колебательным, спиралеобразным и даже более сложным траекториям. Например, спиралевидно-циклический взгляд на историю объясняет рост безграмотности среди отдельных категорий населения США и России в 1990-х годах.

Взгляд на мир как на конгломерат взаимодействующих, но не обреченных на взаимное уподобление анклавов соответствует реальности. Во-первых, он органичнее сочетается с фактическим многообразием мира, находя естественное структурное местоположение и функцию как для западных, так и незападных его составляющих. Мир перестает делиться на «Запад» и «недо-Запад», который должен стать Западом, но еще этого не сделал из-за националистического упрямства.

В идеале мир-конгломерат предстает состоящим из нескольких анклавов, непохожих и не стремящихся походить друг на друга, но взаимно влияющих и взаимно приспосабливающихся.

На «поверхности» такого образования постепенно складывается стабилизирующий его общий пласт разделяемых всеми ценностей (например, мира). Однако внутренняя организация каждого анклава не разрушается только потому, что более развитому анклаву (в данном случае мировому обществу) по экономическим, экологическим и ресурсным соображениям выгодно побыстрее освоить пространство соседних анклавов — даже ценой их разрушения.

Во-вторых, достоинство конгломератного видения мира — и в его примирительном характере, контрастирующем с воинственностью теорий, ориентирующих на поглощение «отсталого» «передовым» и борьбой «цивилизационных» сущностей за выживание. При конгломератном видении мировой антагонизм перестает быть неизбежным. Намечаются пути его предупреждения: отказ от форсированных попыток модернизации при помощи силы и интервенции. Конгломератный подход по-своему воплощает идею целостности мира. Он предполагает, что в планетарном организме действуют единые естественно-материальные закономерности, задающие человеческой общности основные параметры поведения. Но он противостоит попыткам преподнести один из вариантов рационализации этого поведения в качестве высшего достижения людского интеллекта.

Нелиберальные демократии в мировой политике

Обзор современной литературы убеждает, что Запад в целом удовлетворен международной ситуацией и его не пугает теоретически возможная фронда Китая, России и Индии. В 1990-х годах западноевропейцы и японцы были довольны «просвещенным авторитаризмом» американского лидера, опасаясь, правда, как бы США не «увлеклись» и не перестали считаться с мнениями более слабых партнеров[12]. В 2000-х годах их опасения подтвердились. Администрации Дж. Буша-младшего следовали линией «односторонних действий» (*unilateralism*). Они информировали союзников о своих решениях, но не прислушивались к их мнениям.

Дело дошло до того, что между США и некоторыми их европейскими союзниками возник серьезный конфликт по поводу применения силы против третьих стран, даже если в оправдание применения силы американские политики ссылались на необходимость борьбы с диктатурами в интересах распространения демократии. Даже в 1993 году, когда идея демократической экспансии впервые была применена к быв-

шим европейским социалистическим странам, ее реализация была сопряжена с угрозой вооруженных конфликтов в Восточной Европе. Но тогда основная часть населения этого региона была настроена в пользу демократизации, и по-настоящему серьезный конфликт из-за форсирования демократизации произошел только на территории бывшей Югославии. При этом страны ЕС (а в 1991–1997 годах — даже Россия) в целом были на стороне США в том, что касалось демократизации при помощи силы и интервенции. Ценность демократизации заслоняла ценность мира. Идеология и политика оказались превыше, казалось бы, непреходящей значимости человеческой жизни и выживания. Парадокс состоял в том, что война оправдывалась желанием защитить права человека. Но как бы то ни было, был создан прецедент: демократизация была поставлена выше мира. На щит была поднята концепция «гуманитарной интервенции», а демократизацию стали рассматривать как главный инструмент защиты прав человека.

В США постарались извлечь из этого максимальную выгоду. В 2000-х годах, по сути дела развивая идеи гуманитарной интервенции, американские политологи и политики выдвинули целый ряд теоретических построений. Концепции «смены режимов» (условно датируется выступлением Дж. Буша перед Конгрессом 29 января 2002 года), «упреждающих ударов» (выступление Дж. Буша в Военной академии Вест-Пойнт 1 июня 2002 года) и «принудительного разоружения» (выступление Дж. Буша в Национальном университете обороны Вашингтона 11 февраля 2004 года) администраций Дж. Буша были построены на идее легализации, придания статуса международно-правовой нормы, прецедентов вооруженных интервенций США в случаях, когда американская администрация находила это нужным и неопасным для Соединенных Штатов.

Концепция «смены режимов» (*regime change*) предусматривала возможность применения силы против любого правительства, которое казалось недемократическим с точки зрения США и поэтому склонным к планированию акций, потенциально опасных для безопасности Соединенных Штатов. Активнее других эту концепцию пропагандировала Кондолиза Райс, занимавшая в 2000–2004 годах пост помощника президента США по национальной безопасности. Угрозы относительно смены режимов адресовались американской администрацией так называемым неблагонадежным государствам и государствам-изгоям (*rogue states*). В их ряд были зачислены Ирак, Иран, Северная Корея, Судан и Ливия (позднее исключенная из этого списка). Фактически это означало, что в Вашингтоне рассматривают возможность применения военной силы против этих стран. Причем такое применение силы провозг-

лашалось возможным не только в порядке ответа на враждебные действия названных государств, но и в порядке профилактики.

Начавшись в 1993 году с вполне мирного плана оказания помощи демократическому развитию бывших социалистических стран Европы, идея распространения демократии к 2003 году трансформировалась в воинственную доктрину произвольного применения силы против любых стран, недемократических с точки зрения США. Демократизация мира перестала быть проектом мирной трансформации.

Опасность такого поворота напугала даже американских союзников. В 2003 году в связи с нападением США и Британии на Ирак под лозунгом «смены режима» в этой стране возник дипломатический конфликт между Вашингтоном, с одной стороны, и Францией и Германией — с другой. Для стран, расположенных вне пояса «мирового общества», картина американского лидерства выглядела не только вызывающей, но и угрожающей. Стремление США при помощи военной силы «учредить демократический порядок» на Ближнем и Среднем Востоке, в Восточной Азии и других частях мира вызвало рост антиамериканских настроений, продолжавшийся почти до самого конца 2000-х годов.

Воинственность администраций республиканцев в США в эти годы вызвала раздражение не только зарубежной, но и американской общественности. Многих американцев, в частности, задевало то обстоятельство, что администрация Дж. Буша оправдывала свой воинственный внешнеполитический курс ссылкой на необходимость помочь распространению демократии. При такой постановке вопроса демократизация оказывалась накрепко связанной с ведением войн. Американские либералы считали, что это компрометирует демократическую идею.

В образованной части американской элиты (прежде всего в кругах, близких к демократической партии) возник запрос на концепцию, которая могла бы освободить идею демократического развития мира от пугающих ассоциаций с неизбежностью новых войн за демократизацию — особенно вдали от американской территории. Решающую роль в популяризации такой концепции сыграл американский аналитик и журналист Фарид Закария. В 2003 году он опубликовал работу, в которой были укрупнены и развиты тезисы о *нелиберальной* демократии, контурно намеченные американскими востоковедами Дэниэлом Беллом, Дэвидом Брауном и Канишка Джаясурия еще в 1995 году в их исследовании о политических режимах стран АСЕАН[13].

Те в свою очередь довели до уровня протоконцепции идею выдающегося американского специалиста по Дальнему Востоку Роберта Скалапино, в 1992 году предложившего понятие «авторитарный плюрализм»

(*authoritarian pluralism*) и обосновавшего его «потенциально демократическое» содержание в Советском Союзе в эпоху «перестройки», в Китае при Дэн Сяопине и других азиатских «ленинистских государствах»[14].

Концепция нелиберальной демократии несла в себе несколько важных новаций. *Во-первых*, в ней четко говорилось о том, что американская и западноевропейские модели демократии при всей их зрелости и совершенстве на самом деле не являются ни нормативными в строгом смысле слова, ни единственно возможными. Следовательно, естественно ожидать появления в мире других демократических моделей, которые могут и, скорее всего, будут довольно сильно отличаться от «классических». Примером таких отличных от западных моделей авторы называют модели, формирующиеся или сформированные в Японии, Индии, странах АСЕАН, Южной Корее, на Тайване и в других странах.

Во-вторых, ключевой характеристикой западных моделей политического устройства авторы концепции называют *не демократизм* (способность улавливать и выражать мнение большинства), а *либерализм* (отсутствие ограничений на свободу самовыражения, терпимость к инакомыслию и способность гарантировать учет в политике мнений меньшинства). Отсюда следует положение о возможности существования в мире демократических моделей, допускающих более или менее существенные ограничения (иногда временные) свободы граждан на самовыражение.

В-третьих, сторонники этой теории считают возможным легитимацию нелиберальных демократий. Их предлагается признавать и избирательно поддерживать, хотя и ставить в один ряд с либеральными демократиями западного типа. Ключевым аргументом в пользу сдержанно одобрительного отношения к нелиберальным демократиям является тезис о том, что они содержат в себе, хотя в ограниченной и неразвитой форме, демократические механизмы и процедуры. Последние при благоприятных обстоятельствах могут дать возможность в перспективе перерастания нелиберальной демократии в «обычную».

В-четвертых, авторы концепции непривычно смело указывали на важность внимательного отношения и адекватной оценки встроенных механизмов ограничения авторитарности даже в таких, казалось бы, воинственно традиционалистских исламских странах, как Иран и Саудовская Аравия. В обоих государствах традиционно сильны механизмы представительства власти духовенства, влияние которого заметно сужает сферу произвола глав соответствующих государств и в этом смысле выполняет «объективно антитоталитарную роль», усиление которой теоретически может оказаться одной из внутренних предпосылок формирования иранской или саудовской модели нелиберальной демократии или «плюралистической авторитарности».

При всей спорности некоторых положений концепции нелиберальной демократии нельзя не отметить ее оздоравливающего влияния на политическую теорию и ограничение либеральной ортодоксии (либерального фундаментализма), которая в 2000-х годах, в сущности, послужила идейным основанием американских доктрин «смены режимов» и «превентивных акций». Новая концепция объективно работает на ограничения американского мессианизма и уменьшение готовности США идти на новые военные авантюры, оправдывая их борьбой с авторитарностью.

Противоречия современного миропорядка

Мир продолжает меняться. *Во-первых*, изменилась его конфигурация. После 1991 года его можно было считать биполярным только в военно-силовом отношении, да и то с оговоркой об асимметрии возможностей США и России. США остались единственным комплексным лидером. Правда, классически однополярным мир не стал. Вместе с Соединенными Штатами функции полюса перешли к другим «старым» членам «группы семи» (в 2000-х годах она уже стала «группой восьми» за счет интеграции в нее России). Внутри этой группы, впрочем, США остались партнером «более равным, чем остальные».

Во-вторых, плюралистически однополярная структура стала испытывать давление со стороны Китая и Индии. Пекин нарастил экономические и военные возможности, а Дели прорвался в 1998 году к обладанию ядерным оружием, что изменило военно-стратегический баланс в Центральной Евразии. И Индию, и особенно Китай беспокоит стремление США создать условия для возможного будущего расширения зоны влияния НАТО в глубь Евразии.

В то же время можно констатировать, что ключевые международные решения сегодня принимаются менее централизованно, чем в условиях биполярности 1945–1991 годов. Тенденцию к децентрализации поддерживает «рассеянная антизападная фронда» Китая, России, арабо-исламского мира, а также позиция многих латиноамериканских государств.

Но самое главное — отношения между США и «старыми» странами Евросоюза. Во второй половине 2000-х годов они стали другими. После «ссоры» из-за войны против Ирака последовала полоса охлаждения отношений США с Францией и Германией. Ничего фатального в этом, конечно, не было. Все три державы были слишком плотно спаяны друг с другом, чтобы можно было ожидать разрыва между ними. Но за шесть-семь лет между началом иракской кампании и уходом от власти администрации республиканцев в январе 2009 года французские и германские политики получили шанс понять: их отношения с США могут оста-

ваться стабильными при гораздо меньшей близости взглядов, чем это считалось необходимым в годы биполярности.

Вашингтон был шесть лет недоволен политикой Берлина и Парижа, но это не вылилось в ухудшение отношений с ними. Американцы себе его не позволили или не смогли позволить. Значит, при демократической администрации Б. Обамы европейцы могут рассчитывать на расширение пространства автономии действий и мнений в отношениях с США, ничем не рискуя. Плюрализм может нарастать по линии отношений внутри «группы восьми» и НАТО. Оставаясь «плюралистически однополярным», мир становится менее централизованным.

В-третьих, в политике Запада в целом с 1996 года нарастает готовность применять силу. Видоизменены мотивировка американского присутствия в Европе и его материально-технические основы (сокращены воинские контингенты и выведено ядерное оружие). Но одновременно продолжается выдвижение передовых рубежей НАТО на Восток. В 2008 году началась реализация планов размещения в Восточной Европе элементов инфраструктуры американской системы ПРО, которую российские военные считают способной частично нейтрализовать военные возможности России. В августе 2008 года последовала первая после 1983 года вспышка напряженности в отношениях между НАТО и Россией из-за конфликта между Грузией и Россией в связи с событиями в Южной Осетии.

В-четвертых, произошел концептуальный сдвиг в понимании элементов международного порядка. После кризисов конца 1990-х годов в Боснии и Косове мировое общество фактически отказалось от принципа разрешительности (*laissez–faire*), который со времен Вестфальского мира 1648 года считался основополагающим и предусматривал свободу действий суверенных государств во внутренней политике, если они непосредственно не угрожали безопасности других стран.

Во время войны в Косове страны НАТО вмешались во внутренние дела Сербии, не граничившей ни с кем из членов альянса. Стало ясно, что в своих действиях НАТО руководствуется новым пониманием международного порядка. Страны альянса присвоили себе право не только определять, насколько легитимны внутриполитические действия суверенных правительств, но и устанавливать пределы «чужого» суверенитета.

Сказанное не означает, что в мире отсутствует порядок. Он существует — но он основан на силе и практике злоупотребления ею самой сильной державой. Существует ясное соотношение сил и возможностей, определяющих иерархию стран в мировой политике. Все понимают, какие государства и группировки занимают верхние ступени пирамиды, а какие теснятся у подножия. Большинство стран мира, согла-

шаясь или не соглашаясь с фактическим положением дел, принимают его в расчет, строя свою политику.

В мире существует — слабый и несовершенный — согласительный механизм. Если попытки мирового общества руководить международным сообществом рождают острые конфликты, фактические демиурги главных международных решений могут улаживать их с помощью ООН.

Институты неформального регулирования международных отношений («группа восьми») остаются полуоткрытыми. Формально в них может участвовать в будущем Китай. И хотя новые члены группы вряд ли скоро сравняются со старыми, взаимодействие в рамках «восьмерки» лучше отсутствия диалога и разобщенности. Скверное управление миром не хуже полной неуправляемости.

Современный международный порядок не кажется надежным. Слишком многие страны отчуждены от участия в мировом регулировании, и слишком откровенно строители порядка полагаются на силу. России современный порядок не благоприятствует, по ходу его формирования ей выпало играть ограниченную роль. Нашу страну в мировом раскладе сил учитывают — в силу ее огромного геополитического потенциала и остаточной военной мощи. Но партнеры учитывают и ее неспособность эффективно распорядиться ресурсами, сформулировать цели, отвечающие ее потребностям и возможностям, в том числе неумение в нужный момент сосредоточить средства на приоритетных направлениях.

По своей геополитической природе Россия — хрупкое образование. В краткосрочной перспективе нынешняя формула включения в экономико-производительную сферу мирового общества способна поднять материальное благосостояние российского населения. Она сегодня позволяет россиянам жить лучше, чем гражданам бедных ресурсами Украины, Болгарии, Грузии или Армении. Смущает роль сырьевого придатка более развитой части мира.

Первое десятилетие нового века стало успешным с точки зрения экспансии мирового общества в отдаленные уголки планеты. В момент распада биполярности демократическое ядро международного сообщества сделало рывок к формированию мирового общества планетарного масштаба. Вместе с тем обнаружилось, что Запад руководствовался упрощенной картиной мира. Не утрачивая единства, реальный мир стал проявлять себя как организм, склонный развиваться не только в направлении вестернизации. Избавившись от страха оказаться втянутыми в военный конфликт между ядерными державами, многие страны стали более критично оценивать выгоды и потери от движения по пути превращения в «часть Запада».

Примечания

[1] *Bull H.* The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics. New York: Columbia University Press, 1995. Ch. 1, 2. P. 3–50, 36, 39.

[2] При обсуждении проблем синергетики среди отечественных журналов гуманитарного направления лидируют «Вопросы философии» (см., например, серию статей на эту тему в № 3 за 1997 год). Пионер в практическом использовании аналитических возможностей синергетики в отечественной политической науке — Марат Чешков (см.: *Чешков М. А.* Глобальный контекст постсоветской России: Очерки теории и методологии мироцелостности. М.: МОНФ, 1999). Следует назвать также Леонида Бородина, работающего, однако, преимущественно на историческом материале. Из молодых международников более других синергетическому подходу уделяет внимание Денис Темников.

[3] *Ленин В. И.* Что делать? // Полн. собр. соч. Т. 6.

[4] В подсознании звучит цветаевское возвышенно-трагическое «гетто избранничеств» (см.: *Цветаева М.* Поэма конца: Стихотворения. Поэмы. Драматические произведения // Соч. М.: Художественная литература, 1980. Т. 1. С. 393) и одновременно «снижающее» раннесоветское «лучше меньше, да лучше».

[5] Этот термин употребляется безоценочно, как синоним слов «распространение» и «расширение».

[6] Практически никто из российских авторов не решается оценивать глобализацию отрицательно. Однако в их публикациях звучит мотив тревоги по поводу преувеличения положительных последствий глобализации для международных отношений и развития отдельных стран.

[7] *Sassen S.* Losing Control? Sovereignty in the Age of Globalization. New York: Columbia University Press, 1996. P. 31–33.

[8] *Julius D.* Globalization and Stakeholder Conflict: a Corporate Perspective // Intern. Affairs. 1997. № 3. P. 453–455.

[9] *Зонова Т. В.* От Европы государств к Европе регионов? // Полис. 1999. № 5.

[10] *Lauterpacht E.* Sovereignty — Myth or Reality? // Intern. Affairs. 1997. № 1. P. 137–139.

[11] В сходном смысле, но в совсем ином контексте употребляет термин «многосоставные общества» американский ученый Аренд Лейпхарт. См. его работу «Многосоставные общества и демократические режимы» (Полис. 1992. № 3). См.: *Его же:* Демократия в многосоставных обществах. Сравнительное исследование. М.: Аспект Пресс, 1997 (*Lijphart A.* Democracy in Plural Societies. A Comparative Exploration. New Haven: Yale University Press, 1977).

[12] Вполне показательна в этом смысле работа французского автора Ж.-М. Генно. Давая вполне объективный анализ противоречий современного развития, он, кажется, ничем так сильно не обеспокоен, как нарастающим, по его мнению, нежеланием Вашингтона разделить бремя лидерства с Европой (см.: *Guehenno J. M.* Globalization and the International System // Journal of Democracy. 1996. № 4. P. 30).

[13] *Zakaria F.* The Future of Freedom. Illiberal Democracy at Home and Abroad. New York.; London: W. W. Norton and Company, 2003; *Bell D., Brown D., Jayasuriya K.* Toward Illiberal Democracy in Pacific Asia. London: MacMillan, 1995.

[14] «...эта система характеризуется жесткой политикой, ограничением свобод и преобладанием личности, а не закона в процессе принятия решения. В то же время — существованием гражданского общества, отделенного от государства, и наличием — в зависимости от конкретных условий — значительного автономного пространства в сферах религии, образования и семейных отношений. Более того, в экономике присутствует значительный рыночный элемент, хотя и при сильной финансовой, направляющей и планирующей роли государства, реализуемой посредством политики неомеркантилизма». — Письмо Р. Скалапино к А. Д. Богатурову от 10 февраля 1992 года.

Глава 3

Противоречия распространения демократии

На протяжении столетий понятия «суверенитет» и «демократия» были связаны. Со времен американской и французской революций XVIII века в основу демократических государств был положен принцип «национального суверенитета». Речь шла о праве народа осуществлять верховную власть через выборных представителей в пределах определенной территории. Источником легитимности политической системы стала ссылка на волю большинства населения.

В начале XXI века ситуация изменилась. Категории демократии и суверенитета были противопоставлены друг другу[1]. Во внешнеполитических стратегиях стран ЕС и США закрепилась концепция «нового интервенционизма» — вмешательство во внутренние дела других стран в гуманитарных целях. Дискуссии о «несостоявшихся государствах» (*failed states*) поставили вопрос о допустимости принудительного привнесения в них демократического типа государственности. Возникли предпосылки для появления конфликтов между нормами либеральной демократии и суверенитета.

Демократия и глобальное управление

Понятие «демократия», восходящее к древнегреческим словам «демос» (народ) и «кратос» (власть), появилось в политическом лексиконе во времена Античной Греции. Единого понимания этого термина нет. Дословно демократия означает «власть народа». Однако не ясно, какую общность следует считать народом и какой политический механизм позволяет народу эффективно реализовывать право на верховную власть.

В современной западноевропейской и американской политической литературе сложилось несколько трактовок термина «демократия»[2]. Первая — «*минималистская концепция*» (*minimaliste conception*). Ее представители (Йозеф Шумпетер, Вильям Рикер, Адам Пшеворский, Ри-

чард Роснер) рассматривают демократию как систему управления, в которой граждане через механизм выборов делегируют институтам свои права на политическую власть[3]. Граждане не могут сами выполнять управленческие функции: для этого у них нет времени, знаний и представлений о том, чего они хотят. Задача демократических институтов заключается в обеспечении контроля над деятельностью народных представителей и реализации принципа сменяемости власти.

Вторая концепция — *«инструментальная»* (*aggregative*). Ее представители (Энтони Доун, Габриэль Алмонд, Толкотт Парсонс, Сидней Верба) видели в демократии совокупность правовых норм и предпочтений граждан[4]. Подобную систему можно представить как набор правовых механизмов, призванных обеспечить равновесие в обществе — «механический агрегат». Демократия выступает как процесс перманентного поиска «среднего арифметического» между интересами разных групп.

Третья — *«совещательная»* (*deliberative*) — концепция постулирует, что решения в демократическом государстве принимаются посредством дебатов и совещаний. Ее представители (Юрген Хабермас, Джон Элстер, Эми Гутман, Денис Томпсон) утверждают, что демократичность политической системы прямо пропорциональна ее информационной открытости[5]. Особое место в рамках этого направления занимают работы американского политолога Джеймса Фишкина. Последний доказывал, что технология социологических опросов формирует общественное мнение в нужном власти ключе. Поэтому для функционирования «подлинной демократии» необходимо создать механизм полноценного общения между выборными представителями и народом[6].

Четвертый подход — *концепция «демократии соучастия»* (*participatory democracy*) — основан на идее участия граждан в управлении. Речь идет о готовности граждан интересоваться политической жизнью и влиять — через механизмы выборов, публикаций в СМИ или судебных разбирательств — на действия власти и выработку правовых норм[7]. Представители этого подхода (Хана Аренд, Артур Шлезингер, Филипп Шмиттер) ставят на первое место гражданскую активность — готовность населения принимать решения и нести ответственность за их последствия[8].

Пятый подход — *юридический* — выводит демократию из категорий гражданской и конституционной свободы. Его представители (Гвидо де Руджеро, Морис Ориу, Виктор Леонтович) полагают, что устойчивая демократия возможна там, где конституционное право (гарантии политических прав и свобод) дополняется гражданским (незыблемость прав гражданина на собственность)[9]. Через систему гражданских свобод в обществе утверждается «гражданская культура»: независимость частной сферы жизнедеятельности гражданина от государства. Но «гражданская

культура» предполагает и наличие интереса граждан к политической жизни, их готовность реализовывать правовые решения. Поэтому, с точки зрения юридического подхода, для создания демократического общества нормы гражданского права необходимо принять раньше права конституционного.

Основой демократической системы считаются:

- введение механизма свободных выборов, обеспечивающих сменяемость власти;
- отношение к государству как выразителю воли большинства населения;
- существование развитой публичной сферы — открытого процесса принятия политических решений и контроля над ним со стороны СМИ;
- согласие граждан участвовать или, по крайней мере, интересоваться деятельностью государственных институтов;
- принятие норм гражданского права, основанного на наличии у гражданина неотчуждаемой частной собственности;
- разделение власти на три независимые друг от друга ветви: законодательную, исполнительную и судебную;
- наличие независимой судебной власти.

Эти характеристики в совокупности образуют ту модель, которая в западной политологии называется «*либеральной демократией*». Данная концепция зародилась в англосаксонской политической философии XVII века. Основными характеристиками либеральной демократии считались право гражданина участвовать в управлении через механизм выборов, открытость политической сферы за счет конкуренции политических сил, существование независимых от государства СМИ и гарантии сохранения прав оппозиции в случае ее поражения на выборах. В дальнейшем теория либеральной демократии пережила три модификации.

Во-первых, она была дополнена теорией гражданского общества[10]. В эпоху Просвещения появились неформальные объединения: частные салоны, кафе, клубы, библиотеки, ложи, тайные общества. В XIX веке они оформились в легальные политические движения, партии и гражданские ассоциации. Эти организации образовали публичную сферу, наличие которой стало рассматриваться как необходимое условие для функционирования демократической системы.

Во-вторых, в нее был привнесен социальный мотив. К началу XX века в странах Западной Европы сформировалось социал-демократическое движение, выступавшее за сокращение социального разрыва ради сохранения общественной стабильности. Социал-демократы

предлагали ограничить экономические свободы граждан, допустив изъятие части сверхприбылей в пользу уязвимых слоев[11]. Эти предложения вызвали критику у сторонников сохранения «чистого либерализма» XIX века (либертарианцев), опасавшихся вмешательства государства в жизнь граждан[12]. Но в период Великой депрессии 1929–1933 годов возникла потребность реализовать рекомендации социал-демократов. Либеральные демократии были дополнены социальными механизмами — подоходным налогом и бюджетной поддержкой социальных программ[13].

В-третьих, в общественно-политической мысли США и стран Западной Европы появились проекты создания *«сообщества демократических государств»*. Попытка создать такое сообщество впервые была предпринята после Первой мировой войны в виде Лиги Наций. После Второй мировой войны возникли представления, что в его основе должен был лежать определенный кодекс поведения его участников в отношениях друг с другом и внешним миром. Это сообщество, объединившее ведущие демократические страны Западной Европы и Северной Америки на базе таких структур, как ОЭСР, НАТО и ЕЭС/ЕС, получило неформальное название «Атлантического сообщества».

Ключевым направлением этой политики стало создание военно-политических блоков и частичная денационализация оборонной политики. Демократические страны Запада не отказались от национальных вооруженных сил. Но параллельно появились общие политико-военные институты, в рамках которых они консультировались по стратегически важным проблемам. Создание подобных блоков «солидарной ответственности» снизило вероятность военных конфликтов между демократиями.

Широкое распространение получили различные интеграционные проекты. Основой таких объединений стал принцип либерализации внешней торговли. Некоторые из них (прежде всего — Европейские сообщества) стали наполняться институционально-политическим содержанием. Межгосударственная интеграция стала рассматриваться как необходимый компонент отношений между демократическими странами.

Новую роль в теории либеральной демократии стала играть проблематика прав человека. В конце 1940-х были приняты документы, определившие «базовые права и свободы каждого человека». Возникло понятие «правозащитный стандарт» — минимум социальных политических прав человека, который должно гарантировать каждое демократическое государство. Постепенно в странах Западной Европы и США сформировались представления о безальтернативности либерально-демократической модели развития[14].

«Нефтяные шоки» 1970-х годов привели к созданию «группы семи» — неформального клуба ведущих либерально-демократических

стран по согласованию их интересов. Закреплению подобных подходов способствовал обозначившийся в начале 1980-х годов кризис советской системы, служивший доказательством тезиса об эффективности либерально-демократической модели.

Новый ракурс получила теория гражданского общества. В начале XX века это понятие обозначало *систему социальной интеракции* между экономикой и государством, состоящую из сфер близкого общения, объединений, социальных движений и публичной коммуникации[15]. Во второй половине XX века его смысл расширился. Понятие «гражданское общество» стало трактоваться как сфера добровольных коллективных действий граждан по защите общих интересов и сохранению общих ценностей. Возникли школы, утверждавшие, что политика национальных государств должна подчиняться интересам «глобального гражданского общества»[16].

Теоретические подвижки видоизменили концепцию либеральной демократии. К 1980-м годам проблема либерально-демократических ценностей стала подаваться через ее привязку к политике определенного блока государств. Возникла теория «глобального управления» (*global governance*), понимаемая как регулирование международно-политических процессов сообществом либерально-демократических стран. Возникло противоречие между идеей глобального управления и традиционными представлениями о государственном суверенитете.

«Всемирная демократическая волна» 1990-х годов

Под воздействием демократических преобразований в социалистических странах после 1991 года возродилось утраченное в конце XIX века представление о единстве мира и его поступательном движении в одном направлении.

Эти тенденции привели к появлению концепции «расширения демократии» как мирного варианта распространения либерально-демократических норм.

Идеологической основой этой политики на некоторое время стала *теория демократического транзита*. Первоначально она представляла собой теорию трансформации авторитарной политической системы в демократическую[17]. В 1970-х годах ряд неправительственных организаций разработали методики подсчета «индекса демократичности» каждой страны. Результатом их деятельности стал тезис о возможности ранжировать все государства на три группы: свободные, частично свободные и несвободные. Появились работы о необходимости помочь частично свободным и несвободным странам перейти в разряд свободных.

Поддержка демократических перемен в социалистическом содружестве привнесла новый смысл в теорию гражданского общества. В конце 1970-х годов возникла школа изучения взаимосвязей проблем гражданского общества и гражданского неповиновения[18]. Ее сторонники полагали, что у каждого общества есть неотъемлемое право на либерально-демократические ценности. Отсюда следовал вывод: у каждого общества есть право бороться за их приобретение и рассчитывать на поддержку других либеральных демократий[19]. Оба постулата нашли отражение в доктрине «нового глобализма» президента США Р. Рейгана в 1985 году.

Параллельно, в 1980-х годах, сформировались представления о взаимосвязи либеральной демократии с рыночной экономикой. «Неоконсервативная» волна 1980-х годов возродила постулат о том, что свобода экономической деятельности — необходимая предпосылка появления гражданских свобод. В 1989 году такая экономическая политика получила международное закрепление в виде «Вашингтонского консенсуса». Речь шла о создании модели экономического регулирования, основанной на преобладании сектора услуг над промышленностью, свободе торговли, «плавающих» валютных курсах, малом бюджетном дефиците и преобладании социально-экологических расходов над инвестициями в реальное производство. Страны, отказавшиеся от этой модели, воспринимались как маргиналы. Принятие либеральной экономической модели стало рассматриваться как необходимый этап для перехода к либеральной демократии.

В первой половине 1990-х годов администрация Уильяма Клинтона (1993–2000) преобразовала эти наработки в комплексную внешнеполитическую стратегию[20]. 21 сентября 1993 года помощник президента США по национальной безопасности Энтони Лейк провозгласил содействие демократизации бывших социалистических режимов в Евразии внешнеполитическим приоритетом Вашингтона. На саммите Североатлантического альянса в Брюсселе 9–11 января 1994 года администрация У. Клинтона добилась принятия тезиса о тождестве процессов «расширения демократии» и «расширения НАТО».

14 июня 1993 года на саммите в Копенгагене Европейский совет утвердил набор критериев для стран-кандидатов на вступление в ЕС. «Копенгагенские критерии» предусматривали наличие у страны-кандидата демократических институтов, верховенства законов, гарантированных прав меньшинств и рыночной экономики. От государства-кандидата требовалось привести законодательство в соответствие с критериями ЕС. 16 июля 1997 года Европейская комиссия разделила страны ЦВЕ и Балканского полуострова на три группы и наметила график их вступления в Евросоюз.

Вариантом такой политики стала *демократизация стран ЦВЕ*. Механизмом контроля над этим процессом стала принятая в январе 1994 года программа НАТО «Партнерство ради мира». Она была призвана повысить оперативную совместимость вооруженных сил стран альянса и государств-партнеров для проведения совместных операций. Их проведение требовало реформ министерств обороны, генеральных штабов, министерств финансов и системы бюджетного планирования. Большинство этих рекомендаций было выполнено, и к 2004 году страны ЦВЕ были приняты в НАТО.

Более сложными были задачи Европейского Союза. Пытаясь достичь «Копенгагенских критериев», правительства этих государств проводили политику приватизации и сокращения бюджетного дефицита в соответствии с рекомендациями Международного валютного фонда (МВФ) и Мирового банка (МБ). Одновременно они поощряли развитие многопартийной системы. Но страны Евросоюза не протестовали против проводившейся в бывших коммунистических странах люстрации[21] и не ставили вопросы о положении этнических меньшинств (русского населения стран Прибалтики). Вступление этих стран в ЕС в 2004 году было авансом на приведение в будущем их законодательства в соответствие с правозащитными стандартами Евросоюза.

Новым вариантом этой политики, возможно, станет разработанная странами ЕС в мае 2008 года программа «Восточное партнерство». Официально она представляет собой план развития отношений Европейского Союза с шестью республиками бывшего СССР. Речь идет об упрощении визовых процедур, введении режима свободной торговли и заключении соглашений о стратегическом партнерстве между участниками проекта и ЕС. Но реализация этой программы потребует реформы финансово-экономической политики стран-партнеров. Без наличия специального секретариата процесс проведения реформ пограничных и таможенных служб участников программы будет контролироваться непосредственно Европейской комиссией.

Иной вариант демократизации был реализован *в странах Латинской Америки*. Ключевым механизмом содействия процессам латиноамериканской демократизации Запад видел принятие ими либерально-экономической модели. Инструментом такого воздействия стала политика МВФ, который в соответствии с «планом Бейкера» (1985) стал выдавать кредиты только при реализации условий «Вашингтонского консенсуса». Получив кредиты МВФ, латиноамериканские страны сокращали бюджетный дефицит, поддержку сельскохозяйственных производителей, экспортные пошлины и одновременно поддерживали высокий курс национальных валют. Распространилась практика пре-

доставления налоговых льгот транснациональным корпорациям (ТНК) для освоения нефтегазовых месторождений и создания прослойки связанного с их деятельностью среднего класса. Администрации Дж. Буша-старшего и У. Клинтона полагали, что эти действия создадут в странах Латинской Америки социальные слои, заинтересованные в либеральной демократии.

Результаты такой политики были неудачными. Сокращение бюджетных дефицитов под контролем МВФ привело к усилению социальной напряженности. Финансовые кризисы в Мексике (1994), Бразилии (1998) и Аргентине (2002) вызвали рост популярности левой оппозиции в латиноамериканских странах. В 2000-х годах к власти пришли леворадикальные (Венесуэла, Боливия, Никарагуа) или умеренно-левые (Аргентина, Чили, Парагвай, Гондурас, Бразилия) правительства. Большинство из них свернули сотрудничество с МВФ и вернулись к политике государственной поддержки сельскохозяйственных производителей. Радикальные режимы в Венесуэле и Боливии осуществили даже национализацию нефтегазовой и горнорудной сферы, изъяв их из-под юрисдикции ТНК. В 2005 году страны Латинской Америки отвергли предложение госсекретаря США К. Райс создать особую Группу содействия демократии при Организации Американских Государств. Попытки мягкой «демократизации» Латинской Америки за счет экономических механизмов оказались неэффективными.

Особым вариантом политики демократизации была поддержка демократических реформ в *Российской Федерации*. В начале 1990-х годов руководство Б. Н. Ельцина нуждалось в международном признании РФ в границах 1991 года и помощи в вывозе советского ядерного оружия с территорий Белоруссии, Казахстана и Украины. 17 июня 1992 года президенты Б. Н. Ельцин и Дж. Буш-старший подписали в Вашингтоне Хартию российско-американского партнерства и дружбы. В ней оговаривались принципы, которым обязалось следовать в своей внутренней политике российское правительство (демократия, свобода, защита прав человека, уважение прав меньшинств). В западной литературе появилось выражение «домашнее задание России»: проведение внутренних преобразований в обмен на подготовку к партнерству с Западом. США и страны ЕС поддержали Б. Н. Ельцина в ходе его противостояния с Верховным Советом (1993) и Коммунистической партией РФ (1996). Левая оппозиция обвиняла курс Б. Н. Ельцина в ущемлении национального суверенитета ради демократизации по западным схемам.

Но поддержка демократических реформ в России странами ЕС и США не предполагала предоставление ей крупных экономических кредитов. Финансовые средства выделялись на процесс выполнения Дого-

вора СНВ-1 (1991) и строительство хранилищ для высвободившихся в этом процессе расщепляющихся материалов. В 1995 году Соединенные Штаты приняли доктрину «взаимно гарантированной безопасности», в которой судьба американского «возвратного потенциала» (боеголовки, снятые с оперативного дежурства) была поставлена в зависимость от успеха демократических преобразований в России. В Москве возникло ощущение, что условием демократизации России выступает ее одностороннее ядерное разоружение[22].

Эти настроения усиливались на фоне растущих противоречий между Россией и США вокруг расширения НАТО, нераспространения, гуманитарного вмешательства и энергетической безопасности. После отказа РФ от ратификации первоначального варианта Договора СНВ-2 (1995) и американских проектов СНВ-3 (1997; 2000) в западных СМИ последовали публикации о «провале российского демократического транзита».

В начале XXI века стратегия поддержки демократических реформ была дополнена еще одним сценарием. Речь идет *о феномене «цветных революций»* в Югославии (2000), Грузии (2003), Украине (2004), отчасти — Ливане (2005) и Киргизии (2005). В каждом из этих государств возникал внутриполитический кризис после проведения президентских или парламентских выборов, который завершался широкими акциями протеста и падением действующих режимов. Политологи спорят о том, какую роль в этих событиях играли американские неправительственные организации. Как бы то ни было, большинство участников этих «революций» проходили стажировку в рамках различных образовательных программ в США и/или странах Европейского Союза. Речь фактически шла о замене старой элиты новым поколением политиков, сформировавшимся в принципиально иной социокультурной среде. *«Цветные революции» были мягким вариантом политики «смены режимов».*

На протяжении 1990-х годов проблематика демократизации была центральным сюжетом международных отношений. В ходе ее поддержки западные страны воздействовали на сферы, которые прежде считались прерогативой национального суверенитета. На фоне успехов интеграционных процессов эти подвижки привели к росту популярности концепций «отмирания суверенитета». Возник пласт литературы о том, что интересы «глобального гражданского общества» требуют отказа от «узкоэгоистических» национальных интересов и перехода к мышлению категориями мирового общества[23].

К началу 2000-х годов политика «расширения демократии» стала ассоциироваться в незападных странах с политикой ограничения суверенитета в интересах Запада.

Международная практика «принудительной демократизации»

Расширение демократии происходило на фоне утверждения политики «принудительной демократизации». Речь идет о комплексе мер по ограничению суверенитета определенной страны ради утверждения в ней либерально-демократической системы[24]. Такой подход опирался на дипломатическое давление, введение санкций, поддержку оппозиции, международную изоляцию соответствующего режима. К началу XXI века такая стратегия стала допускать использование силы.

Первым опытом «принудительной демократизации» стало *переустройство немецкой политической системы*. На Потсдамской конференции 1945 года союзники провозгласили политику денацификации, демократизации, демилитаризации и декартелизации страны. Германия была лишена суверенитета и разделена на зоны оккупации. В 1946 году был проведен Нюрнбергский процесс, осудивший преступные планы Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), преступления высших чиновников Рейха, Вермахта и СС, а также саму нацистскую идеологию. По требованию западных союзников в новой конституции ФРГ были зафиксированы основные гражданские свободы. В 1949 году в западной зоне оккупации прошли выборы в бундестаг, после которых была создана Федеративная Республика Германия.

Более сложно развивалась ситуация вокруг *Японии*. В 1947 году штаб американских оккупационных войск под руководством генерала Дугласа Макартура внес радикальные поправки в японскую конституцию 1889 года, которые полностью изменили ее характер. В Японии был установлен режим парламентарной демократии, произошла либерализация системы образования и ликвидация крупных компаний дзайбацу, служивших базой для военного производства. Однако в Японии была сохранена монархия.

До настоящего времени «державы-победительницы» сохраняют режим частичного ограничения суверенитета Германии и Японии. Московский договор 1990 года снял с Германии остатки оккупационного статуса, но сохранил запреты на проведение референдумов по военно-политическим проблемам, требование вывода всех иностранных войск, принятие внешнеполитических решений без консультаций с «державами-победительницами» и развитие ряда компонентов вооруженных сил. Конституция 1947 года сохраняет отказ Японии от войны как суверенного права нации. Американо-японские договоры безопасности 1951 и 1960 годов предусматривают условия постоянного присутствия войск

США на японской территории. Эти ограничения призваны гарантировать сохранение демократического вектора развития Германии и Японии.

Объектом «принудительной демократизации» стал расистский режим *Южной Африки*. С конца 1940-х годов в ЮАР сформировался режим апартеида — система разных политических прав у расовых общин. Критика апартеида стала причиной выхода ЮАР в 1961 году из состава Британского содружества. В 1973 году Генеральная ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о пресечении преступлений апартеида и наказании за него. Документ допускал возможность введения каждым государством—членом ООН санкций против ЮАР с целью побуждения ее к отказу от политики апартеида. В конце 1980-х годов с критикой Претории стали выступать США. Это подвигло президента Фердинанда де Клерка (1989–1994) пойти на демократические реформы: в 1994 году была принята новая конституция ЮАР, отменившая апартеид.

Более жесткому давлению подвергался режим в *Южной Родезии*. В 1965 году белое меньшинство этой британской колонии провозгласило независимость и, подобно ЮАР, установило систему расовой сегрегации. Но страны Британского содружества не признали независимость Южной Родезии и ввели против нее экономические санкции. При посредничестве Британии режим Яна Смита и «умеренная» оппозиция заключили в 1978 году промежуточное соглашение, по условиям которого в стране были проведены выборы по квотам для белого и небелого населения. В 1979 году британский парламент подтвердил колониальный статус Южной Родезии и установил в стране переходный режим. Власть перешла к британскому губернатору Артуру Соумсу, а после всеобщих выборов в 1980 году — правительству во главе с лидером Африканской национально-освободительной армии Робертом Мугабе.

После распада СССР практика «принудительной демократизации» получила более широкое распространение[25]. Полигоном для апробации «нового интервенционизма» стала *Латинская Америка*. В 1989 году США провели операцию в Панаме по свержению диктатуры Мануэлья Норьеги. В 1994 году Вашингтон высадил десант на Гаити с целью свержения хунты во главе с генералом Раулем Седрой и возвращения свергнутого в 1991 году президента Жана-Бертрана Аристида. Свои действия Соединенные Штаты мотивировали взаимосвязью режимов в Панаме и Гаити с колумбийской наркомафией и необходимостью построения в этих странах полноценных государственных институтов. Новые правительства осуществляли политику экономической либерализации, приватизации и проведения демократических выборов.

Объектом применения такой политики стала и *Руанда*. После конфликта 1994 года на базе резолюции Совета Безопасности ООН № 1165 начал работать Международный трибунал по преступлениям в Руанде. В его задачи входило расследование преступлений, преследование виновных в актах геноцида, способствование примирению народностей хуту и тутси, а также «восстановление справедливости и законности в Руанде». Последнее означало, что ООН косвенно взяла на себя полномочия по восстановлению мира в стране и трансформации ее политической системы. Под воздействием ООН победивший Руандийский патриотический фронт тутси установил президентскую республику на основе демократических выборов.

По иной схеме развивалась демократизация *Либерии*. С 1989 года здесь шла гражданская война между силами Национального патриотического фронта во главе с Чарльзом Тэйлором, анархистской группировкой Йеду Джонсона и правительственными войсками Сэмьюэла Доу. В 1996 году страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) ввели в страну миротворческие силы ЭКОМОГ, материально-техническую помощь которым оказали США. Однако победу на президентских выборах 1997 года одержал Чарльз Тэйлор. Это привело к началу второй гражданской войны 1998–2003 годов, в ходе которой Гвинея и Соединенные Штаты добились его свержения. На президентских выборах 2005 года победила Элен Джонсон-Серлиф — бывший сотрудник Мирового банка и министр финансов правительства Ч. Тейлора. Политика демократизации Либерии стала проводиться с опорой на рекомендации ООН и международных финансовых институтов.

Подобная схема была применена и к *Сьерра-Леоне*. Конфликт в эту страну был импортирован из Либерии. В 1997 году в страну ввели миротворческие силы ЭКОМОГ, которые участвовали в военных действиях. В 1999 году была развернута миротворческая миссия ООН, костяк которой составили британские военнослужащие. При посредничестве ООН и ЭКОВАС в 2000 году враждующие стороны заключили мирный договор. Сьерра-Леоне вернулась к довоенному режиму президентской республики и начала политику экономической либерализации.

Стратегия «принудительной демократизации» использовалась и в ходе конфликтов *на Балканах*. Страны НАТО провели операции против боснийских сербов (1995) и Югославии (1999) под предлогом прекращения «гуманитарных катастроф» в Боснии и Косове. Эти акции создали условия для смены власти в *Союзной Республике Югославии*. В конце 1990-х годов в стране усилилась деятельность демократической оппозиции, что привело к политическому кризису в ходе президентских выборов 2000 года. В его ходе страны ЕС и США поддержали лидера Демократической оппо-

зиции Сербии Воислава Коштуницу. Среди его предвыборных обязательств значились институциональные реформы, борьба с коррупцией, экономические вопросы и интеграция в ЕС. Политика «демократизации» Югославии строилась, таким образом, на сочетании методов силового воздействия и дипломатической поддержке внутренней оппозиции.

Иной алгоритм был реализован в *Македонии*. В 2001 году начался конфликт между македонским правительством и албанским населением северо-запада страны. 12 августа 2001 года при посредничестве НАТО и ЕС были подписаны Охридские соглашения. Македонское правительство обещало предоставить албанцам юридическую и культурную автономию, а албанские формирования — разоружиться под контролем НАТО. Для выполнения договоренностей в Македонии в 2001–2002 годах была проведена миротворческая операция НАТО. С 2003 года ее заменила полицейская миссия ЕС. Страны Запада представили эти события как демократизацию политической системы Македонии — этап подготовки к ее будущему вступлению в НАТО и ЕС.

События на Балканах породили дискуссию о допустимости использования силы для «принудительной демократизации» других государств. На Вашингтонском саммите НАТО 23–25 апреля 1999 года был официально принят тезис о моральной оправданности «гуманитарного вмешательства». Оппоненты возражали, что подобные действия увеличивают потенциал конфликтности в межгосударственных отношениях. Стратегия «принудительной демократизации» могла, по мнению оппонентов, перерасти в полномасштабный вооруженный конфликт. Поэтому идеи сопротивления проектам «принудительной демократизации» нашли отражение в российско-китайском коммюнике (1997) и «большом» договоре России и КНР (2001).

После терактов 11 сентября 2001 года США встроили стратегию «принудительной демократизации» в контекст глобальной антитеррористической операции. Речь шла о принудительном создании демократических институтов на территории стран, освобожденных от власти транснациональных террористических сетей. В 2002 году администрация Дж. Буша-младшего заявила о возможности свержения «диктаторских режимов», подозреваемых в сотрудничестве с терроризмом и создании оружия массового поражения (ОМП). Стратегия «принудительной демократизации» приняла открыто силовые формы.

Полигоном для обкатки ее обновленного издания стал *Афганистан*. После проведения антиталибской операции осенью 2001 года США попытались построить здесь дееспособное государство. В декабре 2001 года в Бонне (Германия) прошла международная конференция всех конфликтующих сторон с участием бывшего короля Захир-шаха. Было

решено создать временное правительство во главе с Хамидом Карзаем. В 2004 году в стране была принята новая конституция, провозгласившая Афганистан демократической республикой с президентской формой правления. Контроль за деятельностью новых институтов осуществляют миротворческие силы, действующие с 2003 года в формате специальной операции НАТО. В 2006 году Североатлантический альянс создал также специальные «группы быстрого реагирования», призванные помочь правительству Х. Карзая восстановить контроль над «полевыми командирами».

В 2002 году администрация Дж. Буша провозгласила более амбициозный проект — демократизации «*Большого Ближнего Востока*». Целью этой политики было принудительное построение относительно стабильных демократических систем в ближневосточных странах. В Вашингтоне также полагали, что реализация проекта «Большого Ближнего Востока» позволит решить ряд стратегически важных для США проблем — от ослабления радикально исламистских движений до получения доступа к альтернативным Саудовской Аравии источникам энергоносителей.

Реализация этих мер оказалась затрудненной из-за просчетов США и социально-культурной специфики стран Ближнего Востока. Попытки принудительного экспорта демократии привели к победе радикально-исламистских движений. «Революция кедров» в Ливане и вывод из этой страны сирийских войск в 2005 году привели к усилению позиций движения «Хизбалла» и Второй ливанской войне 2006 года. На выборах в Палестинской автономии 17 марта 2006 года победу одержало радикально-исламистское движение «ХАМАС». Это привело к гражданской войне на Палестинских территориях и военной операции Израиля в секторе Газа 2008–2009 годов.

Наиболее крупной неудачей был опыт «принудительной демократизации» *Ирака*. В стране не оказалось влиятельных сил, готовых поддержать американскую политику. Суннитские общины были связаны с номенклатурой бывшей правящей партии БААС и воспринимали войска коалиции как угрозу своим интересам. Среди иракских шиитов выросла роль радикалов, ориентирующихся на построение с помощью Ирана своего варианта «исламского государства». Лидеры курдов добились широкой автономии для Курдистана и контроля над доходами от экспорта энергоносителей. Итогом этих процессов стала серия вооруженных конфликтов между войсками коалиции, суннитами и шиитами, а также обострение противоречий между иракским Курдистаном и Турцией. Частично нормализовать ситуацию Вашингтону удалось в 2007 году, когда США перешли к политике лавирования между интересами различных кланов и общин.

Не был достигнут успех и в политике ускоренной демократизации *Пакистана*. Соединенные Штаты оказывали помощь режиму Первеза Мушаррафа в рамках глобальной антитеррористической коалиции. Но Вашингтон требовал от него удаления из органов государственной власти радикальных исламистов, отмены военного положения и проведения демократических выборов. Итогом выборов 2002 и 2008 годов стало, однако, усиление радикально-исламской оппозиции. На северо-западе страны бежавшие из Афганистана талибы провозгласили свое квазигосударство и пакистанская армия потерпела ряд серьезных поражений. 2008 год стал временем резкого обострения ситуации в Пакистане и вынужденного ухода в отставку П. Мушаррафа. В Вашингтоне заговорили о возможности проведения самостоятельной операции в Пакистане.

Стратегия «принудительной демократизации» вызвала серьезные изменения в общественно-политической мысли в теории либеральной демократии. В первые годы XXI века американские неоконсерваторы преобразовали концепцию «глобального гражданского общества» в доктрину «демократической империи». «Глобальное гражданское общество» основывалось на приоритете либерально-демократических ценностей над национально-государственными. Однако в новом мире интересы распространения этих ценностей оказались тождественными национальным интересам США и отчасти стран ЕС. «Демократическая империя» стала подаваться как сообщество либерально-демократических стран, которые объединены американским лидерством, общими институтами и проецируют силу за пределами своих территорий[26]. Американские публицисты сравнивали ее с империями Античности (прежде всего — Римской), которые не всегда имели жесткую иерархическую структуру, но строились на восприятии себя как «гражданского общества», противостоящего «варварскому миру»[27].

Идея «демократической империи» вызвала скепсис у сторонников политики расширения демократии ненасильственными методами. Особенно жестким отторжение от этой доктрины было в старых членах ЕС. Менее жестким — в России и государствах Восточной Европы. Большинство полемистов фиксировали внимание на экспансионистской политике администрации Дж. Буша и противопоставлении США своим союзникам по НАТО. Проблема, однако, была глубже. Переход к стратегии «принудительной демократизации» лишил теорию либеральной демократии ее наиболее привлекательного компонента: восприятия процессов демократизации как распространения «зоны мира».

Примечания

[1] См.: *Баталов Э. Я.* Мировое развитие и мировой порядок. М.: РОССПЭН, 2005; *Шаклеина Т. А.* Россия и США в новом мировом порядке. М.: НОФМО, 2002; *Fukuyama F.* America at the Crossroads. Democracy, Power and the Neoconcervative Legacy. New Haven: London: Yale University Press, 2006.

[2] Подробный анализ этих концепций см.: Теория и практика демократии. Избранные тексты / Пер. с англ. и под ред. В. Л. Иноземцева, Б. Г. Капустина. М.: Научно-исследовательский центр «Ладомир», 2006; *Коэн Дж., Арато Э.* Гражданское общество и политическая теория / Пер. с англ. М.: Весь мир, 2003; *Blattberg Ch.* From Pluralist to Patriotic Politics: Putting Practice First. Oxford and New York: Oxford University Press, 2000.

[3] См.: *Schumpeter J.* Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Allen$Unwin, 1976; *Przeworski A.* Minimalist Conception of Democracy: A Defense // Democracy's Values / Ed. by Yan Shapiro and Casiano Hacker-Cordon. Cambrdge: Cambridge University Press, 1999; Idem. Capitalism and Social Democracy. Cambridge: Cambrige University Press, 1986.

[4] *Parsons T.* The System of Modern Societies. Englewood Cliffs, New Jersy: Prentice-Hall, 1971; *Almond G., Verba S.* The Civic Culture. Boston: Little Brown, 1965.

[5] См.: *Hubermas J.* Communication and the Evolution of Society. Boston: Beacon Press, 1979; *Gutman A., Tompson D.* Democracy and Disagreement. Why Moral Conflict Cannot Be Avoided in Politics, and What Should Be Done about It. Cambridge (Mass.): The Balknap Press of Harvard University Press, 1996.

[6] *Fishkin J.* The voice of the people: Public opinion and democracy. New Haven: Yale University Press, 1995.

[7] Известный эксперт в области правовой системы ЕС Джозеф Вейлер вслед за Джоном Роулсом полагает, что для функционирования демократической системы необходим «демос». «Без демоса нет демократии. Связь между ними не семантическая, а онтологическая. Меньшинство подчиняется большинству потому, что оно понимает, что они принадлежат к одному демосу. Если они не принадлежат к одному демосу, то это не демократия, а оккупация, репрессии, подавление». (Секреты и парадоксы Европейского Союза // Независимая газета. 2009. 26 июня. С. 8.) Тем самым Дж. Вейлер показывает, что концепция «демократии соучастия» базируется на нормативной (и потому субъективной) этике Аристотеля: «демос—не демос», «народ—толпа». Критерии между тем и другим вновь зависят от субъективных предпочтений исследователя.

[8] *Arendt H.* On Revolution. New York: Penguin, 1963; *Shmitter Ph.* Still the Century of Corporativism? // Review of Politics. 1974. Vol. 36. No 1. P. 85–131; *Шлезингер А.* Циклы американской истории. М.: Издательская группа «Прогресс», «Прогресс-Академия», 1992.

[9] См.: *De Ruggiero G.* The History of European Liberalism. Boston Beacon Press, 1959; *Леонтович В. В.* История либерализма в России (1762–1914). М., 1995.

[10] *Коэн Дж., Арато Э.* Указ. соч. С. 7.

[11] «До тех пор пока демократия была лишь псевдодемократией, поскольку она представляла политическую значимость только мелким группам в имущественной и образовательной сферах, а затем — постепенно — пролетариату, она действовала в направлении роста разумности, хотя по существу только разумной защиты собственных интересов. Но с той поры, как демократия стала эффективной, т.е. активизировала все слои общества, она все больше принимала облик того, что Макс Шелер назвал "демократией настроения", т.е. выражает уже не действительно понятные интересы составляющих общество групп, а внезапные взрывы настроения масс, ставших объектом различных манипуляций», — писал об этой трансформации один из теоретиков социал-демократии, немецкий социолог Карл Манхейм (*Манхейм К.* Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. С. 289).

[12] См.: *Хайек Ф. А. фон.* Дорога к рабству. М., 1992. С. 12–16.

[13] См.: *Laski H. J.* Liberty in the Modern State. England: Penguin Books, 1937.

[14] О зарождении подобных представлений см.: *Rawls J.* A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press, 1971.

[15] *Коэн Дж., Арато Э.* Гражданское общество и политическая теория / Пер. с англ. М.: Весь мир, 2003. С. 7.

[16] Интересный анализ данной проблемы предложил немецкий социолог Юрген Хабермас. Он полагает, что универсализация теории гражданского общества была связана с переустройством Германии после Второй мировой войны. По Хабермасу, все положения новой теории гражданского общества выступали гарантией сохранения демократического пути развития ФРГ и ее пребывания в составе «демократического сообщества». Одновременно в рамках теории гражданского общества постулировалась необходимость подчинения интересов ФРГ коллективным институтам «Атлантического сообщества». В дальнейшем такой контекст понимания гражданского общества был принят в рамках Европейского сообщества. *В этом смысле теория гражданского общества была первой формой демократического ограничения суверенитета.* См.: *Hubertas J.* The Structural Transformation of the Public Sphere. Cambridge: MIT Press, 1989.

[17] См.: *Карозес Т.* Конец парадигмы транзита // Политическая наука. 2003. № 2. С. 42–59; *Мельвиль А. Ю.* О траекториях посткоммунистических трансформаций // Полис. 2004. № 2. С. 64–75.

[18] См.: *Arato A.* Civil Society against the State: Poland 1980–1981 // Telos. No 47. (Spring 1981). P. 23–47; *Michnik A.* A New Evolutionism // Idem. Letters from Prison and Other Essays. Berkley: University of California Press, 1985. P. 89–158.

[19] См.: *Dworkin R.* Talking Rights Seriously. Cambridge: Harvard University Press, 1977.

[20] *Rosen B. R., Ross A. L.* Competing Vision for U.S. Grand Strategy // International Security. Vol. 21. No 3. (Winter 1996 / 97). P. 5–53.

[21] *Люстрация* — политические действия, цель которых заключается в законодательном ограничении прав некоторых категорий лиц (в зависимости от их профессиональных, партийных, религиозных и других характеристик) на занятие государственных должностей, профессиональную практику; неприкосновенность личной жизни, что допускает распространение информации о происхождении, подробностях биографии и т.п.). — *Прим. ред.*

[22] *Garthoff R. L.* The Great Transition: American — Soviet Relations and the End of the Cold War. Washington: Brookings, 1994.

[23] Beyond Preemption: Force and Legitimacy in a Changing World / Ivo H. Daalder (ed.). Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2007.

[24] Building a New Global Order: Emerging Trends in International Security / Ed. by D. Dewitt, D. Haglund, J. Kirton. Oxford: Oxford University Press, 1994.

[25] The New American Interventionism: Lessons from Successes and Failures: Essays from Political Science Quarterly / Ed. by D. J. Caraley. Washington: Columbia University Press, 1999; *Mayall J.* The New Interventionism, 1991–1994: United Nations Experience in Cambodia, Former Yugoslavia and Somalia. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

[26] См: *Fergusson N.* Hegemony of Empire? // Foreign Affairs. 2003. Vol. 82. No 4; *Idem.* Colossus: The Price of America's Empire. New York, 2004; *Run C. C.* The Ideology of American Empire // Orbis. 2003. Vol. 47. No 3.

[27] См.: The Imperial Teanse. Prospects and Problems of American Empire. Chicago, 2003; *Boot M.* American Imperialism? No Need to Run Away from Label // USA Today. 2003. May 6. См. также нашу статью: *Фененко А. В.* США — Четвертый Рим // Русский журнал. 2007. 19 апреля. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.russ.ru.

Глава 4

Антропология мировой политики и международных отношений

В научных работах о международных отношениях тема человека — мужчины или женщины — словно затерялась. Собственно человеческое начало в книгах, статьях и дискуссиях заслонено рассуждениями на темы безопасности, геополитики и национального интереса (у «жестких» реалистов) или сентенциями о демократизации, глобализации, гуманитарных интервенциях (у воинствующих либералов). Школы изучения прав человека отчасти вырождаются в формализованные исследования преимущественно групповых прав меньшинств — по большей части этнических. Оба главных течения политической мысли не прекращают говорить об угрозах физической гибели человечества, но уделяют мало внимания нравственной деградации мира.

Целесообразно предложить контуры нового подхода к интерпретации, проектированию и построению взгляда на мировой порядок[1]. В рамках этого подхода собственно человеческое начало — то, которое делает человека человеком, — должно по идее в самом деле занять место *наряду и наравне* с проблематикой выживания человечества как биологического вида, организованного в сообщества государств или, как сегодня, надгосударственных, трансгосударственных и негосударственных общностей.

Проблематика человеческой жизни, интереса и нравственности в мирополитическом дискурсе

Резервы формирования подобного взгляда заключаются, в частности, в *антропологическом подходе*[2] к международным отношениям. Последний дополняет их традиционное рассмотрение (построение) с обезличенных позиций «международного сообщества» и «мировой системы», отчужденных от конкретного живого человека, рассмотрением

международных отношений в соответствии с принципом *ad hominem*, то есть с *позиций человека и в интересах человека*.

«Антропология» означает «учение о человеке». Это слово изначально использовалось для обозначения науки о происхождении и эволюции человека. Позднее стали говорить о культурной антропологии, которая обратилась к исследованию культур различных народов, а также о социальной антропологии, нацеленной на объяснение форм человеческого поведения путем сравнительного исследования социальных отношений в разных обществах. Понятие «антропология» широко применяется и для обозначения учения о человеке в широком плане.

В этой главе понятие «антропологический» тоже используется в значении «человеческий, относящийся к человеку и рассматриваемый применительно к нему».

Человек, как глубинный источник жизни и смерти на земле, всегда был и остается последним прибежищем тех, кто ищет выход из экзистенциальных кризисов. Международное сообщество испытывает потребность не только в порядке, но и инициативной, самостоятельной, творческой личности, владеющей информацией и политико-управленческими навыками, наделенной социологическим воображением, способной проявить волю, не поддаваясь волюнтаристскому соблазну, обладающей ценностными ориентациями, окрашенными в гуманистические тона. Подобный человек должен решать в согласии с другими людьми задачи, стоящие не только перед его собственной страной, но и перед мировым сообществом; должен быть готовым рвать с рутиной анахроничных норм социально-политического управления и выходить за пределы алгоритмов, определяющих функционирование существующих международно-политических систем. Образно говоря, нужен человек, способный и готовый переходить в критических ситуациях с «полуавтоматического» на «ручное управление» миром, находя оптимальные ответы на непривычные вызовы.

У античных философов (Платон, Аристотель, Сенека), размышлявших об отношениях между полисами, у мыслителей Средних веков и эпохи Возрождения (Никколо Макиавелли), рассуждавших о взаимоотношениях княжеств и царств, можно отыскать мысли о роли человека в этих отношениях. Заметный шаг в рассматриваемом направлении был сделан в Новое время — прежде всего усилиями Джона Локка, Томаса Гоббса, Жан-Жака Руссо.

Особые заслуги в исследовании роли человека — в жизненном творчестве вообще и в международных отношениях в частности — принадлежат Иммануилу Канту. Не только как создателю критической фило-

софии, но и — в интересующем нас плане — как автору «Антропологии с прагматической точки зрения», в которой он рассуждает о «гражданине мира» и «гражданине государства», и трактата «К вечному миру»[3].

Однако начало систематического исследования феномена человека и его роли как творца общественных отношений относят ко второй половине XIX века. Усилиями Людвига Фейербаха, а затем и Карла Маркса в тот период начал складываться комплекс научных знаний, разрабатывавшийся с 1920-х годов Арнольдом Геленом, Гельмутом Плеснером и Максом Шелером и получивший название *философской антропологии*.

В широком смысле философскую антропологию можно обозначить как философское учение о человеке, его «природе», «сущности» и «существовании», которое представлено разными течениями. В таком контексте она могла быть спроецирована и на политику, и на международные отношения, и особенно на такое явление, как война, к которому обращали взоры многие исследователи феномена человека. Но предметом непосредственного внимания «человеческое измерение» политики стало только в XX веке, когда усилиями социологов и политологов (Жорж Баландье и др.) начала складываться *политическая антропология*.

Ее легитимация шла с трудом не только в России (где сторонники новой дисциплины получили возможность утвердить право последней на жизнь только в годы М. С. Горбачева), но и на Западе. Одна из главных причин такой ситуации — представление о социальной (социокультурной) антропологии как науке, занятой в основном дописьменными обществами. Именно с ней генетически связывают политическую антропологию. Отсюда — сохраняющееся истолкование последней как дисциплины о специфике политических институтов и политической культуры архаичных социумов.

Вместе с тем в последнее время утверждается представление о **политической антропологии** как дисциплине, в центре внимания которой стоит человек политический, в какой бы социокультурный контекст он ни был вплетен.

В системе политологического знания выкристаллизовывается комплекс представлений о человеке политическом как о «субъекте политического творчества, его возможностях и границах, специфике его воздействия на социальную и духовную среду общества»[4]. При этом политическая антропология «представляет сторону субъекта», тогда как другие отрасли политической науки больший акцент делают на системе и на институциональных сторонах политики[5].

Иначе говоря, политическая антропология исследует *Homo Sapiens* как относительно самостоятельный социальный тип *Homo Politicus*, а также его роль в общественной и прежде всего в политической жизни. Хотя эта

дисциплина и распространяется на сферу международных отношений, она покрывает ее лишь *частично*. Ведь международные отношения выходят за пределы отношений политических, включая в себя экономические, финансовые, военные, научно-технические и другие контакты.

Происходящие релятивизации границ, отделяющих внутригосударственные отношения от межгосударственных, — это разные, частично совпадающие, типы отношений. Человек, формирующий международные отношения и сам формируемый ими, не тождествен ни «человеку политическому», ни «человеку экономическому».

Отсюда и потребность в исследовании «человека международного» как самостоятельного социального типа и взращивании самостоятельной ветви гуманитарного знания — антропологии мировой политики или международных отношений.

Эта потребность стала сознаваться на Западе с 1960–1970-х годов прежде всего под давлением политического интереса, а именно необходимости оптимизации культурно-идеологического воздействия на противников и союзников в борьбе с мировым коммунизмом. Тогда началась, по словам американского исследователя Роберта Менделя, «революция в анализе человеческого элемента в международных отношениях»[6].

Однако эта «революция» так и не вышла за пределы политической психологии, в которой и началась. Она проявилась в том, что исследователи перестали (1) уподоблять взаимодействие государств столкновению биллиардных шаров[7], (2) рассматривать психологическое влияние в международных отношениях как «чисто случайные явления или идиосинкратические отклонения» и (3) считать «субъективные аспекты международного поведения» не поддающимися анализу[8]. Сегодня эта «революция» нуждается в содержательном развитии.

В таком контексте и стоит воспринимать **перспективу становления антропологии международных отношений** как научной дисциплины, исследующей детерминирующее воздействие человека на международные отношения и мировую политику, а также международных отношений — на человека. В теоретико-методологическом и практическом планах такая дисциплина априорно ориентирует на гуманизацию самих этих отношений и определяемых ими сфер человеческого бытия.

Проблемное поле антропологии международных отношений

На этапе конституирования перед такой дисциплиной возникает несколько исследовательских задач. Первоочередной становится мо-

ральная, психологическая и теоретическая «реабилитация» человека как истинного творца международных отношений и мировой политики. Речь идет о преодолении представлений о человеке как о «механике, обслуживающим международные институты и системы», а то и просто как о «колесике и винтике» этих систем.

Справочная и учебная литература, как отечественная, так и зарубежная, по определению предлагающая наиболее репрезентативные точки зрения, четко фиксирует *государствоцентристский и социоцентристский подходы к интерпретации и построению международных отношений.* При всех различиях, существующих между реалистами, неореалистами, структуралистами, либеральными институционалистами, сторонниками мир-системного и других подходов, у них есть общее методологическое основание: главными творцами мировой политики они объявляют *государство в целом и отдельные государственные (либо общественные) политические институты, национальные и транснациональные корпорации, разного рода движения, союзы, блоки, системы*[9]. Если где-то и говорится о «человеческом факторе» или «человеческих особях», то в самой общей форме[10].

В принципе такой подход не может вызывать возражений. Он апеллирует именно к тем действующим лицам, которые активно, публично, наглядно вступают в отношения друг с другом, задавая форму и содержание мировой политики. Кто скрывается за фасадом «международных институтов» и «союзов», определяя их политику?

«Король-солнце» утверждал: «Государство — это я». То же самое могли бы повторить за ним другие монархи, а позднее — Сталин, Мао Цзэдун, Иосиф Броз Тито, Фидель Кастро... Но даже в авторитарных и тоталитарных государствах, не говоря уже о демократиях, верховный правитель (которого «играет свита») — вершина пирамиды, образуемой людьми, прямо либо косвенно вовлеченными в процесс производства и воспроизводства международных отношений.

Сотни, тысячи людей: президенты, премьеры, министры и их советники, бизнесмены, депутаты, дипломаты, «силовики», капитаны СМИ, коммерсанты, финансисты, деятели культуры и науки. Личности, отличающиеся — существенно — по антропологическим, биологическим, культурным и иным характеристикам. Люди с разными интересами, способностями, нравственными качествами. Различия не могут не находить отражения в творимых ими международных отношениях. Но вместе с тем эти люди — представители единого человеческого рода, носители устойчивых констант, совокупность которых обычно именуется «человеческой природой».

Не отрицая международные отношения как слепок *с социальных (в том числе государственных) отношений*, можно рассматривать их и как *слепок с человеческой природы*. Она объединяет всех людей как *слепок* с тех *специфических черт*, которые характеризуют личностей различных эпох, цивилизаций, культур, расово-этнических, гендерных и иных групп. В методологическом плане антропология международных отношений могла бы рассматриваться не как попытка противопоставить антропоцентристский подход государствоцентристскому и социоцентристскому, а как попытка *гармонизировать, уравновесить разные подходы*, а значит, и *высветить международные отношения — явление «сферическое» — с разных сторон*.

«Реабилитация» человека как творца международных отношений должна быть предметной и конкретной. Поэтому другая крупная задача, за которую должна взяться новая дисциплина, — *исследование роли человека как проектировщика и строителя международных отношений*.

Прежде всего важно выявить факторы и меру антропологической детерминированности международных отношений. Иначе говоря, необходимо исследовать условия и пределы воздействия человека на формирование, воспроизводство и трансформацию этих отношений.

Человечество имеет такие международные отношения, которые заслуживает. Это означает, что в каждый данный момент государства и народы оказываются вплетенными в такие отношения друг с другом, какие *они сами же и создают*. Не боги, не цари и не герои, а вступающие в эти отношения социальные общности и образующие их конкретные люди, представленные «царями», «героями», а также еще и разного рода «богами» — для большей доказательности нашей собственной непричастности к порокам этих отношений.

Это легко представить применительно к ранним фазам становления международных отношений. Менее ясно, в какой мере способен человек воздействовать на сложившееся и отчужденное от него творение его собственных рук в дальнейшем. Важно понять и условия, при которых возрастает степень свободы творчества личности на международной арене.

Резонно напомнить о зависимости между степенью пластичности социальной реальности и мерой свободы социально-политического творчества человека. А значит, и степенью возможности альтернативного воздействия на международные отношения. Не случайно со второй половины 1980-х годов, когда начал рушиться Ялтинско-Потсдамский порядок, стали говорить о возможностях радикального переустройства мира на основе новых принципов и ценностей, а несколько лет спустя — об упущенных возможностях такого переустройства[11]. Шансы

существовали, однако они действительно были упущены. Люди оказались не готовы к радикальным преобразованиям глобального масштаба.

Международные отношения — своеобразный *диалог* социальных систем и политических режимов, культур, систем ценностей и моделей поведения. Но это еще и диалог народов, *диалог живых людей*. Причем характер диалога определяется не столько его социально-политическим контекстом, сколько социокультурными и психологическими характеристиками участвующих в диалоге народов.

Такой диалог происходит на *групповом и индивидуальном уровнях*. Многие отождествляют эти характеристики с национальным характером. Философ Александр Зиновьев пользуется жестким и жутковатым понятием «человеческий материал». Аналитики сциентистско-технократической ориентации рассуждают о человеческом факторе. Предпочтительнее определение, позаимствованное в переосмысленном виде у основателя Римского клуба Аурелио Печчеи, — «человеческие качества».

Под таковыми понимается интегральная характеристика народов и образующих их индивидов, которая, складываясь в процессе их становления и исторической эволюции и несколько трансформируясь по ходу событий, в целом остается на протяжении длительного времени неизменной, не зависящей от существующих в стране политических и экономических отношений. Происходит, конечно, известная адаптация этих качеств к установившимся порядкам — что-то гипертрофируется, что-то отходит на второй план. Но система базовых качеств сохраняется.

Конкретные «человеческие качества» фиксируют:

- представление народа о себе, своем месте в мире и собственной «исторической миссии»;
- склонность или несклонность народа к быстрым переменам;
- вынесенное из опыта умение уживаться с другими народами;
- готовность или неготовность к жертвам или компромиссам;
- степень воинственности того или иного народа.

Система этих качеств представляется существенным фактором, детерминирующим характер международных отношений.

Русские и американцы, вопреки распространенному мнению, существенно отличаются друг от друга по «человеческим качествам»[12]. Мы совершаем большую ошибку, рассматривая противостояние СССР и США в годы «холодной войны» исключительно как противостояние двух социально-политических систем, двух идеологий. Это было и противостояние двух разных цивилизаций и культур. Но, одновременно, была еще и борьба за первенство двух народов, обладающих несхожими социально-антропологическими характеристиками, двух систем «чело-

веческих качеств», что находило отражение не только в советско-американских отношениях, но и во всей системе международных отношений второй половины XX века.

Важны не только качества макросубъектов (народов). Существенным фактором являются «человеческие качества» микросубъектов — групп и индивидов. Нередко можно услышать о том, что сложились все предпосылки для решения какой-то проблемы, но не хватает политической воли. Многое — особенно в кризисных ситуациях — зависит от социально-антропологических качеств действующих лиц: их воли, решительности, самооценки, уравновешенности, дальновидности, степени их внутренней свободы. Наиболее наглядно это проявляется на уровне *лидеров и стоящих за ними элит.*

Ошибкой было бы недооценивать детерминирующее воздействие на ход мировых событий качеств *массового типа человека, доминирующего в обществе.* Одно дело — человек с рабской или патерналистской культурой и психологией, способный терпеть любой режим, не видя альтернатив *status quo* и соглашающийся с любыми международными решениями, принимаемыми «верхами». Другое — человек внутренне свободный, уверенный в себе, ориентированный на творческую самостоятельность и поиск альтернатив. *Лидеры и элиты стран, в которых доминируют эти разные типы, будут проводить при одинаковых условиях разную политику — внутреннюю и внешнюю.*

Крупный вопрос касается детерминирующей роли антропологических характеристик, присущих отдельным социальным общностям и индивидам. Ведут ли себя японцы на международной арене так же, как американцы, а последние — как французы или русские? Смотрят ли мужчины и женщины на международные отношения одними и теми же глазами, а если нет, то в чем различия? Одинаково ли ведут себя на мировой арене народы, проживающие в северных и южных широтах? А что можно сказать о влиянии возрастных характеристик на международное поведение?

Какие-то ответы на эти и другие вопросы того же ряда нам подсказывает художественная литература, мемуары дипломатов и путешественников; какие-то — личный опыт и интуиция. Что-то может сообщить и наука, в первую очередь — этноантропология и культурантропология. Вот что пишет о поведении японцев в 1941 году Рут Бенедикт, автор исследования «Хризантема и меч. Модели японской культуры»: «Для Соединенных Штатов Япония была самым чуждым противником из числа тех, с кем им приходилось когда-либо вести большую войну. Ни в одной другой войне с крупным противником США не сталкивались с необходимо-

стью принимать в расчет поведение и мышление, совершенно отличные от американских. Принятые западными народами как соответствующие натуре человека условные правила ведения войны явно не признавались японцами. Главной проблемой было понять характер врага»[13].

Критики современных теорий международных отношений, прежде всего из числа феминисток, отрицают их объективность и универсальность на том основании, что эти теории «созданы на основе изучения поведения мужчин»[14]. Женщины, как утверждается, смотрят на мир иначе и ведут себя по-другому. Оценивая концептуальные структуры, построенные с использованием моделей теории рационального выбора и теории игр, профессор Калифорнийского университета Дж. Энн Тикнер признает, что приводимые в них аргументы учитывают преимущественно тот тип инструментально-рационального поведения индивидов в условиях рынка, который сегодня на Западе характерен скорее для мужчин, чем для женщин[15]. Гендерная специфика в этом случае может проявлять себя в том, что традиционные модели анализа акцентируют только те стороны поведения государств, которые ассоциируются с конфликтом. Они «отвлекают внимание от других аспектов поведения государств — таких, как стремление к независимой экономической активности и сотрудничеству на базе формирования союзов»[16].

Заслуживает внимания и вопрос о детерминирующей роли антропологических характеристик *индивидов*, вовлеченных в международную жизнь. Это касается в первую очередь политических лидеров, но не только их. Мы обычно акцентируем политическое, экономическое и жизненное кредо индивидуальных творцов международных отношений, их принадлежность к той или иной партии и клану, иногда — нравственные принципы. Порой обращаем взоры к их семьям. Можем заметить, что они не очень умны и не лучшим образом воспитаны. «Политическая корректность» не позволяет говорить вслух о цвете их кожи и расовой принадлежности, хотя сегодня, в начале XXI века, эти различия выглядят столь же ординарными, как и различия между мужчинами и женщинами.

Но есть характеристики, которые либо вовсе игнорируются исследователями, либо упоминаются вскользь. Между тем игроки мировой сцены, включая «исполнителей» главных ролей, — разные люди. Высокорослые и низкорослые. Пораженные психологическими комплексами и лишенные их. Здоровые и больные. Холерики и сангвиники. Старые и молодые. Все эти черты находят отражения в их взаимоотношениях не только с близкими людьми, но и с представителями других стран и народов, а главное — в проводимой ими политике.

Вклад психоаналитиков в исследование влияния личностных характеристик на внутреннюю и внешнюю политику[17] не следует игнорировать. Но их труды не решают проблемы. Психоаналитиков интересует не человек в его целостности, а психический мир личности. Причем акцент делается на душевную и телесную патологию, на развивающиеся у человека — как на массовом, так и на индивидуальном уровне — фобии, с которыми и увязывается модель поведения субъекта на международной арене[18].

Особый комплекс исследовательских задач связан с выявлением *детерминирующих воздействий природы человека на характер международной политики*. Трудности вызывает верификация воздействия этой природы на общественную жизнь. Тем не менее не будет преувеличением сказать, что, определяя степень и значимость этого воздействия, мы приближаемся к нахождению ответа на актуальный вопрос о *соотношении социологической и антропологической детерминированности международных отношений*. А значит, и выявлению источников международных явлений, одни из которых мы хотели бы устранить, а другие — закрепить в международной практике.

Если за отправную точку принять представление о человеке как продукте длительной эволюции, *биосоциальном существе*, то следует согласиться и с тем, что обе стороны его природы — биологическая и социальная — должны отражаться и в его деятельности в сфере международных отношений. Вопрос состоит в том, преобладает ли (если воспользоваться выражением Ф. Энгельса) «животность» человека над его социальностью, а социальность — над «животностью», или, быть может, обе стороны человеческой природы каким-то образом гармонируют, уравновешивая друг друга?

Известно связываемое с именем Томаса Гоббса изречение: *«Homo homini lupus est»* — «Человек человеку — волк»[19]. В нем подчеркивается «животное» начало человеческой природы и звериный характер отношений между людьми, который может быть обуздан обществом (государством) лишь до известной степени. Отсюда выводятся корни таких явлений, как агрессивность и война. Однако были и остаются мыслители, в том числе великие (среди них И. Кант), которые полагали, что люди способны умерить свои страсти, погасить агрессивность и утвердить на земле «вечный мир».

Прояснить этот вопрос могла бы в том числе и антропология международных отношений. С одной стороны, в содружестве с историей международных отношений она могла бы исследовать причины конкретных войн, международных конфликтов и актов агрессии. С другой —

объектом ее внимания могут стать акты сотрудничества, союзничества и иные формы кооперативного взаимодействия наций и государств. Это способствовало бы созданию эмпирической базы, на основании которой удалось бы точнее определить соотношение биологического и социального факторов международной политики. Если человек есть существо не только рациональное, но и иррациональное, то как этот дуализм проявляется в сфере международных отношений? При каких условиях возможно изменить соотношение этих двух начал во внешнеполитической деятельности и насколько сильно отклонения от нормы поведения отдельных людей в самом деле могут повлиять на дальнейшую судьбу человечества?

«Человеческий фактор» в мировой политике

Международные отношения не только формируются человеком — они формируют человека. Конечно, степень их воздействия зависит от степени включенности личности в эти отношения, а разные народы (государства) и социоантропологические группы оказываются в то или иное время в неодинаковой степени вовлеченными в международную жизнь. Однако в последнее время ситуация изменилась. Вторая половина XX века отмечена ростом вовлеченности всех стран и народов мира в международные дела и становлением всеохватной сетевой системы международных отношений, а значит, и превращением их в *устойчивый и всеобщий фактор воздействия на человека.*

Вопрос антропологического изучения — влияние международных отношений на положение человека в стране и мире. Нельзя сказать, что этот вопрос не интересовал и не интересует международников. Однако в большинстве случаев он сводится к исследованию воздействия войны и других форм международного насилия на гуманитарную ситуацию в обществе. Акцент делается на разрушительном аспекте военных действий, трагизме существования человека в условиях войны. Война и впредь будет оставаться в поле внимания исследователей. Важно не упускать из вида многомерность этого феномена и противоречивость воздействия войн на положение человека в обществе и его внутренний мир.

Но важна и гораздо менее исследованная *проблема мира*, который не может быть сведен к отсутствию состояния войны. Известны высказывания ряда мыслителей, в том числе выдающихся (Гегеля), о том, что долгое отсутствие войн негативно воздействует на состояние общества и человека. Тезис, по меньшей мере, спорный. Однако это не избавляет непредвзятого исследователя от необходимости рациональной интер-

претации мотивов, которыми руководствовались мыслители, отстаивающие эту позицию.

Вопрос, заслуживающий внимания, — влияние вовлеченности стран в международные отношения на жизнь их граждан (подданных). Хотя практически все страны являются субъектами этих отношений, степень их взаимодействия друг с другом и роли, исполняемые ими, не одинаковы. Как сказывается наличие или отсутствие активных взаимодействий той или иной страны с зарубежными акторами на положении ее граждан? Некоторые американские эксперты полагают, что уменьшение активности США в ближневосточных делах снизило бы вероятность терактов против Америки.

Не все ясно и с гуманитарными последствиями гуманитарных интервенций. Казалось бы, странно: интервенции 1990-х годов потому и назывались «гуманитарными», что провозглашали целью предотвращение гуманитарных катастроф. Однако реальные последствия вмешательств не всегда совпадали с декларированными намерениями. Если институт санкционированного коллективного гуманитарного вмешательства войдет в международную практику XXI века, то стоит поразмыслить о том, какими должны быть его формы. Иначе получится так, что одни группы людей будут улучшать свое положение за счет ухудшения положения других.

Существует вопрос *целенаправленной глобальной демократизации,* о которой устами представителей своей администрации объявили Соединенные Штаты. Исходя из небесспорной презумпции, что демократия есть безусловное благо, они утверждают, что повсеместное установление при помощи Америки демократических режимов приведет к решению многих гуманитарных проблем: сделает каждого человека свободным, наделит его политическими и гражданскими правами, приведет к улучшению его материального положения. Однако, как свидетельствует опыт многих неевропейских стран (включая Афганистан и Ирак), «демократизацией» которых Америка занялась в последние годы, все непросто. Тема *«демократизация и человек»* отнюдь не принадлежит к числу хорошо изученных.

Не проанализированы и гуманитарные последствия региональной и глобальной интеграции. Опыт в этом отношении невелик. Интеграционные процессы развиваются по нарастающей. Идти они будут не гладко: национальная само-ре-идентификация (вчера — «немец», завтра — «европеец»), с которой связаны объединения и разъединения наций, — дело тонкое. Интеграторы, забывающие о человеке, рискуют получить не новую процветающую общность, а взрывчатую смесь.

Перспективное направление исследований воздействия международных отношений на человека касается отдельных социоантрополо-

гических групп. Существует мнение, что мужчины и женщины, дети и взрослые, молодые и старые, горожане и селяне, живущие в разных странах и на разных континентах, в неодинаковой мере вовлечены в международные отношения. Феминистки утверждают, что от 80 до 90% жертв военных конфликтов после Второй мировой войны — гражданское население, большую часть которого составили женщины и дети. Лишь недавно начали признавать, что женщины особенно часто подвергаются насилию во время войн. Данные о вооруженных конфликтах, собираемые международниками, обычно относятся к людским потерям в период активных боевых действий. Исследования же долгосрочных последствий войн обнаруживают, что женщины часто становятся жертвами вредоносных последствий конфликтов, хотя эмпирическая основа подобных оценок нуждается в уточнении[20].

Перечень вопросов можно продолжить. В наступившем столетии международные отношения будут больше соответствовать своему названию и превращаться в отношения между народами. А народ — это разные группы: гендерные, профессиональные, возрастные, религиозные и т.п. Именно отношения между этими группами, приобретающие сетевой характер[21], будут больше определять реальное положение государств и человека в мире.

Актуальное направление исследований — воздействие международных отношений на эволюцию сущности человека. Современный человек не отличается по своей биосоциальной *природе* от человека предшествующих эпох. Но его *сущность* как квинтэссенция качеств, делающих человека тем, чем он является в своем конкретно-историческом воплощении, меняется, пусть и медленно. Связана эта эволюция с изменением социального контекста существования человека.

На протяжении веков жизнь людей редко выходила за рамки полисов, городов, княжеств и других ограниченных сфер их постоянного обитания, так что влияние на человека отношений, которые мы сегодня называем международными, было невелико. Но по мере «сжатия» мира ситуация менялась. Расширение и уплотнение сети международных отношений, вовлечение в них большего числа людей делают эти отношения столь же значимым фактором трансформации сущности человека, как и факторы внутренние.

Современные международные отношения способствуют созданию условий, благоприятствующих более глубокому пониманию сущности человека. Дать ответ на вопрос, что такое человек, станет возможно лишь тогда, когда появится реальное *человечество*. Иными словами, когда отдельные его *части*, представленные раздельно живущими *народами*,

сольются в единое *целое*. При этом будет происходить формирование *«человека международного»*, то есть человека, выходящего в своем сознании, ценностных и жизненных ориентациях, практической деятельности за пределы одного государства.

Первоначальные формы «человека международного» были известны еще античному миру. Древнегреческие киники (Диоген) и стоики (Хрисипп) понимали, что преодоление границ одного полиса и соприкосновение с жизнью и культурой другого превращает его в «космополита» — «гражданина мира». Дальнейшее развитие этот тип получил в Римской империи. Расширение ее границ не могло не породить представления об одновременном существовании, как говорил Сенека, двух государств: большого, границы которого «мы измеряем движением солнца», и малого — того, «к которому нас приписала случайность». Второе может быть афинским, карфагенским или связанным с еще с каким-либо городом; главное в том, что оно касается не всех людей, а только одной определенной группы[22].

Римский «гражданин мира», чувствовавший себя причастным одновременно к разным государствам и служивший им, был в сущности (по нынешним меркам) не мировым, а региональным типом. Сегодняшний «человек международный» — пока тоже не глобальный, а региональный, прежде всего европейский, тип. Он пребывает в процессе становления. Свидетельство тому — проведенные в 2005 году во Франции и Нидерландах референдумы по европейской конституции, которые показали, что большинство граждан Европы чувствуют себя не столько европейцами, сколько французами и голландцами. Тем не менее процесс формирования «европейского космополита» продолжается. Объединенная Европа не сможет существовать и нормально функционировать как целостное политическое, экономическое и социальное образование, пока в рамках ЕС не сформируется одна из разновидностей «человека международного» — современный европеец.

Более того, существует возможность формирования «человека глобального». Судьба мира будет во многом зависеть от качеств этого человеческого типа. Глобальный порядок, который поддерживался бы всеми народами, невозможен в сущности без соответствующего массового типа человека.

Специфика любой научной дисциплины антропологического ряда заключается в том, что она не ограничивается констатацией результатов исследования положения человека в обществе. Она задает — напрямую или косвенным путем — систему установок, ориентирующих на: (1) определенное восприятие человека и подход к нему; (2) определен-

ный тип общественного (в том числе международного) поведения; (3) исследование человека как специфического объекта, отличного от всех других объектов уже тем, что он одновременно является и субъектом всех жизненных процессов.

Но «реабилитация» личности как творца международных отношений не может ограничиться констатацией того факта, что эти отношения — «слепок» с Homo Sapiens в его родовом и видовых проявлениях. Она предполагает также формирование в обществе отношения к человеку как творцу глобального мира и воспитание человека как свободного творца с развитым чувством социальной ответственности. Такая личность должна быть наделена твердой волей к позитивному действию, развитым нравственным сознанием и социологическим воображением; должна быть внутренне свободной, открытой миру как (по А. Панарину) «носитель иначе-возможного, объективно не предопределенного, альтернативного».

«Реабилитация» человека предполагает также ориентацию на построение глобального мира и международных отношений, которые ставили бы своей генеральной задачей обеспечение общего блага человечества. Говорю об этом, помня о многочисленных иронических репликах[23] по поводу общего блага как псевдоценности, которую-де невозможно определить по причине отсутствия общих критериев блага и наличия разных представлений о его содержании («что для русского здорово — для немца смерть»).

Установка на стремление обеспечить общее благо имеет реалистический характер. Это что-то вроде сверхзадачи как условия решения ординарной задачи. По сути, подобная установка содержится в преамбуле к Уставу ООН. Этот документ фиксирует решимость народов:

- избавить грядущие поколения от бедствий войны;
- утвердить веру в основные права человека, достоинство и ценность человеческой личности, равноправие мужчин и женщин, равенство прав больших и малых наций;
- создать условия, при которых может соблюдаться справедливость;
- содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе;
- проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи;
- объединить усилия для поддержания международного мира и безопасности;
- использовать вооруженные силы не иначе как в общих интересах[24].

В современной международной практике не существует такого института, как антропологическая, или, говоря более привычным языком, *гуманитарная экспертиза* акций, предпринимаемых государствами. Иными словами, их не принято оценивать с точки зрения реального или возможного воздействия (в том числе разрушительного) на положение человека в обществе и мире. Значит, отсутствует реальное представление о гуманитарном ущербе, который они способны нанести, и возможность предотвратить его. Одновременно проблематично и скорректировать предпринимаемые или подготавливаемые акции и акты.

Боб Вудворд в книге «План нападения»[25] рассказывает, с какой тщательностью на протяжении многих месяцев Вашингтон планировал вторжение в Ирак в 2003 году. Оценивалось все: стоимость операции, численность воинского контингента, количество необходимых для переброски войск транспортных кораблей, возможная длительность военных действий, вероятные потери в живой силе и технике. Не оценивалось только одно: возможные гуманитарные последствия операции. Было что-то вскользь сказано о предполагаемых потерях противника на поле боя и жертвах среди мирного населения. Но таких экспертных оценок в гуманитарной области, какие делались в отношении других аспектов операции, не было и в помине. Между тем сегодня мы видим, что прямые человеческие потери и со стороны иракского населения, и со стороны американцев больше, чем предполагалось, и они продолжают расти.

Почему бы не попробовать в порядке эксперимента провести гуманитарную экспертизу некоторых из международных операций, которые официально планируется осуществить в ближайшем будущем? Еще важнее дать экспертную оценку гуманитарной составляющей тех регулирующих международные отношения нормативных актов, которые разрабатывают сегодня и планируют разработать завтра.

Помимо гуманитарной экспертизы международных акций, а также нормативных актов, имело бы смысл подумать и о *гуманитарном прогнозировании* мировой политики и международных отношений. Реальная международная гуманитарная практика является, как правило, запоздалой и не всегда адекватной реакцией на проблемы, вызревавшие в течение длительного времени. Стоит в этой связи подумать о формировании «повестки дня» на «завтра» — о том, что следовало бы предпринять в международных отношениях и мировой политике в опережающем порядке, чтобы, по меньшей мере, предотвратить гуманитарные катастрофы и кризисы, а может быть, и улучшить положение человека в тех или иных странах и регионах.

Рассмотрение международных отношений «сквозь призму» человека, а человека — «сквозь призму» международных отношений со време-

нем обязательно приведет к становлению антропологии международных отношений и мировой политики как серьезной и практически значимой научной дисциплины. Со временем она встанет в ряд с историей, социологией и психологией международных отношений. А возможно — и с философией международных отношений, становление которой началось недавно.

Примечания

[1] См., например: *Коукер К.* Сумерки Запада. М., 2000; *Фукуяма Ф.* Великий разрыв. М., 2003; *Бьюкенен П.* Смерть Запада. М., 2003; *Wallerstein I.* The Decline of American Power. New York; London, 2003.

[2] Anthropology // International Encyclopedia of Social Sciences. Vol. 12. P. 320.

[3] См.: *Кант И.* К вечному миру. Философский проект // Кант И. Собр. соч.: В 8 т. М., 1994. Т. 7. С. 8, 13, 15, 24, 35, 39, 54. Примечательно, что те немногочисленные современные теоретики международных отношений, которые подходят к ним с учетом антропологической составляющей, в большинстве случаев обращаются в поисках авторитетного подкрепления своих мыслей именно к Канту. В качестве примера можно сослаться на концепцию «безопасности на базе сотрудничества», предложенную теоретиком из Центра имени Маршалла Ричардом Коэном. Характеризуя свою точку зрения как основывающуюся «прежде всего на безопасности отдельной личности», Коэн пишет: «Концепция безопасности на базе сотрудничества не является изобретением эпохи, наступившей после окончания "холодной войны". На самом деле Иммануил Кант высказал эту идею еще в конце XVIII века...» (Безопасность на базе сотрудничества: Новые перспективы международного порядка // Garmisch-Partenkirchen. 2001. С. 2, 6).

[4] *Панарин А. С.* Философия политики. М., 1996. С. 178.

[5] Там же.

[6] *Mandel R.* Psychological Approaches to International Relations // Political Psychology / M. Hermann (ed.). San Francisco, London, 1986. P. 251.

[7] Намек на приверженцев реалистской школы в международных отношениях, которые как раз и грешили этим уподоблением.

[8] *Mandel R.* Op. cit. P. 251.

[9] «Международные отношения — поведение государств на мировой арене, все формы взаимодействия между членами различных обществ вне зависимости от того, направляются они или нет государством. Изучение международных отношений включает анализ внешней политики (политических процессов) государств, все стороны отношений между различными обществами... В функциональном анализе они представляют отношения национальных правительств, которые контролируют действия жителей...» (Зарубежная политология. М., 1998. С. 139). В статье «Международные отношения», помещенной в недавно изданной двухтомной «Политической энциклопедии», предлагается «выделять традиционное понимание отношений между странами и широкую трактовку международных отношений, включающую помимо связей государств еще и деятельность транснациональных по своей природе органов и организаций (транснациональные корпорации и банки, движения экологистов и т.д.)» (Политическая энциклопедия: В 2 т. М., 1999. Т. 1. С. 681). Международные отношения (*international relations*) определяются и как «научная дисциплина, изучающая взаимоотношения между государствами, а в более широком смысле — деятельность международной системы как единого целого, ставшая самостоятельной после 1-й мировой войны» (Политика: Толковый словарь / Под ред. А. Маклина. М., 2001. С. 333). Это типичные определения международных отношений.

[10] Международные отношения как научная дисциплина могут «рассматриваться либо как многодисциплинарное исследование, сводящее воедино международные аспекты политики, экономики, истории, права и социологии, либо как метадисциплина, сосредоточенная на системных структурах и моделях взаимодействия человеческих особей как единого целого» (Политика: Толковый словарь. С. 333).

[11] Об этом писал, в частности, Джордж Сорос. Обостренное чутье опытного финансового спекулянта международного класса безошибочно подсказывало ему, что наступил «горячий» момент, когда, согласно известной пословице, можно «ковать железо» (в широком смысле слова). И что уже через несколько лет будет поздно. Так, говорит Сорос, и случилось. «Я надеялся, что США возглавят международное сотрудничество, когда начался распад советской империи. Я основал сеть фондов "Открытого общества" в бывших коммунистических странах, чтобы проложить путь, по которому, как я надеялся, последуют открытые общества Запада. Весной 1989 года я выступил на конференции "Восток—Запад" в Потсдаме, тогда еще ГДР, в пользу нового варианта "Плана Маршалла". Впоследствии я пытался предложить Маргарет Тэтчер "План Тэтчер", а также аналогичную идею Президенту Бушу до его встречи с Горбачевым на Мальте в сентябре 1989 года, но безрезультатно» (*Сорос Дж.* Кризис мирового капитализма. М., 1999. С. 238).

[12] Сравнительный анализ этих двух народов в этнопсихологическом, культурно-антропологическом и иных планах пока еще не стал предметом углубленного исследования. Из литературы, которая ведет поиски в этом направлении, отметим следующие публикации: *Гершунский Б. С.* Россия и США на пороге третьего тысячелетия: Опыт экспертного исследования российского и американского менталитетов. М., 1999; *Баталов Э. Я.* Русская идея и американская мечта. М., 2001; *Бурстин Д.* Американцы: Колониальный опыт. М., 1993; *Он же.* Американцы: Национальный опыт. М., 1993; *Он же.* Американцы: Демократический опыт. М., 1993; *Касьянова К.* О русском национальном характере. М., 1994; *Биллингтон Дж.* Россия в поисках себя. М., 2005.

[13] *Бенедикт Р.* Хризантема и меч. М., 2004. С. 5.

[14] *Тикнер Дж. Э.* Международные отношения под углом постпозитивизма и феминизма // Политическая наука: Новые направления / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна. М., 1999. С. 434. Продолжив логически эту линию, можно предположить, что теории международных отношений, выстраиваемые представителями различных антропологических групп, будут отличаться друг от друга своей антропологической окраской не меньше, чем их поведение.

[15] Там же. С. 435. Стоит обратить внимание на слово «сегодня», походя брошенное Дж. Тикнер. На самом деле за ним скрывается проблема временного измерения международно-антропологических отношений, которую мы не имеем возможности затронуть здесь даже вскользь. Заметим только, что с течением исторического времени большинство антропологических факторов, детерминирующих международные отношения, претерпевают более или менее существенные изменения — и по составу, и прежде всего по содержанию.

[16] Там же.

[17] См.: *Lasswell H.* Psychopathology and Politics. Chicago and London, 1977; *Одайник В.* Психология политики. М., 1996.

[18] Как пишет один из исследователей, «Лассуэлл, похоже, был убежден, что так называемый комплекс кастрации должен рассматриваться как играющий большую роль почти во всех международных конфликтах. Он признает важность таких конвенциональных факторов, как соперничество в торговле, соревнование в вооружении и угроза нарушения баланса сил. Но он считает, что эти факторы редко выливались бы в открытый конфликт, если бы не существовало психологического напряжения, довлеющего над умами масс с обеих сторон» (*Burns E.* Ideas in Conflict. New York, 1960. P. 397–398).

[19] На самом деле, как установлено исследователями, это выражение впервые встречается в «Ослиной комедии» древнеримского писателя Плавта: *Lupus est homo homini, non homo.*

[20] *Тикнер Дж. Э.* Указ. соч. С. 432.

[21] Проблема групповой международной политики и ее глобально-сетевой организации серьезно рассматривается в опубликованной недавно монографии профессора Принстонского университета Анн-Мари Слотер «Новый мировой порядок» (см.: *Slaughter A.-M.* A New World Order. Princeton, Oxford, 2004).

[22] Антология мировой философии. М., 1969. Т. 1. Ч. 1. С. 507.

[23] Речь идет, в частности, о выдающемся экономисте и социологе Йозефе Шумпетере, авторе классического труда «Капитализм, социализм и демократия». По его утверждению, «не существует однозначно определенного понятия общего блага, которое устроило бы всех, если только будут приведены рациональные доводы. Это связано не только с тем обстоятельством, что некоторые личности имеют устремления, не совпадающие с общим благом, но в первую очередь с тем основополагающим моментом, что разные индивиды и группы вкладывают в понятие общего блага различное содержание» (*Шумпетер Й.* Капитализм, социализм и демократия. М., 1995. С. 333–334).

[24] Организация Объединенных Наций: Сб. документов. М., 1981. С. 143–144.

[25] *Woodward B.* Plan of Attack. New York; London, 2004.

Глава 5

Методология системного исследования мировой политики

Термин «системный подход» предполагает рассмотрение международных отношений как системы, то есть как некоего организованного целого, отграниченного от своего окружения (среды). Общепринятое определение понятия «система» — устойчивая совокупность взаимосвязанных элементов, образующих некоторую целостность. Исходя из этого можно выделить три уровня анализа: (1) состав — элементы, (2) внутренняя структура — взаимосвязи между ними и (3) внешняя структура — взаимосвязи со средой. Изменение состава и/или структуры системы есть ее эволюция, а изменение внешней структуры — ее поведение. Применительно к системе международных отношений (СМО) о ее внешней структуре можно говорить лишь условно, так как, строго говоря, ее средой является природная оболочка. Социальная среда в точном смысле слова у нее отсутствует

Соответственно, исследование СМО может осуществляться на уровне состава и внутренней структуры. Именно их состояние характеризует качественную определенность любой системы. Если система не является простой (однородной), то разнородность ее состава находит свое выражение в дифференциации элементов на главные — системообразующие — и второстепенные. Эти последние могут меняться, а системообразующий элемент — нет, так как он есть инвариант системы. Его смена — это преобразование системы в другую.

Основные действующие лица международной политики и отношения между ними

Инвариантом СМО является государство, и пока оно остается системообразующим элементом, природа системы (государствоцентричная) является неизменной. Если государство перестанет быть таковым,

то уйдет в прошлое и СМО в ее нынешнем виде. Некоторые исследователи считают, что ему на смену придет мировое государство. Наиболее последовательными поборниками данной точки зрения являются так называемые «мондиалисты», считающие, что эра национальных государств близится к завершению. Существует и альтернативная точка зрения (националисты), утверждающая, что до этого достаточно далеко. Выделение государства в качестве системообразующего элемента позволяет отнести генезис СМО ко времени перехода человечества от родоплеменного общества к государственно-организованному. Последнее первоначально возникло и существовало в течение не одного тысячелетия в субтропической зоне евро-афро-азиатского континентального массива. Соответственно, тогда СМО носила трансконтинентальный, а не мировой характер и была окружена племенной средой, борьба с которой проходила с переменным успехом. Однако даже в случае военного успеха племенных объединений и завоевания ими государств они, как правило, сами трансформировались в государства. Трансконтинентальная СМО оставалась простой в том смысле, что ее системообразующий элемент — государство — был единственным.

Усложнение состава СМО произошло в результате появления мировых религий и церкви как самостоятельного институционального субъекта международных отношений. Наряду с межгосударственным взаимодействием стало развиваться и взаимодействие между церквами (понимаемое, естественно, в широком смысле), то есть ранее единая структура разделилась на две подструктуры. Церковь при всей ее значимости (в частности, католическая церковь претендовала на власть над рядом государств Западной Европы) все же оставалась второстепенным элементом СМО. Вслед за ней появился целый ряд других, начиная с предшественниц ТНК — Ост-Индских компаний, затем политических партий и движений и кончая разнообразным спектром общественно-политических организаций, профсоюзов.

Таким образом, доминирующей тенденцией эволюции состава СМО стала все большая диверсификация второстепенных элементов в сочетании с быстрым ростом их численности. Апогеем развития данной тенденции можно считать XX век и особенно его вторую половину, когда имел место еще и бурный рост числа государств. Последний, однако, во многом был искусственным, поскольку возникшие в его процессе квазигосударственные образования оказались нежизнеспособными.

Если брать тенденцию роста численности государств, иначе говоря дифференциацию состава СМО на уровне государств, то ей со времени становления противостояла и противостоит другая, интегративная, тенденция, выразителями которой выступали так называемые «мировые

империи». Для наглядности представим эволюцию СМО в виде схемы 1, исходя из принятого деления истории человеческой цивилизации (государственно-организованного общества) на Древнюю, Среднюю и Новую.



Схема 1:

A1 — Ассирийская империя; B1 — Арабский халифат; C1 — Империя Наполеона; A2 — Персидская империя; B2 — Империя Чингисхана; C2 — Великогерманская империя Гитлера; A3 — Империя Александра Великого; B3 — Империя Тамерлана; C3 — «Империя» СССР; A4 — Римская империя; B4 — Османская империя; C4 — «Империя» США

Приведенная схема нуждается в пояснении. Прежде всего, на ней сразу видно, что возникновение «мировой империи» происходило или на объективной, или на субъективной основе. Последняя вместе с тем имела, естественно, под собой и некое объективное основание. Все возникавшие на субъективной основе «мировые империи» были недолговечны. Создание «мировых империй» происходило в результате военной экспансии, то есть в сущности насильственным путем. В этой связи нельзя не затронуть проблематику «империи» США, которая находится в стадии становления. В отличие от своих предшественниц, она создается с самым широким использованием экономической мощи, культурного научного и идеологического влияния, хотя после окончания «холодной войны» более сильной становится тенденция к использованию военной силы.

«Империи» СССР и США демонстрируют своего рода модернизированную форму своего бытия в виде «зоны влияния», состоящей из формально независимых государств-сателлитов. Система сателлитов, обладающих известной долей внутренней автономии, является, бесспорно, гораздо более гибкой и эффективной по сравнению с примитивной аннексией. Однако нельзя не учитывать и тот факт, что управление системой сателлитов — дело в принципе сложное и экономически весьма затратное. Последнее обстоятельство может, как показал опыт СССР, негативным образом сказаться на судьбе подобного рода «империи». Не гарантированы от экономического перенапряжения и США.

Империя по самой своей природе — продукт насильственной интеграции, но после Второй мировой войны особенно интенсивно стала развиваться добровольная интеграция, которую олицетворяет огромная

сеть правительственных и неправительственных международных организаций. Первые объединяют системообразующие элементы СМО, а последние — второстепенные. Причем последние значительно превосходят первых по количеству. Если число государств на начало XXI века составляет около 200, то, по различным оценкам, число правительственных организаций — от 400 до 600. Гораздо сложнее обстоит дело с исчислением второстепенных элементов и их объединений. Значительный разброс мнений по этому вопросу объясняется различием в их идентификации в качестве таковых. В свою очередь, данное различие обусловлено вариативностью представлений о структуре СМО.

Ранее уже говорилось о том, что если качественная определенность состава системы детерминируется характером системообразующего элемента, то применительно к структуре эту функцию выполняет структурообразующая связь (отношение). В рамках СМО таковыми являются политические связи. Их упорядоченная совокупность образует политическую субструктуру СМО, которая была и остается доминирующей. Вместе с тем нельзя не видеть, что по мере интенсификации интегративного процесса (глобализация) другие типы связей приобретают все большее значение. Для того чтобы это было достаточно ясным, приведем типологию международных связей (взаимодействий) (табл. 1).

Таблица 1

Типология международных связей (взаимодействий)

Содержание связи	**Форма связей**		
	A — Конфронтационная	**B — Кооперативная**	**C — Нейтральная**
1 — Политическая			
2 — Военная			
3 — Экономическая			
4 — Правовая			
5 — Идеологическая			
6 — Культурная			
7 — Научная			

Содержание связи определяется соотношением материального и информационного взаимодействия в ее рамках. Вопрос о возможности конфронтационного взаимодействия в науке остается открытым, ибо ее задача — поиск объективной истины. Возникающие конфликты научных школ, прежде всего в обществоведении, есть результат внешнего

влияния (политического, идеологического, экономического). Военное взаимодействие по самой своей природе нейтральным быть не может. Кроме того, оно, как уже говорилось ранее, представляет собой производное от политического («война есть продолжение политики иными средствами»). Из этого, однако, не следует, что военные связи сами не влияют на политику.

Процесс глобализации, особенно экономической, ведет к трансформации мирового рынка в мирохозяйственный комплекс и, как следствие, к непрерывному увеличению значимости кооперативных экономических связей. Деятельность ВТО является серьезным стимулом такого рода трансформации. Если усиление значимости экономических взаимосвязей является очевидным, то повышение роли культурных и научных далеко не всегда осознается. Между тем если брать перспективу, то в связи с переходом человеческой цивилизации с индустриальной на постиндустриальную (научно-информационную) стадию их влияние на все другие будет все увеличиваться.

Хотя вышеотмеченные изменения наиболее интенсивно стали протекать в XX веке и особенно в его второй половине, тем не менее их все же нельзя считать экстраординарными в строгом смысле слова. Они были подготовлены всем предшествующим ходом эволюции структуры СМО. Если вернуться к эволюции состава СМО, то нетрудно заметить, что параллельно с ней происходила и эволюция ее структуры в плане появления и развития новых типов взаимосвязей. Диверсификация и интенсификация взаимосвязей элементов СМО делали ее все более целостной. Исключением в этом смысле было и остается военное конфронтационное взаимодействие в форме вооруженных конфликтов (войн).

Не концентрируясь детально на проблематике войн, думается, однако, что на некоторых особенностях их эволюции нельзя не остановиться, хотя бы ввиду того что в прошлом создание и гибель империй, как правило, было результатом войн, причем не только внешних, но и внутренних (гражданских). Если не вдаваться в отдаленную историческую ретроспективу, а ограничиться XX веком, то до Второй мировой войны в соотношении 80% к 20% преобладали внешние, то есть межгосударственные, войны. После нее данная пропорция приняла обратную направленность в пользу войн внутренних. Во второй половине XX века уже 80–85% войн были гражданскими. Впрочем, четверть из них подверглись интернационализации, то есть были отягощены участием других государств и/или организаций (второстепенных) элементов СМО.

Сама по себе интернационализация внутренних вооруженных конфликтов не является чем-то принципиально новым. Она имела место всегда, правда, в гораздо меньших масштабах, и оценивалась в сущ-

ности негативно («вмешательство во внутренние дела»). Между тем теперь такое вмешательство во многих случаях начинает получать международно-правовую легитимацию.

Многочисленность войн и их постоянное бытие в рамках СМО дало основание для выдвижения тезиса о присущей ей политической анархии. На этом тезисе необходимо остановиться более подробно. Поскольку речь идет о политической анархии, то необходимо вновь вернуться к понятию «политика». Для целей операционального анализа под политикой мы будем понимать социальную деятельность, направленную на сохранение или изменение существующего порядка распределения власти и собственности. В рамках государственно-организованного общества речь идет о внутренней политике, а в рамках СМО о мировой. Доминирующей составляющей последней является внешняя политика государств и прежде всего великих держав. Таким образом, можно выделить своего рода иерархию в структуре СМО в целом. Под ней имеется в виду ранжировка доминирования, высший эшелон которой образует структура политического взаимодействия великих держав. С известной долей условности можно считать их носителями верховной власти в СМО.

Из сказанного следует, что в СМО существует некий порядок распределения власти, который отнюдь не часто дестабилизируется. Что же касается распределения собственности, то оно выражается в суверенитете государства, то есть присвоении им определенной территории, находящихся на ней природных ресурсов и проживающего на ней населения (подданство или гражданство). Во второй половине XX века объектом собственности государства стала значительная часть водной среды (территориальные воды) и воздушное пространство. Происходившая на протяжении всей истории СМО смена государств-собственников в сущности не затрагивала самого порядка распределения собственности как такового. Не лишним будем заметить, что в международных отношениях действует, хотя и в несколько модифицированном виде, генеалогический принцип наследования собственности (принцип правопреемства).

Наличие вышеотмеченного порядка в СМО ставит под вопрос тезис об органически присущей СМО политической анархии, ибо последняя в сущности есть констатация отсутствия порядка. В этой связи неизбежно встает вопрос о деструктивной роли войн, точнее: о мере деструктивности. Далеко не всякая внутренняя, а тем более внешняя война обладает достаточным потенциалом деструктивности. Во многих развивающихся государствах внутренние войны длятся десятилетиями, однако если они происходят на периферии, то, как правило, не в состоянии дестабилизировать общую обстановку. Аналогичным образом обстоит дело в СМО. Действительно деструктивными являются лишь

войны между великими державами, а также между ними и крупными государствами. Если брать Новое время, то к данной категории в строгом смысле слова могут быть отнесены Первая и Вторая мировые войны. С известной долей условности к этой категории можно отнести Наполеоновские войны.

Симптоматично, что именно после этих войн в повестку дня мировой политики реально встала проблема обеспечения мира и безопасности. Она бесспорно является главной в контексте регулирования международных отношений. Тут необходимо развести понятия «управление» и «регулирование», хотя некоторые исследователи склонны рассматривать последнее как один из вариантов первого. Однако даже и при такой интерпретации регулирование не предполагает однозначной детерминации поведения субъекта, то есть сохраняет за ним свободу воли. Применительно к государству это означает сохранение его суверенитета. В отличие от регулирования, управление — это однозначная детерминация, о чем пока в отношении СМО едва ли стоит говорить.

Проблема регулируемости мировой политики

Прежде чем перейти к рассмотрению тематики регулирования международных отношений, необходимо сделать определенное уточнение. Поскольку структура СМО характеризуется высокой степенью сложности и комплексности, то представляется целесообразным ограничиться анализом состояния регулирования субструктуры политического взаимодействия государств (внешнеполитической субструктуры СМО). Это представляется вполне обоснованным, так как данная субструктура является доминирующей и от ее состояния зависит состояние других субструктур, а следовательно, и структура СМО в целом. Вместе с тем данное положение не следует абсолютизировать, поскольку и другие субструктуры (особенно экономическая) могут играть активную роль, влияя на внешнеполитическую.

Если проследить эволюцию СМО в этом контексте, то можно выделить три уровня регулирования:

1) морально-этическое;
2) правовое;
3) институциональное.

Первый уровень базируется на неписаных, но общепризнанных в качестве императивных, нормах и правилах, которых в своем поведении на международной арене должны придерживаться как государства, так и другие участники международных отношений. В противном случае они будут подвергнуты осуждению, бойкоту и даже санкциям. Некоторая часть

этих неписаных правил была уже в XX веке инкорпорирована в международное право как основополагающие принципы *jus cogens*.

Правовое регулирование подразумевает наличие юридически обязывающих норм, вытекающих из международно признанных соглашений. Корпус этих норм именуется международным правом.

Институциональное регулирование — изобретение XX века, воплощенное в таких универсальных организациях, как Лига Наций и позднее ООН. Надо сказать, что первые попытки проложить дорогу этому виду регулирования были предприняты в Европе на Венском конгрессе и последующих посольских конференциях пяти великих держав, призванных регулировать отношения между европейскими державами на принципах легитимизма (недопустимости революции и поддержки монархического строя).

Исходным было *морально-этическое регулирование*, которое, по-видимому, возникло еще до оформления межгосударственных отношений. Его слабость в том, что в мире существовали и продолжают существовать различия в трактовке принципов морали и нравственности. Так, например, одним из ключевых принципов марксизма-ленинизма было положение о классовой природе морали и оправдании любых действий во имя победы в классовой борьбе («революционная целесообразность»). В сущности это тезис всех экстремистов — «цель оправдывает средства». Только с укоренением представления об общечеловеческих ценностях, не зависящих от этноса, расы, религии, социального статуса человека, морально-этическое регулирование сумеет раскрыть весь свой потенциал. Их утверждение в современном мире становится условием сохранения человеческой цивилизации.

Пока же осознание данного обстоятельства привело к политической активизации духовенства (особенно исламского), которое выдвинуло тезис об аморализме всех светских политических режимов и моральном имманентизме религии. Соответственно, духовенство стало претендовать на исключительное право определять, что морально, а что — аморально, то есть по существу на возрождение прежней духовной власти.

Морально-этические нормы складывались исторически, на протяжении длительного периода времени. Еще межплеменным отношениям было свойственно соблюдение определенных принципов взаимодействия, прежде всего, естественно, между родственными и дружественными племенами.

По мере складывания межгосударственных отношений к этим принципам добавлялись другие, правовые. В Древней Греции культивировалась идея мира или временного перемирия на период важных общенациональных событий (Олимпийские игры). Позднее эти идеи были

подхвачены католической церковью, время от времени провозглашавшей Божье перемирие для организации Вселенских соборов либо по случаю значимых религиозных праздников.

Для современного международно-правового сознания характерен примат международного права над внутренним законодательством. Однако не все государства, и в том числе так называемые «цивилизованные», включая лидера современного мира США, склонны соглашаться с этим применительно к себе, зачастую при этом будучи его поборниками применительно к другим.

Как уже отмечалось, управлять или регулировать можно состоянием или поведением. Первоначально речь шла о регулировании поведения, то есть внешнеполитической деятельности государств и, в частности, использования военной силы. Однако введение концепции универсальной защиты прав человека ознаменовало переход от регулирования поведения к регулированию состояния, то есть характера политического режима, что в принципе означает замену авторитарных режимов демократическими.

Стратегическая линия Запада предусматривает формирование единого мирового правового пространства, в котором регулирование распространяется не только на межгосударственные отношения, но и на внутригосударственные процессы, иначе говоря, на отношения между населением и режимом. Примером этого служит Страсбургский суд по правам человека.

Нетрудно заметить, что формирование единого мирового правового пространства на основе прав человека неизбежно ведет к демократизации мира. Вместе с тем концепция прав человека объективно противостоит концепции суверенитета, а следовательно, отказу от принципа «невмешательства во внутренние дела» в межгосударственных отношениях. Это последнее создает квазилегитимное основание для иностранной интервенции.

Ясно, что эффективность правового регулирования зависит от возможности применения санкций в отношении нарушителей норм, в противном случае оно оказывается еще менее действенным, чем морально-этическое регулирование, обладающее лишь инструментом осуждения. Понятно, что вопрос о санкциях напрямую увязан с вопросом о легитимности принимаемых по этому поводу решений и отсюда с учреждением соответствующих институтов. Такова логика возникновения институционализма как формы регулирования.

Если исключить Венский конгресс, который с известной долей условности можно квалифицировать как институт континентального ре-

гулирования, то подлинно глобальными институциональными формами была Лига Наций, а в настоящее время таковым является ООН.

Опыт Лиги Наций был неудачным по ряду причин. Во-первых, она не была подлинно глобальной, поскольку долгое время не включала ведущие державы — СССР и США. Америка так и не вступила в нее. Во-вторых, система санкций была прописана весьма условно, карательный механизм был снабжен многими оговорками. На этом фоне ООН выглядит несравненно более совершенной институциональной конструкцией. Однако в условиях «холодной войны» ее деятельность на основных уставных направлениях — поддержание мира и безопасности — была крайне затруднена. Но тогда же, в разгар биполярной конфронтации, в эмбриональном состоянии заработал новый центр глобального регулирования — «семерка» («группа семи»).

По сути эта группа занимается регулированием глобальных проблем. Однако ее отличие от Совета Безопасности ООН заключается в том, что если последний функционирует в режиме оперативного реагирования на обострение конкретных политических и военно-политических ситуаций, «семерка» (с присоединением России «восьмерка») работает в более стратегическом, перспективном ключе. Она претендует на выработку долгосрочных параметров развития мира, охватывая всю структуру СМО. Решения «группы семи» посылают важные сигналы всему остальному миру, поскольку, даже в отсутствие юридически обязывающего характера, они, будучи принятыми единогласно, представляют позицию наиболее могущественных держав.

Исторически «группа семи» была созвана как временный форум для обсуждения путей преодоления последствий нефтяного кризиса, грянувшего после арабо-израильской войны 1973 года. Кризис был инспирирован группой арабских стран — экспортеров нефти, которые приняли решение о снижении ее добычи, а Саудовская Аравия даже ввела эмбарго на ее поставки в США и Голландию в качестве ответа на их помощь Израилю. Как следствие, произошло резкое повышение цен на нефть. Хотя и не сразу, но странам Запада удалось преодолеть отголоски кризиса путем внедрения энергосберегающих технологий. Тем не менее возможность повторения кризисного сценария обеспокоила западные государства и подтолкнула их к мысли о создании постоянного клуба основных развитых стран, в повестку дня которого довольно скоро, наряду с экономическими, вошли и политические вопросы, хотя пока в основном как объект обсуждения, а не согласованных решений.

Включение России в «группу семи» имело во многом искусственный характер. Это должно было стимулировать Россию к западному выбору и закреплению в ней демократических завоеваний.

На сегодняшний день муссируются проекты расширения членства «группы восьми» до 13 стран. Новый лидер Китая, одного из наиболее вероятных претендентов на присоединение к ней, Ху Цзиньтао уже дал на это свое согласие. В случае осуществления этих замыслов «восьмерка» окончательно обретет контуры неформального института глобального регулирования в строгом смысле слова.

Вместе с тем, анализируя современное состояние «восьмерки», нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что, кроме России, все остальные ее члены являются военно-политическими союзниками. Шесть из них — члены НАТО, а Япония связана с США договором безопасности. В свете четко обозначившегося «движения на восток» со стороны НАТО отношения этого военно-политического блока с Россией отнюдь не безоблачны. Что касается Японии, то о характере российско-японских отношений можно судить по отсутствую мирного договора, хотя с момента окончания Второй мировой войны прошло уже более шестидесяти лет.

Положение России в «восьмерке» осложняется еще и состоянием ее экономики. В силу этого до последнего времени она отстранена от участия в обсуждении экономических проблем. И хотя сейчас она практически приблизилась к статусу полноправного участника, ее относительная экономическая слабость продолжает сказываться. Дело в том, что все остальные члены клуба — высокоразвитые индустриальные государства, находящиеся на стадии перехода к научно-информационному (постиндустриальному) обществу. Россия в этом плане существенно отстает.

Взаимное положение основных государственных игроков

По мнению большинства авторитетных западных экономистов, современная политэкономическая картина мира, в координатах которой существует на сегодня СМО, имеет четырехчленную конфигурацию:

1. *«Ядро»* (англ. *core*) — состоит из стран-членов ОЭСР (30 государств). Это полюс благосостояния современного мира, так называемый «золотой миллиард».
2. *Полупериферия*, разнородный конгломерат стран, приближающихся к вхождению в «ядро». Он включает «азиатских драконов», динамично развивающиеся страны АТР, стремящиеся в постиндустриальный мир, а также страны с высоким уровнем нефтяных доходов и стандартов жизни.
3. *Периферия*, или «серая» зона, включающая страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) и некоторые латиноамериканские государства, обладающие жизнеспособной экономикой, но не

вошедшие в «ядро» по причине низкого уровня доходов населения, высокой социальной дифференциации и, самое главное, не имеющие ясных перспектив развития. Пока факты свидетельствуют о том, что к 2050 году Китай может примкнуть ко второму миру, в то время как Россия находится в стагнации с некоторыми признаками выздоровления.

4. *Черная дыра мирового сообщества* (англ. *the black gap of the world community*): сколько ни вкладывай туда ресурсов, инвестиций, безвозмездной помощи — никакой отдачи не приносит. Это — страны-иждивенцы мирового сообщества, экономически недееспособные государства, очаги нестабильности с квазиправительствами, не контролирующими территорию, не обеспечивающими ее безопасность и не предоставляющие их населению необходимый минимум жизненных благ — одним словом, то, что в англоязычной литературе описывается как failed states. Они появились на карте мира после распада колониальных империй, в основном в Черной Африке, где, покидая свои владения, европейские державы оставили после себя искусственные образования с условными границами, придав им формальные атрибуты государственности. На деле народы, их населяющие, находились и по-прежнему находятся на стадии родо-племенного строя, то есть по сути — догосударственной стадии. Они не могут быть стабильными, поскольку племя — это альтернатива государства, оно не нуждается в государстве и не способно сосуществовать с ним.

Странами ОЭСР сегодня проводится курс на расширение «ядра» посредством подтягивания к нему государств полупериферии. Принято считать, что наибольшую опасность для «ядра» представляют страны периферии как фактор дестабилизации, причем в этом плане выделяется именно Россия с ее ракетно-ядерной мощью.

Возвращаясь к проблематике регулирования СМО в целом, можно констатировать факт его поступательного развития, достигшего максимальной интенсивности в XX веке, что нашло свое выражение прежде всего в формировании постоянного институционального компонента регулирования. Ничего подобного история СМО ранее не знала. Причем, что особенно важно, он формировался на коллективной (партнерской), а следовательно, в известном смысле на демократической основе.

Альтернативой данной тенденции были «мировые» империи, создатели которых претендовали на власть над миром, то есть на управление им авторитарными методами. В наиболее четкой форме эта идея была

выражена Тамерланом: «Один Бог на небе, один царь на земле». Как видно, организационный идеал этого создателя очередной «мировой» империи выражен весьма четко.

Сегодня данный идеал не столь примитивен, но по существу пребывает в неизменном виде, а его инвариант носит название «однополярный мир», возглавляемый США как единственной супердержавой. Видимо, нет необходимости доказывать, что американская мировая гегемония — явление сугубо авторитарное, хотя и маскируемое ссылками на общечеловеческие ценности (включая, естественно, демократию).

Эта авторитарная тенденция, предполагающая утверждение США в качестве центра управления СМО, неизбежно ведет к отрицанию самой идеи регулирования, а следовательно, и всего того, что было сделано в этом плане ранее. Курс на установление американской мировой гегемонии («новый мировой порядок») встречает как пассивное, так и активное сопротивление других субъектов международных отношений. Оно все чаще побуждает правящие круги США прибегать к вооруженному насилию, игнорируя нормы международного права и действуя в обход ООН. Дежурным обвинением в адрес последней стал тезис о ее неэффективности.

В самом деле, действия ООН отнюдь не всегда обнаруживали необходимую эффективность. При этом нельзя, однако, не замечать, что, как правило, это было обусловлено остротой противоречий между великими державами. Тем не менее в большинстве случаев деятельность ООН отличалась сбалансированностью и не вела к усилению конфликтогенности, что зачастую имеет место при односторонних действиях США. В сущности, они настойчиво подталкивают ООН к масштабному использованию военной силы в международных делах, даже если для этого нет серьезных оснований.

Наглядным примером последствий односторонних действий США в обход СБ ООН является их интервенция в Ираке. Участие в ней войск государств-сателлитов не должно вводить в заблуждение относительно ее одностороннего характера. Сам по себе режим Саддама Хусейна был действительно преступным, но главным основанием для интервенции был его антиамериканизм. Для маскировки этого США и их младшему партнеру Великобритании (при правительстве Блэра Великобритания приобрела явные черты сателлита) пришлось прибегнуть к использованию фальсифицированных обвинений, что не только в морально-этическом, но и в правовом отношении вещь недопустимая и осуждаемая (клевета).

Данный факт красноречиво свидетельствует, что администрация Дж. Буша-младшего сползала на позиции политического экстремизма, девизом которого является лозунг: «Цель оправдывает средства». При

всей парадоксальности данной аналогии Буш-младший и его команда — это своего рода необольшевики. Симптоматично, что одним из его наиболее любимых положений является: «Кто не с нами, тот против нас». По подсчетам немецких исследователей, за первую половину 2005 года он использовал его 99 раз (а немцы — народ точный и аккуратный). Для справки: данный тезис принадлежит русским народовольцам — сторонникам политического террора. Большевики заимствовали его и реализовали в невиданных ранее масштабах («ликвидация как класса»). Американские аналитики, судя по всему, не осведомлены о его происхождении.

Война и конфликт между государствами

Ранее (см. табл. 1) была приведена типология взаимосвязей между субъектами международных отношений, причем подчеркивалось, что структурообразующими среди них являются политические. В свою очередь, в рамках последних доминирующими являются межгосударственные, так как именно государство выступает системообразующим элементом СМО. Все другие, то есть второстепенные ее элементы, в той или иной степени подконтрольны государственной власти в силу их пространственной локализации. Все геопространство (вся суша, исключая Антарктиду) находится в собственности государств (территориальный суверенитет). Не говоря уже о том, что все население мира через гражданство «прикреплено» к определенным государствам. В этом отношении весьма красноречив пример католической церкви, которая сохранила свою государственность, хотя и чисто символическую (государство Ватикан), что обеспечивает ей неподконтрольность. Однако нельзя не признать, что это — явление исключительное.

Совокупность межгосударственных политических взаимосвязей образует внешнеполитическую субструктуру СМО, точнее: ее политическую структуру. Любые социальные, а следовательно, и политические взаимосвязи характеризуются целенаправленностью, что ведет к их объединению в последовательные ряды, то есть в процессы. В рамках внешнеполитической субструктуры СМО конфронтационные взаимосвязи образуют конфликтные процессы, кооперативные — процессы сотрудничества, а нейтральные — переговоры. Особенностью последних является то, что они могут как обладать самостоятельной значимостью, так и быть инкорпорированы в процессы сотрудничества и конфликты. В первом случае такого рода инкорпорация обязательна, а во втором — лишь возможна. Вообще, сами по себе переговоры в принципе индифферентны к содержанию взаимосвязи и именно ввиду этого представляют собой предельно универсальное явление. В свете вышесказанных соображений перейдем к рассмотрению внешнеполитических процессов.

Поскольку к настоящему времени накоплен огромный объем зарубежных и отечественных научных разработок по данной проблематике, постольку представляется целесообразным сконцентрировать внимание на слабо прописанных ее аспектах. Прежде всего необходимо развести понятия «внешнеполитический» и «международный (точнее: международно-политический) конфликт». Первый выступает составной частью второго. Субъектами последнего могут быть не только государства, но также правительственные и неправительственные международные организации, политические и общественно-политические организации и движения. Иначе говоря, международный конфликт представляет собой более широкое понятие с точки зрения состава его участников.

Конфликт — это всегда обоюдный обмен враждебными действиями со стороны его участников, вызванный противоречием их интересов. В отличие от конфликта, конфронтация в принципе может быть и односторонней, по крайней мере, в течение некоторого периода времени. Как любой конфликт, внешнеполитический конфликт характеризуется определенными чертами: динамикой, численностью участников, пространственным размахом, напряженностью и интенсивностью конфронтационных действий. Говоря о динамике, не следует возводить ее в абсолют, так как она носит дискретный характер, прерывается периодами стагнации («заморозки»).

По численности состава участников внешнеполитического конфликта принято выделять двусторонние, многосторонние и коалиционные конфликты. В последнем случае обе стороны конфликта представлены достаточно крупными коалициями. Экстремальным примером подобного рода была «холодная война». Она же характеризовалась и глобальным пространственным размахом. Однако в подавляющем большинстве случаев внешнеполитические конфликты являются локальными и значительно реже — региональными.

Что касается конфронтационной интенсивности и напряженности, то под первой имеется в виду количественная характеристика взаимодействия (численность враждебных акций), а под второй — качественная, то есть переход от информационного к силовому воздействию, на противоположную сторону. Соответственно, можно выделить три стадии напряженности: низкую, среднюю и высокую. Первая — это пропагандистская стадия, в ходе которой формируется желательный политико-психологический климат («мы — правы, они — не правы»). Вторая стадия давления осуществляется внешнеполитическими ведомствами и руководителями государства. Основную роль в рамках такого информационного давления играют разного рода предупреждения и угрозы. Тре-

тья стадия — это стадия санкций, зачастую сочетающаяся с демонстрацией силы (концентрация войск, маневры и т.п.).

В этом последнем случае налицо вероятность перерастания внешнеполитического конфликта в военный, крайним вариантом которого является война. Результатом войн были наиболее радикальные изменения состава СМО и, как следствие, перераспределение в ней власти и собственности, но при сохранении самого порядка их распределения (точнее, вероятно, основополагающих принципов данного порядка).

XX век и особенно его вторая половина стали в известном смысле поворотным пунктом в эволюции войн, обусловленным колоссальным качественным скачком в развитии военных технологий. С одной стороны, оно ограничило возможность ведения войн прежде всего между великими державами (сдерживающая роль ракетно-ядерного оружия), но с другой — стимулировало диверсификацию самих войн. В исследуемом контексте классификация войн может быть представлена в следующем виде (табл. 2).

Таблица 2

Классификация войн

Характер	**Цель**		
	I — Конвенционная	**II — Неконвенционная**	**III — Тотальная**
A — Регулярная	Войны XVIII–XIX веков	Первая мировая война (ПМВ)	Вторая мировая война (ВМВ)
B — Партизанская	Действия французских «маки» во время фашистской оккупации	Действия югославских партизан во время ВМВ	Действия чеченских сепаратистов в 90-е годы XX века
C — Диверсионно-террористическая	Действия сепаратистов на Корсике	Действия эсеров против царизма в 1905–1907 годах	Действия ООП против Израиля

Приведенная таблица нуждается в пояснении, в частности использовавшийся в ней критерий деления по цели ведения войн. Ни конвенционная, ни неконвенционная войны не имеют своей целью уничтожение мирного населения, и наоборот, при тотальной войне это одна из целей, а при диверсионно-террористической войне она может быть даже главной.

Хотя в начале XXI века основной акцент переносится на исследование различных аспектов тотальной диверсионно-террористической вой-

ны, чему в значительной степени способствует триггерный эффект терактов 11 сентября 2001 года, которые отразились на всей международной ситуации, не следует, однако, игнорировать и проявившиеся новации в теории и практике регулярной и партизанской войн.

Применительно к регулярным войнам в этом контексте следует упомянуть интервенцию НАТО в Югославии, в ходе которой ВВС США планомерно разрушали инфраструктуру и гражданские объекты на территории Сербии, как правило предупреждая мирное население о предстоящих авиационных ударах. Само собой разумеется, что оно при этом несло потери, хотя и относительно небольшие, но инфраструктура уничтожалась тотально, поскольку ПВО Югославии не могла в силу своей технической отсталости противостоять этим ударам.

В сущности данный вариант регулярной войны представлял собой модернизацию той тотальной воздушной войны, которую англо-американские союзники вели против гитлеровской Германии под лозунгом: «Выбомбить Германию из войны». Против Югославии удары носили строго избирательный характер, рассчитанный на то, чтобы избежать обвинений в уничтожении мирного населения. Иначе говоря, НАТО и особенно США стремились представить данную войну не только как конвенционную, но и как «цивилизованную», то есть не нарушающую норм международного права.

События 2006 года во Франции явили собой пример своего рода «цивилизованного» варианта партизанской войны, когда отряды арабо-африканской молодежи в нескольких десятках городов уничтожали транспортные средства и гражданские объекты и осуществляли столкновения с полицейскими силами, но без применения огнестрельного оружия. Человеческих жертв при этом не было. Действия этих отрядов были хорошо скоординированными и организованными, осуществлялись только в ночное время и продолжались более месяца. Это дает основания квалифицировать их как партизанскую войну, но как «цивилизованную» и действительно бескровную. Такого история войн не знала.

Инициатором придания войне тотального характера является гитлеровская Германия, но своего апогея она достигла в виде атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Симптоматично, что если Гитлер отвергал общечеловеческую мораль, то американские правящие круги претендовали и продолжают претендовать на роль ее основных выразителей и поборников. В последнее время США против Сербии, а Израиль против Ливана и сектора Газа использовали своего рода «гуманный» вариант тотальной войны — уничтожение инфраструктуры и разного рода гражданских объектов. Формально мирное население не является в этом случае целью, а косвенно превращается в таковую.

Подлинным изобретением XX века можно считать диверсионно-террористическую войну и особенно ее тотальный вариант. Надо заметить, что генезис диверсионно-террористической войны связан с развитием политического терроризма, который, видимо, современен государству. Однако политический террор был и остается явлением индивидуально-избирательным, а любая война — это явление массовое. Акт политического террора и даже серия такого рода актов еще не война. В известном смысле диверсионно-террористическая война — это маргинальный феномен, «застрявший» между политическим терроризмом и партизанской войной. В отличие от последней ее можно вести и на территории противника, пусть и в ограниченных масштабах.

Если первоначально диверсионно-террористические войны были сугубо внутренними, то со временем они стали приобретать международный размах. Инициатором этой трансформации можно с полным основанием считать Организацию освобождения Палестины (ООП). Диверсионно-террористические войны ведутся политическими организациями или движениями экстремистского толка, но обычно при поддержке или попустительстве государств. В настоящее время глобальную диверсионно-террористическую войну ведет против США и их союзников исламистское движение, спонсором и идейным вдохновителем которого выступает Саудовская Аравия.

Следует признать, что в целом ряде случаев диверсионно-террористическая война в ее тотальном варианте оказалась достаточно эффективной. В частности, благодаря ей ООП удалось добиться кардинального изменения внешнеполитического курса ЕЭС/ЕС, от поддержки Израиля к умиротворению Палестинского движения сопротивления (ПДС). В этом отношении особенно впечатляющим является пример Испании, в которой боевики-исламисты, проведя несколько крупных диверсий, добились отзыва испанских войск из состава коалиционных сил в Ираке. Это в стране, где на протяжении многих десятилетий ведут диверсионно-террористическую войну боевики ЭТА, которая, правда, никогда не была тотальной.

Нельзя не обратить внимания на то, что по мере развития глобализации и бурного развития военных технологий возможности ведения диверсионно-террористической войны в принципе возрастают. Особую опасность в этом плане представляет быстрое совершенствование оружия массового уничтожения (ОМУ) и, в частности, превращение его во все более компактное и простое в использовании. От боевика, в сущности, не требуется наличия каких-либо специальных навыков и знаний («нужно лишь вовремя нажать на кнопку»). Исламистское движение, как известно, широко использует женщин в качестве террористов-смер-

тников. Пока используются обычные взрывчатые вещества. Вместе с тем было бы преступной беспечностью отметать возможность применения ОМУ в перспективе.

В этой связи нельзя не затронуть такого необычного, но от этого не менее значимого аспекта глобализации, как формирование мирового организованного преступного сообщества (МОПС). Среди основных направлений его деятельности, наряду с нарко- и работорговлей, выделяется и торговля оружием, которая хотя и является нелегальной, однако осуществляется весьма интенсивно. Пока нет оснований полагать, что на нем продается ОМУ. Вместе с тем вероятность этого в принципе не исключается.

Этому объективно способствует постепенное, но неуклонное расползание ОМУ по миру, с одной стороны, и развитие коррупции — с другой. Последняя в этом плане представляет весьма серьезную латентную и, как правило, недооцениваемую угрозу. Особую опасность она создает на постсоветском пространстве, где после развала СССР предпринимались неоднократные попытки нелегального получения технологий производства ОМУ, а также вербовки соответствующих специалистов.

Формирование МОПС резко интенсифицировалось в конце прошлого столетия, причем более заметную роль в нем стала играть российская организованная преступность, которая сейчас претендует на лидерство в МОПС. Борьба с ним не могла быть эффективной в рамках отдельного государства и потребовала объединения усилий. Как следствие, появилась такая международная правительственная организация, как Интерпол, которая в сущности представляет собой продукт развития и совершенствования международных правовых (точнее, конечно, правоохранительных) кооперативных связей, а следовательно, межгосударственного сотрудничества.

Формы сотрудничества субъектов мировой политики

Субъектами внешнеполитического сотрудничества являются государства, а само оно как процесс представляет собой стабильную структуру кооперативных внешнеполитических связей. Как и в случае с внешнеполитическим конфликтом, внешнеполитическое сотрудничество является частью международного. Последнее включает в себя второстепенные элементы СМО и весь спектр взаимосвязей.

Объективной предпосылкой внешнеполитического сотрудничества является наличие некоторого массива общих интересов. В противном случае кооперативное взаимодействие носит единичный, спорадический характер, то есть не представляет собой процесса в строгом смысле

слова. Вместе с тем следует учитывать то обстоятельства, что даже если процесс сотрудничества начался, он может быть «подавлен» в зародыше превосходящей массой конфронтационного взаимодействия. Тогда влияние общих интересов проявляется в так называемых «параллельных действиях», когда государства стремятся добиться одного и того же результата изолированно друг от друга, не прибегая к сотрудничеству.

Если общие интересы являются жизненно важными, то государства (и не только они) идут на «замораживание» имевшего места ранее конфронтационного взаимодействия. Обычно это происходит во время войны, от исхода которой зависит судьба государства. Однако подобного рода «заморозка» всегда явление временное, которое рано или поздно кончается, ибо само по себе данное сотрудничество в сущности является вынужденным.

Для оценки состояния процесса сотрудничества могут быть использованы те же критерии, что и в случае с внешнеполитическим конфликтом, но, естественно, с соответствующей модификацией. Неизменными остаются критерии числа участников и пространственного размаха (масштаба). Что касается интенсивности, то тут ключевую роль играет не столько ее количественная, сколько качественная характеристика.

Данный тезис требует пояснения. Под количественной характеристикой имеется в виду число внешнеполитических проблем, по поводу которых налицо кооперативное взаимодействие участников сотрудничества. Что касается качественной стороны дела, то здесь критерием служит степень дополнения внешнеполитического сотрудничества другими его видами и особенно военным. Чем выше степень такого рода дополняемости, то есть чем более комплексным является внешнеполитическое сотрудничество, тем оно стабильней — и наоборот. Исключений данная закономерность не знает.

Альтернативой враждебности (напряженности) является дружественность, уровень которой детерминирует степень развития сотрудничества. В самом общем виде можно выделить четыре стадии этого развития: консультативную, координационную, коалиционную и интеграционную.

Самая низкая, консультативная, стадия сотрудничества предполагает регулярный обмен информацией между участниками по поводу своих позиций по достаточно широкому кругу международных проблем. Причем такого рода информационный обмен должен проходить на уровне министров иностранных дел (заместителей министров) и глав государств в ходе их личных контактов — непосредственно или с помощью технических средств. Несмотря на быстрое развитие последних, они пока не в состоянии заменить непосредственные контакты.

На стадии координации вышеуказанный обмен сочетается с согласованием позиций во избежание конфронтации. Однако если стороны не берут на себя при этом каких-либо обязательств и не заключают неформальных соглашений, то по существу имеет место своего рода «молчаливый отказ» сторон от любых враждебных действий друг против друга.

Коалиционная стадия предусматривает выработку общей позиции и стратегии ее реализации, то есть определенной программы совместных действий. Она может быть оформлена в виде соответствующего договора или соглашения, то есть иметь или не иметь определенное правовое оформление. В первом случае коалиция в потенциале носит долговременный характер, а во втором, как правило, временный, конъюнктурный, обусловленный наличием некоего общего противника или оппонента. Например, сугубо конъюнктурная коалиция России, Франции и Германии по поводу проблемы интервенции США в Ираке. Два из трех членов данной коалиции — военно-политические союзники США, но они не были согласны с внешнеполитическим курсом США по этой конкретной проблеме.

Следует заметить, что само по себе правовое оформление коалиции отнюдь не гарантирует долговременность коалиции, особенно во время войны. В частности, несмотря на правовое оформление, антигитлеровская коалиция была заведомо конъюнктурной, а признаки ее распада появились уже на заключительных этапах мирового конфликта. Как только общий враг — гитлеровская Германия — был разгромлен, коалиция распалась. По существу правовое оформление не сыграло сдерживающей роли.

Неформальные конъюнктурные коалиции отличаются высокой степенью динамизма, быстро возникают и так же быстро распадаются. В рамках таких коалиций взаимодействие участников, как правило, ограничивается взаимной поддержкой. В долговременных коалициях оно обычно дополняется взаимопомощью, экономической и военной. В большинстве случаев такая помощь (односторонняя или обоюдная) получает соответствующее правовое оформление (договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи).

Подобная формулировка означает трансформацию политической коалиции в военно-политический союз (блок). Он формируется либо во время войны, либо в преддверии реальной угрозы ее возникновения. По своему составу такой блок (как и любая коалиция) может быть узким (два-три участника) или широким (например, НАТО). Военно-политический блок обычно тяготеет в той или иной степени к пространственной экспансии, то есть включению новых членов, хотя далеко не всегда это удается.

Говоря о коалициях, нельзя не коснуться проблемы лидерства, а следовательно, симметрии или асимметрии их состава. В первом случае участники коалиции примерно равны по своим возможностям (например, Антанта), в ней отсутствует ярко выраженный лидер, а во втором — он налицо, хотя равноправие участников и провозглашается (принцип консенсуса). В зависимости от роли лидера асимметричная коалиция может быть партнерской, вассальной или клиентельной.

В партнерской коалиции лидер — это старший партнер, а остальные ее участники — младшие (*Primus inter pares*). В вассальной он связан с другими системой взаимных обязательств, которая ограничивает его возможности, так как предусматривает наличие определенной «свободы воли» у других. И наконец, в клиентельном варианте эти другие лишены «свободы воли», что по существу делает их независимость чисто формальной. Этот вариант клиентельной коалиции возникает отнюдь не всегда на добровольной основе.

Четвертой стадией развития сотрудничества является интеграция, которая в теории ориентирована на объединение в новое единое государство членов ранее возникшего союза, что находит свое выражение в формировании так называемых «наднациональных органов», в пользу которых государства-участники передают некоторую часть своего суверенитета. «Наднациональные органы» с известной долей условности можно отнести к правительственным международным организациям (МПО).

Возникновение широкого спектра международных правительственных и неправительственных организаций является результатом развития сотрудничества во всех составляющих структуры международных отношений. Они, то есть МПО и неправительственные международные организации, могут возникать на различных стадиях сотрудничества и соответственно иметь различную функциональную ориентацию. Более того, они могут формироваться и в ходе переговорного процесса. Подобного рода примером может служить трансформация СБСЕ в ОБСЕ, хотя, конечно, это все же представляет собой исключение из общего правила, так как там имел место определенный аспект сотрудничества.

Глава 6

Структура внешнеполитического курса государства

Мировые политические процессы реализуются, как очевидно, в ходе взаимодействия участников международных отношений, причем главным образом государств. В свою очередь действия последних, иначе говоря, их внешнеполитическая деятельность (внешнеполитический курс), всегда или в основном всегда носят планомерный характер, ибо представляют собой проекцию некоей внешнеполитической программы, которая может быть оформлена более или менее строго. Недостаточная разработанность внешнеполитической программы делает внешнеполитический курс непоследовательным, что создает государству имидж «непредсказуемости».

Внешнеполитическая программа и формулирование государственного интереса

Из этого отнюдь не следует, что данная программа — вещь принципиально не меняющаяся. В нее вносятся и должны вноситься коррективы по мере изменения состояния государства и его международной среды, то есть СМО. Однако подобного рода коррекция не должна затрагивать базовых положений программы. В противном случае программу можно считать неадекватной, а внешнеполитический курс — ошибочным. Как ментальная система внешнеполитическая программа имеет вид, представленный на рис. 1.

Приведенная схема дает лишь общее представление о внешнеполитической программе и ее составляющих и в силу этого нуждается в пояснениях и уточнениях, необходимых для того, чтобы избежать неправильной интерпретации. Перейдем к рассмотрению ее составляющих в указанном порядке.

Исходным мотивом любой жизнедеятельности является потребность, однако, в отличие от животных, человек осознает свои потреб-

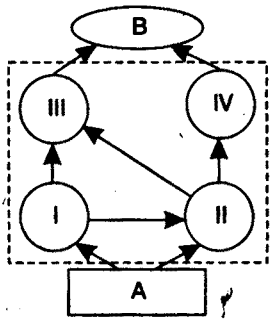


Рис. 1. Внешнеполитическая программа и ее составляющие:

A — субъект международных отношений (государство); B — внешнеполитический курс; - - - - — внешнеполитическая программа; I — интересы; II — ресурсы; III — цели; IV — образ действий

ности и в известных пределах может регулировать их удовлетворение. Соответственно, осознанная потребность выступает как интерес. Иначе говоря:

интерес = потребность + осознание.

Интерес, таким образом, имеет дуалистическую природу: объективную в виде потребности и субъективную в виде ее осознания. Поскольку когнитивные возможности сознания всегда ограничены (невозможность познания абсолютной истины), то в процессе осознания всегда в большей или меньшей мере возникают различного рода ошибки и недостатки.

Принципиальное несовершенство осознания в наибольшей степени сказывается тем сильнее, чем дальше социальные потребности удаляются от биологически детерминированных (материальных потребностей индивида). Соответственно, возрастает значимость их адекватного осознания. Потребность населения страны в продуктах питания, воде, энергии и т.п. осознается автоматически, а внешнеполитические потребности в принципе требуют немалых интеллектуальных усилий для своего осознания. Исключение тут, как правило, составляет потребность защиты от сильного и агрессивного врага.

В этой связи нельзя не остановиться на самом политическом сознании, хотя бы в самой общей форме. Оно имеет трехчленную композицию: **психология — идеология — наука.**

Два первых компонента обычно объединяются в понятие «политическая культура». Научная корректность такого объединения вызывает серьезные сомнения, как в силу самого термина «культура», который предельно многозначен, так и принципиального различия этих двух типов сознания. Что касается науки, то ее включение в политическое сознание — явление относительно недавнего времени, и далеко не везде это уже произошло. Пока это удел великих держав и крупных государств.

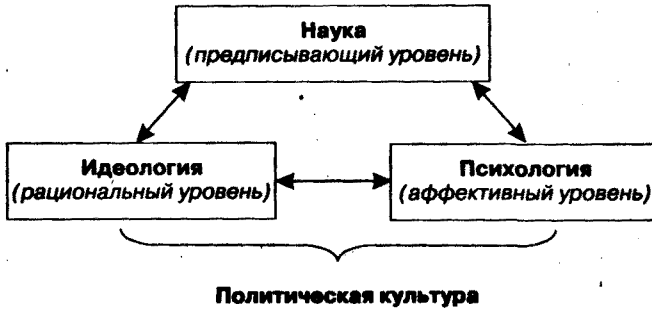


Рис. 2. Политическая культура

Хотя роль науки непрерывно возрастает, что находит свое выражение в развитии все более плотной системы научно-исследовательских институтов и центров, тем не менее особую значимость продолжает сохранять идеология. В этом нет ничего удивительного, так как именно идеология формулирует тот политический идеал (в данном случае идеальное состояние СМО), достижение которого становится самоцелью (самоценностью). Следует заметить, что политический идеал есть синтез соответствующих (имеющих отношение к любой рассматриваемой сфере) ценностей, то есть он всегда аксиологичен.

Вместе с тем, поскольку он отнесен к предельно отдаленному будущему и характеризуется временной неопределенностью, возникает широкое поле для спекуляций, тяготеющих к разного рода утопиям. Формирование такого рода утопического идеала многократно усиливает неадекватные аспекты осознания. В этом смысле более чем показателен пример СССР.

Утопический политический идеал всегда придает осознанию высокую степень идеологической заданности, однако нельзя не видеть, что к данному результату ведет не только он. При определенных условиях идеологическая заданность может возникнуть и под влиянием осуществления продуманного идеолого-политического проекта.

Следствием несовершенства сознания и идеологической заданности становится возникновение трех типов интересов: действительных, мнимых и неосознанных. Первые — адекватно осознанные потребности, вторые — осознание несуществующих потребностей, третьи — отсутствие или неадекватное осознание существующих потребностей.

Неадекватность осознания может проявляться не только в возникновении ложных интересов, но также и в неверной оценке их значимости. Как в теории, так и на практике принято подразделять интересы по

рангу значимости на жизненно важные (главные), приоритетные (основные) и неприоритетные (второстепенные). В качестве общей тенденции выступает стремление завышать ранг значимости своих интересов и понижать его у партнеров и оппонентов. Как на некий ментальный феномен следует обратить внимание на то обстоятельство, что мнимые интересы обычно получают высокий ранг значимости, особенно если они связаны с идеологической заданностью.

Поскольку внешняя политика представляет собой монопольную прерогативу государства, то, естественно, внешнеполитический интерес является государственным интересом в том смысле, что он формулируется в рамках государственного аппарата. Как правило, это происходит в процессе взаимодействия трех основных внешнеполитических ведомств: министерства иностранных дел, министерства обороны и спецслужб. Другие органы исполнительной и законодательной власти в подавляющем большинстве случаев лишь вотируют сформулированный ими внешнеполитический интерес.

Однако поскольку члены указанной «триады» (МИД, МО и спецслужбы) обслуживают различные связи: МИД — кооперативные, а МО и спецслужбы — конфронтационные, то перед главой государства и его аппаратом стоит задача поддержания баланса между ними (сохранение межведомственного равновесия). Как правило, он нарушается военным ведомством в свою пользу, что ведет к гипертрофии внешней угрозы. Тем самым внешнеполитический интерес сводится к военно-стратегическому на основе известного тезиса: «Мир есть перерыв между войнами».

Вместе с тем, говоря о том, что «триада» играет основную роль в формировании внешнеполитических интересов, нельзя сбрасывать со счетов то обстоятельство, что сама «триада» действует не в социальном вакууме. На нее оказывают влияние как другие ведомства госаппарата (в частности министерства финансов и экономики), так и различные политические и экономические силы, ведущие постоянную борьбу за включение своих интересов в круг государственных. В случае успеха может происходить подмена государственного интереса частным (партийным, корпоративным и т.п.).

В этой связи следует прокомментировать вопрос о соотношении интересов государства и общества. Они в большей или меньшей степени совпадают, но никак не тождественны. Во-первых, в силу того, что само по себе государство, или, точнее, государственный аппарат, обособлено от общества и представляет собой относительно замкнутую корпорацию с присущими ей интересами. Во-вторых, само общество есть глубоко дифференцированное целое, отдельные части которого имеют свои, зачастую противоположные интересы. Причем не все и не всегда эти части жиз-

ненно заинтересованы в самом его сохранении. Хотя, конечно, большинство их в этом заинтересовано, по крайней мере, в принципе.

Особенно опасным при формулировании государственного интереса является его подмена экономическими интересами бизнеса, который в соответствии с логикой рыночных отношений стремится к максимальной прибыли, не очень заботясь при этом о социальных и политических, не говоря уже об экономических последствиях своей деятельности, которая зачастую граничит с криминальной. Символом веры руководителей этих корпораций-монополий можно считать высказывание: «*What is good for the IBM is good for the US*». Так говаривал президент одноименной компании. Впрочем, довольно скоро он исчез с политической и экономической сцены, поскольку США давно переболели болезнью, именуемой в России олигархическим капитализмом.

Это чрезвычайно опасная тенденция, особенно для России, где, например, интересы государства, не говоря уже об обществе, подменяются международными интересами Газпрома, который, как и любая корпорация-монополист, исходит из идеи извлечения максимальной коммерческой прибыли. Выгодны ли его соглашения с Туркменией о реэкспорте ее газа российскому обществу и государству — вопрос далеко не праздный, особенно если учесть, что за это пришлось заплатить судьбой 100 тыс. соотечественников.

Сейчас государственная власть пытается усмирить зарвавшийся бизнес, Путин отвел ему новую роль — отныне, чтобы обеспечить государственное представительство своих интересов, бизнес должен стать социально ответственным, сотрудничать с государством в решении наболевших социально-экономических проблем. Однако утверждать, что бизнес, и прежде всего олигархический, согласился на это, нет серьезных оснований. Это не случайно, так как в своем большинстве российская олигархическая буржуазия состоит из представителей диаспор (в 2006 году из 53 российских долларовых миллиардеров около 60% — представители диаспор). В этом отношении современная Россия сравнима с Индонезией, где из 15 самых богатых семей 12 — китайские.

Серьезнейшим препятствием для адекватного формулирования государственных интересов России является чрезвычайно высокая, даже, вероятно, предельная коррумпированность государственного аппарата, включая его высшие звенья. В этих условиях в состав государственных интересов России неизбежно инкорпорируются интересы других государств, далеко не всегда дружественных.

Блокировать негативное влияние отмеченных обстоятельств могла бы четко артикулированная политическая идеология. (Не путать с идеологической заданностью, которая абсолютизирует роль политической

идеологии, возведя ее в абсолют, как это было, например, в СССР. К этому случаю вполне применим тезис Гегеля о том, что «всякая крайность есть своя собственная противоположность».)

Пока у России такой идеологии нет, хотя ее внешнеполитическая составляющая (внешнеполитическая идеология) начинает просматриваться все более определенно. Подобного рода ситуация вполне естественна, ибо заполнение идеологического вакуума, возникшего после развала СССР, вряд ли могло произойти в одночасье. В этой связи следует заметить, что внешнеполитическая идеология не обязательно характеризуется самобытностью. Она может быть заимствована, конечно, с соответствующей модификацией, или быть коалиционной. Говорить о внешнеполитической идеологии квазигосударств и государств-сателлитов можно лишь условно. Однако для крупных государств, а тем более великих держав наличие собственной внешнеполитической идеологии обязательно. К России это относится в полной мере.

Как ментальная система внешнеполитическая (и политическая в целом) идеология содержит четыре следующих основных аспекта: селективный, компаративный, релятивный и нормативный. Первый — выбор идеала, второй — соотношение идеала с реальностью, третий — выбор реализатора идеала, четвертый — выбор метода реализации идеала. Рассмотрим их более детально и в указанной последовательности.

1. *Селективный аспект.* В самом общем виде принято выделять два альтернативных типа политического идеала: авторитарный (автократический или олигархический) и демократический. В рамках СМО автократический идеал — это мировая гегемония одного государства или даже «мировая» империя, окруженная сателлитами, а олигархический — мировая гегемония партнерской коалиции (возможно, даже вассальной). Не сложно заметить, что политическая элита США после окончания «холодной войны» сделала выбор в пользу авторитарного идеала, причем республиканцы — автократического, а демократы — олигархического. Налицо своего рода политический парадокс, когда во внутренней политике государство демократическое, а во внешней — авторитарное.

Что касается демократического внешнеполитического идеала, то он представлен, пусть в отнюдь не совершенной форме, в Уставе ООН. Не случайно ООН как таковая негативно воспринимается правящей элитой США, вплоть до идеи ее ликвидации. Как известно, позиция России (да и не только ее) выстроена прямо противоположным образом. Однако делать исходя только из этого вывод об окончательном выборе Россией демократического идеала было бы все же преждевременно.

2. *Компаративный аспект.* В сущности, это инвариант соотношения между «сущим и должным» и, как следствие, оценка существующего

состояния СМО как удовлетворительного (приемлемого) или неудовлетворительного (неприемлемого). Первая предполагает постепенное улучшение на пути к идеалу, а вторая — резкое кардинальное изменение, например превращение СМО в мировое государство. Именно идея создания мирового государства вдохновляла создателей «мировых» империй.

Ее реализация была задачей всемирно-исторического значения и в этом своем качестве требовала обоснования ссылками на чью-то высшую волю. Как правило, это был Бог или История (историческая закономерность). Наличие данной идеи дает основание квалифицировать эту идеологию как радикальную, а ее отсутствие — как консервативную.

3. *Релятивный аспект.* Всякий идеал предполагает наличие субъекта, который призван добиваться его осуществления. Консервативная внешнеполитическая идеология допускает широкий спектр субъектов, а радикальная предполагает лишь одного («мессианство»), который при этом может создавать коалицию, как правило, клиентельного типа.

«Мессианскими» субъектами могут быть не только государства, но и другие политические участники международных отношений, в частности, политические партии или движения, но лишь потенциально, до тех пор, пока не захватят власть в определенном государстве (например, большевики в России).

Радикальная внешнеполитическая идеология всегда является «мессианской», хотя отнюдь не в одинаковой степени. Последняя самым непосредственным образом связана с четвертым аспектом внешнеполитической идеологии.

4. *Нормативный аспект.* Реализация идеала всегда предполагает выбор образа действий, а следовательно, наличие или отсутствие определенных ограничений, прежде всего на использование вооруженного насилия: отсутствие каких-либо норм (правовых или морально-этических), ограничивающих его применение, делает внешнеполитическую идеологию экстремистской. И наоборот, их наличие позволяет считать ее умеренной.

В принципе любая радикальная идеология является одновременно и экстремистской, однако ставка на вооруженное насилие может быть абсолютной (исключающей политический компромисс как таковой) или относительной (его допускающей). В первом случае налицо крайний экстремизм, в соответствии с которым любые международные договоры и соглашения не что иное, как «клочки бумаги». Соответственно, их выполнение — вопрос сугубо конъюнктурный.

Ставка на ничем не ограниченное применение насилия неизбежно порождала и порождает явную или замаскированную враждебность со

стороны других, что находит отражение в уже цитировавшемся здесь лозунге всех экстремистов: «Кто не с нами, тот против нас».

Внешнеполитическая идеология, если она достаточно четко сформулирована (она может быть и эклектичной), задает общую ориентацию всему процессу осознания. В качестве альтернативы ей в настоящее время выступает наука. Значимость последней непрерывно возрастает, так как в силу усложнения и повышения динамизма СМО внешнеполитическая практика становится все более наукоемкой. Наглядным подтверждением чего является быстрый рост числа научно-исследовательских институтов и центров. Однако пока нет серьезных оснований полагать, что наука сильно потеснила идеологию, ибо наука по самой своей природе не призвана формулировать идеал. Все научные истины относительны, а идеал мыслится в категориях абсолютного порядка.

Понятие внешнеполитического ресурса

Будучи сформулированными, внешнеполитические интересы предполагают необходимость их удовлетворения путем использования соответствующих ресурсов. В самом общем виде под ресурсами понимается все то, что дает возможность субъекту действовать и воздействовать на других. Воздействие может быть материальным и/или информационным. Оно протекает во времени и пространстве. Что особенно важно — оно должно быть упорядоченным. Исходя из сказанного можно выделить пять основных категорий ресурсов: материальные, информационные, время, пространство (геопространство) и организационные.

Материальные ресурсы распределяются по следующим типам: природные, людские (демографические), военные (военная сила) и экономические (экономическая мощь). Информационные ресурсы — это средства политического, идеологического, научного и культурного влияния. Все эти виды влияния являются управляемыми, то есть субъект может их использовать строго направленно. Вместе с тем материальные ресурсы оказывают влияние самим фактом своего наличия. При этом управлять самим фактом наличия невозможно, ибо оно практически не варьируется и в большинстве случаев предстает как данность. Как следствие, подобного рода стихийное влияние может быть альтернативным сознательному влиянию информационных ресурсов. Стандартным примером в этом плане может служить заявление государства о своем миролюбии в сочетании с развязыванием гонки вооружений. Влияние этой последней резко ослабляет, а то и исключает политическое влияние заявления, теряющего задумывавшийся пропагандистский эффект.

Что касается ресурсов пространства, то в силу его универсальности в особых пояснениях оно не нуждаются, чего нельзя сказать об организационных. Под ними понимается способность государственного аппарата правильно формулировать государственные интересы и рационально использовать имеющиеся (все четыре категории) ресурсы для их удовлетворения. Поскольку государственный аппарат представляет собой иерархическую систему, то особую роль в этом играет правительство (точнее, вероятно, правящая политическая элита), которое должно обеспечить не только принятие, но и реализацию адекватных политических решений. В противном случае КПД государственного аппарата резко снижается, то есть происходит уменьшение величины организационных ресурсов, что в свою очередь неизбежно ведет к бесполезной растрате всех других их категорий. В афористической форме эту закономерность выразил экс-премьер России В. С. Черномырдин: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Сам того не желая, он дал убийственную характеристику состояния организационных ресурсов страны, поскольку «как всегда» — это очень плохо.

Особенностью организационных ресурсов является то, что их дефицит в принципе не может быть компенсирован другими, ибо организационные ресурсы призваны обеспечивать рациональное использование всех других. Наиболее наглядно их роль видна в военном деле, где скрыть поражения невозможно. В политике она зачастую становится очевидной со значительным лагом.

В зависимости от возможности немедленного использования ресурсы могут быть подразделены на реальные и потенциальные. Ресурсы первой категории субъекты международных отношений, и в частности государства, в состоянии задействовать немедленно, а вторые — лишь через некоторый период времени, причем с той или иной степенью вероятности. Она тем выше, чем большим ресурсом времени располагает субъект. В условиях дефицита времени ему это может и не удастся. В этом смысле время — это ресурс универсальной значимости.

Говоря о ресурсах времени, следует учитывать не только собственно физическое время, но и то, что принято называть «социальным временем» (в данном контексте политическим). Под этим последним подразумевается период бытия определенной комбинации состояний субъектов взаимодействия. Например, в процессе переговоров может иметь место такой этап, когда оба участника склонны пойти на компромисс. Если ни одна из сторон не предпримет шагов по его достижению, то данный ресурс политического времени не будет использован. Однако в последующем подобного рода ресурс политического времени может вновь появиться, и в этом коренное отличие любого вида соци-

ального времени от физического, которое не воспроизводимо. Физическое время в этом смысле абсолютно, а социальное — относительно.

Как таковые, ресурсы предназначены для удовлетворения интересов и, соответственно, по отношению к этим последним они могут быть достаточными, недостаточными (дефицитными) и избыточными. Первые два вида являются необходимыми. Избыточность ресурсов в большинстве случаев относительна и конъюнктурна. Она в основном относится к материальным ресурсам и ресурсам пространства. В отличие от прошлого, в современном мире ресурсная избыточность все больше дифференцируется, а ресурсный дефицит возрастает (в частности энергетический).

В свете сказанного встает проблема ресурсного баланса каждого государства. У подавляющего большинства государств он характеризуется равновесностью, когда дефицит одного вида ресурсов компенсируется за счет других. Однако не всем и не всегда это удается, и тогда возникает ресурсный дисбаланс. Он может быть временным или постоянным. В последнем случае его преодоление связано с трудностями. Наиболее наглядным примером в этом плане может служить Китай, для которого на протяжении всей его истории была характерна избыточность людских ресурсов. Для современной России характерно соотношение пространственной избыточности и быстрого сокращения людских ресурсов (так называемый «русский крест»).

В рамках СМО именно состояние ресурсов государств и прежде всего их военная и экономическая мощь являются основным критерием их статусной ранжировки: великие державы, крупные, средние, малые и карликовые государства. В этой связи следует заметить, что, несмотря на очевидные успехи глобализации и развитие международного сотрудничества, значимость военной мощи если и уменьшилась, то весьма незначительно, а поскольку со второй половины XX века символом ее достаточности стало ракетно-ядерное оружие, то вполне естественным стало стремление целого ряда крупных и даже средних государств его приобрести. Это, на их взгляд, повысит их статусный ранг в СМО и станет надежной гарантией безопасности.

Хотя базовым элементом внешнеполитической программы является интерес, однако состояние ресурсов государства лимитирует возможность его удовлетворения, что находит свое выражение в процессе целеполагания. Если интерес — это желательное, то цель — это возможное желательное. Иначе говоря:

$$\text{цель} = \text{интерес} +/- \text{ресурсы}.$$

Интерес преобразуется в цель, будучи подкрепленным соответствующими ресурсами. Однако возможность такого подкрепления зависит в первую очередь от природы самого интереса. Если он диктуется утопи-

ческой идеологией, то о наличии необходимых ресурсов бессмысленно вести речь. В этом случае роль ресурсов начинает играть Бог или История.

Первый всемогущ, а следовательно, с его помощью можно добиться всего («Аллах акбар», «*Got mit uns*», «*In God We Trust*» и т.п.). История понимается, соответственно, как некая неизбежная судьба, которая рано или поздно приведет к реализации внедренной в массовое сознание идеологемы («Все дороги ведут к коммунизму»). В обоих этих случаях, несмотря на внешнее различие, имеет место замена ресурсов некими внешними силами, открыто или неявно потусторонними.

Вытекающая из утопической идеологемы цель нереальна. В противном случае она реальна, но при этом может быть как достижимой, так и недостижимой в зависимости от обеспеченности необходимыми ресурсами. У достижимой обеспеченность достаточная, а у недостижимой — недостаточная. Однако если применительно к материальным ресурсам, а также ресурсам времени и пространства оценка их состояния бывает относительно точной, то в случае информационных — она всегда довольно приблизительна. В еще большей степени это касается организационных ресурсов. Их, как правило, склонны переоценивать, даже если предшествующий опыт не дает для этого серьезных оснований.

Переоценка степени достаточности ресурсов ведет к появлению псевдодостаточности, то есть мнимой достаточности, и, как следствие, постановке недостижимых целей, что дезорганизует процесс целеполагания. В этой связи следует остановиться на так называемом «эффекте пропагандистского бумеранга». Суть его сводится к тому, что собственная пропаганда начинает негативно влиять на целеполагание. По своей природе пропаганда ориентирована на гипертрофирование своих успехов и минимизацию, а то и замалчивание неудач. Сфера внешней политики, в отличие от большинства других, объективно дает для этого немалые возможности, вплоть до интерпретации неудач как успехов. В результате пропаганда формирует неадекватную картину мира, которая начинает влиять даже на осознание ситуации правящей политической элитой. Таким образом, сама элита, манипулируя общественным мнением, в той или иной степени становится объектом собственной манипуляции.

Процесс внешнеполитического целеполагания в принципе ориентирован на разработку строго структурированной системы целей. Прежде всего это выражается в построении их пространственно-временной иерархии, которая представлена в виде таблицы (табл. 1).

Приведенная таблица нуждается в некоторых пояснениях. Во-первых, под локальной целью подразумевается определенный субъект международных отношений, причем не только государство, но и политическая или общественно-политическая организация. Во-вторых,

Таблица 1

Пространственно-временная типология целей

Пространство	Время			
	I — Краткосрочные	II — Среднесрочные	III — Долгосрочные	IV — Перспективные
A — Локальные				
B — Региональные				
C — Субконтинентальные				
D — Континентальные				
E — Глобальные				

разделение пространственной сферы на пять таксономических уровней позволяет более или менее четко представить размер того поля целеполагания, которое присуще тому или иному государству в зависимости от его статусного ранга в рамках СМО.

Малые и средние государства, как правило, не выходят за пределы регионального, крупные — субконтинентального, а великие державы выходят на глобальный уровень, хотя могут ограничиваться и континентальным. В настоящее время в строгом смысле слова лишь США осуществляют целеполагание на глобальном уровне. Во время «холодной войны» таким полем целеполагания обладал и СССР. Следует, однако, заметить, что его оформление происходило еще в межвоенный период под влиянием Коминтерна (объединения коммунистических партий мира). СССР и Коминтерн, который можно квалифицировать как неправительственную международную политическую организацию, составляли коалицию, которая эволюционировала от первоначально партнерской к клиентельной.

Приведенный пример отнюдь не уникален. В частности, в последней четверти XX века подобного рода коалиция была сформирована Саудовской Аравией, которая выступила в качестве спонсора международного исламистского движения. Ряд входящих в его состав организаций вообще были непосредственно созданы ее правительством. Опираясь на это движение, Саудовская Аравия, будучи средним государством, расширила поле своего целеполагания до континентального и даже, возможно, глобального уровней.

И в том, и в другом случае успех в создании подобного рода коалиций в немалой степени был обеспечен наличием достаточных организацион-

ных ресурсов и ресурсов идеологического влияния. Вместе с тем нельзя не учитывать, что если большевики использовали уже имеющуюся идеологию, несколько модифицировав ее в форме марксизма-ленинизма, то правящая элита Саудовской Аравии реанимировала идеологию панисламизма, которая, казалось бы, уже ушла в небытие, то есть смогла трансформировать незначительный потенциальный ресурс в крупный актуальный.

Вообще, объединение в коалицию в принципе расширяет поле целеполагания ее участников, особенно если предполагает взаимопомощь. Исключение могут составлять клиентельные коалиции, где государство-патрон строго лимитирует внешнеполитический курс государств-клиентов. Первый в этом случае в сущности расширяет свое поле целеполагания за счет вторых.

Наряду с пространственной сферой целеполагания в таблице прочерчен и его временной диапазон: цели дифференцированы по срокам их реализации. Соответственно, краткосрочные — до 1 года, среднесрочные — до 5 лет, долгосрочные — до 10 лет и, наконец, перспективные — без фиксированного срока реализации, то есть десятки лет, иначе — вне пределов обозримого будущего. Именно в силу данной специфики перспективные цели зачастую отождествляются с интересом и даже идеалом. Это вполне объяснимо, ибо спрогнозировать, каким будет состояние ресурсов через несколько десятков лет — задача исключительной трудности или даже невыполнимая, особенно если учесть ускоряющееся развитие современного мира.

После окончания «холодной войны» и развала СССР единственное государство — США — открыто декларировало свою глобальную перспективную внешнеполитическую цель — создание «нового мирового порядка», установление которого означает кардинальную перестройку СМО. В сущности «новый мировой порядок» есть не что иное, как инвариант концепции «*Pax Americana*», то есть тотальную «американизацию» мира. Как ни парадоксально, но данная цель аналогична по своему политическому содержанию той, которую ставили большевики и символическим выражением которой был герб СССР (серп и молот на глобальном фоне). Это вполне объяснимо тождественностью радикальных внешнеполитических идеологий.

Утверждение «нового мирового порядка» есть не просто активная, а решительная глобальная перспективная цель. Данный тезис требует пояснения. Цель как таковая имманентно содержит элемент воздействия или на самого себя (внутриполитическая цель), или на других субъектов международных отношений (внешнеполитическая цель). В том и в другом случае цель может быть направлена или на сохранение *status quo*, или на его изменение. Соответственно, в первом случае цель является

охранительной, а во втором — активной. В свою очередь последняя может быть направлена на изменение внутреннего состояния данного субъекта — цель решительная — или на изменение его поведения (внешнеполитического курса) — цель ограниченная. В экстремальном варианте решительная цель может предполагать ликвидацию этого субъекта (в частности, завоевание одного государства другим).

Однако в современном мире такой экстремальный вариант, в отличие от недавнего прошлого, практически не встречается. Наиболее распространенным является смена политического режима. В контексте «нового мирового порядка» он выражен в идее демократизации мира, что означает ликвидацию всех авторитарных политических режимов в мире. Вместе с тем в рамках концепции «нового мирового порядка» идея демократизации сочетается с идеей установления тотального мирового господства США, то есть по существу с созданием некоей модернизированной мировой империи в полном смысле слова. Иначе говоря, США претендуют на роль мирового автократора. Как следствие, появление и непрерывное усиление тенденции к применению вооруженного насилия как инструмента американской внешней политики.

Если идея демократизации мира в принципе позитивно воспринимается большинством государств, по крайней мере официально, то этого никак нельзя сказать об идее тотального американского мирового господства. Тут налицо открытое или замаскированное противодействие нескольких великих держав (включая Россию) и ряда крупных государств. Особое беспокойство у них вызывает все более масштабное использование США своих вооруженных сил для демократизации, а фактически в целом ряде случаев для расширения своего господства. Даже союзники США по НАТО упрекают их за это, а также за ту поспешность, которая преобразует перспективную цель в долгосрочную.

Подобного рода поспешность, видимо, не случайна. В этом отношении весьма показательно утверждение Дж. Буша-младшего в сентябре 2002 года: «Время не на нашей стороне». Его трудно интерпретировать иначе, как констатацию дефицита ресурса социального (точнее, конечно, политического) времени. Является ли данный дефицит реальным или мнимым, трудно утверждать определенно, но факт его осознания несомненен.

Вообще дефицит ресурса времени (как физического, так и социального) стимулирует тенденцию сокращения временного диапазона реализации цели, а также использование вооруженного насилия в качестве наиболее мощного средства воздействия. Как первое, так и второе в принципе повышает вероятность превращения достижимой цели в недостижимую. Следствием этого является бесполезный расход ресурсов.

В этой связи следует заметить, что само по себе постоянное и бесконтрольное использование вооруженного насилия, даже если при этом достигаются поставленные цели, неизбежно ведет к общему ухудшению мирового политико-психологического климата, что в конечном счете способствует раскручиванию гонки вооружений, особенно опасной в ракетно-ядерную эру. Нет, вероятно, необходимости доказывать, что она мало совместима с демократизацией мира.

Приведенный пример реализации «нового мирового порядка» подтверждает положение о том, что цель достаточно строго коррелируется с образом действий по ее достижению. И хотя цель, как правило, может быть реализована не обязательно только с помощью какого-либо одного образа действий, но в любом случае он должен быть адекватен цели, то есть обеспечивать наибольшую вероятность ее достижения. Выбор неадекватного образа действий ведет к понижению данной вероятности, иногда вплоть до нулевой величины. Следовательно, цель временно, до смены образа действий, оказывается недостижимой.

Адекватность образа действий поставленной цели выражается формулой: «соответствие цели и средств». Нельзя, впрочем, не видеть, что она, будучи заимствованной из военного дела, является слишком упрощенной, так как понятие «средства» в сущности здесь выступает тождественным понятию «материальные ресурсы». Соответственно, другие ресурсы, прежде всего информационные, остаются в известном смысле за кадром, что явно искажает картину не только политического, но и любого социального взаимодействия.

Вместе с тем само по себе наличие даже достаточных ресурсов обеспечивает достижение цели в принципе, но отнюдь не гарантирует его в каждом конкретном случае. Поскольку оно происходит в борьбе, то необходим выбор эффективного (обеспечивающего достижение цели) образа действий в условиях, когда оппонент или противник стремится к этому же. Ограниченность возможностей человеческого сознания предполагает вероятность ошибок при подобного рода выборе, в частности продиктованных чисто случайными причинами. Таким образом, выбор эффективного образа действий всегда в той или иной степени связан с риском (возможностью неудачи).

Поскольку политическая (как и любая другая социальная) деятельность является целенаправленной, то пространственно-временная иерархия целей порождает соответствующую ранжировку образов действий. Доминантной является временная иерархия, и, соответственно, перспективная цель сочетается с принципами внешней политики, долгосрочные и среднесрочные — со стратегией, а краткосрочные — с тактикой.

Принципы в силу их универсальности индифферентны к пространственной иерархии, тактика — всегда локальна. Только стратегии присущ полный спектр пространственной дифференциации. Полным спектром стратегий обладают, как правило, великие державы. У остальных он может появиться, если они объединяются в достаточно широкую и мощную коалицию, но в этом случае некоторые стратегии перестают быть индивидуальными, превращаясь в коллективные (коалиционные).

Принципы — это правила поведения, ограничивающие свободу действий субъекта, что делает взаимодействие субъектов конвенциональным («игра по правилам»), и наоборот, отказ от них означает вседозволенность («цель оправдывает средства»), что придает взаимодействию неконвенциональный характер («игра без правил»). Конвенциональность ориентирована не только на упорядоченность взаимодействия, но и, что не менее важно, на лимитацию так называемого «права сильного», то есть ограничение произвола. Применительно к взаимодействию государств это означает ограничение возможности вооруженной агрессии.

Внешнеполитические принципы в современном мире базируются на общепринятых морально-этических нормах и международном праве. Если первые оформились еще на заре существования цивилизации, то международное право возникло относительно недавно и еще продолжает развиваться. Относительно недавней новеллой в нем можно считать концепцию примата прав человека. Она представляет собой несомненно серьезный шаг в деле совершенствования конвенциональности (защита личности от произвола государственной власти), однако в рамках СМО она еще раз продемонстрировала объективно существующее противоречие между правом как таковым и правоприменительной практикой. Последняя оказалась в руках мирового гегемона — США, которые адаптировали данную концепцию к своим внешнеполитическим интересам, что фактически означает легитимацию «права сильного».

В этой связи нельзя не отметить, что декларирование принципов конвенциональности далеко не всегда тождественно их соблюдению. Оно может носить и маскировочный характер. Вместе с тем история знает ряд примеров полного, причем как декларативного, так и реального, отказа от них. Наиболее наглядным примером была гитлеровская Германия. Чаще всего имеет место отказ от соблюдения норм международного права в категоричной форме. Что же касается общепринятых морально-этических норм, то отказ от их соблюдения, как правило, не декларируется и, более того, тщательно маскируется. Таким образом, между декларируемыми внешнеполитическими принципами и реально действующими может быть «дистанция огромного размера».

Реально соблюдаемые такого рода принципы детерминируют выбор внешнеполитической стратегии и тактики. Если государство придерживается принципов конвенциональности, то и его стратегии в подавляющем большинстве случаев конвенциональны. И наоборот, если оно руководствуется «принципом вседозволенности», то используемые им стратегии обычно неконвенциональны. Вместе с тем на соблюдение принципов, а следовательно, и выбор стратегии самым непосредственным образом влияет характер перспективных и долгосрочных целей.

Охранительная цель коррелируется с конвенциональной стратегией, а решительная активная — с неконвенциональной. При ограниченной активной цели может использоваться как тот, так и другой вид стратегии. В этой связи следует отметить, что в условиях конфронтационного взаимодействия, особенно когда оно явно тяготеет к войне, всегда существует тенденция перехода одной или обеих сторон от конвенциональной к неконвенциональной стратегии. Во многих случаях трудно установить, кто явился инициатором подобного рода перехода.

При сотрудничестве используются только конвенциональные стратегии, так как в противном случае оно неизбежно прекращается. Что касается переговорного процесса, то при инструментальном подходе используется неконвенциональная стратегия, которая должна очень хорошо маскироваться, а при конструктивном — конвенциональная.

Стратегия (как и тактика) предполагает организацию воздействия на оппонента или противника, что может быть достигнуто с помощью давления или маневрирования, а также их сочетания. Соответственно, можно выделить три вида внешнеполитической стратегии (давление, маневрирование и выжидание). Стратегия давления базируется на военной и экономической мощи, потенциальная угроза использования которых должна побудить оппонента или противника пойти на уступки. При использовании стратегии маневрирования основной упор делается на убеждение и поиск компромисса.

Логика компромисса предполагает возможность не только уступок, но даже и корректировку намеченных целей, что придает стратегии гибкость, но, как показывает история, зачастую в ущерб эффективности. В отличие от нее стратегия давления более эффективна, но лишена гибкости, ибо по существу исключает компромисс. Логика давления диктует его наращивание в случае неуступчивости оппонента или противника, что в конечном счете может привести к использованию вооруженного насилия, а следовательно, к войне. Последняя, как уже говорилось ранее, может быть не только неконвенциональной, но и тотальной. В этом случае неизбежно начинает действовать принцип вседозволенности, хотя официально продолжают прокламировать принципы конвенциональности.

Стратегия и тактика актуализуются в форме акций и операций. Акция — это одноразовое действие, а операция представляет собой совокупность взаимосвязанных и согласованных акций, то есть их систему. Применительно к стратегии элементами данной системы являются операции, а к тактике — операции и отдельные акции. Поскольку в конечном итоге все сводится к акциям, то необходимо учитывать прежде всего их типологию. Она может быть представлена в следующем виде: политические, дипломатические, пропагандистские, экономические, специальные и военные. Они могут быть как инициативными, так и ответными. Преобладание первых делает не только тактику, но и стратегию инициативной (активной); и наоборот, преобладание ответных является индикатором их пассивности (реактивности). Инициатива по самой своей природе дает определенное превосходство (преимущество) ее обладателю, так как объективно лимитирует ресурс времени на ответную адекватную реакцию.

Из шести выделенных типов акций четыре конвенциональны, один тип — военная акция — может быть конвенциональным или неконвенциональным. Что касается специальных акций, то здесь явно преобладает неконвенциональность. Это относится не столько к получению информации, сколько к акциям, направленным на физическое уничтожение персональных противников. Однако при этом может возникать противоречие между правовыми и морально-этическими нормами, когда эти персоналии виновны в тяжких преступлениях против человечности (геноцид, террор и т.п.).

Внешнеполитическая идеология и формулирование доктрины

Проведенный анализ внешнеполитической программы позволяет уточнить такие понятия, как «внешнеполитическая идеология» и «внешнеполитическая доктрина» (в отечественном политическом лексиконе используется термин «концепция»). Внешнеполитическая идеология — это перспективная цель (цели) и принципы, а внешнеполитическая доктрина — это долгосрочные и среднесрочные цели и соответствующие стратегии. В отличие от идеологии, доктрина обладает четко выраженной пространственной ориентацией, что создает геополитическую иерархию доктрин — от глобальной до локальных.

Внешнеполитическая идеология является одной из двух составляющих политической идеологии. Другой является внутриполитическая. Хотя обе они представляют собой части единого целого, каждая из них обладает определенной степенью автономии, что создает предпосылку их рассогласования, прежде всего в плане характера выдвигаемого идеала. Если

им присущ единый идеал, то политическая идеология гармонична, и наоборот, различия идеалов делают ее дисгармоничной. Аналогичным образом обстоит дело и внутри каждой из них, но там гармоничность может быть оценена по четырем аспектам: селективному, компаративному, релятивному и нормативному. Если, исходя из этого, сравнить внешнеполитические идеологии США и России, то получим в целях пояснения метода сравнения, скажем, следующую картину (табл. 2).

Таблица 2

Матрица сравнения внешнеполитических курсов государств

Аспект идеологии	Государство	
	США	Россия
I — Селективный	Автократия (монополярный мир)	Демократия (многополярный мир)
II — Компаративный	Радикальный (мировая империя)	Консервативный (суверенитет государств)
III — Релятивный	США	Неопределенная коалиция государств
IV — Нормативный	Неконвенциональный (включая превентивную войну)	Конвенциональный

Из содержания данной таблицы следует вывод о существенных отличиях между американской и российской внешнеполитическими идеологиями. В этой связи следует все же заметить, что если американская внешнеполитическая идеология уже оформилась, то про ее российский аналог этого сказать нельзя. Судя по всему, начавшаяся при Б. Н. Ельцине борьба в российской политической элите по поводу выбора адекватной внешнеполитической (и внутриполитической) идеологии далеко еще не завершена. Причем последняя в сущности продолжает оставаться в эклектическом состоянии. Соответственно, о дисгармонии или гармонии российской политической идеологии можно говорить лишь весьма условно. В отличие от нее американская политическая идеология дисгармонична (демократия внутри и автократия вовне).

В силу своей абстрактности и предельной ригидности внешнеполитическая идеология определяет лишь общие контуры внешнеполитической деятельности, причем осуществляет это опосредствованно, через внешнеполитические доктрины. Они всегда конкретны и достаточно динамичны. Срок их «функционирования» лимитирован (долгосрочная политическая цель — 10–12 лет). В случае необходимости они могут быть

изменены, в частности, с точки зрения избранных стратегий. Сложнее дело обстоит со сменой целей, но и они могут корректироваться по срокам реализации и даже заменяться, хотя это и не желательно.

Принятие доктрины предполагает разработку плана внешнеполитических мероприятий (операций) по ее реализации. Его выполнение представляет собой целенаправленную внешнеполитическую деятельность, то есть внешнеполитический курс. Характер поставленных целей делает его активным (активные цели) или реактивным (охранительные цели). Экстремальным вариантом активности является экспансионизм и агрессивность. В последнем случае основная ставка делается на войну. При реактивном внешнеполитическом курсе если и ведутся, то, как правило, оборонительные войны. Обычно их всячески стремятся избегать (вечный нейтралитет, изоляционизм).

В зависимости от размера геополитической сферы целеполагания можно выделить *масштабный* (глобальный, континентальный) и *партикулярный* (субконтинентальный, региональный) внешнеполитический курс. Значительное увеличение объема ресурсов, прежде всего материальных, порождает тенденцию к расширению геополитической сферы целеполагания и, как следствие, преобразованию партикулярного внешнеполитического курса в масштабный — и наоборот. Это видно особенно наглядно, когда государство оказывается в состоянии затяжного социально-экономического и политического кризиса, не говоря уже о гражданской войне.

В этой связи нельзя не упомянуть вариант партикулярного курса, получивший название *прагматического*. Для него характерна не только крайне ограниченная сфера целеполагания, но и условное наличие внешнеполитической доктрины, так как планирование не идет дальше среднесрочных целей. В лучшем случае. О какой-либо четкой внешнеполитической идеологии в этом случае трудно говорить. И разумеется, он всегда сугубо реактивен.

Внешнеполитический курс — это планируемая деятельность, где экспромт возможен и даже иногда желателен исключительно на тактическом уровне. Чем тщательнее и качественнее внешнеполитическое планирование, тем эффективней курс. Обеспечение такого рода планирования (обычно используется термин «стратегическое планирование») — задача достаточно сложная, так как требует прогнозной оценки реакции на проводимые внешнеполитические мероприятия как вовне, так и внутри страны. Хотя общество в принципе гораздо более индифферентно к внешним делам, чем к внутренним, однако состояние первых может вызвать общественное недовольство (особенно неудачные войны), которое, достигнув определенной критической черты, порождает ультимативное требование смены внешнеполитического курса (как правило локального).

Удовлетворение требований об изменении внешнеполитического курса означает, как минимум, отказ от какой-то доктрины и, как максимум, смену всей внешнеполитической идеологии. В последнем случае налицо кардинальный переворот, то есть замена одного общего внешнеполитического курса другим, а следовательно, нарушение преемственности внешней политики данного государства. Это сопровождается официальной или неофициальной денонсацией ранее заключенных договоров и соглашений. Не обязательно, естественно, всех и сразу. Какие-то могут сохраняться, а другие денонсироваться или не пролонгироваться по истечении некоторого периода времени, то есть с большим или меньшим лагом.

Кардинальное изменение общего внешнеполитического курса или, иначе говоря, разрыв его преемственности — явление достаточно редкое, чего нельзя сказать о локальном. Это объясняется тем, что в локальных рамках, то есть в рамках диады, внешнеполитический курс в некоторых случаях подвержен влиянию случайностей, среди которых главную роль играет степень противодействия со стороны оппонента или противника. Как следствие, возникает необходимость в его корректировке и, хотя и значительно реже, в его смене. Она становится неизбежной, если допущены ошибки в целеполагании, то есть поставлены недостижимые цели (вообще или в установленном интервале времени). Корректировке подвергаются все же в основном стратегия и тактика.

Следует иметь в виду, что неадекватная стратегия самым негативным образом влияет на эффективность тактики — и наоборот. Тактика в наибольшей степени зависит от таких случайностей, как субъективные особенности и психологическое состояние исполнителя (исполнителей). Само по себе правильное тактическое планирование не является гарантией успеха.

В целом задачей внешнеполитического планирования является обеспечение минимума изменений и корректировок намеченного внешнеполитического курса, ибо только в этом случае он будет последовательным и, как результат, предсказуемым и понятным, что уменьшает степень неопределенности, которая всегда воспринимается как потенциально опасная. В этом смысле непоследовательный внешнеполитический курс вызывает настороженность и представляет собой серьезное препятствие в налаживании дружеских отношений.

Реализация внешнеполитического курса выражается во взаимодействии одного государства с другим или группой других, причем сам факт и характер данного взаимодействия в той или иной степени влияют на некоторый круг участников международных отношений (не только государств). Взаимодействующие государства, как правило, пытаются ре-

гулировать в свою пользу это стихийное влияние с помощью пропаганды. Правда, в подавляющем большинстве случаев безуспешно.

В результате складывается некая внешнеполитическая ситуация, а в случае вмешательства в нее других субъектов международных отношений она превращается в международную. Как ментальная система эта ситуация состоит из трех частей (блоков): проблемного, «соотношения сил» и векторов взаимных отношений (в психологическом смысле).

В предельно общем виде проблема — это противоречие между «сущим и должным», или между актуальным и желательным для некоего субъекта. Желательное выражается в его интересе. В политическом контексте интересы субъектов могут как совпадать, так и расходиться. Поскольку все политические субъекты уникальны (в большей или меньшей степени), то совпадение их интересов всегда относительно, а противоречие абсолютно, что и находит свое выражение в наличии между ними некоторого множества проблем. Применительно к отдельному государству это означает наличие у него внешнеполитического проблемного поля.

Внешнеполитические интересы образуют базовые элементы противоречия, а следовательно, и проблемы. Цели и образ действий являются производными. Дуалистическая природа интереса как осознанной потребности в условиях ограниченных возможностей человеческого интеллекта приводит к тому, что хотя основная масса потребностей адекватно осознается, однако некоторые оказываются неосознанными (неосознанные интересы) или потребность мнится там, где ее в действительности нет (мнимые интересы). Иначе говоря, и в том, и в другом случае налицо ошибки в идентификации.

В первом случае такая ошибка приводит к появлению латентных проблем, которая в конечном счете осознается, что обычно требует как минимум коррекции внешнеполитического курса. Во втором случае, то есть при наличии мнимых интересов, возникают псевдопроблемы («проблема на пустом месте»). Не вдаваясь в их детальное рассмотрение, следует вместе с тем заметить, что наиболее мощным стимулятором их появления являются радикальные, экстремистские идеологии с органически присущим им лозунгом: «Кто не с нами, тот против нас».

Не меньшую роль играют подобного рода идеологии и в завышении оценки значимости того или иного внешнеполитического интереса. Симптоматично, что именно мнимые интересы получают высший ранг значимости, их роль находится в русле общей тенденции завышения своих и занижения значимости интересов других. Особенно наглядно это проявляется во взаимоотношениях между государствами, имеющими высший статус, и с государствами, имеющими более низкий статус, несмотря на декларируемое международным правом их правовое равен-

ство. В СМО, как и в обществе, равенство прав не означает равенства возможностей.

Как уже отмечалось раньше, принято подразделять интересы по рангу значимости на три категории: жизненно важные (главные), приоритетные (основные) и неприоритетные (второстепенные). Исходя из данной ранжировки, можно построить следующую типологию проблем.

Таблица 3

Матрица соотнесения интересов в конфликте

Государство «А»	**Государство «В»**		
	I — Главный	**II — Основной**	**III — Второстепенный**
I — Главный	A1/B1	A1/B2	A1/B3
II — Основной	A2/B1	A2/B2	A2/B3
III — Второстепенный	A3/B1	A3/B2	A3/B3

Все включенные в состав таблицы варианты можно подразделить на четыре категории. Первую образует сочетание **A1/B1** — это строгий (обоюдный) антагонизм, при котором ни одна из сторон не может отказаться от своего интереса, то есть пойти на уступки. Возникающая в этом случае проблема неразрешима мирными средствами, то есть чревата прямой военной конфронтацией.

Вторую категорию образуют комбинации **A1/B2, A2/B1** и **A2/B2**. Первым двум присущ нестрогий антагонизм (односторонний), при котором жизненно важному интересу противостоит основной (приоритетный). Что касается сочетания **A2/B2**, то оно неантагонистично, но близко к антагонизму, поскольку уступка по приоритетному интересу всегда означает серьезные негативные последствия. Согласиться на них можно или вынужденно, или за немалую компенсацию. В целом вся данная категория включает трудно разрешимые проблемы.

Третью категорию образуют сочетания **A1/B3, A2/B3, A3/B1** — это разрешимые проблемы, которые в принципе не дают оснований для конфронтации. И наконец, четвертая категория — сочетание **A3/B3** — легко разрешимая проблема, где о конфронтации не может быть и речи. Относящиеся к этим двумя категориям проблемы можно с полным основанием квалифицировать как кооперативные, то есть как разрешимые на основе взаимовыгодного компромисса. Их наличие не препятствует развитию процесса сотрудничества.

В отличие от них проблемы двух первых категорий являются конфликтогенными, то есть стимулирующими конфронтацию, но примени-

тельно к неразрешимым проблемам в абсолютном, а к трудно разрешимым — в относительном смысле, ибо они могут быть разрешены на основе компромисса, хотя отнюдь не всегда взаимовыгодного.

Исходя из сказанного, все внешнеполитическое проблемное поле государства можно подразделить на конфликтогенную и кооперативную зоны, каждая из которых, как правило, дискретна, то есть распространяется на различные сферы его пространственной диспозиции: непосредственное окружение, ближнее и дальнее окружение. В большинстве случаев плотность конфликтогенной зоны является наибольшей в рамках сферы непосредственного окружения. Именно в ней обычно возникают конфликтогенные проблемные «узлы», группы тесно взаимосвязанных разнородных (политических, экономических, идеологических и т.д.) конфликтогенных проблем. Конфликтогенный проблемный «узел» — это комплексный феномен.

В немалой степени возникновение подобного рода «узлов» является результатом пересечения внешнеполитического и внутриполитического проблемных полей, и прежде всего, естественно, их конфликтогенных зон. В результате внутриполитический конфликт интернационализируется или, наоборот, внешнеполитический конфликт создает внутриполитическую проблему, которая может оказаться трудноразрешимой.

Тенденция к интернационализации внутриполитических конфликтов при переходе их в стадию вооруженной конфронтации, то есть гражданской войны, хотя и не сразу, стимулировала формирование общей концепции миротворчества и гуманитарной интервенции. Сама по себе идея миротворчества не может вызвать каких-либо серьезных возражений, однако ее практическое применение в форме гуманитарной интервенции вызывает сомнения, особенно после отступления принципа нейтралитета при ее осуществлении.

Плотность конфликтогенной зоны уменьшается по мере отдаления от сферы непосредственного окружения. Там формирование конфликтогенных проблемных «узлов» менее вероятно, но отнюдь не исключено, хотя это, как правило, характерно лишь для государств с глобальной сферой целеполагания, а следовательно, предельно масштабным внешнеполитическим курсом. Таковыми являются великие державы, но, как показывает исторический опыт, это может быть даже малое государство, во главе которого стоит амбициозный диктатор (например, ливийский руководитель М. Каддафи), который, похоже, мнит себя пророком — спасителем человечества.

Значимость конфликтогенного проблемного «узла» зависит не только от его пространственного положения, но в первую очередь от наличия или отсутствия в нем неразрешимой проблемы (проблем), так как

именно она в наибольшей степени порождает тенденцию к использованию вооруженного насилия, то есть к развязыванию войны, причем, что весьма важно, с обеих сторон. Вместе с тем следует заметить, что вероятность войны достаточно строго коррелируется с «соотношением сил» сторон. Берет на себя инициативу ее развязывания та из них, которая обладает военным превосходством (реальным или мнимым).

Фактор соотношения возможностей

Понятие «соотношение сил» было заимствовано из военной науки («соотношение сил и средств»), что вполне объяснимо ролью, которую играла военная сила в истории СМО. Дополнение ее экономической мощью мало что изменило по существу. Как и прежде, статус государства продолжает определяться его военной и экономической мощью, иначе говоря, теми материальными ресурсами, которыми оно располагает. Вместе с тем нельзя не заметить, что развитие переговорных процессов и особенно сотрудничества ведет к постепенному, но неуклонному росту значимости информационных и организационных ресурсов.

Нет, вероятно, особой необходимости доказывать, что без наличия необходимой и достаточной информации трудно рассчитывать на разработку оптимального внешнеполитического курса. Однако само по себе наличие информации представляет собой лишь предпосылку, использование которой обеспечивает соответствующий организационный ресурс, то есть способность госаппарата эффективно распорядиться имеющейся информацией, не говоря уже о его способности реализовать разработанный внешнеполитический курс. Надо заметить в этой связи, что в военной науке роль организационного ресурса исследовалась в рамках понятия «полководческое искусство». Последнее рассматривалось прежде всего как некий компенсатор недостатка сил и средств путем выбора оптимальной стратегии и тактики. Аналогичным образом обстоит дело и в любых других видах социальной борьбы, что и дает основание анализировать «соотношение сил» с учетом всего спектра ресурсов.

При его оценке используются два базовых понятия — «превосходство» и «паритет». Под паритетом понимается отсутствие превосходства одной из сторон, то есть в известном смысле его нулевое значение. Хотя оба эти понятия имеют количественные и качественные характеристики, при определении паритета качественная характеристика редуцируется и сводится, там где это возможно, к количественной. В этом отношении весьма характерен процесс разоружения, где самые различные виды боевой техники получают количественный вес, на основе которого и определяется некий паритет. Единственное качественное различие, которое было при этом сохранено, это деление на обычные вооружения

и ОМУ. Редукция осуществлялась только в рамках каждой из этих двух категорий военной техники, но не между ними.

При определении превосходства использование редукции, как правило, минимально и, соответственно, используются как количественные, так и качественные характеристики, хотя, естественно, в разной степени. Количественное превосходство принято подразделять на незначительное **(1,5–2 : 1)**, значительное **(3 : 1)**, подавляющее **(5 : 1)** и абсолютное **(10 и более : 1)**. Приведенный цифровой ряд в принципе применим с достаточной степенью строгости к материальным ресурсам, ресурсам времени и пространства. Что касается информационных ресурсов, то их использование требует предварительной квантификации.

Качественная характеристика превосходства детерминируется видами и подвидами ресурсов. Соответственно, оно может быть материальным, информационным, организационным, позиционным и мобильным. Поскольку проблематика материального превосходства исследована достаточно полно как в зарубежной, так и отечественной научной литературе, представляется целесообразным рассмотреть четыре других его типа в вышеуказанной последовательности.

В самом общем виде информационный ресурс — это совокупность тех знаний о себе и среде, которые может использовать политический субъект для оптимизации своего поведения, а также эффективного целенаправленного влияния на состояние и/или поведение среды, то есть других политических субъектов. Применительно к государству это означает разработку оптимального внешнеполитического курса и использование влияния для его реализации без применения открытого насилия.

Говоря о влиянии, необходимо сделать некоторое уточнение. Выше уже отмечалось, что оно может быть стихийным или сознательным. Первое есть продукт наличия материальных ресурсов, так как сила и богатство оказывают влияние уже самим фактом своего существования. Однако стихийное влияние не поддается регулированию и в лучшем случае *принуждает*, то есть потенциально содержит в себе угрозу. В отличие от него сознательное влияние *убеждает*. В последнее время в американской политической науке стал использоваться для его обозначения термин soft power («мягкая сила»). Подобная терминологическая инновация представляется не вполне удачной, хотя она и получила признание и распространение в отечественных научных публикациях.

По сравнению со стихийным, сознательное влияние управляемо и гораздо более разнообразно. Оно включает достаточно широкий спектр его видов. Наряду с военным и экономическим, речь идет о политическом, правовом, идеологическом, научном и культурном влиянии. В рамках внешнеполитического курса доминантным является политическое

влияние, которое реализуется на элитном уровне с помощью дипломатии, а на массовом — с помощью пропаганды. И та и другая ориентированы на создание положительного образа своего государства и отрицательного образа его противников и тем более врагов. Если это удается, то формируются предпосылки для поддержки соответствующего политического курса. Актуализация данных предпосылок происходит в процессе борьбы с альтернативными влияниями. Успех в подобного рода борьбе есть свидетельство наличия информационного превосходства.

Вместе с тем нельзя не видеть, что преимущество в данной борьбе имеет то государство, которое обладает наиболее полной и достоверной информацией о своем оппоненте или противнике (другом субъекте международных отношений) и в то же время имеет возможность ограничить их информированность о нем самом. Стремление минимизировать информацию о себе удачно иллюстрируется термином «государственная тайна». Ее защита от разглашения — это, в сущности, охранительная цель, которая, как правило, дополняется целью активной — дезинформацией. Последняя призвана создать у противника, не говоря уже о враге, неадекватное представление о ситуации и тем самым побудить его допускать ошибки и просчеты при принятии внешнеполитических решений, которые используются дипломатией и пропагандой соответствующего государства. Все это направлено на ограничение информационных ресурсов оппонента или противника, а также на создание для него атмосферы неопределенности. Функции максимизации собственной информированности о среде и минимизации ее информированности о себе выполняют спецслужбы (разведка и контрразведка).

Таким образом, информационное превосходство включает в себя две составляющие. Одна обеспечивается деятельностью дипломатии и пропаганды, а другая — деятельностью спецслужб. Причем именно первая играет основную роль в достижении информационного превосходства, тогда как роль второй является вспомогательной, так как спецслужбы, бесспорно, могут способствовать повышению эффективности дипломатии, но не пропаганды.

Из всего вышесказанного следует, что превращение даже большого объема информационных ресурсов в информационное превосходство самым непосредственным образом связано с наличием организационных ресурсов, то есть состоянием государственного аппарата. Аналогичным образом обстоит дело и применительно к материальному превосходству. Вообще, государственный аппарат, как обладатель высшей власти, организующий и управляющий жизнедеятельностью общества, призван обеспечивать эффективное использование всех видов ресурсов. В противном случае имеет место их бесполезная (для данного об-

щества) растрата. Применительно к внешнеполитическому курсу это ведет к его неизбежному провалу.

Говоря об организационном ресурсе того или иного государства, нельзя не затронуть проблемы характера политического режима, а конкретно — авторитаризма и демократии. В условиях авторитаризма особую значимость приобретает субъективный выбор того или другого решения автократором (диктатором), которому в сущности никто противостоять не может. Если он ошибочен, то происходит дезориентация всего государственного аппарата. История знает немало примеров подобного рода ошибок.

Классическим примером такой субъективной ошибки может служить грубейший просчет И. В. Сталина перед началом Великой Отечественной войны, когда он, несмотря на наличие достаточной и надежной информации о намерениях Гитлера, считал, что тот не нападет на СССР. О трагических последствиях данного просчета хорошо известно.

Если автократор (а он не сменяем) долго находится у власти, то неизбежно происходит его морально-этическая («власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно») и биологическая деградация. Окруженный раболепствующей клиентелой, члены которой, образуя правящую политическую элиту, стремятся во имя своих своекорыстных интересов «поместить его в вату», то есть по возможности изолировать от любой негативной информации, автократор рано или поздно теряет адекватное представление о реальности и, как следствие, все чаще допускает ошибки и просчеты при принятии решений. Предотвратить их окружающая его клиентела или не может, или не хочет, так как это, как правило, связано с серьезным персональным риском.

При рекрутировании членов клиентельной правящей элиты базовым принципом была личная преданность автократору, а деловые качества и профессионализм отходят на второй план. Допуск в ее состав людей с неординарными способностями обычно жестко блокируется автократором во избежание появления конкурентов. Неизбежным результатом в этом случае является пополнение подобного рода элиты посредственными фигурами, зачастую с низким морально-нравственным уровнем, а то и криминальными наклонностями (казнокрадство и коррупция).

В свою очередь члены данной правящей элиты руководствуются этим же принципом при выдвижении руководящих кадров государственного аппарата, что самым негативным образом отражается на его дееспособности, особенно в дипломатии, пропаганде и спецслужбах, не говоря уже об армии.

При демократии свобода выбора главы государства или правительства всегда серьезно ограничена, а следовательно, субъективное предпочтение

не столь значимо. Более того, оно может быть блокировано правящей политической элитой, которая состоит из достаточно самостоятельных политических фигур. Бытие правящей политической элиты как таковой является временным и зависит от результатов выборов. На практике это ведет к постоянной *ротации* и *санации* (очищению от некомпетентных и криминализованных элементов) как ее самой, так и высшего эшелона руководящих кадров госаппарата, работа которого является объектом постоянного публичного критического анализа со стороны политической оппозиции и различного рода общественно-политических организаций.

Исходя из сказанного, можно сделать достаточно обоснованный вывод, что в принципе демократическое государство обладает несомненным организационным превосходством над авторитарным. Тут, однако, очень важно не отождествлять демократию с многочисленными псевдодемократиями («направляемая демократия», «дефектная демократия» и т.п.), представляющими собой модернизированный инвариант авторитаризма.

В этой связи нельзя не привести пример количественной оценки организационного превосходства, осуществленной в рамках исследования КПД госаппарата европейских государств. Например, по глобальной шкале наивысшую оценку получил госаппарат Великобритании — 93%, а Россия всего лишь 21%, то есть английский госаппарат обеспечивает стране почти подавляющее организационное превосходство. Даже если считать это преувеличением, то и в этом случае оно явно не очень большое, что подтверждается неоднократными заявлениями руководителей государства.

Переходя к рассмотрению двух других типов превосходства, следует заметить, что позиционное превосходство относительно независимо, так как обусловлено геополитическим положением государства. Например, островное положение Англии и Японии обеспечивало им на протяжении многих веков безопасность от иностранного вторжения. Таким образом, они обладали позиционным превосходством по отношению к соседям. Вся история Российского государства проходила под знаком преодоления позиционного превосходства Речи Посполитой и Швеции, а затем и Османской империи, которые блокировали его выход к морским коммуникациям. Распад СССР привел к тому, что современная Россия оказалась почти в той же точке, с которой начиналась борьба за преодоление позиционного превосходства соседей.

В отличие от позиционного, мобильное превосходство не так жестко связано с характером ресурса, так как физическое время однородно и одномерно для всех субъектов международных отношений. Что касается социального, а следовательно, и политического времени, то оно

актуализуется лишь в процессе взаимодействия субъектов. Соответственно тот, кто опережает другого, обладает превосходством в ресурсе времени. В свою очередь опережение есть результат инициативы (способность к опережающим, превентивным действиям). Проявляющий и сохраняющий инициативу субъект создает у других дефицит времени для принятия решения и его реализации и тем самым повышает вероятность неадекватной реакции с их стороны. Постоянно сохраняющий за собой инициативу субъект более мобилен и обладает соответствующим превосходством. Не случайно в политике, да и в других видах социальной деятельности, как правило, идет борьба за инициативу.

В процессе реализации внешнеполитического курса государства выявляют не только совокупность проблем и состояние «соотношения сил», но и формируют некую систему (точнее, конечно, подсистему) оценочно-ориентационных отношений друг к другу, а также к другим объектам международных отношений. Оценочно-ориентационная природа (по существу психологическая) данной системы дает основание квалифицировать ее состояние в некоторый период времени как политико-психологический климат. Использование в данном случае термина «климат» представляется достаточно корректным, поскольку предполагает органическое сочетание устойчивости и изменчивости. Обычно устойчивость преобладает на массовом, а изменчивость — на элитном уровне. Устойчивость обеспечивается стереотипизацией отношений (стереотипами), которые, раз оформившись, впоследствии с трудом поддаются изменению, особенно если они в силу длительности существования стали традиционными, транслируемыми из поколения в поколение.

В самом общем виде можно выделить три основных вектора формирования политико-психологического климата, которые представляют собой своего рода трехмерную шкалу его координат.

1. *Вектор «друг—враг»*. Само собой разумеется, что в рамках диапазона данного вектора существует широкий спектр более дробных градаций (партнер, оппонент, конкурент, противник и т.д.). В этой связи нельзя не упомянуть термин «братские отношения», которые рассматриваются как предельная степень дружественности, исключающая какие-либо враждебные действия как таковые. Если базой формирования дружеских отношений является отсутствие конфликтогенных «узлов», а следовательно, и опасности войны, то враждебные отношения всегда предполагают наличие таковых.

В этой связи нельзя не упомянуть о роли исторической памяти, ибо события прошлого, прежде всего войны и факты геноцида, настолько

глубоко влияют на массовую психику, что сложившиеся на их основе отношения могут сохраняться не одно столетие, даже если конфликтогенные «узлы» перестали существовать. Последнее обстоятельство, как правило, гораздо быстрее отражается на элитном, чем на массовом уровне. Хотя нельзя не видеть, что по мере развития технологий манипулирования массовым сознанием возможности элиты в изменении традиционных стереотипов непрерывно повышаются.

2. *Вектор «зависимость—независимость».* Формирование отношений зависимости происходит на основе «соотношения сил», а точнее, подавляющего, не говоря уже об абсолютном, превосходства одного субъекта международных отношений над другим. Весь опыт истории СМО наглядно свидетельствует о том, что гораздо более сильное государство в принципе не склонно учитывать интересы слабого. Исключений из этого правила не так много. Отношение зависимости в большинстве случаев порождает чувство опасности, которое может усиливаться характером третьего вектора.
3. *Вектор «доверие—недоверие».* Отношения доверия возникают как следствие конвенциональности политики, прежде всего ее морально-этического измерения, что находит свое конкретное выражение в соблюдении договоров, соглашений и в целом достигнутых договоренностей, включая так называемые «джентльменские соглашения». В противном случае политика воспринимается как вероломная, что ведет к формированию климата недоверия.

Различные сочетания трех этих векторов позволяют определить общее состояние того политико-психологического климата, в условиях которого государство вынуждено проводить свой внешнеполитический курс. Нет, вероятно, особой необходимости доказывать, что чем благоприятнее политико-психологический климат, тем меньше будет препятствий на пути реализации внешней политики государства — и наоборот. Соответственно, возникает вопрос о возможности изменения климата.

Такая возможность является наиболее реальной в рамках третьего вектора в плане создания климата доверия. Что касается двух других, то там она весьма ограничена ввиду их слабой регулируемости, ибо никто и никогда добровольно не пойдет на отказ от своих основных, а тем более жизненно важных интересов и своего превосходства.

Внешнеполитическая ситуация в целом самым непосредственным образом влияет на процесс формулирования (переформулирования) внешнеполитической программы, а успехи или неудачи внешнеполитического курса — на его состояние, а иногда и на само его бытие (неудачная война).

Глава 7

Лидерство и критерии лидерства в мировой системе

Тенденция к *централизации* международной системы сразу после распада Советского Союза в середине 2000-х годов стала ослабевать. Хотя превосходство Соединенных Штатов не оспаривается, сами они, начав в 2001 и 2003 годов войны в Афганистане и Ираке, стали терять уверенность. Со сменой администрации в Вашингтоне в январе 2009 года после победы демократов на президентских выборах 2008 года воинственные речи американских политиков стали реже, а сама американская политика — немного осмотрительней. Возникли признаки намерения США внести коррективы в свое внешнеполитическое поведение. Амбиции вряд ли стали меньше, но жизнь вынуждает проявлять благоразумие и склонность снова хотя бы выслушивать мнения союзников, прежде всего натовских.

Начавшись в 2003 году как второстепенная по военному значению, авантюра в Ираке спровоцировала неожиданно обширный политико-дипломатический раскол мира. В 2004–2008 годах он приобрел черты оппозиции большинства ведущих стран американской политике односторонних действий, и это превратилось в тенденцию к *децентрализации* мировой системы. Международные условия американского лидерства изменились.

Американское лидерство и отношения России с США

России, правда, новая ситуация не сулит ничего вдохновляющего. Вероятнее всего, потому, что понимание американскими демократами объективной необходимости в консолидации круга привычных союзников (стран ЕС и Японии) толкает к самому простому: поиску «мальчика для битья», раздражение против которого, если его разогреть и направить, может заместить антиамериканские настроения. Терроризм в качестве общего врага уже давно надоел. Демонстративное стремление Б. Обамы

восстановить доверие в отношениях с европейскими союзниками, поколебленное при республиканцах, может означать соблазн воскрешения старой схемы блокирования ЕС и США против «российских амбиций».

Для раздражения Запада против России есть одна фундаментальная причина и, как минимум, три субъективные. Первая состоит в том, что в основе системы мироуправления, сформированной за десятилетие между распадом СССР и началом нового века, оказались две идеи — «сильное американское лидерство» и «слабая, ведомая и дружественная для США Россия». *К началу 2000-х годов эта система уже вполне сложилась.* После балканских войн 1991–2001 годов стало ясно, что под руководством Соединенных Штатов западные страны фактически ничем не ограничены в международном поведении, кроме собственных принципов и доброй воли толковать таковые в зависимости от специфики текущих интересов.

Именно тогда в мире закончился «переходный период». Словосочетание «эпоха после холодной войны» (*post cold-war period*) будет еще долго оставаться в обиходе грантополучателей и грантодателей в области исторической науки. Но по инерции относить его к периоду 2000-х годов уже неправильно. *«Постбиполярный» мир с его надеждами, тревогами и неопределенностью остался в 1990-х годах.* Новый век мировая система встретила структурированной по-новому. США почти стали если не формально, то фактически центром принятия ключевых международных решений. Новый порядок был «отцентрован» под интересы Вашингтона, которые, правда, американские союзники в НАТО, по-видимому, ошибочно считали (или продолжают считать) «и своими тоже».

В 2000-х годах ситуация изменилась. Российская Федерация перестает быть такой слабой, какой она была в конце прошлого века. Во всяком случае, у ее руководителей возникло такое ощущение. Формулы международного регулирования и российско-американских отношений, выработанные в расчете на «автоматическую сговорчивость» Москвы, в значительной степени потеряли адекватность. Избегая говорить о том вслух, их фактически начали пересматривать. Ревизия ведется без продуманной переговорной стратегии, методом проб и ошибок. *Уход России от роли «слабой страны» стал новой характеристикой международной системы начала XXI века.* Не странно, что такой сдвиг был сопряжен с «кризисом понимания» между Россией и всеми ее зарубежными партнерами — от США и Европейского Союза до исламских стран и Китая.

Строго говоря, это изменение, при всей его важности *для нашей страны*, само по себе вряд ли может *радикально* изменить сложившуюся схему *глобальных отношений.* Например, в силу хрупкости того, что принято считать возросшим запасом «экономической прочности» России. Американцы и граждане государств Евросоюза довольно много надежд свя-

зывают с администрацией Б. Обамы. Распространены ожидания перемен к лучшему. От президента ждут успешного завершения конфликтов в Ираке и Афганистане, восстановления уважительного диалога с европейскими союзниками и выравнивания отношений с Россией. Между тем Б. Обаме досталось не очень хорошее дипломатическое наследство.

После событий в сентябре 2001 года Дж. Буш явил невиданный талант сплачивать вокруг себя не только старых партнеров, но и новообретаемых союзников — Россию и Китай. Глобальная антитеррористическая коалиция 2001–2002 годов могла бы стать для республиканцев таким же дипломатическим триумфом, каким для демократов при У. Клинтоне был *перевод Москвы с позиции «неконфронтационного взаимодействия на равных» (как было в 1986–1991 годах при М. Горбачеве) на положение «почетного младшего партнера» (так стало в 1991–1999 годах при Б. Ельцине).*

Но уже в 2003 году война в Ираке расколола глобальную коалицию. Более того, по иракскому вопросу (как позднее и по вопросу о войне против Северной Кореи) США сталкивались с угрозой дипломатической изоляции. Сегодня в круг задач американской дипломатии возвращается мысль о привлекательности новых коалиций. Серьезность этой задачи и настрой Вашингтона на ее разрешение — повод задуматься о том, *какое место сможет занять Россия в новом общемировом коалиционном раскладе.*

«Парадокс мощи» и фактор силы в политике ведущих держав

В начале 2000-х годов в зарубежной литературе был отмечен *«парадокс мощи»* государства. Каждое крупное государство в отдельности за последние 100 лет становилось сильнее, а его возможности подчинять себе других делались меньше[1]. В этой концепции были и правда, и мистификация. Правда — потому что *в XX веке могущество ведущих стран нарастало* (после распада СССР это касалось прежде всего стран «группы семи»). Они обеспечивали прорывы в создании систем вооружений, демонстрировали рост национального богатства, повышение образованности населения, привлекательность жизни. В эти страны устремлялись потоки мигрантов, идей и капиталов. В основе успехов США, государств ЕС и Японии были национально своеобразные системы демократии, позволявшие каждой стране оптимально сочетать свободу регулирующих функций конкуренции с культурными традициями, особенностями национальной психологии и специфики геополитических условий.

Франция или США 2000-х годов многократно сильнее, чем каждая из этих стран в начале XX века. То же можно сказать о Китае, Индии,

многих арабских странах, государствах АСЕАН и Латинской Америки. Россия в этом ряду стоит особо. Она слабее Советского Союза, но и она по многим показателям — военной мощи, научно-техническому потенциалу, качеству рабочей силы — выглядит сильнее Российской империи.

Менее очевидной предстает вторая часть «парадокса мощи» — та, согласно которой *окрепшие страны, ощущая себя стесненными зависимостью от окружающего мира, должны действовать менее произвольно*: Мощным государствам теоретически следовало бы вести себя «не по силе осмотрительно», избегая давления на соседей, учитывая мнения друг друга, избегая войн там, где их возможно избежать, прибегая к убеждению и уговорам, а не к угрозам и шантажу. В какой мере актуален «парадокс мощи»? Реальности побуждают думать о том, что обобщение о возрастании *«сдержанности» в поведении сильных государств справедливо в основном применительно к специфике второй половины прошлого века.*

«Зрелой биполярности» (1962–1991) действительно были присущи особенности, делавшие ее иммуноустойчивой к мировым войнам. Во-первых, существовали материально-силовые, политические, идейно-теоретические и психологические ограничители вмешательства одних государств в дела других. Мир был расколот на две враждебные группировки, которые сковывали друг друга. Во-вторых, действовала логика взаимно гарантированного уничтожения, основанная на ней стратегическая стабильность и *культура «ядерного табу»*. В такой ситуации в политике и дипломатии развилась мощная традиция нахождения *компромисса*. Она определяла мышление политиков и военных в США, СССР, Великобритании, Франции и даже Китае.

В-третьих, взаимное ядерное сдерживание породило механизмы предупреждения войны. Ключевым среди них была ООН, главным назначением которой было исключение угрозы военного столкновения между СССР и США (и между ядерными державами вообще). Рядом с ООН возникла система постоянных военно-политических переговоров, которые не всегда вели к сокращениям вооружений, но постоянно служили каналами информационного обмена и целям взаимной проверки наличия или отсутствия у противостоящей стороны симптомов готовности начать войну.

Под сенью взаимного устрашения развилось международное право и возникли институты правового регулирования международных отношений. К началу 1990-х годов идея управления миром на основе международного права стала настолько популярной, что появились предположения о вступлении глобальной системы в период преобладания *международно-правовых способов ее регулирования*[2]. Теоретическая умест-

ность такого вывода подтверждалась поразительным опытом абсолютно мирного (сугубо правового) распада Советского Союза.

Взгляды о преобладании тенденции к ограничению и самоограничению произвола сильных стран международным правом широко представлены в литературе 1990-х годов. Из написанного вычитывался романтический образ восхождения человечества к правовому универсуму — «глобальному гражданскому обществу» на принципах свободы, демократии и права.

Правда, в 1990-х годах распространение демократии происходило не только в результате вызревания внутренних процессов (в европейских республиках бывшего СССР и странах Центрально-Восточной Европы), но и под прямым военным давлением извне (в бывшей Югославии). *Самоограничение сильных держав, классическими образцами которого остались действия СССР и США в годы «перестройки» (1986–1991), перестало себя проявлять после распада Советского Союза.*

Войны НАТО на Балканах в конце 1990-х годов, несмотря на их несовместимость с представлениями о «сдержанности» и «самоограничении», не смутили пишущих. Западные, да и отечественные исследователи «выстрелили» в ответ на балканские кровопролития фонтаном текстов по поводу достоинств гуманитарных интервенций. Можно допустить, конечно, что их авторы, отыскивая теоретические обоснования легитимности нападения НАТО на Сербию, продолжали верить в «сознательность сильного» и способность США и других стран Североатлантического альянса преодолеть «соблазны превосходства» в отсутствие малейшего риска возмездия со стороны кого бы то ни было. *Но фактических подтверждений способности лидеров добровольно себя ограничивать найти не удавалось.*

Напротив, война в Ираке показала, что сильные страны «вошли во вкус безнаказанности» произвола. Строго говоря, произвольное применение силы Соединенными Штатами произошло еще осенью 2001 года в Афганистане. Но «афганский случай» мог казаться «шоковой реакцией» на события 11 сентября, своего рода исключением. «Вторая афганская война» *выглядела возмездием* «террористам» (почему-то именно афганским) за нападения на Нью-Йорк и Вашингтон.

Вторжение в Ирак, напротив, представало в глазах большинства европейских и азиатских политиков *превентивным ударом*, неспровоцированным и лишенным международной санкции. Среди американских ученых нашлись те, кто расценил вторжение в Ирак как пример использования войны в качестве не исключительного, а «рядового» средства решения международных споров[3]. *Это был полный разрыв* с практикой, философией и культурой межгосударственного общения второй половины XX века.

Американская администрация отвергла логику терпимости к «иному», к тому, что не соответствовало американским представлениям, тогда как именно подобная терпимость позволяла Советскому Союзу и Соединенным Штатам охранять себя и мир от ядерной войны.

Вот почему с позиции общесистемного подхода рубежом нового периода истории международных отношений после распада СССР следует считать не 2001 год (как постулируют американские коллеги), а начало войны против Ирака — 2003 год. Именно в этот момент США и Британия отказались признавать неписаные кодексы международного поведения в том виде, в котором они сложились после Карибского кризиса 1962 года. Полагать после этого, что международная система регулируется преимущественно посредством права, не было никаких оснований. Как и в 1950-х годах прошлого века, *мир стал тяготеть к регулированию на основе силы.*

Сдвиг в политике был тем контрастнее, что американская администрация официально подвела под действия в Ираке доктринальное обоснование. Раньше уже говорилось о том, что были оглашены концепции «смены режимов» и «превентивных действий». Первая давала политическое, а вторая — военное обоснование политики односторонних действий во имя интересов национальной безопасности США.

Новые концепции строились на трех идеях. Согласно первой, правительства неблагонадежных государств (*rogue states*), с точки зрения США, противопоставляли себя мировому сообществу в том смысле, что они могли преследовать цели, несовместимые с американскими интересами. Поэтому эти правительства подлежали замене. Направляющую роль в осуществлении таковой должен был играть внешний мир и сами Соединенные Штаты.

Вторая мысль состояла в том, что результатом смены режимов при помощи интервенции должно стать создание государственного устройства, соответствующего американским представлениям о форме демократического правления, которая подходит для данного государства. Наконец, третья идея касалась обоснования применимости первых двух: стратегию смены режима и демократизации можно было проводить по профилактическим соображениям. Достаточно было подозревать, что та или иная страна вынашивает недобрые планы. В совокупности все три идеи определили теоретические представления американской администрации о линии поведения в мировой политике.

Возродившийся культ силового превосходства повлиял не только на внешнюю политику США, но и на приоритеты других стран — России, стран Евросоюза, Японии, Китая, Индии, Израиля, Пакистана. После начала войны в Ираке в американской библиографии пролился водопад книг о величии Соединенных Штатов. Ключевое положение в этом

потоке занял образ «Американской демократической империи», вытеснивший по иронии образ «глобального демократического общества».

Критерии лидерства

Между тем лидерство в мировой системе не обязательно подразумевает наличие только одного лидера.

> Наличие лидерских качеств характеризуется прежде всего наивысшей (по критериям своего времени) способностью страны или нескольких стран влиять на формирование международного порядка в целом или его отдельных фрагментов.

В кругу лидеров может быть своя иерархия. С позиций либерализма функцию лидера можно описать как способность нести ответственность за формирование мирового порядка, содействовать или препятствовать общей гармонии международных отношений. С позиций политического реализма лидерство определяется жестче — способность навязать свой интерес в качестве интереса группового (общемирового, регионального). Великие державы в историческом значении — это государства-лидеры, класс международных игроков, который негласно или гласно присваивается в зависимости от характера роли той или иной страны в международном порядке.

Исторически отношения лидеров складывались непросто: критерии лидерства подвижны, а позиции стран могут быстро слабеть или разрушаться. Лидерские амбиции характерны для огромного круга государств, а ревность к чужому лидерству столь же конфликтогенна, сколь агрессивны реакции всех лидеров вместе на попытки любых других стран оспорить лидерство. До наступления ядерной эпохи за лидерство было принято воевать, причем регулярно.

Во второй половине XX века правила борьбы за лидерство стали меняться, а пути к нему сделались многообразней. Классический вариант предполагал, что страна-лидер будет обладать набором лучших показателей (экономических, военных, политических, иных) по максимальному числу параметров международного влияния. В такой позиции окончание Второй мировой войны встретили Соединенные Штаты. К этому же стремился Советский Союз. Сознавая свою слабость по сравнению с США, СССР достраивал свои возможности до американских — отсюда борьба за ядерное оружие, гонка вооружений и попытки «экономического соревнования».

Лидерство США и СССР было однотипным. Оно отравляло сознание руководителей европейских держав — Франции и Великобритании. Быстро поняв невозможность конкуренции со сверхдержавами, обе они

стремились тем не менее удержаться на позициях классического лидерства, сохраняя полагающуюся атрибутику в виде, например, собственных ядерных сил.

Другое дело — ФРГ и Япония. Обе страны не имели возможности стать крупными военными державами. В этом смысле они — *неклассические лидеры*, страны, устремления которых реализовывались за счет приобретения *компенсирующих* возможностей, которые восполняли военную слабость в сравнении с двумя сверхдержавами, а также Францией и Великобританией. Отсутствие военной силы замещалось наращиванием экономической мощи. Этот путь не гарантировал полного успеха.

В Европе получила развитие еще одна нестандартная траектория движения к лидерству — через «объединение параметров». Это был путь превращения в псевдополюс. Этим путем пошел Евросоюз, который пробует «притворяться лидером». В политическом и военно-политическом отношении он и не стал полюсом: мобилизационные возможности ЕС в целом остались слабыми по сравнению с аналогичными возможностями даже входящих в него крупных государств. Но «сгусток влияния» Евросоюз образовал[4].

С оглядкой на опыт европейской интеграции интерес к идее объединения параметров стали проявлять в Вашингтоне. США изобрели самобытный вариант объединения параметров, «встроив» в потенциал собственного хозяйства экономические возможности Японии. Возник американо-японский «экономико-политический тандем». Это не значит, что можно говорить об «американо-японском объединенном лидерстве». Речь идет только о стратегии укрепления позиций Соединенных Штатов, которые уже прорвались на лидерские позиции. Для контраста: Российская Федерация, имевшая возможность подкрепить свои лидерские устремления в СНГ за счет применения схемы американо-японского тандема в отношениях с Казахстаном и Белоруссией, не стала этого делать — возможно, в силу многих ошибок и трудностей 1990-х годов, упустив, может статься, свой исторический шанс.

Наряду с тенденцией к поиску ресурсов подпитки лидерства за счет присоединения ресурсов партнеров в некоторых частях мира развивается любопытная «модель контр-лидерства», то есть система нейтрализации лидерских устремлений методом «пассивного сопротивления». Исторически она возникла в Юго-Восточной Азии (ЮВА) в 1960–1970-х годах, в дальнейшем окрепнув и воплотившись в региональной дипломатии стран АСЕАН.

Государства этой группы отработали схему поведения, которая позволяет им успешно противостоять амбициям США, Китая, Японии, не вступая в конфронтацию с ними[5]. Тесно кооперируясь между собой в

политико-дипломатической области, не давая лидерам возможности вести серьезные переговоры с каждой из малых стран в отдельности, государства АСЕАН научились действовать как сплоченный коллективный игрок. Всякий раз, сталкиваясь с лидерским устремлением, они немедленно приступают к взаимным консультациям и не реагируют на инициативы сильных стран до тех пор, пока не согласуют собственную коллективную позицию. Часто таковая сводится к игнорированию американских или японских предложений, бесконечному затягиванию реакции на них и в конечном счете — к растворению того, что могло быть ответом, в потоке неопределенных заявлений, ни одно из которых не позволяет лидерам расценить его как согласие с тем, что предлагается.

Лидерские амбиции «теряются и вязнут» в такой среде, а сама она действует в роли *«сгустка неприятия»* инициатив лидеров. Сломить это неприятие, не прибегая к военной силе, вот уже около полувека сильным странам не удается. Замешанное на местной версии азиатского национализма, сотрудничество малых и средних стран АСЕАН в XX веке не позволило ни Соединенным Штатам, ни Советскому Союзу вовлечь страны ЮВА ни в один из военных блоков.

Конечно, соединения усилий малых и средних стран недостаточно, чтобы навязать свою волю более сильным игрокам. Контрлидерская тактика АСЕАН эффективна в пассивном качестве — как инструмент гашения напора «великих держав». Но малые страны утвердили в своем регионе «отпугивающий» политико-психологический барьер, который в какой-то мере защищает их от лидерского произвола. Возможно, именно поэтому в ЮВА не складывается четко организованной иерархической системы. Сбившись в «сгусток», страны АСЕАН не могут противостоять лидерам, но могут мешать им проявлять амбиции, гася одни и стимулируя другие импульсы, исходящие от более сильных держав.

Этот пример пока остается, по-видимому, уникальным — таким же уникальным, впрочем, как интеграция европейского типа. Но систематическая оппозиция, черты которой в последние годы приобретают отношения США с исламским миром, побуждают думать о возможности появления в мире других «сгустков неприятия» лидеров. Если Соединенные Штаты уйдут из Афганистана и Ирака, не окажется ли чем-то подобным регион от индо-пакистанской до израильско-палестинской границы? И не окажется ли сама многополярность, о которой пишут в Китае и России, *«многополярностью сгустков», а не «многополярностью стран»*, какой она была в давно минувшие эпохи?

Определяющей для страны-лидера остается способность к мироформирующей роли. Исходно лидерская иерархия выстраивалась на основе учета таких показателей, как:

— вооруженная сила, пригодная для использования с целью установления контроля над поведением других государств;
— экономическая мощь как способность питать свою силу;
— идеологическое влияние, связанное с возникновением у других государств желания добровольно подчиниться лидеру, прислушаться к его мнению или просто имитировать его поведение.

В 1980-х годах к этим параметрам добавилась такая характеристика, как научно-технический потенциал, способность выходить на благоприятные позиции в международном разделении труда и их удерживать. В начале 1990-х японским ученым А. Танака была сформулирована идея об организационном ресурсе, в зависимости от которого страна могла возвыситься в международной иерархии или сойти на ее нижние этажи[6].

Чуть позже американский политик и ученый Дж. Най, развивая идею об идеологическом влиянии, «перелил» ее сначала в более элегантный тезис о «мягкой мощи» (*soft power*)[7], а потом и вовсе об «умной мощи» (*smart power*). «Мягкая мощь» означала «комплекс привлекательности», которым обладает страна независимо от имеющегося у нее материального потенциала. В сущности, это набор характеристик, которые могут побуждать зарубежные государства имитировать черты поведения страны, обладающей «мягкой мощью», формы и методы ее развития, элементы общественного устройства, изучать ее язык, открывающий путь к самовозвышению и благу. Словосочетание «умная мощь» подчеркивало «интеллектоемкость» мягкой мощи, то есть ее зависимости от интеллектуального багажа той или иной страны.

К числу черт лидерского поведения, кроме того, относят напор, умение с опережением выдвигать инициативы и обеспечивать их благожелательное восприятие международной аудиторией, способность самому удержаться на выдвигаемой платформе и оказать поддержку нерешительным партнерам, у которых не всегда имеется ресурс следовать линии, к которой приглашает лидер.

«Управляющий параметр» лидерства

Свое слово в дискуссию привнесла и синергетика. Через ее посредство в политологию пришло словосочетание «управляющий параметр», который должен представлять собой интегрированный показатель ключевых характеристик потенциала страны и в идеале рассчитываться математически. В политической науке эта операция вряд ли может быть проделана математически корректно. Во всяком случае, этого не будет в этой статье, поскольку автор не может выразить математически характеристики поведения стран, которые пытается описывать логиче-

ски и оценивать интуитивно. Но синергетика дала важную подсказку: поведением системы управляют не все ее характеристики, а только набор ключевых из них. Для целей анализа таковых должно быть выделено не более пяти (число «лямбда»). Если следовать этой логике, то набор лидерских черт будет выглядеть приблизительно так:

(1) военная сила, (2) научно-технический потенциал, (3) производственно-экономический потенциал, (4) организационный ресурс, (5) совокупный креативный ресурс (потенциал производства востребованных жизнью культурных, идейных, научных и иных инноваций).

Военная сила с целью возможности ее прямого или косвенного применения для установления контроля над поведением других стран была ключевым параметром лидерства в 1945–1962 годах. В 1963–1973 годах ее роль понижалась. В 1974–1985 годах она стабилизировалась, затем снова упала (1986–1990), чтобы в 1990-х обнаружить тенденцию к росту и резкий взлет в первом десятилетии XXI века.

В последние полтора десятилетия в мире зафиксирована «революция в военном деле». Она должна была показать способность человечества ограничить войну и сделать ее управляемым процессом. На деле революция повела к понижению порога вооруженных конфликтов и способствовала превращению войны из исключительного в рядовое средство решения споров. Началось разрушение культуры «ядерного табу»[8].

Очевидно, что *научно-технический потенциал* во многом остается не только средством развития мировой экономики, но и инструментом приобретения большей военной мощи. Но и в общегражданском назначении он выполняет функции подпитки лидерских амбиций:

- способствуя формированию виртуальных составляющих производства с характерной для них повышенной нормой прибыли;
- формируя принципиально новый запрос на продукцию этого производства, который переориентирует экономику с обеспечения биожизненных потребностей на удовлетворение потребностей нематериальных (электронные игры для взрослых, непрерывное общение через Интернет, переключение на визуальные средство восприятия информации вообще);
- лизация которой способствует наполнению бюджетов и росту материальных ресурсов экономического влияния.

Традиционная экономическая мощь остается важнейшим показателем лидерского потенциала, причем склонность исчислять ее только в стоимостных показателях — в отрыве от товарной номенклатуры произ-

водств — искажает картину соотношения лидерских возможностей. Цифры, характеризовавшие место России в мировом ВНП в 1990-х годах, не показывали ее реального положения в международных отношениях. Они иллюстрировали не столько абсолютную слабость ее международного влияния, сколько высокую степень уязвимости российской экономики, зависимость от экспорта энергоносителей, цены на которые даже в пиковые их периоды были низкими по сравнению с готовой продукцией.

Организационный ресурс характеризует способность страны оказывать прямое влияние на принятие международных решений посредством участия в их выработке, а также через выдвижение идей, способных служить основой будущих решений. Организационный ресурс Российской Федерации определяется ее участием в Совете Безопасности ООН с правом вето, членством в «группе восьми», ведущих международных экономических, культурных организациях, специализированных учреждениях ООН, региональных организациях.

Этот ресурс определяется наличием разветвленной системы дипломатических связей и неформальных контактов, позволяющих получать и передавать инсайдерскую информацию, осуществлять лоббирование, вести переговоры по широкому кругу вопросов с разнообразными партнерами. К этой же сфере относятся такие показатели, как кадровый корпус профессионалов-международников, наличие сложившейся школы их подготовки, опыт международного общения, материализованный в архивах, документах, книгах и «устной истории» дипломатической практики.

Сложнее — с показателем *потенциала креативности*, способностью страны изобретать и внедрять жизненно востребованные инновации, идеи не только научно-технологической, но и философско-политической, общекультурной природы. В этом смысле российские позиции подорваны реформами 1990-х годов, обернувшимися исходом на Запад носителей знаний, навыков, квалификаций из России, с одной стороны, и разорением сферы образования, науки и культуры — с другой. Потенциал скорого перехода России на путь превращения в «общество знаний» (*knowledge-based society*) вызывает сомнения.

> Сдвиг в формах реализации лидерства произошел, по-видимому, во второй половине прошлого века и заключался в переходе от стремления разрушать потенциал соперника к приобретению способности искусственно ограничивать, замедлять его рост и далее — к умению «направленно развивать» потенциального соперника, манипулировать его развитием в интересах лидера.

Обладание этим умением — решающий признак способности выступать в роли великой державы. Именно таким образом США взаимо-

действовали с Россией времен Б. Ельцина. По сходной логике, но с меньшей результативностью строится политика США в отношении Китая.

Политика «вовлечения» (*engagement*), которая пропагандировалась администрацией У. Клинтона в 1990-х годах, была воплощением такого управления. «Интеграция» как включение бывших социалистических стран, в том числе России, в систему общемировых экономических и политических отношений предусматривала, что «переходные» страны включаются в деятельность соответствующих организаций, но фактически не играют в их управлении заметной роли.

За годы после распада СССР Россия расширила участие в мировых делах в качестве элемента международной хозяйственной жизни — в роли крупнейшего поставщика энергоносителей. Но только в последние три года она интегрируется в управляющие механизмы мировой энергетики — первым признаком этого стал саммит «группы восьми» под ее председательством в Санкт-Петербурге летом 2006 года.

Лидерские амбиции и сегодня проявляются в формах войн, захватов и противостояний, что наиболее заметно в политике США. Но в целом такие действия характеризуют меньшую часть международной практики. Тревожно другое — действия Вашингтона индуцируют желание других стран следовать американскому примеру. Произвольное применение силы лидерами провоцирует тотализацию восприятия безопасности всеми странами мира, включая те, которых называют «изгоями». Рывок пороговых стран к ядерному оружию есть проявление этого типа мышления и в известной мере — оборотная сторона силового произвола сильных держав.

Под влиянием начавшейся децентрализации мировой системы современная межгосударственная иерархия становится менее жесткой. Но ее размягчение идет не только и не столько по линии изменения соотношений возможностей между ведущими государствами. Прогнозируемое уменьшение влияния США может происходить не в результате захвата, скажем, Китаем принадлежащего сегодня Соединенным Штатам почетного места, а за счет ограничения эффективности политики США «зонами отторжения» — секторами пассивного сопротивления лидерским импульсам со стороны малых и средних стран.

Это вероятнее всего в Азии, страны которой не только наращивают способность «мягко бойкотировать» политику больших держав, но и учатся влиять на эту политику «изнутри» самих больших стран за счет миграции азиатского населения в державы-лидеры и использования мигрантами разнообразных форм давления на принимающие страны. Само по себе возникновение «зон неприятия» в лице части исламского мира есть симптом появления в глобальной системе своего рода «всемирного под-

полья» — какое и должно было рано или поздно возникнуть в «мировом обществе» как реакция на репрессии «мирового верха».

Примечания

[1] См., например: *Thomas J. Volgy and Alison Bailin.* International Politics and State Strength. Boulder: Lynne Rienner, 2003; *Thomas J. Volgy.* Politics in the Trenches. Citizens, Politicians, and the Fate of Democracy. The University of Arizona Press, 2001.

[2] Системная история международных отношений. События и документы. 1918–2003. М.: НОФМО, 2003. Т. 3. Гл. 13. С. 583–638.

[3] *Brown S.* The Illusion of Control. Force and Foreign Policy in the 21st Century. Washington: The Brookings Institution Press, 2003; *Falk R.* The Great Terror War. New York: Olive Branch Press, 2003.

[4] *Троицкий М.* Европейский Союз в мировой политике // Международные процессы. 2004. № 2. С. 43–58.

[5] *Богатуров А. Д.* Великие державы на Тихом океане. М., 1997. С. 196–212.

[6] *Tanaka A.* Is There a Reaslistic Foundation for a Liberal Word Order? // Prospects for Global Order. Vol. 2 / S. Sato and T. Taylor (eds.). London: The Royal Institute of International Relations, 1993. P. 25–37.

[7] *Nye J. S.* The Paradox of American Power. Oxford: Oxford University Press, 2002. Предложенное в русском переводе словосочетание «гибкая сила» образно, но не очень удачно, так как уводит от подразумеваемого противопоставления «жесткой мощи» (*hard power*).

[8] *Кокошин А. А.* О политическом смысле победы в современной войне. М.: УРСС, 2004; *Фененко А. В.* Понятие ядерной стабильности в современной политической теории. М.: КомКнига — УРСС, 2006; *Балуев Д.* Политика в войне постиндустриальной эпохи // Международные процессы. 2005. № 3. С. 18–32.

Глава 8

Теория «демократического мира» и международная реальность

Среди исследователей-международников середины 1990-х годов стала популярной идея «демократического мира»: демократии не вступают друг с другом в вооруженную конфронтацию и разрешают имеющиеся противоречия исключительно мирным путем. На Западе данный постулат породил поток литературы и прочно утвердился в среде либерального истеблишмента. Устами американского политолога Джека Леви сторонники этого взгляда рискнули даже объявить, что гипотеза «демократического мира» фактически приобрела статус закона в общественных науках[1]. В результате массированных усилий для ее популяризации (к чему приложил руку и Ф. Фукуяма) теория «демократического мира» (ТДМ) стала одним из важнейших постулатов доктрины либерального интервенционизма Соединенных Штатов. В 1994 году президент У. Клинтон даже использовал ее положения в ежегодном послании Конгрессу США для официального обоснования политики распространения демократии[2].

На российских исследователей эта теория тоже произвела немалое впечатление, что отразилось в появлении ряда восторженных или настороженных публикаций[3]. Постулаты этой концепции стали циркулировать в кругах университетской молодежи и средствах массовой информации. Увлеченность гипотезой «демократического мира» за рубежами России и в ней самой может создавать впечатление универсальной значимости этого постулата во всех международных ситуациях и любых исторических эпохах. Стоит привлечь внимание к важности творческого восприятия этой теории, которая может по-разному работать или вовсе не работать в различных социокультурных условиях и контекстах.

Социологический аспект допущения о «демократическом мире»

К осторожности отчасти побуждает имеющийся у российского обществоведения (и уже обнаруживший свою недостаточность) опыт «ме-

ханистического» заимствования и воспроизводства западных теорий. В 1990-х годах попытка «непосредственно» применить в России теорию «шоковой терапии» для перехода к рыночной экономике поставила страну на грань социального катаклизма и в конце концов завершилась поэтапным отказом от идеи «лечения шоком» в российских условиях.

Другим примером попытки применить в России заимствованные теоретизации оказалась транзитология, популярная в нашей стране в середине 1990-х годов. Сформировавшись на базе опыта трансформации диктаторских режимов иберо-американского происхождения, она основывалась на исходно здравых идеях и реальном опыте западных обществ. Тем не менее эта концепция потребовала очень существенных содержательных адаптаций к местным условиям, которые определили протекание переходных политических процессов в России и странах СНГ по существенно иной логике и другим траекториям, чем это было типично для Латинской Америки, Южной или Центрально-Восточной Европы[4].

Стоит заметить, что сторонников осторожного отношения к ТДМ становится заметно больше и в среде зарубежных ученых, принадлежащих к различным исследовательским направлениям. На Западе сформулированы основные критические постулаты, побуждающие всерьез задуматься над тем, каков на самом деле эвристический потенциал ТДМ[5]. В какой мере применение этой концепции в анализе может его обогатить, а в какой — направить исследователя по тупиковому маршруту?

Освоение западного интеллектуального наследия — важнейшее условие развития российского обществоведения. Однако такое освоение не может быть механическим. Западная наука — необходимое, но недостаточное условие для прогресса знания в России. Общественная наука не свободна и не может быть свободна от идеологии в том смысле, в каком ее вслед за К. Марксом понимали социологи К. Маннгейм и М. Вебер[6]. Будучи частью общественного сознания, обществоведение воспроизводит и продуцирует новые национальные идеологемы и мифы. Полностью освободиться от них не под силу, хотя не стремиться к этому нельзя. Сегодня, когда в мире происходит нажимное утверждение ценностей «американской демократической империи», понимание культурно-идеологической обусловленности социального знания не менее необходимо, чем в период биполярной конфронтации второй половины прошлого века.

Тезис о «демократическом мире» целесообразно разобрать с *социологических*, или — используя прижившийся среди международников термин — *конструктивистских* позиций. Такой подход перспективен, поскольку он (в логике конструктивизма) позволяет увидеть реальность демократического мира — не как раз и навсегда данную, а как социально сконструированную и социально укорененную.

Почему демократии, как утверждают адепты ТДМ, не воюют друг с другом? Несмотря на ширящийся круг сторонников этой теории[7], согласия относительно причин миролюбивости демократий пока не наблюдается. Да и само понятие «демократия» в 2000-х годах большинство исследователей стало связывать с такими процедурными (в существенной мере формальными) признаками, как выборность главы государства и многопартийность политической системы. Появились новые термины — «формальная демократия», «нелиберальная демократия». Выделились и развиваются культурно-нормативное и институциональное объяснения «демократического мира».

Сторонники *культурно-нормативного подхода* считают, что с течением времени демократии вырабатывают нормы взаимодоверия и взаимоуважения, которые определяют процессы принятия их решений в отношении друг друга. *Институционалисты* ведут речь об ограничениях и сдержках, являющихся неотъемлемой частью демократического принятия решений. При этом одни представители институционализма подчеркивают роль общественного мнения, способного при определенных обстоятельствах сдерживать возможные агрессивные склонности политиков. Другие уповают на политические партии и группы интересов, выполняющие сходные функции противовеса тенденциям решать международные вопросы вооруженным путем. Третьи настаивают, что сама процедура принятия решения в демократическом обществе — публичная состязательность и открытость этого процесса — предостерегает от крайностей и настраивает лидеров государств на компромиссы.

Далеко не все разделяют оптимизм этих групп теоретиков. В международных отношениях, помимо сторонников либеральной парадигмы, развивается множество подходов, видящих мировые процессы под иными углами зрения. Среди критиков тезиса о «демократическом мире» особенно активны реалисты — сторонники осмысления международных отношений с позиций борьбы за власть, безопасность и сохранение национальной независимости.

Положения реализма восходят к «Истории Пелопоннесской войны» Фукидида (V в. до н.э.) и «Государю» Н. Макиавелли (1510-е годы). Реалистские рассуждения строятся с позиций вечности и неизменности основных принципов межгосударственных отношений — стремления государств к увеличению могущества в условиях небезопасного мира, неизбежности соперничества, необходимости соблюдения принципа равновесия сил между великими державами. Главным для представителей данного подхода является не система правления — авторитаризм или демократия, а внешние условия безопасности, в которых государство существует. Состояние мира для реалистов — не столько результат

демократической культуры или системы сдержек и противовесов, сколько следствие существования сильных международных союзов и совокупного потенциала сдерживания потенциальных агрессоров.

Критику ТДМ реалисты ведут по двум основным направлениям. Во-первых, они подвергают сомнению саму *эмпирическую основу*, на основе которой был сформулирован тезис о миролюбивости демократий в отношении друг друга[8]. Реалисты обращают внимание на трения, существовавшие в практике развитых демократий Запада и едва не приведшие к вооруженным столкновениям. Анализируя дипломатические кризисы 1861–1923 годов в отношениях между ведущими западными государствами, Кристофер Лейн показал, что в ряде случаев Великобритания, Франция, Германия и США едва не соскользнули к вооруженной конфронтации[9]. По крайней мере, каждая из них была готова к использованию силы, и конфликты разрешались отнюдь не по причинам культурно-нормативного или институционального свойства[10].

Важно, что демократические государства, если это было им выгодно по экономическим или военным соображениям, не останавливались перед дестабилизацией некоторых демократических режимов. Эпоха биполярной конфронтации полна примеров, когда демократическое государство в лице США способствовало вооруженному свержению леводемократических режимов в целях сдерживания советского влияния. Именно таким путем свергались вполне законные и демократически избранные правительства в Чили (1973), Иране (начало 1950-х годов) или Индонезии (середина 1960-х годов). Подобным образом США вели себя и в Латинской Америке, где все демократические режимы четко подразделялись на проамериканские и потенциально антиамериканские, причем первыми оказывались, как правило, правоавторитарные правительства, а вторыми — леводемократические[11]. Известно, что Соединенные Штаты чаще всего предпочитали поддерживать первых.

Другой пункт критики реалистов связан с анализом поведения «молодых демократий» — государств, находящихся в процессе укрепления недавно созданных демократических институтов. Являясь демократическими по формальным критериям (выборность, многопартийность), такие страны не всегда проявляют миролюбие. Наоборот, они ведут себя более агрессивно, чем стабильные авторитарные режимы. Кровавые столкновения в 1990-х годах Хорватии с Сербией и Боснией, Армении с Азербайджаном стали возможны, несмотря на «демократизирующийся» характер всех этих государств. Не исключая возможность «природного миролюбия» зрелых демократий, исследователи-реалисты полагают, что

демократизация слабых молодых государств почти неизбежно порождает воинствующий национализм, что ведет к агрессивности и войнам[12].

Еще интереснее другое наблюдение реалистов. Мало того, что демократии могут быть агрессивны по отношению к демократическим же государствам. Недемократические государства могут быть весьма *миролюбивы*. История дает примеры, когда авторитарные лидеры — *например, в социалистических странах второй половины прошлого века* — очень последовательно вели линию, направленную на избежание войн с соседями, нередко соглашаясь ради этого на болезненные для себя территориальные решения (Венгрия, Румыния, Болгария, Югославия, Чехословакия, Польша в конце 1940-х годов[13]). Авторитарные вожди жестко контролировали потенциальные шовинистические порывы общества[14], проявляя в этом смысле почти образцовую ответственность и миролюбие.

Можно уверенно предположить, что все поистине исторические замирения между перечисленными странами прошли с той неподражаемой гладкостью именно на фоне авторитарности правлений в социалистических странах. Свобода волеизъявления народных масс, несомненно, была способна подорвать любые возможности территориальных компромиссов в Восточной и Юго-Восточной Европе. При этом абсолютно авторитарный Советский Союз выступил инициатором и гарантом миролюбия своих союзников в сфере международных отношений.

Важнейшее направление критики реалистов в адрес ТДМ — опровержение самой ее *логики*. Отмечается, что даже если демократии демонстрируют миролюбие, это происходит отнюдь не вследствие присущих им нормативных и институциональных ограничений. Скорее всего, настаивают реалисты, их поведение следует объяснять конкретными обстоятельствами военно-стратегического свойства[15]. В истории демократии сплошь и рядом нарушали нормы либерального миролюбия, руководствуясь поисками экономической выгоды или стремлениями создать дополнительные гарантии для национальной безопасности. В этом смысле вполне характерны войны в Северной Америке или Африке за колонии и сферы влияния между Великобританией и Францией в годы имперского величия последних. Причем «взаимное доверие и уважение» между обеими демократическими державами оказывалось химерой, как только речь заходила о достижении военно-стратегических целей. Для подавления милитаристских порывов демократические механизмы сдержек и противовесов не срабатывали.

Более того, диктаторы могут быть склонны к миру больше, чем избранные руководители демократических стран. В самом деле, в случае проигрыша войны диктатор может потерять и власть, и жизнь. Потому он может быть внимательней к оценкам последствий войны, чем его демократически избранные коллеги.

Трезвого осмысления требует и вопрос о потенциальной умиротворяющей роли общественного мнения, партий и групп интересов в демократических обществах. Во-первых, общественное мнение не всегда рационально и может поддерживать войну, даже если она означает бедствия и разрушения — особенно за пределами собственной страны (достаточно вспомнить американское общество в период подготовки войны против Ирака на рубеже 2002–2003 годов). Во-вторых, война является дорогостоящей авантюрой не для всего населения, а только для некоторых его слоев. Часто военный конфликт не только мобилизует население идеологически и политически, но и оказывается ему выгодным экономически, создавая новые рабочие места. Наконец, публичность обсуждений о подготовке к войне фактически не гарантирует миролюбия. При современном уровне развития технологий управления информацией, аналитикой и общественной рефлексией держатели власти и денег в состоянии придать общественной полемике выгодное им направление — антивоенное или воинствующее.

Реалисты высказывают и более нюансированный скепсис по поводу ТДМ[16]. Они прежде всего выражают сомнение в истоках мотивации того, что называется «миролюбием демократий». Эти источники они отыскивают не в природе демократических режимов, а в особенностях конкретных международных ситуаций, в которых возникают войны или их удается избежать. В еще более полемичной форме их обобщающий тезис суммируется в сентенции: «демократический мир» сегодня возможен до тех пор, пока это выгодно США — единственной сверхдержаве, которая пока еще готова инвестировать в существование этой прекраснодушной утопии.

Либеральная школа критики

Свои мотивы в полифонию критики ТДМ вплетают и другие научные школы, включая *либеральную*. Либерализм восходит корнями к европейской философии XIX века. Поэтому либеральные сторонники данной теории связывают ее положения с идеями о необходимости и возможности «вечного мира» в отношениях между государствами, провозглашая идеализм И. Канта мерилом нравственности в международных отношениях[17].

Мораль трактуется Кантом как совокупность априорных принципов чистого долженствования. Моральные принципы и установки, находящиеся «внутри нас», представляют собой высшие императивы, соблюдение которых не должно останавливаться перед нарушением международного права, если его нормы вступают с ними в противоречие.

С таких позиций, подчеркивает британский классик Х. Булл, «верность в отношениях с еретиками не имеет иного смысла, кроме такти-

ческой выгоды; между избранными и проклятыми, освободителями и угнетенными не может возникать вопроса о взаимном признании прав на суверенитет или независимость»[18]. Априорные требования универсальной морали Канта имеют безусловный приоритет не только перед правилами межгосударственного сосуществования и общения, но и перед нормами общения и сосуществования между людьми и даже перед естественными правами человека, о приверженности которым (в частности, самым главным из них — правом на жизнь) не устают твердить сторонники либеральной доктрины. «Мир никоим образом не погибнет от того, что злых людей станет меньше», — писал Кант[19].

В современных условиях преодоление войн — в том числе и посредством распространения демократии — представляется сомнительным даже некоторым представителям либерализма. Как пишет французский исследователь Жак Аттали, «некоторые нации могут перестать быть демократиями, чтобы развязать войну». В свою очередь, профессор Парижского института политических наук Гасан Саламе отмечает, что все зависит от «качества демократий». Так, арабо-израильская война в 1967 году и израильская интервенция в Ливан в 1982 году не были в полном смысле слова оборонительными войнами[20].

Еще один французский ученый Пьер Аснер отмечает, что «даже если бы все государства стали демократическими, миролюбивыми и были довольны своей участью, все равно война продолжала бы оставаться возможной и, в конечном счете, неизбежной вследствие их множественности и отсутствия верховного властного органа, который взял бы на себя обязанность разрешать конфликт между ними или карать их провинности»[21].

Желая отстоять миф «демократического мира» и видя невместимость современных мировых реалий в его канву, некоторые либеральные авторы ссылаются на перерождение современных демократий. ТДМ, таким образом, рисуется как концепция теоретически верная и исторически доказуемая, а несоответствие реальности ее постулатам объясняется тем, что современные демократии перестают себя вести как полагается демократиям «настоящим». Анализируя идеи «демократического мира», введенные в оборот классиком американской политической науки Майклом Дойлом («закон Дойла»), французский исследователь Эммануэль Тодд отмечает, что «передовые демократии постепенно трансформируются в олигархические системы». «Войны между демократиями невозможны», — констатирует он[22]. «Признавая, что либеральная демократия ведет к миру, мы также признаем, что ее отмирание может привести к войне. Даже если *"закон Дойла"* и верен, вечного мира в кантианском духе не будет»[23]. Сентенция, достойная либерала.

Трактовки в традициях реализма и конструктивизма

В отличие от реализма и либерализма, конструктивизм базируется на работах социологов и философов XX столетия и активно заявил о себе в науке о международных отношениях лишь в 1970–1980-х годах. Для конструктивистов наиболее принципиально положение, что социальная реальность не является ни неизменно данной, ни рационально предопределенной. Реальность ценностно и культурно своеобразна.

Как и либерализм, реализм преимущественно рационалистически ориентирован, претендуя на знание того, чем именно определяются интересы участников международных отношений. Для реализма такие интересы состоят в максимизации безопасности и власти, для либерализма — в либеральной модернизации экономических и политических институтов. Напротив, для конструктивизма концентрация на «объективно заданных» национальных интересах или «естественных» политико-экономических институтах (как, например, либеральная демократия западного типа) слишком узка.

Конструктивисты исходят из того, что у всякой рациональности имеются исторически своеобразные корни: она создается и пересоздается деятельным участием политически влиятельных агентов. Сами интересы (а следовательно, и рациональность) заданы социально, а не интеллектуально. Они подлежат, прежде всего, социальному изучению и пониманию. Ключ к такому пониманию — историческое и политическое осмысление интересов.

Отсюда вытекают три основных принципа конструктивизма: **культурная, историческая** и **политическая** обусловленность социального действия.

Во-первых, конструктивисты исходят из того, что *наше знание о мире социально обусловлено* и исторически преходяще. Рационалисты — как реалисты, так и либералы — склонны недооценивать роль культуры, истории и политической активности в международных процессах. При этом они тяготеют к абсолютизации и универсализации своих выводов («наука — везде и всегда наука»). А конструктивисты, считая знание культурно обусловленным, воспринимают международные отношения как дисциплину, возникшую на Западе и продолжающую отражать и воспроизводить мышление западной цивилизации, оставаясь относительно закрытой для влияний из незападных частей мира[24]. Следовательно, наши знания о демократии и ее миролюбии тоже культурно, исторически и политически обусловлены.

Во-вторых, принцип *культурной обусловленности* подразумевает, что *демократия* с позиций конструктивизма *не обладает универсальностью форм*, а существующие демократические стандарты могут подойти не

каждому. Характер выборности, роль исполнительной власти, права оппозиции, наличие и типы внутрисистемных противовесов, развитость многопартийности и структура гражданского общества — все это следует рассматривать как продукт конкретных социальных обстоятельств, а не как «тождество» или «девиацию» по отношению к единственному, раз и навсегда данному образцу.

В-третьих, существенным представляется включение в понятие демократии *социально-экономических характеристик*. В противном случае демократия (равно как и ее образ) оказывается лишь проекцией одного общества на другое без учета культурных особенностей последнего. Демократия не может насаждаться, если она порождает угрозу дестабилизации культурных сообществ, способную дать импульс к установлению тирании. Например, в посткоммунистическом контексте, как было не раз отмечено, демократизация способна стать условием, которое провоцирует рост воинствующего этнонационализма, ранее пребывавшего в пассивной форме. В известной мере военные столкновения молодых демократий на территории бывшего СССР оказались возможными не только после демонтажа авторитарных режимов, но даже стали его прямым следствием[25].

Совершенно очевидно, что с позиций конструктивизма нуждаются в переосмыслении не только понятие «демократия», но и термины «мир» и «война»[26]. С одной стороны, сегодня «война» предстает не только как прямое вооруженное столкновение государств, но и как скрытая война — санкционированные «демократиями» поставки оружия движениям, противостоящим правительствам, свержения которых добиваются США. В этом смысле известна роль американских спецслужб в оказании поддержки талибам в Афганистане (1993–1997), который позднее стал базой международного терроризма. С другой стороны, демократии развили мощнейшие военно-промышленные машины и являются крупнейшими поставщиками оружия на мировые рынки. Проекция понятий демократии и мира из одного культурного контекста на другие есть результат этноцентричного (по-своему высокомерного) взгляда на мир.

Тем не менее эта позиция имеет множество сторонников в академическом и даже политическом мире США, хотя вдохновленные этноцентризмом проекты мирового порядка встречают острое неприятие во многих частях мира, провоцируя конфронтацию[27]. Исследователи не раз отмечали, что ТДМ лишь способствует, в частности, углублению психологического и политического раскола по линии Север—Юг[28].

Наконец, в-четвертых, значим и принцип *исторической обусловленности* типа внешнеполитического поведения демократии. Историзм предполагает реконструкцию реально существовавших форм демократии, исходя из исторического контекста, а не представлений сегодняш-

него дня. Непозволительно «опрокидывать настоящее в прошлое». Видный американской автор Идо Орен обратил внимание на то, что сторонники ТДМ предпочитают использовать для аргументации преимущественно базу данных «POLITY», составленную в значительной степени на основе разработок классиков и теоретиков «гражданской культуры» Габриэля Алмонда и Сиднея Вербы. Именно предлагаемый ими набор количественных показателей позволяет поместить на верхние ступени исторической «шкалы демократичности» США, Великобританию и Францию XIX и XX столетий[29].

Но методологически это некорректно. Сами количественные данные составлены исследователями на базе сегодняшних представлений о критериях демократии, хотя в ходе истории эти критерии сильно менялись и будут меняться в будущем. Вот почему без учета конкретного политико-исторического контекста принятия решений о войне и мире сугубо количественно-статистические исследования вряд ли могут привести к корректным и достоверным заключениям.

Специалистам известно, насколько сильно менялось понимание американцами демократии вне Соединенных Штатов — в зависимости от отношений США с тем или иным зарубежным государством. На протяжении 1910–1920-х годов признаками демократии считали то массовость политического участия, то факт наличия ответственной технократической элиты. В 1930-х годах под влиянием Великой депрессии и «социализирующих экспериментов» демократия ассоциировалась с успешной борьбой с бедностью и безработицей не меньше, чем со всеобщим характером права избирать и быть избранным. Однако в годы противостояния США с СССР усилиями американских политологов Роберта Даля, Дэвида Трумена, Габриэля Алмонда укоренилось принимаемое и по сей день процедурное определение демократии[30].

Любопытно, что один из отцов американского либерализма президент В. Вильсон (1916–1920) не считал выборность главной характеристикой демократии. Он считал таковой наличие меритократической (то есть сформированной на основании заслуг перед обществом, а не личной или клановой преданности) гражданской администрации. «Универсальное избирательное право для демократии — не самое важное, — писал он в конце XIX столетия. — Универсальное избирательное право может санкционировать государственный переворот, разрушающий свободу». Либерала Вильсона не слишком волновало то, что в США черные меньшинства были лишены права голоса, а американский сенат избирался не прямым голосованием[31]. А в конце 1930-х годов политическая система СССР воспринималась в Америке вполне доброжелательно и не казалась «вопиющим отклонением от нормы»[32].

Еще один аспект критики в адрес ТДМ связан с принципом *политической обусловленности* демократии и мира. Речь идет о необходимости учитывать отсутствие жесткой детерминации в процессах принятия решений и установления социальных форм. У руководителя государства — в условиях демократии или ее отсутствия — есть огромная власть и целый ряд возможностей для политического действия, в том числе и за пределами своего государства. Политические и социальные игроки руководствуются прежде своими интересами и ценностями. Если в Ираке из пепла гражданской войны и борьбы с международным терроризмом и родится когда-нибудь демократически избранный режим, то его миролюбие ничем априори не гарантировано.

В итоге оказывается, что с позиций конструктивизма широта обобщений ТДМ скрывает ее культурный этноцентризм и склонность практиковать только *одно из* многих возможных определений демократии. Путь к преодолению этой концепции лежит только через тщательное изучение социально-культурного контекста. Правда, тот же упрек можно адресовать и реалистам, которые, критикуя теоретиков «демократического мира» за излишнюю сфокусированность на типе режимов, сами демонстрируют столь же гипертрофированное внимание к роли военно-силовых факторов. Те и другие фактически недооценивают важность культурно-исторических и политических характеристик[33].

Преимущество конструктивизма в том, что онтологически он защищает идеалистическую картину мира и потому воспринимает международные отношения как систему норм, идей и институтов. Международные отношения — не анархия, и определяемая ею борьба за материальные ресурсы (реализм) или утверждение ценностей свободы (либерализм), а сложная совокупность культурных подсистем, побуждающих участников международных отношений (пере)определяться с их ценностями и идентичностями[34]. Эта «борьба» — конкуренция за культурные смыслы и культурное самоопределение, а не за власть или утверждение идеалов либерализма. И власть, и свобода, настаивают конструктивисты, это лишь варианты такого рода смыслов и представляют собой частные случаи самоопределения в системе международных отношений.

В контекст теоретических борений в России имеет смысл внести ясность: «демократический мир» — не доказанная закономерность, а прежде всего ценностная концепция с присущими ей культурно-идеологическими допущениями. Сегодня в отечественном дискурсе работами как самих русских ученых (В. М. Кулагин), так и по-русски пишущих «американских россиян» из числа соотечественников, давно покинувших Россию (Н. Злобин), представлены некритические, эмоционально-дидактические трактовки ТДМ[35]. Это ни хорошо, ни плохо, а явля-

ется лишь знаком укорененности разномыслия в отечественном интеллектуализме. *Сознательно или полусознательно, искренне романтически или только расчетливо, но приверженцы ТДМ приглашают Россию обеспечить себе мирное будущее и надежную безопасность «самым простым, ясным» способом — посредством скорейшего превращения в зрелую демократию и окружения себя такими же зрелыми демократиями как минимум по всему периметру российских границ.*

Некоторые авторы (например, В. А. Кременюк) даже предлагают предоставить единственной сверхдержаве своего рода универсальный мандат на использование в мире насилия во имя порядка[36]. Наличие имен серьезных ученых и признанных специалистов среди сторонников столь упрощенческих взглядов тревожит и огорчает. Но одновременно — побуждает размышлять о важности уточнения целей ТДМ на каждом новом этапе ее развития.

Во-первых, по-прежнему актуальна так и не разрешенная в отечественной политологии задача сопоставительного анализа культурно-идеологических контекстов представлений о демократии в Западной Европе, обеих Америках, России и странах Азии. Российская сравнительная политология в этом смысле пока сделала явно недостаточно.

Во-вторых, так и не была предпринята попытка смоделировать хотя бы теоретический вариант формы демократии, которая могла бы оказаться психологически и социологически укорененной в российской традиции, с одной стороны, и воплощать базовые принципы либерального общественного устройства (плюрализм, выборность, свобода, гарантии прав граждан) — с другой.

Некритическое понимание изученных зарубежных теорий способно вовлечь нас в новую догматику — догматику «научного либерализма», которая быстро станет эволюционировать по пути превращения в своего рода аналог прежнего «научного коммунизма» со всей его эмпирической неубедительностью и карикатурностью.

Творческая задача момента видится не в создании новой «научной идеологии», а *в конструировании теории, критически относящейся к самой себе*, открытой мировым интеллектуальным веяниям и одновременно ощущающей собственную «почву под ногами».

Важно всесторонне обсуждать концепции демократии и мира, их смысл в различных социокультурных контекстах, не забывая о том, что в постсоветском пространстве и многих других уголках земного шара войны протекают внутри государств, а не между ними[37]. Исследовательские приоритеты США в этом смысле не обязательно должны быть исследовательскими приоритетами России.

Исследования «демократического мира» важно сильнее ориентировать на изучение историко-политических контекстов, без понимания которых нельзя выявить действительную роль политических режимов в предотвращении или инициировании войн. При этом следует отдать должное и факторам военно-силового характера, и характеру лидерства. Без учета подобных базовых характеристик ТДМ рискует и далее восприниматься как пародия на исследование, нацеленная на акцентирование лишь одного объяснительного фактора.

Важно включение факторов социокультурного порядка — социальные нормы и правила, идеи, идентичности, идеологии, особенности восприятия, репутация, признание. Уже наметилось робкое движение к изучению природы принятия решений о начале военных действий в ряде зарубежных стран[38]. Решение совокупности обозначенных задач поможет нащупать стратегию успешной адаптации разных стран и обществ к реальностям глобального мира[39]. Это поиск, уклониться от участия в котором теоретики-международники не могут себе позволить.

Примечания

[1] *Levy J. S.* The Democratic Peace Hypothesis: From Description to Explanation // Mershon International Studies Review. 1994. No 38. P. 452.

[2] См.: Transcripts of Clinton's Address // New York Times. 1994. 26 January. К этому же недвусмысленно призывают и сторонники ТДМ. Как пишет один из них, «нам следует преодолеть нищету, расширить взаимопонимание, насадить общечеловеческие ценности, способствовать переменам, децентрализовать правительство, заострить внимание на стремлении меньшинства к самоопределению, институциализировать разрешение конфликта и пр. и пр.» (*Rummel R. J.* Power Kills: Democracy as a Method of Nonviolence. London, 1997. P. 1).

[3] См., например: *Кулагин В. М.* Мир в XXI веке: Многополюсный баланс сил или глобальный Pax Democratica? // Полис. 2000. № 1; *Он же.* Политические режимы и внешняя политика // Pro et Contra. 2003. № 1; *Давыдов Ю. П.* Демократия, демократизация и проблемы войны и мира // США — экономика, политика, идеология. 1999. № 7; *Он же.* Норма против силы. М., 2003; *Цыганков П. А.* Безопасность: Кооперативная или корпоративная? (Критический анализ международно-политической концепции) // Политические исследования. 2000. № 3; *Он же.* «Самонадеянность силы»: Критический анализ концепции кооперативной безопасности в свете международно-политической теории // Вестник Московского университета. Серия 18. 2001. № 1; *Гудби Д., Бувальда П., Тренин Д.* Стратегия стабильного мира: Навстречу Евроатлантическому сообществу безопасности. М., 2003. См. также соответствующие разделы в ведущих учебниках по международным отношениям: *Цыганков П. А.* Теория международных отношений. М., 2002; *Лебедева М. М.* Мировая политика. М., 2003.

[4] См., например: *Мельвиль А. Ю.* Становление транснациональной политической среды и «волны» демократизации // Современные международные отношения и мировая политика / Отв. ред. А. В. Торкунов. М., 2004. С. 121.

[5] Подробнее о методологических и эпистемологических трудностях и возможностях российской международной науки см.: Российская наука международных отношений / Под ред. А. Цыганкова и П. Цыганкова. М., 2004; *Цыганков А., Цыганков П.* Глобальный мир и российская теория международных отношений // Космополис. 2005. № 1.

[6] *Вебер М.* «Объективность» социально-научного и социально-политического познания // Вебер М. Избр. произв. М.: Прогресс, 1990; *Маннгейм К.* Идеология и утопия. М.: ИНИОН АН СССР, 1976. Ч. 1.

[7] Перечислить работы сторонников ТДМ не представляется возможным ввиду их количества. Представительная подборка работ сторонников и критиков ТМО содержится в кн.: Debating the Democratic Peace / M. E. Brown, S. M. Lynn-Jones and S. E. Miller (eds.). Cambridge, 1996. См. также статьи обзорного характера: *Ray. J. L.* A Lakatosian View of the Democratic Peace Research Program // Progress in International Relations Theory / C. Elman and M. F. Elman (ed.). Cambridge, 2003; *Chernoff F.* The Study of Democratic Peace and Progress in International Relations // International Studies Review. 2004. No 6.

[8] В данной статье затрагиваются лишь наиболее принципиальные теоретико-эмпирические моменты критики ТДМ и не анализируются в подробностях методики сбора и обработки данных, используемых исследователями «демократического мира». Важно отметить, однако, что эти методики не безупречны и часто подвергаются критике. См. об этом, например: *Chernoff F.* Op. cit.

[9] Угроза британской интервенции в США в 1861году, Венесуэльский кризис между Великобританией и Соединенными Штатами в 1895–1896 годах, франко-британский кризис вокруг Фашоды и Рурский кризис между Францией и Германией в 1923 году.

[10] *Layne Ch.* Kant or Cant: The Myth of the Democratic Peace // International Security. 1994. Vol. 19. No 2; *Layne C.* Lord Palmerston and the Triumph of Realism: Anglo-French Relations, 1830–1848 // Paths to Peace: Is Democracy the Answer? / M. F. Elman (ed.). Cambridge, 1997.

[11] См. подробнее: *Rosato S.* The Flawed Logic of Democratic Peace Theory // American Political Science Review. 2003. No 97. P. 590–591.

[12] См. в частности: *Mansfield E. D., Snyder J.* Democratization and War // Foreign Affairs. 1995. No 74; *MacFarlaine N.S.* Democratization, Nationalism, and Regional Security in the Southern Caucasus // Government and Opposition. 1997. No 10; *Snyder J.* From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict. New York, 2000; *Mansfield E. D. and Snyder J.* Democratic Transitions, Institutional Strength, and War // International Organization. 2002. No 56.

[13] Достаточно вспомнить фактическое замораживание традиционных венгро-румынских конфликтов вокруг Трансильвании, румыно-болгарских — вокруг Добруджи или отказ Польши в 1946 году от территориальных претензий на Львов, Владимир-Волынский и Вильнюс (равно как и советских на Белостокский округ).

[14] *Rosato S.* Op. cit. P. 596–597. Этот тезис разделяется и некоторыми представителями конструктивистского направления. См., например: *Oren I., Hays J.* Democracies May Rarely Fight One Another, but Developed Socialist States Rarely Fight at All // Alternatives. 1997. No 4.

[15] Возражения реалистов в этой области превосходно суммированы в статье Себастьяна Розато. См.: *Rosato S.* Op. cit.

[16] Ожесточенные споры ведутся, например, реалистами относительно того, какой должна быть стратегическая адаптация США в новых международных условиях. См.: *Dueck C.* New Perspectives on American Grand Strategy // International Security. 2004. No 4.

[17] См., например: *Тодд Э.* После империи. Pax Americana — начало конца. М., 2004.

[18] *Булл Х.* Анархическое общество: Исследование проблемы порядка в мировой политике // Антология мировой политической мысли: В 5 т. Т. II. Зарубежная политическая мысль XX века. М., 1997. С. 804.

[19] *Кант И.* К вечному миру // Кант И. Соч. Т. 6. С. 301.

[20] *Salameé G.*. Appels d'empire, ingérences et résistences à l'âge de mondialisation. Paris: Fayard, 1996. P.106.

[21] *Аснер П.* Насилие и мир. СПб., 1999. С. 22–23.

[22] *Тодд Э.* Указ. соч. С. 18.

[23] Там же. С. 29.

[24] Подробнее см.: *Waever O.* The Sociology of a Not So International Discipline: American and European Developments in International Relations // International Organization. 1998. No 4; International Relations — Still an American Social Science? / R. Crawford, D. Jarvis (eds.). New

York, 2001; *Oren I.* Our Enemies and US: America's Rivalries and the Making of Political Science. Ithaca, 2002; *Tsygankov A. P.* Whose World Order? Russia's Perception of Western Ideas after the Cold War. Notre Dame, 2004.

[25] Об опасностях посткоммунистической демократизации см.: *MacFarlaine N. S.* Op. cit; *Snyder J.* Op. cit.

[26] *Tickner J. A.* Gendering World Politics. New York, 2001. P. 103.

[27] Тема культурного восприятия анализировалась в частности: *Цыганков А.* Несостоявшийся диалог с Фукуямой // Вопросы философии. 2002. № 8; *Tsygankov A. P.* Op. cit.

[28] *Tickner J. A.* Op. cit.

[29] *Oren I.* Op. cit. P. 25.

[30] Основными критериями процедурной демократии считаются: 1) всеобщее избирательное право; 2) возможность для граждан претендовать на занятие выборных должностей; 3) отсутствие притеснений по отношению к политической оппозиции; 4) право граждан создавать независимые ассоциации и присоединяться к ним; 5) регулярное проведение свободных и справедливых выборов; 6) свободный доступ граждан к источникам альтернативной информации; 7) наделение избранных должностных лиц конституционным правом контроля за правительственными решениями. См.: *Dahl R.* Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy versus control. New Haven — London: Yale University Press, 1982. См. также: *Гельман В.* Демократия избыточная или недостаточная? (И вновь о природе политической системы современной России) // Pro et Contra. 1998. № 4.

[31] *Dahl R.* Op. cit. P. 38.

[32] Ibid. P. 100–101.

[33] К сожалению, и в рамках самого конструктивизма наметилась склонность недооценивать историко-политическую обусловленность таких факторов, как культура и идентичность. Не вдаваясь в рассмотрение этой важной темы, укажем лишь на симптоматичную в этом отношении полемику между представителями конвенционального и критического конструктивизма. См.: *Oren I.* Is Culture Independent of National Security? How America's National Security Concerns Shaped 'Political Culture' Research // European Journal of International Relations. 2000. No 4; *Он же.* Response to Almond, Muller, and Risse // European Journal of International Relations. 2001. No 3.

[34] Международная анархия — не объективно данная реальность, а то, какой смысл в нее вкладывают на данном историческом этапе государства. Утверждение «anarchy is what states make of it» (анархия есть то, какой смысл в нее вкладывают государства), обоснованное Алексом Вендтом в ведущем американском журнале «International Organization», стало принципиально важной вехой в развитии конструктивизма. См.: *Wendt A.* Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics // International Organization. 1992. No 2.

[35] См., например, цитированные выше работы *В. М. Кулагина*, а также: *Макфол М., Злобин Н.* Полудемократическая Россия всегда будет полусоюзником США // Общая газета. 2001. 14–21 ноября.

[36] См., например: *Кременюк В.* Насилие и ненасилие в «империи мировой демократии» // Международные процессы. 2004. № 1.

[37] Неслучайно и реалисты сегодня активно интересуются гражданскими войнами и перспективами безопасности. См., в частности: Civil Wars, Insecurity, and Intervention / B. F. Walter, J. Snyder (eds.). New York, 1999.

[38] Например, в интересном исследовании А. Лопеса решения России о внешнеполитическом вмешательстве в бывшем СССР связываются не с характером российского политического режима, а с восприятием государства как легитимного и политически жизнеспособного. См.: *Lopes A. M.* Russia and the Democratic Peace: The Decision to Use Military Force in Ethnic Disputes // Understanding of Russian Foreign Policy / T. Hopf (ed.). University Park, 1999.

[39] См. об этом подробнее: *Цыганков А., Цыганков П.* Глобальный мир и российская теория международных отношений.

Глава 9

Глобальная и мировая безопасность

Почти до конца 2000-х годов состояние безопасности в мире обозначали формулой «международная безопасность после окончания "холодной войны"». Такая формулировка отражала лишь тот очевидный факт, что сегодня параметры и логика развития процессов в сфере безопасности отличаются от тех, что работали в эпоху биполярности. Однако она не отвечает на главный вопрос: «Какие закономерности приходят на смену тем, которые действовали в этой области на предыдущем этапе?» Применяемое сегодня определение столь же формально, как если бы систему «холодной войны», скажем в начале 1960-х годов, специалисты характеризовали как этап международной безопасности «после окончания Второй мировой войны».

Пространство безопасности как предмет анализа

Для выявления нового качества пространства безопасности мирового сообщества необходим комплексный анализ генезиса сегодняшнего состояния, прорисовка его «большой картины», масштабных и долгосрочных процессов, узловых проблем, областей совпадения и конфликтности интересов, набора и поведения основных действующих лиц. Выявление тех или иных особенностей сегодняшнего пространства безопасности мира в значительной степени определяется мировоззренческими подходами исследователей. Последние по-разному видят новое качество политического, экономического, идеологического и других пространств сегодняшнего мирового взаимодействия, состояние которых оказывает непосредственное влияние на изменения пространства безопасности. Разночтения становятся очевидными уже при определении понятия «безопасность».

Поскольку вооруженная борьба была вечным и одним из важнейших факторов мировой истории, именно проблемы войны и мира находились в центре внимания государственных деятелей и мыслителей. Хотя периодически предпринимались попытки создать схемы сдержек

и противовесов для продления мирных передышек между войнами (например, «европейский концерт» после завершения Наполеоновских войн), систематические и коллективные усилия по созданию системы «международной безопасности» приходятся на период после окончания Первой мировой войны (1914–1919). С одной стороны, термин «международная безопасность» использовался как синоним традиционного понятия мира или отсутствия войны. С другой стороны, это понятие предполагает более широкую политическую область, включающую достижение соглашений, выработку принципов, создание институтов и процедур, которые бы содействовали созданию условий для сохранения мира и противодействовали образованию предпосылок, способных привести к войне. Но неотъемлемой составной частью понятия международной безопасности оставалась подготовка национальных вооруженных сил на случай сбоя в работе такого политико-правового механизма.

Задача восстановления и развития системы международной военно-политической безопасности стала еще острее после более разрушительной Второй мировой войны. Хотя в Уставе ООН как бы пунктиром были намечены задачи экономического и гуманитарного развития человечества, главная цель этой организации заключалась в обеспечении именно военно-политической безопасности. «Поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира и проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и международного права, улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира»[1].

Большинство исследователей сходятся в том, что скорее военная составляющая безопасности (ракетно-ядерная угроза взаимного уничтожения), а не ее политико-правовой механизм сыграла главную роль в предотвращении перерастания вооруженного биполярного противостояния крупнейших держав мира и их союзников, усугубленного идеологическим противоборством между коммунизмом и буржуазной демократией, из «холодного» в тотальное «горячее» состояние.

Но в условиях значительного ослабления одного из прежних полюсов конфронтации, сокращения вооружений на центральном участке противостояния снизился градус и идеологической враждебности между бывшими антагонистами. Появились предпосылки восстановления в значительной мере политико-правовой составляющей международной безопасности, как она была сформулирована в Уставе ООН 1945 года.

В самом общем плане к военной безопасности можно отнести ту сферу взаимодействия различных действующих лиц, основным призна-

ком которого служит фактическое применение или вероятность применения вооруженного политического насилия. При этом она включает как угрозы, так и их парирование. Уолтер Липпман, в свое время отчеканивший термин «холодная война», определял понятие национальной безопасности следующим образом: «Государство находится в состоянии безопасности, когда ему не приходится приносить в жертву свои национальные интересы с целью избежать войны и когда оно в состоянии с помощью войны защитить эти интересы в случае посягательства на них»[2]. В законе Российской Федерации «О безопасности» это понятие имеет широкое толкование: «Безопасность — состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз»[3].

Субъекты действия в сфере безопасности

В последнее время происходит *расширение субъектной сферы* мировой безопасности. На протяжении примерно 350 лет функционирования Вестфальской системы центральными, почти монопольными действующими лицами в вопросах войны и мира, а затем международной безопасности были государства. Временами негосударственные формирования — пираты, вооруженные отряды крупных заморских компаний, боевые ячейки трансграничных идеологических движений (например, анархистов, социалистов), вооруженные формирования боровшихся за самоопределение народов — существенно влияли на состояние мира и международной безопасности в различных регионах. Но источниками подавляющей части угроз и потенциалов их отражения, основными участниками вооруженного противоборства или подготовки к нему оставались государства. Международная безопасность была почти исключительно государственно-центристской. Поэтому под международной безопасностью в первую очередь и главным образом подразумевается безопасность межгосударственная.

Предвестником последующего «разгосударствления», или «приватизации», пространства мировой военно-политической безопасности становится вооруженная борьба колониальных народов за национальное самоопределение, охватившая в 1940–1950-х годах Азию, а в 1960-х — Африканский континент. Хотя масштабы повстанческой борьбы этих народов и вооруженного подавления со стороны колониальных держав сильно преувеличены, можно говорить о зарождении нового глобального феномена — вооруженной борьбы между государственными и негосударственными действующими лицами.

Наиболее драматично процесс такого «разгосударствления» проявился на рубеже XX и XXI веков, когда транснациональный терроризм

бросил вызов безопасности многих государств и международного сообщества в целом. Кроме довольно нетипичного случая полулегального базирования «Аль-Каиды» на территории Афганистана, контролировавшегося хотя и нелегитимным с точки зрения международного права, но признаваемым де-факто режимом талибов, силы транснационального терроризма не имеют обратного национального адреса. Они растворены в глобальном мировом сообществе. Часть из них получает поддержку финансами и вооружениями от отдельных государств. Но, как правило, такая поддержка не является основой потенциала, без которого террористическая деятельность была бы невозможной.

Другим негосударственным вызовом безопасности мирового сообщества служит та часть угрозы распространения оружия массового уничтожения (ОМУ) и средств его доставки, которая связана с вероятностью их попадания в руки неконтролируемых государствами «общественных организаций»[4]. Сохраняется вероятность доступа фанатиков к ядерным взрывным устройствам. Некоторые исследователи, например, не исключают сценария потери правительственного контроля над ядерным потенциалом в Пакистане.

Наконец, в мировом сообществе в основном сформировался консенсус о том, что внутренние вооруженные конфликты представляют серьезную угрозу не только для стран, где они протекают, но также для их соседей и мирового сообщества в целом. Инициаторами и главными действующими лицами межэтнического геноцида (взаимного уничтожения членов племен тутси и хуту, населения в Дарфуре), гражданских войн (в Демократической Республике Конго), сепаратистских движений (в Шри-Ланке, на территории России в Чечне), потери государственности и торжества вооруженной анархии (в Сомали) в основном были негосударственные силы.

Круг негосударственных действующих лиц, влияющих на пространство безопасности, значительно расширяется при включении в это пространство части невоенных угроз. На фоне снижения числа войн и вооруженных противостояний между государствами масштабное вторжение новых, негосударственных действующих лиц в пространство безопасности повлияло на общую парадигму дальнейшего развития мирового взаимодействия по вопросам безопасности. Но драматичность этого феномена, равно как и стратегических решений ряда влиятельных государств по тем или иным причинам выдвинуть борьбу с этими новыми действующими лицами в верхнюю часть повестки дня обеспечения мировой безопасности, несколько преувеличена.

Нападение террористов 11 сентября 2001 года на Соединенные Штаты стало символом, катализатором и рубежом осознания новизны это-

го явления и мобилизации сил для борьбы с ним. Это событие превратилось как бы в главный водораздел новейшей истории, точку бифуркации развития феномена мировой безопасности. Однако более взвешенный анализ и накопленный с той поры эмпирический материал позволяют предположить, что при всей значимости этого события оно, во всяком случае, не превосходит по глубине и масштабности влияния на мировую безопасность факты атомной бомбардировки Хиросимы (1945), выведение межконтинентальной баллистической ракетой спутника Земли (1957) или падение Берлинской стены (1989).

Подчеркивая новую роль негосударственных действующих лиц в системе международной безопасности, мы в полемическом пылу неизбежно принижаем или обходим стороной новую роль государства. Судя по всему, речь идет не просто о понижении или повышении роли государств в мировой безопасности, но о ее изменении.

Негосударственные действующие лица выступают носителями лишь части угроз. Потенциальными, а нередко и реальными носителями другой части остаются государства. Сохранение ракетно-ядерных вооружений на избыточном с точки зрения парирования «новых угроз» уровне и расширение клуба обладающих ими государств свидетельствуют о том, что внешние угрозы государственного происхождения остаются важным фактором современной безопасности.

К началу XXI века ведущие страны существенно реформировали часть национальных армий, приспособив их к ведению антитеррористических, антиповстанческих, миротворческих операций. Но основную часть национальных вооруженных сил по-прежнему составляют силы и средства ведения межгосударственных войн. Продолжение если не гонки, то модернизации вооружений по всему спектру показывает, что межгосударственная «дилемма безопасности» в принципе сохраняется. Хотя перед лицом общих для многих государств «новых угроз» они вынуждены объединяться и отодвигать на задний план соперничество между собой, степень единства по этим мотивам не следует преувеличивать. Таким образом, государства остаются потенциальными носителями «старых угроз» межгосударственного соперничества.

Государства остаются по существу монопольными действующими лицами в области противодействия как «новым», так и «старым» угрозам. Есть примеры некоторой активности негосударственных действующих лиц в сфере обеспечения безопасности (существенное расширение сети частных охранных подразделений в большинстве стран мира, активизация негосударственных организаций в операциях по миротворчеству). Но государства остаются единственными легитимными носи-

телями политического насилия. Больше того, роль национального государства в сфере безопасности в последнее время возрастает. Особенно это касается системы внутренней безопасности, укрепляющейся с целью или под предлогом защиты от проникновения «новых угроз». Понимание того, что слабые, гибнущие и неудавшиеся государства[5] выступают рассадниками «новых угроз», задача укрепления или воссоздания их государственности является сегодня одним из важнейших ориентиров на пути к мировой безопасности.

На рубеже веков в сфере безопасности формируется новый феномен — масштабное вторжение в пространство военно-политической безопасности (и в сопредельные области расширяющегося поля безопасности) новых негосударственных действующих лиц, а также изменение роли национальных государств. Поэтому речь идет уже не только о «международной безопасности» в ее межгосударственной ипостаси, а о явлении с более широким набором действующих лиц, которое по этой причине более корректно было бы именовать *«мировой безопасностью»*.

Предметное поле современных исследований безопасности

Одновременно происходит *расширение предметного поля* безопасности за счет включения в эту сферу невоенных мировых угроз. Они и ранее вызывали озабоченность отдельных государств и мирового сообщества в целом, но существенно отставали по значимости от тех, что присутствовали в области военно-политической безопасности. Эпидемия гриппа в начале XX века (так называемая «испанка») унесла жизни примерно такого же количества людей, как все боевые действия в Первую мировую войну. Незаконный оборот наркотиков в мире сегодня не намного превосходит масштабы этого преступного бизнеса несколько десятилетий назад. Массовый голод в развивающихся странах во второй половине прошлого века был значительно более масштабным, чем сегодня. И тем не менее именно сейчас в мировом общественном мнении складывается консенсус о существенном повышении приоритетности этих невоенных угроз и необходимости рассматривать их в плоскости мировой безопасности.

Для подтверждения этого тезиса достаточно бросить беглый взгляд на приоритетность проблем, которые поднимаются на самых представительных международных форумах, служат предметом межгосударственных соглашений, деятельности растущего числа неправительственных организаций, занимают первоочередное внимание мировых средств массовой информации.

Одной из проблем, прочно занявших место в сегодняшней повестке дня мира, стала экологическая безопасность. Загрязнение окружаю-

щей среды, изменение климата, масштабные природные катастрофы часто рассматриваются как угрозы, равные по своему негативному воздействию (не только на большинство стран, но и на каждого жителя Земли) военным угрозам, а порой и превосходящие их. К этой сфере близко примыкает область эпидемиологической безопасности — пока малоуспешная борьба со СПИДом, угрозы таких эпидемий, как, например, распространение «птичьего гриппа». По мере развития технологий и промышленности возрастает вероятность масштабных техногенных катастроф. Центральными в процессе обеспечения невоенной безопасности остаются государства, межправительственные организации. Но в этой сфере значительную роль играет «частный сектор» мирового сообщества: национальный и транснациональный бизнес, общественные организации, оказывающие давление на правительства и помогающие им в решении возникающих проблем.

Повышенную озабоченность вызывает и сфера обеспечения безопасности от транснациональных угроз уголовного характера (неполитического насилия) — нелегальной иммиграции, незаконного оборота наркотиков, торговли людьми, хакерства, коррупции, отмывания денег.

Показательной для расширения предметного поля мировой безопасности является зарождение и энергичное развитие в последние годы во все большем числе стран концепции «безопасности человека»[6]. Национальная и международная безопасность призваны защитить государства и граждан от внешних и некоторых внутренних угроз преимущественно военного характера. Но безопасность человека, по мнению ее сторонников, должна быть нацелена на защиту индивида от любых, в том числе и внутренних, угроз как вооруженного, так и невоенного типа. Представители этого подхода напоминают, что за последние 100 лет значительно большее число людей в мире погибло не от боевых действий иностранных армий, а от рук собственных правительств. Они также полагают, что в список основных угроз безопасности человека следует включить голод, эпидемии и природные катастрофы, которые уносят значительно больше жизней, чем войны, геноцид и терроризм вместе взятые.

Такие доводы о расширении предметного поля безопасности мира довольно основательны. Реализация невоенных угроз в большом числе случаев создает питательную среду для зарождения и материализации угроз военного характера, и без нейтрализации первых часто невозможно успешно бороться с последними. Поэтому в концепции миротворчества, все более успешно реализуемой ООН в последние годы, заложен комплексный подход к преодолению как военных, так и невоенных угроз.

Происходит выравнивание приоритетности различных сфер «широкой безопасности». Военная безопасность несколько теряет свое ранее

почти монопольное положение «высокой политики». В верхней части повестки дня мирового взаимодействия ее теснят те невоенные проблемы, которые раньше безоговорочно относились к разряду «низкой политики».

Такая трансформация вызвана несколькими объективными процессами. Существенно, хотя и неравномерно, возросли благосостояние человечества, возможности новых технологий, а значит и ресурсы для борьбы с невоенными угрозами. Все более очевидный трансграничный характер этих вызовов затронул наиболее развитую часть мира, у которой до недавнего времени сохранялись иллюзии относительно возможности «отгородиться» от отрицательного воздействия неблагополучной в этом отношении развивающейся части мира. Несмотря на сохранение национального эгоизма и идеологических разногласий, окончание «холодной войны» ослабило соперничество крупных держав, что позволило расширить область согласия относительно необходимости коллективного подхода к противодействию транснациональным угрозам — в том числе и невоенного характера. Но главной причиной явилось, как бы парадоксально ни звучало это сегодня, повышение уровня безопасности мира в военной сфере.

Несмотря на широко распространенные сегодня ностальгические воспоминания о стабильности и предсказуемости логики «холодной войны», нельзя забывать о том, что такое состояние было производной алгоритма «балансирования на грани войны» и «взаимно гарантированного уничтожения». Сбой этого механизма мог привести (и, как считают многие исследователи, не привел лишь случайно) к мгновенному уничтожению всего человечества[7]. Сегодня при наличии многих иных угроз вероятность ракетно-ядерного Армагеддона радикально снизилась. Окончание биполярной конфронтации привело к сокращению доли военных расходов. В ее разгар человечество тратило на военные нужды 8,2% мирового валового продукта, а сегодня эти расходы составляют примерно 3%.

Удалось сократить арсеналы ОМУ, тяжелых обычных вооружений, численность вооруженных сил, объемы торговли вооружениями. Стали реже полномасштабные войны между государствами. После временного всплеска числа внутренних вооруженных конфликтов в начале 1990-х, к сегодняшнему дню их количество сократилось на 40%. В 1950 году среднее число жертв войны одного вооруженного конфликта за год составляло 38 тыс. человек, в 2002 году — 600 человек. Несмотря на позорные исключения, имевшие место в Руанде, на Балканах, в Дарфуре, общее число жертв геноцида и других массовых нарушений прав человека после окончания «холодной войны» также сокращается.

Исключение составляет терроризм. Число крупномасштабных террористических актов возрастает, увеличивается наносимый ими психо-

логический и экономический ущерб, растут расходы на борьбу с терроризмом. Однако не следует забывать, что число жертв терроризма составляет менее одного процента совокупных мировых потерь от политического насилия[8].

Разумеется, что такой тренд в сфере военной безопасности неустойчив. Достигнутые результаты не дают оснований для эйфории. Результаты опросов общественного мнения указывают на озабоченность мирового сообщества состоянием мировой военной безопасности. Частично это можно объяснить тем, что мировые и национальные средства массовой информации по понятным причинам концентрируют внимание на остающихся угрозах и игнорируют произошедшие позитивные сдвиги. Внимание привлекают конфликты, которые трагически начинаются, а не те, которые мирно урегулированы. Не приносит дивидендов взвешенный сравнительный анализ прошлого и сегодняшнего состояния безопасности и политикам, которые опасаются предстать в глазах избирателей недостаточно чувствительными к сегодняшним угрозам. Иногда угрозы безопасности раздуваются искусственно для достижения под этим прикрытием других целей. Но главной причиной является возрастающая требовательность мирового сообщества к состоянию безопасности — как военной, так и невоенной — и понижение порога терпимости к случаям ее нарушений.

Проблема расширения пространства безопасности привлекает пристальное внимание исследователей. Сторонник «широкого» толкования предметного поля безопасности, известный экономист, профессор Гарвардского университета Эмма Ротшильд определяет расширение пространства мировой безопасности в четырех измерениях. Первое касается расширения безопасности «вниз от государств к индивидуумам». Второе — воплощает видение «вверх от государств к биосфере». Третье касается горизонтального аспекта безопасности — «от военной к политической, экономической, социальной, экологической безопасности или безопасности человека». Под четвертым измерением подразумевается политическая ответственность за обеспечение безопасности, которая «распыляется» во всех направлениях — от государств «вверх к международным институтам, вниз к региональным и местным властям, а также к неправительственным организациям, общественному мнению и прессе, абстрактным силам природы или рынка»[9].

В «широком» подходе к безопасности присутствуют определенные недочеты. Дело в том, что как бы ни были взаимосвязаны сферы безопасности, они отличаются друг от друга по характеру угроз и средствам противодействия им. Обеспечение экологической безопасности требу-

ет, например, средств, инструментов и политико-правовых механизмов, отличных от тех, которые необходимы, скажем, для урегулирования межгосударственных вооруженных конфликтов или для борьбы с терроризмом. Алгоритмы функционирования различных сфер безопасности различны и часто уникальны. Они объединяются общим негативным, а часто и смертоносным воздействием на совокупную безопасность индивида, государства, региона и всего мирового сообщества. Но комплексный подход к обеспечению безопасности не должен нивелировать особенностей каждой из ее составляющих.

Концепция «секьюритизации»

Задачу определения пределов допустимости и целесообразности включения невоенных угроз в поле безопасности попытались решить ученые «Копенгагенской школы», прежде всего профессора Оле Уэивер (Копенгагенский университет), Барри Бузан (Лондонская школа экономики) и Яаап де Уилде (Университет Твента, Нидерланды). Они ввели понятие «*секьюритизация*» — придание международной или внутренней проблеме статуса «особой», относящейся к высокой категории безопасности, или легитимация применения для ее решения специальных мер, выходящих за границы обычного политического процесса[10].

Это породило вопросы о том, кто способствует «секьюритизации» той или иной проблемы, какие угрозы надо рассматривать на уровне обеспечения безопасности, против кого они направлены, чем отличаются они от обычных в рамках текущего политического процесса, наконец, какие меры можно применять для нейтрализации «секьюритизованных» угроз. Методология «секьюритизации» открыла возможности для более конкретной проработки новых пределов пространства безопасности.

Действительно, хотя загрязнение окружающей среды или сокращение разнообразия видов фауны представляет долгосрочную опасность, более угрожающими являются природные или техногенные катастрофы. Возрастают масштабы землетрясений и наводнений, затрагивающих отдельные государства или регионы мира. Вспоминаются случаи разлома земной коры и распространения приливной волны и цунами в акватории Индийского океана, а также катастрофы на промышленных объектах типа атомных электростанций (АЭС).

При всей важности защиты окружающей среды или сохранения биологического разнообразия такие проблемы не рассматриваются большинством государств как форс-мажорные и решаются в рамках обычного политического процесса с применением традиционных политических, экономических, дипломатических инструментов. Во втором случае катастрофам придается статус чрезвычайной ситуации, оправ-

дывающий применение мер и сил, выходящих за рамки обычного политического процесса: по характеру они напоминают действия при военном положении. Первая категория проблем не достигает уровня «секьюритизации», в то время как вторые могут быть включены в разряд «экологической безопасности».

Экономическая помощь беднейшим странам имеет огромные долгосрочные политические и экономические последствия, а также воздействие на состояние военной безопасности в этих странах и в мире в целом. Но ее неразумно рассматривать под углом зрения «экономической безопасности». Уровня «секьюритизации», видимо, достигают те случаи, когда, например, создается угроза массового голода, требующая масштабных поставок продовольствия с международным вооруженным обеспечением его сохранности от мародеров и физической защиты осуществляющего такие операции персонала. В разряд «экономической безопасности» можно включать случаи международных экономических санкций, которые являются результатом возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозами военного характера в пределах главы VII Устава ООН.

В центр внимания выдвигается тематика «энергетической безопасности», в которую включается почти вся сфера мирового взаимодействия, связанного с производством, транспортировкой и потреблением энергоносителей, прежде всего нефти и газа. Действительно, «секьюритизация» проблемы энергоносителей весьма высока. Резкое сокращение поставок нефти арабскими странами-экспортерами государствам, оказывавшим политическую, экономическую или военную поддержку Израилю, в разгар «октябрьской войны» 1973 года имело серьезные последствия в экономическом, политическом и военном плане.

Угроза закрытия воюющими сторонами Персидского залива в ходе войны между Ираном и Ираком (1980–1988) потребовала проведения масштабных международных военных операций для обеспечения свободы судоходства, в первую очередь нефтеналивных танкеров. Важной составляющей военно-политического принуждения режима Саддама Хусейна к выполнению резолюций СБ ООН было нефтяное эмбарго. Обрушение цен на нефть в 1986 году (по мнению ряда специалистов, в результате тайных договоренностей между США и Саудовской Аравией[11]) существенно обесценило советский экспорт нефти и ускорило падение СССР. Нефтяной фактор был одним из побудительных мотивов, хотя, скорее всего, и не главным, для проведения операции «Буря в пустыне» (1991) и второго вторжения в Ирак в 2003 году.

Сегодня ряд аспектов энергетической сферы сохраняет признаки «секьюритизации». Форс-мажорными могут считаться случаи ограни-

чения выхода на мировые рынки посредством блокады морских путей или транзитных трубопроводов для поставщиков нефти и газа, доходы от поставок которых в большой степени определяют экономическую жизнедеятельность, а следовательно, и военную безопасность этих государств. Вместе с тем даже временное политически мотивированное прекращение продаж энергоносителей крупными поставщиками грозит повторением «энергетического шока» 1974 года для энергозависимых стран и регионов, да и для всего мирового хозяйства, с серьезными экономическими, политическими и неизбежно военными последствиями. Именно по этой причине проблема «энергетической безопасности» была вынесена на Санкт-Петербургский саммит «группы восьми», обсуждается в рамках НАТО и остается приоритетной проблемой повестки дня «высокой» международной политики. Другой областью «секьюритизации» мировой энергетики являются случаи нарушения беспрепятственной транспортировки энергоносителей по морю и трубопроводам через транзитные страны; межгосударственных споров относительно принадлежности тех или иных месторождений, а также вопросы физической защиты добычи нефти и газа на морском шельфе.

Предстоит большая аналитическая работа по более точному определению круга невоенных угроз, которые заслуживают включения в ареал «мировой безопасности».

Беспредельное расширение этого пространства грозит поглощением феноменом безопасности всего комплекса международных отношений и мировой политики.

Это снизит эффективность методологии анализа отличных друг от друга проблем и приведет к восприятию всего разнообразия мирового взаимодействия учеными, общественностью и государственными деятелями через более «милитаризованные» линзы. Таким образом, в начале нового века происходит трансформация пространства безопасности из преимущественно военного в *«комплексное»*, которое включает в себя элементы из сопредельных предметных областей мирового взаимодействия.

Понятие глобальной безопасности

Положение о том, что глобализация усиливает «сжатость» и взаимозависимость мира и влияет на мировую безопасность, уже банально. Заинтересованность подавляющего большинства наций в подключении к экономической и технологической глобализации стабилизирует мировое пространство безопасности, более или менее масштабное нарушение которой может привести к разрушению взаимосвязанной структуры мирового хозяйства. Выход на передний план новых транснациональных угроз

(например, терроризма) угрожает большей части мирового сообщества. Человечество начинает усваивать на практике благотворность коллективных подходов к решению некоторых ранее казавшихся непреодолимыми проблем — например, сокращения вооружений, урегулирования вооруженных конфликтов, борьбы с эпидемиями, природными и техногенными катастрофами. Хотя и в недостаточной степени, но возрастает общий мирный дивиденд от снижения уровня конфронтации.

Общеизвестны источники негативного влияния глобализации на пространство безопасности. Прежде всего, это противоречие между космополитизмом и национальной самобытностью, которое нередко становится питательной средой конфликтности. Результаты от подключения к глобализации развивающейся части мира были в целом благотворными. Однако распространение на эти регионы глобализационных процессов стимулировало «перетряску» социально-экономических механизмов. Это сопровождалось ростом насилия, нередко проецируемого вовне[12]. Еще более масштабна внутренняя и внешняя конфронтационность стран и регионов, попавших в «черные дыры» глобализации и сопротивляющихся негативному и позитивному влиянию этого процесса.

Тезис о повышении степени неделимости пространства мировой безопасности в условиях глобализации требует уточнений. Именно революционные события в области военной безопасности явились одной из первых предпосылок выхода многовекового процесса постепенной интеграции мира на качественно новый рубеж нынешней глобализации. Изобретение и гонка ракетно-ядерных вооружений сделали каждое государство, каждый регион и каждого индивида абсолютно взаимозависимыми в том смысле, что физическое выживание всех и любого из них стало общей и главной проблемой. Снижение вероятности глобального уничтожения жизни на Земле после окончания конфронтации восстановило некоторую автономность действий государств и негосударственных действующих лиц в пространстве безопасности.

В этом же направлении работало и снижение уровня внутриблоковой дисциплины. Проблемы международных отношений более не воспринимаются в черно-белой гамме биполярной «игры с нулевой суммой». Во второй половине XX века индо-пакистанский конфликт или война между Израилем и соседними арабскими странами существенно повышали угрозу перерастания их в мировую «центральную войну» между Востоком и Западом. Сегодня такого рода конфликты в основном представляют угрозу в масштабах региона.

На развитие ситуации в отдельных регионах влияет усиление противоборства с новыми транснациональными вызовами. Сохраняется проецируемое извне воздействие ведущих нерегиональных держав. Однако в

том или ином регионе повышенное значение имеют местные проблемы. Рассмотрение мировой безопасности в глобальном единстве — как бы глазами наблюдателя с борта космического корабля — вполне оправдано. Но изучение карты мира «малого масштаба» необходимо дополнить работой с более детальными «крупномасштабными картами» регионов.

Происходит определенный «передел» границ регионов мира по критериям безопасности. С этой точки зрения под «регионом» подразумевается группа соседних государств, угрозы, интересы и способы решения которых в этой сфере переплетены так плотно, что национальную безопасность каждого нельзя продуктивно рассматривать в отрыве друг от друга. Например, рассматривавшиеся раньше отдельно регионы Ближнего и Среднего Востока сегодня объединяются общностью процессов в единый регион Большого Ближнего Востока (*Greater Middle East. — Прим. ред.)*. Расширились границы региона, который раньше именовался «западноевропейским». Высокой динамикой и незавершенностью отличаются процессы формирования нового качества региональной безопасности на пространстве, которое принято обозначать «постсоветским» или «евразийским».

Одновременно перераспределяются регионы по степени их «угрозоемкости». Наибольшие изменения по этому признаку произошли в Европе, которая на протяжении веков выступала эпицентром самых крупных и масштабных войн и страны которой оказывали мощное, большей частью негативное, влияние на развитие процессов в области безопасности в других регионах мира. Сегодня можно утверждать, что регион превращается в один из самых мирных. Происходит смещение конфликтности в южном направлении. Большой Ближний Восток по «угрозоемкости» начинает играть роль, которая на протяжении столетий принадлежала Европе и особенно Балканам.

В подобном ключе следует рассматривать и вопрос о «сферах влияния». Казалось бы, глобализация упраздняет саму идею «огораживания» отдельных регионов как сфер исключительного влияния той или иной державы. Процессы экономического, политического и военного проникновения делают мир неделимым, а большинство стран пытается сохранить многовекторную модель взаимодействия с наиболее крупными государствами. Но в то же самое время отдельные группы стран и даже целые регионы объективно или субъективно представляют повышенный интерес для национальной безопасности той или иной державы. Соотношение этих «общих» и «частных» категорий пространства мировой безопасности может усилить его потенциальную конфликтность.

Глобализация во всех ипостасях обозначает проникновение транснациональных потоков через национальные границы с согласия «прини-

мающей» стороны или без такового. Это может рассматриваться как «вмешательство» в ранее считавшуюся исключительно суверенной сферу внутренней политики. В сфере безопасности растет озабоченность государств не только внешней политикой других стран, но и их внутренним состоянием — в той степени, в которой оно влияет на их собственную безопасность и безопасность мирового сообщества в целом. Наглядным примером может считаться Афганистан, где политический характер режима талибов и предоставление части территории страны базам «Аль-Каиды» превратили внутригосударственную ситуацию в прямую угрозу для международного мира и безопасности. Достигшая уровня геноцида внутренняя борьба племен и народностей в Дарфуре также приравнивается мировым сообществом к угрозе миру. Совет Безопасности ООН многократно принимал решения, санкционирующие международное вооруженное вмешательство без согласия объекта операции или ввод миротворческих сил с согласия принимающего правительства. Два случая вмешательства в обход СБ ООН (Косово и Ирак) привели к серьезным конфликтным ситуациям. Однако они не отменяют новый феномен консенсуса относительно включения в определенных случаях в набор угроз миру и международной безопасности внутриполитических ситуаций в отдельных странах и решения их путем вмешательства во внутренние дела.

Пространство мировой безопасности приобретает, таким образом, новое наполнение, отражающее изменение других пространств под влиянием сложной и противоречивой парадигмы глобализации — с существенными особенностями, характерными для этого пространства. В этом смысле мировую безопасность можно обозначить как безопасность «эпохи глобализации», или *«глобальную безопасность»*.

Источники глобальных опасностей

С момента формирования Вестфальской системы в середине XVII века модель мирового взаимодействия определялась «многополярным» балансом сил. Во второй половине прошлого века доминирующая ось конфронтации обозначалась как противоборство Востока и Запада. Затем она начала «расщепляться» на несколько новых осей конфликтности, склоняясь к азимуту «Север—Юг».

Одной из таких осей стала оппозиция «развитие—стагнация». Иногда в этом смысле используют слова «развитые» и «развивающиеся» страны. Но в последнее время сместилось значение и этих понятий. Первое сохранило прежнее качество — к данной категории относят страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и частично страны БРИК (Бразилию, Россию, Индию, Китай). Страны, ранее

включавшиеся во вторую категорию, разделились на две группы: действительно развивающиеся и «стагнирующие». Последние, в свою очередь, делятся на почти безнадежно отстающих (например, Тропическая Африка) и застывших в развитии, закрывших двери для глобализации и модернизации (большинство стран Большого Ближнего Востока, где темпы развития и диверсификации экономики ниже, чем в Африке). Понятие «Юг» для целей анализа сужается до последней категории.

Экономисты выдвигают гипотезу, согласно которой модернизация экономики, глобализация мирового хозяйства и повышение открытости национальных экономик снижают уровень военной конфликтности между странами с такой экономикой. На первый взгляд, это противоречит убеждениям, согласно которым снижение военной конфликтности восполняется ужесточением межнациональной экономической конкуренции. Но очевидно, что транснациональные компании соревнуются в основном не по национальному признаку. Богатства современных экономик, основанных на знаниях, государствам *тяжелее* завоевать, чем это было в эпоху сельскохозяйственных и ранних индустриальных экономик. Размер территорий или численность населения не служит больше одним из главных источников экономического могущества. Вооруженное завоевание и контролирование сырьевых месторождений, даже энергетических, обходится дороже покупки сырьевых материалов. Режим урегулирования конфликтности в мировой торговле (ВТО) в целом продемонстрировал свою эффективность[13].

Разумеется, сам разрыв между ареалами развития и стагнации не создает напрямую *casus belli*. Он формирует потенциал политического насилия, который поражает его изнутри (внутренние вооруженные конфликты) и выплескивается в различных формах вовне как неприятие новой парадигмы мирового взаимодействия (распространение ОМУ, поддержка терроризма).

Другой осью конфликтности является противостояние между «буржуазной демократией» и авторитаризмом. Оно вытекает из убежденности в том, что (1) демократия является более эффективной и гуманной политической системой, чем авторитаризм, и (2) демократии не воюют друг с другом[14]. В коалиционных войнах они могут вступать во временные союзы с автократиями, но всегда находятся по одну сторону фронта с другими демократиями. Между демократиями могут быть противоречия относительно применения вооруженной силы против автократии, но они никогда не приводят к вооруженным столкновениям между ними самими.

У авторитарных режимов нет автоматизма в обращении к насилию во внешней политике. Причиной этому является трезвый учет военного соотношения сил, а также последствий такого шага для собственно-

го экономического благосостояния и престижа страны. Но у автократий сохраняется вероятность проецирования вовне присущей им логики насилия внутри страны. Автократические режимы настороженно относятся к демократиям, опасаясь проведения со стороны последних политики, которая направлена на подрыв их авторитарной сущности.

Такие опасения не напрасны. В демократическом сообществе сложился консенсус относительно целесообразности и возможности трансформации авторитарных режимов в демократические. Это стало результатом поражения авторитаризма в «холодной войне» и последовавшего за ней подъема «третьей волны» глобальной демократизации, в результате которой мировая демократия добилась перевеса по количеству государств, экономическому потенциалу, качеству жизни, технологическому уровню, наконец, по качеству обычных вооружений. Но при согласии по поводу целесообразности конечной цели демократизации мира сохранилось, а в последнее время существенно обострилось разногласие по поводу путей и средств ее достижения. Одна сторона считает допустимым форсирование демократизации вплоть до применения военной силы и доктрины «смены режимов», другая — выступает за длительный путь эволюционных изменений с использованием преимущественно экономических, социальных, политических рычагов «мягкой силы»[15].

При расширении зоны «междемократического мира» и усилении экономических модальностей мирного сосуществования между автократиями и демократией зона вооруженной конфликтности вытесняется на периферию мирового взаимодействия. Хотя вышеперечисленные оси конфликтности существовали и ранее, их относительная значимость возросла. В большинстве случаев все или часть этих осей сопрягаются вместе в отдельных регионах в первую очередь «нового Юга», где и формируются очаги нарушения мировой безопасности.

Значимой остается и «старая» ось сохраняющейся конфликтности между государствами, в первую очередь самыми крупными в военном отношении. Она «истончилась», но не исчезла. На ее состояние оказывают сдерживающее влияние появление новых общих угроз, экономические императивы взаимозависимости, сокращение удельного веса идеологических расхождений. Но при этом сохраняется борьба за влияние, определение приоритетности угроз, средств борьбы с ними. Продолжает работать и логика модернизации вооруженных сил по принципу долгосрочной готовности к «сценарию худшего случая» вооруженного противоборства.

Наиболее ярко влияние этой оси проявилось в разногласиях по вопросам американского лидерства (однополюсности). Соединенные Штаты сохранили ракетно-ядерный потенциал, масштабы которого не исклю-

чают вероятности его применения не только против носителей «новых угроз», но и против крупных в военном отношении государств. Они обладают самым мощным в мире потенциалом обычных вооружений и способностью проецирования силы одновременно в большинстве регионов мира. В последнее десятилетие нарастала политическая воля Вашингтона решать многие конфликтные ситуации в мире в военном ключе и склонность использовать силу в одностороннем порядке. Одновременно росло неприятие такой ситуации со стороны большей части мирового сообщества, в том числе и ряда крупных в военном отношении государств[16].

Показательно, например, ранжирование приоритетности реальных угроз национальной безопасности РФ российским руководством. «Международный терроризм», несколько лет назад занимавший одно из первых мест, отошел на десятую позицию, угроза «распространения ядерного и других видов ОМУ, средств его доставки» — на шестую. На верхнюю строчку поднялся «курс военно-политического руководства США на сохранение мирового лидерства, расширение экономического, политического и военного присутствия в регионах традиционного влияния России»[17].

В качестве альтернативы такой ситуации выдвигается идея построить «многополюсное» пространство безопасности. По мнению ряда исследователей, она приближается к реализации. Но детальные исследования такой перспективы рисуют не очень радужные прогнозы. Так, например, директор Института США и Канады РАН С. М. Рогов, провозгласивший «крах однополярного мира», предсказывает следующие последствия такого сценария развития событий: дестабилизация ситуации на Ближнем Востоке и в Афганистане, возрастание роли и влияния Ирана, продолжение Китаем модернизации своих вооруженных сил, а Северной Кореей — своей ракетно-ядерной программы. На его взгляд, китайско-индийское экономическое и военное соперничество приобретет все более широкий масштаб, а вероятность возобновления противостояния между США и Россией существенно возрастет[18]. Рассуждения о «многополюсности» вызывают ассоциации с перспективой обострения конфликтности между крупными державами и усилением подчиненности средних и малых государств «полюсам» силы. Угадываются контуры новых противостоящих блоков, неспособных совместно противостоять даже общим угрозам.

При этом концепция «многополюсности» применительно к современности весьма слабо проработана теоретически. В мировой и российской литературе много критических работ в адрес «однополюсности», но нет сколько-нибудь подробного анализа альтернативной системы мирового взаимодействия. Сегодняшней ситуации противопоставляется система, при которой важнейшие решения по проблемам безопасности

должны приниматься на многосторонней основе. Но коллективный подход неизбежно требует коллективизма и при реализации принятых таким образом решений, более равномерного распределения бремени и рисков. Многие государства не имеют материальных возможностей для «замещения» Соединенных Штатов, другие — политической воли для взятия на себя доли общего бремени.

Но обеспечение коллективизма в принятии решений и их реализации невозможно без реформирования ООН. В сфере принятия решений по ключевым вопросам безопасности наблюдаются две противоположные тенденции. С 1946 по 1997 год право «вето» в Совете Безопасности применялось 287 раз, то есть примерно по 57 раз за десятилетие. В последние 10 лет «вето» применяли 17 раз. После 1991 года Совет Безопасности ООН санкционировал более десяти международных вооруженных вмешательств. Число операций ООН по предотвращению вооруженных конфликтов увеличилось в 6 раз, по постконфликтной стабилизации — в 8 раз, число государств, подвергшихся санкциям ООН, — в 11 раз.

В то же время в двух важнейших ситуациях (Косово и Ирак) решения о вооруженном вмешательстве были приняты в обход Совета Безопасности ООН. Участились случаи выхода из важнейших договоров или их игнорирования. Коллективные усилия ООН по вопросам продвижения контроля над вооружениями становятся менее результативными. Организация Объединенных Наций не имеет коллективных вооруженных сил для выполнения коллективных решений о вооруженном вмешательстве. Существует угроза возрождения значимости «старой» оси межгосударственной конфликтности.

Вместе с тем нельзя не обратить внимание на появившиеся в самое последнее время на Западе публикации о формировании новой оси конфронтации между государствами—участниками «либерального проекта» и странами «авторитарного капитализма»[19]. Старший научный сотрудник фонда Карнеги Роберт Кейган сформулировал суть этой гипотезы уже в названии недавно опубликованной и привлекшей большое внимание статьи «Забудьте исламскую угрозу. Битва будущего — авторитарные державы наподобие России и Китая против остального мира». Так или иначе, сегодня пока трудно предсказать, насколько долговременным или бесповоротным будет изменение «розы ветров», имевшее место сразу после окончания «холодной войны» на пространстве мировой безопасности, и как велика вероятность возвращения, пусть и в модифицированном виде, противостояния между великими державами как главного фактора конфронтационности на этом пространстве[20].

Существенные изменения качества современного пространства безопасности по составу действующих лиц, предметному полю, влиянию

глобализации, смещению осей конфликтности и сотрудничества дают основание поставить вопрос о дополнении понятия «международная безопасность» более комплексными понятиями — «мировая» и «глобальная» безопасность. Поле «международной безопасности» в его ипостаси межгосударственной безопасности остается важной, хотя и меняющейся, составляющей этой более широкой категории. Необходимость уточнения терминов диктуется реальными качественными изменениями в пространстве мирового взаимодействия и потребностями усовершенствования научного инструментария их анализа.

Примечания

[1] Устав ООН. Статья 1.

[2] *Lippmann W.* US Foreign Policy: Shield of the Republic. Boston, 1943. P. 5.

[3] Закон Российской Федерации «О безопасности», 5 марта 1992 года.

[4] Например, химическое и биологическое оружие секты «Аум-синрикё», ракеты значительной дальности вооруженных формирований «Хизбаллы» в Ливане.

[5] Англ. — *weak, failing and failed states. — Прим. ред.*

[6] Подробнее см. сайт «Сети безопасности человека». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.humansecuritynetwork.org.

[7] Подробнее об этом см.: *Макнамара Р.* Путем ошибок — к катастрофе: Опыт выживания в первом веке ядерной эры. М.: Наука, 1988; *Blair B.* Crisis Stability and Nuclear War. Oxford: Oxford University Press, 1988.

[8] Human Security Report 2005. War and Peace in the 21st Century. Oxford: Oxford University Press, 2005.

[9] *Rothschild E.* What is Security? // Daedalus. 124:3. 1995. P. 55.

[10] *Buzan B., Waever O. and Wilde J. de.* Security: A New Framework for Analysis. Boulder, CO: Lynne Rienner, 1998.

[11] *Гайдар Е. Т.* Гибель империи: Уроки для современной России. М.: РОССПЭН, 2006.

[12] *Nel Ph.* Globalization andViolent Political Dissent in Developing Countries // Globalization and Conflict. National Security in a „New" Strategic Era. Routledge, London and New York, 2006. P. 56–76.

[13] См., например: *Gartzke E.* Economic Freedom and Peace // Economic Freedom of the World: 2005. Annual Report. P. 29–44.

[14] Подробнее с дискуссией по вопросам «демократического мира» на русском языке можно ознакомиться в статьях: *Кулагин В. М.* Мир в XXI веке: Многополюсный баланс сил или глобальный Pax Democratica? // Полис. 2000. № 1. С. 22–37; *Цыганков А. П., Цыганков П. А.* Кризис идеи «демократического мира» // Международные процессы. 2005. Т. 3. № 3 (9). Сентябрь—декабрь. С. 33–44.

[15] *Joseph S. Nye, Jr.* Soft Power. New York: Public Affairs, 2004.

[16] Подробнее см.: *Богатуров А. Д.* Лидерство и децентрализация в международной системе // Международные процессы. 2006. № 3. С. 5–15.

[17] *Балуевский Ю. Н.* Индекс безопасности глобального мира: Российское измерение // Индекс безопасности. 2007. № 1. С. 39.

[18] *Рогов С. М.* После войны в Ираке: Крах однополярного мира // Независимое военное обозрение. 2006. № 45.

[19] *Gatt A.* The Return of Authoritarian Great Powers // Foreign Affairs. 2007. July-August.

[20] *Kagan R.* Forget the islamic threat, the coming battle will be between autocratic nations like Russia and China and the rest // The Sunday Times. 2007. September 2.

Глава **10**

Американские концепции статус-кво и современного миропорядка

На протяжении десятилетий после распада СССР мир живет в процессе выстраивания основ нового мирового порядка. Смена порядков, как правило, происходит вместе с «болезнью и смертью» основных игроков международной арены. К началу XXI века закончилось разрушение биполярного миропорядка, хотя нельзя сказать, что все его составляющие прекратили функционировать. Несмотря на снижение регулируемости мировых процессов, в мировой системе действуют сдерживающие факторы (институциональные и интуитивные), объективно ей присущие (упорядоченная анархия). Не ясно только, насколько сильным у отдельных субъектов международных отношений остается чувство самосохранения и готовность к поддержанию того несовершенного статус-кво, который обеспечивал отсутствие большой войны по меньшей мере с начала 60-х годов прошлого века.

После неудачных попыток после 1991 года построить моноцентричный порядок, основанный на добровольном или принудительном принятии нового статус-кво не только периферией, но и ведущими мировыми державами, США в конце 2000-х годов выступили с новым планом. В его основе — идея формирования новых международных структур, базирующихся целиком на приверженности демократии: «Глобальный форум свободы», «Глобальный форум экономической свободы», «Форум свободы прав человека». Не ясно, означает ли это попытку создать принципиально новый статус-кво, причем идеологизированный, или речь идет о том, чтобы закрепить нынешнее положение дел.

Сторонники создания новых международных институтов противопоставляют демократию статус-кво. Очевидно, что интересы демократизации мира они ставят выше статус-кво, по сути дела признавая возможность его нарушения ради распространения демократии. «Разница между демократией и статус-кво состоит в том, что при демократии ре-

шения принимаются многими, а не небольшой группой. Это не дает гарантии того, что все мы будем согласны со всеми принимаемыми решениями или что они будут правильными. Но эти решения будут легитимными. Этого достаточно»[1].

Статус-кво и «упорядоченная анархия» в международных отношениях

В общественных науках термин «статус-кво» определяется как существующее на определенный момент политическое, правовое или иное положение[2]. Это важный атрибут порядка — норм, принципов, договоренностей (формальных и неформальных), в соответствии с которыми субъекты международных отношений взаимодействуют друг с другом и решают возникающие проблемы[3]. Без согласованных норм поведения государствам невозможно обуздать собственные амбиции. Анархия, ограниченная только интуитивным стремлением к выживанию и развитию, чревата кризисами и претензиями игроков на гегемонию.

Категория «статус-кво» принадлежит теории реализма, в которой существуют несколько основополагающих принципов. Интерес для темы данной главы представляют следующие[4]. *Во-первых*, это утверждение о том, что для международной политики характерна анархичность. *Во-вторых*, тезис о том, что поскольку конфликтность международной системы коренится в ее природе, то ее можно только отчасти сдержать международным правом, институтами и моральными нормами.

Условием мирного сосуществования государств является равновесие сил, а его нарушение ведет к войне. Эволюционное развитие считается возможным, когда государства приспосабливаются к новому распределению силы. Например, через присоединение к стратегическим альянсам.

Постбиполярное развитие показывает, что реализм в большей степени, чем идеализм, позволяет объяснить как неудачи попыток США учредить новый порядок, так и стабильность системы международных отношений в условиях разрушения старого порядка. Выглядит убедительным постулат американского политолога К. Уолтца о том, что анархию не следует считать лишь негативным явлением для международной системы. Она имеет ряд преимуществ перед иерархией гегемонистского типа. Это самый дешевый способ организации: нет управляющей бюрократии и специальной инфраструктуры. Анархия более безопасна, так как не создает оснований для единоличного владения рычагами глобального управления. Это гибкий способ организации сообщества, позволяющий государствам по мере необходимости создавать наднациональные органы координации[5].

Как справедливо отмечает российский исследователь В. Н. Конышев, пока не найдены критерии, позволяющие точно определить особенности каждой парадигмы. Происходит быстрое развитие новых промежуточных и комбинированных подходов, сочетающих неореализм и неолиберальный институционализм. К примеру, это характерно для внешнеполитических программ республиканской и демократической партий США[6].

До распада Советского Союза для большинства стран Устав ООН оставался важнейшим документом, а сама ООН — основной международной организацией, с которой должны были формально считаться все ее члены. Соблюдались и Хельсинкские договоренности о нерушимости послевоенных границ в Европе (1975), договоры по ограничению вооружений. Эффективно действовали неформальные обязательства и договоренности. Можно было говорить о том, что статус-кво не только существовал и был стабилизирующим фактором, но также наряду с двумя полюсами выступал логическим звеном в послевоенном порядке.

Договоры эпохи «нового политического мышления» (1986–1991) не разрушали статус-кво, но существенно его видоизменили. *Как таковое* разрушение международного порядка началось с распадом СССР — после попытки государственного переворота в Москве в августе и российско-украинско-белорусских Беловежских соглашений в декабре 1991 года. С тех пор правомочность и целесообразность статус-кво открыто ставились под сомнение Соединенными Штатами Америки, лидеры которых приступили к сооружению нового порядка, каким его желали видеть в Вашингтоне.

К началу XXI века определились его основные черты. Во-первых, фактически его главным гарантом и регулятором оказались США. Американские администрации руководствовались прежде всего американскими интересами, с которыми в Вашингтоне отождествляли интересы всего мира. Старые международные институты только «мешали» проведению американской политики.

Во-вторых, в основу нового международного права были положены демократические ценности в их традиционном западном понимании, которое сильно отличается от восприятия идей свободы, демократии и порядка в незападных частях мира.

Действия США можно классифицировать как стремление создать жесткую иерархическую структуру в противовес существующей упорядоченной анархии и более демократическому мироустройству, основанному на коллективном и нормативном управлении международными отношениями (как это утверждает, например, американский историк и политолог Джон Айкенберри[7]).

В новом столетии Соединенные Штаты начали вести себя так, как будто новый порядок уже существовал, несмотря на то, что ряд государств открыто или исподволь продолжали сопротивляться его установлению. Факты и события при этом показывали, что говорить о новом статус-кво было пока преждевременно. С одной стороны, даже США не могли полностью отказаться от старых институтов и норм, с другой — наметились сложности на пути реализации американских планов.

«Вызывающая одноцентричность» нового положения дел в мире, попытки Вашингтона поставить под контроль все международные организации, фактическое отрицание суверенитета других государств, практика проведения не санкционированных ООН интервенций за рубежом, а также поворот США к неограниченному использованию военной силы затормозили процесс распада старого порядка. Более того, эти тенденции стимулировали рост настроений в пользу своего рода неформального фронта «глобального антиамериканского сопротивления», хотя, разумеется, официально о таковом речь не шла. Американская политика привела к разбалансировке международных отношений. Проблемы выживания человека, страны, мира в целом оказались на втором плане. Появились опасения, что «упорядоченная анархия» становится все более хаотичной.

Ревизионизм и консерватизм в отношении к миропорядку

О новом международном порядке как альтернативе старому — Ялтинско-Потсдамскому — первым заговорил президент США Дж. Буш-старший (1989–1993). Сменивший его У. Клинтон (1993–2001) подхватил эту мысль, провозгласив стратегию строительства всемирного порядка на основе демократических ценностей. Дж. Буш-младший (2001–2009) сгустил в этой идее колорит воинственности, по сути объявив под лозунгом борьбы с терроризмом «войну за победу американской демократии» во всемирном масштабе.

Не отвергая идею нового порядка в принципе, многие развитые страны настороженно относятся к ревизионистскому духу, которым проникнута внешняя политика США. В этом смысле происходит своего рода возвратный рост интереса к идее статус-кво, которая в известном смысле начинает интеллектуально и политически противостоять американскому пониманию порядка.

Большинство влиятельных государств (от стран ЕС и России до Китая и Японии), принимая во внимание позицию Вашингтона, не торопятся отказываться от достижений старого порядка, которые полвека гарантировали отсутствие мировой войны. Полного слома старого

большинство стран мира явно не хочет. А демократический Pax Americana их страшит — прежде всего оттого, что в управлении таким новым миропорядком многим державам может достаться только символическое место. Сохраняются различия в уровне развития и военном потенциале между США, Германией, Британией, Францией, Россией, Китаем, Индией, Ираном, Пакистаном, Канадой, Японией. Однако они вынуждены оглядываться друг на друга, учитывать взаимные интересы, договариваться.

С явным нежеланием в американской политической науке (а позднее и в среде американских политиков) были вынуждены признать повсеместный рост антиамериканских настроений как в богатых и передовых, так и в бедных, отстающих частях мира. Их рост приостановился лишь с приходом к власти в США администрации Б. Обамы в 2009 году. В США на фоне тупиковых сценариев войн в Ираке и Афганистане стали выходить работы, в которых давался трезвый анализ отношений Соединенных Штатов с остальным миром.

Отмечалось, что и после исчезновения «советской угрозы» мир остался по-прежнему расколотым. По мнению одних — на Север и Юг, других — на Запад и Восток, третьих — на богатых и бедных, четвертых — на глобализированное ядро и вытолкнутую из глобализации новую периферию[8].

Вследствие раскола, писали американские специалисты М. Аюб и М. Зирлер[9], не изменилась сущность отношений между ведущими индустриальными странами, которых сплачивала не столько «советская угроза», сколько общность интересов и стремление их защитить. Тот факт, что США стали единственной сверхдержавой, считают политологи, не меняет характера этих отношений, хотя изменил их структуру внутри трансатлантической коалиции[10].

В число основных угроз XXI века, названных экспертами нью-йоркского Совета по международным отношениям, включены терроризм, авторитаризм, экономическое отставание, деградация окружающей среды, бедность, неграмотность, дискриминация, эпидемии, распространение ОМУ — проблемы, характерные прежде всего для стран Юга.

Конечно, сдвиги начала XXI века требуют корректировки понятий «Север—Юг» и «трансатлантическое сообщество», содержание которых изменилось. Север количественно вырос за счет вступления в ЕС и НАТО новой группы европейских стран. Неясной осталась принадлежность отдельных стран Евразии (Россия, Китай, Индия, Пакистан), Латинской Америки (Бразилия), Южной Африки (ЮАР): по одним параметрам они могут быть отнесены к Северу, по другим — к Югу.

Американский политолог Т. Барнетт предлагает деление на «функционирующее ядро» (*functioning core*) и «неинтегрированную зону разлома» (*non-integrated gap*). В первое он включает традиционные ведущие мировые державы: «группу семи» — «старый концерт». В него входят и другие страны, движущиеся по пути вхождения в «систему глобализации». Это — страны Северной Америки и ЕС, Россия, Япония, Китай, Индия, Австралия и Новая Зеландия, Южная Африка, Аргентина, Бразилия и Чили[11]. Между этими государствами предполагается наличие отношений «взаимно гарантированной зависимости», которые и превращают их в интегрированное «ядро».

В исследовательской литературе отмечается, что, хотя члены ядра провозглашают преимущества глобализации и интеграции, многие страны «разлома» не готовы ограничить свой суверенитет. Приток инвестиций из развитых в развивающиеся страны невелик, а потому велик скепсис последних[12].

В политической сфере — аналогичная ситуация. Политологи Евросоюза и США провозгласили окончание эры незыблемости суверенитета государств, так как эпоха государств-наций, выступавших в качестве основных игроков в мировой политике, прошла и на смену им пришли новые акторы, не нуждающиеся в суверенности в ее традиционном понимании (ТНК, НПО и другие негосударственные/надгосударственные структуры и организации). Американская стратегия демократизации мира также не нуждалась в сохранении и защите национального суверенитета, мешавшего осуществлять «гуманитарные интервенции полувоенного и военного характера», поэтому появилась концепция «суверенитета народа» как альтернативы суверенитету государства[13]. Но суверенитет Соединенных Штатов остается незыблемым. Борются за него и самые мощные страны ЕС. Не удивительно, что на этом фоне слабые страны относятся к идее устаревания суверенитета подозрительно.

В мире во многом продолжает «скрытно существовать» старый порядок. Его главная идея — отстоять фактически преимущественное положение стран Запада, который стремится выступать как коллективный игрок во главе с США. В этот «однополярный концерт», конечно, могут принимать или не принимать новых членов. Но смысл группового доминирования Запада от этого не меняется, и в этом отношении подобную логику можно представить и как логику статус-кво.

Соответственно, современный терроризм в какой-то мере может быть понят как реакция на подобную «нечестную» игру сильных держав, которая только прикрывается лозунгами о приверженности общечеловеческим ценностям и демократическому порядку. У стран «зоны разлома»

появилась опасная иллюзия, что оружие, в том числе ядерное, — единственное надежное средство самозащиты слабых перед сильными.

В идеале в основе миропорядка должна лежать идея не консервирования привилегий Соединенных Шатов и «старого Запада», а взаимное уважение интересов всех частей мира и необходимость решения глобальных проблем невоенным путем. Гегемонистическая политика резко повышает вероятность войн. Она не дает возможности осуществлять постепенные согласованные и мирные трансформации статус-кво, но способствует ускоренной деградации международной стабильности[14].

Трудности и противоречия формирования новой структуры международных отношений

Современные международные отношения одновременно живут частично по-новому и частично по-старому. Как поведет себя Вашингтон: продолжит борьбу за одностороннее мирорегулирование, по-прежнему возглавляя «старый концерт», или так или иначе признает необходимость формирования «нового ядра», в котором Соединенным Штатам будет отведена роль одного из лидеров, хотя и наделенного преимуществами и привилегиями?

В американской науке идет дискуссия о том, как могут США наиболее выгодно встроиться в формирующийся порядок, закрепив за собой определяющее влияние на процессы в экономике, политике, обеспечении безопасности. Как отмечает известный ученый С. Уолт, проблема для США состоит не в том, чтобы устраниться от активной политики, а в том, чтобы доминирующее положение Соединенных Штатов было приемлемым для остального мира. Вашингтону следует осторожнее использовать военную силу, шире сотрудничать с союзниками, укреплять международный престиж страны. При этом, полагает эксперт, США могут без опасности для своих интересов передать союзным региональным державам значительную часть функций по обеспечению региональной стабильности. По сути дела, жизненно важными регионами для Америки являются только ЕС, индустриально развитые страны Азии и государства Персидского залива[15].

Дискуссии о новом мировом порядке и глобальной деятельности США получили новый импульс к концу первого десятилетия XXI века, и в них включились Ф. Фукуяма, З. Бжезинский, Р. Хаасс, К. Лэйн. Как отмечает Ф. Фукуяма, «государство сохраняет важнейшие (*critical*) функции, исполнение которых не могут взять на себя никакие транснациональные субъекты: оно остается единственным источником силы, способным обеспечить соблюдение закона»[16].

Политика Соединенных Штатов в значительной степени основывалась на предположении об утрате государством вне Соединенных Штатов определяющей роли в международных отношениях и обеспечении международной безопасности. Именно при таком подходе теоретики и практики впали в иллюзию о возможности перестроить все страны мира по образу и подобию американской политической системы. Идея универсализации внутреннего устройства государств мира и их включения в единую «демократическую семью», скрепляемую общими ценностями («мир открытых дверей»), была красива, но не реалистична.

На ожидавшееся «отмирание суверенитета» работало положение о возрастании роли транснациональных субъектов в XXI веке и о достижении ими такого уровня, на котором их влияние превзойдет роль правительств. В итоге правительства начнут действовать, повинуясь «непосредственным интересам мирового развития», а не национальным интересам собственных стран в их традиционном понимании.

Очевидно, что и это радикальное допущение оказалось слишком смелым. Нет смысла отрицать важность транснациональных субъектов. Но нет оснований и преувеличивать их значение.

Легитимность действий транснациональных игроков обеспечивается в основном государствами и от них зависит.

Деятельность большинства негосударственных субъектов по-прежнему и в значительной степени зависит от государства — если, конечно, речь не идет о совсем слабом, неудавшемся или гибнущем государстве[17].

Точка в споре относительно того, выступает ли государство основной единицей мирового порядка или его место должны занять сетевые и транснациональные образования, не поставлена. Это объясняется не только нежеланием многих стран, в том числе сильных, «уступать свое», но и твердым настроем Соединенных Штатов расширить объем уже приобретенных прерогатив и привилегий как сильнейшего государства мира. При этом другие страны уклоняются от признания легитимности подобных устремлений США[18].

Становление нового мирового порядка, в котором более существенная роль будет принадлежать транснациональным субъектам, зависит от успешности развития институциональной базы межгосударственных отношений. Следует повышать эффективность международных организаций, создавать новые и совершенствовать уже созданную нормативную базу международных отношений. Порядок предусматривает максимальное удовлетворение нужд членов мирового сообщества, гуманизацию правовых норм, признание многообразия мира.

Реалистичным представляется формирование мирового порядка, выстроенного по логике «срединной» линии: основными структурными единицами в нем будут и транснациональные игроки, и национальные государства. В этой связи заставляют задуматься планы Соединенных Штатов по созданию новых международных институтов, которые, на наш взгляд, далеки от логики «срединной линии».

Однако даже здравые и самокритичные суждения, которые встречаются в американской научной среде, остаются в рамках логики доминирования Америки. Авторы не желают даже думать о том, что США могут нормально жить и развиваться без претензии на роль «глобального организатора», которому есть дело до всех и каждого. Но просто смягчение риторики и только более «деликатное» применение силы (а не отказ от интервенций) не могут радикально поменять отношение к Соединенным Штатам. Доминирование расценивается американскими учеными как условие статус-кво, в то время как политическая мысль даже союзных Вашингтону стран бьется над тем, как «приручить» и «обуздать» американскую мощь. Эту проблему не могут игнорировать и сами американские специалисты[19].

В связи с иракской войной и принятием в 2002 году новой Стратегии национальной безопасности дискуссии о глобальной стратегии Соединенных Штатов перешли в иную плоскость. На Дж. Буша легло и бремя накопившегося раздражения против американской политики в годы пребывания у власти демократических администраций У. Клинтона, хотя опасность сверхдержавной политики тогда осознавалась в США очень немногими. И Клинтон, и Буш не скрывали, что хотят сотворить новую историю США и мира. При этом команда Буша ставила задачу войти в историю в роли исполнителя великой миссии «поддерживать рост демократических движений и институтов в каждой стране и культуре для достижения конечной цели искоренения тирании в мире»[20].

Американские политологи, критиковавшие администрацию Буша, отмечали, что «демократизация по-американски» выглядит как дестабилизация, разрушение культуры других стран силовыми методами. Провозглашенное тождество между жизненно важными интересами США и демократическими ценностями отсутствует. Соединенные Штаты не торопятся портить отношения со странами, где у власти находятся авторитарные режимы (Пакистан, Афганистан, Саудовская Аравия, Египет), если последние поддерживают США на Большом Ближнем Востоке. Похоже, что республиканская администрация Соединенных Штатов «использует демократию в качестве хлыста для наказания отдельных своих врагов, например Ирака, продолжая в то время деловые отношения с другими автократическими режимами-союзниками»[21].

Один из авторитетных специалистов по демократии и демократизации Т. Карозерс также весьма критически расценил политику республиканской администрации в реализации плана по «демократизации мира», к противникам которого он не принадлежит. Согласно его точке зрения, политику администрации Буша неверно определять как политику распространения демократии, так как она направлена на решение иных проблем (безопасность, энергетика, ресурсы, торговля), а проблема демократизации находится «в самых дальних углах американской внешнеполитической деятельности».

Политолог упрекает американское руководство в чрезмерном потворстве реализму, из-за чего вопрос о демократии выдвигается на первый план в основном в отношениях с небольшими слабыми странами, а в отношениях с крупными державами — КНР, РФ, Пакистан, Казахстан — на первый план выступают проблемы безопасности и экономики. Автор предполагает, что ради решения геополитических задач (создание военных баз, доступ к энергоресурсам, борьба с терроризмом) Соединенные Штаты готовы «закрыть глаза» на отрицательные по их мнению черты политики КНР, России, Пакистана или Казахстана[22]. Политолог сетует на то, что в захваченных американцами Афганистане и Ираке демократические преобразования отступили на второй план по отношению к военным операциям[23].

Сложности в осуществлении плана демократизации на страновом и глобальном уровнях в том числе продемонстрировали нецелесообразность игнорирования старого статус-кво, существующих норм и организаций, отдельных стран. Упорядочение ситуации в регионе Большого Ближнего Востока и в мире невозможно без взаимодействия США с ЕС, Китаем, Россией, Ираном, Саудовской Аравией. Для решения собственно американских, региональных и глобальных проблем Вашингтону придется сотрудничать с разными режимами, учитывать интересы и страхи всех участников процесса, идти на уступки, как это делали американские лидеры в годы «холодной войны». Милитаризация международных отношений выглядит, по мнению отдельных политологов, скорее «насмешкой, нежели уважением к достойным похвалы достижениям наших отцов»[24].

В мире фактически продолжает существовать старый статус-кво, об основах которого мировые державы договаривались в течение долгих лет биполярной конфронтации. В его основе остается стремление (1) избежать ядерной войны и (2) действовать по мере возможностей в рамках достигнутых договоренностей, учитывая интересы сторон — прежде всего самых сильных держав и их союзников. Страны мира стараются уйти от крупного конфликта, пользуясь (пусть и не в полном объеме)

прежними сохранившимися международными нормами и оставляя базу для поддержания хотя бы призрачного силового и политического равновесия в международных отношениях. Старые ведущие державы неохотно принимают в свою компанию другие государства — Россию (хотя она формально является членом «группы восьми»), Китай, Индию и не поддерживают идею «нового концерта» («нового ядра»).

При этом если в 1990-х годах западноевропейские державы поддерживали США в разрушении старого статус-кво, то в начале нового века многие из них стали яснее видеть разницу между своими собственными интересами и устремлениями Вашингтона. Война в Ираке в этом смысле была своего рода катализатором.

Не Китай, как было принято считать 10 лет назад, а Соединенные Штаты вольно или не вполне вольно были основной силой, которая разрушала международный статус-кво. Это понимают не только критики американской политики, но и ее доброжелатели, предлагающие закрепить американское доминирование «в конституционной форме», то есть оформить его и регламентировать на условиях, приемлемых хотя бы для американских союзников.

Почти десять лет прошло с тех пор, как американские политики и политологи объявили мир стабильным и однополярным и отказывались признать полицентричный характер современной системы международных отношений[25]. Однако сейчас факт существования «расширенного ядра», «нового концерта», или, по-американски, многополярного мира, уже не отрицается. Признает это известный политолог и политик, автор концепции «США — шериф поневоле» Р. Хаасс. Он заявляет, что закончился период стабильной однополярности. Согласно его определению, мир вступил в эпоху бесполюсного мира, характеризующегося распылением силы и влияния, ростом числа игроков, включая негосударственных[26].

К факторам, ускорившим закрепление полицентричности, Р. Хаасс относит: 1) неверную политику Соединенных Штатов, которая воспринималась многими странами как угроза их интересам и безопасности; 2) энергетический фактор, когда благодаря росту потребления энергии ряд стран, обладающих запасами энергоресурсов, вышли на уровень влиятельных держав; 3) неверную экономическую политику, усугубленную расходами на войну в Ираке и Афганистане, приведшую к большому дефициту и ослабившую американские позиции; 4) глобализацию, которая ведет к непропорциональному усилению отдельных государственных и негосударственных игроков. В результате мощь и влияние не находятся в прямой зависимости, поэтому подход, основанный на принципе: «Кто

не с нами, тот против нас», считает Р. Хаасс, контрпродуктивен и необходимо сотрудничать с другими странами, а не только с союзниками.

Современные авторы называет такое положение «возвратом истории», указывая, что в мире вновь начинается соревнование за власть, влияние, статус, противостояние между либерализмом и автократией. Делается вывод о том, что мировой порядок XXI века будет определяться теми, кто сильнее. Будущее будет обсуждаться, считает он, не в Брюсселе, а в Пекине, Москве и Вашингтоне. Это существенно затрудняет деятельность США по конструированию мирового порядка.

Примечания

[1] *Albright M., Weber V.* The Right Path to Arab Democracy // The Washington Post. 2005. June 5. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: /www.cfr.org/publication/8169/right_path_to_arab_democracy.html.

[2] Большой юридический словарь / Под ред. А. Я. Сухарева и В. Е. Крутских. М.: ИНФРА, 2004. С. 587.

[3] См. определение порядка, предложенное А. Д. Богатуровым в монографии «Великие державы на Тихом океане» (М.: Конверт-МОНФ, 1997. С. 40).

[4] Подробный анализ теории реализма и неореализма представлен в новой отечественной работе: *Конышев В. Н.* Американский неореализм о природе войны. Эволюция политической теории. СПб.: Наука, 2004. С. 11–138.

[5] *Waltz K.* Theory of International Politics. Readings: Addison-Wesley, 1979. P. 11–114.

[6] *Конышев В. Н.* Указ. соч. С. 23–25.

[7] См.: Системная история международных отношений: В 4 т. / Под ред. А. Д. Богатурова. М.: НОФМО, 2003. Т. 3. Гл. 11.

[8] Следует выделить три фундаментальные работы отечественных политологов, посвященные проблеме мирового порядка: *Баталов Э. Я.* Мировое развитие и мировой порядок: Анализ современных американских концепций. М.: РОССПЭН, 2005; *Богатуров А. Д.* Указ. соч.; *Давыдов Ю. П.* Норма против силы: Проблема мирорегулирования. М.: Наука, 2002.

[9] *Ayoob M. and Zierler M.* The Unipolar Concert. The North-South Divide Trumps Transatlantic Differences // World Policy Journal. 2005. Vol. XXII. No 1. P. 31–42.

[10] Идея сложного ядра, в котором одна из держав выделяется своей мощью, не нова, она высказывалась Ч. Купчаном, И. Валлерстайном и другими американскими и британскими политологами в 1990-е годы и была призвана представить концепцию сложного ядра (полюса) как альтернативу однополюсной гегемонистской концепции структуры международных отношений.

[11] *Barnett Th.* The Pentagon New Map. War and Peace in the Twenty-First Century. New York: G. P. Putnam's Sons, 2004. P. 131–132.

[12] *Ayoob M. and Zierler M.* Op. cit. P. 37.

[13] Эта концепция получила широкое распространение в период осуществления так называемых «оранжевых революций», когда необходимо было обосновать большую помощь США в подготовке и проведении революций, а затем в последующих политических преобразованиях. М. Макфол писал по этому поводу: «Сегодня те, кто продолжает отстаивать незыблемость "суверенитета государства", часто делают это для того, чтобы сохранить автократию; а те, кто выдвигает идею «суверенитета народа», — это новые, прогрессивно мыслящие люди» (*McFaul M.* Putin Gambles Big — and Loses // The Washington Post. 2004. December 21).

[14] См. по этому вопросу: *Шаклеина Т. А.* Что нужно миру: стратегия войны или стратегия мира? // США — Канада: Экономика, политика, культура. 2006. № 1. С. 1–12.

[15] *Walt S.* Taming American Power // Foreign Affairs. 2005. Vol. 84. No. 5. P. 105–120.

[16] *Fukuyama F.* America at the Crossroads. Democracy, Power, and the Neoconservative Legacy. New Haven; London: Yale University Press, 2006. P. 10.

[17] Существующие международные организации управляются государствами, хотя они действительно добровольно ограничивают свой суверенитет, принимая на себя определенные обязательства в качестве членов соответствующих структур. Верно и то, что в XXI веке эти организации выходят за рамки общепринятых норм международного права и начинают пытаться принимать решения о демократизации отдельных стран или борьбе с террористическими группами. В США и России обсуждается вопрос о восприятии международных организаций как механизмов «предоставления услуг по обеспечению управления страной, то есть импортирования эффективного управления из стран, где таковое имеется». Так считает известный политолог С. Краснер. Ему возражает Дж. Рабкин, который утверждает, что глобальный порядок в XXI веке должен основываться на суверенных государствах, являющихся единственными международными акторами, соединяющими в себе демократическую легитимность и способность применять закон. Он считает, что международная кооперация может быть легитимной только при условии, что четко оговариваются и ограничиваются делегируемые тому или иному институту полномочия и то, над чем сохраняется контроль государства. См.: *Rabkin J.* The Case for Sovereignty: Why the World Should Welcome American Independence. Washington, D.C., 2004; *Krasner S.* Sovereignty: Organized Hypocrisy. Princeton, 1999.

[18] *Fukuyama F.* Op.cit. P. 180.

[19] Ibid. P. 114.

[20] Цит. по: *Hendrickson D., Tucker R.* The Freedom Crusade // The National Interest. 2005. Fall. No 81. P. 12–21.

[21] *Encarnacion O.* The Follies of Democratic Imperialism // World Policy Journal. Vol. XXII. 2005. Spring. No 1. P. 47–60.

[22] *Carothers Th.* The Democracy Crusade Myth // The National Interest online. 2007. June 5. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.nationalinterest.org.

[23] При этом не упоминается, что военная операция в Ираке разрушила шаткое равновесие в позициях этнических групп, бюрократических структур и армии, на которые можно было бы опираться для строительства демократии. В Багдаде были разрушены почти все общественные здания, ликвидированы все институты старого государства, распущена армия, личный состав которой «растворился», уничтожены структуры насчитывавшей 50 тыс. членов партии «Баас». Как отмечали американское обозреватели, начав войну в Ираке, «США превратили 450 тысяч его жителей в своих врагов». *Rieff D.* Blueprint for a Mess // The New York Times Magazine. 2003. November 2. P. 72.

[24] *Hendrickson D., Tucker R.* Op. cit. P. 19–21.

[25] Факт однополярности мировой системы (unipolar moment) признавался как либеральными, так и неоконсервативными политологами и политиками. В 1999 году было объявлено об установлении стабильной однополярной системы. Американский политолог Уильям Уолфорт написал об этом в статье, получившей широкую известность: *Wohlforth W.* The Stability of a Unipolar World // International Security. 1999. Summer. Vol. 24. No. 1. P. 5–41.

[26] *Haass R.* The Age of Nonpolarity. What Will Follow U.S. Dominance // Foreign Affairs. 2008. May-June. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: /www.foreignaffairs.org/20080501faessay87304.

Глава 11

Политика в войне постиндустриальной эпохи

Об изменениях в природе военного конфликта «мировое сообщество» специалистов в области безопасности заговорило еще в годы первой иракской войны 1991 года. Однако в *политологическом смысле* говорить о реальности самих изменений до конца 1990-х годов было преждевременно. В самом деле, темпы внедрения собственно военных и военно-технических новаций ведения боевых действий существенно опережали динамику политических перемен в природе войны. В сущности, появление новых военных методов не сопровождалось соответствующими по значимости политическими последствиями. Американские исследователи признавали: «В 1991 году США достаточно легко разгромили [иракскую] республиканскую гвардию и уничтожили всего за 100 часов четыре тысячи иракских танков, потеряв при этом лишь десять своих. Но преобразовать военную победу в политические изменения не удалось. Вот почему в последующие десять лет Соединенным Штатам пришлось проводить стратегию сдерживания Ирака»[1].

Изменение представлений о войне после распада биполярности

Явные сдвиги в понимании необычной природы новых войн стали происходить только после террористических актов 11 сентября 2001 года. Именно тогда начали трансформироваться американское внешнеполитическое мышление и взгляды американцев на войну. Осмысливая американский опыт, внимание политическим аспектам войн нового поколения стали уделять ученые и политики других стран. Но, естественно, в Соединенных Штатах перемены в политическом сознании были самыми заметными.

Наиболее характерны они были для самого президента Джорджа Буша и ближнего круга его советников[2]. В этом смысле наиболее брос-

ким (хотя не самым значимым) сдвигом был почти демонстративный разрыв республиканцев с превозносимым ими в 1990-х годах *изоляционизмом*. Именно он был основой их внешнеполитической доктрины на выборах 2000 года. Однако в 2001 году администрация Буша без колебаний сделала выбор в пользу *интервенционизма*, который предполагает резкое повышение уровня международно-политической вовлеченности и глобальной военной активности. После событий сентября 2001 года республиканцы, годами порицавшие администрацию У. Клинтона за ее политику «расширения демократии», приняли на себя такие военные обязательства, которые были немыслимы в правление демократов[3].

Поворотными пунктами в политическом использовании войн стали вторая афганская (2001–2002) и вторая иракская (2003–2005) кампании. С одной стороны, они продемонстрировали новые технологические возможности вооруженных сил США, позволяющие одерживать военную победу на поле боя сравнительно быстро и с минимумом потерь. С другой — обе кампании дали примеры того, как США борются с *типологически новыми* угрозами при помощи *старых* методов. Ведь провозглашенная Вашингтоном «глобальная война с международным терроризмом» не является войной в традиционном (для военной теории и военного искусства) смысле.

Обозреватели не раз писали, что обе кампании были средством отвлечь внимание американцев от внутриполитических и экономических проблем. Гораздо меньше специалисты развивали тему объективных трудностей на пути к адекватному осмыслению изменений в характере угроз и природы войны. Между тем изменения реальности опережают обновление наших представлений о ней. Процесс осмысления перемен сложен и часто оказывается болезненным.

Хотя теоретическое осмысление новых тенденций отставало, в начале XXI века все же очевидна необходимость поставить проблему: как изменяется природа войны, если рассматривать последнюю в качестве варианта политического действия. «Война снова вернулась в политический арсенал». Точнее, она снова стала занимать в нем гораздо большее место, чем то, что было характерно для десятилетий «конфронтационной стабильности» в биполярную эпоху. Реанимировался взгляд на войну как прежде всего на политический акт, а не простое столкновение вооруженных сил противников.

Для уяснения изменений природы войны и ее места в инструментарии и феноменологии текущей мировой политики важно рассмотреть как минимум три группы факторов: технологические, информационно-психологические и собственно политические. Последний аспект подразумевает выявление места войн в современных международно-политичес-

ких процессах. Отметим, что большинство теоретических работ и документов внешнеполитического и военного планирования за рубежом и в России пока еще строятся на анализе в основном только первой группы факторов[4]. Информационно-психологические аспекты войны лишь в последнее время становятся предметом исследований, а ее политические аспекты вообще остаются за пределами внимания аналитиков.

Современные западные авторы чаще всего пишут об изменении роли силы в обеспечении безопасности, о новых моделях применения военной силы в мировой политике и отличиях вооруженного конфликта в будущем от того, который был известен раньше[5]. Тезис об изменении природы конфликта, как правило, обосновывают ссылкой на так называемую *революцию в военном деле (РВД, revolution in military affairs)*.

Хотя об этой революции написано много[6], по-прежнему нет единого определения этого феномена. Исследователи по-разному видят ее природу, направление развития и возможные последствия. Общим является лишь акцент на ее сугубо «технологичном» происхождении. Исходно в литературе фигурировал вообще весьма узкий по смыслу специальный термин «военно-техническая революция», который затем быстро трансформировался в более широкое понятие.

В зарубежной литературе существует рабочее определение этого понятия. Оно интерпретируется как

> «военная и техническая революция, позволяющая применять технические нововведения в системе организации разведки, управления, контроля и связи». Такая революция связывается с появлением высокоточного оружия и, как следствие, новых операционных концепций, включая доктрины информационных войн и проведения совместных операций[7].

Другая дефиниция предложена Управлением оценок Министерства обороны США. В этом случае РВД понимается как

> значительное изменение в природе боевых действий, вызванное применением новых технологий, которое в свою очередь привело к пересмотру военной доктрины и операционных концепций и тем самым фундаментально изменило характер военных операций.

Как видно, второе определение игнорирует вопрос о сущности войны, которая представляет собой не только военные операции, а является комплексом взаимодействий политических целей, людских эмоций, культурных и этнических факторов и военного искусства. Авторы пентагоновской интерпретации не признают то обстоятельство, что технологии и технологические инновации при всей их важности остаются лишь инструментами достижения политических целей[8].

Впрочем, оба определения РВД подразумевают изменения парадигмы, природы и способа проведения военных операций. Эти глубокие изменения существенно трансформируют ключевой параметр потенциала возможностей (*core competency*) доминирующего субъекта использования силы или угрозы ее применения. Одновременно РВД может создавать новые ключевые параметры возможностей других субъектов.

Под *парадигмой* в данном контексте понимается модель, преобладающая при ведении определенного типа боевых операций. Так, во время Наполеоновских войн парадигмой ведения боевых действий было использование пехоты, при поддержке и под прикрытием артиллерии, маневрирующей с целью войти в контакт с противником.

В предлагаемом анализе *ключевой параметр* означает главную, определяющую характеристику способности данной стороны реализовать свои задачи в конфликте. Например, возможность обнаружения наземных целей с воздуха и нанесения по ним ударов с использованием высокоточного оружия является ключевым параметром силовых возможностей военно-воздушных сил (ВВС) США. А между мировыми войнами ключевым параметром военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов была способность вести точный артиллерийский огонь на дистанции до 30 км.

Под *доминирующим субъектом (dominant player)* мы понимаем вид вооруженных сил какой-либо страны, обладающий подавляющим превосходством в зоне военной операции, театра или кампании в целом. В кампаниях 2001–2004 годов доминирующим субъектом были ВВС США, *поскольку они обладали безоговорочным преимуществом в воздушных* боях и атаках с воздуха, которые были для соответствующих конфликтов ключевыми. В конце Второй мировой войны авианосные подразделения были доминирующим субъектом кампании на Тихоокеанском театре.

Пространство боевых действий (dimension of warfare) рассматривается как природно-географическая, антропогенная или иная среда, в которой ведутся боевые действия (земля, воздух, море, космос, киберпространство).

Наконец, *изменение парадигмы (paradigm shift)* означает смену базовой модели ведения боевых операций. Например, разрабатывая парадигму нанесения ударов силами *авианосных* соединений военно-морского флота (ВМФ), стратеги частично отказались от концепции использования «чисто» военно-морских сил — военных флотов, не имеющих в своем составе авианосцев[9].

РВД редко начинается доминирующими субъектами. Она часто заявляет о себе в конкретных ситуациях, давая преимущества той стороне, которая первой применила революционное нововведение. Нередко

подобные перевороты случаются не там, где были сделаны новые технологические открытия, а там, где догадались, каким образом эти открытия можно эффективно применить.

Более того, РВД не всегда непосредственно связана с разработкой новых технологий. Например, использование североамериканскими колониями иррегулярных частей и ополченцев во время их войны за независимость от Великобритании (1775–1783) знаменовало собой революционное изменение в стратегии и тактике ведения боевых действий, хотя применением новой технологии или новых вооружений эти перемены не сопровождались.

В случае когда «революция в военном деле» основана на технологических новшествах, она обычно является результатом внедрения одновременно нескольких технологий, а не применения какой-то одной. Не все РВД связаны с новым оружием. Например, распространение железных дорог в Европе и Америке в 1830–1850-х годах привело к резкому повышению стратегической мобильности[10], что сопровождалось сдвигами в стратегическом мышлении. Но собственно военно-технологических прорывов в этот период зафиксировано не было.

Американские эксперты полагают, что РВД последних пятнадцати лет характеризуется: (1) бумом технологического развития, типичным для перехода от промышленной эпохи к информационной; (2) окончанием биполярной конфронтации и (3) сокращением военных бюджетов наиболее мощных держав прошлого века[11]. По мнению С. Метца, директора Института стратегических исследований при Колледже Вооруженных сил США (ВС США), технолого-организационный аспект современной РВД определяется четырьмя новациями[12]:

- приобретением ВС США способности к нанесению высокоточных ударов;
- существенным улучшением организации управления, контроля и разведки;
- появлением потенциала для эффективного ведения информационных войн;
- принятием на вооружение различных видов «несмертельного» оружия[13].

В исследованиях по заказам министерств обороны различных стран в последние годы сформулировано не менее пяти различных концепций использования новых возможностей РВД.

Во-первых, это теория *«бесконтактных» ударов с безопасного расстояния*. Идея заключалась в том, чтобы в интересах сохранения своего личного состава и техники избегать непосредственного контакта с

противником, нанося ему с большой дистанции удары, координируемые и направляемые высокочувствительными сенсорами и системами управления и наведения.

Во-вторых, существует концепция *информационной войны (information warfare)*, которая также изначально была предложена Э. Маршаллом, но затем развита американским ученым Р. Моландером[14]. Суть этого построения — концентрация усилий на информационной составляющей военной кампании с целью разрушить информационные системы противника, сохранив при этом свои.

В-третьих, в середине 1990-х годов появилась концепция *системы систем (system of systems)*, которую разработал американский адмирал У. Оуэнс. Ее смысл заключался в том, что связывание в единую систему подсистем сбора и обработки развединформации, управления, связи и контроля, высокоточных вооружений в целом более результативно, чем возможности каждой из этих подсистем.

В-четвертых, другой американский адмирал А. Цебровски представил концепцию *сетевой войны (net war)*. Новизна этой идеи состояла в требовании проведения боевых операций на «трех опорах», то есть с учетом слаженного использования возможностей трех уровней ведения кампаний: информационного, сенсорно-управляющего и уровня непосредственных боевых действий.

Наконец, в-пятых, появилась идея *кооперационных (cooperative) боевых действий*. Ее эффективность была продемонстрирована ВМФ США во время первой иракской войны (1991). Смысл нововведения заключался в использовании на театре военных действий географически изолированных платформ вооружений (*weapon carrier*) — крылатых ракет различного базирования, самолетов и беспилотных летательных аппаратов.

> Хотя в США имеются новые технологии (а также системы и устройства, использующие эти технологии), о разработке новой военной доктрины и соответствующей ей новой структуры вооруженных сил Соединенных Штатов речь пока не идет. Имеются только операционные концепции, но они все еще проходят стадию тестирования[15].

В связи с формулированием военных доктрин, ориентированных на использование РВД, западные аналитики уделяют большое внимание вопросу о применении военной силы[16]. Лейтмотив их работ — мысль о необходимости свести к минимуму человеческие жертвы среди военнослужащих и гражданского населения. Американское общество демонстрирует довольно высокую степень нетерпимости к военным потерям — прежде всего, разумеется, своим. Возможно, поэтому ряд авторов с оптимизмом оценивают потенциальный эффект от применения в конф-

ликтах «несмертельного оружия». Американский ученый Э. Люттвак, например, заметил по этому поводу: «Если удастся должным образом модифицировать военное планирование, чтобы полностью использовать имеющийся технический потенциал, то станет возможно вернуться к методам ведения войн XVIII века, позволявшим избегать больших жертв и, таким образом, проводить почти бескровные интервенции»[17]. «Несмертельное оружие» может также облегчить интервенции на ранних стадиях конфликта.

Важное последствие РВД состоит в том, что она увеличивает разрыв в военных возможностях разных стран[18]. Государства, которые сумеют воспользоваться возможностями этой «революции», оставят далеко позади себя страны, неспособные поспевать за ней в силу консервативности, недостатка средств или отсутствия политической воли к самореформированию.

РВД позволяет передовым странам участвовать в конфликтах, не связанных с защитой их собственных жизненно важных интересов. Хотя снижается вероятность полномасштабного военного столкновения между самыми мощными государствами, но повышается угроза периферийных конфликтов, в которые могут быть вовлечены негосударственные акторы. Следовательно, при военно-политическом анализе возрастает необходимость учета интересов и прогнозирования поведения последних.

РВД может существенно изменить характер ведения боевых действий в конфликтах — как полномасштабных, так и малой интенсивности. Но подобные изменения вряд ли автоматически повлекут за собой перемены в природе войны. РВД воплощает технологические трансформации в способах проведения военных операций. Однако технология сама по себе не определяет то, каким образом и ради чего военная сила используется политиками. Учет технологического аспекта проблемы не достаточен для теоретического осмысления феномена современной войны.

Новый инструментарий достижения военных и политических целей

В анализ следует ввести также информационно-психологические составляющие. Внешнеполитические цели могут быть обеспечены не только военной силой, но и, например, экономическими мерами. Однако есть и другие аналитические инструменты. Мир, вступив в XXI век, требует «хирургически точного применения менее осязаемого, но более мощного оружия — знаний»[19].

Доминирование в информационной сфере дает возможность успешно достигать внешне- и внутриполитические цели. Обретение инфор-

мационного превосходства чаще рассматривается ведущими державами как эффективное и перспективное средство, позволяющее добиваться политических целей в ситуациях, когда применение силы невозможно либо нецелесообразно. При этом информационное противоборство постепенно перемещается из военно-технологической сферы в область формирования мировоззрения при помощи методик политического манипулирования.

В настоящее время в обязательном порядке проводится пропагандистская поддержка военных операций. Лидирующие позиции здесь занимают Соединенные Штаты, в которых существует самая широкая в мире программа подготовки соответствующих специалистов. Основным местом их подготовки является Центр им. Дж. Кеннеди при Школе специальных операций в Форт Брэгге (*John F. Kennedy Special Warfare Center and School at Fort Bragg, North Carolina*)[20].

Основными задачами при достижении информационного превосходства являются «обрушивание» на противника «целенаправленно препарированной» информации или просто дезинформации, а также ограничение его возможностей получать достоверные сведения о планах и намерениях США и их союзников. Важной частью информационной войны является создание в собственной стране благоприятного общественного мнения вокруг осуществляемой операции. Спектр используемых средств варьирует от традиционной пропаганды и агитации до применения новейших технических средств.

Комбинация технологических новаций с методами информационно-психологического воздействия позволила разработать концепцию «операций, ориентированных на результат» (*effects based operations*). Смысл подобных операций состоит в возможности отказаться от ориентации на физическое уничтожение противника. Вместо этого упор делается на изменение поведения противника до такой степени, что он сам начинает психологически настраиваться на возможные выигрыши от капитуляции и отказа от вооруженного сопротивления. При этом новые средства воздействия не исключают использование силы, но главное внимание все же уделяется применению несиловых инструментов — психологического давления. Наряду с ними предусматривается использование дипломатии[21], экономических и политических воздействий[22]. Подобный подход, в сущности, тоже рассчитан на применение силы, однако не только с целью уничтожения вооруженных сил и материальной инфраструктуры оппонента, но также для воздействия на его психологическое состояние и даже мышление.

В принципе идея подобных операций не нова. Оценкой поведенческих мотиваций противника интересовался еще в начале XIX века

немецкий стратег Карл фон Клаузевиц, подчеркивавший важность психологических аспектов войны. Целью военных действий, утверждал он, может быть и психологическое устрашение противника, а не только его физическое уничтожение.

В литературе выделяют несколько преимуществ операций, ориентированных на результат (ООР). *Первое* — чисто методологическое. Заложенный в логику ООР подход позволяет сделать планирование военных операций более комплексным, гибким и потенциально ресурсосберегающим. Эта методология прекрасно обеспечивает интеграцию военных и невоенных аспектов планирования.

Второе достоинство ООР — возможность эффективно осуществлять выборку целей и устанавливать соотношения их приоритетности. Этот подход позволяет наилучшим образом выявить слабые места противника путем анализа его системных возможностей. Он ориентирует на разрушение именно ключевых звеньев инфраструктуры противника и позволяет не уничтожать ее полностью. Считается, что таким образом легче проводить параллельные операции против избранных целей вместо того, чтобы поражать их одну за другой[23].

Третья сильная сторона ООР — способность оптимальным образом использовать все составляющие мощи своего государства: политические, экономические, военные и дипломатические. Это важно, поскольку полагаться на один-единственный источник национальной мощи неразумно: ведь односторонность часто ведет к снижению эффективности кампании и облегчает адаптацию противника к нападению.

В литературе отмечается и *четвертое* достоинство подобных операций. Они стимулируют более тесное взаимодействие между теми, на кого возложено непосредственное командование боевыми операциями, и другими участниками обеспечения кампании. Таким образом, в условиях противостояния сложному противнику снижается вероятность ошибок и несогласованности.

Наконец, *пятое* преимущество состоит в том, что ООР лучше подходят к условиям ведения «сетевой войны»: теоретики подобных операций рассматривают противника как сложную и способную к адаптации систему.

Концепция ООР была довольно успешно обкатана во время информационных операций, сопровождавших вторую иракскую войну. Во время этой кампании психологическая война против Ирака велась с помощью 50 млн листовок и сотен часов радио- и телетрансляций. Одновременно применялись стратегии подавления систем связи противника с целью подрыва эффективности работы иракской ПВО. В частности, ВС США заблокировали работу иракских средств связи на большинстве радиочастот, вынудив иракцев работать в предельно узком частотном

диапазоне, который Соединенные Штаты могли полностью контролировать. Активно использовалась и дезинформация.

Правда, трудностей у американских военных в ходе иракской кампании 2003 года было достаточно. Это прежде всего относится к наземной части кампании.

С одной стороны, она выявила недооценку командованием коалиции роли природных условий и особенностей партизанской борьбы в условиях города. Американские и британские офицеры признавали, что пыльные бури и сопротивление иракцев в южных районах страны на неделю задержали наступление на Багдад. В особенности пострадали подразделения 101-й воздушно-десантной дивизии в районе Наджафа, которые вели боевые действия против Республиканской гвардии с помощью вертолетов «Апач».

А с другой стороны, нехватка пехотных формирований для оккупации и проведения зачисток городских районов вынудила американские войска обходить большие города. Фактически союзники входили в них лишь для того, чтобы обеспечивать безопасность мостов и линий снабжения. Полный контроль над городами не был установлен и после того, как завершилась активная военная фаза кампании.

Кроме того, военные с большим трудом справлялись с непривычными для них боевыми задачами, поставленными в связи с политико-военными целями кампании. Основной задачей Вашингтона было добиться свержения режима Саддама Хусейна. Вот почему выбор целей в Ираке осуществлялся весьма специфическим образом.

Планируя воздушную составляющую кампании, американские военные стремились прежде всего уничтожить элитные иракские формирования и подразделения разведки. Авиаудары предполагалось наносить таким образом, чтобы максимально повысить вероятность уничтожения военных и политических руководителей Ирака, а также деятелей, причисляемых к террористам и предположительно находящихся во время кампании на иракской территории. Такая приоритетность выбора целей противоречила декларировавшемуся ранее отказу Вашингтона от практики убийств зарубежных лидеров.

Правда, практика устранения отдельных вождей террористов складывалась еще при администрации У. Клинтона (1993–2000). В августе 1998 года американские спецслужбы и военные попытались организовать с помощью ракет «Томагавк» покушение на Усаму бен Ладена. Однако оно оказалось неудачным. А после событий 11 сентября 2001 года сенат и палата представителей Конгресса приняли совместную резолюцию, которая дала президенту США право «использовать необходимую силу» для ведения войны против терроризма. В результате правовое основание по-

лучили президентские директивы, разрешающие уничтожение предводителей террористов. Напомним, что именно на их основе в Йемене был уничтожен Абу-Синана Али аль-Харити, видный деятель «Аль-Каиды».

С тех пор поиск подобных «целей» непрерывно осуществлялся с помощью всех средств электронной разведки, а наведение на цель в режиме реального времени обеспечивалось силами специальной группы немедленного нацеливания (*time-critical targeting cell*), созданной в рамках отдела боевых операций Центра авиационных операций ВВС США. Опыт последних лет показал высокую эффективность такого поражения целей. Однако довольно быстро обозначились и проблемы. Зачастую политическая «санкция» на поражение той или иной цели запаздывала, и малая скорость принятия решений не соответствовала возросшим техническим возможностям разведывательных систем и средств управления огнем.

С *военно-технологической* точки зрения вторая иракская война проходила достаточно гладко. Однако мера реализации ее *политических* целей спорна. Краткосрочные военные цели кампании были достигнуты в соответствии с установками политического руководства США, в сжатые сроки и с минимальными потерями. Но на пути к долгосрочным политическим целям Вашингтон столкнулся с рядом трудностей. Даже военный потенциал Соединенных Штатов не обеспечил их осуществления — пока не удалось установить в Ираке тот режим, который казался оптимальным для американских интересов.

Между тем вторая иракская война была фактически первой кампанией, полностью планировавшейся на базе концепции ООР. Но она показала, что технология сама по себе не гарантирует достижения искомых политических целей.

Возможно заново осознавая это, американские политологи стали чаще возвращаться к идеям Клаузевица. При этом, однако, они в большей степени опираются на их упрощенное толкование, которое было характерно для советского периода.

В свое время В. И. Ленин постарался «уравновесить» войну и политику, представить первую просто как одну из естественных форм второй. Не приемлющие коммунизм «ястребы» в нынешней республиканской администрации так же, как и он, полностью оправдывают войну, стараясь представить ее в глазах американского и мирового политического мнения как рядовое, обычное средство регулирования международных отношений. При этом сам К. фон Клаузевиц всегда рассматривал войну как крайнюю, предельную и в этом смысле исключительную фазу политической борьбы[24]. Парадоксально, но в США фактически преобладает ленинское толкование Клаузевица.

Однако войны в понимании самого немецкого стратега всегда велись для достижения политических целей, а не для военной победы самой по себе. При этом степень влияния политических соображений на военные операции менялась. Одной крайностью является ситуация, когда политические условия провоцировали начало боевых действий, затем приобретавших автономию и развивавшихся по логике, имеющей мало общего с первоначальными политическими целями. Другая крайность — случаи, когда политические соображения, влияя на боевые операции, мешали достижению военной победы. Но если полагаться на осмысление опыта иракской кампании, то можно заключить: простого *учета* политических целей военной кампании *не достаточно для достижения* полноценной *политической победы.*

Понятие асимметрии в войне и конфликте

Уточнить представления об особенностях современной войны можно с помощью так называемого *фактора асимметрии.* Принятие концепции ООР американским военным планированием отражает некую важную тенденцию развития стратегической мысли США. Однако принципы этой концепции не могут быть в равной мере применимы ко всем весьма разнообразным военным конфликтам. Соответственно, сильно варьируют и методы обеспечения «выигрышного поведения». Их выбор во многом зависит от правильности нашего понимания военных угроз и угроз безопасности. В последнее десятилетие природа этих угроз меняется, в частности, оттого, что растет важность и многообразие так называемых асимметричных угроз.

Термин «асимметрия» привлекает все больше внимания. Однако используют его часто не вполне точно. *Асимметрия означает отсутствие общей основы для сравнения.* В военно-политической сфере она проявляется в использовании асимметричных политических стратегий, ведении асимметричных боевых действий и появлении асимметричных угроз.

Асимметричные политические стратегии являются наиболее общим родовым понятием ситуаций, в которых «невоенные» методы используются для достижения военных целей, а информационно-психологические методики служат защите политических интересов. Пример такого рода — использование страхов гражданского населения (психологическое устрашение) для целей свержения правительства или компрометации международных союзов, в которых участвует государство.

Асимметричные угрозы нередко возникают, когда другая сторона ощущает опасность от превосходящего ее противника и не может ответить ему симметрично, то есть использовать типологически те же силы

и средства проецирования угрозы, которые использует тот. В самом общем виде *асимметричные боевые действия* построены на использовании «сравнительных преимуществ» одной стороны против «сравнительных уязвимостей» другой. Инструментами асимметричных (по отношению к операциям регулярных сил) боевых действий могут быть: (1) использование нерегулярными формированиями оружия массового уничтожения, баллистических или крылатых ракет; (2) применение информационных технологий или (3) перенесение боевых действий в нехарактерную для них среду (города, джунгли, высокогорье, пещеры).

В военной истории немало кампаний, выигранных вооруженными силами, которые имели схожие с противником (симметричные) возможности. Зато примеры асимметричных военных ответов сравнительно редки и, как правило, связаны с использованием (или планами использования) военно-технологических, операционных и тактических инноваций. Примером асимметричного военного ответа можно считать контрмеры СССР, предпринятые в ответ на американскую стратегическую оборонную инициативу в 1980-х годах, когда сравнительно дешевыми средствами подрывалась эффективность планируемой к развертыванию системы противоракетной обороны США.

Некоторые авторы считают примером асимметричных (по логике стратегического мышления) боевых действий ход германского наступления на Францию в 1940 году, проводившегося через незащищенную территорию Бельгии, а не посредством прорыва оборонительных укреплений на франко-германской государственной границе. Однако на самом деле ссылка на этот пример не убедительна. Германское наступление 1940 года было все-таки в большей степени примером того, как отсутствие политической воли ведет к провалу кампании, чем случаем асимметричных боевых действий. Вермахт имел системы вооружений, однотипные с теми, что были на вооружении во Франции. На тактическом уровне между Францией и Германией существовали различия в степени подготовленности к эффективному использованию военного потенциала, а не асимметрия[25].

Примером явной операционной асимметрии (высокие технологии против обычных вооружений) можно считать американскую кампанию в Афганистане в 2001–2002 годах. Американские вооруженные силы начали боевые действия с колоссальным технологическим превосходством (сенсоры, космические средства разведки и связи, высокоточное оружие и т.д.). Они имели возможность использовать сложнейшее электронное оборудование для координации действий собственных ВВС и сил специального назначения с наземными операциями Северного аль-

янса, ставшего союзником Соединенных Штатов против талибов. Неоспоримое превосходство американских воздушных и наземных сил позволило и силам Северного альянса действовать практически без поражений. Ни талибы, ни «Аль-Каида» не могли противопоставить США и их союзникам ничего сопоставимого с теми возможностями, которыми обладали американцы.

Рассмотрение асимметричных угроз правильно начинать с асимметрии интересов как наиболее важной их составляющей. Когда слабый противник имеет жизненный интерес, противоречащий нежизненно важному интересу более сильного государства, он получает достаточный стимул к тому, чтобы создать своему оппоненту асимметричную угрозу (что само по себе — асимметричная стратегия).

Подобные угрозы могут удержать более сильную державу от вмешательства в ситуацию, которая не угрожает ее жизненным интересам. Иногда асимметричная угроза способна ускорить вывод иностранных войск, просто сковать свободу действий более сильного государства или уменьшить его волю к вмешательству в чужие дела.

На рабочем уровне американские военные определяют асимметричные угрозы как попытку нейтрализовать или ограничить силовые преимущества США путем нанесения ударов по избранным уязвимым позициям Соединенных Штатов с помощью методов, не типичных для действий американских вооруженных сил.

Есть и более конкретное истолкование, которое подразумевает воздействие с использованием слабых тактических или операционных воздействий на уязвимые точки США. Цель таких акций — достижение непропорционально мощного эффекта, позволяющего подавить волю Соединенных Штатов или выполнить поставленные более слабой стороной задачи.

Асимметричные угрозы могут использоваться не обязательно слабыми странами. Аналитики Народно-освободительной армии КНР опубликовали серию исследований, в которых ведение асимметричных боевых действий рассматривается как один из ключевых средств достижения победы в будущих конфликтах (военных или иных) с Западом. В Китае разрабатываются технологии информационной войны, включая компьютерные вирусы, целью которых является ослабление информационной и управленческой инфраструктуры противника[26]. Важно то, что асимметричные стратегии могут быть нацелены на психологические манипуляции, посредством которых возможно компенсировать недостаток других ресурсов. Эффект от применения подобных методов может быть как тактическим, так и стратегическим.

В 1990-х годах западные эксперты по стратегии отчасти переключили внимание с *«войн по необходимости» (wars of necessity) на «войны по выбору» (wars of choice)*. Первые связаны с отражением угроз для выживания государства, вторые возникают при необходимости защиты не основных (второстепенных) интересов[27].

В современной ситуации «войны по выбору», как правило, ведутся под тем или иным предлогом в отношении слабых государств. Ядерные державы, да и западные страны в целом, фактически уже не находятся под угрозой «войн по необходимости», вызванных прямыми угрозами их существованию. Сознавая свою огражденность от витальных угроз, они с большей или меньшей легкостью принимают решения о вступлении (если обстоятельства к тому подталкивают) в «войны по выбору», которые если и угрожают их интересам, то не жизненно важным[28], а основным или даже второстепенным. В этом смысле все «гуманитарные интервенции» — типичные «войны по выбору». Однако формально или неформально инициатором подобной войны может стать и более слабая сторона, имеющая неадекватное представление о соотношении своих сил с возможностями потенциальных противников.

Ведение «войн по выбору» отличается от ведения «войн по необходимости» тем, что в первом случае принять решение о начале войны труднее. Ведение боевых действий — дорогостоящее мероприятие, а его последствия не всегда предсказуемы. В принципе большинство государств до 1991 года довольно явно тяготело к уклонению от прямых военных столкновений без крайней необходимости. Агрессия Ирака против Кувейта в этом смысле воспринималась как «чудовищная аномалия», а вовсе не норма. Но впоследствии модель международного поведения стала меняться. Чувствовавшие себя более сильными, члены НАТО стали прибегать к военной мощи чаще, смелей и откровенней, а все остальные страны мира, соответственно, стали относиться к ним подозрительней.

По-видимому, американские разработки проблематики «мягкой безопасности» (которые сегодня могут показаться в известном смысле новаторскими) в психологическом и политическом отношениях уходят корнями как раз к историческому опыту «зрелой биполярности» (1962–1991). Они отражают преломленное либералами-реалистами понимание опасности перерастания конфликтов из-за второстепенных интересов в полномасштабную катастрофу с участием ядерных держав[29].

Однако в последние пять лет военная сила вернула себе роль едва ли не ключевого инструмента межгосударственных отношений, в том числе отношений между государствами и негосударственными субъектами (террористические сети). Правда, как отмечалось выше, традиционное

использование военной силы против нетрадиционного противника не всегда может дать желаемый результат.

Асимметричные угрозы требуют совершенно новых стратегий противодействия им. На первое место выходит информационно-психологический аспект войн. Собственно военная победа становиться менее значимой, чем ее образ и «войны ради нее», который удается утвердить в СМИ и сознании общества. Чисто «технические» победы по-прежнему эффективны тактически, но они не гарантируют достижения стратегических, долгосрочных целей войны, которые по своей сути всегда являются политическими.

Военная победа США во второй иракской войне вполне очевидна. Но одновременно того же нельзя сказать не только о войне против терроризма, но даже о кампании за утверждение «иракской демократии». Реальная победа явно не соответствует победе ожидаемой.

В современных стратегических исследованиях требуется четче различать войны между государствами *(bellum)*, а также войны между государствами, с одной стороны, и субъектами, не имеющими легитимного государственного статуса *(guerra)*, — с другой[30]. Для конфликтов второго типа необходима особая стратегия[31].

Первой стадией выработки стратегии для конфликта типа *guerra* может быть уточнение его сути. Для этого стоит на время перестать думать о терроризме как о чем-то цельном и монолитном. Скорее, надо сосредоточить внимание на изучении фактуры — исследовании конкретных актов террора, поведения и характеристик самих террористов, их целей, типа войны, которую они ведут. Только потом можно рассуждать о том, какого рода стратегия применения силы может быть против них эффективной.

Не ясно, в чем должны состоять особенности глобальной войны против терроризма, каковы оптимальные параметры ее ведения. Администрация США пока смогла лишь обозначить круг своих «врагов» в такой войне: государства-изгои, распространители ОМУ, террористические организации (действующие в пределах отдельных стран, регионов или всего мира), отдельные террористы, наконец, «неудавшиеся государства», которые в силу слабости могут независимо от их воли использоваться «террористическими сетями».

К сожалению, такой перечень нивелирует различия между государствами-изгоями и террористическими организациями, хотя первые и вторые в корне различаются по характеру уязвимости перед лицом внешней военной мощи. Террористические организации — это конспиративные, негосударственные объединения, для которых лучшей защитой является отсутствие государственности. «Государства-изгои» как

суверенные государства имеют территорию, население, инфраструктуру. Поэтому, в отличие от террористических организаций, они могут быть объектом традиционного сдерживания или военного нападения. Рассмотрение их в одной классификационной категории ведет к путанице в прикладном анализе, что отчасти препятствует выработке эффективной антитеррористической политики.

Несмотря на неплохой тактический результат военного планирования во второй иракской войне и широкое использование в ней информационно-психологических воздействий, недооценка асимметричности угроз, с которыми столкнулись американские военные и гражданские оккупационные власти, привела к множественным неточностям в постановке задач этой войны в целом. Политические и военные цели кампании оказались во многом взаимоисключающими. К примерам подобной взаимоисключаемости можно отнести цели уничтожения режима С. Хусейна и, например, обеспечения безопасности иракских нефтепромыслов. Обе были обозначены администрацией Буша как приоритетные[32]. При этом часть политических и военных целей была вообще недостижима. Ведь те и другие ставились не на базе достоверной разведывательной информации, а на основе конъюнктурных политико-идеологических установок правого крыла Республиканской партии и его представителей в «команде Буша»[33].

Заведомая недостижимость демонстративно заявленных политических целей Вашингтона обусловила стремление администрации сопроводить иракскую кампанию жестким информационно-пропагандистским аккомпанементом в СМИ. Инструментарий политико-психологического манипулирования при этом использовался в отношении как населения Ирака, так и мирового общественного мнения. Фактически образ второй иракской войны оторвался от ее реального протекания, приобрел самостоятельное значение, начал «саморазвиваться» вне прямой связи с тем, что на самом деле происходило в Ираке и вокруг него.

Возник феномен «реальной виртуальности», под которой комментаторы стали понимать ситуацию, когда освещение и восприятие какого-то события оказались политически и социально важнее, чем само это событие.

Аналитики в связи с этим замечали, что стало реально возможным создание в СМИ образов несуществующих событий (в том числе *фиктивных военных конфликтов*), которые будут считаться реальными и порождать поэтому вполне реальные политические последствия.

Революция в военном деле в ее технологических проявлениях действительно меняет характер военных операций как в масштабных конфликтах, так и в войнах малой интенсивности. Но связанные с РВД из-

менения в системе боевых действий не влекут за собой автоматически изменений природы военного конфликта. Сама технология мало влияет на то, каким образом военная сила используется в политике. Рассмотрения только технологического фактора недостаточно для теоретического осмысления политических аспектов современной войны и тем более выработки практических рекомендаций для военного планирования.

Большинство важнейших систем вооружений США (да и других ведущих держав, включая Россию) создавалось во времена «холодной войны» и поэтому недостаточно приспособлено для борьбы с асимметричными угрозами, ведения боевых действий в городских условиях, когда противники и союзники находятся в тесном и нелинейном соприкосновении друг с другом. Подобные системы вооружений также плохо приспособлены к ведению боевых действий в условиях смешения гражданского населения с регулярными и нерегулярными вооруженными формированиями противника.

Ввиду роста числа военных конфликтов локального характера важно принимать во внимание, что высокотехнологичные вооружения могут быть применены далеко не всегда. Целью в подобных конфликтах обычно бывает не разгром (уничтожение) противника или захват его территории, а изменение его политики. При этом военные операции, направленные на достижение политических целей, могут и должны сильно отличаться от операций, ориентированных лишь на военную победу. Это позволяет переосмыслить вопрос об оптимальной структуре вооруженных сил для «средних» региональных держав. Для многих из них может быть достаточным ограничиться содержанием вооруженных сил, не предназначенных для уничтожения возможного противника, но способных вынуждать его при необходимости идти на определенные политические уступки без ведения полномасштабной войны на уничтожение. При наличии на рынке соответствующих технологий даже скромные военные бюджеты могут оказаться «достаточными» для поддержания обороноспособности, понимаемой подобным образом.

Переход к высоким («бескровным» для американских военнослужащих) технологиям ведения боевых действий сопровождался возникновением нехватки боеспособных пехотных частей для оккупации территории побежденного противника в условиях враждебности местного населения. Вот почему уместно ожидать попыток США использовать вооруженные силы и полицейские формирования союзных государств («миротворческих контингентов») или многонациональные силы под руководством американских командующих для выполнения политических задач после завершения боевых действий. Заметна и тенденция к «приватизации» военно-силовых полномочий государств[34]: стало рас-

пространяться (не афишируемое Вашингтоном) использование гражданских подрядчиков в целях обеспечения правопорядка в Ираке. Государство оказывается заинтересованным в снятии с себя части функций, связанных с использованием военной силы[35].

Возрастает интерес к использованию асимметричных способов ведения боевых действий, которые становятся новым путем достижения военно-политических целей. В данном случае асимметричные боевые действия — это использование одной из сторон неожиданной тактики, оружия с целью или нанести политическое поражение противнику, или уменьшить его превосходство вплоть до полной его нейтрализации. Призванные оказать воздействие на политические намерения противника, подобные действия могут компенсировать недостаток материальных, технологических и иных ресурсов.

Хорошо изученные стратегические концепции прежних эпох находят в современных условиях более ограниченное применение, чем прежде. Они не учитывают возникновение нового класса конфликтов — войн между государствами и транснациональными негосударственными субъектами (аморфными глобальными сетями, прямо не привязанными к системе межгосударственных отношений). Для конфликтов нового типа требуются типологически новые стратегии.

Растет значение фактора информационного превосходства как наиболее эффективного и перспективного средства достижения военно-политических целей. Роль этого инструмента может быть особенно значительной в ситуациях невозможности либо нецелесообразности использования традиционных вариантов военного вмешательства.

Становится технически возможным и экономически оправданным целенаправленное воздействие на процесс выработки потенциальным противником его ключевых военно-политических решений путем манипулирования информационными потоками, доступ к которым он стремится получить или, наоборот, в которые он может быть искусственно погружен помимо своей воли.

Происходит становление принципиально нового типа военных *«операций, ориентированных на результат»*, целью которых как раз и является давление на противника с целью побудить его изменить свою политику и поведение. Война перемещается (вернее — возвращается) из сферы собственно военного планирования в сферу политики. Заметен процесс (ре)интеграции военных инструментов во внешнеполитический арсенал ведущих государств и — что принципиально — негосударственных игроков международной политики.

Военные инструменты меняют свою природу в силу технологических новшеств и заимствования методов их применения из «невоенных»

сфер деятельности. Применение военных средств все тесней увязывается с использованием средств невоенных, среди которых главным становится политическое манипулирование с учетом всей мощи современных информационных технологий. Наконец, растет количество закрытых разработок всевозможных вариантов асимметричного, оригинального, непредсказуемого применения самых разнообразных сочетаний военных и невоенных способов борьбы.

Примечания

[1] *Zellen B.* Rethinking the Unthinkable: Nuclear Weapons and the War on Terror // Strategic Insights. 2004. Vol. III. Issue 1.

[2] *Donnelly T.* Underpinnings of the Bush Doctrine. National Security Outlooks. Washington: American Enterprise Institute for Public Policy Research. 2003. February.

[3] *Wirtz J. J., Russel J. A.* US Policy on Preventive War and Preemption // Nonproliferation Review. 2003. Spring. P. 113.

[4] Осмысление теоретических аспектов безопасности и войны в отечественной литературе последних пятнадцати лет тревожит и удручает. Публикации русских авторов в основном либо касаются исключительно конкретных вопросов (распространение ОМУ и соответствующих технологий), либо представляют собой «сиюминутные» комментарии для газет или интернет-изданий по вопросам военной политики США и российско-американских диалогов в связи с военно-политической проблематикой. Нового поколения фундаментальных монографических работ, в которых в сколько-нибудь цельном виде анализировались бы сдвиги в представлениях о международной безопасности и роли войны в ее обеспечении, в России сегодня просто не существует. В университетах студентов учат по выходившим еще в советские годы обобщающим книгам А. Г. Арбатова, А. А. Кокошина и немногих других авторов и монографиям иностранных ученых, прежде всего американских. Правда, нужно упомянуть сравнительно новую монографию А. А. Кокошина «Стратегическое управление» (М.: РОССПЭН, 2003), однако ее содержание лишь отчасти затрагивает тему настоящей статьи. Этот же автор в 2004 году опубликовал небольшую, но информативную работу «О политическом смысле победы в современной войне» (М.: УРСС, 2004). После длительного перерыва на русском языке вновь появились серьезные обобщающие статьи А. Г. Арбатова (Ядерное сдерживание и распространение: Диалектика «оружия судного дня» // Мировая экономика и международные отношения. 2005. № 1). Склонность к теоретическим обобщениям на тему международной безопасности заметна в публикациях А. В. Фененко (Проблематика ядерной стабильности в современной зарубежной политологии // Международные процессы. 2004. № 3). Некоторые частные аспекты теории безопасности затрагиваются в новой совместной монографии Института проблем международной безопасности РАН и журнала «Международные процессы» (Мировая политика: Теория, методология, прикладной анализ / Отв. ред. А. А. Кокошин, А. Д. Богатуров. М.: УРСС, 2005), а также в одной из наших работ (*Балуев Д. Г.* Личностная безопасность: Международно-политическое измерение. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2004).

[5] *Sicherman H.* Observations on the War // American Diplomacy. 2004. Vol. IX. No 1.

[6] См., например: *Kendall F.* Exploiting the Military Technical Revolution. A Concept for Joint Warfare // Strategic Review. 1992. Spring. P. 23–30; *Mazarr M.* The Revolution in Military Affairs: A Framework for Defense Planning // Strategic Studies Institute, US Army War College, Carlisle Barracks, Pennsylvania. 1994. June 10; *Krepinevich A.* Cavalry to Computer: The Pattern of Military Revolution // The National Interest. 1994. Fall. P. 30–42; *Libick M., Hazlett J.* The

Revolution in Military Affairs // Strategic Forum. No 11. Washington: Institute for National Strategic Studies, National Defense University, 1994; *Libicki M.* Information and Nuclear RMAs Compared // Strategic Forum. No 82. Washington: Institute for National Strategic Studies, National Defense University. 1996. June; *Libicki M.* Illuminating Tomorrow's War // McNair Paper 60. Washington, 1994; *Barnett J.* Future War: An Assessment of Aerospace Campaigns in 2010. Alabama: Air University Press, Maxwell AFB, 1996; *Gray C.* The Changing Nature of Warfare // Naval College Review. 1995. Vol. XLIX. No 2. P. 7–22.

[7] Past Revolutions Future Transformations: What Can the History of Revolutions in Military Affairs Tell Us About Transforming the U.S. Military? // MR-1029-DARPA, RAND, 1999. P. 8. Под «совместными операциями» в военных исследованиях, как правило, понимаются десантные, противодесантные, воздушные, противовоздушные, десантно-штурмовые операции и операции мобильных сил.

[8] *Tilford E.* The Revolution in Military Affairs: Prospects and Cautions // Strategic Studies Institute, US Army War College. 1995. June 23. P. 1.

[9] Past Revolutions Future Transformations. P. 10.

[10] Подробнее об исторической перспективе революций в военном деле см.: *Sloan E.* The Revolution in Military Affairs: Implications for Canada and NATO. McGill-Queen's University Press, 2002. P. 18–32.

[11] *Tilford E.* Op. cit. P. 2.

[12] *Metz S., Kievit J.* Strategy and the Revolution in Military Affairs: From Theory to Policy // Strategic Studies Institute, US Army War College. 1995. June 23. P. V.

[13] Nonlethal Weapons and Capabilities. Report of an Independent Task Force Sponsored by the Council on Foreign Relations. New York: Council on Foreign Relations, 2004.

[14] *Molander R., Riddile A., Wilson P.* Strategic Information Warfare // RAND, MR-661-OSD, 1996.

[15] Past Revolutions Future Transformations. P. 83.

[16] Наиболее показательным примером рассуждений на эту тему может служить ст.: *Браун С.* Сила в инструментарии современной дипломатии // Международные процессы. 2004. № 2.

[17] *Sloan E.* Op. cit. P. 19–20.

[18] *Mahnken T. G., FitzSimonds J. R.* Revolutionary Ambivalence: Understanding Officer Attitudes toward Transformation // International Security. 2003. Vol. 28. Issue 2.

[19] *Paarlberg R. L.* Knowledge as Power: Science, Military Dominance, and U.S. Security // International Security. 2004. Vol. 29. Issue 1.

[20] Jane's Sentinel Security Assessment — North America / Jane's Information Group, 2004.

[21] *Kralev N.* The Conduct of Diplomacy: Diplomacy Adapts to New Threats // American Diplomacy. 2004. Vol. IX. No 2.

[22] *Ho J.* The Advent of a New Way of War: Theory and Practice of Effects Based Operations Singapore // Institute of Defense and Strategic Studies. Working Paper. 2003. December. No 57. P. 2–3.

[23] Ibid. P. 6.

[24] Подробнее см. предисловие к: *Clausewitz K. von.* War, Power and Politics / Translated and edited with an introduction by Edward Collins. Chicago: Henry Regnery Company, 1968. На этот нюанс автору указал А. Д. Богатуров.

[25] *Meigs M. C.* Unorthodox Thoughts about Asymmetric Warfare. Parameters. 2003. Summer. P. 6.

[26] *O'Brien D. and Nusbaum S.* Intelligence Gathering on Asymmetric threats // Jane's Intelligence Review. 2000. October. P. 52.

[27] *Freedman L.* The Future of Military Strategy // Brassey's Defence Yearbook — 1996. Brassey's, 1996. P. 7.

[28] Под «жизненно важными интересами» мы понимаем совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства.

[29] *Nye J. S.* Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs, 2004.

[30] *Kalyanaraman S.* Conceptualization of Guerrilla Warfare // Strategic Analysis: A Monthly Journal of the IDSA. 2003. April-June. Vol. XXVII. No 2.

[31] *Worley R. D.* Waging Ancient War: Limits on Preemptive Force / US Army War College, Strategic Studies Institute, 2003. February. P. 1.

[32] *Donnelly T.* The Meaning of Operation Iraqi Freedom. National Security Outlooks. American Enterprise / Institute for Public Policy Research, 2003. June.

[33] Подробнее см.: *Byman D.* Constructing a Democratic Iraq: Challenges and Opportunities // International Security. 2003. Vol. 28. Issue 1.

[34] Подробнее см.: *Балуев Д. Г.* Приватизация военно-силовых функций государства: Каковы перспективы? // Мировая экономика и международные отношения. 2004. № 3. С. 64–70.

[35] *Косолапов Н. А.* Круговорот насилия в социальных структурах // Мировая экономика и международные отношения. 2004. № 3. С. 73.

Раздел II

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ВСЕМИРНЫЙ КРИЗИС

12. Кризисный цикл в мировой политике и геополитические интересы России

13. Анатомия глобального спада

14. Американские финансы и глобальный кризис

15. Стратегия нераспространения и международный бизнес

16. Политизация мировой энергетики

Глава 12

Кризисный цикл в мировой политике и геополитические интересы России

Финансовый кризис конца 2000-х годов не заслонил проблему более общую — кризис миросистемный. Политики, деловой мир и общественность были встревожены угрозой финансовых потерь. Но не менее опасной была и деградация международного порядка, сложившегося после распада СССР, так как вместе с ним стала подвергаться эрозии и модель партнерских отношений между Россией и Западом. Между тем эта модель представляла собой несомненную ценность, пусть даже условия российско-западных отношений в 1990-х и 2000-х годах были выработаны с явным преобладанием интересов США и ЕС.

Неопределенность ситуации была связана не только с циклом смены власти в США в 2008–2009 годах, но и с ситуацией в нашей стране. В России спокойно, но не просто, шел процесс перераспределения влияния, которое оказывали на внешнюю политику обе главные ветви исполнительной власти. При этом финансовый кризис, ударивший и по российской экономике, заставлял сомневаться в том, каким окажется *внешнеполитический* ресурс России — сколько сможет тратить российская дипломатия на реализацию своих задач. Активная внешняя политика, которой была привержена наша страна в середине 2000-х годов, была линией ресурсоемкой. Но нарастить ресурс политической конкурентоспособности России, хотя бы в поясе СНГ, без крупных инвестиций (программ экономической помощи сопредельным малым и средним странам) было невозможно.

Мировые геополитические сдвиги в 2000-х годах

К концу первого десятилетия нового века на геополитической карте Старого Света стали проступать новые рубежи. Этот процесс начался после распада СССР, высвободившего из-под контроля «естественные экономические и политические тяготения». Не сдерживаемые граница-

ми, они стали работать на формирование новых очертаний зон взаимного сближения и взаимного отталкивания государств. Из запертого внутри СССР закрытого региона Средней Азии и Казахстана стал формироваться регион Центральной Азии. Он не был ограничен территориями старых советских республик. Фактически в него входит Афганистан (как минимум, его таджикско-узбекские районы) и Синьцзян-Уйгурский район Китая (по крайней мере, его северо-западные части с преобладанием уйгуров и казахов). Исподволь и поперек официальных границ возобновился прерванный советизацией Средней Азии процесс формирования центральноазиатской подсистемы международных отношений. Он непосредственно затрагивает интересы Пакистана, Китая, Ирана, а косвенно — России, Индии и — самое непривычное — США. Западная наука с любопытством взирала на происходящее, запуская в обиход новое выражение «Большая Центральная Азия» — *Greater Central Asia*.

Сходным образом расползалась старая геополитическая карта Закавказья. На Азербайджан и Армению (несмотря на сопротивление последней) стратегическая обстановка вокруг Турции и Ирана начала влиять сильней, чем положение дел в России. По политическим соображениям в Ереване старались этот процесс замедлить, но не могли его остановить. Понятие «Средний Восток» (фактически — Иран и Афганистан), к которому привыкли в России, вообще перестало работать: шло формирование региона Большой Западной Азии (*Greater Western Asia*). В ее состав включились Иран, Азербайджан, Армения и Турция. К северу от этого региона зависла в неопределенности Грузия. Утратив Абхазию и Южную Осетию, она стала утрачивать и тяготение к северу и, значит, к России. Взамен усиливается тенденция к слиянию с Большой Западной Азией (БЗА).

Неясно с Ираком. Ряд авторов сегодня относят его к БЗА, другие — по-старому пользуются понятием «Ближний Восток» и относят Ирак к нему. Варианты возможны. Окажется Курдистан независимым (гарантий против этого нет) — ему прямая дорога в БЗА. Уцелеет Ирак как единая страна (шансы есть и для такого сценария) — может быть, останется по традиции в составе Ближнего Востока.

Дело не в словах. Слова важны лишь потому, что они отражают новую реальность. А она заключается в том, что рухнул принцип обеспечения международной безопасности на региональной основе.

Регионализм — дитя регионализации, понимаемой как тенденция к преодолению границ между странами, два десятилетия привлекал внимание экспертов своими достижениями в экономике и политике. Но одновременно он полностью подорвал основу региональной безопасности. Это еще одна структурная причина кризиса НАТО — главного военного союза XX века. Для того чтобы сохраниться сегодня, этот союз

должен приобрести трансрегиональные, фактически общемировые функции. Политическая воля к этому имеется в США. Но нет согласия на сей счет среди европейских стран, для которых союз НАТО когда-то и создавался и который они (похоже, ошибочно) считают «принадлежащим им по закону».

В начале 1990-х годов руководители НАТО смеялись, когда (тоже в шутку) российские эксперты спрашивали, согласится ли альянс гарантировать границу России с Китаем, если когда-нибудь она вступит в ряды НАТО. В середине 2000-х годов ни одна страна НАТО не удивляется, что у альянса фактически появилось «Центральноазиатское измерение» — как по-другому расценивать присутствие США, Германии, Турции, Британии в Афганистане?

Геополитически Россия больше не у «крайнего уступа» НАТО. Она не то «прикрывает» его, не то над ним «нависает» с севера — потому что зона ответственности НАТО фактически уже дошла до границ Китая и Пакистана, опоясав Россию с юго-востока.

Отчасти из-за этого во второй раз за двадцать лет стали меняться американские внешнеполитические приоритеты. После распада Советского Союза главное место в них занял Китай. Под знаком ожидания соперничества США и Китая в XXI веке прошли 1990-е годы. Но после сентябрьских событий 2001 года преобладание китайского аспекта американской внешней политики стало менее выраженным. Более рельефным стал «возвратный интерес» США к Ближнему Востоку (в старом понимании) и Центральной Азии, а западноевропейские страны и Россия стали почти на равных конкурировать друг с другом за третье и четвертое места в американской иерархии симпатий.

По-видимому, в долгосрочной перспективе угрозу ослабления энергетической базы американского хозяйства эксперты специального профиля в США оценили выше, чем потенциальный военно-силовой вызов со стороны Китая с учетом невысокой вероятности трансформации этого вызова в форму открытого противостояния Пекина и Вашингтона. Это полностью меняло потенциальную роль России в геополитическом раскладе в Старом Свете и побуждало заново переосмысливать известные сценарии ее внешнеполитического поведения.

Становление новых геоэкономических приоритетов России

Не отказываясь от надежд в будущем превратить Европейский Союз в глобального политического игрока, страны объединяющейся Европы концентрируют имеющиеся у них ресурсы прежде всего на экономиче-

ской интеграции и трудно дающемся реформировании общеевропейских политических институтов. Вынужденная концентрация Евросоюза на себе и своем ближайшем географическом окружении в начале этого века совпала по времени с поворотом США в 2000-х годах к расширению своих позиций в неевропейских регионах планеты. Беспрецедентный взлет интереса Вашингтона к нефтедобывающим (Ближний и Средний Восток, Каспийский регион) и наркопроизводящим (Афганистан) регионам Евразии в сочетании со стабильным повышением экономических ставок Китая и пытающейся спешить за ним Индией неизбежно принижали роль, которую Западная Европа играла в мире на протяжении всей второй половины прошлого века.

С точки зрения России, *относительная «маргинализация» «Единой Европы» в международной политике волей-неволей означала маргинализацию ориентации на нее* самой России. «Европейский замес» нашей культуры, мощные исторические тяготения к ней, «генетический код», в соответствии с которым воспроизводятся наши представления о стандарте «высокого» и «низкого», «передового» и «отсталого», «цивилизованного» и «нецивилизованного», наконец, в культурно-психологическом смысле «нашего» и «не нашего» — все это для большинства россиян — часть национального «я». Причем это та его часть, которую они любят, которой склонны гордиться и дорожить.

Таков наш «национально-культурный миф» — россияне часто досадуют на Европу, но любят «Европу в себе» и огорчаются оттого, что не ощущают «себя в Европе». На этих наших эмоциях давно играют братья и соседи: украинцы не преминут при случае намекнуть, мол, Украина-то — ближе к Европе. О прибалтийских соседях говорить еще менее приятно, их сладко-мстительная греза уже скоро век — «отделить» нас от Европы, сделавшись «европейской изгородью».

Вряд ли исторические мифы нужно в одночасье ломать. И вряд ли это легко сделать. Но оставаться в плену чисто европейской узости взгляда на мир —

> снова «просмотреть» и недооценить те преимущества, которые Россия сохранила за собой благодаря уникальным природным, историческим и геополитическим данностям ядерной нефтяной державы, способной оказывать влияния на ситуацию одновременно в Азии и Европе, а также на глобальном рынке энергоносителей.

Веками сердцем России считалась ее европейская часть. Земли к востоку от Урала, были русскими, но они и Россией-то не всем казались. Не на ровном месте в Сибири возникли (активно поощряемые западными коллегами) образы «сибирской независимости» и «страны

Сибири», а на Дальнем Востоке — частично реализованные при большевиках проекты «Дальневосточной Республики» (которые и сегодня многих мучат ностальгией на Западе).

Многие жители нашей страны и сегодня по привычке думают о своей стране как о «Европе», словно не понимая, что все богатство России сегодня (нефть, газ, лес, уран, золото и алмазы) сосредоточено в сибирско-дальневосточной части Федерации и это она уже приняла на себя роль нефтегазовой, а значит и *несущей финансовой конструкции* Российского государства. В Сибири наше уже не будущее, а настоящее. Геополитическое сердце России смещается на восток от Урала. Это ни хорошо, ни плохо — это просто экономическая и политическая данность, которую надо вовремя осмыслить и внести коррективы в приоритеты внешней и внутренней политики государства таким образом, чтобы сибирское и в целом восточное направления заняли в ней должное место.

На наших глазах, но словно почему-то незаметно *вдоль юго-восточных границ России сформировался новый единый геостратегический регион Центрально-Восточной Азии*, в военно-политическом отношении вобравший в себя огромный пласт территорий от Закаспия до Тихоокеанского побережья. Этот регион, говоря словами У. Черчилля, — «мягкое подбрюшье» российских нефтяных месторождений Восточной Сибири. Вот где может завязаться (но может и не завязаться) новый узел междержавной конкуренции России, Китая и Соединенных Штатов.

Вместо того чтобы тратить силы на уговаривание Украины отказаться от игры против Москвы, стоило бы сосредоточить внимание на укрепление ЕврАзЭс (Россия, Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Таджикистан). За почти двадцать лет даже ребенку стало ясно, что все эти годы Украина выступала, называя вещи своими именами, главным тараном *любой* интеграции в СНГ. Это не значит, что надо «ставить крест» на сотрудничестве с Киевом. Но трезво оценивая конъюнктурный характер «игр» украинских руководителей с Москвой, стоит прагматично противопоставлять им «особые отношения» России с Казахстаном, который фактически является главным потенциальным союзником России в Центрально-Восточной Азии (пусть не всегда сговорчивым). Прежде всего ввиду стратегической уязвимости новых перспективных веток трубопроводов для транспортировки газа и нефти из Восточной Сибири в направлении платежеспособных покупателей — Японии, Китая и Кореи.

Получив в 2001 году не без согласия Москвы военные базы в Узбекистане и Киргизии, США фактически «стали среднеазиатской державой». Это резко изменило ситуацию в регионе. Война «во имя демократии» в Ираке напугала местные страны, некоторые из которых были склонны идти на сближение с Вашингтоном в ущерб отношениям с

Россией. Скрывая раздражение, встревожен происходящим и Китай. Российская элита расколота: часть ее требует «жестких ответных мер» в связи с американским военным присутствием в Центральной Азии, другая — пытается его «игнорировать», обрекая дипломатию на бездействие. Между тем, для избежания «кризиса понимания» между Россией, США и Китаем в Центрально-Восточной Азии, требовалось, как минимум, начать диалог Вашингтона с Москвой и Пекином по вопросам региональной безопасности. Его смысл — выяснить перспективы американской политики в регионе с целью избежания случайной конфронтации, риск которой повышает ориентация американских администраций на действия, недооценивающие интересы безопасности других стран.

Признаки деградации системы партнерства России с Западом

В политико-психологическом смысле финансовый кризис конца 2000-х годов сработал на формирование атмосферы чрезвычайности. Страны и правительства находили извинительным поступать необычно, решительно и даже резко: все больше думали о собственном спасении, чем об учете чьих-то интересов. Правда, в конце 2008 года в рамках «группы двадцати» ведущие государства смогли хотя бы в принципе договориться о координации антикризисных мер и обуздании финансово-экономической разрухи. Но несмотря на это, каждый исподволь ожидал ослабления другого, уповая на то, что в результате действия объективных причин это ослабление может случиться с соперником. Волновал вопрос: с каким потенциалом каждая страна выйдет из кризиса? От этого зависел мировой расклад. О нем размышляли в Москве, Вашингтоне, Пекине и Брюсселе.

От финансовой ситуации было невозможно отделить перепады цен на нефть, в целом резко упавших. Избаловавшись благоприятно высокой конъюнктурой, государства—экспортеры энергоносителей, включая Россию, оказались перед лицом тяжелых испытаний. Было не ясно, выдержат или не выдержат их экономические системы проверку дешевизной сырья. Долгие годы обсуждений вопроса о создании в России кризисоустойчивой модели роста, которая могла бы ослабить привязку нашей страны к экспорту нефти, дали мало результатов. «Великая нефтяная держава» оставалась хрупкой и экономически узявимой.

Международную обстановку осложнял фактор малых стран. Никогда с боснийской провокации 1914 года от них не было столько вреда, сколько во второй половине 2000-х годов. Возник целый слой, если не класс, «государств-провокаторов», стремящихся стравить между собой более

сильные страны и нажиться на их противоречиях. Американская дипломатия два десятилетия холила поросль таких умельцев. Стратегия инкубации управляемой нестабильности в Евразии была главным теоретическим наследием дипломатии американских республиканцев. Эстония, Грузия, Латвия, Литва, Польша и Украина были странами, для которых игра против России становилась важным инструментом решения внешнеполитических задач.

Еще одной чертой ситуации была «революция ценностей». В 1986–1987 годах советский лидер М. С. Горбачев сумел сказать, что все жители Земли имеют общий интерес — выживание, избежание общей войны. Это было поразительное и грандиозное психологическое открытие, благодаря которому ход истории на самом деле изменился, а ядерная война между СССР и США не состоялась. В этом уникальность заслуги первого советского президента.

Последующие двадцать лет на Западе не уставали укорять Россию в медлительности в усвоении ценностей свободы, демократии и прав человека. Россияне в самом деле с трудом переориентировали себя. Но все же неотъемлемость свободы, демократии и индивидуальных прав прочно вошла в сознание большинства представителей молодого поколения наших сограждан. Более того, действующие руководители страны стали воспринимать эти ценности серьезно, даже отказываясь соглашаться с их интерпретациями в американском и «евросоюзовском» исполнении. «Суверенная демократия» — это вряд ли демократия либерального типа, но это, несомненно, демократия — хотя и с выраженной российской спецификой.

Но это, может быть, не было самым главным. Если не будет мира, то может оказаться, некому будет строить демократию. А после «пятидневки конфронтации» России и США из-за августовских событий 2008 года в связи с нападением грузинских войск на Южную Осетию, похоже, мир оказался гарантированным менее надежно, чем он был гарантирован при М. С. Горбачеве.

За два десятилетия похода за «освоение-усвоение» либерально-демократических ценностей значительная часть жителей Земли перестала по-настоящему дорожить миром и стала считать его фундаментальной и универсальной ценностью бытия. Люди во многих (преимущественно более богатых) странах ошибочно решили, что мир — неотчуждаемая данность. В атмосфере такого «самоубийственного бесстрашия» администрации Дж. Буша и пришла в голову по сути антиамериканская идея уравнять ценность стратегических отношений США с Россией и Грузией.

Революция ценностей и упоенность демократией «во что бы то ни стало» вылились в фетишизацию демократизации и оправдание прак-

тики использования демократических лозунгов для обоснования силового вмешательства США в любой точке мира. *Идея демократии была подменена идеей демократической войны и произвола во имя демократии.* Последняя потеснила идею мира, победа которой на рубеже 1980-х и 1990-х годов в сущности и позволила демократической идее победить, казалось бы, в планетарном масштабе. Последовал реванш силы. Мир на основе равновесия и взаимного учета интересов стал в начале 2000-х годов рисоваться ненужным анахронизмом.

Деградация ценности мира была очевидна со времени нападения стран НАТО на Югославию в конце 1990-х годов на фоне событий сначала в Боснии, а затем в Косове. В России в те годы возникли серьезные опасения по поводу последствий нарастания воинственности Запада для дела международной стабильности и безопасности Российской Федерации. Отказ Москвы от обязательства «не применять ядерное оружие в качестве оружия первого удара», зафиксированный в Военной доктрине 2000 года, был сигналом недоверия России к стабильности ее международного окружения и роста подозрений в отношении военно-политических планов западных стран.

События в сентябре 2001 года, военная акция США против талибов в Афганистане и спазматическое военно-политическое сближение России и США на почве совместного противодействия международному терроризму нейтрализовали на время тенденцию к отчуждению между Москвой и Вашингтоном. Новый импульс к сотрудничеству был настолько мощным, что Россия удержалась от критики в адрес США во время нападения Соединенных Штатов и Британии на Ирак в марте 2003 года, хотя американские союзники по НАТО в лице Франции и Германии осудили действия Вашингтона.

За неполные восемь лет (с начатой в 1995 году войны из-за Боснии до войны в Ираке) по инициативе США было начато четыре крупных вооруженных конфликта — в среднем по одному каждые два года. Два из них (в Афганистане и Ираке) продолжаются более пяти лет. Тенденция к произвольному применению силы в международной политике не ослабевала. Война становилась не чрезвычайным событием, а «обычным» инструментом регулирования международной политики не только для великих держав, но и для малых и средних стран. Первые развязывали войны, вторые — успешно учились управлять воинственностью первых.

Великие державы не только «развращали» своим примером малые страны, но и сами «сползали» — не вполне это осознавая — к пройденным, казалось бы, уровням взаимоотношений. Молодые политики в Америке и России не знают страха перед войной в той мере, которая была характерна для Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Н. С. Хрущева и Л. И. Брež-

нева. «Понятийный кризис» мог оказаться страшней финансового. В известном смысле российско-западные отношения вообще и российско-американские в частности «упали» ниже того уровня, на котором они были в годы «нового политического мышления» при всех слабостях этой концепции и противоречивости результатов ее воплощения на практике. Понятия демократии или ее отсутствия в условиях ядерной войны теряют смысл. Ситуация во время грузинских событий вернула к этой истине.

В 1960-х годах американские теоретики К. Уольтц, с одной стороны, и К. Дойч с Д. Сингером — с другой, полемизировали по поводу того, какой мир стабильней и безопасней — биполярный или многополярный[1]. К. Уольтц, казалось бы, выиграл спор. На его стороне оказался исторический опыт: как он и прогнозировал, в биполярном мире не произошло ядерной войны. Но в мире, который анализировал американский классик, властвовали СССР и США, руководители которых, по предположению К. Уольтца, мыслили и действовали в целом рационально: они боялись войны и избегали ее, даже когда внешне вели себя воинственно. После Карибского кризиса 1962 года были веские основания полагать именно это. Поведение американской дипломатии, которая не отмежевалась от военной авантюры Грузии в Южной Осетии в дни «пятидневной войны» в августе 2008 года, заставляло думать об эрозии такой рациональности.

Аналитики невольно задавались вопросом о том, стабильным или нестабильным следует считать мир, в котором новые войны начинаются каждые два года. Не было ясности и в том, рациональность или идеология в большей степени питала стремление США добиться военно-стратегической неуязвимости. Ясно было, однако, что все годы после распада СССР руководители США не видели перед собой ни одного «достойного противника» (терроризм не ставил под угрозу существование США) и привыкли к безнаказанности.

В такой атмосфере складывалась «плюралистическая однополярность». США заняли в мире положение первой державы, но они действовали, по терминологии американского историка Дж. Айкенберри, «конституционно»[2], в духе плюрализма, демонстративно советуясь с союзниками и даже с Россией по наиболее важным вопросам международной жизни, даже если не имели намерения всерьез учитывать возражения партнеров.

США отстроили новую структуру мировой политики «под себя». Она давала Соединенным Штатам огромные преимущества, но она же подразумевала своего рода моральное обязательство Вашингтона реализовывать свое лидерство по принципу «управлять с согласия управляемых». После прихода к власти республиканцев в начале 2000-х годов США сами начали демонтировать такой механизм мирового регулиро-

вания, отказавшись от мысли согласовывать свои действия с международным сообществом — хотя бы в лице своих партнеров.

Вехами саморазрушения «плюралистической однополярности» были прежде всего война в Ираке (2003), угрозы (тоже вопреки мнениям стран ЕС и Японии) применить силу против Северной Кореи и Ирана и, наконец, поддержка авантюры Грузии в Южной Осетии в августе 2008 года. Эрозия международного порядка выразилась в кризисе многосторонности, отказе Вашингтона от учета интереса других держав. В результате Россия с осени 2008 года фактически перешла из позиции конструктивной оппозиции по отношению к США в мировой системе на платформу противодействия американской политике. Российские руководители с нажимом стали говорить о формировании глобальной многополярности[3]. После смены власти в США в январе 2009 года и возобновления российско-американского диалога на высшем уровне весной—летом 2009 года отчужденность между Москвой и Вашингтоном перестала возрастать, но взаимная настороженность не ослабевала. Между тем менялась конфигурация интересов России, Евросоюза и США во всей Евразии.

Геополитический аспект российско-американских противоречий

С точки зрения теории стабильности, недостаток многополярности состоит в том, что ей присуща высокая степень автономии действий отдельных стран и связанная с этим анархия, хаотичность и непредсказуемость их поведения. Странам тяжелее договариваться, и их крайне сложно заставить действовать согласованно.

Теоретически вероятность войн в таком мире должна быть выше, чем в любом ином. Но практика 2000-х годов показывает, что в однополярном мире войны происходят даже чаще, чем они случались в годы многополярности — между мировыми войнами или на протяжении большей части XIX века после окончания в 1815 году эпохи наполеоновских завоеваний. Похоже, однополярность, скорее, генерирует нестабильность, чем ее ограничивает. Во всяком случае в рамках современной реальной однополярности не действует принцип «гегемонической стабильности» Гилпина—Кохейна[4], теоретически предписывающий нарастание упорядоченности мировой системы в случае появления в ней единственной державы-гегемона.

Хуже того: исходя из реальности придется признать, что — вопреки классическим представлениям — в условиях гегемонической стабильности источником нестабильности может быть сам гегемон — причем не его относительная слабость, как полагали пробовавшие рассуждать

на эту тему П. Кеннеди и Т. Волджи[5], а его превосходство, стремление к упрочению которого дестабилизирует мировую систему.

Возможно и иное объяснение. Допустимо предположить, что на самом деле международная структура после 1991 года не была однополярной, а представляла собой (и сегодня представляет) гибрид однополярности и многополярности с тенденцией перерастания первой во вторую. Но убедительней, кажется, другое. Однополярный мир существовал около 10 лет — с подписания в июне 1992 года в Вашингтоне Хартии российско-американского партнерства и дружбы и провозглашения в сентябре 1993 года в США концепции «расширения демократии» до начала войны в Ираке в 2003 году. В таком случае «переход» от биполярности к однополярности занял всего около года — с первой (еще неудачной) попытки отстранить от власти М. С. Горбачева в августе 1991 года до визита Б. Н. Ельцина в США в июне 1992 года в качестве полноправного президента России.

После этого Соединенные Штаты стали распространять влияние на все теоретически «нейтральные» пояса мира, страны которых или сами были склонны пойти под американское покровительство (Восточная и Центральная Европа), или не имели возможности противостоять давлению США с целью включить их туда (государства Арабского Востока). С 2005 года массированная политическая экспансия США достигла зоны жизненно важных интересов России в странах СНГ.

События вокруг Южной Осетии в 2008 году знаменовали рубеж перерастания американской экспансии в квазисиловую форму. Впервые после распада СССР Вашингтон применил тактику использования ресурса третьих стран для дестабилизации российских границ.

Ситуация усугубляется общемировым геоэкономическим и геополитическим сдвигом — смещением фокуса международной конкуренции с пространства Западной Европы, Балкан и Ближнего Востока на регион Центрально-Восточной Азии, сферу соприкосновения военных и экономических интересов России, Китая, Пакистана, Индии и Ирана. Соединенные Штаты строят собственную инфраструктуру политических отношений с государствами региона, пытаясь замкнуть двусторонние связи с отдельными игроками на многосторонний формат. По сути это означает, что наряду с существующей структурой многосторонних отношений с участием России в рамках ШОС, ОДКБ и ЕврАзЭс в этой части мира возникает система многосторонних контактов, замкнутая на США, но без российского участия.

Формально и в ближайшей перспективе Вашингтон озабочен в основном обеспечением поддержки со стороны местных стран своих военных операций в Афганистане. Фактически и в долгосрочном плане

речь идет о системе партнерских отношений Вашингтона с малыми и средними государствами. Американская дипломатия пытается переориентировать устремления этих стран с севера — на юг, с сотрудничества с Россией — на сотрудничество с южными соседями, но не со всеми, а только с теми, которые доказали свою приверженность союзу с Соединенными Штатами. На реализацию этой задачи США тратят значительные средства, благодаря которым программы сотрудничества малых и средних стран с Вашингтоном оказываются для них бесплатными или малозатратными и в этом смысле — весьма привлекательными.

Российская дипломатия, в отличие от американской или «евросоюзовской», не имеет возможности предоставлять малым странам региона крупных экономических льгот. В итоге она проигрывает конкуренцию ЕС и США и не может затормозить процесс укрепления позиций западных стран в регионе. Если в ближайшие годы Россия не сможет мобилизовать дополнительные ресурсы на ускорение сотрудничества в ЕврАзЭс и ОДКБ, то вероятность центробежных тенденций в ее отношениях с малыми странами заметно повысится. Последние неизбежно вступят на «путь АСЕАН», то есть изберут линию откровенного лавирования между Россией, Китаем, США и ЕС с преимущественным вниманием к более выгодным в экономическом отношении партнерам.

В основе активизации усилий Запада по закреплению в Центральной Азии — экономическая прагматика, связанная либо непосредственно с освоением энергоресурсов Казахстана, Туркмении, а в перспективе — Узбекистана и некоторых других стран, либо с транспортировкой этих ресурсов к местам потребления или морским портам для последующего экспорта в западные страны.

Речь идет о создании системы добычи и вывоза сырья без участия России, которая в этом смысле является главным конкурентом ЕС и США. Разрушение полумонополии России на роль главного действующего лица центрально-азиатской системы энергоснабжения — неотступная цель ЕС и США. Надо сказать, что КНР, при всей обостренности конкурентных чувств Китая в отношении Евросоюза и Соединенных Штатов, действует в регионе курсом, параллельным им. Пекин тяготит преобладающая энергополитическая роль России в регионе. Ее уменьшение выгодно Китаю, если ослабление позиций России будет идти параллельно с усилением позиций самого Китая, а не его американских и «евросоюзовских» конкурентов.

Не впадая в «бред преследования», стоит все же отметить возникновение контура двойной геоэкономической конкуренции вокруг ресурсов «российских северов». В самом деле, с юга очевидно нарастание «запроса» на сибирские энергоносители со стороны Китая и Японии.

Давление нарастает и с севера — США, Канада, Норвегия. Другие державы тоже начинают полускрытый спор с Россией и конкуренцию с ней за преимущественные права в возможном освоении ресурсов Арктики — включая ту ее часть, которая в отечественной науке и политике считается находящейся в границах полярных владений России.

Российский «хартленд» сместился к Сибири и Арктике — это геополитическая и геоэкономическая данность. Ее осознание пришло в российскую элиту только при президентстве В. В. Путина. Но ни при нем, ни при новом президенте Д. А. Медведеве заметной переориентации приоритетов национального развития в соответствующем ключе не произошло.

Пределы и параметры сотрудничества США с Россией

Тревожная черта современности — невосприимчивость американской элиты к критике извне, неспособность американцев к самоограничению военно-политических амбиций. В августе 2008 года командование НАТО и российские военные впервые за 20 лет имели основания в практической плоскости рассматривать друг друга как потенциальных противников. Это был откат назад, связанный с региональными последствиями глобальной политики абсолютного военного превосходства США, которую с момента прихода к власти стала проводить администрация Дж. Буша-младшего.

С точки зрения возможностей для модификации линии международного поведения США, администрация Демократической партии скована рядом устойчивых черт, которые приобрела американская внешняя политика за годы правления республиканцев. «Бушевцы» придали ей черты воинственности, непримиримости, бесцеремонности, вернувшись к образцам «политики большой дубинки», с той лишь разницей, что стали применять ее не к малым странам Центральной Америки, а ко многим странам мира.

На уровне идеологии американская элита поменяла концепцию лидерства, с которой она выступала после 1945 года. В основе этой концепции была логика «управления с согласия управляемых». Следуя ей, например, администрации У. Клинтона в 1990-х годах терпеливо убеждали президента Б. Н. Ельцина в неизбежности изменений, которые США с опорой на НАТО проводили в мировом порядке и — что важно — в безопасности этих изменений для России. В Москве американским увещеваниям верили только отчасти, но вынужденно соглашались с тем, что, скажем, расширение НАТО не угрожало интересам России в

ближайшей перспективе, а запас геополитической и собственно военно-оборонительной прочности потенциала страны достаточен, чтобы компенсировать те преимущества, которые приобретали для себя Соединенные Штаты в ходе мирового переустройства.

При республиканцах американцы стали тяготиться церемониями. И К. Пауэлл, и К. Райс были больше политиками, чем дипломатами, «людьми действия», а не переговорщиками. «Микроидеология» команды Дж. Буша их к этому побуждала: принцип «разрешительности», «свободы рук» (*laissez-faire*) республиканцы возвели в абсолют, придав ему собственную интерпретацию.

В классических трактовках этот принцип означал свободу действий суверенов во внутренней политике и самоограничение во внешней. Страна была вольна у себя внутри делать все что угодно, за вычетом того, что явно угрожало безопасности других стран. При Дж. Буше-младшем сомнению был подвергнут сам суверенитет всех стран, за исключением США. Американцы присвоили себе право судить о внутренней политике иностранных государств. Но не это было самым опасным. США при республиканцах присвоили себе право нападать на страны, внутренняя политика которых им не нравилась, а внешняя казалась антиамериканской.

В 2000-х годах в отношении недавних партнеров, вроде России или Китая, США также стали избирательно применять термин «партнерство». Идею мирового лидерства республиканцы облекли в форму абсолютного, даже «абсолютистского», лидерства на основе национального интереса и односторонних решений. «Авторитарность во имя всемирного торжества демократии» — примерно таков смысл идеологического переворота, произведенного республиканцами.

На уровне региональной политики США произошел окончательный сдвиг от европейского приоритета и военного присутствия в Западной Европе как основного рычага обеспечения интересов США в Западной Евразии. Территория стран «материкового ядра» Евросоюза стала казаться для Вашингтона менее надежной, а главное — менее необходимой опорой для проецирования американской военной мощи в Евразии. «Старая Европа» оказалась в тылу американских долгосрочных интересов, которые сместились на восток — к месторождениям восточного побережья Каспия и Кавказу как потенциальной транзитной зоне их доставки в западном направлении.

В 2007 году американское руководство приняло «двуединое» решение в сфере энергетической безопасности. С одной стороны, провести в стране долговременные реформы с целью уменьшения зависимости от потребления углеводородов вообще и их импорта с Ближнего и Среднего Востока в частности. С другой — приобрести доступ к новым ис-

точникам поставок энергоносителей до тех пор, пока США не почувствуют себя готовыми к свертыванию потребления традиционного энергетического сырья вообще[6]. Каспийский бассейн оказался потенциально новым источником такого рода.

Соответственно, для США важнее оказались не «тыловые» Франция, Германия, Бенилюкс и Италия, а «пограничные» Польша, государства Прибалтики и те потенциальные участники НАТО, которые в ближайшие годы американская дипломатия намерена продолжить отрывать от СНГ и — в более широком смысле — от влияния России. В таком раскладе «старая Европа» для администрации Дж. Буша была «нетто-пассивом». От нее не ждали и не очень хотели ждать поддержки и помощи. Главное, чтобы Париж, Берлин и Рим не мешали американской дипломатии в осуществлении ее планов, для которых у США имелось достаточно ресурсов самостоятельного действия. В этом смысле «старой Европе» в американской стратегии отводилась роль, кое в чем схожая с Россией.

Другое дело — Европа «новая». Небольшие, ни в каком смысле не насытившиеся, слабые и полностью зависящие от иностранной поддержки, эти государства безропотно ориентировались и переориентировались в международных делах на того, кто помогал им больше. В военно-политической сфере вопрос «кто именно?» не возникал. Никакое сотрудничество в рамках ЕС не могло и не может сравниться с тем мощным потоком помощи, который течет в «страны-новобранцы» НАТО из США. Соответственно, в рамках Евросоюза центростремительным импульсам из Брюсселя весьма сложно перебороть те центробежные тенденции, которые объективно стимулируют США своей прямой помощью проамериканским правительствам стран Восточной и Центральной Европы «в пику» Европе Западной.

«Новобранцы» ЕС и НАТО оказались «снова в цене». Их земли — платформа для броска к Каспию, а потом — к Китаю. Россия в этом раскладе занимает непривычное для нее промежуточное место: США хотят или «перешагнуть» через нее, или «обтечь» российские земли с юго-запада (со стороны Украины) и юга (государства Закавказья).

Может быть, американские ракеты и не были перенацелены снова на Россию. Не похоже, чтобы США стремились к прямому военному столкновению с ней. Проблема была в другом. Вашингтон хотел от России такой же пассивности, как и от «старой Европы». Пусть Москва не хотела помогать Соединенным Штатам приобретать новые геополитические преимущества в Черноморско-Каспийском поясе. В Америке это могли понять. Американцам было бы достаточно и того, чтобы Россия не мешала им. Но именно на это Москва и не соглашалась, это было уже слишком опасно.

Прямое назначение американской системы ПРО в Восточной Европе, возможно, мешать Ирану. Но ее побочное предназначение — ограничить возможности России оказывать военно-политическое воздействие со стороны «тыла», которым может оказаться Россия для США в случае закрепления Соединенных Штатов на Каспии, в Закавказье и Центральной Азии.

Европейская Россия перестает быть для США первоочередным приоритетом. Американские интересы в самом деле смещаются к югу и юго-востоку от Москвы, Нижнего Новгорода, Волгограда и Астрахани. Способность России ограничивать или облегчать доступ Запада к каспийским энергоресурсам — решающий фактор формирования политики США в отношении Москвы. Ключевой мотив Запада в этом — играть на уменьшение роли России.

В этом ЕС и США едины, расходясь в тактике реализации задачи.

Может быть, это не новое издание сдерживания. Но это очень похоже на «принуждение к партнерству» — идею, аналогичную идее «принуждения к миру» и ей родственную. В этом смысле существует неформальная «американо-еэсовская» политическая коалиция, которая при Б. Обаме может перерасти и в дипломатическую. Этот вектор американской политики уже кристаллизовался, если не вполне затвердел, и убедить США выйти за его пределы сложно — так же как самой России будет сложно смириться с тем, что США и Запад не считаются с ее интересами на ее собственных государственных рубежах.

Компромисс с США в таких условиях возможен на основе отказа либо Вашингтона от планов «освоения» зоны пограничных с Россией малых и средних государств, либо самой России — от попыток сохранить особые отношения с этими государствами и соответствующие обоюдные привилегии для себя и самих этих государств.

Россия при этом считает себя вправе возмутиться и начать противодействовать экспансии США. Соединенные Штаты, пользуясь правом более сильного, полагают естественным регулировать свою экспансию по своему усмотрению. В таком контексте всплеск противостояния из-за Грузии в августе 2008 года — не случайность, а результат встречной эскалации противоречий, которые нарастали с момента первого расширения НАТО — к войнам НАТО против Югославии, а затем — к «цветным революциям» в СНГ и «грузинской авантюре».

Китай в такой ситуации предстает в выигрышной позиции. Китайские руководители продолжают подчеркивать свои разногласия с Вашингтоном, прежде всего по вопросу о Тайване и в целом по международной политике, в которой американская администрация считается с

Пекином так же мало, как с Россией или ЕС. Но при этом между КНР и США довольно быстро складывается позитивная экономическая взаимозависимость, которая никак не формируется между США и Россией.

От Москвы в Вашингтоне, образно говоря, хотят одного: чтобы она перестала влиять на мировую политику. США не хотят экономической (энергетической) войны с Россией, но они не заинтересованы и в экономическом сотрудничестве с ней.

Международное влияние КНР вызывает в Вашингтоне тревогу и раздражение. Но в Америке хотят экономического партнерства с Китаем — дешевых и качественных китайских товаров, китайских заказов на закупки в США дорогостоящего промышленного оборудования, льгот для американских инвестиций в КНР. Бум критических публикаций о Китае, характерный для прошлого десятилетия, в США закончился. Американцы стали писать о КНР прагматичней. Китай не кажется другом США, но снова стал казаться американцам менее вероятным препятствием для экспансии США в Евразии, чем Россия. Нарастание российско-американских противоречий и вероятность их перерастания в традиционное противостояние выгодно Китаю.

Для внешней политики Б. Обамы возможны как минимум два пути: «авторитарный» — через сохранение примата силовых действий и односторонности или «конституционно-монархический» — через возвращение к тактике согласованных акций с Евросоюзом на базе возобновления теоретических построений в духе «мирового демократического общества» и примата «силы на базе права».

Вероятнее, что демократическая администрация попробует идти вторым путем, тем более что следование им будет предполагать не столько отказ Б. Обамы от постулатов Дж. Буша, сколько приращение усилий с целью убедить «старую Европу» в готовности Вашингтона учитывать ее интересы и не спекулировать на разногласиях между востоком и западом Евросоюза.

Демократы порицали республиканцев за нежелание уважать мнение Франции и Германии. Считалось, что «бушисты» грубо и без необходимости злоупотребляли игрой на внутренних противоречиях в Евросоюзе между его старыми и новыми членами. Б. Обама находится в удобном положении, чтобы выказать подчеркнутое уважение Парижу и Берлину и вернуть потерянную в 2003 году степень доверия между США и западноевропейскими материковыми странами. Такой маневр, походя, позволил бы Б. Обаме деликатно оттеснить Францию от роли полугласного посредника в отношениях между Россией и Западом, которую та сохраняет и хочет, кажется, сохранять с момента «грузинского инцидента».

Вероятно, Б. Обаме придется думать над прекращением региональных войн. Если он преуспеет, то окажется, что впервые в Новейшей истории из военной авантюры Соединенные Штаты вывели демократы. До сих пор демократическая партия втягивала страну в войны, а прекращали их республиканцы. Теперь партии поменялись ролями.

Американских солдат придется выводить из Ирака и Афганистана, даже если не будет стопроцентных гарантий того, что в обеих странах после ухода американцев сохранятся проамериканские режимы. Но какие-то гарантии, пусть ненадежные, придется вырабатывать — если, конечно, скажем, в Афганистане вместо затухания, не начнется эскалация конфликта. Строго говоря, если выбирать между ненадежными гарантиями и перспективой разрастания войны, американцам разумней выбрать гарантии. Впрочем, для России и ее центрально-азиатских союзников могло быть выгодным обратное.

Скорее всего, идеологизация внешней политики США сохранится и при новом президенте. Она, впрочем, началась еще при У. Клинтоне. Республиканцы лишь довели ее до крайности, придав более выраженное военное измерение. Поэтому, вероятно, преследование «политических иноверцев» за пределами своей страны американцы не прекратят и при Б. Обаме. Стало быть, не переведутся желающие стать или прослыть политическими единоверцами демократов в Старом Свете — Восточной Европе и поясе стран СНГ.

Другое дело, что демократы-«обамовцы» погружены в аферы нефтяного бизнеса меньше, чем республиканцы-«бушисты». Возможно, и в СНГ они смогут умерить страсти по форсированному и «почти любой ценой» включению Каспия и черноморско-каспийских стран в сферу военно-политической ответственности США и НАТО.

Между тем США — против больших стран вообще и против сильной России в частности. Американцам легче иметь дело с малыми и средними государствами. Вот почему антироссийские интенции США более фундаментальны, чем хотелось бы думать. Вопрос о мере взаимного отчуждения между Россией и США перестал быть праздным.

В мышлении российской и американской элит исчезает психологический барьер против войны. В прошлом веке он определялся страхом перед взаимно гарантированным уничтожением и культурой «ядерного табу». Сегодня эта культура находится в стадии исчезновения. Стабилизирующая роль страха уменьшается, а стабилизирующая роль общих интересов так о себе и не заявила. Попытки США вернуться к ситуации военно-стратегической неуязвимости, которая существовала для Соединенных Штатов до 1957 года — времени создания межконтинентальной

ных баллистических ракет в СССР, воспринимаются в России как угроза ее национальной безопасности.

Подобно французским стратегам 1960–1970-х годов, российские военные вынуждены думать в духе генерала Ш. де Голля: России не надо воевать на уничтожение с США, но ей надо иметь потенциал нанесения неприемлемого ущерба Соединенным Штатам при помощи ответного удара в случае, если конфликт с этой страной все-таки окажется неизбежным. В такой ситуации разговоры о совместной борьбе с терроризмом или сотрудничестве в упрочении нераспространения ОМУ перестают быть первостепенными.

Повестка дня улучшения отношений с Западом видится более архаичной. От лозунгов партнерства важно вернуться к идеям мирного сосуществования. Актуально подписание «Хельсинки-2» — юридически обязывающего договора об основах отношений между европейскими странами, в основу которого легли бы принципы Заключительного акта СБСЕ 1975 года с поправками на те изменения, которые произошли в европейских реалиях.

Необходимо вернуться к практике регулярного проведения консультаций между Россией и США (а возможно, и между Россией и наиболее авторитетными странами зарубежной Европы) по вопросам ситуаций в третьих странах — крупных, малых и средних. В первую очередь речь идет о необходимости воссоздать механизмы, которые позволяли бы наиболее сильным державам проводить между собой срочные консультации в случаях возникновения угрозы конфликтов с участием третьих стран в той или иной части мира. Опыт таких соглашений в начале 1970-х годов имелся, но он был раньше времени забыт.

«Революция в военном деле» не отменила угрозу столкновения между наиболее крупными державами и не «упразднила» ядерную войну. Представление о неприемлемости атомного конфликта как инструмента решения международных споров было в огромной степени феноменом культуры и политической психологии прошлого века. Эрозия этой культуры возвращает мир к необходимости теоретического анализа вероятности войн между большими державами, в том числе применительно к отношениям в «пятиугольнике» между США, Россией, Китаем, Индией и Пакистаном.

Главная проблема российско-американских отношений — отсутствие сотрудничества в решении конкретных вопросов. США хотят от России бездействия, а она этого бездействия не желает и не может себе позволить, глядя на то, что происходит в приближенных к ней странах. Из Москвы кажется, что США приступили к разрушению сферы жизненно важных интересов России на ее границах.

Примечания

[1] См. подробнее: *Богатуров А. Д.* Динамическая стабильность в международной политике // Очерки теории и прикладного анализа международных отношений. М.: НОФМО, 2002. С. 161–164. Книга доступна на сайте НОФМО. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.obraforum.ru.

[2] *Богатуров А.* «Конституционный кризис» в мировой политике // Космополис. 2003. № 2; *Ikenberry G. J.* After Victory. Institutions, Strategic Restraints, and the Rebuilding of Order After Major Wars. Princeton: Princeton University Press, 2001.

[3] Интеллектуальной реакцией на двусмысленность ситуации стала формула многополярности, предложенная в 2008 году академиком Е. Примаковым: «Современный мир является многополярным, но США занимают в нем особое место».

[4] Теория «гегемонической стабильности» была сформулирована американскими учеными Робертом Гилпиным и Робертом Кохейном в 1980-х годах — сначала применительно к сфере мировой экономики. Позднее ее постулаты стали прилагаться к международным отношениям в целом. На русском языке разбор их построений дан в упоминавшейся выше работе А. Д. Богатурова «Динамическая стабильность в международной политике». Там же приведена библиография публикаций обоих американских ученых.

[5] *Kennedy P.* The Rise and Fall of the Great Powers. Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. New York: Random House, 1987; *Volgy Th. J., Bailin A.* International Politics and State Strength. Boulder: Lynne Rienner, 2003.

[6] President George W. Bush. State of the Union 2007. Washington, D.C. 2007. January 23. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.whitehouse.gov/news/releases/ 2007/ 01/20070123-2.html.

Глава 13

Анатомия глобального спада

В конце прошлого столетия и вплоть до конца 2007 года в мировой экономике наблюдался подъем. Однако затем его интенсивность резко снизилась. В огромной мере падение темпов роста было вызвано системным финансовым кризисом, развернувшимся вначале в США, а затем перекинувшимся на весь мир. К концу 2008 года он стал перерастать в глобальный экономический кризис, который по своим масштабам является самым глубоким со времен Великой депрессии начала 30-х годов XX века. Высокая динамика подъема до кризиса и сопутствовавшая ей эйфория усугубили остроту восприятия падения производства. И хотя в середине 2009 года наметились некоторые признаки восстановления мировой экономики, ее состояние осталось тяжелым.

Парадокс состоял в том, что падение производства было вызвано теми же причинами, что и предшествовавший ему динамичный подъем. В их основе — одновременное действие двух фундаментальных факторов: глобализации и ускорения инновационного развития. Глобализация повлияла на количественные параметры происходящих в мировом хозяйстве процессов, инновации — на их качество.

Предпосылки и причины кризиса 2000-х годов

Подъем, предшествовавший кризису, оказался наиболее продолжительным и интенсивным за последние 40 лет. Он опирался на повышение эффективности производства, в основе которого лежало ускорение инновационного развития. На рубеже XXI века наукоемкие производства давали 85% прироста мирового ВВП. В 2000-х годах возросло значение нематериальных факторов производства и создания стоимости. Быстрое распространение новых технологий не только привносило новые способы ведения хозяйства, но и формировало новые типы взаимоотношений в мировом хозяйстве. Повышение производительности труда обеспечило одновременный рост прибылей и реальных доходов населения во многих странах мира. Оно позволило также уменьшать негативные послед-

ствия роста цен сырьевых товаров, в первую очередь нефти, для экономики, сдерживало инфляционные процессы в мире. В этом же направлении действовали последствия более рационального использования ресурсов, вовлекаемых в мировой воспроизводственный процесс.

Особенностью подъема стало то, что он охватил все группы стран современного мира и был одним из самых синхронизированных за всю историю деловых циклов. В ходе подъема заметно изменилась конфигурация экономической мощи в мире. Если в ходе предыдущего развития от глобализации экономики выигрывали лишь развитые страны и именно от них исходили импульсы к росту, то в 2000-х годах ситуация изменилась. Благодаря сочетанию глобализации и инновационного развития — быстрому распространению достижений научно-технического прогресса на все большее число государств — бенефициариями этого процесса стали и ведущие развивающиеся страны.

В результате в 2000-х годах в мировом хозяйстве произошло существенное перераспределение сил. Главное — значительно укрепились позиции развивающихся стран. С 2000 по 2007 год их доля в мировом ВВП повысилась с 31,4 до 37,2%. Быстрорастущие экономики потеснили старых лидеров. Сократился, хотя и ненамного, разрыв по уровню экономического развития (ВВП на душу населения) между развивающимися и развитыми странами. Ведущие развивающиеся страны, наряду с США, стали локомотивами подъема.

Основной вклад в высокую мировую динамику внесли Китай, Индия, Бразилия, а также Россия (страны БРИК). За 2000–2008 годы ВВП Китая возрос вдвое, а Индии — более чем на 70%. По объему этого показателя, измеренного в ценах и по паритету покупательной способности национальных валют (ППС) на 2007 год, Китай вышел на второе место после США, а Индия опередила Германию. Быстрое развитие производства в развивающихся странах, особенно Юго-Восточной Азии, во многом опиралось как на высокую норму сбережений, так и на огромный приток рабочей силы. Немалую роль в повышении динамики производства в них сыграл чистый приток капитала из развитых экономик. Кроме того, во многих из этих стран повысилась эффективность управления экономикой. Сильный импульс росту в быстро развивающихся странах дало изменение самого характера развития — возрастание в нем инновационной составляющей. Крупные корпорации уже не довольствовались перемещением туда промышленного производства, но стали переводить в них свои исследовательские центры и лаборатории. Основными реципиентами стали Китай и Индия. По отдельным информационно-коммуникационным технологиям они перешли от «догоняющего» развития к «лидирующему».

В текущем десятилетии увеличилась роль развивающихся стран и в международных *потоках прямых иностранных инвестиций* (ПИИ), притом не только в качестве импортеров, но и экспортеров капитала. Свою нишу в этом — пока, правда, скромную — заняли страны с переходной экономикой из Центрально-Восточной Европы. Рост цен на сырьевых рынках до последнего времени обеспечивал подъем компаний из этих стран. Отличительная черта современной транснационализации — быстрое возрастание именно этой группы государств в числе крупнейших ТНК. Если в 2006 году среди 500 ведущих корпораций мира насчитывалось 20 компаний из стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай), то в 2008 году их число подскочило до 62. Участились случаи приобретения ими контроля над западными корпорациями.

Важная особенность 2000-х годов — более активная роль развивающихся стран на *мировых финансовых рынках*. Центр тяжести мировых финансов начал перемещаться с «глобального Запада» на «глобальный Восток». Сюда все активнее приходили компании и банки (государственные и частные) быстро развивающихся стран и стран с переходной экономикой — так называемых формирующихся рыночных экономик, где уже сложились достаточно зрелые финансовые институты. Речь идет о Китае, Индонезии, Мексике, Южной Корее, Малайзии, Аргентине, Бразилии и России. Серьезную конкуренцию Нью-Йорку и Лондону создавали новые финансовые центры, возникшие в Гонконге, Дубае, Сингапуре, Бомбее, Шанхае.

Падение удельного веса развитых государств в мировом ВВП — с 62,3% в 2000 году до 55,4% в 2007-м — сопровождалось изменением баланса сил в этой группе стран. В 2000-х годах по объему ВВП и ВВП на душу населении США увеличили отрыв от стран Европейского Союза и Японии. Сказались такие конкурентные преимущества США, как высокий инновационный и технологический потенциал, огромные вложения в человеческий капитал, мощь американских ТНК, а также сохраняющееся положение доллара как главной резервной валюты. Долларовые денежные потоки обслуживают около 70% всех международных транзакций в мировой финансовой системе.

В 2000-х годах крупные изменения происходили в экономике Европы, где продолжалось интенсивное развитие интеграционных процессов. Формирование экономического и валютного союза в Евросоюзе шло как вширь, так и вглубь. В 2004 году число участников ЕС возросло с 15 до 25, а к 2007 году оно увеличилось до 27. Завершалось создание единого внутреннего рынка услуг. В 1999 году была введена единая валюта — евро, начал действовать Европейский центральный банк. С июля 2002 года национальные валюты большинства стран ЕС были изъяты из обращения и

осуществлен переход их хозяйственного оборота на евро. В начале 2009 года участниками зоны евро были 16 стран. За 10 лет существования евро, наряду с долларом, стал одной из двух ведущих валют.

В странах с переходной экономикой экономический рост возобновился в 1999 году, а с 2000 года они стали наиболее динамичным регионом мира. Формирование рыночной экономики и растущая интеграция этих стран в мировое экономическое пространство способствовали ускорению их экономического развития. С 2000 по 2007 год их удельный вес в мировом ВВП повысился с 6,3 до 7,3%. Вместе с тем этот подъем имел место после столь глубокого спада, что до сих пор средний уровень ВВП на душу населения здесь ниже уровня 1980 года.

Высокой деловой активности способствовали преобразования в отраслевой структуре мирового хозяйства. Главным из них стала «сервисизация» экономики. Сфера обращения и услуг развивалась опережающими темпами по отношению к отраслям материального производства. С 1990 по 2006 год ее доля в мировом ВВП возросла с 61,4 до 67,0%[1]. Усилилась тенденция к доминированию невещного сектора мировой экономики. «Непроизводительный» сектор стал стержнем постиндустриального хозяйства. Быстро увеличивались инвестиции в человеческий капитал. Отсюда рост значения отраслей интеллектуальной сферы — образования, здравоохранения, науки. Развитие этого сегмента экономики преимущественно на рыночных началах, наряду с дерегулированием и приватизацией структур общественного сектора, раздвинуло границы рынка и конкуренции в услугах, стимулировало их трансграничную экспансию.

В этом секторе лидировал комплекс деловых и профессиональных услуг — маркетинг, реклама, менеджмент, лизинг, а также информационно-компьютерные, консультационные, аудиторские и бухгалтерские услуги. Бурно развивались телекоммуникационные услуги. Устойчив был перелив общественных ресурсов в услуги социальной и гуманитарной ориентации.

Одна из важнейших особенностей развития мирового хозяйства последнего времени — его финансиализация, гипертрофированное расширение финансово-кредитной сферы, бурное развитие фондового рынка. Рынок ценных бумаг создал свою собственную, искусственную реальность. Происходило разбухание и усложнение денежно-кредитной надстройки, то есть виртуальной экономики. Она все более отрывалась от реальной экономики. Финансовые операции все больше обособлялись и от товарного производства, и от торговли и развивались автономно, по собственной динамике и правилам. Усилилась роль виртуальных факторов в формировании важнейших хозяйственных пропорций.

По сути, финансиализация стала периодом усиливающегося доминирования финансового сектора в общей экономической деятельности. Этот процесс представляет собой способ накопления, в котором прибыль все больше производится не посредством торговли или производства товаров, а через финансовые каналы. Характерно, что цены на сырье все меньше зависят от действий их производителей. Сегодня они в основном формируются на финансовых рынках.

Быстрое развитие финансовых рынков определило расцвет финансовых институтов. Банки, прежде всего инвестиционные, превратились в ведущих экономических игроков, влияние которых заметно превышало их формальную роль в качестве посредников на рынках капитала. С начала нынешнего десятилетия произошел бум в индустрии хедж-фондов — инвестиционных фондов, операции которых характеризуются высокой степенью риска и агрессивностью, а также фондов частных инвестиций — частных компаний, которые вкладывают капитал в другие фирмы, реструктурируют их и таким образом повышают стоимость их активов, а затем продают эти фирмы с прибылью.

Финансовые службы стали доминировать в управлении компаний, финансовые активы — среди всех активов; торгуемые ценные бумаги, особенно акции — среди финансовых активов. Фондовый рынок стал доминировать как рынок корпоративного контроля в определении стратегий компаний, а колебания фондового рынка начали определять бизнес-циклы. Страны, которые обеспечили быстрое дерегулирование своих финансовых рынков и, следовательно, финансиализацию своих экономик, выиграли больше всего. Модель капитализма «акционерной стоимости» наилучшим образом прижилась в странах англосаксонской культуры, что обеспечило максимальное дерегулирование именно их финансовых рынков — США, Британии, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Ирландии[2].

Оборотной стороной «сервисизации» стало ускоренное развитие деиндустриализации. Доля промышленности в мировом ВВП упала с 33,1 до 29,1%. Однако за этим процессом скрывались разнонаправленные изменения в региональном разрезе. Этот процесс активно шел в развитых странах, а также в странах с переходной экономикой. В развитых экономиках происходил процесс, названный «созидательное разрушение» — зарождение и рост новых и новейших, наукоемких отраслей, а также замена отмирающих отраслей производства. Быстро развивались креативные отрасли. Напротив, в развивающихся государствах индустриализация производства нарастала. Ускорилось перемещение мировой промышленности из развитых в развивающиеся страны,

прежде всего в Китай и Индию. Развивающиеся страны стали доминировать во многих отраслях промышленного производства. Китай, Индия, Южная Корея и Индонезия стали ведущими поставщиками массовой продукции — от электроники и текстиля до автомобилей и судов. Китай стал превращаться в «промышленную мастерскую мира».

Другим важнейшим фактором подъема стала глобализация. Суть экономического измерения глобализации состоит, *во-первых*, в резком, даже взрывном, возрастании роли интернационального компонента во всех факторах, звеньях и механизмах процесса общественного воспроизводства на национальных уровнях при самостоятельности воздействия и даже преобладании внешних тенденций развития над внутренними во все большем количестве государств[3]. *Во-вторых*, в опережающем развитии международной сферы экономики в целом по сравнению с внутренним производством. Наконец, *в-третьих*, в интенсивном укреплении международных экономических взаимосвязей и взаимозависимостей различных стран и регионов мира, хозяйствующих субъектов различного уровня.

По-настоящему нынешний этап экономической глобализации начался на рубеже 1980–1990-х годов, когда к главному течению процесса присоединились «третий» и особенно «второй» мир, в прошлом называвшийся социалистическим. Оба теперь называют формирующимися рынками, поскольку именно такими их видят с высоты развитого капиталистического рынка, который возник уже давно[4].

Современный — качественно новый — этап глобализации характеризуется его теснейшим переплетением с инновационным развитием. В большинстве стран в проведении НИОКР возрастает участие иностранных фирм. ТНК создают новые научно-исследовательские центры за пределами своих стран. В последнее время не менее половины всех заявок на патенты, поступавших в патентные бюро США и Европы, имели иностранное происхождение. Три четверти лицензионного оборота приходилось на внутрифирменные отношения ТНК. Увеличивается круг стран, в которых происходило повышение наукоемкости производства, то есть расширение масштабов НИОКР относительно размеров ВВП. Устойчивой тенденцией стало выравнивание показателей наукоемкости развитых и ряда развивающихся стран.

Сочетание глобализации и инновационного развития обеспечило ускоренный рост мировой торговли товарами и услугами и еще более стремительный перелив капитала, нарастание потока мигрантов, трансграничное движение огромных финансовых средств, намного обгонявшее темпы роста обслуживаемых ими производств и торговли, дальнейшую либерализацию внешнеэкономического обмена.

В 1990–2008 годах объем мировой торговли расширялся в 1,6 раза быстрее реального ВВП[5]. Возрастало значение внешнего рынка в экономическом развитии всех стран мира. С 1990 по 2006 год доля экспорта в мировом ВВП возросла с 20,2 до 30,8%. Подобным же образом увеличивалось значение импортных поставок в покрытии внутреннего спроса.

Усилилась тенденция к вымыванию изделий низкой технологии и ресурсоемкой продукции из международного товарооборота. Опережающими темпами развивалась торговля *средне-* и особенно *высоко*технологичной продукцией. Вместе с тем за счет существенного роста цен на промышленное сырье в течение нынешнего десятилетия глобальные долгосрочные ценовые пропорции менялись в пользу сырьевого сектора мировой товарной торговли.

Важно отметить, что услуги (маркетинг, инжиниринг, консалтинг, финансовые и другие услуги), которые гораздо больше локализованы, чем товары, и раньше имели в основном национальную привязку, все активнее выходили в международный оборот. В настоящее время они составляют около одной пятой всего мирового экспорта товаров и услуг. Причем это те коммерческие услуги, которые пересекли границу в открытой форме. Часть операций с услугами скрыта в торговле товарами. Значительный их объем мигрирует между странами в процессе зарубежного инвестирования капитала. В последние годы быстро развивалась такая форма международных экономических связей, как офшорный аутсорсинг услуг — передача компаниями отдельных функций иностранным коммерческим организациям.

Глобализация способствовала ускорению международной миграции населения. По данным ООН, количество людей в мире, проживающих в иной стране, чем та, где они родились, возросло с 120 млн в 1990 году до 191 млн чел. в 2005 году. Ежегодно 8% населения мигрировало в поисках работы.

Важнейшее проявление глобализации — формирование общемирового инвестиционного пространства на основе крупномасштабного перелива капитала, в том числе в производительной форме. Размеры трансграничного перетока капиталов за последние десять лет увеличивались втрое быстрее ВВП и вдвое быстрее оборота международной торговли. В 2007 году прямые частные иностранные капиталовложения (ПИИ) достигли 1,8 трлн долл. Усилилась зависимость экономики развитых стран и развивающихся рынков от направлений и размеров международного движения капитала. Если в 1990 году международные потоки капитала формировали немногим более 4% мирового накопления, то в 2007 году эта величина приблизилась к 15%. Привлечение иностранного капитала становится важным фактором развития национальных хо-

зяйств. При этом ПИИ выступают не просто в качестве источника финансовых средств, но и означают передачу новых технологий, внедрение в дочерних фирмах современных методов управления и сбыта[6].

Максимального уровня за всю историю наблюдений достигла такая форма ПИИ, как трансграничные слияния и поглощения, — в том числе масштабных, так называемых мегасделок (на сумму свыше 1 млрд долл.). Это было вызвано резким повышением цен акций, которые компании использовали для оплаты таких сделок, а также ростом числа приватизируемых предприятий. К 2007 году стоимость сделок по слияниям и поглощениям достигла 1,6 трлн долл. — на 21% больше, чем в 2000 году. Процессы консолидации бизнеса наблюдались повсеместно в мире и охватывали все сферы экономической деятельности. В результате конфигурация корпоративной системы претерпела существенные изменения.

На формирование мировой экономической среды растущее воздействие оказало нарастание процесса транснационализации производства. В 2007 году в мире насчитывалось 79 тыс. транснациональных корпораций. ТНК имели около 790 тыс. филиалов за рубежом. С 1990 года занятость на них утроилась и в 2007 году достигла 82 млн человек. Если в 1990 году на иностранные филиалы ТНК приходилось 7% мирового ВВП, то к 2007 году эта доля достигла 11%. В 2007 году их экспорт составлял одну треть мирового экспорта.

Важно отметить, что формирование глобальных телекоммуникационных сетей, нарастание использования интернет-технологий позволило вовлечь в трансграничные хозяйственные контакты большое число средних и даже малых компаний.

В нынешнем десятилетии стремительно развивалась глобализация в сфере финансов. Использование современных средств коммуникаций и информации расширяет возможности и повышает интенсивность перемещения финансовых средств. Новое состояло в том, что если прежде передача негативных импульсов из одного региона в другой шла почти исключительно по каналам внешней торговли, то в настоящее время в связи с ростом мобильности капиталов важнейшим механизмом такой передачи стала финансово-кредитная сфера.

Большинство сегментов финансового рынка демонстрировало опережающую динамику по сравнению с темпами роста всей мировой экономики. Основные показатели, характеризующие объемы этого рынка, превышали величину мирового валового продукта. Возрастала роль финансирования предприятий с помощью выпуска ценных бумаг. На конец 2007 года общая капитализация фондовых рынков всех стран мира составила 65,1 трлн долл., а стоимость выпущенных во всем мире облигаций — 78,8 трлн долл.

Возрастали масштабы рынка заемных капиталов. В 2007 году активы коммерческих банков достигли 84,8 трлн долл. Стремительно развивался более свободный от банковского контроля рынок международных облигаций и других долговых обязательств. С 1990 по 2007 год он увеличился с 1,5 трлн долл. до 79,8 трлн долл. Причем подавляющая часть операций осуществлялась на мировом рынке в финансовых инструментах, деноминированных в иностранных валютах по отношению к стране кредитора или эмитента ценных бумаг. Это придает таким операциям внестрановой характер и превращает весь мир в единое финансовое пространство[7]. Быстро расширялся мировой валютный рынок, где совершаются страховые и чисто спекулятивные операции с валютами разных стран. Суточный объем сделок на валютных биржах мира увеличился с 1,8 трлн долл. в 2001 году до 4,4 трлн долл. в 2007 году.

Новым феноменом мировой экономики стали суверенные инвестиционные фонды — организации, оперирующие на международных рынках капитала с бюджетными средствами ряда развивающихся стран и контролирующих их правительствами. В 2007 году в мире насчитывалось 47 таких фондов, а их суммарные активы оценивались почти в 3,9 трлн долл. Из них чуть меньше $^2/_3$ приходилось на фонды стран-экспортеров нефти, а остальные — на фонды государств, имеющих устойчивый избыток платежного баланса за счет экспорта продукции обрабатывающей промышленности и первичного сырья.

В 2000-х годах наряду с глобализацией развивалась другая форма интернационализации — регионализация: организация производства и рынка в определенном географическом пространстве. Число региональных и двусторонних соглашений о свободной торговле или преференциальных торговых соглашений превысило 300.

С одной стороны, регионализация, представляет собой определенный этап на пути к глобализации, с другой — особые интересы участников региональных объединений ослабляют согласованные в рамках международных организаций механизмы регулирования. Регионализация — основа формирования экономического полицентризма в мире. В дихотомии глобализации и регионализации заложен спор о путях дальнейшего развития мирового хозяйства.

Вследствие глобализации и регионализации экономики в мире, а также либерализации внешнеэкономических связей существенно увеличилась открытость национальных экономик — их втянутость в систему международного разделения труда. Транснационализация делает экономические границы более прозрачными. Внешнеторговая квота в мире, рассчитанная как отношение внешнеторгового оборота к суммар-

ному объему ВВП, выросла с 32,4% в 1990 году до 43% в 2007-м. Международная миграция капитала развивалась втрое быстрее, чем экспорт товаров и услуг. Рушились институциональные, юридические и технологические барьеры, разделяющие национальные хозяйства.

Таков был экономический фон на исходе первого десятилетия XXI столетия, на котором разразился глобальный экономический кризис.

Особенности протекания кризисных явлений

Кризис обладал рядом особенностей. Прежде всего, его отличали размах и глубина. Если предыдущие кризисы были локальными, характеризовались спадом производства в отдельных странах или группах стран, то кризис конца десятилетия выделялся всеобщим охватом. По сути дела, он стал первым глобальным кризисом капитализма. Причем кризис сильнее сказывается на тех, кто был наиболее успешен в последнее десятилетие. Это в первую очередь государства с самой высокой долей финансового сектора в экономике и экспортно ориентированным хозяйством.

Своеобразие текущего падения производства состоит также в сочетании финансового кризиса и глобально синхронизованного спада. Экономические циклы во всех развитых и многих развивающихся странах оказались жестко связанными с американским. Оптимизация бизнес-процессов в условиях глобальной конкуренции привела к тому, что игроки однозначно ориентировались на прибыльность, быстроту оборота денег и скорость роста сбыта в ущерб надежности.

В отличие от азиатского финансового кризиса 1997–1998 годов и кризиса в сфере информационных технологий в США в 2001 году, кризис конца десятилетия лишь начался как финансовый, но затем охватил другие отрасли хозяйства.

Кризис поразил в первую очередь наиболее динамично развивавшуюся в период подъема сферу обращения и услуг. При этом наблюдается сужение как внутреннего рынка — частного потребительского и инвестиционного спроса, так и расширявшегося прежде опережающими темпами внешнего рынка.

Падение производства стало реакцией на глобализацию. В последние десятилетия сформировался глобальный рынок, но законов, регулирующих его деятельность, нет. Эффективность многочисленных межгосударственных соглашений, определяющих правила игры на этом рынке, оказалась крайне низкой.

Важно подчеркнуть, что уже в недрах подъема стали вызревать и усиливаться процессы, которые в конечном итоге и стали причинами кризиса. Высокие темпы роста развитых стран во многом были связаны с потребительским бумом и бурным жилищным строительством и про-

дажей жилья. В значительной мере этот бум осуществлялся за счет возрастающей массы кредитов населению при увеличивающемся их долге перед финансовыми институтами. И в развитых, и в развивающихся странах нарастал перегрев экономики, этот перегрев во все большей мере подпитывался небывало быстрым увеличением финансового оборота[8].

Эпицентром финансового кризиса стала экономика США. Его фундаментальной причиной стал дефицит внутренних сбережений. Истоки кризиса лежали в чрезвычайно мягкой денежной политике Федеральной резервной системы (ФРС). С начала 2000-х годов, пытаясь предотвратить циклический спад экономики, а затем и стимулировать рост, ФРС проводила политику низких процентных ставок. Такая политика создавала «эффект теплицы», дав возможность безоглядно наращивать кредиты.

Толчком, приведшим в действие кризисный механизм, стали проблемы на американском рынке ипотечного кредитования. Рост уровня доходов населения и богатства домашних хозяйств в сочетании с низкими ставками процента способствовал бурному увеличению спроса на дома и повышению цен на жилье. В этих условиях банки охотно предоставляли дешевые кредиты заемщикам, нередко не из собственных, а из заемных средств, что требовало постоянного привлечения новых займов, которое бы обеспечивало функционирование финансового конвейера. На рынке недвижимости начался настоящий бум.

Симптомом эйфории стало распространение субстандартных ипотечных кредитов — средств, выдававшихся малообеспеченным слоям населения, нередко безработным и лицам без дохода. Переломной точкой стал август 2007 года. В результате повышения процентных ставок стали быстро увеличиваться расходы населения по обслуживанию ранее привлеченных кредитов под залог недвижимости. Рынок жилья резко пошел вниз. Снижение цен на жилые дома вызвало обесценение залогов. Возникли проблемы с платежеспособностью ипотечных заемщиков. За счет роста невозвратов кредиторы стали терять деньги. Ипотечные облигации падали в цене, новые выпуски не находили покупателей. В результате произошло снижение стоимости финансовых активов и их массовая продажа.

Ключом к пониманию причин финансового и последовавшего за ним экономического кризиса стало бегство от реальных в финансовые активы, внедрение инноваций в финансовую сферу. В результате мировое хозяйство оказалось перенасыщенным рискованными активами и операциями. Чрезмерная сложность современных финансовых систем — следствие глубоких изменений в механизме и инструментарии мирового фондового рынка, получивших название «финансовая революция». *Во-первых*, это — отказ государства в большинстве стран мира от прямого

вмешательства в финансовую деятельность институтов рынка. *Во-вторых*, развитие процесса секьюритизации финансового сектора — вытеснение традиционного банковского кредитования операциями с ценными бумагами. *В-третьих*, масштабные финансовые инновации — возникновение новых финансовых продуктов и совершенствование технологий торговли финансовыми инструментами. *В-четвертых*, устранение разного рода ограничений, препятствующих движению капиталов между странами. *Наконец*, налаживание кооперации между финансовыми институтами разных стран вплоть до их полного слияния.

При этом огромное воздействие на развертывание кризиса оказало развитие самого динамичного и не контролируемого финансовыми регуляторами сегмента этого рынка — производных финансовых инструментов (деривативов) — контрактов, дающих право на покупку или продажу лежащего в их основе актива или денежного потока. Общий объем накопленных обязательств по всем этим сделкам в декабре 2007 года составил 596 трлн долл., что почти в 11 раз превысило объем мирового ВВП. Основная экономическая функция деривативов — хеджирование, то есть страхование от ценовых рисков. Между тем структура этих инструментов оказалась столь сложной и непрозрачной, что оценить реальную стоимость портфелей финансовых компаний стало практически невозможным. Здесь-то и был раздут «пузырь» из «токсичных» активов. Он лопнул, обрушив рынки ценных бумаг по всему миру. Поскольку кредитный рынок больше не мог эффективно выявлять потенциально неплатежеспособных заемщиков, он впал в паралич. Финансовое регулирование не было оснащено инструментами для преодоления концентрации рисков и искаженных стимулов, скрывавшихся за бумом финансовых инноваций. Сложные финансовые инструменты служили каналом распространения воздействия рискованных инвестиций на другие страны и регионы.

Ситуацию ухудшало также быстрое развитие таких непрозрачных структур, как хедж-фонды (в 2007 году активы под их управлением составляли огромную сумму — 10,1 трлн долл.), и фонды прямых инвестиций. Они, как и новые финансовые инструменты, находятся за пределами традиционного регулирования.

Страновая и региональная специфика кризиса

С конца 2007 года экономика США, а вслед за ней со второй половины 2008 года и мировая экономика стали постепенно входить в полосу кризиса. Результатом стало резкое замедление роста ВВП — до 3,4% в 2008 году по сравнению с 5,2% в 2007-м.

Вследствие глобализации негативные процессы в финансовой сфере стремительно распространялись по миру и — чем дальше, тем больше — тормозили экономическое развитие. Наметилась тенденция к снижению цен. Реальной в развитых странах становилась угроза дефляции. К началу 2009 года суммарные потери от кризиса в экономике США и ЕС приблизились к 3 трлн долл. Иными словами, не подтверждается довольно широко распространенное еще совсем недавно мнение о том, что благодаря глобализации капитализму удалось преодолеть или, во всяком случае, существенно смягчить циклы бумов и падений.

Спад в ключевых отраслях экономики начался в США, затем охватил другие развитые страны, наконец, вовлек в сферу своего влияния развивающиеся государства и страны с переходной экономикой. В этой связи следует вспомнить, что еще недавно в экономической литературе широко обсуждался вопрос о «расстыковке» (decoupling) в мировой экономике. Утверждалось, что развивающиеся страны обрели достаточно широкую базу для экономического роста, позволяющую им преодолеть зависимость от спроса в развитых государствах. Однако такого рода утверждения оказались преждевременными. Экономические проблемы, возникшие в США, тяжело отразились на экономиках развивающихся стран.

Наиболее сильный удар кризис нанес по финансовой системе. В 2008 году глобальные финансовые активы обесценились более чем на 50 трлн долл. Фондовые рынки потеряли 28,7 трлн долл. капитализации — около 40% рыночной стоимости. Падение рынков в развитых странах составило около 30–35%, в развивающихся — до 60–70%[9]. К концу 2010 года общий объем потерь в мировой финансовой системе может достигнуть 4,1 трлн долл., что эквивалентно примерно 6% глобального ВВП.

В конце 2008 года глобальный кризис перешел в острую фазу. Кризисные импульсы из финансового сектора начали распространяться на реальный сектор экономики. Основным каналом передачи кризиса из финансовой сферы в производственную стало усложнение доступа к кредитным ресурсам. Кризис в США, Великобритании и ряде других развитых стран привел к заметному снижению потребления домохозяйств, которые больше не могут финансировать потребление за счет дешевого кредита, поскольку цена их активов, воплощенных в недвижимости и акциях, резко упала. Нефинансовые компании фактически потеряли возможность выйти на кредитный рынок, что привело к снижению экономической активности. Компании отказывались от строительства новых объектов и закупок производственного оборудования. В сфере потребительского спроса в первую очередь пострадали рынки товаров длительного пользования, приобретение которых в последние годы активно опиралось на механизмы банковского кредитования.

В наиболее сложной ситуации оказалась автомобильная промышленность. Участились случаи банкротств и закрытия предприятий, перевода их на неполную рабочую неделю. Чтобы уменьшить издержки, компании снижали зарплату. Быстро нарастала безработица.

Падение производства в развитых экономиках, снижение темпов роста в большинстве развивающихся стран привели к замедлению роста международной торговли. Если в 2007 году темпы роста торговли составляли 7,2%, то в 2008 году — лишь 4,1%. В результате наиболее всего пострадали страны с высокой ориентацией на экспорт, в частности многие восточноазиатские «тигры», а также некоторые европейские государства. Резко ухудшилась конъюнктура на рынках сырьевых товаров, вследствие чего серьезно пострадала экономика производителей и экспортеров этой продукции.

В 2008 году объем прямых иностранных инвестиций уменьшился на 21% до 1,4 млрд долл. Сократился объем инвестиций, привлекаемых от внешних инвесторов. Иностранные инвесторы досрочно изымали средства из высокорисковых активов развивающихся стран. В том же году чистый переток капитала из развитых в развивающиеся экономики сократился вдвое — с 927 до 466 млрд долл.

Отсюда всплеск экономического национализма, сползание к протекционизму в торговле и финансовой сфере. Правительства, в первую очередь развитых государств, стали проводить дискриминационную политику по отношению к другим странам: активно помогать отечественным финансовым институтам, как промышленным, так и сельскохозяйственным производителям, поддерживать «свои» крупнейшие корпорации, прежде всего «национальных чемпионов». Они призывают население и бизнес покупать продукцию национальных фирм. Многие страны ограничивают сферы, в которых может действовать иностранный капитал, принимаются меры, подчас весьма жесткие, по ограничению притока иностранной рабочей силы, прежде всего из развивающихся стран.

Кризис способствовал повышению уровня протекционизма в сфере международной торговли. Участились «сбои» в работе Всемирной торговой организации. В результате медленного прогресса на многосторонних переговорах в рамках ВТО в Дохе существенные изменения претерпел межгосударственный механизм регулирования. Если в предыдущие десятилетия центр тяжести смещался в сторону многостороннего экономического сотрудничества, то в последнее время наблюдается отход от многосторонности («новый регионализм»).

Стремясь защитить внутреннюю экономику от кризиса, многие страны—члены ВТО все больше используют противоречащие нормам организации меры ограничения импорта, в первую очередь повышения по-

шлин и стимулирования экспорта. Вводятся прямые экспортные субсидии. Ужесточаются торговые стандарты. В январе 2009 года число антидемпинговых расследований выросло на 40% по сравнению с тем же периодом 2008 года. Активно используются манипуляции с валютным курсом — конкурентная девальвация, то есть политика понижения курса собственной валюты для поддержания конкурентоспособности национальной экономики. Политика «национального эгоизма» сдерживает развитие интеграционных процессов в мире, прежде всего в Евросоюзе.

Структурно-мирохозяйственный аспект

Возникновение и углубление финансового кризиса стали отражением меняющейся структуры мирового хозяйства. Речь идет о формировании глобального дисбаланса, который на протяжении десятилетия рассматривался как основа устойчивости мирового роста. В результате сложился режим, противоположный прежней модели глобализации. Если в 1990-х годах главное направление движения капитала и технологий было из развитых рынков в развивающиеся, то в 2000-х процесс поменял направление движения. В основе этого явления лежало нарастание дисбалансов в двух группах стран между производством и потреблением, сбережениями и инвестициями. В группе развитых стран, за рядом исключений (Германия, Япония), потребление превышало производство, импорт товаров был больше экспорта, наблюдались дефициты платежных балансов по текущим операциям, нехватка сбережений. Экономика накопления здесь уступила место экономике потребления, финансируемой за счет наращивания долга и эксплуатации богатства, воплощенного в недвижимости. Напротив, хозяйство развивающихся стран в целом характеризовалось превышением производства над потреблением, экспорта над импортом. Вследствие слабого развития внутренних финансовых рынков в них образовался огромный «избыток» (профицит) сбережений. В 2008 году он превышал 2 трлн долл.

В результате развитые государства в целом превратились в чистых импортеров капитала, а развивающиеся — в их экспортеров. Поток сбережений из развивающихся стран составлял в последнее десятилетие примерно 1% нормы накопления развитых стран, компенсируя нехватку их собственных сбережений. Размещая свои временно свободные резервы на мировом рынке, группа стран с положительным сальдо платежного баланса превратилась в основных мировых кредиторов. Высокий уровень потребления во многих развитых странах обеспечивался за счет кредитования в значительной мере средств, поступавших из развивавшихся государств.

Главный вклад в перекосы структуры мировой экономики внесли США, которые к началу XXI века превратились в крупнейший мировой центр привлечения иностранного капитала. На долю США приходится до 20% всего мирового производства, однако потребляют они значительно больше — около 35%. С 2005 года норма сбережений в этой стране была отрицательной. В 2008 году дефицит платежного баланса по текущим операциям в США достигал 4,5% ВВП. Модель воспроизводства, базирующаяся на масштабном внешнем финансировании, позволяла получать дополнительные ресурсы для экономического роста. С 2000 по 2008 год приток средств, поступивших в них из-за рубежа, превысил 5,7 трлн долл., что составило более 40% ВВП США в ценах 2007 года. Экономика США требовала все больше ресурсов для рефинансирования своих долгов за счет роста средств внешних кредиторов.

Глобальная экономическая система, которая была основана на массированном импорте США дешевых сбережений и товаров из развивающихся стран, прежде всего из Китая и стран Персидского залива, на самом деле устраивала тех не меньше, чем самих американцев. Получая взамен инвестиции и технологии, а также устойчиво растущий спрос на свою продукцию, эти страны имели возможность занижать обменный курс, наращивая экспорт, сбережения, а также государственные расходы за счет подавления внутреннего потребления. Подавляющее число кредиторов и сегодня предпочитает хранить свои средства в американских государственных облигациях, а не в каких-либо иных инструментах. Многие иностранные агенты соглашаются на отрицательный доход ради надежности.

Дисбалансу на глобальном уровне соответствовали дисбалансы внутренние. С одной стороны, в США доля личного потребления в ВВП интенсивно расширялась, а норма сбережений (доля сбережений в совокупном доходе домохозяйств) упала почти до нуля. Практически американские домохозяйства стали крупнейшими нетто-заемщиками в мировой экономике. С другой стороны, домохозяйства и правительство Китая имели высокую норму сбережений и являлись крупнейшими нетто-кредиторами. По сути дела, высокий уровень сбережений в Китае обеспечивал высокий уровень потребления в США.

Иными словами, сегодняшний глобальный кризис — во многом долговой кризис. И необеспеченная денежная база доллара, и растущая быстрее, чем экономика в целом, денежная масса, и увеличение скорости обращения денег — это оборотная сторона, отражающая рост финансовых инноваций и деривативов. Понятно, что все это имело свои объективные границы. Конечно, трудно было предположить, что изменения в мировой финансовой системе будут такими быстрыми и ра-

дикальными. Однако глобализация придает качественно новое измерение многим процессам и многим рискам. Поэтому и эффект оказался столь масштабным[10].

В этих условиях общая тенденция к дерегулированию национальных хозяйств и мировой экономики в целом, рефлексивность оценки поведения на рынке, неадекватное управление рисками в финансовых учреждениях и корпорациях привели к кризису доверия. Именно он, а не нехватка свободных денег, стал важнейшей причиной финансового кризиса.

Вследствие избыточной ликвидности притупилось чувство риска. В основе сбоя рыночного механизма, который привел к текущему кризису, был чрезмерный оптимизм, порожденный длительным периодом высоких темпов роста и низких реальных процентных ставок. В результате активизировался процесс формирования рыночных пузырей — искаженной, завышенной оценки различных видов активов. В отдельные периоды такие пузыри формировались на рынках недвижимости, акций и сырьевых товаров, что стало важной составной частью кризисного механизма. Финансовое регулирование не было оснащено инструментами для преодоления рисков и искаженных стимулов, скрывавшихся за бумом финансовых инноваций.

Наконец, у кризиса имелась еще одна фундаментальная предпосылка. За последние полтора-два десятилетия серьезную трансформацию претерпела целевая функция бизнеса. Ключевым ориентиром развития корпораций стал рост капитализации. Именно этот показатель более всего интересовал акционеров, и именно по нему оценивается в наши дни эффективность менеджмента. Между тем стремление к максимальной капитализации вступает в противоречие с реальным основанием социально-экономического прогресса — повышением производительности труда.

Нестабильность финансовых систем, падение производства в одних странах и замедление экономического роста в других, а также вызванное ими обострение социальных проблем вынуждали правительства принимать различные — как денежно-кредитные, так и фискальные — меры по стимулированию экономики. Среди них выделялись меры, направленные на поддержание ликвидности и стабильности финансовых рынков. К ним в первую очередь относились национализация и рекапитализация отдельных финансовых институтов, а также выкуп контрольных пакетов проблемных банков; гарантии по межбанковским кредитам.

В большинстве случаев государство, давая банку деньги, получает взамен его акции или обязательства. Для удешевления кредита центральные банки снижали базовые ставки процента. В отдельных странах государство пошло на снижение подоходного налога или налога на добавленную

стоимость. Основные меры государства, призванные не допустить резкого снижения доходов и ухудшения условий жизни населения, включают предоставление пакета социальных мер, в том числе увеличение пособий по безработице, на детей, помощи малоимущим гражданам, размера страхования вкладов в банках, отсрочки платежей по ипотеке.

В период кризиса власть неизбежно сталкивается с тем, что нужно искать компромисс между требованиями сегодняшнего дня и долгосрочными целями и приоритетами, без которых невозможно успешное развитие страны.

Если в первое время после начала финансового кризиса в центре политики государства находились меры по оздоровлению банковской системы, то по мере вхождения мировой экономики в глубокую рецессию растущее значение придается стимулированию реального сектора экономики, в первую очередь автомобильной промышленности. В целях повышения занятости все больше внимания уделяется развитию экономической инфраструктуры. Важное направление антикризисной политики — поддержка малого и среднего бизнеса. Значительное место в деятельности правительств занимает налоговое стимулирование инновационного процесса. На лондонском саммите «группы 20» (май 2009 года) страны—участницы подтвердили свое стремление бороться с протекционизмом, чтобы не дать миру скатиться к торговым войнам и избежать повторения сценария Великой депрессии.

Принимаемые национальными правительствами антикризисные меры весьма масштабны, но все же совершенно недостаточны. Отчасти это вызвано тем, что банки использовали получаемые от властей деньги не для кредитования реального сектора экономики, а для того, чтобы сократить свою собственную кредитную задолженность. Базовые ставки процента, устанавливаемые центральными банками ведущих западных стран, к началу 2009 года были снижены настолько, что оказались неспособными сколько-нибудь эффективно влиять на спрос и, соответственно, на динамику производства.

Финансовые потрясения выявили кризис в деятельности основных международных экономических, торговых и финансовых организаций. Развитие институциональной системы мирового хозяйства не поспевало за его глобализацией. Прежде всего это относится к Международному валютному фонду и Мировому банку. Произошел провал всех органов надзора, анализа и контроля финансовых рынков. Суть проблемы заключалась в низком качестве регулирования, из-за чего огромные риски оказались вне должного учета, в неспособности институтов — как регуляторов, так и рейтинговых агентств и рынков — адекватно оценивать совокупность рисков в финансовых учреждениях и корпорациях.

В этих условиях все более очевидной становится необходимость реформирования международного механизма регулирования мировой экономики. Отсюда проведение совместных скоординированных действий со стороны правительств развитых и развивающихся стран по изменению международной финансовой архитектуры. Речь идет о выработке новых правил регулирования финансовых рынков и создании единой системы регулирования деятельности рейтинговых агентств. Предусматривается расширение финансовых возможностей МВФ и повышение роли «группы 20». Обсуждаются проблемы введения новых мировых и региональных резервных валют.

Учитывая уроки кризиса, власти настойчиво осуществляли политику, цели которой далеко выходят за его рамки. В результате вырисовывались контуры посткризисного экономического пространства. Кризис расчистил путь для перехода к новому экономическому укладу, формирования новых моделей социально-экономического развития. Их важнейшей чертой станет упрочение влияния государства в экономике. Серьезную трансформацию, возможно, претерпят отношения собственности.

Другое изменение коснется отраслевой структуры хозяйства. По всей видимости, произойдет смещение баланса в пользу реального сектора и реиндустриализации за счет отраслей обращения и услуг, в первую очередь финансовых. Сама финансовая система будет более прозрачной и более ориентированной на предотвращение рисков. В национальных хозяйствах усилится внимание к созданию внутренних очагов роста, динамика которых будет в существенно меньшей степени подвержена внешнеторговой конъюнктуре. Финансово-экономическое переустройство мира будет сопровождаться усилением инновационного и технологического потенциалов.

В мировой экономике продолжится усиление позиций развивающихся стран, в первую очередь Китая и Индии. Дисбаланс в ней будет если не устранен, то существенно уменьшен в результате усиления тенденции к росту сбережений в развитых странах, прежде всего в США, и диверсификации хозяйства в развивающихся странах, построения в них экономики, менее зависимой от экспорта и в большей мере от спроса внутри страны. Что касается мировой валютной системы, то правомерно предположить, что в ближайшем будущем драматического изменения роли доллара США как резервной валюты не произойдет. Процесс адекватного замещения доллара другими валютами не может быть быстрым.

В мировой экономике сохраняется неопределенность. Принятые решения были беспрецедентны в истории рыночной экономики, они во многом противоречили фундаментальным ценностям и ориентирам, на которых основывается общество свободного предпринимательства.

Не ясно, когда антикризисные меры, предпринятые правительствами и центральными банками ведущих развитых стран, позволят мировой экономике вернуться на траекторию быстрого развития. Даже после окончания кризиса предстоит трудный период с более низкими темпами роста производства по сравнению с недавним прошлым. Нужно было бы сокращать значительные бюджетные дефициты как раз в то время, когда в ряде стран с развитой экономикой ускоряется процесс старения населения. Следует также учесть, что безработица примерно на год запаздывает по отношению к фазам делового цикла.

Бесспорно одно — создаются новые условия для функционирования рыночной экономики в будущем, в перспективе мировое хозяйство будет развиваться на более эффективной основе. Его фундаментальной основой останется регулируемый рынок. Важную роль в оздоровлении мировой экономики сыграет глобализация, которая в конечном итоге необратима.

Примечания

[1] UNCTAD Handbook of Statistics 2008. United Nations. New York and Geneva. 2008. P. 408, 430.

[2] Эксперт. 2009. 19 января. С. 76.

[3] *Иванов И. Д.* Внешнеэкономический комплекс России: Взгляд изнутри. М.: Русь-Олимп, 2009. С. 4.

[4] *Гжегож В.* Мир в движении. М.: Магистр, 2009. С. 152.

[5] WTO. International Trade Statistics 2008. Geneva. P. 7.

[6] UNCTAD World Investment Report 2008. Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge. United Nations. New York and Geneva. 2008. P. 10.

[7] *Шишков Ю. В.* Перспективы глобализации // Мировая экономика. Прогноз до 2020 года. М.: Магистр, 2007. С. 36, 37.

[8] *Аганбегян А.* Кризис: Беда и шанс для России. М.: Астрель, 2009. С. 8.

[9] International Monetary Fund. Global Economic Outlook Update. 2009. January 28; Economist. 2009. January 31.

[10] Эксперт. 2008. 2 ноября. С. 66.

Глава 14

Американские финансы и глобальный кризис

Традиционной причиной экономического кризиса является перепроизводство, то есть превышение предложения над спросом. В предыдущие столетия перепроизводство обычно возникало в главной части индустриальной экономики — реальном секторе. С конца XX века перепроизводство все чаще наступает в быстрорастущей части постиндустриальной экономики — в финансовой сфере. В последние два-три десятилетия в развитых странах рост этого сектора шел особенно интенсивно вследствие секьюритизации. В широком смысле под ней понимается выпуск ценных бумаг, в узком — выпуск ценных бумаг на основе сравнительно рискованных активов. Наиболее активно секьюритизация осуществлялась в форме создания производных финансовых инструментов (деривативов).

Пирамида перераспределения финансового риска

О признаках перепроизводства в финансовом секторе США говорят данные, содержащиеся в табл. 1. Американские банки, точнее, созданные ими для этого компании (*special purpose vehicles*), стали активно выпускать деривативы, обеспечением которых служили имеющиеся у них закладные на жилые дома, купленные клиентами банка на ипотечные кредиты. В сущности, это перевод кредитного риска с одного лица (банка) на другое лицо — созданную банком финансовую компанию (*special purpose vehicle*) и через нее — на покупателей деривативов, выпущенных этой компанией. Это позволяло банкам выдавать ипотечные кредиты даже ненадежным заемщикам. Общий объем подобных нестандартных ипотечных кредитов (*subprime mortgage credits*) в 2005–2006 годах составлял 1,3 трлн долл., что сопоставимо с 10% ВВП США. Из них 75% было секьюритизировано преимущественно в вышеописанной форме.

С точки зрения методологии финансового рынка, подобные деривативы называются кредитными («кредитный дериватив — это финансовый продукт, главная функция которого состоит в переводе кредитного риска с одного лица на другое»[1]). Покупатель кредитного деривативa получает от продавца деривативa премию (часто ежеквартальную) за участие в страховании рискованного актива, а в случае наступления так называемого кредитного события (банкротства компании, неплатежа по кредиту или закладной, уменьшения размеров или переноса срока платежей) обычно получает этот обесценившийся актив, реже — выплачивает продавцу деривативa компенсацию в размере суммы, на которую обесценился актив.

Наиболее распространенными кредитными деривативами являются свопы кредитного дефолта (*credit default swap — CDS*), дающие право продавцу деривативa получать компенсацию от покупателя деривативa в случае наступления кредитного события. Но в случае с «subprime mortgage credits» это были деривативы под названием «collaterized debt obligations» (CDO), в основе которых лежат разные долговые инструменты — закладные, кредиты и пр., которые после покупки подобного деривативa позволяли покупателю получать стабильный доход за счет выплат по закладным, кредитам, а по окончании срока деривативa — получать номинал деривативa. Подчеркнем, что эти и другие деривативы, в свою очередь, служили часто базой для выпуска на основе их «смеси» других, синтетических деривативов. Создавалась огромная, в сотни триллионов долларов, пирамида перераспределения риска.

Доля США в мировой экономике в 2007 году

В мировом ВВП	21,3% (13 811 млрд долл.)
В банковских активах	13,2 % (11 194 млрд долл.)
В стоимости акций	30,6% (19 922 млрд долл.)
В стоимости долговых ценных бумаг	37,4% (29 879 млрд долл.)
В стоимости всех торгуемых вне биржи деривативов, оценка автора	40,0% (240 000 млрд долл.)
В стоимости торгуемых на бирже деривативов	50,8% (42 814 млрд долл.)

Источник: IMF Global Financial Stability Report. 2008. October; BIS Quarterly Review. 2008. September.

Говорить о том, что подобная пирамида схожа с известными в финансовой истории финансовыми пирамидами, было бы неверно. Здесь, скорее, просматривается сходство с пирамидой распределения страховых рисков, которая давно известна и состоит из страховых компаний,

передающих часть своих обязательств другим страховым компаниям-перестраховщикам для распределения страхового риска. Западные банки уже в течение десятилетий перераспределяли свои кредитные риски через выпуск кредитных деривативов, продавая их инвесторам. Как заявил министр финансов США Г. Полсон, без подобной секьюритизации займов «миллионы американцев не могут позволить себе финансирование своих базовых кредитных потребностей»[2]. Опасность разросшейся в США пирамиды деривативов, прежде всего кредитных, состояла, по-видимому, в другом: было неясно, какова степень ее прочности. Теперь видно, что большая многослойность пирамиды и представляла опасность: слишком зыбкими были некоторые из ее основ, в частности ненадежные ипотечные кредиты.

Быстрому росту описанной пирамиды способствовали два фундаментальных обстоятельства — дерегулирование финансовой системы США и стимулирование экономического роста в США через поощрение потребления (в том числе покупку жилья) всеми способами. Федеральная резервная система (ФРС), как сегодня уже очевидно, допустила ошибку, спокойно взирая на рост малонадежных деривативов. Можно высказать предположение, что это было связано со вторым фундаментальным обстоятельством — стимулированием, иногда безоглядным, потребительского спроса как главного мотора американской экономики. Например, американская администрация фактически «разгоняла» механизм предоставления нестандартных ипотечных кредитов, принуждая к покупке ненадежных закладных гигантские ипотечные организации — «Fannie Mae» и «Freddie Mac»[3].

В результате стремительный рост дешевых и часто ненадежных ипотечных кредитов, подстрахованных финансовыми инструментами, привел к перегреву на рынке ипотечного кредитования, а затем и на всем финансовом рынке. Тем не менее рейтинговые агентства вплоть до начала кризиса присваивали этим финансовым инструментам высокие рейтинги.

Сейчас уже не вызывает сомнений, что перегрев финансовой системы поддерживался также большим притоком капитала из-за рубежа и низкими процентными ставками ФРС. Не будем забывать, что значительная часть ипотечных кредитов выдавалась под фиксированный процент только на первые два-три года, а на оставшееся время — по плавающей ставке[4].

Повышение (из-за боязни инфляции) ставки ФРС с 1% годовых в 2004 году до 5,25% в середине 2006 года привело к тому, что по значительной части закладных (а они привязаны к текущей ставке процента) платежи перестали выплачиваться. Массовые продажи невыкупленных домов привели к снижению цен на жилье и тем самым к обесценению

закладных, под которые выдавались кредиты и на основе которых выпускались ипотечные облигации.

В результате ипотечные облигации стали обесцениваться. Летом 2007 года рынок ипотечных облигаций начал рушиться, а вслед за ним принялись обесцениваться активы банков и фондов в США и во всем мире, имевших в своих портфелях подобные облигации. К октябрю 2008 года потери приблизились к 1,4 трлн долл. Наиболее ощутимо пострадали банки. Их убытки составили примерно 600 млрд долл. По пессимистичному сценарию Международного валютного фонда (МВФ), американские и западноевропейские банки могут потерять 10 трлн долл. своих активов. Уже в 2008 году обанкротился инвестиционный банк «Леман Бразерс» («Lehman Brothers»), а банки «Беар Стернс» («Bear Stearns») и «Мэрилл Линч» («Merrill Lynch») были поглощены другими банками.

Все это привело к резкому сужению объема ликвидных средств на финансовом рынке — банки стали выдавать намного меньше кредитов. Была запущена цепная реакция, подтвердившая, что кризис на рынке ипотечного кредитования оказался лишь «спусковым крючком» для финансового кризиса в США. Фундаментальной причиной была дешевизна финансовых ресурсов, перегревших финансовый сектор и экономику США в целом.

Из-за сокращения кредита вслед за рынком жилищного строительства начал сокращаться с 2008 года также рынок товаров длительного потребления, а затем и другие рынки. Вскоре начали падать и потребительские расходы. Уменьшаются инвестиции в основной капитал. В результате сокращения производства в затронутых кризисом отраслях выросла безработица, по прогнозу ФРС, она должна была достигнуть 6,3–6,5% к концу 2008 года. Однако дефицит торгового баланса, как и инфляция, при этом также снижается, что вызвано прежде всего падением цен на импортное сырье.

Попытки противостояния кризису в США

По прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), абсолютное уменьшение ВВП будет идти четыре квартала подряд — с III квартала 2008 года по II квартал 2009 года. Начиная с III квартала 2009 года в США начнется оживление. В зоне евро и в Японии признаки выздоровления проявятся не раньше IV квартала будущего года. Такого же прогноза придерживается и американская ФРС, добавляя в декабре 2008 года к своему прежнему, ноябрьскому, прогнозу, что сокращение ВВП в конце 2008 года и первой половине 2009 года может быть глубже, чем ранее предсказывалось. В результате, несмотря

на возможное оживление во второй половине 2009 года, в целом за 2009 год рост ВВП США окажется отрицательным.

Таблица 1

США: оценки итогов 2008 года и прогнозы на 2009 год, %

Источник прогноза	ВВП		Инфляция		Безработица	
	2008 г.	2009 г.	2008 г.	2009 г.	к концу 2008 г.	к концу 2009 г.
ФРС	1,4	–0,2 +1,1	2,8–3,1	1,3–2,0	6,3–6,5	7,1–7,6
МВФ	1,4	–0,7	3,6	1,4	5,7	...
ОЭСР	1,4	–0,9	4,3	1,6	5,8	7,3

Сначала экономическая политика администрации США в ходе кризиса сводилась к выкупу неликвидных активов, национализации двух ипотечных организаций — «Fannie Mae» и «Freddie Mac» — и страховой компании «AIG», а также росту страхования депозитов в банках и фондах. Одновременно шло сокращение ставки процента, которая в начале 2009 года была срезана почти до 0%.

В октябре был принят так называемый «план Полсона» (*Troubled Assets Relief Program*), согласно которому минфин США выделит финансовым организациям 700 млрд долл. для вливаний в финансовые институты США. К середине ноября из них было израсходовано 290 млрд долл., в том числе 250 млрд — на покупку акций проблемных банков и 40 млрд на покупку акций ведущей страховой компании «AIG».

В середине ноября Г. Полсон заявил, что и в будущем главными целями, на которые будут тратиться оставшиеся средства, останутся: облегчение доступа к потребительскому кредиту, поддержка ликвидности финансовых институтов и покупка просроченных ипотечных закладных. В ноябре 2008 года ФРС объявила о двух новых программах объемом 800 млрд долл. на поддержку ипотеки (600 млрд долл., включая выкуп «mortgage backed securities» на 500 млрд долл.), а также малого бизнеса и потребительского кредитования (200 млрд долл.).

Избранный президентом США Б. Обама заявил о планируемых им дополнительных мерах по преодолению кризиса общим объемом более 1 трлн долл. Это государственные инвестиции в инфраструктуру и энергосбережение, выкуп закладных, поощрение потребительского спроса. По мнению Обамы, это поможет к 2011 году создать 3 млн новых рабочих мест. Стимулированию потребительского спроса может способствовать и предложенное им сокращение налогов для компаний, нанимающих новых работников, а также для лиц, зарабатывающих менее 200 тыс. долл. в год.

Можно сказать, что антикризисная политика США реализуется прежде всего в двух направлениях — повышение ликвидности финансового сектора (главным образом рекапитализация банковского сектора) и поощрение внутреннего спроса. В целом объем проведенных или только планируемых антикризисных мер составляет почти 10 трлн долларов, то есть 72% по отношению к ВВП США за 2007 год.

Большие государственные расходы на преодоление кризиса ведут к усилению дефицита государственного бюджета: по имеющимся оценкам, он вырос с 2,9% ВВП в 2007 году до 5,3% в 2008-м и, согласно прогнозу ОЭСР, достигнет в 2009–2010 годах 6,7–6,8%. Однако это не ведет к росту инфляции, так как в условиях кризиса скорость оборота денег снижается и поэтому инфляция, в соответствии с данными, приводимыми в том же прогнозе, упадет с 3,6% в 2008 году до 1,2–1,3% в последующие два года. Более того, возможно, снизится дефицит текущего платежного баланса, так как американский экспорт хоть и медленно, но будет расти, а импорт уже в 2008 году начал абсолютно сокращаться.

Улучшение текущего платежного баланса и замедление инфляции могут быть факторами укрепления доллара. В противоположную сторону доллар толкают такие факторы, как рост дефицита государственного бюджета, снижение банковских ставок, спад экономики. Впрочем, эти факторы воздействуют и на валюты других центров мирового капитализма. Поэтому можно предположить, что курс доллара вряд ли обвалится по отношению к этим валютам.

Больше тревог в США вызывает потенциальная возможность перерастания нынешнего кризиса не в подъем, а в многолетнюю депрессию, как в Японии в 1990–2002 годах. Ряд американских экономистов считают одной из главных причин затянувшейся японской депрессии чрезмерную государственную помощь всем пострадавшим от нее компаниям и банкам — как потенциально здоровым, так и безнадежно больным. Идея классика современной экономической науки Дж. Шумпетера, что кризис — это созидательное разрушение, в ходе которого экономика за счет кризиса оздоравливается, имеет немало приверженцев в США. Поэтому боязнь пойти по «японскому пути» отразилась на решении конгресса США в декабре 2008 года не выделять компаниям «Дженерал Моторз» («General Motors») и «Крайслер» («Chrysler») просимых ими 17,5 млрд долл.

Начавшийся в США и распространившийся на весь мир экономический кризис может стать самым глубоким за всю послевоенную историю. По прогнозам международных экономических организаций, перспективы мирового экономического кризиса выглядят следующим образом (табл. 2).

Таблица 2

Оценки итогов 2008 года и прогнозы роста на 2009–2010 годы, %

Организация	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2008 г. по кварталам		2009 г. по кварталам				2010 г. по кварталам			
					III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
ОЭСР: ВВП развитых стран	2,6	1,4	–0,3	1,5	0,0	–1,4	–0,8	–0,2	0,5	1,1	1,7	2,0	2,5	2,7
МВФ: ВВП развитых стран	2,6	1,4	–0,3											
ВВП других стран	8,0	6,6	5,1											
Мировой банк: ВВП богатых стран	2,5	1,4	–0,1	2,1										
ВВП других стран	7,9	6,5	4,5	6,2										
Мировая цена на нефть долл./баррель смеси из трех сортов:														
ОЭСР		99,8	68,0											
Всемирный банк	71,1	101,2	74,5	75,9										
долл./баррель Urals:														
Минэкономразвития России	69,3	99,6 (IV кв. – 54,8)	min 50–60	min 55–68										

Уже отмечалось, что в группе развитых стран рецессия (сокращение ВВП) может, по мнению международных экономических организаций, продлиться до середины 2009 года, после чего может начаться вначале умеренный, а затем и нормальный рост — в США, а затем в ЕС. Цена на нефть в ближайшие два года прогнозируется на умеренном уровне. Для стран с формирующимися рынками (*emerging markets*) прогнозируется лишь снижение темпов роста (спад), но не падение ВВП (рецессия).

Приведет ли нынешний кризис к ослаблению роли США в мировой экономике? Судя по прогнозам, кризис ударит по Европе и Японии не слабее, чем по экономике США, однако он меньше скажется на экономике стран с формирующимися рынками. Поэтому можно предположить некоторое снижение веса США в мировой экономике в ближайшие годы за счет нарастания веса Китая, Индии и других менее пострадавших от кризиса стран. Вряд ли это снижение будет сильным, однако оно может ослабить внешнеполитическую экспансию США в ближайшие годы.

Таблица 3

Средние экспортные цены и стоимость экспорта сырой нефти из России

Параметр	2001 г.	2005 г.	2007 г.	2008 г. I кв.	2008 г. II кв.
Средняя экспортная цена (долл. США/баррель)	20,8	45,2	64,3	89,8	108,0
Стоимость экспорта нефти (млрд долл.)	24,0	82,4	121,5	38,6	47,1

Таблица 4

Состояние консолидированного бюджета и сальдо текущего платежного баланса России, % от ВВП

Параметр	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Профицит/дефицит консолидированного бюджета	8,4	6,1	5,5 –1,8	–1,2	
Сальдо текущего платежного баланса	9,5	5,9	6,5	0,5	–0,8

Влияние кризиса на экономику России

Кризис в экономике России носит экзогенный характер, то есть был привнесен извне. Основными каналами проникновения кризисных яв-

лений стали: отток иностранного капитала (прежде всего с фондового рынка), обострение ситуации с внешней корпоративной задолженностью (долгом компаний с разными формами собственности перед зарубежными кредиторами) и падение мировых цен на сырьевые товары, особенно на углеводороды.

Отток иностранного капитала отмечается с лета 2008 года. Согласно оценкам, примерно половина вращавшихся на российском фондовом рынке активов приходилась на нерезидентов, прежде всего американских. Вывод ими средств из-за начавшегося в это время углубления мирового экономического кризиса во многом способствовал снижению индекса РТС — в 4–5 раз. В результате стоимость российских ценных бумаг резко упала. С одной стороны, это привело к потере вложенных в эти бумаги банковских активов (по оценке, банками из-за этого потеряно 10–12% совокупного капитала банковской системы), что сокращает возможности банков выдавать кредиты. С другой стороны, падение стоимости российских ценных бумаг уменьшает возможности российских корпораций брать в стране и за рубежом кредиты под залог ценных бумаг, а также приводит к ситуации, когда ранее выданные банковские кредиты имеют сильно обесценившийся залог. По прогнозу Минэкономразвития РФ, в 2009 году чистый отток капитала составит рекордную сумму — 90 млрд долл., хотя надо отдавать себе отчет в том, что главным образом отток будет приходиться на перевод средств внутри России из рублей в иностранную валюту.

Обострение внешней задолженности российских корпораций вызвано ее быстрым ростом в последние три с половиной года: долг со 108 млрд долл. на начало 2005 года вырос до 527 млрд к середине 2008 года (правда, 22% из внешнего долга приходятся на долг в рублях). По внешнему долгу предстояло выплатить 107 млрд долл. во второй половине 2008 года, а за весь 2009 год — 121 млрд долларов. Если мировые кредитные рынки не откроются вновь для российских компаний, то погашение внешнего корпоративного долга возможно двумя путями — либо через «проедание» национальных валютных резервов (с августа по конец 2008 года они сократились на 160 млрд долл., то есть почти на четверть), либо через сокращение уровня потребления в стране.

Падение спроса мировых цен на сырье ведет к серьезным потерям экспортных доходов российских компаний и государства.

В условиях свертывания мирового спроса на сырье и, главное, резкого падения мировых цен на него экспортный фактор российской экономики становится менее весомым. Вклад только роста мировых цен на нефть в экономический рост России в середине десятилетия оценивался Мировым банком примерно в 3 процентных пункта. В сочетании с падением

цен на нефтепродукты, газ и металлы это может привести к резкому снижению темпов роста российского ВВП в 2009 году, что в свою очередь ведет к росту безработицы, которая и осенью 2008 года была немалой (5,8%).

Падение доходов экспортных отраслей ведет также к замедлению внутреннего спроса, который во многом «подогревался» притоком нефтедолларов. В результате снижаются не только доходы компаний, но и реальные доходы населения, что сказывается прежде всего на внутренней торговле, жилищном строительстве и производстве строительных материалов, на выпуске товаров длительного пользования.

Снижение экспортных доходов и экономической активности неизбежно окажет воздействие на состояние государственного бюджета. По оценке ОЭСР, его профицит может смениться дефицитом. Пострадает и платежный баланс.

Хотя кризис был привнесен в российскую экономику извне, он упал не на очень здоровую почву. В стране наблюдается «голландская болезнь», упадок сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности, слабость банковской системы.

«Голландская болезнь» выражается в перекосе экономики в сторону экспортно-сырьевых и обслуживающих их отраслей. В 2007 году экспорт товаров и услуг по отношению к ВВП (рассчитанному по паритету покупательной способности) составил 19%. Иными словами, экономика России слишком сильно ориентирована на экспорт по сравнению с другими большими экономиками мира: подсчитанная подобным образом экспортная квота составляет у США около 10%, у Бразилии — 9%, Индии — 5%. Лишь у Японии и Китая экспортная квота составляет также 18%, однако не стоит забывать, что в их экспорте сырье с его нестабильными ценами занимает скромное место.

Упадок сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности выражается не только в их невысокой конкурентоспособности, но и в недостаточных мощностях по сравнению с потребностями страны. За последние пять лет среднегодовой сбор зерна составил 74% от пятилетия 1986–1990 годов, производство мяса — 52%, турбин — 49% в 2007 году от уровня 1989 года, металлорежущих станков и кузнечно-прессовых машин — 7%, ткацких станков — 0,5%, производство летательных аппаратов — на уровне нескольких процентов. В результате эти и другие разрушенные за последние два десятилетия отрасли не имеют достаточного потенциала, так что Россия не в состоянии за их счет применить традиционное лекарство для облегчения экономического кризиса — импортозамещение. Представляется, что ряд отраслей в состоянии быстро пойти подобным путем — это производство птицы и свинины, автомобилестроение, жилищное строительство.

Слабость банковской системы России выражается прежде всего в низком объеме денежной массы и, следовательно, банковских активов. В 2007 году отечественная банковская система выдала кредитов в размере 25% от ВВП (в Китае — 136%, Бразилии — 96%, Индии — 63%). Слабость отечественной банковской системы подталкивала российские компании к внешним заимствованиям и не позволит ей в ближайшие годы компенсировать падение внешнего кредитования. Одновременно нужно отметить большие резервы, накопленные Министерством финансов РФ к началу кризиса. Летом 2008 года величина золотовалютных резервов (ЗВР) России достигала 598 млрд долл., и они были все еще велики к концу 2008 года (438 млрд долл.), хотя и сократились.

Антикризисная политика правительства России, как и на Западе, вначале сводилась к активной поддержке финансового сектора: ведущим российским банкам были предоставлены крупные ссуды, был повышен потолок страхования банковских депозитов физических лиц, выкупались несостоятельные банки, а главное — расширялся поток средств в финансовую систему для смягчения кризиса ее ликвидности. Правительство также обязалось помочь ведущим российским должникам выплатить 50 млрд долл. их внешнего долга. Реализованные и заявленные средства на поддержку банковской системы составляют огромную сумму — 9 трлн руб., то есть около 20,5% прогнозного ВВП на 2009 год.

После этого правительство перешло к поддержке реального сектора: коммерческим банкам через Банк России было обещано предоставлять кредиты для выкупа ими облигаций крупных отечественных компаний; дополнительные средства выделены для финансирования отдельных отраслей (прежде всего агропромышленного и военно-промышленного комплексов, автомобилестроения, жилищного строительства и авиаперевозок). Налог на прибыль снижается с нынешних 24 до 20%, увеличен размер амортизационной премии, регионам предоставлено право снижать ставку налога на малый бизнес с нынешних 15 до 5%. Уменьшены темпы роста цен в 2009 году на тарифы естественных монополий, кроме электроэнергии. Составлялся список «системообразующих» предприятий федерального значения, охватывающий около 300 наименований. Им правительство намеревалось оказывать адресную комплексную поддержку.

В ноябре 2008 года антикризисные мероприятия правительства России были обобщены в Плане действий, направленных на оздоровление ситуации в финансовом секторе и отдельных отраслях экономики. Были внесены коррективы в бюджет с учетом кризиса и антикризисных ме-

роприятий (напомню, что, по мнению Минфина РФ, российский бюджет может быть бездефицитен при цене нефти сорта «Urals» не ниже 60 долл.): бюджетные расходы на 2009 год были сокращены на 6–7%. В то же время военные расходы возрастут на 28% за счет государственного оборонного заказа на военную технику.

В целом антикризисные действия российского правительства можно оценить как масштабные и активные, хотя еще не задействованы такие мощные инструменты, как снижение ставки НДС, более энергичное торможение цен и тарифов естественных монополий, а главное — активное стимулирование внутреннего спроса. К потенциально негативным эффектам этой политики можно отнести усиление роли госсектора в экономике за счет государственных банков и компаний с государственным капиталом. Можно сделать вывод, что антикризисная политика российского правительства схожа с американской по одному направлению — повышению ликвидности финансового сектора, но отличается по другому направлению — стимулированию прежде всего производства, а не спроса.

Антикризисная политика Банка России, начавшись с насыщения банков ликвидностью и помощи компаниям по выплате внешней задолженности, затем сосредоточилась на постепенной девальвации рубля (к концу 2008 года курс рубля по сравнению с июлем 2008 года упал на 25% к доллару и на 13% к евро) из-за заметного уменьшения ЗВР. Также была поднята ставка рефинансирования до 13% в целях повышения ставки по депозитам с тем, чтобы остановить переток рублевых сбережений в инвалютные. Усилился контроль над инвалютными резервами коммерческих банков. Подобная политика может приостановить отток рублевых депозитов из банков, но затормозит предоставление кредитов. Возможно, она адекватна экономике, очень сильно зависящей от внешней торговли и притока капитала, однако она противоположна американской, европейской и японской политике низких процентных ставок во время кризиса.

Можно предположить, что большие масштабы мирового кризиса и слабость российского частного бизнеса могут привести в ближайшие годы к дальнейшей трансформации экономической политики России в сторону кейнсианства, то есть усиления роли государства в производстве товаров и услуг. Вместе с тем отрицательные аспекты чрезмерной глобализации российской экономики могут способствовать попыткам большей ориентации на внутренний рынок как государственных, так и частных компаний, что, возможно, будет поощряться государством.

Таблица 5

Россия: оценки итогов 2008 года и прогнозы роста на 2009-2010 годы, в %

Организации и показатели	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
ВВП						
Минэкономразвития РФ:						
— инерционный прогноз 1 (50 долл. за баррель Urals)			–0,5			
— инерционный прогноз 2 (60 долл. за баррель Urals)			0,5–1,0			
— базовый прогноз (с учетом антицикл. мер)			2,4			
Консенсус-прогноз РБК	8,1	6,6	2,9	5,0	5,7	6,1
ОЭСР	8,1	6,5	2,3			
МВФ	8,1	6,8	3,5			
Всемирный банк	8,1	6,0	3,0			
Инфляция						
Минэкономразвития РФ	11,9	13,4	10–12			
Консенсус-прогноз РБК	11,9	13,9	10,9	9,4	8,1	7,0
ОЭСР	11,9	13,6	7,5	6,5		
Всемирный банк	11,9	13,5	min 12			
Безработица						
Консенсус-прогноз РБК	6,1	6,1	6,8	6,5	5,8	5,8
Всемирный банк	6,1	5,9				
Курс рубля по отношению к доллару						
Минэкономразвития РФ (базовый прогноз)		24,9	30,8–31,8			

В пользу «мягкой посадки» российской экономики говорят большие объемы вливаний в финансовую систему и потенциально — в реальный сектор, сравнительно вялая девальвация рубля, медленный рост безработицы, сохранение все еще больших объемов ЗВР.

В пользу «жесткой посадки» говорят такие факты, как быстрое сокращение объемов промышленной продукции уже в последние месяцы 2008 года, бегство банков и населения от рубля в инвалютные активы и нарастающие по этой причине трудности с получением кредитов, малые возможности для заимствований за рубежом, продолжающееся сокраще-

ние спроса на российском и внешнем рынках. Настораживает, что в России и мире прогнозы пересматриваются только в сторону ухудшения.

Прогнозы по России базировались прежде всего на предположении, что спад в мировой экономике, прежде всего американской, сменится подъемом во второй половине 2009 года. При такой предпосылке Россия смогла бы, скорее всего, осуществить «мягкую посадку», то есть произошло бы не абсолютное сокращение объема ВВП, а лишь снижение темпов его роста. Однако если мировой экономический кризис затянется или окажется глубже прогнозов, то «мягкая посадка» может обернуться для нашей страны «жесткой посадкой» со всеми вытекающими последствиями — сокращением ВВП и сильным ростом безработицы.

Примечания

[1] Цит. по: *Буренин А. Н.* Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. М., 2009. С. 248.

[2] Цит. по: Plan C // The Economist. 2008. November 29th — December 5th. P. 70.

[3] Taming the Beast // The Economist. 2008. October 11th–17th. P. 10.

[4] *Алексашенко С.* Кризис-2008: пора ставить диагноз // Вопросы экономики. 2008. № 11. С. 28.

Глава **15**

Стратегия нераспространения и международный бизнес

Российские и зарубежные авторы уделяют значительное внимание радикальной трансформации режима нераспространения ядерного оружия (ЯО)[1]. В этой теме остается много аспектов, требующих упорядочения нового эмпирического знания, полученного в последние десятилетия. Однако уже в настоящее время исследователи говорят о кризисе всей системы нераспространения ЯО[2].

Исторически словосочетание «нераспространение ядерного оружия» (non-proliferation) связывалось почти исключительно с понятием стратегии нераспространения (non-proliferation strategy). Эксперты определяли ее как укрепление международно-правовых режимов с целью «сковать» действия потенциальных нарушителей комплексом мягких профилактических, а также контролирующих условий и мероприятий[3]. Подобная стратегия была скорее оборонительной. Она, конечно, ориентировала на применение санкций против «неблагонадежных» государств. Но для запуска механизма подобных репрессалий требовалось наличие убедительной базы свидетельств о нарушениях режима нераспространения, а сами санкции *фактически* ограничивались рамками политико-экономического и морально-политического давления (на Бразилию, Аргентину, ЮАР, Израиль, а косвенно — и на Японию). Случай бомбежки Израилем ядерного реактора в Ираке (1981) был явным исключением, а слухи о существовании планов «ядерной кастрации» Китая силами США (при администрации Дж. Кеннеди) или СССР (в 1969 году) никогда не были достоверно подтверждены[4].

В начале нового века на смену политике *не*распространения приходит стратегия *контр*распространения (*counter-proliferation strategy*)[5]. Эта политика по смыслу является наступательной. Она ориентирует на активное противодействие распространению расщепляющихся материалов и технологий замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) — «агрессивную профилактику» этого процесса при помощи превентивных

действий. Применение силы становится не «последним резервным средством», а рядовым инструментом воздействия на потенциальных (или *формально потенциальных*, как, например, Иран) нарушителей[6].

Противодействие распространению больше не рассматривается как набор правовых норм, полугласных правил, дипломатических инициатив и технологических ограничений, на зыбкой основе которых держался режим нераспространения ЯО. В нем начинают видеть силовые действия — разоружение потенциально опасных субъектов или борьбу с транснациональными криминально-террористическими сетями[7]. Применение силы начинает рассматриваться как приемлемый инструмент разоружения нарушителей режимов нераспространения ЯО и всего оружия массового поражения (ОМП).

Становление концепции контрраспространения в США

Концепция контрраспространения начала складываться в США в 1990-х годах — при демократах. До уровня официальной установки американской администрации она была повышена в 2002–2005 годах — при республиканцах. Единого понимания этого термина среди американских экспертов нет. Можно говорить только о формировании трех различных подходов к его трактовке.

Сторонники *первого* рассматривают контрраспространение предельно конкретно и практически — как военно-силовую составляющую традиционной стратегии нераспространения. Именно так его определяют аналитики Центра Военно-воздушных сил США по изучению проблем контрраспространения (*Air Force Counterproliferation Center*) и Национального университета обороны (*National Defense University*)[8]. В рамках данного подхода контрраспространение выступает как комплекс превентивных мер для предотвращения угрозы распространения ОМП[9].

В рамках *второго* подхода интересующее нас понятие определяется шире — как новый элемент системы ядерного сдерживания в целом[10]. Смысл контрраспространения оказывается не просто в модернизации и расширении инструментария дипломатии. Речь идет о выделении нового, силового направления в политике ядерного сдерживания[11].

Если, несмотря на все усилия, потенциально опасный режим не удалось заставить следовать нормам переговорным путем, то тогда, по мнению аналитиков второй группы, его следует подвергнуть «принудительной денуклеаризации». Если расщепляющиеся материалы попали в руки террористических сетей или неблагонадежных стран, то контрраспространение предполагает нанесение незамедлительного удара по опор-

ным пунктам или ядерным центрам последних[12]. Доктрина упреждающей (*preemptive*) войны (ударов для нейтрализации прямой, реально надвигающейся, конкретной опасности) сменяется концепцией войны превентивной (*preventive*), которая предполагает устранение потенциальной или гипотетической угрозы[13]. Понятие «контроль над вооружениями» (arms control) начинает осмысливаться как попытка предотвратить распространение ЯО, расщепляющихся материалов, химического и биологического оружия или их компонентов.

Для *третьей* группы трактовок характерен акцент на политико-психологической роли контрраспространения. По мнению экспертов этой группы, такая практика разрушает политико-психологические запреты на ядерные конфликты любого рода, которые с 1960-х годов выработались в стратегической культуре «старых» ядерных держав.

Классик американской политической науки Артур Шлезингер полагает в этой связи, что контрраспространение способствует возрождению представлений об ограниченной войне с потенциально ядерным измерением как о «нормальном» элементе межгосударственного взаимодействия[14]. Еще более архаична внешнеполитическая практика контрраспространения. Она, по сути, восходит к мировоззрению XIX века, когда ограниченная война считалась нормальным элементом межгосударственного взаимодействия. К аналогичным выводам склоняется и профессор Гарвардского университета Грэм Аллисон[15].

Американские эксперты признают, что в основе контрраспространения лежат идеи (1) профилактического изъятия ядерного оружия у потенциально опасных режимов и (2) предотвращения попадания расщепляющихся материалов в руки криминальных сетей. Одновременно американские аналитики рассматривают контрраспространение как основу обновленной системы нераспространения ЯО.

По сути, все три группы ученых понимают контрраспространение как систему **откровенно принудительных мер** по разоружению недружественных к США субъектов и/или пресечению попыток приобретения ими ОМП.

На официальном уровне термин «контрраспространение» впервые стал употребляться в начале 1990-х годов. После военной операции многонациональной коалиции во главе с США в Персидском заливе (1991) американские аналитики заговорили о том, что само силовое преобладание Америки дает толчок к распространению ОМП. Поэтому летом 1992 года Научный совет оборонных исследований Соединенных Штатов (*Defense Science Board Study*) начал изучать способы возможной борьбы с распространением ОМП. Именно в его разработках впервые появился сам термин «противодействие распространению ОМП» (*counter*

WMD proliferation). 7 декабря 1993 года последовало программное выступление министра обороны США Лесса Эспина о возможности применения силы для укрепления режимов нераспространения ОМП и создании новой стратегии контрраспространения (*Defense Counterproliferation Initiative*)[16]. На этой основе 18 декабря 1993 года президент У. Клинтон подписал директиву № 18 (PDD/NSC 18) о придании Министерству обороны США новых функций.

В середине 1990-х программные положения 1993 года приобрели практическое измерение. 30 апреля 1994 года Конгресс США принял «Закон о предотвращении распространения ядерного оружия» (*Nuclear Proliferation Prevention Act*). Согласно этому закону, Соединенные Штаты прекращают экономическую и военную помощь любому государству, которое испытало ядерное взрывное устройство или приобрело информацию о его конструкции. В 1996 году администрация У. Клинтона создала при Министерстве обороны США Совет по проблемам контрраспространения (*Counterproliferation Council*) и Отдел по проблемам контрраспространения (*Department of Defense Counterproliferation*). В ноябре 1997 года президент США У. Клинтон подписал директиву № 60 (PDD 60), которая санкционировала применение силы для уничтожения хранилищ и производств ОМП «стран-нарушителей»[17]. 7–20 декабря 1998 года последовала совместная американо-британская операция «Лис в пустыне» — четырехдневные бомбардировки Ирака с целью уничтожения возможных точек производства ОМП.

Однако до уровня целостной концепции контрраспространение поднялось только в 2002–2003 годах. В ключевых документах того периода — «Стратегия национальной безопасности США» (сентябрь 2002 года) и «Национальная стратегия борьбы с распространением ОМП» (декабрь 2002 года)[18] — американская политика в области нераспространения ЯО была «расщеплена» на три равноправных компонента:

1) *контрраспространение* (*counterproliferation*), которое предполагало ограничение или пресечение распространения ОМП посредством превентивных действий;
2) *нераспространение (nonproliferation)* — усиление многосторонних режимов в сфере нераспространения, контроль над оборотом расщепляющихся материалов, санкции против «распространителей»;
3) *меры борьбы с последствиями распространения* (*consequence management*), подразумевавшие шаги для уменьшения негативных последствий от возможного использования ОМП против американских вооруженных сил или в ходе диверсий на территории Соединенных Штатов и их союзников.

В годы первой администрации Дж. Буша (2001–2004) в США появилась серия публикаций о возможности нанесении «разоружающих» ударов против Ирана и КНДР. Рассматривался вопрос о создании арсенала упреждающих действий — сверхмалых ядерных боезарядов, приспособленных для поражения подземных бункеров, пещер и высокозащищенных хранилищ ОМП[19]. Шли дискуссии о возможности обезоружить потенциально опасных субъектов с помощью развертывания над территорией США системы ПРО. Некоторые авторы полагали, что факт наличия у Америки системы защиты от хотя бы ограниченного ракетного нападения противника сможет убедить «режимы-изгои» в бесперспективности их потенциально агрессивных посягательств[20].

С 2004 года смысл термина «контрраспространение» стал меняться. 11 февраля 2004 года Дж. Буш наряду с традиционными словами о необходимости воздействия на Иран и КНДР впервые сказал о потребности наладить противодействие транснациональным криминальным сетям и усилить международный контроль за оборотом расщепляющихся материалов[21]. 15 апреля 2004 года Конгрессу США был представлен доклад о проблемах повышения безопасности хранения ОМП (*weapons security*), мест его складирования (*site security*) и расщепляющихся материалов (*fissile material security*). 6 февраля 2006 года Белый дом выдвинул программу «Глобальное партнерство в атомной энергетике» (*The Global Nuclear Energy Partnership*). В результате, в новой «Национальной стратегии борьбы с распространением ОМП» (февраль 2006 года)[22] понятие «контрраспространение» включало в себя целый комплекс разнонаправленных мер:

1) «выкуп» ядерной программы у потенциально опасного государства;
2) установление контроля над ядерными объектами «проблемных» (с точки зрения США) стран;
3) частичное признание ядерного статуса нарушителя в обмен на соблюдение им некоторых соглашений;
4) принудительное разоружение посредством комбинации дипломатического давления и применения силы;
5) воздействие на крупнейшие уранодобывающие компании и страны—поставщики уранового сырья.

Ключевой идеей этой политики является лишение любых стран, реально или теоретически претендующих на приобщение к «ядерному клубу», всех возможностей осуществить эту задачу, остановить продвижение к ней на возможно более ранних этапах, причем, если понадобится и окажется возможным, то при помощи силы.

Идея «саморазоружения» и ее эффективность

С середины 1990-х годов военных аналитиков США привлекала идея «освоить» и начать «тиражировать» сценарий «ядерного саморазоружения» пороговых стран. В этом смысле особый интерес вызывал пример Южно-Африканской Республики[23]. В 1974 году эта страна начала тайную разработку ядерного оружия якобы в ответ на возможную угрозу со стороны соседних стран (Анголы и Мозамбика), активно сотрудничавших с Советским Союзом[24]. Но в результате ослабления международной напряженности в конце 1980-х годов, распада СССР и политической эволюции самой ЮАР потребность в ядерном оружии — даже и формальная — отпала. В 1990 году новое руководство страны во главе с Фердинандом де Клерком согласилось «разоружиться» на основе компромисса с МАГАТЭ. В 1991 году компоненты для производства ядерных боезарядов были ликвидированы самими южноафриканскими властями. Международное сообщество согласилось оставить ЮАР два легководных и один исследовательский реактор, а также несколько предприятий по пилотному обогащению урана. Впервые целая страна согласилась отказаться от приобретения ЯО под международным контролем.

Однако африканский опыт «ядерного саморазоружения» остался уникальным[25]. Между тем требовалось найти средства пресечения попыток тех или иных стран приобрести ядерный статус. В таких условиях администрация У. Клинтона выдвинула идею «выкупа» военных ядерных программ у «опасных» государств.

Первым объектом такой политики стал Алжир. В 1980-х годах он начал строительство мощного ядерного центра в местечке Айн-Уссер (горы Атлас)[26]. Этот шаг вызвал озабоченность у международного сообщества: Алжир не являлся участником ДНЯО и его атомные объекты не были поставлены под гарантии МАГАТЭ. В таких условиях с мая 1991 года Вашингтон добивался от Алжира присоединения к международным соглашениям в сфере нераспространения ЯО. В 1995 году Алжир присоединился к ДНЯО и Договору о создании безъядерной зоны в Африке, а 30 марта 1996 года заключил соглашение о гарантиях в МАГАТЭ. США со своей стороны согласились с беспрепятственным развитием мирной атомной энергетики этой страны.

Похожую схему Европейский Союз реализовал в отношении Румынии. Еще в 1970-е годы эта страна овладела ЗЯТЦ и создала серию ядерных центров. После свержения режима Николае Чаушеску в 1989 году появились сообщения о том, что Румыния осуществляла военную ядер-

ную программу. 17 июня 1992 года страны ЕС призвали Бухарест поставить все ядерные объекты под гарантии МАГАТЭ и уничтожить «чувствительное» оборудование на атомных объектах. На реализацию этой деятельности МАГАТЭ оказало Бухаресту финансовую помощь в размере 1,5 млн долл. К апрелю 1994 года правительство Иона Илиеску выполнило эти условия, что подтвердила специальная инспекция МАГАТЭ. После нее Румыния восстановила деятельность своих ядерных центров в перепрофилированном виде и возобновила производство тяжелой воды.

На рубеже 2003–2004 годов кампания за принудительное разоружение авторитарных режимов дала результаты в Ливии. Существует как минимум две версии объяснения причин резкого изменения ситуации вокруг этой страны. Американские политики уверяют: ливийское правительство «просто испугалось», что США нападут на Ливию, как они напали на Ирак весной 2003 года под предлогом борьбы с распространением ОМП[27]. Западноевропейские дипломаты утверждают, что позиция Триполи стала меняться в результате усилий Евросоюза «интегрировать» Ливию в свои торгово-экономические связи. Но как бы то ни было, 19 декабря 2003 года Триполи заявил о готовности ликвидировать под контролем МАГАТЭ программы создания ОМП[28]. На протяжении весны—лета 2004 года эти обещания были выполнены. Страны ЕС и США отменили введенные в 1986 году санкции против Ливии.

Окрыленные успехом дипломаты стран ЕС по согласованию с американскими предприняли серию попыток применить тактику «сдвоенного воздействия» в отношении Ирана. В 2002–2004 годах ситуация вокруг ядерных экспериментов этой страны обострилась. Чиновники МАГАТЭ заговорили о том, что Тегеран нарушает условия Соглашения о гарантиях с агентством 1974 года. Используя эти заявления, администрация Дж. Буша-младшего, полагая, что победа в Ираке развязывает ей руки для новой силовой акции на Среднем Востоке, стала вести дипломатическую подготовку войны против Ирана. Однако страны ЕС, самые крупные из которых выступали против нападения США на Ирак, также критически относились и к планам войны с Тегераном. Они настаивали на применении к Ирану переговорного подхода, несмотря на сложность ведения диалога с иранским руководством. Желая представить альтернативу американской версии контрраспространения, страны «евротройки» (Франция, Британия и Германия) от имени ЕС предложили идею *«выкупа»* у Ирана его ядерной программы.

Консультации между ЕС и Ираном начались еще в 2002 году. 30 августа 2003 года Евросоюз обратился к Тегерану с призывом возобновить

нормальное сотрудничество с МАГАТЭ и подписать Дополнительный протокол МАГАТЭ 1997 года[29]. 15 ноября 2004 года страны ЕС и Иран заключили в Париже Предварительное соглашение на уровне экспертов[30]. Тегеран обязался приостановить работы по обогащению урана, а Европейский Союз подтвердил готовность к техническому сотрудничеству, в том числе — поставкам реактора на легкой воде. «Евротройка» также пообещала в течение полугода представить детальный план урегулирования конфликта вокруг ядерной программы Ирана. 22 ноября 2004 года Тегеран заявил о прекращении работ по обогащению урана, и спустя несколько дней этот факт подтвердили представители МАГАТЭ.

Первоначально США относились к подобным инициативам скептически: Вашингтон не исключал, что в крайнем случае возможны даже разоружающие удары по первым ядерным объектам Ирана. Но по мере продвижения успехов европейской и российской дипломатии (и одновременно — растущих неудач Соединенных Штатов в Ираке) в Америке заговорили, что иранскую проблему невозможно решить силой[31]. К началу 2005 года заявления американской администрации по Ирану стали менее угрожающими, чем в период 2003–2004 годов.

Поворот в иранской политике Соединенных Штатов наступил, когда Вашингтон перешел от угроз в адрес Тегерана к попыткам «надавить» на него через ЕС. В ходе европейского турне 31 января — 4 февраля 2005 года госсекретарь США К. Райс заявила, что Белый дом занят выработкой совместного с Евросоюзом подхода к урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы[32]. С аналогичными заявлениями выступил 22 февраля 2005 года и президент Соединенных Штатов Дж. Буш[33]. В начале марта 2005 года представитель президента США С. Маклеллан, а затем и госсекретарь США К. Райс заявили, что Соединенные Штаты готовы принять участие в европейском проекте «выкупа» ядерной программы Тегерана. Вашингтон предложил Ирану разрешить закупки американских авиационных двигателей и авиационного электронного оборудования, а также поддержать его вступление во Всемирную торговую организацию[34].

Весной 2005 года свою стратегию в иранском вопросе модифицировала и Россия. 27 февраля 2005 года Москва подписала договор с Тегераном о строительстве Бушерской АЭС и возвращении в Россию отработанного ядерного топлива с будущей станции. Во время визита в Иерусалим 28 апреля 2005 года В. Путин заявил, что Россия выступает за отказ иранской стороны от создания технологий ядерного цикла и постановку под контроль МАГАТЭ атомных объектов Ирана[35]. 3 ноября 2005 года Россия предложила Ирану создать совместное предприятие по обогаще-

нию урана под контролем МАГАТЭ. Возникла перспектива компромисса по иранской проблеме между странами ЕС, США и Россией.

Однако в Иране произошла смена власти. 26 июня 2005 года президентом страны был избран М. Ахмадинежад, вскоре после чего Тегеран отказался от рассмотрения новых пожеланий стран ЕС. (Тем более что на переговорах в Женеве 25 мая 2005 года «евротройка» так и не представила план урегулирования иранской проблемы.) 3 августа 2005 года министры иностранных дел Британии, Германии и Франции предъявили Ирану ноту, в которой указывалось, что возобновление работ по переработке урана будет означать конец переговоров. В ответ 8 августа 2005 года Тегеран возобновил обогащение урана и вышел из режима переговоров с «евротройкой». Возникла опасность проведения военной операции США и/или Израиля против Ирана.

4 февраля 2006 года Совет управляющих МАГАТЭ передал «иранское досье» Совету Безопасности ООН, к работе которого присоединилась и Германия. 1 июня 2006 года от имени СБ ООН Тегерану был предложен «Венский пакет» инициатив, которые по сути повторяли предложения «евротройки». Но 22 августа 2006 года Иран отказался от этой инициативы, начал наращивать темпы работ по обогащению урана и строить завод по производству тяжелой воды в городе Араке. На протяжении 2006–2008 годов СБ ООН принял три резолюции (№ 1737, 1747, 1803), которые запретили поставлять Ирану материалы, технологии и оборудование для его ядерной программы. Эксперты заговорили о возможности введения полноценной системы международных санкций против Ирана.

Первоначально санкции подвигли правительство М. Ахмадинежада занять более конструктивную позицию на переговорах. 27 августа 2007 года Иран дал разъяснения МАГАТЭ относительно проведенных в прошлом экспериментов по выделению плутония из атомного топлива, и международное агентство официально закрыло иранское «плутониевое досье». Эксперты полагали, что решение «плутониевого вопроса» станет прообразом для будущего соглашения по иранской программе обогащения урана.

Но между постоянными членами СБ ООН начались разногласия относительно дальнейших шагов в отношении Ирана. США стали настаивать на принятии новой резолюции, допускающей применение силы в случае отказа Ирана свернуть программу обогащения урана. Россия, КНР и, отчасти, Франция стали выступать за систему «обратимых» санкций, действие которых приостанавливается в случае приостановки Ираном процесса обогащения урана. Процесс переговоров о «выкупе» иранской

программы обогащения урана оказался парализованным. Мирный вариант контрраспространения в случае с Ираном не сработал.

Планы учреждения внешнего управления над ядерными потенциалами

На фоне дискуссии о приоритетности силовых или дипломатических вариантов контрраспространения в американском аналитическом сообществе стала обсуждаться идея введения *«внешнего управления»* над ядерными арсеналами проблемных стран (*failing / failed states*). Смысл дискуссии состоял в том, чтобы оценить, насколько полезно и реалистично было пробовать поставить под международный, прежде всего американский, контроль атомные объекты (склады ядерных боеприпасов, полигоны, пусковые установки, АЭС и сопряженные с ними научные и промышленные производства) зарубежных государств. Имелись в виду, конечно, страны, в силу разных причин не способные самостоятельно обеспечить безопасность своих атомных объектов.

В начале 2000-х годов к числу таковых относился прежде всего Пакистан, ставший де-факто ядерным государством в 1998 году, но оставшийся политически неустойчивым. Эта страна пользовалась, однако, симпатиями США, и ее руководителей нельзя было компрометировать введением режима «внешнего управления». Поэтому сама по себе эта ясная (для американцев) и полезная (для них же) идея не могла служить основой официальной позиции Вашингтона. Требовались более тонкие решения, как, например, «дозированное участие» Америки в управлении ядерными объектами иностранных государств. Не имея возможности заставить Пакистан отказаться от уже приобретенного им ядерного статуса, Соединенные Штаты стремились максимально его девальвировать.

Американские аналитики высказывали опасения по поводу возможности территориального распада Пакистана под давлением антиправительственной борьбы местной радикальной исламской оппозиции. На пакистанской земле действовали формирования талибов, вытесненных из соседнего Афганистана в ходе второй афганской войны 2001–2002 годов. Базировавшиеся в Пакистане талибы и местные пакистанские экстремисты были связаны с международными террористическими сетями. Пакистанские радикалы не раз заявляли о намерении силой захватить ядерные объекты Пакистана (некоторые из них были расположены недалеко от пакистано-афганской границы) и получить доступ к ЯО. Тревогу вызывали и сообщения о «коррупционных утечках» из Пакистана — случаях незаконной передачи пакистанских технологий, обору-

дования и материалов атомного профиля в другие страны. Скандал вокруг «дела Хана» (нелегальные поставки пакистанских ядерных технологий в Иран, Ливию и КНДР)[36] показал, что подобные опасения обоснованы[37]. Американские специалисты заговорили о необходимости «помочь» президенту П. Мушаррафу сохранить контроль над ядерным арсеналом[38].

Консультации между США и правительством П. Мушаррафа начались в 2000 году. В это время президент Пакистана учредил Систему национального командования (*National Command Authority — NCA*), в состав которой вошли президент, руководители военных ведомств и командующие родами войск пакистанской армии. П. Мушарраф обратился к США с просьбой поставить для NCA системы «PAL» (*Permissive Action Links*), которые блокируют процесс применения ЯО и могут быть отключены только с помощью сложных цифровых кодов с санкции президента. Но администрация У. Клинтона отказалась предоставить подобные системы, опасаясь, что сам факт их поставок будет означать косвенное признание ядерного статуса Пакистана[39].

После начала антитеррористической операции Соединенных Штатов в Афганистане контакты между Исламабадом и Вашингтоном расширились. В октябре 2001 года во время визита в Пакистан госсекретаря США К. Пауэлла стороны обсуждали различные варианты оказания помощи правительству П. Мушаррафа в сфере обеспечения безопасности хранения пакистанского ЯО. Американские эксперты прорабатывали вопрос о поставках Пакистану (1) передатчиков, с помощью которых правительства обеих стран могли бы отслеживать перемещение пакистанских ядерных боезарядов, или (2) систем, позволяющих при наличии соответствующего технического персонала уничтожать ЯО в случае возникновения реальной опасности для пакистанских ядерных объектов[40]. В тот момент П. Мушарраф отклонил предложения администрации Дж. Буша. Однако в СМИ появились сообщения о том, что в критической ситуации США на основании договоренности с Исламабадом могут вывезти пакистанское ЯО из страны[41].

С начала 2004 года обсуждение пакистанской проблемы вышло на новый уровень. Мотив возможной помощи Пакистану в охране его ядерных объектов зазвучал в заявлениях Госдепартамента, Минобороны и даже президента США[42]. Конкретные аспекты американо-пакистанского взаимодействия начали прорабатываться в марте 2004 года, когда американские военные проводили операцию «Буря в горах» в приграничном с Пакистаном и Афганистаном районе. В июне 2004 года Пакистану был предоставлен статус «Major Non-NATO Ally»[43]. Пакистанская

тематика звучала в кулуарах Берлинской конференции по Афганистану (31 марта 2004 года) и Стамбульского саммита НАТО (28–29 июня 2004 года). Американские СМИ сообщили о том, что 22 ноября 2004 года было подписано американо-пакистанское соглашение, согласно которому Пентагон получил право участвовать в боевых действиях на пакистанской территории[44].

Ситуация осложнилась после того, как 14 февраля 2006 года талибы провозгласили независимость северо-западной провинции Пакистана — Вазиристана. Во время визита Дж. Буша в Исламабад 4 марта 2006 года президенты обеих стран договорились об усилении взаимодействия в сфере предотвращения попадания ОМП в руки террористов, сотрудничества разведывательных служб, помощи Соединенных Штатов пакистанским силам специального назначения и развитии контактов в сфере мирного использования атомной энергетики. И все же официально передать свой ядерный арсенал под контроль американцев Пакистан был не готов. Летом 2007 года Исламабад жестко отреагировал на заявления американских сенаторов Барака Обамы и Рудольфа Джулиани о возможности проведения военной операции США в Вазиристане[45]. Официальный Вашингтон поспешил отмежеваться от этих заявлений.

Но удержать контроль над ситуацией в Пакистане правительство П. Мушаррафа не смогло. 3 ноября 2007 года в стране было введено чрезвычайное положение. Однако в стране набирала силу поддерживаемая США демократическая оппозиция во главе с бывшим премьер-министром Беназир Бхутто, которая требовала отмены этого режима. Гибель Б. Бхутто в результате теракта 27 декабря 2007 года привела к политическому кризису. Одновременно 15 января 2008 года пакистанская армия потерпела поражение в битве у Форта Сарарога и не могла проводить эффективные операции в Вазиристане. Под воздействием этих тенденций 18 августа 2008 года П. Мушарраф был вынужден добровольно уйти в отставку.

Приход к власти нового президента Асифа Али Зардари сначала привел к ухудшению американо-пакистанских отношений. 23 сентября 2008 года новый президент в своем программном выступлении перед парламентом осудил попытки США проводить самостоятельные операции в Вазиристане. Осенью 2008 года между пакистанскими пограничниками и американскими военнослужащими произошло несколько вооруженных стычек. Но после терактов в Мумбае 26–29 ноября 2008 года, в которых Индия подозревала укрывшихся в Пакистане талибов, позиция Зардари смягчилась. С января 2009 года американские военные с согласия Исламабада наносят удары по позициям талибов в Пакистане. Уместно ожидать возобновления переговоров о возмож-

ности, по крайней мере, косвенной помощи США по охране пакистанских ядерных объектов.

«Пакистанские дискуссии» задают новую плоскость понимания ядерного конфликта. Во второй половине XX века единственно возможным его сценарием считалось столкновение сверхдержав. В начале 2000-х заговорили о возможности использования ЯО транснациональными террористическими сетями. Сегодня предметом анализа становятся сценарии возникновения конфликтов вследствие распада слабых ядерных государств, захвата их ядерного потенциала транснациональными субъектами, а также войн, вызванных сопротивлением попыткам силой установить внешний контроль (международную опеку) над ядерными объектами тех или иных государств.

Сила как инструмент нераспространения

Неудачи мирного варианта контрраспространения усилили позиции сторонников силового изъятия ОМП у «опасных» режимов. Концепция контрраспространения предполагает, что в критической ситуации против «нелегальных» ядерных субъектов можно применить силу. Однако превентивные удары могут перерасти в региональный конфликт с использованием ОМП. Поэтому силовой вариант контрраспространения представляет собой *комбинацию дипломатического давления, силовых угроз и избирательного использования силы.*

Классическим примером такой политики стал Ирак. В ходе проведенной в 1991 году операции «Буря в пустыне» авиация союзников нанесла ракетно-бомбовые удары по незагруженному реактору «Исис» и исследовательским лабораториям в комплексе аль-Тувайта и опытному полигону аль-Ассер. Силы международной коалиции уничтожили иракские уранодобывающие шахты и опытные предприятия по обогащению урана. По условиям подписанного 3 марта 1991 года перемирия Багдад обязался выполнить все требования Совета Безопасности ООН, включая ликвидацию запасов предприятий по производству ОМП. С этого времени основные усилия Вашингтон сосредоточил на разоружении Ирака под контролем ООН и МАГАТЭ. На протяжении 1990-х США наносили ракетно-бомбовые удары по Ираку всякий раз, когда Багдад отказывался от сотрудничества со Специальной комиссией ООН.

И демократы, и республиканцы видели путь к решению иракской проблемы в свержении режима Саддама Хусейна. Дискуссионным оставался лишь вопрос об инструменте разоружения Ирака. Демократы настаивали на ограниченных авиаударах по местам возможного производства иракского ОМП (что и было осуществлено во время операции

«Лис в пустыне» в декабре 1998 года), а также на широкой поддержке иракской оппозиции. Республиканцы выступали за полномасштабную военную акцию, последствием которой будет свержение С. Хусейна и оккупация всей иракской территории (как это и произошло во время военной кампании весной 2003 года). Найти ОМП в Ираке специальная комиссия во главе с Дэвидом Кэйем, однако, не смогла. Это привело к частичной дискредитации американской стратегии контрраспространения.

На первых порах аналитики опасались, что после успешного (как казалось в 2003 году) окончания войны в Персидском заливе администрация Дж. Буша начнет тиражировать иракскую схему на другие регионы. Но конфликт с другими «нарушителями» мог обернуться реальной войной с использованием ОМП. Поэтому в отношении иных авторитарных режимов Вашингтон выбрал тактику «сдвоенного давления» — чередование угроз и переговоров ради достижения выгодного США компромисса.

Классическим примером такого воздействия стала КНДР[46]. 30 января 1992 года КНДР подписала соглашение о гарантиях с МАГАТЭ. Летом 1992 года представители МАГАТЭ посетили реакторы и строящуюся радиохимическую лабораторию в ядерном центре в Йонбоне. Результаты этих инспекций показали, что Пхеньян проводит широкую ядерную деятельность[47]. Особую тревогу вызвал отказ КНДР допустить инспекторов МАГАТЭ к ядерным хранилищам в Йонбоне, в которых, как полагали, мог находиться плутоний. 25 января 1993 года Совет управляющих МАГАТЭ потребовал проведения дополнительных инспекций на ядерные хранилища в Йонбоне. В ответ КНДР запретила дальнейшие инспекции МАГАТЭ и 12 марта 1993 года заявила о намерении выйти из ДНЯО.

В июне 1993 года в Женеве начались переговоры между США и КНДР о допуске инспекторов МАГАТЭ на северокорейские ядерные объекты. Пхеньян согласился пойти на частичные уступки — в частности, заморозил свое решение о выходе из ДНЯО. Но 15 мая 1994 года представители КНДР сообщили о начале процесса замены графитовых стержней реактора без наблюдения со стороны МАГАТЭ. 2 июня 1994 года Совет управляющих МАГАТЭ вновь обратился в Совет Безопасности ООН, заявив, что КНДР уклоняется от своих обязательств по ДНЯО[48]. Администрация У. Клинтона стала рассматривать возможность нанесения ударов по северокорейским ядерным объектам.

Угрозы применения силы оказались действенными. 21 октября 1994 года США и КНДР подписали Рамочное соглашение о принципах урегулирования конфликта вокруг северокорейской ядерной програм-

мы[49]. Пхеньян пообещал вернуться в ДНЯО, допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты и заменить реакторы—наработчики плутония менее опасными легководными реакторами. Соединенные Штаты обязались не угрожать применением ЯО против КНДР, поставить совместно с Японией, Южной Кореей в Северную Корею легководные реакторы и с этого времени снабжать КНДР мазутом. Механизмом для этих поставок стала созданная 9 марта 1995 года корпорация КЕДО (Организация по содействию развитию энергетики Кореи).

Но США не поставили обещанные легководные реакторы. Северная Корея продолжала незарегистрированные эксперименты по обогащению урана и выделению плутония из ядерного топлива. 29 января 2002 года Дж. Буш в своем выступлении перед Конгрессом причислил Северную Корею к странам «оси зла», которые финансируют терроризм и незаконно создают ОМП. В ответ КНДР удалила из страны инспекторов МАГАТЭ, возобновила работу реактора—накопителя плутония в Йонбоне, заявила о принципиальном намерении создать ЯО и повторно вышла из ДНЯО. Американские эксперты вновь заговорили о возможности нанесения ударов по ядерным объектам КНДР.

Летом 2003 года американская администрация стала добиваться не только свертывания северокорейской ядерной программы, но и ликвидации уже созданной в КНДР ядерной инфраструктуры. Главным средством давления на Пхеньян в Вашингтоне избрали угрозы, которые вызывали опасения в соседних с Северной Кореей странах — Китае, России, Южной Корее и даже Японии. По настоянию пяти последних вопрос о северокорейской ядерной программе был помещен в фокус внимания специально созданного для этого переговорного механизма — нерегулярно собиравшейся конференции шести держав[50]. Один из вариантов, который рассматривался (но не был принят) в ее рамках, предусматривал ликвидацию ядерных материалов, имевшихся в КНДР, под контролем комиссии шести держав и/или МАГАТЭ[51].

19 сентября 2005 года США и Северная Корея подписали Пекинскую декларацию, предусматривавшую отказ Северной Кореи от продолжения ядерной программы и обязательства Соединенных Штатов вывести ЯО с территории Корейского полуострова. США и Республика Корея заявили об отсутствии у них намерений нападать на КНДР и подтвердили обещание поставить ей реактор на легкой воде[52].

Но между сторонами начались конфликты из-за очередности обозначенных в Пекинской декларации шагов, и 10 ноября 2005 года Пхеньян отказался выполнять условия Пекинской декларации. 23 ноября 2005 года был ликвидирован консорциум КЕДО. 5 июля 2006 года Северная Ко-

рея провела серию ракетных испытаний, выйдя из принятого на себя в 1999 году моратория на их проведение. 9 октября 2006 года КНДР провела испытания ядерного взрывного устройства. Такой шаг КНДР привел к сближению позиций всех участников шестисторонних переговоров. 14 октября 2006 года Совет Безопасности ООН проголосовал за резолюцию № 1718, вводившую санкции в отношении Северной Кореи.

Это подвигло КНДР к уступкам. 12 февраля 2007 года участники возобновившихся шестисторонних переговоров подписали Пекинское соглашение, по условиям которого КНДР обязалась остановить реактор в Йонбоне и извлечь из него топливные стержни в обмен на поставки топливного мазута. Летом 2007 года Россия помогала возвратить КНДР 25 млн долл., которые в ноябре 2005 года были заблокированы США. Это привело к смягчению позиции Северной Кореи: она допустила инспекторов МАГАТЭ к своим ядерным объектам. Летом 2007 года Пхеньян приостановил работу реактора в Йонбоне, а спустя год взорвал его охладительную башню. 12 июля 2008 года КНДР договорилась с МАГАТЭ о демонтаже к концу октября реактора—наработчика плутония.

Однако Северная Корея обвинила США и Японию в несоблюдении условий Пекинского соглашения и приостановила эти работы. 5 апреля 2009 года КНДР запустила ракету-носитель, которую США и Япония угрожали сбить с помощью систем ПРО. В ответ на эти угрозы 14 апреля 2009 года КНДР удалила из страны инспекторов МАГАТЭ и возобновила свою ядерную программу. 25 мая 2009 года Северная Корея провела второе испытание ядерного взрывного устройства, а затем произвела пуски баллистических ракет малой дальности. Эксперты заговорили о «третьей ядерной тревоге» на Корейском полуострове с угрозой перерастания ее в военный конфликт.

Важно отметить, что Вашингтон говорит именно о *разоружении* Северной Кореи, а не о *контроле* за ее ядерными программами. О контроле речь шла в 1994 году, когда Пхеньян обязался постепенно вернуться в режим ДНЯО и поставить свои ядерные материалы под контроль МАГАТЭ. Напротив, начиная с VII Обзорной конференции по ДНЯО (май 2005 года) представители США вновь заговорили о необходимости лишить атомных технологий такие страны, как Иран и КНДР[53]. Механизмом для воплощения этого «лишения» могли бы стать замораживание и последующий демонтаж ядерной инфраструктуры КНДР под наблюдением инспекторов МАГАТЭ. Однако Северная Корея не желает принимать такую повестку дня на переговорах.

Северокорейский кризис продемонстрировал пределы силового варианта контрраспространения. По-сути, он упирается в проблему, как

наносить «разоружающие» удары по государству, уже обладающему запасами ОМП. Но неудачные дипломатические маневры могут привести к тому, что силовое разоружение станет рассматриваться как единственная альтернатива «надоевшим» угрозам. Это повышает опасность перерастания стратегии контрраспространения в вооруженный конфликт с использованием ОМП.

Роль транснационального бизнеса в вопросах распространения

Проведение стратегии контрраспространения осложнено действиями международных компаний, специализирующихся на разработке месторождений атомного сырья и его сбыте, а также продажах технологий и оборудования для мирного использования расщепляющихся материалов. Рост напряженности на мировом рынке традиционных энергоносителей (нефти и газа) стимулировал спрос на атомную энергию и соответствующее сырье[54]. В таких условиях стал заметен рост цен на урановом рынке — с января 2004 по июнь 2009 года они увеличились с 14 до 69 долл. за фунт, достигнув высшей отметки с 1981 года. Эти тенденции формируют благоприятную среду для заключения «полулегальных» сделок на урановом рынке.

Захватившие на нем преобладающие позиции транснациональные корпорации США, Канады, Австралии, ЮАР и Франции — такие гиганты, как, например, «Камеко» (*Cameco*), «Когема» (*Cogema*), «ЭРА» (*ERA*), «ВМС» (*WMC*), все меньше руководствуются в своей коммерческой деятельности интересами государств, которые были для них «исходно родными». Интересы корпораций перестают совпадать с национальными интересами, становясь подлинно транснациональными, то есть не знающими границ. Бизнес выходит из-под контроля «своих» правительств и начинает отстаивает собственные коммерческие приоритеты. Именно в этом столкновении базовых устремлений власти и бизнеса — причина громких скандалов 2003–2006 годов.

Во-первых, речь идет о нелегальных поставках международными компаниями пакистанских ядерных технологий. В связи с «делом Хана» упоминались и такие компании, как китайская «Шэньян эркрафт корпорэйшен» (*Shenyang Aircraft Corporation*), турецкая «Электроник контрол алетлери» (*Elektronik Kontrol Aletleri*), европейский концерн «Юренко» (*Urenco*), а также некоторые компании Малайзии и ЮАР. Во-вторых, в марте 2004 года США обвинили дубайскую компанию «Эс-Эм-Би компьютерз» (*SMB Computers*) в незаконном транзите пакистанских ядер-

ных технологий[55]. Партнерами этой фирмы оказались компании «Эпсон» (*Epson*), «Палм» (*Palm*), «Асер» (*Acer*) и «Самсунг» (*Samsung*). В-третьих, в январе 2005 года появились признания генерального управляющего транснациональной компании «Россинг ураниум лимитид» (*Rossing Uranium Limited*) Г. Дэвидсона, что 15% ее акций принадлежит Ирану[56]. Контрольный пакет ее акций принадлежит англо-австралийским урановым гигантам «Рио-Тинто» (*Rio Tinto*), что позволяет подозревать «капитанов» международного уранового бизнеса в теневом сотрудничестве с «режимами-изгоями».

Острота столкновений вокруг этих громких дел лишь оттеняла сложности установления реального контроля международных организаций и правительств ведущих ядерных держав на рынке ядерного топлива[57]. Сомнения на этот счет особенно усилились после разоблачений в 2004 году по «делу Хана», до которого в США, западноевропейских странах и России в целом было принято думать, что государственный контроль в сфере обмена ядерными материалами, технологиями и атомным сырьем более или менее надежен. Теперь подозрения вызывают даже сделки о продажах ядерных материалов в такие доказавшие свою благонадежность страны, как Япония и Южная Корея[58].

Расширение интереса к использованию расщепляющихся материалов происходит в результате технологического прогресса, достижения которого позволяют резко повысить эффективность использования атомного топлива в мирных целях. В России эксперты размышляют о возможности перехода от атомных к термоядерным электростанциям, действующим на основе магнитной системы удержания плазмы. В Японии возобновлены прекращенные в 1995 году работы по введению в строй нового экспериментального реактора на быстрых нейтронах «Мондзю», производительность которого теоретически может оказаться многократно больше, чем у реакторов, действующих в этой стране сегодня. Строительство новых, более современных реакторов для АЭС запланировано и ведется в Китае, Индии и Японии. Технический прогресс в сочетании с повышением цен на сырье делает рентабельными труднодоступные месторождения в странах Африки, Австралии и Канаде, которые ранее не вызывали интерес. Итогом становится увеличение оборота расщепляющихся материалов, что повышает риск их утечки.

В мире фактически происходит становление сетевого «черного рынка» расщепляющихся материалов. Распространение ядерного оружия приобрело новое — *сетевое* — измерение. В литературе даже возник новый термин «сети распространения» (*proliferation networks*), которым обозначаются нелегальные транснациональные сети, которые (в том

числе через Интернет) занимаются коммерческим распространением расщепляющихся материалов. В такой ситуации американские эксперты представили администрации Дж. Буша в начале 2005 года рекомендации усилить контроль над прохождением коммерческих ядерных сделок и увеличить ассигнования на обеспечение физической безопасности объектов ядерной индустрии[59].

В годы биполярной конфронтации мировой атомный рынок был относительно узок. На нем действовало ограниченное число крупных компаний, деятельность которых более тщательно (но, конечно, не идеально) контролировалась правительствами ядерных держав. Однако оказалось, что транснационализация производств стала разрушать эту систему. «Старые» компании были гораздо менее транснациональны, чем нынешние. И «старые» механизмы ограничений были прежде всего рассчитаны на регулирование силами отдельных государств. В условиях современного уровня транснационализации рынка расщепляющихся материалов прежние ограничители перестают действовать. В итоге, хотя «корень зла» от распространения ядерного оружия привычно искать в Тегеране или Пхеньяне, на самом деле центрами ядерного распространения делаются Йоханнесбург, Сидней и Амстердам — города, в которых заключается основная масса сделок по продажам расщепляющихся материалов.

Адекватных современной ситуации на атомным рынке механизмов контроля над ним нет. Международные режимы ограничения экспорта и институты (Группа ядерных поставщиков, Комитет Цангера) не подкреплены механизмами принуждения. Силовые санкции за их нарушения фактически нельзя применить ни к странам, ни, тем более, к независимым международным компаниям. Надежды, возлагавшиеся в этом смысле на созданную в 2001 году Всемирную ядерную ассоциацию, тоже оказались преувеличенными. В ее состав вошли компании, доля которых в мировом производстве атомной энергии и урана составляет 50% и 90% (производители ядерного топлива, компании, специализирующиеся на транспортировке радиоактивных отходов и выводе из эксплуатации атомных объектов). Но ассоциация способна осуществлять мониторинг ядерного рынка, а не его регулирование в интересах международной безопасности[60]. Любые попытки предложить ужесточить ее полномочия вызвали энергичное противодействие уранодобывающих государств и влиятельных лоббистских групп.

Новая ситуация на рынке расщепляющихся материалов привела к развитию силовых механизмов в рамках стратегии контрраспространения. 31 мая 2003 года программа «Глобального партнерства» была до-

полнена предложенной США Инициативой безопасности в области распространения ОМП (*Proliferation Security Initiative — ИБОР*). Эта программа декларировала необходимость проведения силовых мер по предотвращению попадания ОМП в руки «агрессивных режимов». Ключевым элементом данной политики должен был стать принудительный досмотр «подозрительных» судов.

Но активизация расследований экспортной деятельности тех или иных государств может привести к непредсказуемым последствиям. Нельзя исключать обвинения некоторых стран в содействии распространению ядерных технологий и обоснованию необходимости применения против них санкций или силы. В этом смысле борьба с распространением расщепляющихся материалов пока ведет к усилению силового компонента стратегии контрраспространения.

Стратегия контрраспространения складывается как доктрина превентивного изъятия ОМП у потенциально опасных (с точки зрения США) режимов. Фактически речь идет о «принудительном разоружении» государств, которые стремятся получить доступ к ядерным, химическим и биологическим технологиям. Контрраспространение превратилось в широкий комплекс мер, в число которых входят и военно-силовые акции, и дипломатическое принуждение к отказу от ядерных программ, и контроль над поставщиками расщепляющихся материалов, и борьба с криминальными сетями «черного рынка» ядерных технологий. Все это означает очень серьезную трансформацию традиционной системы нераспространения ядерного оружия, если понимать под таковой совокупность международных режимов второй половины XX века.

Примечания

[1] См., например: *Levi M. A., O'Hanelon M.* The Future of Arms Control. Washington: Brookings Institution Press, 2005; *Braun Ch., Chyba Ch. F.* Proliferation Rings: New Challenges to the Nuclear Nonproliferation Regime // International Security. 2004. Vol. 29. No 2. P. 5–49; *Perkovich G.* Bush's Nuclear Revolution. A Regime Change in Nonproliferation // Foreign Affairs. 2003. P. 2–8; *Кокошин А. А.* Ядерные конфликты в XXI веке (типы, формы, возможные участники). М.: Медиа-Пресс, 2003; Ядерное сдерживание и нераспространение / Под ред. А. Арбатова, В. Дворкина. М.: Московский центр Карнеги, 2005.

[2] Термин *«нераспространение ядерного оружия»* тождествен американскому «nuclear non-proliferation», поскольку он включает в себя не только контроль над оборотом ядерных боезарядов и их носителей, но также — расщепляющихся материалов и ядерных технологий. Речь идет о *комплексе мер, предпринимаемых в целях нераспространения ЯО и соответствующих комплексности самого ядерного топливного цикла.*

[3] См.: *Levite A. E.* Never Say, Never Again: Nuclear Reversal Revisited // International Security. 2002–2003. Winter. Vol. 27. No 3. P. 59–88.

[4] Системная история международных отношений. 1918–2003: В 4 т. / Под ред. док. полит. н. А. Д. Богатурова. М.: НОФМО, 2003. С. 334–335.

[5] Подробнее см. нашу работу: *Фененко А. В.* Теория и практика контрраспространения во внешнеполитической стратегии США. М.: Изд-во ЛКИ, 2007.

[6] International Counterproliferation Program. Официальный сайт: http://www.nti.org; *Feinstain L., Slaughter A.-M.* A Duty to Prevent // Foreign Affairs. 2004. Vol. 84. No 1. P. 136–150.

[7] См.: *Deutch J.* A Nuclear Posture for Today // Foreign Affairs. 2005. Vol. 84. No 1. P. 49–60.

[8] См.: The Origin of U.S. Counterproliferation Policy. Air Force Counterproliferation Center. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.au.af.mil; *Ellis J. D.* The Best Defense: Counterproliferation and U.S. National Security // The Washington Quarterly. 2003. Vol. 26. No 2. P. 115–133.

[9] *McColl A.* Is Counterproliferation Compatible with Nonproliferation? Rethinking the Defense Counterproliferation Initiative // Aerospace Power Journal. 1997. Spring. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.airpower.maxwell.af.mil; *Roberts B.* Proliferation and Nonproliferation in the 1990s: Looking for the Right Lessons // Nonproliferation Review. Vol. 6. No. 4 (Fall 1999). P. 70–82.

[10] *Albright D.* Preventing Illegal Exports: Learning from Case Studies. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.isis-online.org; *Etzioni A.* Enforcing Nuclear Disarmament // National Interest. 2004/2005. Winter. Issue 78. P. 81–89.

[11] *Perkovich G., Methews J. T., Cirincione J., Goetemoeller R., Wolfstall J. B.* Universal Compliance. A Strategy for Nuclear Security / Carnegie Endowment for International Peace. 2005. March. P. 71–78.

[12] *Caldicott H.* The New Nuclear Danger. New York; London: The New York Press, 2004.

[13] Разницу в понятиях можно уяснить при помощи исторических сравнений. Если бы в 1941 году США нанесли упреждающий удар по японскому флоту за два-три дня до Перл-Харбора, то такую операцию можно было бы обозначить словом «*preemptive*». Но если бы в 1961 году США подвергли бомбардировке создававшиеся тогда объекты ядерной инфраструктуры КНР, то это было бы «превентивным» (*preventive*) действием — по сути дела «профилактическим». Ведь Китай, в отличие от императорской Японии, не собирался наносить удар по Соединенным Штатам. Значит, с их стороны речь могла идти лишь о предупреждении потенциальной угрозы, которой мог оказаться (или не оказаться) для США ядерный Китай. Дискуссия о «профилактических» или «упреждающих» ударах — это спор о том, какие методы следует считать легитимными для обороны: (1) применение силы только по готовящемуся к агрессии противнику или (2) уничтожение даже потенциальных угроз, которые могут перерасти или не перерасти в угрозу реальной военной агрессии через несколько лет или десятилетий.

[14] *Schlesinger A. M.* War and the American Presidency. New York; London: W.W. Norton & Company, 2004. P. 21–29.

[15] *Allison G. T.* Nuclear terrorism. The Ultimate Preventable Catastrophe. New York Times Book: Henry Holt and Company, 2004.

[16] Counterproliferation Initiative Presidential Decision Directive PDD/NSC 18. December 1993. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.fas.org/irp/offdocs/pdd18.htm, дата посещения: 30.04.2006.

[17] Полный текст изданной в ноябре 1997 года президентской директивы № 60 (*Presidential Decision Directive 60*) остается закрытым до настоящего времени. Однако в американской печати появились публикации о том, что в директиве может содержаться санкция, подтверждающая возможность применения США ядерного оружия не только в случае прямой военной агрессии против Америки, но даже при угрозе использования против Соединенных Штатов ядерного, химического и биологического оружия. См., например: *Smith J.* Clinton Directive Changes Strategy on Nuclear Arms // Washington Post. 1997. December 7.

[18] The National Security Strategy of the United States of America. September 2002. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.whitehouse.gov; National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.whitehouse.gov. P. 4–5.

[19] См: *Kelly H. C., Levi M. A.* Nix the Mini-Nukes // The Christian Science Monitor. 2002. March 28. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.csmonitor.com/:

Ferguson Ch. D. Mini-Nuclear Weapons and the U.S. Nuclear Posture Review. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.cns.miis.edu.

[20] *Glaser Ch. L., Fetter S.* National Missile Defense and the Future of U.S. Nuclear Weapons Policy // International Security. 2001. Vol. 26. No 1. P. 40–92.

[21] President Announces New Measures to Counter the Threat of WMD [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.whitehouse.gov.

[22] См.: National Security Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction. 2006. February 16. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://politique-etrangere-usa.typepad.com.

[23] *Sagan S.* Why Do States Build Nuclear Weapons? // International Security. 1996/1997. Winter. Vol. 21. No 3. P. 54–86; *Liberman P.* The Rise and Fall of the South African Bomb // International Security. 2001. Fall. Vol. 26. No 2. P. 45–86.

[24] К 1977 году эксперты МАГАТЭ зафиксировали следы ядерных испытаний в пустыне Калахари. В середине 1980-х годов ЮАР, по оценкам российских исследователей, произвела примерно шесть ядерных взрывных устройств, хранящихся, правда, в разобранном состоянии. См.: Ядерное нераспространение / Под ред. В. А. Орлова. М.: ПИР-центр, 2002. Т. I. С. 256; Т. II. С. 6.

[25] Правда, одновременно с ЮАР свои ядерные программы свернули Бразилия и Аргентина. Однако приостановка их ядерных исследований произошла после заключения двустороннего Гвадалахарского соглашения 18 июля 1991 года — без международного воздействия. Кроме того, ни Бразилия, ни Аргентина не вышли на стадию полноценной программы создания ЯО — речь шла только о программе обогащения урана (Бразилия) и выделения плутония из отработанного ядерного топлива (Аргентина).

[26] *Cirincione J., Wolfstal J. B., Raykmar M.* Deadly Arsenals. Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 2002. P. 299–300.

[27] См.: *Black C. R.* Deterring Libya: The Strategic Culture of Muammar Quaddafi. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/cpc-pubs/black.htm, дата посещения: 01.04.2006.

[28] См.: Ежегодник СИПРИ — 2004: Вооружения, разоружения и международная безопасность. М.: Наука, 2005. С. 673–675.

[29] Речь идет о выработанном в сентябре 1997 года «Типовом дополнительном протоколе между [...государствами] и Международным агентством по атомной энергии о применении гарантий».

[30] Communication dated 26 November 2004 received from the Permanent Representatives of France, Germany, the Islamic Republic of Iran and the United Kingdom concerning the agreement signed in Paris on 15 November 2004. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.iaea.org.

[31] См., например: *Venter A. J.* Iran's Nuclear option. Tehran's Quest for the Atom Bomb. Rhiladelphia: Casemate, 2005.

[32] *Secretary Condoleezza Rice.* Remarks With German Chancellor Gerhard Schroeder After Meeting. 31 January 2005. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.state.gov.

[33] President Meets with E.U. Leaders. Brussels. 2005. February 22. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.whitehouse.gov.

[34] Press Briefing by Scott McClellan. 2005. March 3. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.whitehouse.gov; *Secretary Condoleezza Rice.* U.S. Support for the EU. 2005. March 11. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.state.gov.

[35] Заявление для прессы и ответы Президента России В. В. Путина на вопросы по итогам переговоров с Президентом Израиля М. Кацавом. Иерусалим, 2005. 28 апреля. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.ln.mid.ru.

[36] Эти скандальные разоблачения названы «делом Хана» по имени ведущего физика Пакистана Абдул Кадыр Хана, директора исследовательской лаборатории при Пакистанском ядерном институте ядерных исследований и технологий. Хан считается «отцом» ядерной программы Пакистана. Вместе с тем именно он с середины 1990-х годов организовал целую систему нелегальных поставок пакистанских ядерных материалов и технологий в

Иран, Ливию и КНДР. В начале 2004 года разоблачение этой сети вызвало международный скандал и показало, что «сетевое распространение» расщепляющихся материалов уже стало реальностью.

[37] См., например: "Pakistan's Nuclear Proliferation Activities and the Recommendations of the 9/11 Commission: U.S. Policy Constraints and Options" // Congressional Research Service. 2005. January 25. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.fas.org.

[38] См.: *Telli A. G.* U.S. Strategy: Assisting Pakistan Transformation // The Washington Quarterly. 2004/2005. Winter. Vol. 28. No 1. P. 97–116; *Kerr P.* New Details Emerge on Pakistani Networks // Arms Control Today. 2005. May. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.nci.org.

[39] *Камп К. Х.* Насколько безопасно хранится атомное оружие Пакистана? // International Politik. 2004. No 5. P. 103–104.

[40] Детали см.: *Albright D.* Securing Pakistan's Nuclear Weapons Complex. Washington: Institute for Science and International Security, 2001.

[41] Are Pakistans Nuclear Weapons Now Under US Control? // The Hindustan Times, 30.09.2002.

[42] *Powell N. J.* Ambassador to Pakistan. U.S. Foreign Policy Towards Pakistan. 2004. August 20. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.state.gov; *Secretary Colin L. Powell.* Interview With the USA Today Editorial Board. October 18, 2004. [Электронный ре-сурс]. — Режим доступа: http://www.state.gov.

[43] Pakistan's Nuclear Proliferation Activities and the Recommendations of the 9/11 Commission: U.S. Policy Constraints and Options. 2005, January 25 // Congressional Research Service. 2005. January 25. P. 29–30. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.fas.org.

[44] U.S. Forces Kill Four in Afghanistan; Bush Defends Pakistan's Efforts in Terror War . Fox News Chanel, Official Site. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.foxnews.com.

[45] *Овчинский В. С.* Пакистанская рулетка // Россия в глобальной политике. 2007. Т. 5. № 4. Июль—август. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.globalaffairs.ru/numbers/27/8083.html.

[46] Литература о северокорейском кризисе огромна. Укажем лишь некоторые публикации: North Korea and Iran: Test Cases for an Improved Nonproliferation Regime? // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.armscontrol.org; North Korea's Military Strategy // Homer Hodge, Parameters. (Spring 2003) P. 68–81. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.nautilus.org; *Гёттемюллер Р., Федоров Ю.* Корейский ядерный кризис: Перспективы урегулирования. М.: МГИМО МИД России, Фонд Карнеги за международный мир, 2005.

[47] См.: *Новиков В., Булычев Г., Воронцов А.* В чем суть выбора в «корейском вопросе»? Пути преодоления кризиса на Корейском полуострове // Ядерное распространение. 2003. № 47.

[48] Safeguards Inspections in the DPRK. IAEA Press Release 94/25. 1994. June 13. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.fas.org.

[49] Полный текст Рамочного соглашения см.: Ядерное Распространение. 1994. Декабрь. Вып. 5. С. 39–41.

[50] Подробный анализ хода шестисторонних переговоров в 2002–2003 годах см.: *Nowowiejski D., Tamotsu Nakano T., Bus R.* Crisis on the Korean Peninsula // Brookings Northiest Asia Survey. 2002–2003. P. 1–17.

[51] См.: *Harrison S. S.* Did North Korea Cheat? // Foreign Affairs. 2005. Vol. 84. No 1. P. 99–110; *Haas R. N.* Regime Change and Its Limits // Foreign Affairs. 2005. Vol. 84. No 4. P. 66–78.

[52] См.: *Мамаев Ш.* Урок тэквондо в японском танце // Политический журнал. 2005. № 32.

[53] США требуют лишить Иран и КНДР ядерных технологий. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://russianboston.com.

[54] См., например: Energy Security. Toward a New Foreign Policy Strategy / Jan H. Kalicki and David L. Goldman (eds.). Washington; Baltimore: Woodrow Wilson Center Press, The John

Hopkins University Press, 2005. См. также аналитические обзоры Оксфордского энергетического института. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.oxfordenergy.org/ и РЭНД-корпорэйшен. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.rand.org/.

[55] См.: США продолжают расследовать деятельность «урановой» компании SMB в Азербайджане и Казахстане. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.centralasia.ru.

[56] Иран владеет 15% акций уранового рудника в Намибии. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://iran.ru.

[57] О коммерциализации этого рынка также см.: *Leventhal P. L.* A Pox on Mox // Bulletin of the Atomic Scientists. 1998. March/April. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.nci.org/.

[58] Ядерное распространение в Северо-Восточной Азии / Под ред. А. Арбатова, В. Михеева. М.: Московский центр Карнеги, 2005. С. 22.

[59] *Vedabtam S.* Storage of Nuclear Spent Fuel Criticized // The Washington Post. 2005. March 28.

[60] Подробнее о деятельности Всемирной ядерной ассоциации см. ее официальный сайт. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.world-nuclear.org.

Глава **16**

Политизация мировой энергетики

Если в последнее десятилетие XX века международное сообщество было поглощено проблемой демократизации, то одной из знаковых тем открывающего XXI век десятилетия стала энергетика. Ей посвящались саммиты глав государств и правительств, конференции международных организаций, форумы научно-образовательного сообщества. Даже НАТО решила вплотную заняться проблематикой энергетической безопасности, что в России вызвало настороженную реакцию.

На первый взгляд, высокая актуальность энергетических вопросов объяснима. Мировые цены на нефть нестабильны, остается нестабильным и Ближний Восток, продолжается глобальное потепление, вызывая к жизни немыслимые природные катаклизмы, но не сопровождаясь при этом снижением цен на энергоносители.

Факторы цен и физической нехватки энергоносителей

Высокие цены — главный индикатор напряженности на мировых энергетических рынках. Для установившихся сегодня ценовых пропорций есть некоторые фундаментальные причины. Широкое внедрение энергосберегающих технологий и активное развитие альтернативных источников энергии с 1970-х годов так и не избавили мир от доминирующей роли углеводородов. Более того, проблема нефтегазового дефицита приобретает угрожающие черты, периодически порождая разговоры о приближении «критической точки».

Особенность момента заключается в том, что причины сегодняшней ситуации скорее объективны, чем субъективны. Последнее характерно, к примеру, для конца прошлого века, когда ограничения на предложение нефти, как правило, были вызваны эмбарго или квотами Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК), умышленно сокращающей уровень добычи. В новом столетии аналитики стали упорнее писать о фундаментальной нехватке углеводородов.

Вмешательство НАТО в сферу энергетики, несомненно, отражает это изменение представлений об источнике угрозы. Отсюда — новый тип международных противоречий, возникающих вокруг «трубопроводной проблематики» и безопасности «транзитных пространств».

Последние полтора десятка лет прирост запасов нефти в мире не компенсирует ее добычу, а абсолютный объем мирового потребления жидких углеводородов продолжает увеличиваться примерно на 1–2,5% ежегодно. Не добавляют оптимизма и другие обстоятельства.

Уровень нефтегазовой добычи стран—потребителей углеводородов (США, Китай, страны ЕС, Япония, Индия) приближается к низшей точке. Показателен в этой связи пример Великобритании, которую еще 20 лет назад можно было называть нефтегазовой державой. В 1973 году Великобритания добывала скромные 400 тыс. тонн нефти в год, полностью полагаясь на зарубежные поставки. В свете «нефтяных шоков» 1970–1980-х годов страна была вынуждена приступить к масштабной разработке шельфовых запасов Северного моря. В 1983 году нефтедобыча в Великобритании составила 115 млн тонн, а в 1999 году — достигла пика в 137,4 млн тонн. Тем не менее в новом тысячелетии, в силу истощения ресурсной базы Северного моря, ситуация изменилась. В 2006 году нефтедобыча равнялась 76,6 млн тонн, то есть почти на 80% меньше, чем в рекордном 1999 году.

В скором времени Великобритания присоединится к группе стран – крупнейших нефтегазовых нетто-импортеров мира, а значит, будет вынуждена полагаться на поставки из регионов и стран, не всегда отличающихся предсказуемостью. Проблемы, аналогичные британским, испытывают США, КНР, Индия, отмечающие стагнацию собственного нефтегазодобывающего сектора. При этом Соединенные Штаты — своего рода исключение, поскольку они обладают громадными законсервированными запасами углеводородов.

Развитые страны, потребляющие основную долю мировых энергоносителей, с 1960–1970-х годов лишены контроля над их основными запасами, а значит, вынуждены зависеть от уровня добычи в обладающих ресурсами государствах. Такая ситуация развитому миру не нравится, поскольку недостаточное инвестирование или развитие залежей может рано или поздно вызвать острый дефицит в мире. По оценке главного экономиста Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола (*Fatih Birol*), мир сегодня на 20% отстает от объема капиталовложений (20 трлн долл.), необходимых для обеспечения адекватного уровня нефтяного снабжения в течение ближайшей четверти века[1].

Правительства развитых стран не бездействуют. Пытаясь достучаться до руководителей государств, располагающих ресурсами, они предла-

гают различные формы участия и инвестирования со стороны своих национальных корпораций. Однако усилия развитого мира не всегда находят отклик. Это косвенно затрудняет необходимое развитие нефтегазового потенциала мира и способствует росту дефицита энергоносителей.

Китай и Индия — особый случай, оказывающий серьезнейшее влияние на мировой дефицит. Растущие экономики этих стран практически исчерпали местные нефтегазовые ресурсы и требуют все больше импортного сырья. Ранее страны Запада считали своей ключевой проблемой обеспечение себя поставками, не особенно помышляя о конкуренции друг с другом. Сегодня акценты меняются. «Старые развитые страны» должны думать о том, что останется на их долю «после Китая и Индии», скупающих энергетические активы и ресурсы в мире. Не зря в рамках «группы восьми» появился план оказания содействия Пекину по внедрению энергосберегающих технологий. Цель этого проекта — притормозить темпы роста энергопотребления в КНР. Китайское руководство и само обеспокоено ростом экстенсивного потребления нефти в стране.

Дефицит — это не единственная причина аномального роста мировых цен. У импортеров есть еще одна (старая) проблема — существенный рост себестоимости нефтегазовой добычи. Наиболее доступные и экономически рентабельные нефтегазовые месторождения приближаются к истощению. Новые участки разведываются и разрабатываются. Но отдача на них — из-за географической и геологической труднодоступности, а также качества содержащихся углеводородов — значительно ниже. В итоге капитальные затраты на порядки выше аналогичных показателей на старых месторождениях.

На этом фоне нескончаемая война США в Ираке, напряженность вокруг ядерной программы Ирана, систематические диверсии на нефтепромыслах Нигерии, политика национализации правительства Венесуэлы и многие другие факторы вызывают ажиотаж, подталкивая вверх цену на нефть.

Политика стабилизации поставок нефти и газа

Дефицит углеводородного сырья, усугубляемый субъективными катаклизмами, усиливает политизацию мировой энергетической сферы. Боязнь остаться не у дел в случае еще большей нехватки углеводородного сырья в будущем вынуждает импортирующие страны совершенствовать подходы к обеспечению внешних поставок. Прежде всего импортеры стремятся к укреплению старых или формированию новых «особых отношений» с экспортерами. Китайское правительство пытается строить подобные отношения по всему миру: от Латинской Америки (Венесуэла) и Африки (Судан) до Казахстана, Ирана и России.

Имея с Тегераном и Каракасом «замешанные» на энергетике связи, Пекин не склонен поддерживать санкции или более серьезные действия международного сообщества против Ирана и Венесуэлы.

В новом столетии усилилась и даже ужесточилась международная борьба за участие в проектах освоения нефтегазовых ресурсов. Эта борьба, в которую вовлечены главным образом компании энергозависимых государств, выходит за межкорпоративные рамки, сопровождаясь, как правило, косвенным межгосударственным противостоянием. *Сегодня все имеющиеся политические и дипломатические средства заинтересованных стран брошены на то, чтобы обеспечить их национальным корпорациям доли в зарубежных проектах.*

Такая практика существовала и прежде. Однако современные масштабы закулисной борьбы несравнимы с той, что велась ранее. Например, правительства импортирующих государств, желая повысить конкурентные преимущества «своих» компаний на конкурсах и тендерах, предлагают экспортирующему государству различные, не связанные с энергетикой преференции: льготные кредиты и крупные инвестиции. Все — ради одного: повысить привлекательность «своих» заявителей, опередив иностранных конкурентов.

Высокая степень политизации свойственна и проблемам транспортировки энергоресурсов до конечного потребителя. Выбор транзитных маршрутов — современный вариант геополитики. Самый наглядный пример — Каспийский регион с его существующими и перспективными транспортными маршрутами. По мнению стран ЕС и США, ресурсы региона (прежде всего центральноазиатские) должны экспортироваться минуя Россию, которая считается отдельной энергетической зоной мира. Путем неимоверных лоббистских и финансовых усилий к 2006 году были созданы нефтепровод Баку—Тбилиси—Джейхан и газопровод Баку—Тбилиси—Эрзерум. Планируется строительство газопровода «Nabucco», а также транскаспийской и трансафганской газовых магистралей.

Россия, стремясь обеспечить прохождение каспийских и прикаспийских ресурсов по своей территории, предлагает альтернативные маршруты. В их числе — магистрали «Транснефти» (нефтепроводы Баку—Новороссийск, Атырау—Самара), Каспийского трубопроводного консорциума, а также Газпрома, включая строительство нового газопровода вдоль Каспийского моря.

Несколько отличные цели у КНР: Пекин стремится направить энергоресурсы Каспия на восток, канализируя их для своих потребностей напрямую из соседних центральноазиатских стран. Для этого уже сооружен и будет вскоре расширен нефтепровод из Казахстана в Китай. Планируется строительство газовых веток для подачи туркменского и казахского газа на китайский рынок.

Политизация энергетической сферы настолько высока, что борьба за ресурсы не ограничивается усовершенствованными политико-дипломатическими и корпоративными методами. Некоторые государства считают допустимым прибегать к силовым методам решения проблем энергетики. В свете распространенных свидетельств нельзя исключать, что иракская кампания США, начатая в марте 2003 года, была связана с желанием Вашингтона закрепиться в зоне месторождений нефти с учетом неблагоприятной перспективы в обеспечении мира этим видом топлива. Контроль над Ираком, обладающим третьими по величине нефтяными запасами в мире, негласно считался центральным элементом американской энергетической стратегии при администрациях республиканской партии. Многие аналитики указывают и на то, что захват Ирака Соединенными Штатами способствовал повышению энергетической уязвимости Китая, который, как и многие другие страны, серьезно зависит от импорта ближневосточных энергоресурсов.

Некоторые зарубежные обозреватели в похожем ключе трактуют и ситуацию вокруг Афганистана. По оценке французской газеты «Le Nouvel Economiste», Вашингтон использовал антиталибскую кампанию для усиления своего присутствия в Центральной Азии: ведь ее часть, обращенная к Каспию, содержит огромные запасы углеводородов. Кроме того, контроль США над Афганистаном позволит воскресить идею строительства газопровода из Туркмении к Индийскому океану через Афганистан и Пакистан[2].

«Энергетическим колоритом» окрашены и отношения США с Ираном. Официальный мотив негативного восприятия Вашингтоном иранской политики заключается в том, что Иран — страна, стремящаяся поставить современные технологии и вооружения на службу некоторым традиционным, весьма воинственным и непримиримым исламским ценностям. В 1996 году США ввели режим санкций против компании любой страны, которая решит вложить в иранскую экономику свыше 20 млн долл. Ключ к пониманию американской политики состоит в том, что Иран проводит в мировой энергетике независимый от США и потенциально неблагоприятный для Вашингтона курс. При этом Тегеран обладает достаточным потенциалом дестабилизации в одной из критически важных энергетических зон мира.

Влияние транснациональных энергетических корпораций

За многие десятилетия мир привык к преобладанию ключевых западных энергетических корпораций, которые почетно именовались столпами (majors) мировой энергетической индустрии. В первые годы

XXI столетия эта традиция была поставлена под сомнение. *На первый план начала выходить группа незападных, государственных или полугосударственных, нефтегазовых корпораций.* Укрепившись, новые хозяйствующие субъекты стали теснить ветеранов мировой энергетики, заставив спорить относительно возможной смены правления прежде всесильных «семи сестер» (в результате внутренних слияний в 1980–2000 годах их список заметно изменился) на «энергетическом Олимпе»[3].

Как отмечалось в газете «Financial Times», в современной энергетике тоже доминируют семь лидеров, но это — совсем другая «семерка», чем та, что управляла рынками в годы «нефтяных шоков» XX века. Современные лидеры — «Saudi Aramco» из Саудовской Аравии, российский Газпром, Китайская национальная нефтяная корпорация (*China National Petroleum Corporation, CNPC*), Национальная иранская нефтяная компания (National Iranian Oil Company, NIOC), венесуэльская PDVSA (*Petroleos de Venezuela S.A.*), бразильская «Petrobras» и малазийская «Petronas». Новая «семерка» контролирует почти треть общемирового производства нефти и газа и более трети их запасов. В противоположность им четыре «старые сестры» добывают около 10% нефти и газа и владеют не более чем 3% общемировых запасов углеводородов[4].

По мнению главы отраслевой консалтинговой компании «PFC Energy» Робина Уэста (*Robin West*), «значение старых "семи сестер" определялось тем, что именно они определяли правила игры на энергетическом рынке. Сейчас правила игры устанавливает "новая семерка", а другим международным компаниям остается лишь соглашаться с ними»[5]. Аналитики итальянской газеты «Corriere della Sera» тоже отмечают, что наследники «Standard Oil» выглядят сегодня уступчивыми перед лицом могущества «новых сестер», русских и китайских[6]. В самом деле, прорыв китайских и российских энергетических компаний к верхним строчкам показателей уровней капитализации на мировых биржах не может не впечатлять. Рост антироссийских и антикитайских настроений в западных СМИ, несомненно, отражает мнения раздраженного и напуганного энергетического бизнеса США и ЕС. Тревожная ситуация складывается для крупнейших ТНК развитых стран: их нефтегазовые запасы невелики, близятся к исчерпанию или просто законсервированы. Ведущие западные компании испытывают давление и конкуренцию со стороны новых корпоративных гигантов незападного мира, контролирующих крупнейшие запасы углеводородов.

Неминуем ли скорый уход западных ТНК с лидирующих позиций в мировой энергетике или они обладают преимуществами, способными гарантировать их статус и в будущем?

Западные нефтегазовые корпорации еще сохраняют мировое доминирование в секторе переработки и сбыта. На долю стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), включая США и членов Европейского Союза, приходится около 70% всех мировых нефтеперерабатывающих мощностей, тогда как на весь ближневосточный регион — лишь 8,4%.

Сбытовые активы корпораций стран ОЭСР несоизмеримы по своим количественным и качественным характеристикам, а также географическому охвату с аналогичными мощностями компаний основных добывающих стран. Крупнейшим нефтегазовым компаниям Запада присуща высокая степень интеграции бизнеса, что позволяет им продавать не столько нефть и газ посредникам (как это делают их новые конкуренты), сколько готовые продукты: бензин, дизельное топливо, нефтехимические вещества — конечным потребителям. Это делает их доходы несоизмеримо более высокими по сравнению с выручкой «новичков». При этом крупнейшие нефтегазовые и сервисные («Halliburton», «Schlumberger») корпорации развитых стран — обладатели уникальных технологий разведки, добычи, переработки, а также сбыта энергетического сырья. Развитие таких технологий и сопряженных с ними управленческих подходов — непременное условие эффективной реализации проектов в богатых ресурсами странах.

Эти преимущества, вместе с громадным финансовым потенциалом, позволяют энергетическим корпорациям развитого мира надеяться на сохранение влияния в мировой энергетике. Тем не менее сам факт возвышения новых корпоративных игроков свидетельствует о новой очень важной тенденции — расширении круга ведущих корпораций мира.

«Новые» и «старые» лидеры мировой энергетики являются конкурентами. Вместе с тем между нами наблюдаются и элементы сотрудничества. Причины такого сотрудничества имеют под собой объективные или естественные основания. Незападные компании, обладающие существенными запасами углеводородного сырья, стремятся получить доступ к перерабатывающим и сбытовым активам корпораций развитых стран. Последние, напротив, остро нуждаются в нефтегазовых запасах, за которые они готовы пожертвовать частью своей собственности в сфере переработки и сбыта.

В новом столетии стала возвышаться группа незападных, государственных и полугосударственных энергетических корпораций. Обладая контролем над значительными нефтегазовыми ресурсами, они начали теснить транснациональные корпорации Запада. Но ожидать в перспективе скорого «исхода» западных ТНК, по-прежнему доминирующих в сфере переработки и сбыта, нет оснований.

Тенденции изменения мирового энергобаланса

Основу мировой энергетики составляет использование пяти первичных источников энергии: нефти, природного газа, угля, атомной энергии и гидроэнергии. По данным Международного энергетического агентства, они удовлетворяют почти 90% мирового энергетического спроса. Остальное приходится на возобновляемые источники — горючие (лес, торф) и альтернативные (термальные, солнечные, ветровые), а также на энергию, получаемую за счет переработки отходов.

Согласно расчетам Международного энергетического агентства (МЭА), с 1973 года соотношение между основным и неосновными источниками энергии практически не изменилось. Ненамного оно должно измениться и к 2030 году: по разным оценкам, на возобновляемую, альтернативную и прочую нетрадиционную энергию будет падать от 11,4 до 13,5% мирового энергоснабжения[7]. Иными словами, в ближайшие десятилетия международное сообщество будет удовлетворять энергетические потребности главным образом за счет пяти источников энергии, и ждать прорыва на нетрадиционном направлении не приходится.

Пять источников энергии неравнозначны. Если использовать общую единицу измерения — тонну нефтяного эквивалента, то в 1973 году корзина из пяти наиболее востребованных источников энергии выглядела так: нефть — 46,2%, уголь — 24,4%, газ — 16,0%, гидроэнергия — 1,8%, атомная энергия — 0,9%. Сейчас соотношение тех же источников иное. Самым востребованным источником остается нефть — 35%. Ощутимо вырос вес атомной энергии — до 6% и природного газа — до 20,7%. Ненамного подросли доли угля и гидроэнергии: до 25,3 и 2,2% соответственно[8].

По прогнозам ведущих экспертов, к 2030 году нефть и природный газ по-прежнему будут обеспечивать больше половины мирового энергоснабжения: 32 и 22% соответственно. При этом потребление этих ресурсов в количественном измерении возрастет соответственно на 46 и 40% в сравнении с 2005 годом с учетом предполагаемых мероприятий в сфере энергосбережения и развития альтернативных видов топлива[9].

Как видно, в ближайшие десятилетия углеводородное сырье останется безальтернативным первичным источником энергии. Это обстоятельство четко осознается ведущими странами. В американской энергетической стратегии прямо говорится: до тех пор пока возобновляемые и альтернативные источники не смогут играть определяющую роль в экономике страны, США должны удовлетворять энергетические потребности за счет ресурсов, доступных сегодня, то есть традиционных источников[10].

При высоком дефиците углеводородов новый импульс развития получает гидроэнергетика и в особенности атомная энергетика, даже несмотря на протесты экологов. По прогнозам экспертов, доля атомной

энергии в мировом энергоснабжении к 2030 году может возрасти до 7%, превысив показатель 2005 года на 24%. Примеров повышенного внимания к атомной теме со стороны правительств разных стран достаточно.

За строительство новых атомных электростанций (АЭС) выступала администрация Дж. Буша-младшего. В 2006 году в рамках «Опережающей энергетической инициативы» (*The Advanced Energy Initiative*) Белый дом объявил о поощрении инвестиций в атомную сферу в форме кредитов, налоговых льгот, гарантий государства. В итоге в настоящее время в США рассматриваются проекты строительства на американской территории почти двух десятков новых АЭС.

Немалые усилия прилагает на аналогичном направлении руководство КНР. В марте 2006 года китайское правительство обнародовало энергетическую стратегию страны на период до 2020 года, посвятив большую часть документа развитию атомной энергетики. На данный момент атомные мощности Китая вырабатывают около 1% электроэнергии в стране. Однако за счет строительства новых АЭС ситуация должна измениться. До 2020 года Пекин планирует увеличить мощность национального атомного парка в четыре раза — до 40 ГВт и нарастить долю атомной энергии в выработке электричества до 4%. Для реализации такой цели в стране будут вводиться 1,8 ГВт новых мощностей ежегодно[11].

После 20-летнего перерыва Великобритания также решила обратиться к атомной сфере, решив возобновить строительство АЭС. В ближайшие годы, согласно разработанной правительством Г. Брауна стратегии, в стране будут возведены 10 новых атомных электростанций. О повышенном интересе к атомной энергетике также свидетельствует рост числа контрактов, в рамках которых обладающие технологиями российские, французские, японские и американские компании строят ядерные объекты в разных регионах и странах мира. Например, Индия, не без помощи США, Франции и России, рассчитывает довести к 2025 году свой атомный парк до 62 реакторов (сейчас 16), а его совокупную мощность — до 40 ГВт (сейчас 7 ГВт).

Атомная энергетика также выступает сферой жесткой международной борьбы. Речь идет не столько о доступе стран к мирному атому и борьбе за строительные контракты, сколько о мировом рынке урана. Запасы урана не безграничны, а его добыча ограничена. Поэтому грандиозные планы Китая, Японии, Индии и Великобритании могут натолкнуться на нехватку урановой руды.

США, Китай и Индия входят в число крупнейших энергопотребителей мира, обладая при этом ограниченными и иссякающими запасами углеводородов. Тем не менее у трех обозначенных стран есть существенное преимущество — обладание крупнейшими запасами угля. Ко-

нечно, уголь не самый чистый энергетический источник. Однако при растущем нефтегазовом дефиците угольная промышленность способна получить новый импульс развития. Например, в июне 2006 года Китай придал огласке основные направления обеспечения своей энергетической безопасности. Среди ключевых было названо создание в стране новых угольных баз производительностью не менее 100 млн тонн в год.

Соединенные Штаты тоже рассчитывают на свои угольные запасы. Единственная проблема, стоящая перед Вашингтоном при использовании угля в энергетике, — загрязнение окружающей среды, включая выброс парниковых газов. Поэтому Дж. Буш в рамках упомянутой «Опережающей энергетической инициативы» предложил решить вопрос за счет разработки и внедрения технологий «чистого угля». Первая в мире ТЭС, работающая на «чистом угле», должна заработать на территории США в 2012 году[12].

В ближайшие десятилетия международное сообщество, вероятно, не найдет замены нефтегазовому сырью, доля которого в мировом энергоснабжении не опустится к 2030 году ниже 50%. Но к 2030 году потребление энергии, по разным оценкам, вырастет на 35–50%[13]. Этот дополнительный спрос будет удовлетворен за счет атомной, угольной и гидроэнергетики, а также возобновляемых и альтернативных источников энергии.

Попытки определить энергетическую безопасность на глобальном уровне связаны с созданием в ответ на «нефтяной шок» 1973–1974 годов МЭА — первой межгосударственной организации, призванной обеспечивать координацию действий индустриальных стран в случае срыва поставок, а также стимулировать их сотрудничество в области энергетической политики. Глобальную энергетическую безопасность агентство определяет как «доступ к достаточной (по объему), надежной и приемлемой (по цене) энергии». Центральными элементами обеспечения такой системы безопасности выступают: наличие у государств-членов МЭА стратегических запасов нефти, непрерывный мониторинг и анализ международных рынков энергоносителей, а также экономия энергии и согласованное экстренное распределение стратегических запасов в случае нарушения поставок[14].

Подходу МЭА присуща определенная ограниченность: данная организация представляет интересы ее членов — стран-импортеров, а они видят проблемы мировой энергетики под своим углом зрения. Тем не менее подход к проблемам мировой энергетики, исповедуемый западными энергозависимыми странами, доминирует в мире и пока не имеет общепризнанной альтернативы.

Как отмечает видный американский исследователь и предприниматель Д. Ергин, существующая модель глобальной энергетической безо-

пасности, появившаяся на свет в 1970-х годах, предусматривает упор в основном на том, как справиться со срывом поставок нефти. Но в современных условиях назрела необходимость расширения традиционной модели таким образом, чтобы включить в нее защиту всей инфраструктуры и цепи энергоснабжения. Это более масштабная задача, затрагивающая проблему взаимодействия и сотрудничества как добывающих и потребляющих стран, так и государств, выполняющих транзитные функции[15].

За «баланс интересов» в обеспечении глобальной энергетической безопасности выступают видные представители ОПЕК. В январе 2005 года на экономическом форуме в Давосе тогдашний Президент ОПЕК и министр энергетики Кувейта шейх Ахмад Аль-Сабах заявил, что «наилучшая стратегия обеспечения энергетической безопасности в мире — конструктивный диалог, ведущий к сотрудничеству и партнерству»[16]. По убеждению министра нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Али Ибн Ибрагим ан-Нуэйми, «...безопасность энергоснабжения стала общим вызовом, стоящим перед странами-потребителями и странами-производителями "черного золота"»[17].

Кооперационное видение глобальной энергетической безопасности свойственно и Российской Федерации. Одним из ключей к глобальной энергетической безопасности является справедливое распределение рисков между производителями, участниками транзита и потребителями энергоресурсов[18].

Большой вклад в разработку универсального понятия «глобальная энергетическая безопасность» внес саммит «восьмерки» (июль 2006 года) в Санкт-Петербурге. В ходе встречи были приняты документы, которые впервые содержали четкие, полные, а главное консенсусные для производителей и потребителей формулировки международных энергетических проблем и глобальной энергетической безопасности.

В одобренном в Санкт-Петербургском плане действий было отмечено, что страны мира для укрепления глобальной энергетической безопасности должны действовать по следующим основным направлениям. Во-первых, повышать прозрачность, предсказуемость и стабильность (в том числе и политическую) глобальных энергетических рынков. Во-вторых, улучшать инвестиционный климат в энергетическом секторе, требующем громадных инвестиций для удовлетворения будущего спроса. В-третьих, повышать энергоэффективность, энергосбережение, а также диверсифицировать виды энергии. Среди ключевых направлений диверсификации было названо развитие альтернативных (например, водородных), ядерных и возобновляемых источников энергии. В-четвертых, обеспечивать физическую безопасность жизненно важной энергетической инфраструктуры. В-пятых, сокращать масштабы энер-

гетической бедности и решать проблемы изменения климата и устойчивого развития[19].

Список разработанных направлений можно назвать исчерпывающим. В его рамках возможно решение большинства ключевых вопросов в энергетической сфере. В частности, для придания глобальному рынку транспарентного характера может быть решен вопрос о создании универсального нефтяного банка данных, в котором содержались бы единые цифры и прогнозы. Может быть решен вопрос об обеспечении прозрачности и предсказуемости национальных систем регулирования, что крайне важно для инвестиционного климата. Матрица разработанных направлений допускает решение проблемы высоких и неустойчивых мировых цен на нефть или даже такой чувствительной проблемы, как обеспечение всех стран надежным доступом к мирному атому.

Бесспорно, усилия «восьмерки», а также других организаций вносят вклад в становление новых правил обеспечения глобальной энергетической безопасности. Однако проблема заключается не в том, что стороны не могут найти точек соприкосновения. Основное препятствие — в межгосударственных противоречиях. Энергетика — не изолированная сфера, а часть всей системы международных отношений. Поэтому сложно говорить о новых подходах к глобальной энергетической безопасности при растущем соперничестве между Россией и США, Соединенными Штатами и Китаем. Москву несравнимо меньше волнуют экономические сложности членов МЭА из-за высоких цен на энергоносители, нежели успешная реализация программ социально-экономической и технологической модернизации самой России, требующих громадных финансовых ресурсов.

Задача мирового сообщества сегодня — добиться равновесия интересов экономики, энергетики и защиты окружающей среды в среднесрочной, а главное — в более отдаленной перспективе. Главный исполнительный директор «Royal Dutch Shell» Йерун ван дер Вир, допускает, что в 2010 году в мировом энергобалансе вырастет доля возобновляемых источников (энергия солнца и ветра, гидроэнергия и биотопливо), а также атомной энергии. При этом человечеству удастся, считает он, найти решение таких проблем, как загрязнение воздуха и выброс парниковых газов, а новые технологии позволят снизить потребление энергии в жилищном секторе и на транспорте[20].

Но для этого руководители государств должны договориться о глобальном подходе к торговле выбросами парниковых газов и активно поддержать внедрение новых технологий в тепло- и электрогенерации, промышленности, строительстве и на транспорте.

Мировой нефтегазовый дефицит обусловлен как объективными причинами, так и субъективными катаклизмами, будь то диверсии в добывающих странах или политическая нестабильность в энергетических зонах. Цены на нефть толкают вверх неблагоприятные природные явления. Нехватка углеводородов усиливает антагонистические ноты в международных отношениях. Все озабочены глобальной энергетической безопасностью; довлеет страх остаться без ресурсов. Он понятен: нефть и газ будут еще долго покрывать половину мирового энергоснабжения.

Сырьевая база развитых стран и их транснациональных компаний истощается. Растет вес сырьевых стран. В их руках — очень дефицитный стратегический продукт, который можно с большой эффективностью использовать как ресурс мировой политики. Корпорации незападных стран заметно теснят позиции старых западных энергетических компаний. Все это создает в международных отношениях значительный потенциал противоречий и конфликтов, для разрешения которых требуется максимум гибкости и осмотрительности. Особенно — ввиду явного роста готовности ряда стран мира полагаться на силу при решении своих энерго-политических проблем.

Примечания

[1] *Хойос К.* «Семь сестер» в новом составе: Нефтегазовые гиганты обгоняют западных конкурентов // The Financial Times. 2007. 12 марта.

[2] См.: *Landrot A.* Les Russes «rois du petrole»// Le Nouvel Economiste. 2002. April 5.

[3] В 1970-х годах термином «семь сестер» эксперты объединили следующие компании: «Exxon Corporation», «Mobil Corporation» , «Royal Dutch/Shell», «Chevron», «Texaco Incorporated» , «Gulf Oil Corporation», «British Petroleum». В 2000-е годы состав «семи сестер» изменился. К ним относятся «Royal Dutch/Shell», «BP», «Exxon Mobil», «Total S.A», «Chevron Texaco», «Conoco Phillips» и «ENI».

[4] *Хойос К.* Указ. соч.

[5] Цит. по: *Хойос К.* Указ. соч.

[6] *Фубини Ф.* Меняется нефтяная карта: От «семи сестер» к российским и китайским гигантам // Corriere della Sera. 2007. 31 октября.

[7] Key World Energy Statistics 2007// International Energy Agency. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.iea.org.

[8] Ibid.

[9] Ibid.

[10] National Energy Policy, Report of the National Energy Policy Development Group // US Government Printing Office. Washington, 2001. May.

[11] Обнародована стратегия развития энергетики Китая // Минатом.Ру. 2006. 27 марта. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.minatom.ru.

[12] Fact Sheet: The Advanced Energy Initiative: Ensuring a Clean, Secure Energy Future. 2006. May 24. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.whitehouse.gov.

[13] Key World Energy Statistics 2007.

[14] *Ергин Д.* Гарантировать энергетическую безопасность // Россия в глобальной политике. 2006. № 1 (январь–февраль).

[15] Там же.

[16] Цит. по: Speech by HE Sheikh Ahmad Fahad Al-Ahmad Al-Sabah. OPEC Conference President & Minister of Energy for Kuwait. World Economic Forum. Davos (Switzerland) 2005, January 26–30. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.opec.org.

[17] Цит. по: Министр нефти Саудовской Аравии: Высокие цены на нефть не отвечают интересам стран—производителей нефти. Вашингтон // Синьхуа. 2006. 3 мая.

[18] Цит. по: Выступление Владимира Путина на встрече с министрами энергетики стран «Группы восьми» 16 марта 2006 года. Москва, Кремль. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.g8russia.ru.

[19] Глобальная энергетическая безопасность // Документы, принятые в рамках саммита «Большой восьмерки», Санкт-Петербург, июль 2006. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://g8russia.ru/docs/11.html.

[20] *Ван дер Вир Й.* Энергетика: Два сценария будущего // Ведомости. 2008. 29 января.

Раздел III

НЕЗАПАД И ЗАПАД

17. Государственно-политические «коды» Востока и Запада
18. Истоки американского поведения
19. Глобальные аспекты культурно-политического влияния США
20. США между гегемонизмом и лидерством
21. Незапад в сравнительном дискурсе
22. Система внешнеполитических приоритетов современного Китая
23. Ислам как «коллективный игрок»

Глава 17

Государственно-политические «коды» Востока и Запада

Интенсивный интеллектуальный обмен в масштабах планеты в последние 20 лет обогатил общественно-политическую мысль в России западными концепциями, длительное время исключенными из научного оборота, восполнив многие пробелы отечественной социологии. Тем не менее этот обмен не смог существенным образом оплодотворить российскую общественную мысль в том смысле, что в результате механической переориентации отечественных исследователей на зарубежные теоретические матрицы за минувшие годы было создано очень мало чего-то концептуально значительного и по-настоящему оригинального. Отчасти это произошло потому, что, следуя в фарватере государственной политики, российские ученые в известной мере утратили веру в свою способность создавать новое, положившись на воображаемое объяснительное всесилие недоступных ранее западных школ[1].

Как бы то ни было, обретение собственного лица остается одной из центральных задач отечественного обществознания. Движение к ее решению невозможно без уяснения особенностей самого феномена российской действительности — в контексте тщательно продуманных сопоставлений феноменологии Запада и Незапада, к которому по многим своим базовым характеристикам безусловно принадлежит Россия. Цель главы — предложить вариант матрицы сравнительного анализа путей становления западного и незападного политического мышления и мировосприятия на базе сопоставительной интерпретации материалов интеллектуальной истории Западной Европы, Китая и — имплицитно — России.

Основные черты мировосприятия в западном и незападном типах сознания

В общественных науках часто используются исторические и страноведческие параллели, которые позволяют описывать явления, сравнивая

их с другими, хорошо изученными, и концептуализируются понятием «модель». Поскольку имеющийся понятийный аппарат — главным образом плод западной науки, то любой исследователь волей-неволей смотрит на мир «глазами Запада». Между тем следование этой традиции мешает разглядеть в реальности как раз то, что в ней прежде всего хотелось бы понять. По справедливому замечанию американского философа Т. Куна, при анализе незнакомого материала факты и явления, «не вписывающиеся» в существующие известные концепции, чаще всего попросту игнорируются или провозглашаются несущественными[2].

От неизбежного искажения картины реального Незапада (Востока) можно избавиться, лишь освободившись от мировоззренческих стереотипов западной науки.

Это позволит не искать в каждом новом обнаруженном историческом или политическом факте подтверждение той или иной известной концепции, а, наоборот, сосредоточиться на построении новых концепций, выработка которых возможна через анализ генезиса тех черт, которые могут отсутствовать в истории западных стран, но присутствовать в истории стран незападных.

Выявление поворотных точек европейской цивилизации и строгое объяснение ее нынешних преимуществ уместно через осмысление естественного стечения природных и исторических обстоятельств развития Западной Европы, в которых происходило не только формирование конкретных европейских институтов, менявшихся с течением времени, но складывались сами фундаментальные принципы их организации. С этих же позиций следует подходить и к исследованию истории стран Незапада, *освободив ее от объяснительных аксиом европейской науки, но использовав созданную той фактологическую основу.* Единый аналитический подход и общая система координат, в которой расположатся восточная и западная цивилизации, позволят в исследовательском смысле «уравнять их в правах», создав объективные основания для корректных сопоставлений.

С точки зрения методологии в этом анализе заслуживает внимания марксизм, воплотивший рациональность и агрессивность, нравственные и культурные ценности зрелой стадии развития европейской цивилизации. Появившись как результат *местной, региональной* интеллектуальной реакции на внутренние противоречия и кризис, поразившие индустриальную Европу в XIX веке, он превратился в один из важнейших факторов *всемирного* развития, причем его влияние стало особенно сильным в странах, находившихся на периферии западного мира или вообще вне его.

Марксистское учение было не только воспринято в других цивилизационных ареалах, но и пустило там глубокие корни, изменив и приблизив друг к другу сущностно разные модели общественного развития. Возникнув как интеллектуальное и духовное явление европейской жизни, оно актуализировалось в социально-экономический и общественно-политический феномен иной культурной среды — сначала российской, а затем и китайской. Если последние два столетия можно назвать началом истории глобального взаимодействия и переплетения мировых цивилизаций, то роль катализатора в этом процессе в отношениях Западной Европы, России и Китая сыграл именно марксизм[3].

Именно поэтому одним из важнейших объектов предлагаемого анализа является Россия, оказавшая огромное, во многом решающее воздействие на развитие Китая в XX веке[4]. В России марксизм претерпел радикальные изменения, адаптировавшись к практическим задачам, стоявшим перед другой, неевропейской культурной средой, и превратившись в политический инструмент преобразования действительности. Новая социально-экономическая и социокультурная реальность, продемонстрировав свою жизнеспособность и эффективность, стала влиятельным примером для многих политических сил за пределами Европы.

Перечисленные блоки задают систему координат, в которой располагается китайская модель развития в XX веке. Выделив характерные черты европейской и китайской цивилизаций и сгруппировав их соответствующим образом, можно будет проследить их трансформацию в иной социокультурной среде.

Прогресс человечества за последние два тысячелетия принято связывать с Европой, материальная культура которой действительно придала планете ее нынешний облик. Доминирование западноевропейской цивилизации на протяжении последних нескольких столетий и распространение ее основных черт на остальной мир создали глобальную социально-экономическую и культурную матрицу, в которой были вынуждены искать свое место другие страны и народы[5]. Одни из них не смогли вписаться в новый культурный контекст, были уничтожены или исчезли. Другие, исключительно азиатские, хотя и сохранились, претерпели глубокие внутренние изменения и до сих пор продолжают поиски своего места в мире.

Общепризнанно, что европейская цивилизация в ее нынешнем виде сформировалась в период Нового времени, когда появились наука, вытеснившая религиозное сознание, гражданское общество и торговый капитал. До этого ее основные черты принципиально не отличались от китайской. Однако причина возникновения Нового времени и, соответственно, характерных черт последующего развития Европы остается

скрытой. Для выяснения ее сущностных отличий от других мировых центров, сумевших сохранить собственное социокультурное и интеллектуальное лицо, необходимо восстановить поворотные точки европейской истории, уделив первоочередное внимание особенностям материального производства, его влиянию на общественную жизнь и культуру.

Получившая в последние годы признание социоестественная концепция истории утверждает, что главная причина отличий западного и восточного миров заключается в своеобразии их окружающей среды, породившей особый характер взаимодействия с обществом[6]. Благоприятные энергонасыщенные природные условия на Востоке уже на ранних стадиях генезиса сформировали общество, ориентированное на поиск свободных ниш в окружающем мире. Преобладание природно-климатических факторов над мотивационными («вызов-ответ», по Тойнби) подчинило себе восточное общество, определив его созерцательный, пассивный характер. Задача социума сводилась к тому, чтобы заметить и завладеть существующими, но еще не используемыми природными средствами. Восточный человек встраивался в природу экстенсивно, повторяя логику животного мира, постоянно приспосабливающегося к внешней среде. Наличие достаточного количества готовых к непосредственному применению природных ресурсов требовало лишь объединить трудовые усилия для их использования, что привело к утверждению коллективизма сначала в качестве функциональной, производственной ценности, а затем и этической[7]. В результате на всех уровнях взаимодействия с природой человек выступал как совокупный субъект, что накладывало отпечаток на весь спектр внутренних отношений, скрадывая предпосылки для противостояния внутри общества, которое также развивалось экстенсивно, совершенствуя существующие управленческие функции, а не создавая новые[8].

Доминирование природных факторов над мотивационными создало атмосферу, в которой природа воспринималась как источник жизни, а человеческое вмешательство — как угрозы. Взаимоотношение с окружающим миром было продиктовано стремлением восстановить природную гармонию, нарушенную самим актом появления человека[9]. Встроенность во внешний мир предопределила эмпирический и прикладной характер большинства открытий китайской цивилизации, тогда как уже культура античности, а тем более культура Нового времени приучили к мысли о том, что открытия делаются на кончике пера, альтернативно природе, теоретически[10].

В Европе ограниченность готовых для непосредственного использования природных ресурсов требовала принципиально иного характера поведения — не созерцательного, а деятельностного, предопределив

формирование социума агрессивного типа, постоянно ощущающего антагонизм «человек—природа», вынужденного противопоставлять себя внешней среде и строить в соответствии с этим свой жизненный уклад. При примитивной технике личная мотивация играла решающую роль в обеспечении экономического роста и производительности труда, предопределив развитие индивидуалистических ценностей. Социальной парадигмой конфликта человека с природой стало формирование классов, выросших на почве разделения труда и развитой производственной деятельности. Господствующий тип взаимоотношений с природой был перенесен на социальную среду, также воспринимавшуюся частью враждебных внешних сил. «Рим рос разрушением Альбы»[11].

Постоянные войны и сопровождавшая их смена условий жизни, привычек и норм усиливали динамичность и предприимчивость европейского человека. В то время как Китай искал гармонии с природой, стремясь совершенствовать существующее, а не «познавать» природу в библейском смысле, Европа наращивала мускулы для борьбы, чтобы, покорив ее, восстановить гармонию уже на новых, социальных принципах. Воспроизводство и поддержание жизни предполагало постоянную, непрекращающуюся борьбу с внешним миром, ставшую важнейшим источником философской мысли и государственных институтов[12].

Своеобразие отношений с природой утвердило особую роль универсального медиатора двух миров — орудий труда, как принадлежащих природному миру вещей, так и подвластных человеку. Техногенность постепенно переросла в технократизм, став показателем силы социума по отношению к окружающей среде, органичной частью которой были соседи. Соревнование между ними могло протекать только в материально-технической плоскости, предлагавшей универсальный критерий жизнеспособности культур и заставлявшей заимствовать прежде всего достижения материальной культуры, превратив их в главное средство обмена (торговли). Сформировавшиеся принципы и нормы взаимоотношений западная цивилизация впоследствии эффективно использовала для экспансии, увеличив силу воздействия своего технического превосходства.

Другим существенным элементом, определившим характер античной цивилизации, стало разнообразие народов и культур в Средиземноморье. В результате постоянно осваивавшая новые пространства с помощью анклавов развитой техники и производства ремесленническо-торговая древнегреческая цивилизация переносила на новое место только то, что имело функциональную ценность, оставляя ценности родового уклада на прежнем месте и создавая на новом новую социальную организацию[13]. Родовая знать лишалась власти, «и вместо прежних чис-

то родственных объединений возникает рабовладельческий полис, в котором территориальное сожительство соседей берет решающий перевес над узкородственными связями»[14]. Рисковый характер операций по экспансии требовал высокой функциональности участников, жизнь которых зависела от практических знаний и умений больше, чем от устоявшихся нравственных норм. На новом месте, вне семьи, человек был вынужден выступать в различных качествах, превращаясь в самостоятельного, автономного индивида со строго очерченным кругом правомочий, определяемых его принадлежностью к городской общине[15].

Положение человека в греческих полисах и Риме перестало обусловливаться принадлежностью к родственным коллективам, а стало определяться правом — в отличие от Китая, где оно по-прежнему определялось долгом перед семьей и общиной.

В героическом характере индивида было заключено деятельностное, предпринимательское начало, позволившее ему существовать вне рамок семьи и со временем превратиться в личность, ставшую универсальной ценностью западной культуры. Переход к функциональным связям сделал возможным массовое использование рабов, которые не воспринимались полноценными членами коллектива, а, подобно орудиям труда, выполняли определенные производственные функции[16]. Важнейшей предпосылкой появления развитой формы рабовладения в Европе стало сосуществование различных этнических групп, являвшихся источником рабов. Эти группы не уничтожали, но и не ассимилировали полностью, создавая анклавы другой культурной традиции[17].

Наконец, было еще одно обстоятельство, способствовавшее признанию за каждым членом коллектива самостоятельной ценности. Чуждое этнокультурное окружение порождало групповую, горизонтальную солидарность, создававшую предпосылки для формирования общего мировоззрения по отношению к внешнему миру и консолидировавшую сильнее, чем общее происхождение и родственные чувства. Исключительное значение внешних функций впоследствии привело к образованию государств-наций, главной задачей которых стало восстановление и поддержание внутреннего единства, исчезнувшего вместе с естественными, родовыми связями. Утраченная общественная гармония могла отныне быть достигнута только искусственными средствами.

По мере разложения общины нравственные (родовые по своей природе) регуляторы утрачивали свое значение, в то время как отчуждаемая от человека и незаканчивающая свой век одновременно со своим владельцем собственность превращалась в мерило общественных отношений, заложив фундамент материалистической цивилизации Европы[18]. Материальные богатства продолжали сохранять, а иногда и увеличивать

свою ценность в новой культурной среде. Передаваемые по наследству, они усиливали расслоение общины, став основой имущественного неравенства. Частная собственность стала точкой опоры в дискретном историческом процессе, придав стабильность существованию отдельного индивида и сделав его более независимым от общества. Превратившись в общепризнанную и бесспорную ценность, она вытеснила интимность общинно-родовых отношений.

Власть перестала быть прерогативой главы рода, став продолжением личных качеств и собственности, сделав деньги универсальным мерилом ценностей, «всеобщим эквивалентом»[19]. Разграничение власти и полномочий в функционально, а не родственно организованном обществе неизбежно должно было принять отчужденную, договорную форму[20]. Античная демократия стала механизмом согласования индивидуальных интересов, появившихся как массовое явление в полисах Древней Греции, где между переселенцами устанавливались формальные и функциональные связи. На смену естественной власти авторитета старшего пришел закон, обеспечивающий формальное равенство субъектам социальных отношений, в основе которых лежали имущественные отношения, то есть отношения по поводу принципиально сравниваемой материальной культуры[21]. Так родился новый тип социальных связей, родовая община уступила место основанному на других принципах социальному организму — гражданской общине[22]. Это была искусственно созданная, как и техника, договорная форма коллективизма, регулируемая собственностью и юридическим законом. Полис и республика стали внешним, чуждым первоначальному родовому обществу институтом.

Государство в Китае развивалось из семьи для регулирования усложнившихся, но не отчужденных отношений, поэтому и средства социального регулирования сохранили неотчужденный характер. Коллективизм оставался естественным состоянием, не порожденным защитными силами общественного организма против энтропии, родовая власть по-прежнему гарантировала материальное благополучие, а собственность не приобрела самостоятельной роли и особых социальных функций.

В Европе движение этносов, смешение культур и религий стирало поступь цивилизации; цивилизованность сменялась периодами разрухи и упадка.

Сформировалось особое понимание перемен как насилия и тотального разрушения, в котором новое не вырастало из старого, а утверждалось как отказ от него.

Европейская история прочно ассоциировалась с непрерывной борьбой с непредсказуемым результатом и, в отличие от китайской, была

переживаемой, а не канонизированной. В этой живой памяти у прошлого было мало привлекательного, оно с трудом подвергалось идеализации. Постепенно идеалом Запада стало стремившееся к непротиворечивой завершенности будущее, а не «золотой век» прошлого. Эта традиция, воплощенная в христианской эсхатологии и исторической спирали абсолютного духа Гегеля, получила затем продолжение и в коммунистической теории Маркса[23].

Такие масштабные изменения могли происходить только комплексно, как смена одного другим. Так появилось явление, впоследствии названное общественно-экономической формацией, обязательно открывавшееся и заканчивавшееся революциями. Вслед за порожденной природно-климатическими условиями и географической расчлененностью социокультурной стратификацией история и общественное развитие в Европе стали дискретными.

Подобное было немыслимо в Китае, где характер производства не менялся на протяжении тысячелетий, оказывая значительно меньшее влияние на общественные отношения, а социальные конфликты не усугублялись этнической разобщенностью и не принимали таких острых и затяжных форм, как в Европе. Дальневосточная культура была избавлена от постоянной смены культурных архетипов: главным ее оппонентом оставалась естественная среда обитания, а не конкурирующие этносы и культуры[24]. Постоянство определило неприспособленность китайской цивилизации к взрывным изменениям, ориентировав на постепенность. Не были сформированы механизмы адаптации к переменам, которые воспринимались как разрушение. Развитие, наоборот, получили инструменты реконструкции и восстановления[25]. В этих условиях инертность культуры не была сдерживающим фактором, общественный прогресс имел другое измерение, в котором бесспорным был приоритет моральных норм. «Фундаментальные принципы мировоззрения этого [китайского] культурного мира ориентированы на гармонизацию межличностных отношений и социоцентричную ориентацию личности...»[26]. Непрерывность культурной традиции обусловила идеализацию прошлого, приукрашиваемого каждым новым поколением, обращенность в себя, интровертность[27]. Имея возможность сосредоточить силы на приоритетных направлениях, китайская цивилизация сумела достичь высочайшего уровня совершенства в пределах одного технического порядка уже на относительно ранних стадиях развития[28].

Разрушение общины в Европе заставило основание социальной пирамиды, большей частью лишенное материальных богатств, искать устойчивость в духовных ценностях, компенсировавших отсутствие семейной теплоты.

Пришедшее с Востока, исторически ориентированного на приоритет общественного, христианство противостояло государственной власти собственников, заложив основы конфликта общественного и личного, из которого затем выросло противостояние социализма и либерализма, уходящее, таким образом, истоками в противостояние Востока и Запада.

Христианство, воплощавшее не только этнокультурный и социальный протест, но и коллективистский идеал общественного устройства, пустило глубокие корни в среде бесправного и этнически чуждого римской власти населения[29]. Рядом со светской властью, ориентированной на личность и частную собственность[30], появилась духовная — в лице церкви, консолидировавшей низшие слои на общинной основе. Но и для граждан метрополии она оказалась близка и привлекательна. Сложившаяся в античности «специфическая корпоративно-индивидуалистическая динамичность... сделала население Европы первых веков нашей эры столь благодатной почвой для христианства как "религии личности"»[31]. На смену гражданской общине пришла религиозная, которая на новом уровне воспроизвела родовой архетип. Однако ее возможности управления светской жизнью оказались ограниченными: собственники были склонны руководствоваться одними нормами, а не имеющие собственности — другими. Светской гегемонии экономической власти была противопоставлена духовная[32]. Так дискретность античного общества органически воплотилась в разделение функций в сфере управления, создав на основе общего принципа единую систему регуляции общественных отношений.

Государство и общество на Западе и Востоке

Ни частной собственности в качестве самостоятельного фактора бытия (она была лишь атрибутом субъекта, но не его неотъемлемой частью), ни тем более разделения властей в Китае не было. На протяжении целых эпох соотношение основных производственных факторов — земли и населения — препятствовало утверждению частной собственности[33]. Существовала частная инициатива, которая, однако, не передавалась по наследству и, оставаясь социальным явлением, а не социальным институтом, не способствовала формированию особых социальных групп. Семейные, иерархичные по природе отношения регулировались подчинением младших старшим, воплотившимся в принципе «сяо» (сыновняя почтительность, почитание старших)[34].

Конфликтный характер Средиземноморской цивилизации вызвал потребность в особой модели регулирования отношений между народами (культурами и религиями), придав их объединению завершенную

политическую форму. Консолидировать неоднородное социальное пространство могло только государство, охранявшее цивилизацию от внутренних и внешних угроз. Так проявилась еще одна черта европейской цивилизации — стремление к универсализации и неприятие многообразия[35]. Однако объем исходного материала был настолько велик, что Римская империя оказалась неспособной его переварить и распалась, заложив, впрочем, *фундамент регулирования дискретного общества в форме демократии и разделения властей,* который существует до сих пор.

Таким образом, уже на раннем этапе отличие Европы от Китая заключалось в ее ярко выраженной неоднородности и внутренней противоречивости[36], предопределив различное отношение двух цивилизаций к человеку и обществу. В Европе сформировалась личностно ориентированная культура, в Азии — коллективистская[37].

Агрессивность, предприимчивость, абстрактность мышления европейского человека античности заложили черты современного западного общества — дискретность, динамизм и рациональность. В наступившей затем религиозной фазе исторического цикла они прошли инкубационный период, чтобы проявить себя опять уже в новом качестве[38]. «Христианство ниспровергло все учреждения, все обряды язычества и совершенно уничтожило воспоминание о древней теологии. ...Если бы христиане могли писать на новом языке, у нас, наверное, не сохранились бы воспоминания о древности»[39]. Христианство нарушило индивидуалистические традиции западной цивилизации[40]. Именно поэтому восточническая фаза европейской истории, вернувшая ощущение полноты и гармоничности жизни, воспринимается сегодня как «темное Средневековье». Тем не менее христианская эсхатология создала предпосылки для активного участия человека в историческом процессе, и как только в нем появился не зависящий от Бога человек, идея прогресса стала бесконечной и позитивной, породив еще одно отличие от Китая, где идея прогресса оставалась цикличной, близкой христианству. В Европе постепенно «исчезают моменты, на которых покоилось средневековое представление о порядке: начало и конец, границы и середина»[41].

Конфликты между церковной и светской властями ослабили нравственный авторитет церкви, породив протест как в церковной среде, так и за ее пределами[42]. Лютер и Кальвин учением о предопределении судьбы добились независимости индивида от действий духовенства, положив начало разрушению религиозной общины. Легитимировав экономическую независимость собственника, протестантство предоставило ему право личного общения с Богом и таким образом ликвидировало фундаментальное противоречие между светской и религиозной властями. По мере ослабления церкви все чаще заключались союзы

королей с купцами — политической власти с экономической. Рост влияния последней способствовал формированию либеральной, то есть торгово-предпринимательской, рациональной культуры, требовавшей приспособления к постоянно меняющимся условиям и сравнения при помощи отчужденных, универсальных материальных ценностей. Новый экономический класс, став влиятельной общественной силой, потребовал равноправного с аристократией и духовенством участия в управлении государством, превратившись в главного инициатора ломки религиозных норм и нравственных принципов, господствовавших в Средние века[43]. Торгово-предпринимательская культура, нарушавшая семейные принципы отношений, была абсолютно неприемлема в Китае, где существовал культ земледелия и общинного труда, доминировала интровертная культура духовных ценностей, значительно меньше ценившая сравнение.

В эпоху Возрождения вновь произошло возвышение индивида, но уже не столько через собственность, сколько через науку, культуру, производство и политическое участие. Место семейных ценностей заняла свобода, воплощавшая результаты борьбы новых классов с церковью и наследственной аристократией. Точно так же, как христианство вернуло индивиду теплоту семейных отношений, Возрождение и Реформация соединили христианские начала нравственности и светскую рациональность, найдя в религиозной гармонии место для деятельностной личности.

На протяжении XVI–XVII веков светская власть вытеснила церковь из общественной жизни, а наука — религию из сферы сознания[44]. Освобождение от религиозного деспотизма в духовной жизни и церковного в социально-политической привело к росту индивидуализма и свободомыслию, сняв контроль с большинства областей общественной жизни. «Возродив знание греческого мира, Возрождение создало духовную атмосферу, в которой стало возможным соперничать с эллинскими достижениями»[45]. Тогда же общественно-политические концепции стали альтернативой Священному писанию и важнейшим фактором общественной жизни. Наука стала не просто объяснительным инструментом, каким она была в Средние века, но инструментом познания, а общественно-политические теории — руководством к действию. Утопии Т. Кампанеллы и Т. Мора, политические теории Н. Макиавелли и Т. Гоббса не только объясняли, но и предлагали, прорвав теологический барьер между теорией и практикой[46].

За ослаблением церковного контроля последовали злоупотребления, которые начались всюду, где прежняя власть разъедалась коррозией социально-политического протеста и творчества, усилилась «безнрав-

ственность» правителей, дав обильную пищу для спекуляций. В образовавшемся вакууме не действовали ни нравственные, ни правовые регуляторы, общество полностью положилось на силу национального характера, воплотившего особенности жизни и труда во внутренний мир и психологию индивида. Появление автономного от церкви политического пространства предоставило человеку возможность высказываться по поводу божественных предначертаний и самому определять цель. Возрождение разбудило субъектную природу человека, активизировав деятельность в сфере искусства и искусственного приближения к действительности. Утверждая необходимость концентрации власти в одних руках, которая бы собрала расползающийся духовный и социально-политический мир, Т. Гоббс создал искусственную конструкцию государства[47]. В его подвергнутой впоследствии критике вульгарной субъектности был прорисован мобилизационный императив развития, пришедший на смену инерции и неэффективности родовой и религиозной общин[48]. Н. Макиавелли и Т. Гоббс сформулировали новый принцип политического бытия: высокая общественная цель не имеет рациональных ограничений в выборе средств, всегда играющих подчиненную роль. До этого цель и средства, находясь в единой системе христианских текстов, не противоречили друг другу.

Свобода выбора, предполагавшая и свободу в выборе средств, обострила ощущение упадка и безнравственности[49]. Их единственным критерием была эффективность или рациональность, то есть соответствие человеческому разуму, появившемуся в качестве противопоставления Богу только в Средние века[50]. По мере того как рациональность превращалась в конкурента религиозной нравственности, человечество стало осознавать ответственность за свои действия и потребность в соответствующих механизмах общественного регулирования. Раньше эта сфера находилась в исключительной компетенции церкви: наказывая за ошибки, Бог заботился и о спасении. Теперь, чтобы спастись, надо было не совершать ошибок — веру заменила ответственность. Именно тогда появились теории, предлагавшие разделить власть между основными общественными силами[51]. Политическая теория Дж. Локка утверждала компромисс в качестве главного средства решения общественных проблем. Сдержки и противовесы, отождествляемые с парламентской демократией и разделением трех властей, как элементы системы ответственности должны были уберечь общество от фатальных ошибок и обеспечить устойчивость в продвижении по неизвестному пути. Следовавшим к уже определенной и заданной цели важнее были скорость и средства ускорения, нравственные аспекты при этом отходили на второй план[52].

Начиная с Нового времени в европейском мироощущении власть стала восприниматься как результат компромисса, продукт правового регулирования интересов, сложившийся в условиях противоборства светской и религиозной власти, старых и новых классов, определивших дискретность политической системы. Ниспровергнув старые авторитеты, общество стало конструировать новый аппарат управления, в котором государство воспринималось как ущемляющий интересы индивида, но неизбежный нарост на теле общества. Общество, таким образом, породило личность и государство, которые естественно противостоят друг другу в гораздо большей степени, чем обществу.

Разделение властей привело к заключению общественного договора, породив необходимую участникам для взаимного контроля публичность. Это вовлекло в общественно-политический процесс значительные массы населения, объединившегося впоследствии в политические организации. Признав разделение властей, общество делегировало часть своих полномочий структурам государства, призванным согласовывать противоречия и интересы различных социальных групп. Возникшая для регулирования композиционно более сложного, чем традиционное, индустриального общества, европейская бюрократия присвоила себе функции демократической процедуры.

Восточный и западный типы социальной организации

На Востоке не было по-европейски строгого деления на классы, не было «бюргеров» и буржуазии, поэтому, считая новоевропейскую культуру урбанистической, сегодня иногда даже отрицают существование в нем городов[53]. На самом деле в Китае были города, ремесла, торговля, но механизм регулирования отношений был иным. Государственное устройство традиционного Китая воспроизвело архетип семейных отношений: другой власти не знали и в ней не было необходимости. Родовая организация, помноженная на этническую гомогенность населения, препятствовала формированию имущественного неравенства, появлению классов и разложению общины. Поэтому китайский император воспринимался европейцами как тиран, обладавший абсолютным суверенитетом, равным божественному, который в Европе постоянно оспаривало светское государство. Конфуцианские этические нормы выступали естественным инструментом решения неотчужденных социальных проблем, предполагавших сосуществование, а не борьбу. Тем не менее усложнявшаяся неконфликтная социальная среда была вынуждена создать механизмы управления, положив в их основу институцио-

нализацию уже существующих инструментов социального регулирования[54]. В итоге обязательный ритуал компенсировал исчезновение теплоты семейных отношений, став функциональным аналогом европейского права. Так же как демократия, согласовывавшая индивидуальные интересы, ритуал стал естественным, стихийно сложившимся институтом управления, механизм действия которого был близок механизму христианской общины[55]. Нравственные нормы регулировали общественную практику через внутренний мир и мысли, а не через поступки, регулировавшиеся формальным законом. Ключевым звеном такой системы стал долг перед обществом, а не законодательно, юридически оформленное право, ограничивающее индивидуальные интересы и, таким образом, обеспечивающее стабильность[56]. Высшим критерием справедливости были отношения «сыновней почтительности», в рамках которых предок считался высшей ценностью, а выполнение долга — святой обязанностью. Поэтому «долг» и «справедливость» в Китае тождественны и обозначаются одним иероглифом, в то время как в европейском индивидуалистическом обществе справедливостью может быть только равенство. (Ответственность также не была разделена в китайском обществе.)

Традиция государственного управления не требовала не только разделения властей, но и демократических форм решения общественных противоречий и, следовательно, демократической организации политического процесса. Государство, выступавшее бюрократическим аппаратом разросшейся общины, появилось как естественный инструмент регулирования усложняющихся родственных отношений по уже имеющемуся образцу. Это было родовое общество, создавшее особый тип бюрократии, которая позволяла ему поддерживать воспроизводство традиционной культуры. Выросшие из отправления ритуала китайские шэньши (книжники) были ориентированы на регулирование единого общественного организма, частью которого были сами. Одним из наиболее важных следствий такого типа управления стала экзаменационная система, поставившая эффективный барьер нарушениям нравственных принципов в обществе, в котором кровнородственное и социально-классовое не было разделено. Бюрократия и экзаменационная система обеспечивали, таким образом, стабильность общественно-политического процесса, подвергавшегося воздействию родственных отношений и индивидуальных интересов[57].

Чиновники, выдержавшие испытание и, таким образом, запрограммированные на воспроизводство существующей социальной модели, получали привилегированный статус, становясь центральным элементом системы, обеспечивавшим ее функционирование. Положение че-

ловека зависело от знания и умения на практике претворять конфуцианские нравственные принципы, контролируемые экзаменационной системой. В Европе, наоборот, участие в управлении государством и социальный статус регулировались не культурно-образовательными цензами, как в Китае, а имущественными, фиксирующими стержень европейской цивилизации[58].

Сглаженность общественных противоречий, поглощавшихся родственными отношениями, препятствовала формированию личности, без которой не могли возникнуть и новые, формальные отношения[59]. «В христианстве личность была неизмеримо более свободна и менее регламентирована, чем в конфуцианстве... Церковь всегда учила, что религия есть нечто более высшее, чем социальный строй... А раз так, то представление о том, что его можно изменить, могло возникнуть у христианина скорее, чем у конфуцианца. Конфуцианец, напротив, с молоком матери впитывал в себя представление, что нет в мире ничего более святого, чем социальный строй средневекового Китая. Конфуцианец не воспитывался безропотным рабом человека (скорее, это можно сказать о христианине), но его в такой степени воспитывали рабом строя, что, даже восставая, он всегда восставал во имя строя»[60].

Интеллектуальная скованность (порожденная типом мышления) была усилена рано сформировавшейся бюрократической системой[61], препятствовавшей зарождению политического сознания экономически обособлявшихся слоев населения, которые так и не оформились в классы[62]. Развитая социально-государственная организация сразу же указывала им строго определенное место, не позволяя сформировать собственную альтернативу сложившейся общественной системе. Потенциальные угрозы, способные разрушить сложившуюся культурную матрицу, отторгались внутренне сбалансированной культурной традицией[63]. Для ее разрушения требовался чрезвычайно сильный и агрессивный вирус, которого ни внутри Китая, ни поблизости не было. Китайская империя ассимилировала даже завоевателей, предлагая им более совершенный тип патриархальных отношений[64]. Отсутствие внешних причин, способствовавших разрушению окрашенного патриархальной гармонией духовного единства, предопределило экстенсивный характер воспроизводства общественных отношений, сопровождавшийся постоянным ростом населения и демографической инерцией.

В отличие от этнически, социально, культурно и религиозно дискретной Европы, требовавшей формальных регуляторов, в Китае, где культура наращивалась, а традиция не прерывалась, доминировавший культурный монолит регулировался личными эмоционально окрашенными отношениями, нашедшими свое отражение в неординарных орга-

нах управления[65]. Все это предопределило отсутствие в Китае видимых социально-политических изменений, то есть истории в европейском понимании. Перемены тем не менее происходили, правда, другого, трудно фиксируемого западными аналитическими средствами, порядка. В то время как в Европе происходил процесс обновления власти в результате смены моделей и концепций общественной жизни, непосредственно затрагивавших население, в Китае функции перемен контролировались экзаменационной системой, в результате которой тоже появлялись новые общественно значимые фигуры, но их отличие от предшественников было индивидуальным, а не концептуальным, и не затрагивало систему, в которой личность не являлась ценностью.

Многослойность культуры придавала большую динамичность и мобильность европейскому обществу, акцентировала индивидуальность, личную мотивацию и творчество, которые обеспечили высокий уровень производительных сил, науки и торговли и создали соответствующую систему управления — рынок и демократию[66]. «Специфика западного социально-экономического развития — наличие больших исторических этапов господства производителей-собственников и их неотчужденного свободного труда, который и создал античность и Возрождение»[67]. Демократия и рынок, возникшие в результате развития характерных черт европейского общества — рациональности и дискретности, свободы личности и индивидуальности, стали сущностью западной цивилизации, предопределив впоследствии преимущества Европы при выстраивании ею отношений с другими регионами мира[68].

На Западе и на Востоке развились разные типы государственно-политических и общественно-политических «кодов», каждый из которых был предназначен воплощать оптимальные для условий Запада и Востока типы управления.

В Европе постоянное разрушение социальных форм организации угрожало существованию цивилизации, вынуждая ее к поискам радикальных форм обновления. На смену родовой общине пришла гражданская, но выработанные ею механизмы оказались несовершенными, а с точки зрения уровня развития производительных сил еще и преждевременными, и античная цивилизация погибла. Гражданскую общину сменила религиозная, однако и она оказалась уязвимой, неадекватной фундаментальным, уже сложившимся к тому времени принципам европейской цивилизации. Механизмы регулирования были вновь скорректированы. Появилось новоевропейское гражданское общество с правом, демократией и разделением трех властей, придававшим политическую стабильность агрессивному, атомизированному социуму, уберегая его от самоуничтожения.

На Востоке такой угрозы не было, и в появлении искусственного инструмента регулирования общественной жизни потребности не возникало. Община не разрушалась под влиянием внешних условий, а развивалась, сохраняя свои основные функции и элементы в восточном государстве на протяжении тысячелетий. В нерасчлененном социальном пространстве нравственные и правовые регуляторы оставались едиными. Из этого, в частности, нередко делают вывод об эклектичности современного китайского общественного сознания, государственных институтов и политических установок. На самом деле они большей частью органичны, так как никогда не выделялись в самостоятельных агентов социального управления и в таком виде дошли до современности.

Аналогично обстояло дело и в системе государственного управления. Бюрократия эффективно выполняла свои функции, в равной степени обслуживая волю императора и регулируя семейно-родственные отношения. Она разделяла поток естественных отношений формальными нормами ритуала, делала их дискретными, технологичными, то есть подвергающимися регулированию. Таким образом, созданные механизмы управления, получив общее название «государство», серьезно отличались.

Государство на Западе стало высокофункциональным инструментом регулирования динамичного социального организма. В построенных на других началах незападных обществах эти механизмы не действовали, но были другие, часто не менее эффективно поддерживавшие воспроизводство существовавшей социальной системы.

Примечания

[1] См. дискуссию в журнале «Pro et Contra», открытую статьей А. Богатурова «Десять лет парадигмы освоения» (2000. Т. 5. № 1). Некоторые представители научного сообщества, оказавшись наверху властной пирамиды, предельно откровенно сформулировали цель: применить в России то, что уже было открыто «цивилизованным миром». См., например: *Гайдар Е. Т.* Государство и революция. М., 1997.

[2] *Kuhn T.* The Structure of Scientific Revolution. 2nd ed. Chicago, 1970. P. 24. Эта мысль высказывалась и до него, но не получила широкого признания: историк находит только те факты, которые ищет. См., например: *Carr E. H.* What is History. New York, 1961. P. 26.

[3] См.: Эволюция восточных обществ. Синтез традиционного и современного / Отв. ред. Н. А. Симония. М., 1984.

[4] Закономерности ее трансформации могут существенным образом помочь в понимании происходящих в Китае процессов. В свою очередь и история Китая в XX веке дает возможность по-новому оценить развитие России и влияние на нее европейской цивилизации.

[5] При этом количественное сравнение оказывается явно не в пользу Запада, что наталкивает на мысль: а не является ли его нынешнее превосходство неизбежной по закону неравномерного развития, но лишь преходящей фазой исторического цикла, возвышающего попеременно то Восток, то Запад.

[6] Среди комплекса наук, рассматривающих взаимодействие природы и общества, наиболее известна геополитика — учение о влиянии географической среды на политику, сформировавшееся еще в конце XIX века. В конце XX века стала бурно развиваться наука о влиянии общества на природу — экология, и тогда выяснилось, что экологическая культура сформировалась у азиатских народов задолго до ее появления на Западе. О влиянии природных ресурсов и климатических условий на генезис общества писали значительно меньше. Эту проблему затрагивали: *Ключевский В.* Курс русской истории. М., 1987. Т. 1.; *Гране М.* Китайская цивилизация. Общественная и частная жизнь. М., 1938; *Тойнби А.* Постижение истории. М., 1991; *Бродель Ф.* Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. М., 1987–1990. Т. 1–3; *Гумилев Л.* Этногенез и биосфера Земли. М., 1993 и др. Вероятно, одним из первых специальных исследований была работа Л. И. Мечникова «Цивилизация и великие исторические реки» (М., 1924). Концептуально она изложена в работах Э. С. Кульпина «Восток. (Человек и природа на Дальнем Востоке.)» (М., 1998); «Об основах социоестественной истории» (Восток. 1994. № 1. С. 29–38); «Человек и природа в Китае» (М., 1990). Характерно, что как научная дисциплина она формировалась при изучении истории неевропейских стран и заставляла объяснять причины очевидных различий. Связано это с тем, что социоестественная концепция истории особенно плодотворна при характеристике начальных стадий общественного развития, когда влияние природы на общество неизмеримо сильнее социальных факторов, а мотивация и количество ресурсов являются основными факторами развития. Доминирование мотивации предопределило рациональный характер западной цивилизации. На Востоке ирригационные системы, обеспечивавшие воспроизводство, возможны были только при коллективных усилиях, а технические и технологические новшества служили в основном для экстенсивного воспроизводства, главным результатом которого стал опережающий рост населения.

[7] Материальная культура выделила человека из царства природы, впоследствии дав марксизму основание утверждать, что труд создал человека. Позже теория систем строго доказала, что часть как структура-аттрактор действительно может создать целое. Но вряд ли можно считать, что этой частью была материальная культура. Отличия в сфере материального производства на ранних стадиях были ограничены узкими природно-климатическими рамками и были незначительны, что и позволило стремившемуся к универсализму марксизму выделить материальную культуру в качестве важнейшей причины появления человека. В действительности любой материальной деятельности предшествует деятельность в духовной сфере, где суверенитет человека неизмеримо больше, а ее разнообразие заметно шире, но дошедшие до нас достоверные свидетельства ее существования появились намного позже.

[8] Ощущение гармонии с природой распространилось на общество, предопределив появление особого «азиатского способа производства», в основе которого лежит не антагонизм, а гармоничность общественных отношений.

[9] Поэтому китайцы верили в природу, с которой жили в мире, а европейцы — в Бога, помогавшего им противостоять природе. Даже в типе мышления китайцев, зафиксированном иероглифическим письмом и характером коммуникативной культуры, очевидно преобладание конкретного, природного над абстрактным, теоретическим.

[10] См.: *Богомолов А.* Античная философия. М., 1985. С. 31.

[11] *Тит Ливий.* Crescit interea Roma Albae ruinis. Цит. по: *Макиавелли Н.* Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. О военном искусстве. Минск, 1998. С. 275.

[12] «Война есть отец всего, царь всего. Она сделала одних богами, других людьми, одних рабами, других свободными» (Гераклит). См.: *Лосев А.* История античной эстетики: Итоги тысячелетнего развития. М., 1992. Кн. 1. С. 382.

[13] В Древней Греции из-за переселений, смены места появилось новое понимание о встраивании в среду, где выше роль человека, а не природы и бога. См.: Восток. 1999. № 1. С. 187.

[14] *Лосев А. Ф.* Указ.соч. С. 333, 354–362.

[15] *Богомолов А.* Античная философия. М., 1985. С. 241. Развивающееся общество стало атомизироваться и терять целостность.

[16] Рабовладение окончательно перенесло агрессивную схему отношений с природой на общество и подчинило их формальному закону.

[17] Цит. по: ВФ. 1992. № 3. С. 89. Даже в период зрелости Афинского государства рабами были почти исключительно инородцы, составлявшие военную добычу.

[18] В отчуждаемой у природы собственности материализовалось отношение европейского человека к внешнему миру. Существует мнение, что древнегреческая колонизация Средиземноморья, как и Великие географические открытия Нового времени, была вызвана правами наследования. Протестантство, таким образом, лишь придало завершенность исторической роли собственности в западном мире.

[19] Собственность стала символом покорения внешнего мира и поэтому заняла центральное место в западной цивилизации.

[20] Античная цивилизация начиналась с городов, отделившихся строгим барьером от внешнего мира. Эту традицию в Новое время продолжило государство-нация, для сохранения своей идентичности отделившееся границами. В городах, которые формировались не только как анклавы компактного проживания ремесленников, но и как ядро другой культуры, сузилась сфера контроля. Нравственные регуляторы, предполагавшие постоянное пребывание в поле зрения членов общины, потеряли свою эффективность, регулирование общественной жизни приобрело дискретный и потому формальный характер: от нарушения до наказания, восстанавливающего норму. Право, отличавшее граждан одной (городской) общности от другой, наиболее полно воплотило особенности античной цивилизации, так как оно давало новый фундамент социальной общности — не кровнородственный, а формальный и дискретный. В Китае эти функции выполнял долг, процедурой которого был ритуал, аналогичный по своим функциям юридическому закону.

[21] *Досев А.* Указ. соч. С. 342–343. Равенство перед законом означало признание субъектности. Основанная на родовых связях естественная иерархичность уступила место горизонтальному принципу организации. Увеличившееся в результате число участников общественного процесса усилило социальную динамику, породив нестабильность, кризисы и вызвав потребность в новых принципах управления.

[22] «С самого начала римское гражданство имело личный характер, определяемый только правом» (*Сестон В.* Римское гражданство // XIII Всемирный Конгресс исторических наук. М., 1970. С. 3–4). «Гражданин» понимался не в новоевропейском смысле, не как субъект общественно-политического процесса, а как член городской, а не родовой общности. Современное понятие «гражданство» именно на это и указывает.

[23] Впоследствии появление абстрактной, оторванной от национальной традиции цели стало важнейшим элементом устремленной в будущее культуры «модернити».

[24] Одним из первых на эту проблему указал А. Тойнби (см.: *Тойнби А.* Постижение истории. М., 1991. С. 35). Меньшее, чем в Европе, число и предсказуемый характер факторов развития позволяли свести все изменения к конечному числу ситуаций постоянно меняющегося мира, облегчая поиск гармонии. Их неизбежное повторение вводило представление о цикличности развития (64 гексаграммы), что обусловило одну из отличительных черт традиционного китайского мироощущения — органическую спиральность, то есть нелинейную поступательность. См.: *Виноградов А.* Гипотеза о «двойке» и «тройке» // IX Всероссийская конференция «Философии Восточноазиатского региона и современная цивилизация». М., 2004. С. 148–152.

[25] В зависимом от природы обществе социальные потрясения лишь нарушали воспроизводство, но не вели к смене общественно-экономического порядка и улучшению жизни. В отличие от Европы, где в силу большего многообразия существовали силы, способные предложить конструктивную альтернативу, хаос для Китая был всегда деструктивен. Неприспособленность к изменениям заставила его руководство в конце XX века, особенно после «культурной революции», осторожно относиться к преобразованиям, избегать радикализма, что и привело КНР, в конечном итоге, к успеху.

[26] *Kleinman A.* Somatization: the interconnections in Chinese society among culture, depressive experiences, and the meanings of pain // Culture and Depression / A. Kleinman and B. Good (eds). Berkeley, 1985. P. 468–469.

[27] Признав существование иных, чем материалистическая рациональность, оснований социального бытия, К.Г. Юнг предложил рассматривать Запад и Восток в терминах экстравертности и интровертности, означающих соответственно обращенность вовне, на преобразование и подчинение себе мира, и вовнутрь, на преобразование себя в едином, неиерархическом мире.

[28] Государство стало рассматриваться не как «инструмент экономических классов», а как институт, играющий решающую роль в развитии. См.: *Фурсов А. И.* Развитие азиатских обществ в XVII — начале XX в. // Современные западные теории. Вып. 2. (Обзор.) М.: ИНИОН, 1991. С. 69.

[29] Девальвация нравственности, не только регулировавшей отношения, но и устанавливавшей смысл бытия, лишила Рим внутреннего стержня. Экономические регуляторы материальной цивилизации не уничтожили родовые (нравственные) отношения, а видоизменили их, институционализировав в религию, сделавшую шаг от семейных отношений к формальным. Религия восполнила разрушение общинных ценностей и замену их формальным, римским правом. К закону как негативному регулятору, относящемуся только к нарушениям, была добавлена позитивная цель и восстановлен механизм нравственного регулирования, давший церкви повод утверждать, что религия является источником нравственности. Таким образом, в христианстве, создавшем духовный облик западной цивилизации, произошел синтез римского права и иудейской религиозности. Христианская Россия в этом отношении не принадлежит европейской цивилизации, поскольку в ней никогда не был осуществлен синтез с римским правом, а греческий логос, объединившись только с христианством, дал почти мистическое понятие «русской души», не обремененной рациональностью римского права.

[30] Против нее выступали Платон и Аристотель, переживавшие разложение общины и искавшие новые, философские основания общественного устройства. См., например: *Поппер К.* Открытое общество и его враги. М., 1992. Т. 1, гл. 3; Т. 2, гл. 11; *Богомолов А.* Античная философия. С. 221.

[31] Античность и Византия. М., 1975. С. 393. Христианство можно считать одним из первых достоверных результатов синтеза Востока и Запада. Это подтверждает география европейской культуры. В центре ее утвердилось личностно ориентированное протестантство, на границах — в Италии, Испании, Польше — сохранившее ценность за церковной организацией католичество, а еще дальше — на Балканах и в России — православие. Последующее разделение Европы на два общественно-политических блока воплотило эту традицию.

[32] Их разделение подточило старый общественный строй, заставив искать новые формы сотрудничества. Экономическая власть, воплощая отношения с природой, оставалась первичной, духовная, регулируя только отношения внутри общества, — производной. Такой характер отношений объясняет принципиальную схему марксистского исторического анализа, материалистического анализа вообще.

[33] В китайских условиях «не могло сложиться ни экономического, ни юридического феномена, полностью аналогичного европейскому понятию "частная собственность"» (*Меликсетов А.* Социально-экономическая политика Гоминьдана. 1927–1949. М., 1977. С. 9). «На Востоке в условиях переложного земледелия не могло возникнуть ни частной собственности крестьян на землю, ни ее наследственного владения, напоминающего частную собственность» (*Иванов Ю.* Восток—Запад: Некоторые вопросы методологии // ПДВ. 1996. № 6. С. 98–99.)

[34] Естественно, что и человек воспринимался не как субъект договорных отношений — гражданин и личность, а как отец и сын, старший и младший. Принцип «сяо» объясняет разное толкование прав человека в Китае и на Западе.

[35] Решающую роль в этом процессе сыграло христианство, превратившееся в духовный стержень империи, консолидировав разрозненное в культурном плане население. Однако ему не удалось преодолеть разделенность единого общественного организма на два имущественных лагеря. Наука Возрождения усилила универсализм, продолжив христианские традиции единения.

[36] В культурной среде, где главным принципом является противоречие, разделены общество и природа, личность и общество, классы внутри общества, частная и общественная собственность, власти и т.д.

[37] На Востоке, как и в России, вертикальный механизм управления и отсутствие горизонтальной, классовой солидарности создавали эффект индивидуальной включенности в государство, не воспринимавшееся внешним, отчужденным, как в Европе.

[38] Трудно согласиться с утверждением, согласно которому культура Нового времени создала техногенную цивилизацию. Идея господства над природой в Западной Европе возникла только после Ренессанса, став с тех пор отличительной чертой западной цивилизации. См.: ВФ. 1994. № 2. С. 29; 1992. № 6. С. 4. Эта мысль воспроизводит модель, предложенную О. Шпенглером, в которой культура, умирая, превращается в цивилизацию. На самом деле, я думаю, что в Новое время отличительные черты современной европейской цивилизации не появились, а реализовались в наиболее полной и завершенной форме. Именно поэтому в Китае появление культуры, аналогичной культуре Нового времени, без европейского влияния было бы отодвинуто за горизонт обозримой истории, несмотря на то, что какие-то элементы ее появлялись. См.: *Березный Л.* Было ли на Востоке «Новое время»? // Филология и история стран Азии и Африки. СПб., 1994. С. 41–43. Новое время в Китае не могло наступить само, так как технические и социально-экономические изменения были невозможны без личности — субъекта, противопоставленного Богу, как было в Европе, и породившего науку, технику и демократию.

[39] *Макиавелли Н.* Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. О военном искусстве. Минск, 1998. С. 279 (Вторая декада, кн. 2, гл. 5). Возрождение стало попыткой восстановить в памяти утраченное прошлое. В Китае такая задача не стояла, там историю постоянно переписывали, доказывая тем самым ее непрерывность и актуальность. Одним из первых на это обратил внимание М. Гранэ (Указ. соч. С. 199–200).

[40] Даже прямая наследница Рима Византия стала превращаться в монархию восточного типа, чему способствовали христианские концепции «света с Востока» (Античность и Византия. С. 391).

[41] *Гвардини Р.* Конец Нового времени // ВФ. 1990. № 4. С. 137.

[42] Они же, в конце концов, привели и к веротерпимости, породившей либерализм.

[43] Гражданские права в Риме также были результатом борьбы плебеев с патрициями (*Сестон В.* Римское гражданство. М., 1970. С. 1).

[44] Христианская теология подготовила плацдарм для науки, доказав возможность познания мира и провоцируя уподобление исследователя Богу, из чего впоследствии выросло авторское право, отсутствовавшее в китайской традиции «цзя» (школы). «Совместное накопление научной информации было гораздо более обычным в средневековом Китае, чем где-либо на Западе до эпохи Ренессанса» (*Needham J.* Time and Eastern Man // Needham J. The Grand Titration. Science and Society in East and West. L., 1969. P. 281). В религиозной фазе европейское общество обратилось от практики, предпринимательства к духу, созерцанию, интровертности. Новое время добавило к теоретическому знанию эксперимент, то есть вернулось к практике, образовав синтез.

[45] *Рассел Б.* История западной философии. Т. 2. С. 19. Возрождение внесло в христианство живую душу, точно так же, как в свое время христианство оживило греческий логос. На основе всеобщей культуры возник «модернизм» — искусство, понимаемое массами, переставшее быть достоянием элиты. См.: *Ясперс К.* Смысл и назначение истории. М., 1994. С. 141–145. Обращенность этой культуры в будущее стала новым эмоциональным стимулом развития. Но материалистичное большинство не могло формулировать высокие цели.

[46] Политические принципы Н. Макиавелли и Т. Гоббса применялись в период острой политической борьбы в СССР/РФ и КНР, а утопии Т. Кампанеллы и Т. Мора приближались к практическому осуществлению в отдельные периоды в КНР и Северной Корее.

[47] *Рассел Б.* История западной философии. Т. 2. С. 65.

[48] Политические построения Т. Гоббса актуальны для стран, переживающих радикальную смену исторических ритмов, в том числе для мобилизационного развития. Однако

улавливаемое в монополизации власти влияние общины вызвало неприятие его идей в Европе.

[49] Свобода субъекта, покорившего природу, стала свободой выбора в общественной жизни. На Востоке она так и не приобрела ценностного содержания.

[50] И ставшего впоследствии еще одним обязательным условием мобилизационности.

[51] Еще греки и римляне знали и использовали принцип политического равновесия в отношениях между первыми независимыми субъектами — государствами, но не имели его теоретического обоснования. См.: *Треверс П.* Проблема политического равновесия в классической античности. М., 1970. С. 1. Оно появилось в XVII–XVIII веках между королем, знатью и народом с тем, чтобы они, контролируя друг друга, предотвращали злоупотребления (Н. Макиавелли). Принцип разделения властей, свидетельствующий о разложении власти общинного типа, значительно позже сформулировал Монтескье. Однако потребовалось еще 200 лет, чтобы его теоретическая конструкция преодолела инерцию социальной среды и превратилась в реальность.

[52] Взгляды Т. Гоббса отвечали задаче создания системы, а Дж. Локка — принципам ее функционирования. Завершение распада родовой общины, сохранявшейся в религиозных формах, и было принято за начало Нового времени. Именно поэтому истоки современной европейской культуры большинство исследователей видит в XV–XVIII веках. В ответ на промышленную революцию и появление рационального взгляда на мир, по М. Веберу, появилась демократия, существенно отличаясь, таким образом, от древнегреческой.

[53] См.: Идейно-политическая сущность маоизма. М., 1976. С. 34.

[54] В России не было развитой культуры государственного управления, «батюшку-царя» любили «в засос», без китайских церемоний, что делало систему уязвимой, зависимой от личности. Ритуал позволял любить систему, придавая ей большую стабильность, в том числе при смене императора.

[55] В европейской истории подобную функцию катехизиса нравственной жизни выполняла Библия, но знание христианских канонов определяло положение человека не строго, поскольку была еще светская власть. Различие цивилизаций, таким образом, определяется не только принципами, но и их мерой.

[56] Именно это дало повод считать конфуцианство религией. Интерес ограничивается законом и ответственностью, а долг реализуется в нравственности и ритуале. Интерес индивида и долг члена коллектива — структурообразующие элементы социальных отношений на Западе и Востоке.

[57] На Западе неустойчивая, динамическая стабильность, стабильность как процесс, а на Востоке — устойчивая, как состояние, что препятствовало социально-экономическому развитию и консервировало существующий общественный строй.

[58] В Китае социальное неравенство определяло имущественное, а в Европе имущественное неравенство выступало источником социального, что нашло отражение в принципах организации власти, не поменяв ее природы. Любая власть — это ограничение, без которого невозможна культура. Иерархизируя неравенство по строго определенным критериям, власть придает ему стабильные социальные формы.

[59] Это не означает, что общественный организм не знал противоречий. Но это были противоречия другого рода — «семейные», неантагонистические, впоследствии названные Мао Цзэдуном «противоречиями внутри народа» и по этой причине непонятные европейцам, для которых народ представляет совокупность граждан, классов, экономических и политических интересов и называется обществом. Для Мао Цзэдуна народ символизировал общину, противопоставлялся классам, понятие которых он заимствовал из западной науки.

[60] *Васильев Л. С., Фурман Д. Е.* Христианство и конфуцианство (опыт сравнительного социологического анализа) // История и культура Китая. М., 1974. С. 472–474.

[61] Породив те же проблемы, что и в демократических обществах Западной Европы.

[62] Аналогичная ситуация была в России после Петровских реформ.

[63] Традиционная социальная организация Китая оказалась очень гибкой, приспособленной для абсорбции социальных изменений. Китай не знал свирепствовавших в Евро-

пе «войн за веру». Конфронтация конфуцианства и легизма была исключением. Существование даосизма и буддизма не привело к острым социальным конфликтами и завершилось созданием синкретического религиозно-философского феномена, уживавшегося с конфуцианством, которые с разных полюсов описывали одни и те же социальные отношения, не требуя их изменения.

[64] В отличие от Римской империи, которой не удалось нейтрализовать влияние иностранцев-рабов, явившихся фундаментом рабовладельческого государства. Варвары, завоевавшие Рим, не могли принять социальную систему, построенную на чуждых для них принципах, установив на новом материальном базисе более близкие им по духу феодальные отношения.

[65] Они не рациональны и потому неприемлемы для западного общества и трудны для понимания западной наукой. Они — один из критериев условности классических западноевропейских представлений об институтах государственной власти. Сущность «неординарных структур» — личные связи императора, для выполнения которым своих функций они и были созданы.

[66] Европейская цивилизация сложилась в результате соединения в античности восточного и западного начал — иудейского монотеизма, греческой логики и римского права, что и позволило осуществить их синтез в Новое время. Истоки западного индивидуализма лежат в античных Греции и Израиле. См.: *Аверинцев С.* Два рождения европейского рационализма // ВФ. 1989. № 3; *Баткин Л. М.* Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М., 1989; *Гуревич А. Я.* Проблемы ментальности в современной историографии // Всеобщая история: Дискуссии, новые подходы. Вып.1. М., 1989; *Parsons T.* The System of Modern Societies. N.Y., 1971. P. 29–49. В Возрождение произошло лишь осмысление того, что уже существовало в европейской культуре и общественной жизни.

[67] *Кантор К. М.* История против прогресса. (Опыт культурно-исторической генетики). М., 1992. С. 92.

[68] Европа дала пример общественного развития, в котором ключевое значение имеет эквивалентный обмен, соответствующий циклическим законам естественной природы. Особые инструменты развития дискретной западной цивилизации — демократии и рынка, ускорив развитие производства, науки, торговли, стали универсальным механизмом их сравнения.

Глава **18**

Истоки американского поведения

В феврале 1946 года поверенный в делах США в Москве Джордж Кеннан послал в Вашингтон знаменитую «Длинную телеграмму» (*The Long Telegram*), которая по сей день остается лучшей из предпринятых в Америке попыток проанализировать мотивы внешней политики сталинского руководства.

В переработанном виде этот документ был опубликован в июле 1947-го в журнале «Форин Аффэрз» под заголовком «Истоки советского поведения» (*The Sources of Soviet Conduct*). Кеннан оказал большое влияние на политическую мысль США: он сформулировал ключевые идеи концепции сдерживания Советского Союза, которая на многие десятилетия определила взаимоотношения Соединенных Штатов и СССР.

Почин Кеннана-аналитика интересен прежде всего как одна из первых успешных попыток выявить политико-психологические и идейно-культурные истоки внешней политики государства. Без их понимания сегодня, как и полвека назад, трудно рассчитывать на выработку эффективной внешней политики вообще и курса в отношении ведущих международных партнеров, таких как США, в частности. Предлагаемая глава — попытка зеркально отразить замысел Кеннана, раскрыть особенности мотивов, которыми руководствуется нынешняя американская элита во взаимодействии с внешним миром.

Идеи свободы и миссии во внешнеполитическом мышлении США

Уверенность в превосходстве — первая и, возможно, главная черта американского мировидения. Она свойственна богатым и бедным, уроженцам страны и недавним переселенцам, образованным и не очень, либералам, консерваторам и политически безразличным. На идее превосходства высится махина американского патриотизма — неистощимо многообразного, сводимого, однако, к общему знаменателю: мно-

гое в Америке нужно исправить, но это — лучшая страна в мире. Идея превосходства — такая же въевшаяся черта американского сознания, как чувство уязвленности (обиды на самих себя) — современного русского. В данном смысле американцы — это «русские наоборот».

Два века наши «интеллигентствующие» и «антиинтеллигентствующие» соотечественники сладострастно страдают в метаниях между комплексами несоответствия «стандартам» демократии и ксенофобией. Те и другие твердят об ужасах жизни в России. Подобное самоистязание недоступно уму среднего американца. В США могут, не стесняясь, словесно «отхлестать» любого президента. Но усомниться в Америке? Унизить собственную страну даже словом — значит, по американским понятиям, выйти за рамки морали, поставить себя вне рамок приличия. Граждане США любят свою страну и умеют ее любить. Американцы развили высокую и сложную культуру любви к отечеству, которая допускает его критику, но не позволяет говорить неуважительно даже о его пороках.

Америка достойна уважения по многим показателям. Но простому американцу не до статистики экономических достижений. Подозреваю, что если бы США и не были самым сильным и богатым государством мира, то наивно-восторженная убежденность американских граждан в достоинствах родины осталась бы ключевой чертой их национального характера. Отчего? Да оттого, что приток иммигрантов в США возрастает, а оттока из страны нет. На уровне массового сознания это неопровержимый аргумент. Почему мы стыдимся говорить о том, что и в Россию устремляются сотни тысяч людей, в том числе здоровых, красивых, образованных, из Украины, Молдавии, Казахстана, Китая, Вьетнама, из стран Центральной Азии и Южного Кавказа?

Оборотная сторона американского патриотизма — искренняя, временами слепая и пугающая убежденность в том, что предназначение Соединенных Штатов — не только «служить примером миру», но и действенно «помогать» ему прийти в соответствие с американскими представлениями о добре и зле. Это вторая черта американского характера. Для американца типична незамутненная вера в то, что его представления хороши для всех, поскольку отражают превосходство американского опыта и успех благоденствующего общества США.

Принято считать, будто в основе американских ценностей лежит идея свободы. Но стоит подчеркнуть, что в представлениях американцев абстрактное понятие свободы переплетается с более конкретным понятием демократии, хотя, строго говоря, это разные вещи.

В самом деле, свободу белого человека, пришедшего из Европы, чтобы колонизовать Америку, удалось защитить от посягательств Старого Света при помощи демократии — демократии как формы государствен-

ной самоорганизации колоний Северной Америки против Британской империи. Вот почему в глубинах сознания американца идея его личной свободы органично «перетекает» в идею свободы нации. При этом в американском понимании «нация» и «государство» сливаются. Возникает тройной сплав: свобода — нация — государство. А поскольку кроме собственного государства никакого иного американское сознание не знало (и знать никогда не стремилось), то названная триада приобрела несколько специфический вид: свобода — нация — американское государство. Демократия для американцев — не тип общественно-политического устройства вообще, а его конкретное воплощение в США, совокупность американских государственных институтов, режимов и практик. Именно так рассуждают ведущие американские политики: в США — «демократия», а, например, в странах Европейского Союза — парламентские или президентские республики. С американской точки зрения, это отнюдь не тождественные понятия.

Происходит парадоксальное, с точки зрения либеральной теории, сращивание идей свободы и государства. Концепция освобождения (эмансипации) человека от государства обосновалась на американской почве не сразу. Это в Европе тираническое государство с XVIII века виделось антиподом свободного человека. В США государство казалось инструментом обретения свободы, лишь с его помощью жители североамериканских колоний добились независимости от британской монархии (*freedom*).

Идея освобождения личности от государства утвердилась в США только ко времени президентства Джона Кеннеди (1960-е годы), косвенно это было связано с началом реальной эмансипации черных американцев. Отчасти поэтому идея «свободы-демократии» (*liberty*) имеет в массовом американском сознании несколько менее прочные основания, чем идеи патриотизма и предназначения, которые апеллируют к понятию «freedom»[1].

Приверженность этой идее — третья черта американского политического мировосприятия. На уровне внешнеполитической практики идея «свобода-демократия» легко трансформируется в идею «свобода Америки», которая подразумевает не только право Америки быть свободной, но и ее право свободно действовать. Внешняя политика администрации республиканцев в 2000-х годах выстраивалась в русле такого понимания свободы. В этом заключался идейный смысл политики односторонних действий.

Уверенность в самоценности «свободы-демократии» позволяет считать ее универсальным высшим благом. Идея «свободы действий» в сочетании с комплексом «исторического предназначения» позволяет

формулировать миссию Америки — нести «свет демократии» всему миру. Представление об оправданности американского превосходства дает возможность отбросить сомнения в уместности расширительных толкований прав и глобальной ответственности США. В результате взаимодействия всех трех свойств американского политического характера формируется четвертая присущая ему черта — упоенность идеей демократизации мира по американскому образцу.

При всей иронии, которую вызывает «собственническое» отношение американцев к демократии, его стоит принять во внимание. Например, для того, чтобы отличать «обычное» высокомерие республиканской администрации от характерной черты сознания американской нации. Причудливая, на первый взгляд, вера американца в почти магическое всесилие демократизации для него самого не более необычна, чем наша почти природная тяга к «сильной, но доброй власти» и «порядку». Американцам трудно понять, почему другие страны не хотят скопировать практики и институты, доказавшие свое преимущество в США. Стремление «обратить в демократию» против воли обращаемых (в Ираке и Афганистане) — болезненная черта американского мировосприятия. Ирония по этому поводу вызывает в Америке недоумение или холодную отстраненность.

В отношении американца к демократизации много от религиозности. Пиетет к ней связан с высоким моральным авторитетом, которым в глазах американца обладает проповедь вообще. Исторически протестантская миссионерская проповедь среди привезенных из Африки черных рабов сыграла колоссальную роль для их интеграции в американское общество через обращение в христианство. Демократизация мира приобретает черты сакральности в глазах американца, потому что по функции она родственна привычным формам «богоугодного» религиозного обращения.

Повод для сарказма есть. Но и американцам кажется «природной тоталитарностью» россиян то, что сами мы предпочитаем считать естественным своеобразием собственного культурно-эмоционального склада. Наш народ сформировался в условиях открытых пространств Евразии, на которых Российское государство не могло бы выстоять, не занимаясь обеспечением повышенной военно-мобилизационной готовности своего населения. Постоянный настрой на нее сформировал у русских канон поведения, в соответствии с которым личная свобода соотносится с подчинением таким образом, что акцент делается на последнем.

Любопытна и другая параллель. Всемирное коммунистическое братство и глобальное демократическое общество — единственные светские утопии, способные по мощи и охвату претензий сравниться с глав-

ными религиозными идеологиями (христианство, ислам и буддизм). Но коммунизм оттеснен, а религии могут уповать лишь на частичную реставрацию былых позиций. Только демократизация остается вселенской идеологией, по-прежнему притязающей на победу во всемирно-историческом масштабе.

Мышлению политической элиты США, как и любой другой страны, присущ элемент цинизма. Однако в вере американцев в полезность демократии для других стран много искренности. Поэтому она и не лишена заряда внутренней энергии, неподдельного пафоса, даже романтики подвига, которые помогают американцам убеждать себя в том, что, бомбя Сербию и Ирак, они «на самом деле» несут благо просвещения.

Демократизация фактически представляет собой идеологию американского национализма в его своеобразной, надэтнической, государственнической форме. Подобную «демократизацию» США успешно выдают за идеологию транснациональной солидарности. Это упрек американским политикам и интеллектуалам. Но это и пояснение к характеру рядового американца. Он лишь отчасти несет ответственность за политику той властной группы, которую его голос, преломленный избирательной машиной, приводит к власти, но влиять на которую повседневно ему сложно, хотя и легче, чем россиянину влиять на российскую власть.

Не имея возможности в достаточной степени воздействовать на внешнюю политику, американский избиратель легко освобождает себя от мыслей о «вине» за нее. Проблемы экономической политики и внутренние дела вызывают расхождения, но внешняя политика — предмет консенсуса. При видимости «раскола» в американском обществе из-за войны в Ираке полемика ведется на самом деле относительно тактики прорыва к победе: с опорой на собственные силы или в сотрудничестве с союзниками, при игнорировании ООН или при символическом взаимодействии с ней. В главном — необходимости победить — демократы и республиканцы едины.

Такое отношение к войне с заведомо слабым противником не новость в американской истории. Но оно не новость и в истории советской (Афганистан), французской (Алжир), британской (война с бурами) или китайской (война 1979 года с Вьетнамом). В 60-х годах прошлого века отношение американцев к вьетнамской войне тоже стало всерьез меняться только в канун президентских выборов 1968 года. Лишь тогда республиканская партия, добиваясь поражения демократов, сделала ставку на антивоенные настроения. За счет вброса денег в СМИ республиканцы инспирировали обнародование сведений о потерях США во вьетнамской войне. Журналисты и владельцы новостных каналов

располагали этими сведениями и прежде, но ждали момента для выпуска их в эфир и помещения на страницы печати.

Американоцентризм

Пятая черта американского мировидения — американоцентризм. Принято считать, что это китайцы помещают свою страну в центр Вселенной. Возможно, когда-то так и было. Во всяком случае в маленькой, тесной Европе трудно было развить психологию «срединности» какого-то одного государства. Все европейские страны придумывали себе родословную на базе исторической памяти о двух Римских империях, империи Карла Великого и Священной Римской империи германской нации. Европейские государства ощущали себя скорее «частями», чем «центрами». Политический центр в «европейском мире» блуждал из одной страны в другую. Не удалось развить идею «мироцентрия» и России, которая на протяжении истории безотрывно смотрела через свои границы — сначала на Византию, потом на Орду и, наконец, на Западную Европу, отдавая силы преодолению «маргинальности», а не утверждению «мироцентрия».

Долго не было американоцентризма и в США. Присутствовали изоляционизм и идея замкнуть на себя Западное полушарие, сделав его «американским домиком» («доктрина Монро»). Но посягательства на вселенский охват эти концепции не предполагали. Идея Pax Americana стала зреть в умах американских интеллектуалов после Второй мировой войны. Но тогда «мироцентрие» США оставалось мечтой. Ее реализации препятствовал Советский Союз. Американоцентризм начал процветать лишь с распадом последнего.

Все, что из России, Германии, Японии и Китая кажется американской экспансией, расширением сферы контроля США (в 1990-х годах — Босния, Косово, в 2000-х — Ирак, Афганистан), американцам таковым не представляется. Они полагают, что наводят порядок в «американском доме». Драма в том, что дом этот имеет странную конструкцию: у него «пульсируют» стены — то сжимаются, то раздвигаются. Снаружи они служат оградой вокруг территории США, ощетинившись кордонами на границе и жесткими процедурами выдачи виз. Изнутри — наоборот: если речь идет об американских интересах, масштабы которых безгранично разрастаются, до бескрайних пределов раздвигаются и стены «американского дома».

При прочтении любого внешнеполитического документа США очевидно: сферой американских интересов в Вашингтоне считают весь мир. Никакой другой стране, согласно американским воззрениям, не пола-

гается иметь военно-политические интересы в Западном полушарии, Северной Америке и даже на Ближнем и Среднем Востоке. Американцы терпят факт наличия у России и Китая собственных стратегических интересов в непосредственной близости от их границ. Но попытки Москвы и Пекина создать там зоны своего исключительного влияния воспринимаются Вашингтоном как противоречащие его интересам. Принцип «открытых дверей в сфере безопасности» распространяется на весь мир... за исключением тех его частей, которые США считают для этого «неподходящими».

Картина интересов США предстает в виде трех отчасти взаимопересекающихся зон. Первая совпадает с контурами Западного полушария — это «внутренний дворик» США. Вторая охватывает нефтяные регионы — Ближний и Средний Восток и Каспий с выходом в Центральную Азию. Третья с запада охватывает Европу, «подпирая» Европейскую Россию, а с востока — Японию и Корею, «обнимая» Китай и Индию. Первая воплощает интересы безопасности США. Вторая — потребности экономической безопасности. Третья — старые и новые сферы фактической стратегической ответственности Соединенных Штатов.

Международная жизнь — последнее, что интересует американцев. Обычно они поглощены внутренними делами — социально-бытовыми, преступностью, развлечениями, затем — экономикой, наличием рабочих мест, выборами, политическими интригами и скандалами. Внешнеполитические сюжеты для них второстепенны за исключением ситуаций вроде войны в Ираке. Но и такая война — вопрос для американца внутренний. Соль новостей из Ирака — это не страдания иракцев, а влияние войны на жизнь американцев: сколько еще солдат может погибнуть и вырастут ли цены на бензин?

Представления о географии, истории, культурных особенностях внешнего мира не очень занимают американцев. Все, что не является американским, значимо лишь постольку, поскольку способно с ним соперничать. США уделяют больше внимания тем странам, отношения с которыми у них хуже. Опасаются Китая? Госбюджет, частные корпорации, благотворительные организации тратят огромные деньги на изучение КНР. Вспыхнули разногласия с Парижем из-за Ирака? В Америке создаются центры по изучению Франции. Ким Чен Ир стал угрожать ядерной программой? В течение одного года американцы издают около 20 плохих и не очень плохих книг по КНДР — больше, чем о России за три года.

Сам факт, что Россия почти не упоминается в американских СМИ, а средства на ее изучение сокращаются — признак того, что о «российской угрозе» в Вашингтоне не думают. Между тем американские политологические школы изучения России, никогда не отличавшиеся глу-

биной исследования, находятся в состоянии кризиса, сравнимого лишь с упадком американистики в Российской Федерации.

Мышление аналитиков яснее от этого стать не может. Размываются и прежде неотчетливые географические представления американских коллег, пишущих о евразийских сюжетах (речь не о профессиональных географах). А поскольку на карте все кажется рядом, то в ходе «научной» дискуссии в США можно услышать, что размещение американских баз в Киргизии и Узбекистане будет способствовать повышению надежности транспортировки нефти на Запад. Тот факт, что нефтяные месторождения Казахстана находятся на Каспии, на крайнем западе региона, а американские базы — у границ Китая, на его восточной оконечности, западному человеку кажется далеко не важным. «Центральная Азия» предстает сплошным нефтеносным пластом от Синьцзяна до Абхазии — этакая гигантская «Тибетско-Черноморская нефтяная провинция», замершая в восторге ожидания демократизации.

Представления об оптимуме отношений с Россией

Американское руководство предпочитает вести переговоры с позиции гласного или негласного проецирования силы, считается с силой и всегда использует ее — в той или иной форме — как дипломатический инструмент. Этот набор характеристик распространяется на обе версии американской политики — республиканскую и демократическую.

Между двумя партиями есть разница. Демократы считают применение силы крайней мерой. Республиканцы готовы применять ее без колебаний, по собственному произволу, если не отдают себе отчета в том, что им может быть оказано противодействие сопоставимой разрушительной силы. Страх перед ядерной войной с СССР умерял пыл республиканцев в 1950-х годах. Отсутствие опасений в отношении России придали смелости американским администрациям после 1991 года.

Как вести себя с таким важным партнером, как США? Ответ замысловат. Если Россия в самом деле намеревается стать партнером/союзницей Америки, она должна стремиться быть как можно сильнее, но при этом не представлять угрозы для Соединенных Штатов. Иначе сотрудничество с ней не будут воспринимать всерьез. Слабая Россия, идеал отечественных «пораженцев» бесславной ельцинской поры, для союза с Вашингтоном бессмысленна, а для роли сателлита слишком тяжела.

Необходимо осуществить второй этап реформы экономики, преодолеть ее исключительно нефтегазовый характер, провести модернизацию оборонного потенциала и реформу вооруженных сил, принять меры по усилению государства на основе рационализации при одновременном

укреплении демократических устоев политической системы. Отказ России от мысли построить жизнеспособную демократическую модель — аргумент в пользу оказания давления на нее.

Другое дело — какое место даже для умеренно сильной (и «умеренно демократической») России угадывается в американской картине мира. В истории внешней политики США можно отыскать десятки вариантов партнерств с разными странами — от Великобритании, Франции, Канады или императорской России до Китая (между мировыми войнами), Филиппин, Австралии, Японии или Таиланда. Однако американская традиция знает всего два случая равноправного партнерства — это союз США с Россией в пору «вооруженного нейтралитета» Екатерины II и советско-американское сотрудничество в годы борьбы с нацизмом.

Больше Соединенные Штаты на равных ни с кем не сотрудничали. Американское партнерство — это альянс сильного, ведущего, с менее сильным, ведомым. Но такое понимание дружбы плохо сочетается с российскими представлениями о союзе как о договоре равных или договоре сильного с менее сильным, в котором роль ведущего отводится России. Мы слишком похожи на американцев, чтобы нам было легко дружить. Россия стремится стать сильнее, надеясь с большей уверенностью заговорить с иностранными партнерами. США хотели бы видеть Россию умеренно сильной и ничем не угрожающей, но были бы против уравнивания ее голоса с американским.

Можно представить себе несколько вариантов «особых отношений» между Россией и США. Вариант под условным названием «Великая Франция» отчасти реализуется сегодня. Россия, как и Франция при президенте Шарле де Голле, поддерживает США в принципиальных вопросах: борьбе с терроризмом, нераспространении оружия массового уничтожения и соответствующих технологий, предупреждении ядерного конфликта между Пакистаном и Индией. Одновременно, и тоже как Париж времен де Голля, Москва не разделяет подходов США к региональным конфликтам — на Ближнем Востоке и в Северо-Восточной Азии. В отличие от Франции, однако, Россия не связана с США договором союзного характера и формально строит свою оборонную стратегию на базе концепций, не исключающих конфликта с Соединенными Штатами.

Вариант «либерального Китая» не имеет аналогов в реальности, но может возникнуть, если между Россией и США станет нарастать отчуждение, вызванное, например, односторонними действиями США в Центральной Азии или в Закавказье, которые Москва сочтет враждебными. Это не будет автоматически означать возобновления конфронтации, но повысит вероятность сближения России с Китаем.

Двусмысленность американского военного присутствия у западных границ КНР в сочетании с неясностью ситуации вокруг Тайваня тревожит Пекин. Ни Россия, ни Китай не хотят противостояния с США, но их сближают подозрения, которые вызывает «неопределенность» целей американской стратегии в Центральной Азии. Вариант «либерального Китая» в лице России не напугает США. Он может оказаться для Вашингтона приемлемым (если не привлекательным) при условии уверенности американской стороны в том, что Пекин и Москва не вступят в полномасштабный союз с целью противодействия США.

Возможно, в идеале для американского восприятия подошел бы вариант «Россия в роли более мощной Британии». С одной стороны, дружественная страна, к тому же снабжающая США нефтью. С другой — достаточно сильная держава, способная оказать поддержку американской политике в глубине материковых районов Евразии, там, где Соединенные Штаты настроены расширить свое влияние. Однако нет уверенности, что этот вариант импонирует российскому руководству, если принять во внимание «ведомый» характер британской политики, подрывающий ее авторитет даже в глазах европейских соседей.

Компромиссным вариантом оказалось бы сочетание элементов первого и третьего сценариев. Россия — страна, развивающая, как и Великобритания, отношения с США независимо от отношений с Европейским Союзом, но одновременно менее покладистая, чем Великобритания, и более упорная, как Франция в отстаивании своих позиций.

При данном варианте разумной была бы политика «уклонения от объятий» Евросоюза и НАТО. От форсирования дружбы с первым — ввиду его стремления в последние годы мешать сближению России с Вашингтоном. От сотрудничества со второй — в силу неопределенности перспектив такого сотрудничества. Как инструмент обеспечения безопасности только на евроатлантическом пространстве, НАТО перестала представлять для США ценность. Трансформация альянса — с точки зрения американских интересов — предполагает его отказ от роли исключительно европейской оборонной структуры и приобретение им военно-политических функций в зонах Центрально-Восточной Азии и Большого Ближнего Востока, то есть в бывшем Закавказье и бывшей Средней Азии. Если эта трансформация состоится, Россия как геополитически ключевая держава региона окажется в более благоприятных условиях для вступления в НАТО. Если подобной трансформации не последует, роль этой организации будет еще более маргинальной и для России не будет иметь смысла придавать ей слишком большое значение.

Зачем Россия нужна Соединенным Штатам? Мы привыкли думать о своей стране в основном как о ядерной державе. Своей «нефтяной

идентичности» мы стесняемся: неловко вписывать себя в один ряд с Саудовской Аравией, Кувейтом, Катаром, Венесуэлой и Нигерией.

Теоретически американцы нашу ядерную сущность признают и отрицать не собираются. Однако для политиков-практиков, особенно среднего и более молодого поколений, Россия — это прежде всего крупнейший мировой экспортер энергоресурсов, который при всем при том обладает еще и ядерным потенциалом. То есть никакая не «Верхняя Вольта с ракетами», а страна, обладающая сдвоенным потенциалом энергосырьевого и атомного оружия.

Переговоры о контроле над вооружениями вернутся в повестку дня встреч российских и американских лидеров. Но это случится позже, когда к ним присоединятся Китай и, возможно, лидеры других государств, если продолжится пока необратимый распад все еще действующего режима нераспространения ядерного оружия. Тогда откроются новые возможности для российско-американского совместного маневрирования в военно-стратегических вопросах.

Это не значит, что России не надо совершенствовать свой ядерный потенциал. Но это означает, что в обозримой перспективе попытки вернуть Вашингтон к ведению дел с Москвой с упором на переговоры о контроле над вооружениями обрекают российскую дипломатию на застой. Ядерный потенциал России обеспечивает ей пассивную стратегическую оборону. Будущее активной дипломатии — в сочетании энергетического оружия в наступлении и ядерного в самозащите. В мире нет больше ни одной ядерно-нефтяной державы. А потенциально таковой могут стать только Соединенные Штаты.

США изучают нефтегазовые перспективы России с различных точек зрения. *Во-первых*, с точки зрения ее собственного экспортного потенциала (нефть Коми и газ Сахалина); *во-вторых*, способности России препятствовать или не препятствовать Америке в налаживании импорта из пояса месторождений поблизости от российских границ — на Каспии прежде всего, в Казахстане и Азербайджане; *в-третьих*, ввиду возможности влиять на новых импортеров российской нефти — Китай и Японию (нефть и газ из Восточной Сибири). Ядерный фактор работает, скорее, на воспроизводство подозрений США в отношении России, нефтяной — больше на повышение конструктивного интереса к ней.

Другие факторы проявления Америкой внимания к России тоже делятся на условно негативные и позитивные. К первым относится способность Москвы дестабилизировать обстановку в государствах, важных для производства нефти и ее транспортировки на Запад, — Азербайджане, Казахстане и Грузии, а также способность вернуть себе доминирующие позиции в Украине. Последнюю Вашингтон рассматривает в

качестве новой транзитной территории, которая позволит обеспечить расширение военно-политических функций НАТО на новые фактические зоны ответственности альянса вне Европы. К позитивным факторам относится способность России оказывать поддержку США, например, в борьбе с радикалами-исламистами в Большой Центральной Азии (от Казахстана до Афганистана и Пакистана), а может быть, со временем отчасти служить противовесом Китаю.

Особенности американской школы изучения российской политики

В США Россию изображают то страной «неудавшейся демократии» и авторитаризма, то просто отстающим в демократизации государством, способным или быть полезным Соединенным Штатам, или нанести ущерб американским интересам и поэтому тоже достойным внимания. Сохраняется высокомерное отношение к России, как к дежурному мальчику для битья. Призывы «потребовать от Кремля...», «сказать Медведеву/Путину...», «напомнить, что США не потерпят (позволят, допустят)...» — к таким фигурам речи прибегают и демократы, и республиканцы. Поводы одни и те же: ситуация вокруг Южной Осетии, отношения России с Украиной, внутриполитические шаги, нежелание Москвы поддерживать авантюру в Ираке или согласиться с попытками Вашингтона повторить ее сценарий в Северной Корее и Иране.

Правда, подобные выходки со стороны США имеют место и по отношению к другим странам — например, в связи со вспышками разногласий с Францией или Японией. Разница в том, что японское лобби в Америке — одно из самых мощных, да и людей, симпатизирующих Франции, достаточно. Напротив, признаков ведения систематической деятельности в пользу России в США почти не наблюдается. Российское государство на эти цели денег тратить не хочет, а крупный российский бизнес, в отличие от японского, тайваньского, корейского и французского, поступает как раз наоборот, лоббируя свои интересы в России при помощи нагнетания за рубежом антироссийских настроений.

Какая из российских нефтяных фирм вложила средства в исследования России, проводимые, например, в Институте Гарримана (Нью-Йорк), в Школе Генри Джексона (Вашингтонский университет в Сиэтле) или в Центре евразийских исследований Университета Джонса Гопкинса в Вашингтоне? Не удивительно, что на многих конференциях, посвященных России, в США продолжают говорить об «авторитарных и неоимперских тенденциях».

Правда, в последние годы американские политологи-русисты стали больше читать по-русски[2]. Но контраст очевиден: в России рукопись книги о США с указанием малого количества американских источников просто не будет рекомендована к печати, а диссертацию по американистике, две трети сносок в которой не будут американскими, не пропустят оппоненты. В США — иначе. В советские времена американцы находили извинительным не читать русские книги, говоря, что все, публикуемое в СССР, — пропаганда. Те немногие американские работы о советской общественно-политической мысли, которые выходили тогда, являют собой стандарт аналитической беспомощности. Исследуя состояние умов в Советском Союзе, американские авторы до середины 1980-х годов ссылались лишь на решения съездов КПСС и труды советских официальных идеологов, не улавливая сдвигов, которые проявлялись в советской политической науке в виде массы осторожных, но вполне ревизионистских книг и статей. В результате американская политология проспала и «перестройку», и распад СССР.

С тех пор в России изданы десятки новых книг и напечатаны сотни статей, представляющих плюралистичную палитру мнений авторов новой волны. И что? За редким исключением (Роберт Легволд, Брюс Пэррот, Блэр Рубл, Фиона Хилл, Гилберт Розман, Эндрю Качинс, Клиффорд Гэдди, Марк фон Хаген и Майкл Макфол) американские политологи, пишущие о российской политике, читают русские публикации лишь от случая к случаю. Сноски на русскоязычные источники и литературу в американских политологических работах авторов старшего поколения — исключение, а не правило. Они не составляют и трети справочного аппарата. Только в публикациях молодого поколения американцев можно найти достаточное число ссылок на русские источники и прессу.

На что же ссылаются маститые американские политологи? *Во-первых*, американцы предпочитают цитировать друг друга. *Во-вторых*, использовать материалы газет, выходящих в Москве на английском языке, будто не зная, что эти тексты рассчитаны на зарубежного читателя, а россиянин их обычно не читает и не испытывает на себе их влияния. *В-третьих*, они ссылаются на книги на английском языке, написанные русскими авторами по заказам американских организаций. Работы этой категории авторов тоже предназначаются американской аудитории и в минимальной степени характеризуют российскую политико-интеллектуальную ситуацию. За свои деньги американцы получают от русских авторов те выводы, которые хотели бы получить. Каков коэффициент искажения подобного рода «научных» призм?

США — страна, которая, используя исторический шанс, стремится на максимально продолжительный срок закрепить свое первенство в

международных отношениях. Это ключ к пониманию американской политики. Опасность заключается в том, что Соединенные Штаты чувствуют себя вправе применять любые инструменты, включая наиболее рискованные. Остановить продвижение США по этому пути вряд ли может внешняя сила, если иметь в виду другие страны и их коалиции. Иное дело, что международная среда, природа которой сильно меняется под влиянием транснационализации, способна еще не раз резко осложнить воплощение в жизнь американской стратегии глобального лидерства.

Смысл идущих в России дебатов вокруг вопроса о перспективах российско-американского сближения состоит в выработке оптимальной позиции в отношении не столько самих Соединенных Штатов, сколько той непосильной, если верить истории, задачи, которую они гордо и, возможно, неосмотрительно на себя возложили.

Глобальную мощь Америки невозможно рассматривать и вне контекста ее внешней политики. Но в то же время планета выигрывает от готовности США нести на себе груз таких мировых проблем, как нераспространение ядерного оружия, борьба с наркобизнесом, ограничение транснациональной преступности, упорядочение мировой экономики, решение проблем голода и пандемий и, наконец, ограничение потенциала авторитаризма национальных правительств.

Когда полвека назад Джордж Кеннан, «человек, который придумал сдерживание», писал свою статью, он пылко ненавидел советский строй и силился сочувствовать нашему народу. Оттого в его тексте много чеканных приговоров, временами чередуемых с лирическими отступлениями. Россиянам в основном симпатичны американцы, и нам трудно ненавидеть американский строй по очевидной причине: современный российский строй, казалось бы пропитанный обоснованным раздражением против США, в главных чертах, в сущности, моделируется по американскому образцу. Это не случайно и не во всем плохо. Это важнейшая черта современной российской жизни, пронизывающая политические дебаты в России.

Примечания

[1] См.: *Косолапов Н. А.* Нелиберальные демократии и либеральная идеология // Международные процессы. 2004. № 2.

[2] На это справедливо указывал один из них; см.: *Рубл Б.* Откровенность не всегда плохо // Международные процессы. 2004. № 1.

Глава 19

Глобальные аспекты культурно-политического влияния США

Глобальное доминирование США в первом десятилетии XXI века задает повышенный интерес исследователей к анализу основ американского влияния. (Подчеркнем при этом, что пока никакие новые угрозы и вызовы, с которыми сталкивается Америка, не могут подорвать это доминирование.) Интерес к секрету американского «всемогущества» иногда даже комическим образом объединяет как поредевших приверженцев «американского пути», так и резко возросшее число сторонников «круговой обороны» от американских воздействий. Тех и других по разным причинам занимает в сущности одно и то же — перспективы американского преобладания и условия, при которых дни его будут продлены на неопределенный срок или, напротив, окажутся сочтены в силу непрогнозируемых сегодня рационально, но все же подсознательно ожидаемых катаклизмов. Здесь речь идет, скорее, о противоречивом внутреннем развитии Соединенных Штатов, чем о факторах, определяющих состояние общемировой политической и экономической среды.

Современные экономическая и политическая науки, военно-технологические отрасли аналитики уже достаточно владеют методиками рационального обсчета и оценки непосредственных материальных параметров американской мощи и соответственно факторов и обстоятельств, влияющих на прогнозируемые амплитуды колебаний этой мощи. Ее «замеры» производятся в большей степени в связи с потенциалами других стран (или, что аналитически некорректно, межстрановых объединений типа Евросоюза). В гораздо меньшей степени подобные анализы затрагивают влияние на глобальные позиции США со стороны обрамляющей международной среды, например, природной сферы, в которой нарастают тенденции к катастрофичности развития.

Исследование культурно-политических составляющих американского влияния было и остается вне обоих названных направлений при-

кладного анализа. Базирующиеся на изучении культуры, идеологии и национальной психологии США, культурно-политические исследования в рамках зарубежной и отечественной американистики не развиты. Это в значительной мере связано с тем, что для американской науки, прежде всего политической, вообще нехарактерно фокусирование внимания на «цивилизационности» в том смысле, в каком это понятие и формирующиеся вокруг него блоки субдисциплинарных знаний начинают превалировать в России. Вот почему разговор об основах культурно-политического влияния США проще вписать в литературный контекст, скорее, российских научных изысканий, чем зарубежной библиографии.

Понятие «американская цивилизация» и ее «поведенческие» особенности

Под американской цивилизацией в инструментальном смысле в настоящем тексте понимаются:

- совокупность присущих населению США представлений о том, что делает американца человеком социальным, отделяя его от человека биологического и одновременно выделяя из других версий человека социального в ее страновых и нестрановых разновидностях или даже в виде «человека всемирного» (*homo mundanus*); последний вариант претендует на универсальность в эпоху глобализации;
- набор писаных или неписаных норм, ритуалов, правил, в которых эти представления воплощены и оптимальным образом выполняют свои регулирующие функции, то есть совокупность форм бытования представлений;
- комплекс основанных на вышесказанном моделей поведения (по Веберу, «типичного»), которые исторически считались «нормативными» для «хорошего американца» и постулируются в качестве таковых сегодня посредством государственных и общественных механизмов саморегулирования;
- набор инструментов для устойчивого воспроизводства таких представлений и их распространения-экспансии;
- наконец, примерные пространственно-географические очертания-границы, в пределах которых фиксируется более или менее явное преобладание всего вышеназванного.

Вероятно, такой набор характеристик можно считать либо не исчерпывающим, либо, наоборот, излишне избирательным. Попытка най-

ти общепринятое понимание — возможно, дело будущего. Задача автора в этой главе — представить первичный понятийный ряд, неизбежно подлежащий переосмыслению и уточнению в ходе перспективных обсуждений.

Глобализация повлияла на американскую цивилизацию в нескольких важнейших направлениях. Она прежде всего способствовала стремительному росту притока иммигрантов из типологически «иных» (по отношению к историческим, то есть евроамериканским) культурно-цивилизационных ареалов. Сформировав в последние два десятилетия потенциал мощного внутреннего вызова для «старой американской цивилизации», глобализация одновременно создала не менее мощную внутреннюю потребность в «иммунном ответе» со стороны этой «Старой Америки» на вызов «новых пришлых». Примечательно, что в последние десятилетия этими «новыми пришлыми» были не черные американцы, как в предшествующие два столетия, а прежде всего «латинос» и (в меньшей степени) выходцы из Азии, в том числе исламской. Возникла угроза смены старого генетического «WASP[1]-кода» ценностей.

Со времен Джона Кеннеди государство систематически отучало белых американцев если не думать, то открыто говорить о том, что они и есть «соль земли». Такая установка была главным образом средством гражданского примирения белых с черными. Этот трудный и болезненный процесс на протяжении нескольких десятилетий отвлекал внимание общества от других, казавшихся менее важными, внутренних этнополитических проблем — роста численности и самодостаточности прибывавших в США выходцев из Латинской Америки, а затем (с конца 70-х годов прошлого века) и из Азии. В итоге к началу нового века на бытовом уровне в среде белых американцев несколько непредвиденным образом созрел хотя и скрываемый, но несомненный потенциал бытовых страхов в отношении неизбежной перспективы их превращения «в меньшинство в собственной стране». Государство «сверху» не пыталось отрицать вероятность именно такого вектора развития, чем невольно стимулировало те или иные версии защитных реакций «снизу», из американской «глубинки», которая остается бастионом традиционного (в американском смысле) сознания.

Запаздывающее, но неизбежное осознание как элитой, так и широким слоем «потомственных американцев» масштабов, а главное, конкретных социально-экономических (до сентября 2001 года) и социально-политических (позднее) аспектов новой ситуации стало одним из мощнейших источников идейно-культурного, политико-психологического и даже духовно-нравственного запроса на консерватизм. И именно кон-

серватизм в его религиозно-фундаменталистских проявлениях устойчиво определяет политический фон современных Соединенных Штатов.

Как ни парадоксально это может звучать, возник потенциал своего рода «защитного выплеска» американского цивилизационного фундаментализма, который при этом является и фундаментализмом солидарным — он фактически соединяет американских демократов-католиков и республиканцев-протестантов на почве традиционной религиозности как одного из факторов консервации старого американского «я».

Важно сказать, что как раз цивилизационной особенностью этого защитного выплеска в современных США является то, что он вполне органично сочетается с ростом контрнаступательных импульсов со стороны тех (в основном тоже потомственных) американцев, которые сражаются с фундаментализмом, противостоят ему в защитной реакции, теоретически призванной как раз спасти старое американское «я». В итоге в Америке мы наблюдаем не острую поляризацию мнений, а сохранение их многообразия, что резко контрастирует, например, с характерным «тоталитарным» (по Бердяеву) тяготением русского сознания от одного «полюса цельности» общественного мнения к другому. Примерно таков механизм нынешнего сосуществования и иногда успешной конкуренции сторонников и противников запрета абортов, регистрации однополых браков, допущения женщин к священничеству, расширения контроля спецслужб за личной жизнью граждан. Даже напуганный американец сопротивляется единомыслию и не проявляет признаков желания безоговорочно отдаться под покровительство государства.

Не менее любопытно и показательно другое своеобразие. Защитный характер фундаменталистского выплеска изнутри американского общества в качестве такового осознается неохотно, наталкиваясь на сопротивление глубоко укорененного комплекса превосходства всего американского. Американцы не хотят чувствовать себя «в позиции психологической обороны». В крайнем случае они могут раздражаться «непонятливостью» окружающего мира, его недостаточной просвещенностью и подготовленностью к тому, чтобы радостно принять то, что американское сознание почитает «даром с небес» (демократическое устройство), которым США готовы поделиться со всем миром.

Маскируемый «политической корректностью», доходящей до мании и выглядящей порой карикатурно, страх немалой части американцев по поводу жизнеспособности традиционной «американской идентичности» скрывается и в этом случае. Обществу предлагается думать, что, навязывая свои ценности внешнему миру, американцы не столько пы-

таются «компенсировать» размывание прочности американского традиционного «эго» внутри страны, сколько желают благородно одарить всех этими ценностями. Страх, таким образом, втискивается в архетип мессианского спасения мира (от «греха авторитарности» или «скверны неприятия американского понимания демократии»).

Глобализация, совпавшая с возникновением в мире феномена «плюралистической однополярности» и безраздельного экономического и силового преобладания США, создала исторически беспрецедентные (со времен Римской империи) предпосылки для некоей культурной экспансии США. Хотя в принципе последняя носит характер всеобщего тренда, она до последнего времени проявляла себя прежде всего в ареалах так называемых переходных обществ старой Восточной Европы, государств бывшего Советского Союза, включая Россию.

В других ареалах эта тенденция проявляла себя менее агрессивно и броско. В странах Западной Европы, где пик американского влияния пришелся на большую часть второй половины XX века, к началу нового столетия «на полную мощь» работали запущенные к тому времени механизмы противодействия этому влиянию, которые представляли собой вариант иммунитета европейцев на американскую экспансию. Евросоюз, в котором глобализация запустила те же самые механизмы разрушения традиционного культурно-странового «я», сам оказался во власти спазмов «иммунного ответа пришлым». Но этот «иммунный ответ» европейцев не мог быть канализирован исключительно против иммигрантов из Азии и Африки. Он мощно простимулировал все аспекты европейского «я», вызвав к жизни потребность в психологическом самоопределении этого «я» вообще. Как и «старые американцы», «старые европейцы» были напуганы натиском чужаков. В материковой части Западной Европы сработала модель «обороны по всем азимутам» в духе известной концепции Шарля де Голля. В принципе эта защитная модель не была направлена против сближения с США, но объективно она противоречила всякой идее слияния — в том числе культурного сближения с Америкой, которое во второй половине XX века таковое частично предполагало.

Аналогичные механизмы сопротивления экспансии США активизировались к тому времени во многих странах Азии и более или менее крупных государствах Латинской Америки. Сходен и механизм формирования антиамериканских настроений в современной России. Наша страна испытывает «цивилизационное давление» одновременно с двух сторон — с Запада и Востока. Россияне, особенно жители больших городов, негативно реагируют на приток выходцев из Азии (даже если это российские граждане, родившиеся в азиатской части России). Но это

раздражение существует не в чистом виде. Бедные выходцы из Азии и Африки сплошь и рядом оказываются жертвами не антиазиатских настроений, а ксенофобии вообще, которая по большей части фактически адресована богатому, сильному и эгоистичному Западу. Антизападные, прежде всего антиамериканские, настроения вытесняются (по Фрейду) из сферы российско-американских отношений (где их проявления предельно жестко пресекает власть) в область отношений со слабыми странами, которые не могут защитить своих граждан за границей через механизм межгосударственных отношений с Россией.

Наконец, глобализация в 1990-х годах стимулировала в американской культурно-психологической среде иллюзию подконтрольности глобальных процессов американскому лидерству. Фактически огромная часть образованного общества в США была склонна считать процессы глобализации соответствующими американским интересам, поскольку объективно они создавали лучшие условия для экспорта американских идеалов и экспансии американского образа жизни. В значительной мере так оно и было. Драматизм разочарований 2001 года и позднейших лет был связан с тем, что глобализационные процессы не всегда имели положительные последствия. Глобализация породила новые угрозы безопасности США в виде терроризма. Она же задала глобальные масштабы производству наркотиков, наркотрафику, наркокоррупции элит многих стран мира, породила неизвестный XX веку феномен наркогосударств, из которых одно расположено в относительной близости к американской территории (Колумбия), а другое — и вовсе фактически находится под протекторатом США (Афганистан).

Современный глобальный антиамериканизм — феномен, исторической науке прежде неизвестный, — тоже в каком-то смысле плод глобализации. Массовые перемещения мигрантов спровоцировали всемирную волну — возможно, временную — «защитного национализма», страновые разновидности которого (за исключением, может быть, части государств бывшего СССР), при всей их пестроте, объединены одной общей чертой — недоверием к Соединенным Штатам. Вероятно, просто в силу уникальности положения США как единственной уцелевшей и поэтому всем «мозолящей глаза» сверхдержавы.

«Ино-цивилизационные» анклавы внутри американского общества

Внешняя экспансия американской цивилизации не ведет к возникновению сплошного однородного «на всю глубину» пласта «глобализованных» (то есть освоенных и в этом смысле «колонизованных») ею

пространств. Распространение американского — во всяком случае за пределами исходно родственных «старой» американской культуре ареалов Западной и Западно-Центральной Европы — происходит весьма сложным образом. Обладая сегодня, конечно, очень высокой «проникающей способностью», американское так или иначе вторгается в подавляющее большинство зарубежных обществ. Отсюда — господствующее представление о глобальной американизации-вестернизации планеты или, как минимум, ее угрозе и необходимости противодействия ей. Стоит относиться к таким настроениям разумно-критично.

Распространение американского цивилизационного стандарта в мире, особенно если оно не производится посредством вооруженного насилия, не ведет и, вероятно, не может в принципе вести к возникновению сплошных новых очагов американской цивилизации за пределами США. «Американизация» Эстонии или Польши еще 10–15 лет назад могла казаться важным фактором развития этих стран, поскольку они служили местным элитам инструментом изживания прежнего советского влияния. Сегодня идентичность подобных государств испытывает мощное давление со стороны глобализации-американизации в гораздо большей степени, чем прежде — со стороны СССР. Такие страны демонстрируют (каждая сообразно своему потенциалу и местным условиям) собственные версии сопротивления американизации (как правило, не особенно успешные).

Американское влияние проявляет себя за границами США в своеобразной анклавизации. Оно не столько разрушает традиционные составляющие других обществ, сколько формирует более или менее замыкающиеся в себе анклавы американского (мировоззрения, быта, поведения, образования) в социальной структуре принимающих обществ, традиционные элементы которого в свою очередь тоже замыкаются в своего рода защитные анклавы. В итоге структура обществ, которые становятся объектом американского цивилизационного влияния, оказывается более сложной — подобной конгломерату, состоящему из анклавов местного (традиционного) и американского (нового, «пришлого»). Именно по такому механизму работает американизация в России, Казахстане, Балканских странах. Аналогично, хотя, возможно, в меньшей степени, она проявляет себя в Южной Корее, Японии, Китае, Индии.

Важно отметить, что анклавы американского при этом выполняют в принимающих обществах важнейшую и не дублируемую анклавами местного роль медиаторскую. Анклавы американского сегодня в преобладающей степени определяют международное поведение принимающего государства, меру его интернационализации, приобщенности к более обширному, чем местное, зарубежному знанию и т.п. Вот почему

наличие этих анклавов, как правило, признается необходимым и в определенных масштабах полезным даже потенциально ксенофобскими правительствами. Достаточные свидетельства тому дают турецкая, российская и китайская действительность.

Само американское общество в последние десятилетия становится более похожим на конгломерат, внутри которого сосуществуют анклавы разнородного: «старого американского», с одной стороны, и новейшего, недавно пришедшего — с другой. Причем отличие текущего момента состоит в том, что недавние пришельцы не только утрачивают и отчасти уже утратили психологические стимулы к адаптации к нормам принимающей цивилизации во всем их объеме, но и вполне умело осваивают эти нормы для того, чтобы никогда не слиться с этой цивилизацией или, во всяком случае, сливаться с ней как можно медленнее и меньше.

Отсюда по-своему удивительный и драматичный феномен некоторых этнических сообществ в США (исламских, латиноамериканских), представители которых, постоянно проживая в США (статус *permanent resident*), на самом деле не воспринимают эту страну как по-настоящему свою и соответственно не испытывают к ней чувства полной и безраздельной лояльности. События сентября 2001 года в США весьма убедительно показали, что в рамках американской цивилизации, под ее сенью, в силу присущих ей черт (высокий потолок индивидуальных и групповых свобод, традиция невмешательства власти в частную жизнь граждан, неприятие взаимной слежки) могут возникать очаги не просто чужих, но и чуждых, враждебных цивилизаций. При этом последние могут быть исходно ориентированы на разрушение принимающей цивилизации, а может быть, и на своего рода частичный «захват ее изнутри», пользуясь лазейками в либеральном законодательстве Соединенных Штатов.

Вот почему в условиях глобализации наряду с явлением американской цивилизационной экспансии существует и эффект «цивилизационного бумеранга» — обратного негативного воздействия со стороны факторов, которые были исходно порождены американизацией. Американский стандарт свободы действий частных организаций в США соблазнил арабских и пакистанских террористов на создание своих ячеек на американской территории. Для осуществления этой задачи организаторы должны были сами подвергнуться внешней американизации, хотя бы поверхностной, но достаточно серьезной. Следовало освоить азы цивилизационно-нормативного поведения, чтобы внедриться в жизнь американского общества и изнутри наносить свои удары. И только потом следовал антицивилизационный (контрцивилизационный, то есть произведенный по правилам иной, противостоящей цивилизации) удар.

Комплексная анклавизация социальных структур по этническому и соответственно социально-политическому и экономическому принципу в последние десятилетия характерна, конечно, и для других стран, прежде всего государств Евросоюза и России. Вполне аналогичным образом развиваются в последние годы межцивилизационные противоречия и внутри стран ЕС — Великобритании, Франции, Германии. Американская цивилизация в этом смысле, очевидно, не составляет исключения. Сжимая процессы во времени, глобализация, похоже, разрушает условия, в которых могли доминировать процессы этносоциальной адаптации и самоадаптации по законам «плавильных котлов» — мы уже привыкаем понимать этот тезис применительно к межэтническим отношениям, где результаты происходящего более или менее очевидны.

Однако остается не вполне ясным, означает ли неадекватность концепции «плавильного котла» в этническом отношении ее ошибочность и в отношении межцивилизационном. Отказавшись сливаться в единый «суперэтнос» (в целом не удавшийся в СССР и не очень удающийся в США), представители этнических групп могут, видимо, по крайней мере теоретически, повести себя как представители разноэтничных составляющих единой цивилизации. Если такое предположение имеет под собой почву, то нигилистические оценки попыток конструирования советского суперэтноса могут оказаться не вполне справедливыми. Ошибка, возможно, была в том, что политики отождествляли «советскость» с этничностью, тогда как следовало относить homo soveticus к явлению надэтничного, в частности цивилизационного, ряда. При всей курьезности черт «советского человека» ему нельзя отказать в таких качествах, как редкая терпимость в религиозном и этническом отношениях, патриотизм на уровне современного патриотизма в США и даже... нестяжательство, которое кажется столь привлекательным на фоне нынешних черт поведения россиянина.

Вероятно, тогда и внутренние перспективы развития США могут оказаться более светлыми. Американцы имеют шанс реализовать проект надэтничной общности, которая будет основана не на групповой самоидентификации, а на массовом распространении моделей поведения, усваивать которые будет выгодно (или просто привычно) независимо от этничности усваивающих.

Демократический прозелитизм в системе американских ценностей

В 90-х годах истекшего столетия сочетание мощи «защитного выплеска» внутри США и ослабления «цивилизационного сопротивления» внеш-

ней среды на пространстве бывшего социалистического мира и зависевших от него частей развивающегося сектора государств планеты дало новый стимул росту американского мессианства. Это стало заметно уже при правлении администрации Клинтона. Еще рельефней наступательность американской дипломатии проявила себя при администрациях Дж. Буша-младшего. Именно при них нормой американской экспансии стала «нажимная», силовая внешняя политика, теоретическим воплощением которой вначале, накануне вторжения в Ирак, была концепция «демократизации извне». В контексте этих построений были сформулированы военные доктрины «упреждающих действий» (с 2004 года), а также обозначены позиции США по вопросам нераспространения ОМП, сфокусированные прежде всего на отношениях Вашингтона с Ираном и КНДР.

Вместе с тем активное распространение демократии, которое определяет внешнюю политику США, в современных международных условиях больше, чем прежде, напоминает просто экспорт ритуалов — в данном случае демократических. И это в меньшей степени явление политическое, а в большей — собственно цивилизационное. Для 1990-х годов были характерны весьма жесткие и универсальные установки американских политиков на принуждение других государств мира (конечно, в основном стран переходного типа) к буквальному копированию американских институтов, принципов организации политической жизни, экономических моделей и т.д.

В начале 2000-х годов мотивация американской политики существенно усложнилась. Прозелитическая и мессианская «страсть к демократизации» не стала меньше, чем прежде. Напротив, она стала в прямом смысле более воинственной, агрессивной. Но тяжелый и обескураживающий для Вашингтона опыт «демократического переустройства», по сути дела, захваченных американцами Ирака и Афганистана побудил республиканские власти США к большей осмотрительности. Риторика американской дипломатии не утратила ни жесткости, ни воинственности, однако заметно снизилась реальная готовность развязывать новые войны во имя распространения демократии.

Нарастание наступательности прозелитических устремлений сочетается в американской политике с более сложным отношением к самому феномену демократизации. Это новое отношение к «догмату непогрешимости» демократизации имеет как минимум два проявления. Во-первых, в восприятии американцев за последние пять-шесть лет фактически была осуществлена сложная политико-хирургическая операция по разделению «сиамских близнецов» — демократии и либерализма. Был выявлен и описан феномен «нелиберальной демократии» и, что важно, за ним был признан определенный позитивный потенциал. Эта

операция была нужна Вашингтону для заблаговременного обоснования того, что «иракская демократия» не будет похожа на все мыслимые в американской политической теории демократические образцы. Но принципиальное признание «плюрализма» демократических моделей как явления, имеющего право на существование, — знак реалистического смягчения установок в политике и науке США в вопросе о распространении американских образцов политической организации. Неясно, какой эффект в этом смысле может оказать ослабление влияния республиканцев в стране. Демократическая партия, традиционно более догматичная в вопросах теории и формы, может попытаться вернуть страну на путь жесткого прозелитизма.

Во-вторых, американская элита устами высших руководителей США признала фактически тезис о многообразии путей (стран и народов) к свободе, что, по сути дела, означало не что иное, как согласие с фактом многообразия форм демократии как таковой за пределами Соединенных Штатов. Хотя эти важнейшие новации мало соответствуют международной практике США, они отражают глубинные процессы в американской политической культуре в том, что касается восприятия внешнего мира и внутриполитической ситуации в США, где в середине первого десятилетия нового века неожиданно актуальным оказался вопрос о соотношении личных свобод индивида и интересов безопасности государства.

В целом то, что можно было бы назвать «страновыми опытами цивилизационной экспансии», до сих пор производило смешанное впечатление. Более успешными вариантами распространения американского стандарта является организация работы международных институтов. В самом деле, ее характер, принципы подхода к международному регулированию, сама его идея как упорядочения мировых практик в интересах, как после 1991 года открыто стало о том говориться, «цивилизованной части» международного сообщества, отражают именно американские представления о мировом политическом «благе и зле». Этой логикой проникнута атмосфера работы «группы восьми», всех органов регулирования мировой экономики, а также, разумеется, НАТО. В меньшей степени это характерно для ООН, внутри которой в силу исторических особенностей существуют встроенные ограничители американской «цивилизационной экспансии».

Английский язык в его американской версии, с одной стороны, должен быть назван базовым языком американской цивилизации, но с другой — он является основным языком межгосударственного и просто межличностного общения иностранцев в странах ЕС, на значительной части пространства бывшего СССР, в государствах Азии, Латинской

Америки и Африки. Владение английским — залог успешной карьеры в большинстве стран мира, особенно если ты занимаешься политикой или бизнесом. Отсюда — престиж американского (правда, и британского тоже) образования, даже если оно не во всем на самом деле является лучшим. Английский язык — базовый язык мировых информационных потоков, передовых технологий, мировой политической науки. Мы вольно или невольно осмысливаем многие реалии по-английски, приноравливая собственное понимание к нормам и особенностям английского языка, родного для американцев. Американцы всегда получают автоматическое преимущество в международных переговорах и на конференциях — они почти всегда говорят на своем языке, а их собеседники, как правило, — на чужом. Глобализация способствует закреплению и этого неравенства.

При этом в известном смысле происходит сращивание американского стандарта международного поведения с общемировым, а вернее, второго с первым, поскольку де-факто тот формируется на базе американского, а не наоборот. Говорить об этом как о вполне сформировавшемся явлении, возможно, рано, но соответствующая тенденция налицо.

В умах современных американцев происходит размывание традиционных представлений об «американском доме» даже в его расширительных интерпретациях с включением в него всего Западного полушария. Популярные в 1990-х годах концепции «глобального демократического общества» и «мирового общества», а также набравшие в 2000-х годах силу построения теоретиков «глобальной демократической империи США» отражают эти представления о безграничности американских интересов, американской «исторической ответственности», пределов американского влияния и того, что является или может теоретически однажды стать «делом Америки и американцев». Пределы современной американской цивилизации по крайней мере в тенденции — «домик с раздвижными стенами». Они могут произвольно становиться неограниченно широкими — в зависимости от настроений американцев и потенциала их страны.

Независимо от будущих выборных баталий в США нет оснований ожидать возвращения этой страны в русло политики изоляционизма. И Клинтон, и Буш-младший начинали свои выборные кампании под лозунгами «ремонта американского дома» и приоритета внутренних проблем над внешними. Тем не менее политика обоих президентов была явно интервенционистской, активной и энергичной. Любопытно, что Буш, сурово упрекавший демократов за то, что они увязли в балканских войнах 1990-х годов, не только сам втянул США в гораздо более дорогостоящие и тяжелые войны в Ираке и Афганистане, но и придумал теоретическое обоснование, позволяющее Соединенным Штатам навеки

отказаться от изоляционизма. После событий сентября 2001 года он уже не раз разъяснял американцам, что профилактические войны за рубежом нужны американцам как средство предупреждения войн на самой американской территории. Это объяснение настолько просто, понятно и убедительно для большинства американцев, что ни одна из американских партий и ни один из кандидатов в президенты США не может от него отказаться. Не случайно демократы критикуют администрацию не за саму идею войны в Ираке, а только за тактику ведения этой войны.

Текущая политика заметно трансформирует американские ценности. В их комплексе за минувшие 15–20 лет произошли интересные изменения. Если в момент распада СССР ценность свободы трактовалась американцами на всех уровнях как наиважнейшая, то в 2000-х годах политика американских республиканцев фактически построена на приоритете прагматического интереса, который далеко не всегда сопоставим с идеей демократии и свободы. Свободные выборы привели к власти «ХАМАС» в Палестинской автономии, ультрарадикалов в Иране. Случись таковые в Афганистане, они скорее всего вернут к власти талибов. А вот с Казахстаном отношения США укреплялись, хотя там авторитарность куда заметнее, чем в России.

Но при этом американцы подходят ко всем названным ситуациям, руководствуясь не идеологическими соображениями, а конкретными потребностями. Закономерным или парадоксальным образом страна победившего было в 1990-х годах идеализма «по Фукуяме» стала страной внезапно воскресшего политического реализма «по Моргентау». Принцип абсолютизации свободы сменился, вероятно временно, принципом ее релятивизации, при этом возвеличивался принцип избирательной терпимости к несвободе.

Этот сдвиг, впрочем, отличает текущий момент американской цивилизации, а не ее базовую характеристику. В качестве последней стоило бы назвать иное — способность обеспечивать длительное сосуществование циничного прагматизма и воинствующего идеологизированного идеализма в рамках единого цивилизационного лона, поочередную востребованность то первого, то второго, а также сохранение отношения динамической стабильности между ними, задающие постоянную нацеленность американского сознания на возможность выбора между альтернативами и на необходимость сохранить эту возможность в будущем.

Важным аспектом цивилизационного влияния США сегодня является «мягкая мощь» (*soft power*, в российской печати переводится также как «гибкая власть»). По сути речь идет о невоенных, несиловых и не paramilitary аспектах международного влияния США.

На самом деле термин «soft power» шире по значению и подразумевает все многообразие способностей США навязывать выгодные им варианты поведения другим странам, не прибегая непосредственно к давлению. Речь идет о тактике соблазна оппонентов или, наоборот, — тактике их «отлучения от возможных выгод» в зависимости от отношения тех или иных стран к США, от их готовности учитывать интересы американской политики. Распространение американского стандарта быта на основе избыточного потребления — часть политики «мягкой мощи». Понятно, что на благоприятный образ США работают такие черты, как американская «победоносность» и богатство. В 1990-х годах американцы могли создавать привлекательный образ «бескорыстного благородства» по отношению к так называемым переходным странам. Но к концу прошлого десятилетия геополитический, экономический и иной прагматизм американской политики лишил иллюзии по части американского благородства и бескорыстия сколько-нибудь убедительных оснований.

Изменения происходят и в механизмах воспроизводства американских ценностей. Традиционно ключевые места в них занимали семья, церковь и демократические институты. Сегодня семейный уклад сильно ослаблен процессами эмансипации и индивидуализации американцев. Длинный цикл политики, для которой был характерен вектор освобождения личности от опеки общественных институтов и государства, преобладавший как минимум с «эпохи Кеннеди» до сентября 2001 года, завершился, но результаты его слишком масштабны, чтобы их влияние не сказывалось на жизни общества. Американец сегодня — это человек, стоящий вне «большой семьи» и заранее примирившийся с тем, что его дети такой семьи с ним составлять не собираются.

Церковь как институт, ощущая себя в кризисной ситуации, предпринимает усилия вернуться к союзу с государством в лице республиканской администрации, чтобы совместно затормозить размывание устоев «доброй старой Америки», упадок духа которой автоматически означает и падение авторитета и влияния религии. Предотвратить этот процесс стремятся все американские церкви, без колебаний играющие на военно-патриотической конъюнктуре последних пяти лет. Тем не менее плоды эмансипации человека от общины и государства не позволяют церкви добиться того реванша и той реставрации своих позиций, на которые она рассчитывала.

По-прежнему достаточно настороженным остается и отношение американца как личности к американскому государству. Сознавая обилие проблем в этой сфере, республиканская администрация проявляет готовность пойти на крупные затраты, чтобы через образование, прежде всего новые образовательные программы (с выраженным естествен-

но-научным и математическим приоритетом), улучшить качественные характеристики нового поколения и одновременно привлечь его на свою сторону политически. Тем не менее и сегодня продолжает относительно возрастать роль новых технологичных инструментов конструирования идентичности, таких как СМИ и *Интернет*.

«Сорвавшись с цепи», глобализация бесцеремонно и грубо поломала привычные формы отношений в мире. Американская цивилизация, сама оказавшись под воздействием противоречивых глобальных процессов, одновременно обнаружила мощную интенцию к саморасширению. При этом дал сбой американский «плавильный тигель», в котором из групп разных пришельцев выплавлялись «настоящие американцы». Ядро «старой Америки» испытало шок, засомневавшись в себе самом, своей способности не раствориться в стремительно нарастающей массе новых пришельцев. Отсюда — рост привлекательности фундаментальных ценностей в глазах американцев и закономерный подъем консерватизма: укрыться от пугающих перемен, отстоять старое, возвеличить его и поднять на щит как фактор самоутверждения. Стало реальностью немного причудливое по сути явление либерального фундаментализма как разновидности политического фундаментализма на внеэтничной основе.

Современный мир более злобен и взаимно нетерпим, чем он был в последней четверти XX века. Понимание несводимости мира к одному цивилизационному шаблону пробивается с трудом. Политика Америки вызывает в мире такое же раздражение, как внутри США, — нежелание других народов принимать американские рецепты решения мировых проблем. Между тем очевидно: мировой порядок, который держится на американских ресурсах, не демократичен, но он не так уж и плох. Это гегемонистская стабильность, но это стабильность в отличие от схватки идеологических непримиримостей. Нерв ситуации в том, что американцы не желают понять: мир отказывается благодарить их, потому что он изнемог от удушающих объятий американской заботы и патологической ответственности за... судьбы каждого рифа в океане, каждой скважины в пустыне, горы на Кавказе и трубы на дне Балтийского моря. В каком-то смысле для американской цивилизации — это искушение силой и испытание на прочность одновременно.

Примечание

[1] Англ. — White Anlo-Saxon Protestant. — *Прим. ред.*

Глава **20**

США между гегемонизмом и лидерством

Дискуссии об имперском характере международной политики США, перспективах становления империи нового типа и формировании американоцентричного миропорядка[1] привели к тому, что обсуждение «судьбы» этой сверхдержавы переместилось в другую плоскость. Предметом дебатов стал вопрос о характере американского участия в мировых процессах — соотношении элементов гегемонии и лидерства во внешнеполитической стратегии Вашингтона, а главное, о фактическом международном статусе Соединенных Штатов.

Еще в 1996 году британские ученые К. Дарк и Р. Хэррис предположили, что после распада биполярности главной проблемой США станет контроль над мировой ситуацией по мере уменьшения их влияния на отдельные страны и мир в целом[2]. Сегодня стали проявлять себя признаки наступления момента, который они имели в виду.

Представления о лидерстве и гегемонии в США

К концу первого десятилетия XXI века стало ясно, что оптимизм прогнозов о «стабильной однополярности» и предречений о благожелательном воздействии «демократической сверхдержавы» на мировое развитие был преждевременным и не до конца обоснованным, так как все заметнее проявляются противоречия между Соединенными Штатами и остальным миром, между ведущими мировыми державами, традиционными и нетрадиционными акторами, по всем основным «разломам» международной системы (Север—Юг, Восток—Запад, богатые—бедные, глобализующиеся—неглобализующиеся). Своеобразный политико-военный кризис, в котором оказались США в Ираке, и заметное обострение внутренних американских дискуссий по иракской проблеме дают основания думать об ограниченности возможностей силового регулирования.

Более обоснованными стали казаться мнения тех американских специалистов, которые полагают, что Белый дом должен стремиться не к гегемонии, а к лидерству в оптимальной его форме, которая позволяла бы ему и сохранять статус великой державы, и одновременно экономить ресурсы. Имелось в виду лидерство в рамках коллективного регулирования мировых процессов совместно с другими ведущими державами, среди которых фактический статус США будет самым высоким («первая среди лучших»).

Во второй половине 1990-х годов было преждевременно заявлять о том, что благодаря США происходила стабилизация международных отношений и расширялась «зона» демократии и рыночной экономики. Действительно, в этом направлении двигались благополучные восточноевропейские страны. В этом же направлении стремилась продвигаться и Российская Федерация, хотя это движение было противоречивым[3].

Но обстановка в мире в целом была более сложной. Старые конфликты разрешались в интересах одной из сторон и переводились в скрытую форму с перспективой обострения. Возникали новые конфликты, был разрушен режим контроля над вооружениями, усилилась тенденция к «расползанию» ОМУ — в том числе при попустительстве наиболее сильных держав. Самое поразительное заключается, однако, в том, что в начале 2000-х годов стала выявляться очевидная внутренняя несовместимость взглядов политических и интеллектуальных элит внутри круга ведущих демократических стран. Причем главным поводом для разногласий между западными странами была именно внешняя политика Вашингтона. Внутри самой Америки сохранялось размежевание на приверженцев более жесткой политики в форме «гегемонии», с одной стороны, и более мягкого мирорегулирования в форме «лидерства» — с другой.

Приход к власти республиканцев в 2001 году углубил эту тенденцию. «Доктрина Буша»[4], объявленная после сентябрьских терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, содержала сильный акцент на военной составляющей внешней политики США, навязывании ими своего мнения друзьям и недругам. Последним оно предлагалось при помощи силы, используемой по собственному усмотрению и без колебаний. Основным стал тезис о борьбе с угрозами при помощи превентивных операций военного и полувоенного характера, осуществляемых самостоятельно или в коалиции с другими странами[5]. Глобальная стратегия США при республиканцах стала выглядеть милитаризованной. В ней уже отчетливо просматривались черты «политики гегемона», хотя возможности ее долгосрочной реализации, сопутствующие обстоятельства и последствия были не до конца просчитаны. Можно предположить, что президент Буш не представляет тонкости различий между «гегемонией» и

«лидерством». Но инстинктивно он и его ближайшее окружение (так называемые «вулканы») оказались восприимчивы именно к первой.

Гегемония, как она понимается в данной главе, является сложением двух начал — влияния и главенства, переходящего в господство с неизбежными элементами диктата и/или подавления несогласных. **Лидерство** предполагает наличие общих интересов у лидера и тех, кто за ним следует, добровольное признание ими его авторитета, исключение прямого подавления лидером тех, кто не входит (и не стремится войти) в сферу его влияния.

Такое разведение гегемонии и лидерства условно, так как гегемония — это то же лидерство, но принуждающее к признанию лидера и подавляющее сопротивление его действиям, в том числе силовыми методами. На позицию гегемона страну выдвигает как объективный фактор (достижения в экономике, политике, военной сфере; международный авторитет и влияние в ведущих международных организациях и т.п.), так и субъективный — выбор, сделанный самим государством (элитой, обществом) в пользу гегемонии как стратегии государства.

В случае с Соединенными Штатами к выбору в пользу гегемонии подталкивали как успехи во всех сферах жизнедеятельности державы, так и «состояние умов» американского общества и США. После окончания «холодной войны» американское руководство и общество, казалось, сделали выбор в пользу глобального лидерства[6]. Он не вызывал открытого неодобрения со стороны других ведущих держав и был с восторгом встречен теми небольшими странами, которые желали войти в сферу «благожелательного преобладания» Вашингтона. Именно в те годы стали популярны идеи «американской империи демократического типа» и «либеральной гегемонии».

В 1990-х годах на противоречия между заявленными высокими целями администраций У. Клинтона и методами, которым они достигались (войны на Балканах, например), мало кто обращал внимание. Считается, что США борются за «лидерство», хотя американская политика по содержанию и методам соответствовала характеристикам типичного «гегемона». Элемент принуждения в ней становился более явным. Росла роль и военного фактора, тенденция к игнорированию позиций международных организаций. Судя по отдельным заявлениям представителей администрации Клинтона (М. Олбрайт, Р. Холбрука, взгляды которых и сегодня почти не отличаются от воззрений умеренных республиканцев), уже к 2000 году полным ходом шел процесс утверждения не американского лидерства, а того, что спустя несколько лет стало именоваться гегемонией.

Правомерно ли говорить об американском лидерстве применительно к периоду 1991–2001 годов — до известных террористических актов?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует учитывать два фактора: внутренний — стремление и способность Америки, и внешний — признание американского лидерства мировым сообществом.

Относительно первого фактора можно дать утвердительный ответ. Во-первых, с завершением биполярной конфронтации объективно восторжествовали американская модель развития, американские ценности и американская политика. Во-вторых, Белый дом возглавил модификацию мирового порядка, в то время как другие державы почти не оказывали на него влияния. В-третьих, США взяли на себя роль главного «миротворца» (бывшая Югославия) и «устроителя судеб» неблагополучных стран (Гаити и Сомали). Они бросили немалые людские и материальные ресурсы для урегулирования некоторых острейших международных ситуаций. Наконец, в-четвертых, Америка открыто объявила о готовности и желании «без ограничений и препятствий осуществить свою историческую миссию по преобразованию мира», то есть взять на себя ответственность и бремя мирорегулирования.

Важнейшим фактором, который мог бы «оформить» американское лидерство, стало признание со стороны ведущих мировых держав и большей части других стран мирового сообщества. Это означало, что значительная часть стран мира должна была не просто признать преобразующую роль Соединенных Штатов, но согласиться «следовать» за лидером, признавать правильность избранной им линии. Именно с добровольным признанием правильности американского плана преобразования мира возникли трудности, которые вылились в осложнения отношений Америки с остальным миром.

В течение ряда лет единственным серьезным критиком стратегии США оставалась Россия. Во многом именно поэтому она и сама была постоянным объектом американской критики. Но начиная с 1999 года, после того как Белый дом осуществил военные действия против Югославии без санкции ООН, выступив на стороне косовских албанцев-сепаратистов, усилилась критика США со стороны европейских держав (Бельгии, Германии, Франции). Заметнее стал и рост антиамериканских настроений в мире. Официальная риторика американского руководства о политике США по распространению демократии в мире вступила в противоречие с их унилатерализмом, нарушением международного права, двойными стандартами, опасной приверженностью военной силе.

Таким образом, к концу правления администрации Клинтона, несмотря на имевшийся внутренний потенциал для глобального лидерства, не только не произошло легитимации «лидерства» Соединенных Штатов, но, сверх того, начался процесс сокращения возможностей для этого.

С момента своего прихода к власти администрация Дж. Буша-младшего была озабочена стремлением к максимальной независимости в сфере внешней политики, что принимало форму односторонних, не согласованных с союзниками действий. Еще рельефнее эта тенденция стала после событий 11 сентября 2001 года. «Самое худшее, что мы можем сделать, это позволить коалиции определять нашу миссию», — заявил министр обороны Д. Рамсфелд[7]. Идея американского мессианства получила новый импульс. В «Обращении к стране» (январь 2002 года) президент Дж. Буш заявил: у США появилась уникальная возможность стать страной, которая служит целям более высоким и значительным, чем собственные национальные интересы[8].

Неоконсерваторы стали характеризовать положение в мире после начала операции США в Афганистане как «гипероднополярность». «Дж. Буш стал лидером с исторической миссией, — писали по этому поводу американские авторы У. Кристол и Р. Кейган, — хотя пришел к власти без личных амбиций построить новый мировой порядок. Миссия "упала ему в руки" после событий сентября 2001 года, и это не только миссия по борьбе с международным терроризмом, но и историческая американская миссия по глобальному преобразованию мира в соответствии с западной либеральной традицией»[9]. А по мнению другого американского аналитика, Ч. Краутхаммера, утверждение лидерства Вашингтона в международной борьбе с терроризмом (на фоне неспособности ни одной из ведущих мировых держав взять на себя аналогичную миссию) можно назвать одним из главных достижений Соединенных Штатов. Но одновременно это стало испытанием и для них. Если в начатой войне США проиграют, то вся созданная после Второй мировой войны структура отношений в рамках Западного мира с открытыми границами, относительно свободной торговлей и навигацией, открытыми обществами начнет распадаться[10].

Американские политологи нередко весьма вольно обращаются с категориями «гегемония» и «лидерство». Они используют их в зависимости от политической конъюнктуры. Ч. Краутхаммер апеллирует к «лидерству» США в борьбе с международным терроризмом, хотя по убеждениям он сторонник гегемонии. И это неслучайно. Лидерство обеспечивает поддержку (моральную и материальную) со стороны признающих лидера и в этом смысле облегчает бремя мирорегулирования. Напротив, гегемону грозит одиночество в осуществлении направляющих функций. Ему угрожает и противодействие со стороны отдельных держав или групп держав, недовольных гегемоном или претендующих на эту роль. О существовании такой опасности пишут политологи, называя Китай, Индию, Иран, Россию в числе возможных соперников США.

Очевидно, утверждение гегемонии видится ее сторонникам естественным предварительным этапом формирования устойчивого американоцентричного мирового порядка. Ими неоднократно высказывалась мысль о том, что Соединенные Штаты не могут быть обычной державой. Попытка стать таковой может кончиться для Америки и остального мира плохо. Американская исключительность в таких интерпретациях представляется им как своего рода «норма»[11].

Лидерство и порядок

Напротив, противники гегемонии и глобального мессианства в США считают, что стране не нужно стремиться ни к гегемонии, ни к статусу глобального лидера, так как с учетом многообразия мира это нереально. Они критически оценивают действия администрации Буша, указывая, что начатая ею война безгранична во времени и географическом пространстве. Соответственно, аналитики этого направления выступают за коллективное управление мировым развитием. По мнению профессора Джорджтаунского университета Ч. Купчана, реализация доктрины Буша может привести не только к разгрому «Аль-Каиды», но и к полному уничтожению институтов, норм и союзов, составляющих основу мира и процветания в международной системе[12].

Скорее всего, этот вывод верен. Отрицая старый порядок, Соединенные Штаты не смогли представить лучшей модели порядка для XXI века, а то, что они предлагают, не принимается большей частью мирового сообщества. Тому есть несколько причин. *Во-первых*, концепции «единственного полюса-гегемона», «демократической империи», «мирового судьи» неконструктивны по сути. *Во-вторых*, Вашингтон не может сказать, какой должна быть структура нового порядка. Его «вершина-США» покоится пока что на старой пирамиде, которую сами американцы фактически методично разрушают, не создавая взамен новых несущих конструкций — системы взаимосвязанных институтов и норм, защищающих не только Соединенные Штаты, но и другие державы. *В-третьих*, Америка, отстаивая свои интересы, присвоила себе право на «абсолютный суверенитет», отказав в этом праве остальным странам. И наконец, *в-четвертых*, из-за преобладания разрушительной функции регулирования над созидательными растет угроза международной нестабильности. Взамен системы институтов и норм американцы предлагают доминирование единственной державы[13].

Профессор университета Джонса Гопкинса М. Мэнделбаум убежден, что неправомерно ставить вопрос таким образом: «Или гегемония США, или мировой хаос и утрата передовых позиций». Он считает, что

следует признать важность существующих международных механизмов и заняться их усовершенствованием, так как глобальные проблемы не решаются только оружием или американскими деньгами[14]. Однако ситуация выглядела так, что в ходе борьбы с международным терроризмом решалась задача укрепления международных позиций Соединенных Штатов, не демонстрировавших озабоченность интересами остального мира. Показательно, что на этом фоне не происходило роста престижа сверхдержавы, росло скептическое отношение к американской гегемонии и ее перспективам.

«Скептики» особенно критично оценивают три постулата внешней политики администрации Дж. Буша:

— борьба с международным терроризмом аналогична противостоянию коммунизму и должна быть выиграна во что бы то ни стало;
— Ближний и Средний Восток пришел на смену Европе и Восточной Азии в качестве центра геополитической деятельности США, и в этой части мира будет осуществлена демократизация исламских стран;
— Соединенные Штаты должны сохранить доминирование в военной и экономической областях, чтобы предотвратить появление другого гегемона, и они имеют особые «права» как основной устроитель нового миропорядка.

Американские политологи отмечали, что стратегия сдерживания второй половины XX века сочетала элементы диалога и силовых действий. А предложенная после 1991 года стратегия «американского лидерства» основана на силовом доминировании и в этом смысле содержит ложные приоритеты[15]. В 1990-х годах американские политики исходили из того, что США могут проводить амбициозную политику, не требующую больших жертв и затрат. Мир, считали они, готов следовать за Америкой и с восторгом принимает американскую модель развития и ее глобальную лидирующую роль. Однако даже американское лидерство в международной антитеррористической кампании не дало оснований полагать, что остальной мир будет безоговорочно одобрять все действия США и что сверхдержавность исключит критику и противоречия.

Террористические акты 2001 года (адекватно ответить на них США так и не смогли) «загнали» администрацию Дж. Буша в «ловушку». Неверным был уже сам «ответ», который попытались дать США террористам «Аль-Каиды» в Афганистане. Война в Ираке вообще стала перерастать в своего рода *ползучий глобальный кризис доверия в американской политике*[16].

Принятие в сентябре 2002 года новой Стратегии национальной безопасности, в которой основным было положение о нанесении превентивного удара против террористов, сделало стратегические планы

США более амбициозными, чем они были в годы борьбы с коммунизмом[17]. Эта глобальная стратегия была поддержана обеими главными партиями в США, но она положила начало разногласиям между Америкой и ее союзниками и «попутчиками». У многих зародились опасения, что борьба с терроризмом служит прикрытием для желания США расширить зону своего военного присутствия (страны Средней Азии, Ближний и Средний Восток[18]), так как американские базы в Саудовской Аравии стали уязвимы для действий террористов.

Военно-силовой метод разрешения конфликтов, апробированный Соединенными Штатами на Балканах, дал сбои на Востоке. Огромные сомнения вызывал тезис о демократизации региона, так как эта цель недостижима одними военными методами[19]. Действия США в Ираке не отвечают устремлениям ряда американских союзников в Западной Европе, а также интересам России. Разумеется, Белый дом может заблокировать действия той или иной державы. Но он часто не может претворять свою стратегию в жизнь без поддержки других ведущих держав[20]. Вашингтон объективно заинтересован в сотрудничестве со странами ЕС, Россией, Китаем, Южной Кореей и Японией для решения проблем безопасности. Причем, в известном смысле, безопасность США (в той расширительной интерпретации, которую предпочитают республиканцы) зависит от помощи названных государств даже больше, чем безопасность каждого из них от помощи со стороны Вашингтона.

Дискуссии о лидерстве в США

Позиция сверхдержавы создала для Америки стимул к проведению политики, ограниченной только собственной волей. Но одновременно выросла ее ответственность перед остальным миром. Соединенные Штаты стали более уязвимыми перед критикой и противодействием невоенного характера. Другие страны, признавая их мирорегулирующие функции, все же стремятся подвергнуть их коллективной корректировке. Американские критики глобальной стратегии США утверждают: основные цели и задачи международной деятельности выбраны неверно, так как не отражают реальности современного мира и не работают.

Более важными задачами, чем борьба с международным терроризмом и демократическое преобразование стран Среднего Востока, американские аналитики называют:

— завершение процессов интеграции России, Китая и Индии в мировую экономическую и правовую систему;
— обеспечение мирного развития отношений между Китаем, Японией и Южной Кореей;

— обеспечение более высокого уровня жизни и увеличения численности среднего класса в странах Латинской Америки, Азии и Восточной Европы;
— борьбу с нищетой и болезнями в Африке;
— более активное вовлечение европейских стран в выполнение глобальных задач.

К этому перечню можно было бы добавить сохранение и реформирование существующих международных организаций (причем не только НАТО), создание стабильного режима безопасности, повышение роли коллективного фактора в принятии решений по проблемам международной безопасности и выработку новых норм международного права. Сюда же относится и совместная борьба с распространением ОМУ, наркотиков, торговли людьми и т.д. В целом речь идет о создании такого мирового порядка, который бы отвечал интересам не только США, но и остальных членов международного сообщества, был бы более демократичным и стабильным. Пока же американцы, преследуя в основном свои цели, пытаются «подогнать» под них остальной мир.

К концу 1990-х годов за океаном одержали верх сторонники однополярного видения международной структуры (в России у него было также немало сторонников). Напротив, к концу следующего десятилетия даже внутри США стало больше людей, которые говорили о пороках этой системы. Интеллектуалы начали снова больше размышлять о многополюсном мире, который можно регулировать не на основе гегемонии, а на принципах сотрудничества. Яснее становились и негативные стороны «американского» регулирования. В течение последнего десятилетия не произошло стабилизации мировой экономики, сохраняется бедственное положение стран Латинской Америки. Американская экономика становится все более зависимой от иностранных инвестиций (50% потребляемых в стране товаров иностранного производства). Такая экономическая модель подвергается критике (в том числе и внутри страны). Критику вызывают ограниченные масштабы американской помощи другим государствам, а также набор адресатов этой помощи — в основном странам, в которых Вашингтон почему-либо особенно сильно заинтересован: Израиль, Египет, Иордания, Колумбия[21].

Таким образом, в результате правления демократов и республиканцев за последние почти 20 лет не были разрешены многие старые проблемы Соединенных Штатов и появились новые (прежде всего экономические), требующие адаптации американского хозяйства к новым мироэкономическим тенденциям, не контролируемым Америкой, а также в сфере безопасности. Как субъект общемирового регулирования, США не суме-

ли добиться признания мирового сообщества. Наблюдается кризис эффективности управления международными процессами, который выражается в отсутствии универсального и легитимного мирового лидерства — как индивидуального, так и коллективного. Америка сумела остаться сверхдержавой, сделавшись гегемоном, но приобрести статус легитимного лидера — не смогла. Если Соединенные Штаты сохранят приверженность идее «предначертания и миссии», то им, скорее, нужно идти к ее реализации невоенным путем. Ведь произвол в применении силы плохо согласуется с идеей лидерства и усугубляет нестабильность.

Нужен ли миру лидер в том варианте, который предложили Соединенные Штаты?

Весомый, если не определяющий, компонент лидерства — ненасильственное убеждение и добровольное признание лидера со стороны «ведомых» им стран. К лидерству может подталкивать объективный ход развития и/или усилия какого-то из государств, считающих возможным и необходимым «встать у руля» мировой политики. Но в 1990-х годах, на наш взгляд, не просматривалось четкого понимания международным сообществом необходимости руководства США как средства предупреждения мирового хаоса. Оно существовало разве что в ряде стран Восточной Европы, страшившихся России, но мало думавших об общемировых проблемах. Подобный взгляд был характерен и для части российской элиты, которая также видела в доминировании США своего рода гарантию против отката Москвы к политике советского периода. Более же всего об этом говорили некоторые представители американской элиты, верившие в глобальную миссию Соединенных Штатов. Лишь небольшая часть американских специалистов выступала с критикой мессианства в форме «крестового похода за демократию».

Здесь невольно вспоминается Дж. Кеннан. В свое время он написал о том, что США стремятся оправдывать свои военные действия, заявляя, что они стараются сделать мир «безопасным для демократии»[22]. «Я не могу сказать с полной уверенностью, где находятся истоки непременного стремления американцев к универсализации и обобщениям. Полагаю, это является отражением того обстоятельства, что мы как народ подчинены правительству установленными законами, а не свободой исполнительных действий. Законы же представляют собой обобщенные нормы, и Конгресс, привыкший руководствоваться ими внутри страны, переносит эту практику и на международную политику», — писал он[23]. Именно это стремление к приведению международных процессов «к знаменателю» американской политической культуры и американских интересов *создает иллюзию того, что США — это единственный возможный лидер и без них «все пойдет не так как надо». А как надо — знают только в Вашингтоне.*

Критическое отношение к универсализации американских взглядов, подходов, стандартов, ценностей было и остается в США непопулярным. Преобладает мнение, что все другие народы привержены тем же ценностям, что и американцы. Если это не так сегодня, то, уж конечно, все мечтают, чтобы так стало завтра. Более того, если кто-то упорствует в своем неприятии американских ценностей, то он ошибается: это плохо для него самого и его страны, а стало быть, ему и его стране надо помочь прийти к «правильному пониманию», убедив (или заставив) принять эти ценности. Даже американские коллеги отмечают, что такая логика рассуждений характеризует концепцию создания наднациональной империи[24].

Соединенные Штаты остаются сверхдержавой. Но в мире существуют другие державы глобального уровня — Великобритания, Германия, Франция, Россия, Китай, Индия, Япония, а также крупные региональные державы — Бразилия, Индонезия, Нигерия, Иран, Пакистан, Южная Африка. Американцы не могут достичь своих наиболее значимых целей без сотрудничества хотя бы с частью этих стран. Между тем каждая из них имеет свои культуру, ценности, традиции и институты, которые часто не совпадают с американскими. Они не хотят во всем следовать Вашингтону. Попытки же оказывать на них давление приводят к росту антиамериканских настроений, противодействию американской политике. Да и сами американцы расколоты: часть из них выступает за «имперский универсализм», другая — хочет видеть США национальным государством, сохраняющим свои уникальные отличия от других государств и мира в целом.

С этой точки зрения, Белый дом должен «определиться» с идентичностью собственной страны. Выбор, как отмечают западные коллеги, не в том, чтобы предпочесть гегемонию или лидерство (единоличное лидерство или коллективное). Он заключается в том, каким образом самим Соединенным Штатам не раствориться в мире универсальных идей и сохранить свою национальную идентичность (не мешая другим странам сделать то же самое). Если они действительно хотят, чтобы их признали лидером (и не ненавидели за гегемонизм), им придется согласиться с изменением собственных ценностей, традиций, институтов, культуры, чтобы «совместиться» с остальным миром, а не только «совмещать его с собой»[25].

Не похоже, чтобы в Вашингтоне к такому были готовы[26], однако в 2006–2009 годах наблюдалась новая волна дискуссий по вопросам глобальной стратегии, то есть уже с середины второго срока администрации Буша озабоченность неверной политикой США приобрела фиксированный характер. Речь не шла об отказе от глобального регулирова-

ния, доминирования, лидерства, но признавалось, что в мире существует множество центров силы (по-американски — полюсов), что с ними необходимо считаться, вступать во взаимодействие на взаимно согласованной основе и отказаться от роли «мирового жандарма» или «мирового шерифа». Таким образом, можно считать, что факторы множественности и многомерности (в рамках упорядоченной анархии) получили развитие, закрепились и требуют коллективного управления, так как даже американская гегемония образца начала 2000-х годов не смогла их погасить.

Такое положение не означает, что закончилась эра Америки и ей грозит большая опасность вообще «пропасть» в новой международной среде. Просто перед сверхдержавой встает потребность по-иному приспособиться к этой среде, то есть поменять стратегию и тактику международной деятельности. Этому посвящены большие работы ведущих американских теоретиков-стратегов, которые уже немало написали об этом, в том числе предсказали будущие последствия политики гегемонии[27].

Консервативный теоретик К. Лэйн последовательно критикует гегемонию как форму внешнеполитической деятельности. По его убеждению, американский либерализм — это гегемонистская идеология дома и идеология гегемона за рубежом, и именно либерализм подпитывает имперские амбиции Америки, нетерпим к другим «политическим идеологиям», то есть не является «теорией мира». Американская глобальная стратегия, в основе которой либеральные идеи, это «не стратегия мира, а стратегия, ведущая к конфликту», считает политолог, и жизнь доказала верность его суждений[28]. Выход он видит в возврате к реализму, свободному от идеологической нетерпимости и позволяющему другим центрам силы участвовать в строительстве нового мирового порядка вместе с США. По мнению К. Лэйна, «свободное балансирование» между разными центрами и в решении разных общемировых и региональных проблем позволит Соединенным Штатам не только сэкономить силы, не перенапрячься, но также и избежать провоцирования других государств сформировать оппозицию сверхдержаве.

Во многом с К. Лэйном можно согласиться, и было бы неплохо прислушаться к тому, что он пишет, его коллегам по ремеслу, так как пока что его выступления и публикации встречают сплоченную оппозицию и критику (хотя ему отдается должное в оригинальности и фундаментальности представляемых работ). Но все-таки, как представляется, усердно развенчивая американский либерализм за его нетерпимость, он не уделяет должного внимания важному факту: существующему сплаву либерализма и реализма в американской глобальной стратегии. Думается, что конца такому слиянию пока не просматривается, так как, с одной стороны, мир находится в той стадии развития, когда фактор

баланса сил между растущим числом ведущих мировых держав возвращается в новом наполнении в мировую политику[29], а с другой — сохраняется приверженность продвижению демократии в мире, к созданию новых организаций и норм, основанных на идеологии демократии.

Об этом свидетельствуют заявления не только американских политиков, но и практически большинства специалистов по международным отношениям. Так, для корректировки американской стратегии Т. Карозерс призывает вернуться к реальной, а не мифической стратегии по продвижению и поддержке демократии в мире, увеличивая моральное и материальное участие США, повышая требовательность к объектам воздействия и отказываясь от конъюнктурных компромиссов: 1) отделить политику по продвижению демократии от политики по смене режимов, в том числе с помощью военных интервенций, так как отсутствует единый подход в отношении различных автократических режимов; 2) пересмотреть положение о существовании прямой зависимости между наличием или отсутствием демократии и наличием или отсутствием терроризма в той или иной стране либо в политике одной или группы стран; 3) существенно снизить американоцентризм в демократизации остального мира[30].

Как можно заметить, реалист-консерватор и идеалист-либерал не противоречат друг другу, а логично дополняют и призывают только к одному: прагматизму и разумному самоограничению, чтобы не навредить Америке и добиться желаемых целей. Казалось бы, более жесткий теоретик З. Бжезинский высказывает, на наш взгляд, более разумную мысль: «Только приняв универсальность идеи о человеческом достоинстве, в основе которой уважение к политическим, общественным и религиозным проявлениям различных культур, — пишет З. Бжезинский, — Америка может избежать того риска, что глобальное политическое пробуждение не обернется против нее»[31]. Именно в этом американская дилемма: стать и частью, и попытаться обрести статус лидера.

Когда появляется потребность в лидере, его находят и за ним следуют, давая ему свободу в определении целей, постановке задач, выборе методов деятельности. В то же время его держат под постоянным наблюдением и корректируют его инициативы и действия. Как показывает история, лидеры востребованы перед лицом опасности. Поэтому после окончания конфронтации трудно было ожидать от мира стремления найти лидера — даже в лице США.

Международный терроризм как глобальная опасность создает «запрос на лидера». Однако терроризм сам был во многом спровоцирован политикой Вашингтона. Его проблема не может быть (судя по ситуации в Ираке) разрешена тем путем, который навязывают миру амери-

канские политики. Главный вопрос не в том, какого лидера выбрать (все-таки выбрать, а не принять того, кто желает им быть), а как избежать ситуации, в которой благо или зло для единственной сверхдержавы действительно станет автоматически означать благо или зло для любой страны и для всего мира.

Примечания

[1] См.: *Шаклеина Т. А.* Время выбора: Имперское искушение // США и Канада: Экономика, политика, культура. 2003. № 12. С. 3–14; *Баталов Э. Я.* Страсти по империи // Свободная мысль. 2004. № 1. С. 3–15.

[2] *Dark K. and Harris A.* The New World and the New World Order. London, 1996. P. 146.

[3] Британский политолог С. Смит считает, что Соединенные Штаты насаждают американский упрощенный тип демократии, в основе которого формальное соблюдение всеобщего избирательного права, хотя часто на деле в выборах участвует меньше половины населения. Он называет демократическую модель, распространяемую США, моделью «демократии для элиты». С. Смит полагает, что концепция глобального лидерства, которую реализуют США, может быть охарактеризована как «культурный империализм». См.: *Smith S.* U.S. Democracy Promotion: Critical Questions // American Democracy Promotion. Impulses, Strategies, and Impacts / Michael Cox, G. John Ikenberry, Takashi Inoguchi (eds.), Oxford, 2000. P. 61–82.

[4] *Woodward B.* Bush at War. New York, 2002. P. 30, 67, 73.

[5] См. подробнее: *Шаклеина Т. А.* Россия и США в новом мировом порядке. М., 2002. С. 97–151; *Она же.* Идейное обеспечение внешней политики администрации Буша. М., 2003.

[6] *Шаклеина Т. А.* Внешняя политика США: Консенсус между правительством и общественностью? // США и Канада: Экономика, политика, культура. 2000. № 11. С. 54–68.

[7] Цит. по: *Tucker R.* The End of Contradiction? // The National Interest. 2002. Fall. P. 6.

[8] *Bush George W.* The State of the Union Address by the President of the United States. Congressional Record. House. Tuesday, January 29, 2002. 107th Congress, 2nd Session. 148 Cong Rec H 98. Vol. 148. № 5. P. H100.

[9] The Weekly Standard. 2002, March 4.

[10] The Weekly Standard. 2001, November 12.

[11] *Schmitt G.* A Case of Continuity // The National Interest. 2002. Fall. P. 13.

[12] *Kupchan Ch.* Misreading September 11th // The National Interest. 2002. Fall. P. 29–30.

[13] *Hendrickson D.* Toward Universal Empire. The Dangerous Quest for Absolute Security // The World Policy Journal. 2002. Fall. Vol. XIX. № 3. P. 1–10.

[14] *Mandelbaum M.* The Inadequacy of American Power // Foreign Affairs. 2002. September/October. Vol. 81. № 5. P. 61–73.

[15] *Schwenninger Sh.* Revamping American Grand Strategy // World Policy Journal. 2003. Fall. Vol. XX. № 3. P. 25–44.

[16] *Pfaff W.* Scaring America Half to Death // International Herald Tribune. 2003. May 8; *Wolf M.* The Frightening Flexibility of International Terrorism // Financial Times. 2003, June 4. См. также статью Э. Г. Соловьева «Сетевые организации транснационального терроризма» // Международные процессы. 2004. Май–август. Т. 2. № 2. С. 71–83.

[17] The National Security Strategy of the United States of America. The White House, 2002. September. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.cdi.org.

[18] В последнее время отдельные американские авторы и политики используют термин «*Greater Middle East*» — «Большой Ближний Восток», куда относят, помимо тради-

ционно включаемых в Средний Восток государств, Иран, Афганистан и страны Персидского залива.

[19] Ibid. P. 31.

[20] *Huntington S.* The Lonely Superpower // Foreign Affairs. 1999. March/April. Vol. 78. № 2. P. 35–49.

[21] Цит. по: *Schwenninger Sh.* Op. cit. P. 34–37.

[22] *Кеннан Дж.* Дипломатия Второй мировой войны глазами американского посла в СССР. М., 2002. С. 219.

[23] Там же. С. 220.

[24] *Huntington S.* Dead Souls. The Denationalization of the American Elite // The National Interest. 2004. Spring. № 75. P. 16.

[25] Ibid. P. 5.

[26] *Kagan R.* America's Crisis of Legitimacy // Foreign Affairs. 2004. March/April. Vol. 83. № 2. P. 65–87.

[27] *Layne Ch.* From Preponderance to Offshore Balancing // International Security. 1997. Summer. Vol. 22. № 1. P. 86–112.

[28] *Layne Ch.* The Peace of Illusions. American Grand Strategy from 1940 to the Present. Ithaca, 2006. P. 118–122.

[29] Фиксация многоцентричности (многополюсности), происшедшая вопреки желанию США, вызвала к жизни новые определения такого положения: например, «век без полюсов» (*age of nonpolarity*), «бесполюсной концерт» (*concerted nonpolarity*), заставила американских политологов заявить о диффузии силы и влияния. См.: *Haass R.* The Age of Nonpolarity. What Will Follow U.S. Dominance // Foreign Affairs. 2008. May/June. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: /www.foreignaffairs.org/20080501faessay87304; *Kagan R.* The Return of History // The Los Angeles Times. 2007. August 5. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: / www.carnegieendowment.org/publications.

[30] *Carothers Th.* U.S. Democracy Promotion During and After Bush. Carnegie Endowment for International Peace. Washington, D.C.: CEIP, 2007.

[31] *Brzezinski Z.* Second Chance. Three Presidents and the Crisis of American Superpower. New York, 2007. P. 204.

Глава 21

Незапад в сравнительном дискурсе

Для стран Незапада (и государств Востока как его части) политический вектор модернизации связан с поиском адекватных путей социально-экономического и политического развития, сохранением культурной самобытности и с самоидентификацией. Без изучения специфики политических процессов, политических систем и политической культуры невозможно составить адекватное представление о характере и сущности политической жизни этой части мира.

Адекватное осмысление мирового востоковедного опыта и обогащение его отечественными исследовательскими наработками сопровождаются серьезными методологическими дебатами в востоковедении. При этом само востоковедение превращается в отрасль *мирового комплексного регионоведения* — интегральной социально-экономической дисциплины, изучающей закономерности развития социально-экономической системы всех регионов мира в целом с учетом их исторических, демографических, национальных, религиозных, экологических, политико-правовых, природно-ресурсных особенностей, места и роли в международном разделении труда и системе международных отношений[1]. Разумеется, эта отрасль знания охватывает изучение и Запада, и Незапада, включая как в целом Восток, так и его отдельные составляющие как части *общемировой системы регионов*.

Методология системно-сравнительного подхода

Прежде всего необходимо уточнить методологические позиции и свое отношение к следующим вопросам: как определить соотношение общих и специфических (региональных/страновых) закономерностей в рамках системно-сравнительного подхода; как конкретно сформулировать специфику обществ незападного и восточного типов (как части типа незападного), чтобы на этой основе можно было проводить сравнения. Проблема исследователя заключается в неясности того, каким образом можно конкретно и системно сравнивать различные полити-

ческие реалии, очень несхожие в обычной жизни (особенно западные и незападные политические системы), не подвергая себя опасности и соблазну предвзятости в отношении тех или других.

Любое сравнение должно обнаружить в явлениях признаки генетического характера, необходимые для исторических объяснений. Логико-математическими методами устанавливается принцип любого сравнения: сравнимы лишь те объекты, у которых имеются сходные признаки (математический аналог этого принципа: если два множества не содержат совпадающих элементов, то они не эквивалентны).

Сравнения можно проводить в нескольких плоскостях. Во-первых, в пространственной — посредством выявления пространственных, «спатиальных» различий. Во-вторых, во временной плоскости — путем ретроспективных сопоставлений или сравнений настоящего с прогнозируемым будущим. Причем временные сравнения могут быть двух типов — «вертикально»-исторические (нацеленные на выявление общих исторических закономерностей) и «горизонтально»-международные (поиск страновых специфик для постижения универсального содержания варьирующегося в зависимости от страны международного явления). Третий тип сравнений — пространственно-временной.

С методом сопоставлений тесно связаны методы построения *типологий* (выяснение обобщающих черт совокупности объектов и группировка объектов на основании выделенных таким образом качественных признаков) и *классификаций* (абстрагирований на базе учета количественных признаков объектов). Типологии и классификации помогают отвлечься от различий единичных объектов и сконцентрироваться на установлении их тождества на основе либо одного признака, либо взаимосвязанной совокупности признаков. В процессе построения типологии и классификации следует придерживаться определенных правил.

Проблематика компаративистики в конце XX века оказалась в центре политической теории[2]. Для точных наук основным оказался экспериментальный метод, для политических — системный и сравнительный, причем в практике политического исследования второй стал основополагающим и конкретно применяемым. При этом, с одной стороны, под сравнительными методами понимается достаточно большое количество методов, методик и приемов, которые в совокупности представляют собой сравнительную политологию. С другой — существует большое количество конкретных страновых исследований, которые нередко тоже называются сравнительными.

Основная проблема компаративистики заключается в том, что нужно понять, как применяются оба эти подхода таким образом, чтобы за генерализацией не исчез конкретный материал и реальная специфика

разных стран. Вместе с тем важно, чтобы частности специфики «не растворили» понимания общих закономерностей. Первая сложность сравнительного метода заключается в необходимости оптимального сочетания спецификации и генерализации, чтобы при этом не терялась бы специфика последней, а специфика не отрицала бы наличия общих закономерностей.

Вторая трудность сравнительных подходов заключается в необходимости разумного сочетания конфигуративных и статистических (количественных) подходов (методов). В конфигуративных исследованиях акцент делается на одном либо нескольких случаях таким образом, чтобы можно было понять логику политической жизни в рамках ограниченного количества «установлений»[3]. Логика подобного исследования нацелена «вглубь» и ориентирует на применение интерпретативных методов и методик. В конфигуративных исследованиях принято концентрировать внимание на сравнении политических институтов и макрополитических переменных в сочетании с культурным, социальным и/или экономическим контекстом политической жизни. Как правило, анализируется одна страна или группа близких стран. В рамках исследования одной страны превалирующими становятся не только интерпретативный, но даже интуитивный метод. Поэтому бывает трудно провести грань между сравнительной политологией и сравнительной политической историей[4].

Статистические подходы основаны на другой логике. В такого рода исследованиях одно либо ограниченное количество предположений проверяется статистически с использованием набора данных по максимально возможному числу стран. Специфика материала каждой страны абсолютно не важна. Она может лишь подтвердить или опровергнуть первоначальное предположение (группу предположений). При этом допустимы небезупречные попытки «измерить», к примеру, роль культурных факторов, чтобы выразить их в математических единицах и включить в группу первоначальных предположений для последующего статистического и кросскультурного или кросс-странового анализа. В подходах статистического типа страна предстает не «живой реальностью», а группой переменных, которые могут быть подвергнуты количественному анализу.

В сегодняшней компаративистике существует много приемов и методик, которые находятся между этих двух обрисованных выше крайностей. Как удачно заметил Ч. Рэгин, «хотя в широком смысле все методы общественных наук можно назвать сравнительными, термин сравнительный метод, как правило, используется в более узком значении для обозначения особого вида сравнений — сравнений крупных макросоциальных единиц. Традиционно под сравнительным методом в узком смысле понимается основной метод, применяемый в компара-

тивистике — разделе общественных наук, занимающемся изучением сходства и различий между отдельными обществами»[5]. Вопрос о сравнительном методе как специфическом для компаративистики активно дебатируется, так как существует влиятельное течение, которое отрицает методологическую «специфику» сравнительных общественных наук при сопоставлении с общественными науками в целом и политическими науками в частности. Но точка зрения Ч. Рэгина о наличии в компаративистике четкого водораздела между качественными и количественными методами при доминировании качественной традиции не представляется достаточно убедительной[6].

На основе толкования сравнительного метода Г. Питерс справедливо выделил пять типов сравнительных исследований: исследование на базе сравнений одной страны с другими; анализ сходных процессов и институтов группы стран; построение сравнительных типологий и классификаций стран, групп стран, их внутреннего устройства и политических систем; статистический или описательный анализ данных целой группы стран, объединенных по географическому признаку или на основе сходства путей их развития (подвергаются проверке гипотезы, построенные на основе анализа переменных, воплощающих характеристики анализируемых стран-образцов); статистический анализ всех стран с попыткой выделить модели взаимоотношений в политических системах всех типов[7]. Эту в целом убедительную типологию Питерс приводит в своей книге «Сравнительная политология. Теория и методы»[8]. Если «наложить» его схему на классификацию Рэгина, то в группе компаративных окажутся только первые три типа исследований «рубрикатора» Питерса.

Таким образом, судя по материалам англосаксонской традиции компаративистики — ведущей в политической науке — статистический кросс-страновой анализ не является доминирующим типом сравнительных исследований. Исследователи имеют возможность взвешивать достоинства и недостатки различных подходов. В самом деле, иногда полезнее «опуститься в глубь» одного национального государства, на субнациональный уровень, чтобы выявить различия политических систем разных государств.

Сравнительному исследованию может подвергнуться одна и та же единица, но рассматриваемая на разных временных отрезках. Возможен, следовательно, кросс-временной анализ одного государства либо даже политического института государства. Подобный анализ может показать, каким образом менялись социальный и культурный типы внутри одной политической системы. В такого рода исследованиях методы интерпретационного анализа действительно превалируют над количественными, на что и указывал Ч. Рэгин. Но от этого он не становится

«менее компаративистским»: он просто основан на других принципах компаративистики.

Анализ такого типа чаще используется в исследованиях политической истории, а не сравнительной политологии, правда, также в тех границах, где предметные поля этих двух дисциплин, имеющих разную методологическую базу, пересекаются. Часть этого же предметного поля, но под другим углом, с учетом пространственно-географического и цивилизационного взгляда, разрабатывает и мировое комплексное регионоведение. В литературе — в связи с перечисленными методологическими сложностями сравнительных подходов — высказывались предложения «конструировать» особую дисциплину на основе классификации теорий и концепций, которые анализируют и/или описывают объект, а не на основе самого объекта. Подобные попытки не единичны[9].

Типология различий западных и незападных политических систем

Из системного сравнительного политического анализа вырисовываются определенные принципы, главный из которых — определение общих принципов построения типологии политических систем в зависимости от характера их функционирования[10].

Дальше начинается концептуально самое сложное. Нужно отвечать на вопрос: что же является идеальной моделью, вокруг которой типологии построены, и каковы взаимоотношения между политической системой (системами) и политической культурой (культурами) регионов мира? Если считать идеальной моделью демократию западного типа (европейскую и американскую), то мировой политический процесс будет описываться в рамках концепции С. Хантингтона[11] и имплицитно подразумевать соответствие или несоответствие любой конкретной модели идеальной[12]. Тогда мировой политический процесс будет «просто» описываться как процесс политической модернизации западного типа и эволюции «всех стран и регионов» в направлении европейской либо американской модификации западных либеральных демократий. В свое время К. Маркс из-за недостатка знаний по Востоку скорректировал свою формационную теорию объяснениями *«ad hoc»*. Так появилась концепция «азиатского способа производства», которая около ста лет дебатировалась в мировом востоковедении до тех пор, пока все не убедились в методологической ограниченности самой постановки вопроса.

Все больше исследователей в западных странах и в России[13] высказывают сомнения в том, что современные теории «прозападной» поли-

тической модернизации и демократического транзита адекватно описывают мировой политический процесс с точки зрения понимания и должной оценки региональных закономерностей в их многообразии[14]. Речь идет не об отрицании этих теорий, а о необходимости расширить методологическую базу и набор подходов, в частности, с использованием методологии регионального анализа. Один из классиков западной политологии Л. Пай (автор блестящих трудов по сравнительной политологии и синологии) не только признал наличие «незападного» (буквально так) политического процесса, но и сформулировал его 17 специфических закономерностей:

1) в незападных обществах политическая сфера не четко отделена от общественных и личных взаимоотношений;
2) политические партии обычно выступают выразителями не собственно политических взглядов, а определенного мировоззрения, образа жизни;
3) имеется большое число разнообразных клик — специфика незападного политического процесса;
4) благодаря особенностям восприятия категории политической лояльности лидеры политических групп незападных обществ обладают высокой степенью свободы в выборе долговременной и краткосрочной стратегии;
5) оппозиционные партии и претендующие на власть элиты часто становятся инициаторами революционных движений;
6) неинтегрированность участников незападного политического процесса из-за отсутствия универсальной системы социальных связей в обществе;
7) политический процесс отличается высокими темпами рекрутирования новых политиков;
8) для незападного политического процесса характерны серьезные различия в политических пристрастиях разных поколений;
9) отсутствует устоявшееся мнение по поводу легитимности тех или иных целей и средств политического действия;
10) процесс принятия политических решений слабо зависит от интенсивности и масштаба политических дискуссий;
11) очень высока взаимозаменяемость политических ролей;
12) имеется сравнительно мало организованных групп интересов, обладающих определенной, четко вычленяемой функциональной ролью;
13) лидеры стремятся к популярности во всем обществе, не разделяя его на группы;

14) аморфный характер политического процесса способствует тому, что позиции лидеров по международным отношениям четче, чем по вопросам внутренней политики;
15) эмоциональный и экспрессивный аспекты политики преобладают над процессом разрешения проблем и определения государственной политики;
16) главенствующим типом лидерства является харизматический;
17) политические системы функционируют в основном без участия политических брокеров[15].

Таким образом, модель политики в обществах незападного типа в основном определяется формой общественных и личных взаимоотношений, а власть, авторитет и влияние зависят в значительной степени от социального статуса. Поэтому политическая борьба сконцентрирована не на альтернативных политических курсах, а в основном на проблемах влияния.

Процесс рекрутирования в политику в обществах такого типа фактически является процессом культурной социализации, при этом базовая структура незападной политической жизни — общинная, а политическое поведение прямо или косвенно связано с общинной идентификацией. Поэтому политические группы в незападных обществах ориентированы на какой-либо аспект общинной политики, а не на собственно политическую сферу деятельности. Для того чтобы устоять в политической борьбе, партии в этих странах должны выражать «свое» мировоззрение и отстаивать определенный образ жизни. В этом смысле они, скорее, напоминают общественные движения, чем собственно политические партии, а в самой политической жизни резко возрастает роль клик. Политическая лояльность становится обусловленной не политическими целями, а чувством идентичности с какой-либо общественной группой, и связанные с политической лояльностью проблемы разрешаются на уровне внутригрупповых интересов.

Поэтому борьба за власть идет не между партиями, представляющими различные политические интересы, и не между группами, соревнующимися для доказательства превосходства своих административных методов, а между различными образами жизни. В обществах незападного типа нет единого политического процесса, а есть несколько практически независимых политических процессов, связанных с различными образами жизни населения. Вот почему лица, занимающие политически значимые должности, нередко не имеют четко определенных границ власти, государственная бюрократия может фактически превратиться в партию (точнее — партию власти), а армия — выступить в роли правительства.

Хотя в незападных странах обычно довольно много неофициальных политических организаций, они действуют или как объединения, сформированные для защиты интересов своих членов, или в действительности представляют интересы правительства и/или наиболее влиятельной политической партии или движения, то есть мобилизуют население для поддержки господствующей группы, а не действуют как группы политического давления. Поэтому политик национального масштаба в этих странах должен прибегать к лозунгам общего характера, вместо того чтобы формулировать четкую позицию по определенным проблемам, поскольку у него отсутствует возможность идентифицировать скрытые потребности населения. Соответственно, облеченный властью субъект не должен обнаруживать и решать проблемы. Ему достаточно просто находиться в центре политического («общинного») процесса, что он и делает просто из-за того, что облечен властью «свыше».

Специфика политического процесса в обществах Востока

Описанная Л. Паем структура незападного политического процесса хорошо объясняет его специфику. Но, признав отличие незападных обществ от западных, на основе которого и выписана им специфика незападного процесса, можно пойти дальше, установив специфику восточных обществ и политического процесса в них.

Прежде всего определим два подхода к оценке специфики восточных обществ в рамках мирового комплексного регионоведения, которые позволят обозначить своеобразие их политического процесса. Оба подхода достаточно детально проработаны отечественным востоковедением. В соответствии с первым, доантичные западные и восточные политические структуры были идентичны. Начиная с античности произошло разделение политических структур на западные и восточные. В обществах западного типа образующий характер имеют рыночно/частно-собственнические отношения, доминирует товарное производство, отсутствует централизованная власть, исходно существовавшее демократическое самоуправление общины переросло в структуру, которая в дальнейшем получила название «гражданского общества»[16].

Общество первого типа — западного — было подвержено быстрым структурным модификациям, что вызывало его скорую эволюцию в сторону обществ конкурентного типа с точки зрения функционирования политической и административной систем.

В обществах второго типа — восточных — не было господствующей роли частной собственности, а доминировала общинная и государствен-

ная собственность. На Востоке «власть» была «эквивалентна» собственности — и наоборот, в то время как в обществах западного типа со времен Венецианской Республики произошло разделение «собственности» и «власти». Последняя могла быть «просто» наемной, ее главной функцией стало управление.

В восточных обществах не было норм права, которые защищали частно-собственнические отношения (римское право), там превалировала государственно-общинная форма ведения хозяйства, и государство в силу этого доминировало над обществом, а не наоборот. Хотя общество создавало альтернативные структуры противостояния государству/власти (семья, клан, община, каста, цех, секта, землячество и др.), они были отчасти вписаны в систему государства (кастовый состав государственных институтов в Индии; клан, землячество в Китае, руководители которых были тесно связаны с государственной системой или просто являлись ее низшей частью — своего рода «чиновниками»).

Общества этого типа в силу специфики политической структуры стремились к внутренней устойчивости, консервативной стабильности, в них закреплялось только то, что соответствовало нормам корпоративной/общинной этики, в силу чего постоянно воспроизводились политические структуры одного и того же типа. В соответствии с объяснениями такого рода становилось понятно, почему восточные общества не становятся демократиями западного типа и что нужно сделать, чтобы они таковыми стали.

На Западе двигателем новаций, в том числе и политических, являлся индивид, гражданин-собственник, на Востоке — община, которая принимала только то, что соответствовало нормам общинной/корпоративной этики или традиции (соответствовало коллективному, а не индивидуальному/индивидуалистическому опыту).

Однако в последние десять лет в востоковедении и мировом комплексном регионоведении появилось альтернативное объяснение специфики восточных обществ[17]. В соответствии с этим пониманием особенности социального строя на Востоке определялись следующими параметрами. *Во-первых*, права индивида существуют и охраняются только по отношению к другому индивиду, а права индивида по отношению к государству отсутствуют. *Во-вторых*, земельная собственность на Востоке была разделена на две части: собственность на землю как на «территорию с подвластным населением» (собственность на налог), которая находилась у правящего слоя, составлявшего административный аппарат государства; и собственность на землю как на «объект хозяйства», которая принадлежала землевладельцам и крестьянам (налогоплательщикам) одновременно.

Такая ситуация определяла наличие двух господствующих классов со всеми вытекающими последствиями. Исходя из этих условий специфику обществ восточного типа можно определить следующим образом:

- в восточных обществах существовала стойкая многоукладность, сопровождавшая весь процесс исторического развития;
- им свойственны более длинные межформационные периоды (длительные полосы исторического развития, характеризующиеся более или менее устойчивым взаимодействием двух и более одновременно существующих общественно-экономических укладов);
- в обществах такого типа всегда будет существовать сопротивление «культур-полуцивилизаций» (по Ф. Броделю), то есть цивилизационная гетерогенность, если под цивилизацией понимать этап в развитии культуры, который включен в исторически определенную систему общественных отношений, несет в себе формационную специфику и вместе с тем последовательно накапливает культурно-политическое содержание;
- в силу этнической и культурной/цивилизационной гетерогенности подобные общества нуждаются в институтах компенсации неоднородности населения и неравномерности развития этнической общины, там гипертрофированную роль по сравнению с обществами другого типа играют государство и религия, функцией которых является централизаторская, цементирующая и унифицирующая роль;
- в обществах такого типа в силу внутренних и внешних причин капитализм имел и имеет неоднородный и анклавный характер, что определило экономическую и политическую специфику обществ[18].

Если согласиться с таким определением политико-экономической специфики обществ восточного типа, то достаточно легко выписать специфику политического мира обществ западного и восточного типов.

В обществах западного типа:

- основополагающим является принцип «технологического/техницистского» отношения к миру — к природе как к естественной среде и к обществу как к социальной среде, выраженной известным афоризмом «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней хозяин»; в них превалирует свободная, спонтанная, но рационалистическая воля индивида, которая не ограничена ни «космическим», ни нравственным законом («Мы свободны вплоть до свободы убивать друг друга» — философская основа

всех европейских войн); статус индивида не гарантирован «порядком Вселенной», индивид — нонконформист; общество основано на воли индивида, в нем нет места фатализму, как в обществах восточного типа, где нет случайных, спонтанных вариаций и все предопределено «ходом вещей»; западное общество является социоцентричной самодетерминирующейся системой, оно не космоцентрично, как восточное; природа и общество (человек) в нем конгломеративны, человек и природа не связаны в единое гармоничное, неразрывное целое, как в обществах восточного типа; на Западе человек всегда «преобразует» природу; существует примат правового государства, в котором важна приемлемость социального поведения и универсальные юридические (конституционно-правовые) нормы;

— действует принцип неопределенности, в них политика — игра при равенстве шансов и неопределенности конечного результата; история открыта и не гарантированна, она непознаваема, так как человек не знает ее конечные перспективы; нет объективной политической истины, истина в нем конвенциональна (принята по соглашению), соответственно должен наличествовать определенный консенсус и признание точки зрения меньшинства;

— существует атомарно-номиналистический принцип гражданского договора (никто не может меня принудить к тем или иным общественным связям, которые действительны лишь в той мере, в какой индивид их добровольно принял как субъект равноправных отношений), из которого вытекают взаимообязательные отношения граждан с государством, а не односторонние обязательства первых в отношении второго;

— соблюдается принцип разделения властей при выборности власти, осуществляемой большинством, но регулируемой обязательными правовыми нормами и не распространяющейся на определенные сферы частной жизни; у меньшинства должны быть правовые гарантии, обеспечивающие его интересы; власть должна быть легитимна (законодательная власть избирается народом), эффективна (исполнительная власть автономна), а судебная — независима от первых двух (обеспечивается подчинение граждан и государства закону);

— сохраняется системно-функциональный принцип, в соответствии с которым не так важно содержание элемента системы, как та функция, которую этот элемент выполняет;

— существует разделение ценностей и интересов, в соответствии с которым в области политики не решаются смысловые вопросы

бытия, так как итоги политического соревнования не окончательны (через определенное время можно снова законно прийти к власти); во время соревнования (выборов) согласовываются практические интересы, по которым возможен — и даже необходим — компромисс;

— пропагандируется система открытого типа («открытое общество»), в котором нет сословных перегородок, существует высокая социальная мобильность, отсутствуют «великие» коллективные ценности (главенствует принцип атомарности интеллектуальной деятельности); национального суверенитета нет (или он постепенно сводится к минимуму) и существует принцип равноценности мировых культур, терпимости, свободной соревновательности[19].

В восточном политическом мире все вышеперечисленные принципы в той или иной степени могут существовать, но они не являются главными. В обществах восточного типа основополагающими являются другие принципы:

— воздержание от волюнтаристской активности (крайнее воплощение — концепция древнекитайской философии у-вэй («недеяния»); в восточном мире нет «деятеля» (преобразователя) в западном смысле, там человек следует ходу вещей, великому космическому закону (вспомним принципы организации войска, которым следуют Наполеон и Кутузов, как они поданы Л. Толстым в «Войне и мире»), в соответствии с которым этика и ритуал слиты вместе, ритуал кодифицирует писаные и неписаные законы поведения, причем в области морали и этики творческие импровизации являются сомнительными; в этой системе социальное поведение предсказуемо, каждый должен ждать своего часа, идеал — патерналистская модель, основанная на отцовской опеке и соответствующей ей сыновней почтительности; политический процесс — это не процесс производства власти, как на Западе, а вычленение и поддержка имманентного, естественного, устоявшегося, проверенного в политической общинной жизни;

— теократический принцип, в соответствии с которым государство является постоянно мобилизованным носителем ценностных, нравственно-религиозных критериев, стремящихся контролировать все социальные практики; такое понимание государства основано на традиции, в соответствии с которой город есть воплощение государственной власти, а народ — духовная общность, скрепленная традицией (общностью культурной памяти) и надеж-

дой на грядущее воплощение «правды-справедливости»; на Западе город выступал как частногражданская альтернатива государственной власти и основа «гражданского общества», а государство — как бесстрастный наблюдатель процессов, происходящих в гражданском обществе, вмешивающееся в его жизнь только в случае прямых беспорядков; в восточных обществах политическая власть может ограничиваться и контролироваться духовной властью в «помыслах», то есть высших ценностных ориентациях; отсюда — вера в сакральность всего земного пространства на Востоке и необходимость осуществления принципа соборности (А. Хомяков), то есть организации светского общества по принципу храмовой общины с иерархией священник/царь/пророк и обязательным посредником между человеком и Богом;

— принцип уравнительной справедливости; статус человека определяется, скорее, не происхождением, связями, деньгами, личными успехами, а служебным усердием; административные территории внутри государства должны контролироваться верховной властью, существует централизованное регулирование экономики и государственная монополия на недра;

— «священная справедливость»; государственность — мессианская; свобода не индивидуальна, а коллективна, это свобода народа, которая конструируется коллективно; у народа — коллективная судьба, призвание (нельзя «спастись» одному, можно спастись только всем вместе); государственность является сакрализированной и воспроизводится в локальных сообществах как высшая ценность.

Политическая культура может определять политическую систему. Стоит согласиться и с фактом плюрализма политических культур, взглядов на политическую систему и политику вообще. Не отрицая, что демократия — не идеальный, но лучший из известных способ правления, важно сознавать, что в мире объективно существуют разные типы обществ — западный и незападные, среди которых существует особый подтип восточных. Этим типам соответствуют разные виды, модели демократий (не только европейского и американского типов). Различимы азиатские типы демократии — японская, тайваньская. Они могут отличаться и на самом деле, по-видимому, достаточно сильно отличаются от европейской и американской моделей, но все же являются демократиями.

Оба типа обществ обладают собственной культурной и социально-психологической спецификой, своеобразной национальной психологией и национальными характерами (в частности, в связи с особой ро-

лью религиозного фактора или существованием правовой системы особого рода). Все это порождает различия, создает феномен «других» политических систем и политических культур, которые «не лучше» и «не хуже» друг друга, а просто друг от друга отличаются, при этом нередко демонстрируя лучшую приспособленность к решению соответствующих каждому типу обществ политических проблем.

Как представляется, во встречающихся в литературе типологизациях политических систем, построенных на сравнении всех анализируемых объектов с некими однажды условно признанными за таковые «эталонами», есть большая доля идеологизированности и субъективности, связанная с тем, что методологически любая типологизация связана с редукцией и интерпретацией.

Предстоит еще дополнить (или — наполнить) описание общих закономерностей развития политических систем региональной и страновой «плотью и кровью», конкретным анализом специфики составляющих мира, в частности стран Востока. Таким путем можно получить представление о реальном функционировании политических систем Востока в сравнительной перспективе. При этом полученные знания не будут оторваны от жизни, а могут быть применены в практической деятельности.

Примечания

[1] Подробнее см.: *Воскресенский А. Д.* Предмет и задачи изучения региональных подсистем международных отношений // Восток/Запад: Региональные подсистемы и региональные проблемы международных отношений. М.: РОССПЭН, 2002. С. 3–14.

[2] Обзор проблематики сравнительной политологии «вглубь и вширь» представлен *П. Мэром* (Сравнительная политология: Общие проблемы), *Р. Дж. Далтоном* (Сравнительная политология: Микроповеденческий аспект), *Л. Уайтхедом* (Сравнительная политология: Исследования по демократизации) и *Д. И. Аптером* (Сравнительная политология: Вчера и сегодня) в книге «Политическая наука: Новые направления» (М., 1999. С. 309–386).

[3] Терминология сравнительной политологии, особенно в России, еще не устоялась. В данном случае под «установлением» имеется в виду русский аналог английского «settings».

[4] Об этом удачно написано Ф. Уилсоном (глава 2, раздел «The Political Legacy of History»). См.: *Wilson Frank L.* Concepts and Issues in Comparative Politics. An Introduction of Comparative Analysis. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1996.

[5] *Рэгин Ч.* Особенности компаративистики // Современная сравнительная политология: Хрестоматия. М.: Общественный научный фонд, 1997. С. 32.

[6] Там же. С. 33.

[7] *Peters B.* Guy. Comparative Politics. Theory and Methods. New York: Palgrave, 1998. P. 10.

[8] Ibid.

[9] *Чилкот Р. Х.* Теории сравнительной политологии. М.: Инфра-М; Весь мир, 2001.

[10] *Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р.* Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор. М.: Аспект Пресс, 2002; *Дербишайр Дж. и Дербишайр Я.* Политические системы мира. М.: Рипол класик, 2004; *Эндрейн Ч. Ф.* Сравнительный анализ политиче-

ских систем. М.: Инфра-М; Весь мир, 2000; Политическая наука: Новые направления. М., 1999; Современная сравнительная политология: Хрестоматия. М.: Общественный научный фонд, 1997; *Соловьев А. И.* Политология. М.: Аспект Пресс, 2001; *Сморгунов Л. В.* Современная сравнительная политология. М.: РОССПЭН, 2002; Категории политической науки / Автор концепции и руководитель авторского коллектива А. Ю. Мельвиль. М.: РОССПЭН, 2002; Политический процесс: Основные процессы и способы анализа / Под ред. Е. Ю. Мелешкиной. М.: Инфра-М; Весь мир, 2001.

11 *Huntington S. P.* The Third Wave. Democratization in the Late 20th Century. Norman, 1991.

[12] *Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р.* Указ. соч.; *Дербишайр Дж. и Дербишайр Я.* Указ. соч.

[13] См., например: *Володин А. Г.* Современные теории модернизации: Кризис парадигмы // Политическая наука. 2003. № 2. С. 8–29; *Карозерс Т.* Конец парадигмы транзита // Политическая наука. 2003. № 2. С. 42–65.

[14] Эти сомнения не означают не признание значения этих теорий в конкретных и конкретно-временных обстоятельствах.

[15] *Пай Л.* Незападный политический процесс // Политическая наука. 2003. № 2. С. 66–86.

[16] В западной политической науке классическим выразителем этих взглядов является Д. Ландес (*Landes D.* The Wealth and Powerty of Nations. London, 1998). Наиболее ярко и четко, но по-другому, чем Д. Ландес, в отечественном востоковедении эти положения были сформулированы Л. С. Васильевым (История Востока. М., 1999. Т. 1, 2 и другие его работы).

[17] История Востока. Т. 1. Восток в древности / Отв. ред. В. А. Якобсон. М., 1999; История Востока. Т. 2. Восток в Средние века / Отв. ред. Л. Б. Алаев, К. З. Ашрафян. М., 1999; История Востока. Т. 3. Восток на рубеже Средневековья и Нового времени / Отв. ред. Л. Б. Алаев, К. З. Ашрафян, Н. И. Иванов. М., 1999; Социальный облик Востока / Отв. ред. Р. Г. Ланда. М., 1999. В западной политологии сходные, но структурно абсолютно другие и гораздо более детальные аргументы представлены Андре Гундер Франком (*Frank A. G.* ReOrient. London, 1998).

[18] См. подробнее: *Ланда Р. Г.* Цивилизация, формация и социум на Востоке // Социальный облик Востока / Отв. ред. Р. Г. Ланда. М., 1999. С. 15–28.

[19] Впервые в отечественной политологии эти принципы были удачно проанализированы А. С. Панариным. См.: *Панарин А. С.* Политология. Западная и восточная традиции. М., 2000.

Глава 22

Система внешнеполитических приоритетов современного Китая

Пространственно-структурный[1] подход к анализу Восточной Азии побуждает начать разговор о ситуации в этой части мира с Китая, занимающего в ней центральное положение. Ключевая роль этой страны в региональной политике — модный сюжет исследовательской литературы, окрашиваемый долей тревоги по поводу намерений китайского руководства[2].

Китай занимает в мире третье место по размерам территории и первое — по населению[3]. Вот уже три десятилетия он демонстрирует самые высокие темпы экономического роста — в среднем 10% в год[4]. За период с 1978 года страна дважды удвоила валовой внутренний продукт (ВВП) и вышла по его размерам на второе место в мире. Правда, в 2006 году объем ВВП КНР составил только 77% ВВП США[5], и в этом смысле разрыв остается значительным. Но Китай приблизился к мировому лидеру гораздо заметнее, чем другие страны: ВВП Японии составляет не более 37% от американского, а ВВП России — всего 14%. Китай стал двигателем роста мировой экономики. С 2000 по 2005 год импорт КНР вырос в 3 раза (с 225 млрд долл. до 660 млрд долл.), обеспечив, по зарубежным оценкам, около 12% прироста мировой торговли[6]. При этом возрастали военные расходы Китая, улучшались качественные показатели его вооруженных сил. В 2006 году его оборонный бюджет увеличился вдвое по сравнению с 2000 годом[7], составив 35,1 млрд долл. Неудивительно, что современные исследователи международных отношений воспринимают Китай «более чем всерьез»[8].

Вместе с тем ожидать легкого превращения Китая в «новую сверхдержаву» преждевременно. Китай остается в числе стран с самыми низкими доходами на душу населения[9]. В 2005 году этот показатель для КНР составил 1700 долл. (в США — в 25 раз больше). Для КНР характерен пятикратный разрыв в уровне доходов между жителями приморских про-

винций и бедных западных районов — опасная социальная поляризация, которую не могут игнорировать китайские ученые и политики[10]. Десять западных районов страны даже по признанию китайской статистики остаются на уровне «абсолютной бедности» *(цзюэдуй пинькунь)* или «обеспечения только самым необходимым» *(вэньбао шуйпин)*[11]. Это означает, что более 415 млн китайских граждан живут менее чем на 2 долл. в день.

По оценкам китайских специалистов, Китай лишь к 2050 году сможет выйти на уровень среднеразвитых стран мира[12]. Имея огромные запасы собственных природных ископаемых, страна вынуждена тем не менее импортировать некоторые их важнейшие виды — прежде всего энергоносители. Такая зависимость от импорта подрывает стратегию национального развития[13]. Есть обоснованные сомнения и в способности КНР посредством военной и технологической модернизации приобрести в скором будущем потенциал для проецирования силы за пределами национальной территории и защиты морских коммуникаций.

И все же нынешний Китай внушает опасения. Они в значительной степени связаны с трудностями в оценке действительных намерений Пекина в мировой политике. Можно предположить, что китайское руководство скрывает свои планы или нарочно говорит о приоритетах экономического развития, хотя на деле стремится к политическому доминированию — как минимум в региональном масштабе. Однако нельзя исключать и отсутствия внутри китайской элиты цельного представления о «желаемой» международной роли КНР. Вряд ли известный китайский ученый, вице-президент Шанхайского института американских исследований У Синьбо лукавит, когда указывает на наличие в китайском самовосприятии четырех групп противоречий, сдерживающих внешнеполитическое поведение КНР: стремление представить себя великой державой и реалии бедной страной «третьего мира»; «политика открытости» и принцип «абсолютного суверенитета»; «идеологическая чистота» и политический прагматизм; поведение в рамках двусторонних отношений и деятельность в многосторонних международных структурах[14].

Пытаясь «встать на позицию» Китая, чтобы реконструировать его логику, аналитики почти всегда исходят из здравого в принципе аргумента: Пекин не может быть удовлетворен современным мировым порядком и объективно желает его изменить[15]. Такому подходу присуща, впрочем, некоторая одномерность. Следуя ему, исследователи не пробуют всерьез рассмотреть варианты *ненасильственного восхождения нации к статусу великой державы, которое встроено в закономерности ее эволюционного развития и не угрожает ее существованию.* Между тем такой вариант развития, по крайней мере теоретически, не исключен.

Китайское понимание «ответственной» внешней политики

Стоит допустить: рост мощи Китая происходит «внутри» рамок системы международных отношений, радикальная ломка которой началась в 1991 году не из-за него и на мегауровне мало от него зависит. Встраивание новой великой державы в систему, которая уже приведена в состояние повышенной динамики и из нее не вышла, может быть менее болезненным или просто менее заметным, чем вторжение нового игрока в традиционную систему жесткого статус-кво. Появление нового сильного игрока в региональной политике не обязательно должно автоматически вести к возрастанию потенциала региональной конфликтности. Если Китай в самом деле сможет — а есть основания думать, что он к этому стремится — последовательно трансформироваться в *«ответственную великую державу»*, то шансы сохранения регионального пространства динамической стабильности могут увеличиться, а не стать меньше.

Большинство исследователей склонны думать (отчасти вслед за Полом Кеннеди), что ответственное поведение доступно лишь странам, способным к проведению «большой стратегии»[16]. Похоже, китайские ученые отдают должное этому тезису. Однако они трактуют сам термин иначе, нежели их западные коллеги. Для школы Кеннеди в «большой стратегии» значима прежде всего политико-военно-экономическая средство-целевая цепь, а также необходимость применения не только военных, но и невоенных инструментов во внешней политике. Для китайских же трактовок важен акцент не столько на связи военно-политических и дипломатических составляющих политики, сколько на неразрывности внешней и внутренней политики государства, подчиненности первой целям национального развития[17]. При этом китайские коллеги упрямо выдвигают на передний план экономическое строительство[18].

Такая постановка проблемы закономерна для Китая: задачи национального развития Китая на самом деле являются внутренними или относятся руководством КНР к таковым. Речь идет прежде всего об устойчивости экономического роста, стабильности политической системы и решении — по возможности мирными средствами — проблемы Тайваня. Последняя тоже рассматривается в Пекине через призму национального объединения, то есть как задача внутренняя, а не международная. По сходной логике задача формирования благоприятной для китайской модернизации внешней среды тоже подается как внутриполитическая.

Современная внутренняя политика КНР трактуется в китайских работах столь расширительно, что она в каком-то смысле «поглощает»

международную, представляя внешнеполитические задачи как часть повестки дня внутреннего развития[19]. Такой сдвиг во многом мотивирован инерцией мышления первого и второго десятилетий китайской реформы (1978–1998). В тот период акцент на приоритете экономических задач в огромной степени подготовил успехи, позволившие Китаю повысить свой международный статус.

После распада СССР китайское руководство опасалось, что Запад попытается добиться ненасильственного свержения коммунистического режима и в Китае. Однако руководство Дэн Сяопина смогло выработать внешнеполитическую платформу, которая уберегла КНР от растраты ресурсов на «защитное противостояние» с США. «Концепция Дэн Сяопина» была преимущественно выжидательной. Она состояла из восьми постулатов: хладнокровно наблюдать, укреплять позиции, уверенно реагировать на изменения, скрывать свои возможности, выигрывая время, не привлекать к себе внимания, никогда не становиться лидером, делать конкретные дела[20]. Американские специалисты китайского происхождения «сгущали» приоритеты КНР всего до двух тезисов, отмечая, что традиционная концептуальная максима китайской дипломатии «поиск выгод при избежании вреда» (*цюли бихай)* в эти годы приобрела новый вид «избежание вреда — главная цель» (*и бихай вэй чжу)*[21]. По сути дела, этот набор приоритетов определял поведение Китая на международной арене до середины 1990-х годов, когда китайские аналитики стали подозревать, что Соединенные Штаты начали утрачивать ресурсы для реализации роли единственного лидера Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)[22].

Это не подтолкнуло Пекин к «резким движениям». Соперничество с США не входило в китайские планы. Другое дело — переход к избирательной дипломатической активности «среднего масштаба». Со времен событий 1989 года на площади Тяньаньмэнь в Пекине побаивались дипломатической изоляции. Теперь с этими страхами было самое время покончить. Китайская дипломатия занялась конструированием «пояса добрососедства», добиваясь не просто преодоления антикитайских предубеждений близлежащих стран от России до Вьетнама и Индонезии, но и решительного углубления сотрудничества с ними. Параллельно с улучшением отношений с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), странами Центральной Азии и Россией китайская дипломатия повела себя активней в рамках региональных и глобальных многосторонних институтов. Причем *Пекин строил не буфер, не кордон, а «пояс контактных зон» с внешним миром.* Это удалось ему в полной мере.

Активизация связей с соседями позволяла уменьшить внешнеполитические риски, диверсифицировать как внешнеэкономическую (но-

вые источники ресурсов для модернизации), так и внешнеполитическую стратегии[23]. В 1989–1992 годах КНР нормализовала отношения со *всеми* государствами АТР и Западной Азии. Об «антикитайском дипломатическом фронте» времен Тяньаньмэнь уже никто не вспоминал.

К этому периоду относится усиление интереса китайских руководителей к концепции «многополярности» *(доцзихуа)*[24]. Сама по себе эта концепция не давала КНР никаких «прибылей». Скорее, она служила для нее источником «исторического оптимизма»: «дипломатическое одиночество» по привычке (не с 1989-го, а, скорее, с 1949 года) вызывало страх. Концепция многополярности позволяла чувствовать себя «не одиноким». По той же причине она оказалась эмоционально притягательной и для вождей России, переживавшей в 1990-х годах тяжелый этап своего развития.

Китайские руководители не считали «многополярность» политической реальностью. Глава МИД КНР Цянь Цичэнь писал: «Мир еще находится в переходной фазе, и новая модель еще не сформировалась полностью, но уже обозначились контуры структуры международных отношений, в которой одна сверхдержава и несколько великих держав находятся в отношениях взаимозависимости и борьбы... это и есть начальный период эволюции системы к многополярности»[25].

Любопытно, что западные аналитики склонны видеть в доктрине многополярности «план действий» Китая по изменению сложившегося соотношения мировых сил[26], а китайские аналитики, судя по их текстам, — лишь нормативно-дескриптивные рамки идейно-политического конструкта. Стоит принять во внимание замечание Алистера Джонсона: «Не ясно, влияет ли дискурс о многополярности на решения китайского руководства, отражает ли он его предпочтения или является проявлением глубоко укоренившейся в отношениях Китая с окружающим миром психологии жертвы»[27].

Стал меняться подход Китая к многосторонним институтам. В Пекине скептически относились к возможности использовать таковые в своих интересах. Считалось, что подобные организации используются Соединенными Штатами и Японией для создания коалиций против Китая. Предпочтение отдавалось двустороннему формату отношений, в рамках которого КНР могла бы использовать политико-силовые преимущества[28].

Однако «комплекс жертвы истории» был вытеснен из мышления китайского руководства страхами повторения международной изоляции. В Пекине решили, что риск столкновения в многосторонних институтах с необходимостью заставить себя подчиниться коллективной воле других стран-членов меньше опасности быть исключенным из процессов принятия международных решений вообще[29].

В 1991–1996 годах КНР присоединилась к режиму контроля над ракетными технологиями, Договору о нераспространении ядерного оружия, Конвенции о запрещении химического оружия и Договору о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний[30]. Адаптируясь к международным институтам, Китай пытался примирить собственные предубеждения с необходимостью создавать себе репутацию ответственного члена международного сообщества[31].

В 1991 году КНР вступила в Азиатско-Тихоокеанский форум экономического сотрудничества (АТЭС). С 1993 года Китай и страны АСЕАН начали совместные дискуссии по вопросам безопасности в рамках Регионального форума АСЕАН по вопросам безопасности (АРФ). Пекину удалось достичь, хоть и непрочного, взаимопонимания с государствами Юго-Восточной Азии (ЮВА) по территориальным вопросам в Южно-Китайском море. Пекин предложил отложить наиболее сложные территориальные споры «на какое-то время и заняться совместной разработкой и освоением шельфовых месторождений»[32] (принцип *«гэчжи чжэнъи гунтун кайфа»* — «отложить разногласия и совместно осваивать»)[33].

Продолжить линию «на укоренение» в политическом пространстве региона Китаю помешало обострение ситуации вокруг Тайваня в 1995–1996 годах, вызванное проводимыми Пекином военными учениями, включавшими запуски баллистических ракет. Эти учения КНР провела в ответ на визит в США лидера Тайваня Ли Дэнхуэя (июль 1995 года), которого китайское руководство подозревало в намерении официально провозгласить независимость острова[34]. В ответ на масштабные военные маневры Китая в марте 1996 года Соединенные Штаты направили к Тайваньскому проливу авианосную группу, которая, однако, не стала в него входить. Последовал краткий виток китайско-американского позиционного противостояния. КНР не пошла на дальнейшую эскалацию напряженности с Тайванем. Тайваньские лидеры не решились провозглашать независимость. США пришли к выводу о необходимости оказывать сдерживающее влияние и на КНР, и на Тайвань во избежание конфликта между ними, вмешиваться в который Вашингтону явно не хотелось.

Косвенным последствием ситуации для китайской внешней политики стало сделанное в ходе нарастания китайско-американского противостояния в августе 1995 года на заседании АРФ Цянь Цичэнем заявление: «Китай более не считает американское военное присутствие в Восточной Азии силой, обеспечивающей мир и стабильность»[35]. Это дало новый толчок дискуссиям о многополярности, которую американские специалисты с еще большей уверенностью стали трактовать как создание международной оппозиции США — государству, «действующему в одностороннем порядке и диктующему свою волю в международных делах»[36].

«Стратегия глобального добрососедства»

Сознательно или под влиянием вспышки отчуждения в отношениях с США, но во второй половине 1990-х годов руководство КНР произвело корректировку внешней политики. С этого времени можно говорить о формировании внешнеполитической стратегии Пекина как целостного комплекса мер по реализации *стратегии глобального добрососедства.*

Акценты перераспределялись. Прежде в КНР нарочито подчеркивали приоритетность внутренних задач развития. Теперь внутренний и внешний аспекты политики выравнивались по значению. Внешняя политика должна была не просто «пассивно» поддерживать благоприятные внешние условия для китайских реформ, но и «активно» препятствовать Соединенным Штатам или другим государствам в попытках помешать подъему Китая. В каком-то смысле это была *политика «глобальной профилактики внешних угроз»* — понимаемых шире, чем только в военно-политическом смысле. «Замах» Пекина производил впечатление на аналитиков, отмечавших, что китайская политика была нацелена на «реализацию задачи обретения страной статуса великой державы, которая *структурирует международную систему, а не просто реагирует на происходящие в ней процессы*»[37].

Американские специалисты полагают, что «негативными задачами» Пекина в тот момент были: предотвращение *неограниченной во времени* гегемонии Соединенных Штатов в Восточной Азии[38]; противодействие превращению Японии в крупную военную державу; противодействие сценариям блокирования государств АСЕАН, России и Индии с Соединенными Штатами на антикитайской основе[39].

В круг «позитивных задач» входили: выход Китая к положению «ответственной великой державы», имеющей позитивную репутацию в глазах окружающего мира. Отказавшись от устоявшихся постулатов («Китай проводит независимую внешнюю политику, не стремится к гегемонии и ни для кого не представляет угрозы»), Пекин разработал инициативную политику создания «партнерств» с ведущими государствами мира во избежание любой конфронтации с ним[40]. Строго говоря, с точки зрения внешнеполитической философии, революционной эта стратегия не была. Но она как минимум ориентировала на смену инструментария достижения целей.

В содержательном смысле самым интересным было воплощаемое в новой линии преодоление комплекса «жертвы истории», «психологии жертвы» (*шоухайчжэ синьтай).* Осторожно отстранившись от стереотипа сетований на несправедливость судьбы и «150 лет стыда и унижения», китайское руководство стало постепенно воспитывать в нации

«психологию великой державы» *(дагоо синьтай)*»[41]. Причем державы респектабельной, ответственной, готовой и способной к сотрудничеству с международными партнерами самого высокого ранга[42].

Интересно и другое. Если прежде Китай стремился в первую очередь снискать уважение на Западе, то новая линия была направлена прежде всего на добрососедство, стабилизацию китайской периферии, улучшение репутации КНР среди непосредственно окружающих ее стран. Фактически линия КНР, отчасти вопреки ожиданиям ряда специалистов, не привела и, возможно, даже не была направлена на формирование в Восточной Азии «китаецентричного порядка»[43].

Китай стал вести себя с малыми и средними странами региона не как с «верными подданными», а как с прагматичными партнерами, с которыми его связывают, по выражению китайского аналитика Янь Сюэтуна, «общие интересы безопасности» *(гунтун аньцюань лии)*[44].

Национализм государств АСЕАН уже не мешал китайской политике. Напротив, он был ей «на руку», так как мешал соседним странам включаться в инициируемые западными странами кампании критики Китая за несовершенство его политической системы и пренебрежение правами человека. В такой обстановке «особенности» политической системы КНР было проще объяснять не устарелостью «марксистско-маоистских догм», а азиатской спецификой, столь симпатичной государствам ЮВА. Смена психологических приоритетов облегчила Пекину «более тесную интеграцию с государствами Азии, ссылки на которую стали непременным атрибутом региональных внешнеполитических инициатив КНР»[45].

Доказать новое мышление КНР в отношении соседей помог финансовый кризис в Юго-Восточной Азии 1997–1998 годов. Правительство КНР не девальвировало юань и не стало развертывать товарную экспансию с целью захвата рынков сопредельных азиатских стран, пострадавших от кризиса. Более того, Китай предложил нескольким государствам ЮВА финансовую помощь и низкопроцентные займы. Его поведение разительно отличалось в тот момент от предельно жесткой политики МВФ и западных кредиторов из числа государств «группы восьми». Лучшего примера ответственного поведения было не придумать.

Откровением для Пекина стало то, что в конце 1990-х годов США не могли полностью контролировать многосторонние организации[46] и потому стремились таковые либо игнорировать, либо принижать их значение. Соответственно, китайская дипломатия могла получить дополнительный простор для маневра.

Еще одним «приятным открытием» для Китая стала относимая к тому же времени констатация: принципы кооперативной безопасности

стран АСЕАН вполне совместимы с китайской *«новой концепцией безопасности» (синь аньцюань гуань)* в том виде, в котором она излагалась официальными китайскими лицами в 1997–1999 годах. «Новая концепция» по сути была обновленным вариантом принципов мирного сосуществования, дополненных тезисом о необходимости равноправного диалога со странами мира и призывом отказаться от военно-политических союзов[47]. Последнее положение, впрочем, никогда не находило поддержки среди стран АСЕАН.

В 2002 году китайская дипломатия осуществила настоящий дипломатический «прорыв» в отношениях со странами ЮВА. Китай и государства АСЕАН подписали:

- Декларацию о правилах поведения в Южно-Китайском море[48] (Пекин согласился в ней с большинством формулировок своих соседей, фактически пообещав отказаться от использования силы в решении территориальных споров);
- Совместную декларацию о сотрудничестве в сфере нетрадиционной безопасности[49];
- Рамочное соглашение о комплексном экономическом сотрудничестве[50];
- Меморандум о взаимопонимании в вопросах сельского хозяйства[51].

В 2003 году КНР присоединилась к Договору АСЕАН о дружбе и сотрудничестве[52], а также подписала с АСЕАН Совместную декларацию о стратегическом партнерстве ради мира и процветания[53].

В 2001 году КНР вступила во Всемирную торговую организацию, и в том же году в Шанхае был проведен очередной саммит АТЭС. Китай познавал ценность многосторонней дипломатии и активнее использовал ее. Принципиально новым моментом стали усилия Китая по *созданию* ранее не существовавших многосторонних механизмов, в которых сама *КНР могла бы претендовать на положение одного из лидеров.* Наиболее крупной инициативой такого рода и было формирование Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на базе «шанхайской пятерки», учрежденной при активном участии Китая в 1996 году[54].

Секретариат этой организации находится в Пекине, подчеркивая тот финансовый и политический вклад, который Китай вносит в ее деятельность. Активизация внешней политики Китая на центральноазиатском направлении играла вспомогательную роль, но вскоре этот вектор приобрел самостоятельную ценность. С начала создания ШОС была ориентирована на противодействие терроризму, религиозному экстремизму и сепаратизму (в лексиконе Китая — «три силы зла» — *«сань гу*

шили»). Но в 2003 году премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао на встрече глав правительств ШОС выступил с инициативой создать на базе организации зону свободной торговли в регионе.

Изменился подход Пекина к проблемам Корейского полуострова. Прежде Китай заступался за КНДР как младшего партнера в ее конфликте с США. Но по мере перехода северокорейского руководства к проведению все более вызывающей политики в ядерном вопросе позиция Пекина стала ужесточаться. Летом 2003 года КНР приостановила нефтяные поставки в КНДР, давая понять, что поддержка Пхеньяна Китаем не безусловна. Китай не становился на позицию Вашингтона в американо-северокорейском споре, но систематически воздействовал на Северную Корею, побуждая ее к разумной гибкости. В апреле 2003 года в Пекине прошли трехсторонние переговоры КНР, КНДР и США, которые в августе трансформировались в шестисторонние. Преобладающее влияние Китая на всю дальнейшую работу «шестерки» в литературе никем не оспаривается.

Действия в отношении КНДР в целом вписывались в принятую на вооружение Китаем в середине 1990-х годов «доктрину партнерств», суть которой заключалась в налаживании «одинаково близких» отношений с широким кругом стран мира при исключении «чрезмерного сближения» с какой-либо одной из них[55]. Такую линию в Пекине считали инструментом содействия развитию многополярности[56].

В зависимости от значения тех или иных государств, а также от их готовности помогать Пекину в реализации его целей, партнерству с каждой страной присваивался определенный предикатив, служивший показателем статуса партнера с ней. Скажем, отношения с Россией в этой иерархии с 1994 по 2001 год эволюционировали от «конструктивного партнерства» *(цзяньшисиндэ хобань гуаньси)* до «партнерства стратегического сотрудничества» *(чжаньлюэ хэцзо хобань гуаньси)*. На этом процесс не остановился. После подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве в июле 2001 года отношения двух стран стали именоваться «добрососедскими партнерскими отношениями стратегического взаимодействия, направленными в XXI век» *(мяньсян ерши и шицзе ди мулинь юхао чжаньлюэ сецзо хобань гуаньси)*[57].

В 1996–1997 годах Китай установил партнерские отношения разного уровня с Индией, Пакистаном, Францией, Великобританией, Европейским Союзом, Республикой Корея и Японией. «Добрососедское партнерство взаимного доверия» с АСЕАН в период с 1997 по 2003 год выросло в «стратегическое партнерство во имя мира и процветания»[58].

Идея ограниченного непровоцирующего балансирования Соединенных Штатов определяет политику Пекина в отношении Вашингто-

на. Этот подход получил воплощение в словосочетании «конструктивное стратегическое партнерство», о существовании которого в отношениях Китая с США было объявлено в октябре 1997 года на китайско-американском саммите в Вашингтоне. Китайские аналитики провели переоценку собственных недавних прогнозов о «неспособности» США быть гегемоном АТР. По словам директора Института американских исследований Академии общественных наук КНР Ван Цзиши, они стали более осмотрительно поговаривать о том, что в старой формуле «одна сверхдержава и много сильных держав» «сверхдержава оказалась более сверх, чем ожидалось, а многие сильные державы оказались не так сильны, как хотелось бы»[59]. Идея жесткого противостояния Америке не находила в Пекине достаточного числа сторонников. Сближение Китая с Россией на рубеже нового века не выглядело в целом направленным против США, поскольку параллельно с ним происходило интенсивное развитие китайско-американских отношений, прежде всего экономических.

Процесс поиска «нового равновесия» китайских внешнеполитических предпочтений, выражавшийся, в частности, в стремлении поддерживать партнерские отношения одновременно с США и Россией, привлекал особое внимание исследователей. Он проходил на фоне смены поколений руководящих слоев китайской элиты. «Прибывающий эшелон» китайских лидеров в силу возраста не испытал влияния эпохи советско-китайского «братания» 1950-х годов. На этом основании западные эксперты предрекали ему потенциально более прозападные симпатии[60].

3 ноября 2003 года на пленарном заседании Боаосского форума[61] известный общественный деятель, бывший крупный партийный функционер Чжэн Бицзян высказал идею «мирного подъема» *(хэпин цзюйци)* Китая. В силу непривычно откровенно выраженной мысли о стремлении КНР к «восхождению» — хотя бы и мирному, эта речь привлекла большое внимание — прежде всего иностранных обозревателей, которые сочли ее санкционированной ЦК КПК и потому отражающей официальную точку зрения китайского руководства. Такое впечатление усилилось после того, как Чжэн Бицзян повторил свою идею в нескольких выступлениях и публикациях в печати. Руководство страны как будто «обкатывало» новую внешнеполитическую концепцию, прежде чем придать ей официальный статус. В самом деле, с конца 2003 года термин «мирный подъем» стали употреблять ведущие фигуры Политбюро КПК[62]. Осенью 2005 года соответствующая статья Чжэн Бицзяна была опубликована в американском журнале «Форин афферз»[63].

Суть «концепции мирного подъема» сводилась к трем утверждениям. Во-первых, стратегия КНР состоит в обеспечении условий для мирного возвышения страны посредством самостоятельного следования по

пути социализма с китайской спецификой *(цзяньли ю Чжунго тэсэдэ шэхуэйчжуи)* при участии в экономической глобализации, а не в самоотстранении от нее. Во-вторых, несмотря на стремление опираться прежде всего на собственные силы, Китай нуждается в мирном международном окружении. В-третьих, подъем, к которому стремится КНР, будет исключительно мирным: Пекин отвергает путь агрессии и внешней экспансии.

При этом развивались более конкретные и по-своему интригующие идеи преодоления старой индустриальной модели развития китайской экономики, необходимости построения ресурсосберегающей модели хозяйства, модернизации устаревшей модели социального контроля, построения «гармоничного социалистического государства», укрепления демократических институтов и принципов верховенства закона. Китай заявлял о намерении реализовать свои национальные задачи *в рамках существующей системы международных отношений с позиций инсайдера, а не аутсайдера, как это было долгие годы после создания КНР.* «Если Китай осуществит подъем внутри системы, вместо того чтобы стремиться к ее фундаментальной трансформации, у него будет не только больше влияния на процесс ее формирования в будущем, но и больше возможностей обеспечить мирную природу этого подъема», — писали китайские ученые[64].

На Девятом саммите АСЕАН в октябре 2003 года была подписана декларация о создании к 2020 году в регионе новой интеграционной группировки «Восточноазиатского сообщества». Она должна включать в себя Сообщество безопасности АСЕАН, Экономическое сообщество АСЕАН и Социально-культурное сообщество АСЕАН. Китай поддержал эту инициативу и предложил подумать о создании Восточноазиатского сообщества безопасности параллельно с созданием Сообщества безопасности АСЕАН на принципах взаимодополняемости. Была также оглашена мысль о создании Организации безопасности Восточной Азии (EASCO), за основу которой предлагалось взять АРФ[65]. Китай приветствовал участие в EASCO Соединенных Штатов, но мягко возражал против вступления туда Индии и Пакистана, указывая на целесообразность — ввиду географической близости — вступления этих государств в ШОС[66].

В 2004 году в исследовательском сообществе КНР осторожно зазвучали тезисы о необходимости:

1) создать на базе шестисторонних переговоров по корейскому вопросу постоянный механизм военно-политического диалога Китая, России, Соединенных Штатов и Японии;
2) подписать китайско-американский договор о стратегических намерениях.

Как отмечали исследователи, «Китай уже имеет партнерские отношения с Россией и Японией, и они гарантируются двусторонними соглашениями. Между Китаем и Соединенными Штатами, однако, не существует ни стабильного партнерства, ни гарантирующего его двустороннего соглашения. В свете этой ситуации непосредственной задачей региональной стратегии безопасности Китая и важной целью развития китайско-американских отношений является формирование стабильного и конструктивного партнерства Китая и США, которое гарантировалось бы соответствующим соглашением»[67].

Аналитики отмечали, что в начале 2000-х годов КНР ни в теории, ни на практике не стремилась «выдавить» Соединенные Штаты из региона. Китай скорее старался заполнить своим присутствием любые едва намечавшиеся «ниши» в регионе прежде, чем их могли попытаться заполнить США. Пекин по-своему стремился сам целенаправленно «уплотнять» региональное пространство, не давая ему быть «рыхлым» настолько, чтобы США могли приобрести в нем новые позиции.

Не пытаясь противостоять Вашингтону, КНР в основном была сосредоточена на минимизации способности и желания Соединенных Штатов заниматься «систематическим сдерживанием» Китая — во всяком случае, в том, что не касалось китайско-тайваньских отношений. В определенной степени политика Китая в отношении Соединенных Штатов может быть понята как «зеркальное отражение» политики самих США в отношении Китая.

Соединенные Штаты не были приглашены в декабре 2005 года к участию в учредительном саммите Восточноазиатского сообщества, поскольку не выказали готовности подписать Договор о дружбе и сотрудничестве с АСЕАН, являющийся обязательным условием для участия[68]. Тем не менее, несмотря на то что США не участвуют в построении Восточноазиатского сообщества, Пекин стремится вовлечь их в данную структуру, полагая, что это позволит в какой-то мере «связать» активность Вашингтона и нейтрализовать его потенциально неблагоприятные для Пекина интенции. Это, строго говоря, политика «интеграции и вовлечения» наоборот: Китай применяет к США ту же формулу, что около двух десятилетий назад в Америке изобрели применительно к отношениям с Китаем.

Малые и средние страны региона в целом терпимо относятся к внешней политике КНР. Они уже начинают приучаться к мысли о том, что экономический подъем КНР дает им экономические выигрыши, а потенциальные угрозы для их безопасности со стороны Китая пока практически отсутствуют. Сегодня вряд ли найдется хоть одно восточноазиатское государство, которое рискнуло бы «безоглядно» поддержать какие-либо анти-

китайские шаги Вашингтона, впрочем, как и антиамериканские акции КНР. Никто не готов выбирать между Пекином и Вашингтоном.

Не без учета улучшения американо-индийских отношений[69] Пекин начал активнее развивать отношения с Дели. В 2003 году состоялся визит премьер-министра Индии Атала Бехари Ваджпайи в Пекин, в ходе которого были подписаны Декларация о сотрудничестве и кодифицировано соглашение о существующей «линии контроля» вдоль границ двух стран. Это было шагом к итоговому соглашению о прохождении линии 4500 км границы, остающейся спорной уже более тридцати четырех лет[70]. В ходе ответного визита в Индию премьера Госсовета Вэнь Цзябао в апреле 2005 года стороны договорились о формировании «стратегического партнерства» и обязались вести регулярный диалог по вопросам безопасности на уровне вице-премьеров. Китай поддержал просьбу Дели о предоставлении ей статуса наблюдателя в ШОС и неформально высказался в пользу стремления Индии стать постоянным членом Совета Безопасности ООН[71].

Позиции Китая и России по многим международным вопросам сегодня близки или совпадают. Российская Федерация — главный поставщик военной техники и технологий для военной модернизации КНР. Обе стороны регулярно заявляют об отсутствии у них стремления создать какой бы то ни было блок. Китайское руководство исходит из того, что между Россией и КНР должна существовать «разумная дистанция», сочетающаяся с взаимным уважением интересов друг друга. При этом ни одна из сторон не должна пытаться играть на трениях или разногласиях, которые могут периодически у каждой из них возникать с Соединенными Штатами[72].

Исходно китайская сторона неформально настаивала на видении Шанхайской организации сотрудничества как потенциальной военно-политической организации. Однако, судя по публикациям и выступлениям, адресованным американской аудитории, китайские публицисты иногда стремятся создать впечатление о том, что на «милитаризации ШОС» настаивает Россия. Высказывания отдельных высокопоставленных российских военных о ШОС как организации, потенциально способной уравновешивать присутствие стран НАТО в регионе, вызывают негативную реакцию китайской стороны. КНР нетерпима даже к предположениям о противостоянии с США — коалиционном или самостоятельном[73].

Политика КНР в отношении России носит прагматический и «инструментальный» характер. Прежде всего она подчинена задачам сохранить прочные отношения с Москвой как «стратегическим активом» китайской внешней политики, исключить вероятность ослабления «тылов» Китая на севере и северо-западе, сохранить возможность коррек-

тировки своих отношений с Вашингтоном при помощи дозированного и избирательного сотрудничества с Россией по конкретным крупным мировым проблемам и, наконец, обеспечить благожелательно-нейтральное отношение России к попыткам Пекина обеспечить себе доступ к энергетическим ресурсам и рынкам стран Центральной Азии. Нет ощущения, что прагматизм китайских интересов понимается в Российской Федерации в полной мере.

Возможно, самой России имеет смысл размышлять не только в рамках логики ограничения роли США в Центральной Азии, но и поиска возможностей использования американского присутствия как средства сохранения возможности в будущем выбирать между разными сценариями и конфигурациями политических партнерств в интересах укрепления региональной стабильности. Не исключено, что эвентуальное участие США в ШОС в том или ином качестве (например, наряду с Индией, Пакистаном и Ираном) обогатит набор возможностей, которыми располагает российская дипломатия.

КНР сделала выбор в пользу партнерства, а не соперничества с Соединенными Штатами. Китай научился терпимости в отношении военно-политических союзов США в Восточной Азии, рассудив, что само их наличие успокаивает малые и средние страны региона, уменьшая их подозрения в отношении мощи КНР.

На английском языке (то есть в расчете на «внешнее потребление») китайские аналитики высказывают порой весьма любопытные мысли. Некоторые полагают, что до той поры, пока Соединенные Штаты прямо не угрожают интересам Пекина, Китай может мириться с их ролью «державы-гегемона». Китайской Народной Республике нет необходимости, утверждают китайские специалисты, противодействовать США «из принципа». Следует только сотрудничать с другими странами ради ограничения «гегемонистского поведения» Соединенных Штатов, когда те действуют против международных норм[74]. Интересна и другая мысль. В мае 2006 года профессор Академии военных наук, генерал-майор НОАК Чжан Шипин на проводившейся в Китае международной конференции заявил: «Уже в течение достаточно длительного времени Соединенные Штаты одержимы гегемонистскими устремлениями. Будет совсем неплохо, если они взвалят на свои плечи добавочный груз и сделают больше для всего мира»[75].

В целом можно «реконструировать» приблизительно следующую шкалу внешнеполитических приоритетов КНР:

1) обеспечение условий для сохранения внутриполитической стабильности;

2) мирное воссоединение с Тайванем, которое не исключает использования силы как крайней меры;
3) содействие росту и развитию соседних государств, включая, по всей видимости, Россию, и нейтрализация их опасений *(фулинь, мулинь, аньлинь — богатый сосед, дружественный сосед, спокойный сосед);*
4) сотрудничество, а не конфронтация с Соединенными Штатами.

Насколько можно судить, в настоящее время МИД и Министерство обороны КНР пришли к согласию относительно того, что задачи экономического развития в среднесрочной перспективе важнее задачи «воссоединения родины», сотрудничество с США важнее соперничества с ними.

Подобная схема внешнеполитических предпочтений способствует улучшению международной репутации Китая. В американском экспертном сообществе стали появляться точки зрения о том, что Западу надо всерьез задуматься не над «сдерживанием» КНР, а над «приспособлением» к росту его влияния. Известный американский политолог и журналист Фарид Закариа на страницах еженедельника «Newsweek» не постеснялся написать о том, что ради интересов собственного процветания Соединенным Штатам «придется приспособиться к подъему Азии во главе с Китаем»[76].

За минувшие с событий на площади Тяньаньмэнь почти 20 лет внешняя политика Китая вылилась в «стратегию глобального добрососедства», в рамках которой КНР стала опираться на региональных партнеров для получения глобальных преимуществ. Пекин не ломает действующий международный порядок, а встраивается в него, попутно пытаясь — гибко, неконфронтационно, но энергично — приспосабливать его под себя. В этом смысле китайскую политику можно также назвать «стратегией профилактики внешних угроз». Она направлена на предупреждение вызовов национальным интересам КНР посредством углубления сотрудничества с государствами, потенциально способными представлять угрозу.

Китай видит себя державой статус-кво, полагая, что в роли ревизионистской державы в современном мире выступают США. При этом Пекин положительно оценивает эволюцию мира предположительно в сторону более равномерного распределения политико-силовых и экономических ресурсов в рамках мировой системы. С учетом этого ожидать от Китая резких, деструктивных шагов на международной арене в обозримой перспективе во всем, за исключением ситуации вокруг Тайваня, нелогично. Китайско-тайваньский диалог — самое уязвимое место китайской внешней политики. Без решения проблемы Тайваня Китай не мыслит свое политическое и геополитическое будущее.

С политико-психологической точки зрения, Пекин вполне освоился с ролью «ответственной» великой державы, избавившись как от комплексов «жертвы истории», так и от «тяньаньмэньской травмы». КНР спокойно строит отношения с великими державами и малыми региональными партнерами, сравнительно легко уступая последним по второстепенным вопросам. В этом отношении Китай стремится стать «нормальным» государством, действия которого встречают понимание в мире: ведь КНР становится все более чувствительным к мнению международного сообщества. Скорее всего, реагируя на неуместно нарочитые «опасения» других стран, руководство Китая отказалось от использования формулировки «мирный подъем», осторожно заменив его во второй половине 2004 года в официальном лексиконе термином «мирное развитие» (*хэпин фачжань)*. Для описания международного статуса КНР с 2006 года была предложена причудливая, но по-своему «арифметически точная» формулировка *«ответственная развивающаяся великая держава» (фуцзэжэньди фачжаньчжун даго)*[77].

Внешнеполитические ресурсы Китая все еще ограничены и сконцентрированы на относительно немногих приоритетных направлениях. Его дипломатия носит в основном региональный характер, приобретая черты глобальности по мере возрастания общемировой роли самого региона Восточной Азии.

Проблема России как ближайшего соседа КНР отчасти заключается в том, что рост комплексной мощи Китая и сопровождающее его объективное увеличение давления (политического, экономического, военного, демографического) на глобальную инфраструктуру не всегда могут контролироваться из Пекина. Возможны не только управляемые, но и самопроизвольные конфликты, которые могут существенно осложнить российско-китайские отношения и ситуацию в дальневосточных частях Российской Федерации.

Примечания

[1] В конце 1990-х годов его принцип попытался сформулировать А. Д. Богатуров. См.: *Богатуров А. Д.* Великие державы на Тихом океане: История и теория международных отношений в Восточной Азии после Второй мировой войны. 1945–1995. М.: Сюита, 1997; *Он же.* Среда против лидеров. «Пространственная структура» самоорганизации международных отношений в Восточной Азии // Богатуров А. Д., Косолапов Н. А., Хрусталев М. А. Очерки теории и политического анализа международных отношений. М., 2002. С. 266–282. В дальнейшем А. Д. Воскресенский укрупнил и развил логику этого подхода, дав ему название «пространственно-структурного». См.: *Воскресенский А. Д.* «Большая Восточная Азия»: Мировая политика и энергетическая безопасность. М.: ЛЕНАНД, 2006.

[2] Не завершившийся и сегодня, «китайский бум» в американской литературе начался приблизительно в 1993 году со статьи: *Aaron L. Friedberg.* Ripe for Rivalry: Prospects for

Peace in a Multipolar Asia // International Security. 1993/94. Winter. Vol. 18. No 3. P. 5–33. В ней были впервые четко сформулированы предположения о возможности превращения КНР в главного геополитического соперника США в Азии или даже в мире. Эта тема была живо подхвачена и развернута другими: См. также: *Simon S. W.* East Asian Security: The Playing Field Has Changed. Asian Survey. 1994. Vol. 34. No 12. P. 1047–1063; *Ross R. S.* The Geography of the Peace: East Asia in the Twenty-First Century // International Security. 1999. Spring. Vol. 23. No 4. P. 81–118; The Changing Asian Political-Military Environment / Zalmay Khalilzad (ed). The United States and Asia: Toward a New US Strategy and Force Posture. RAND, 2001; *Dittmer L.* East Asia in the "New Era" // World Politics. World Politics. 2002. October. No 5; *Ayson R.* Regional Stability in the Asia-Pacific: Toward a Conceptual Understanding. Asian Security, Vol. 1. No 2.

Из публикаций 2000-х годов на эту тему интереснее других следующие: *Kang D.* Getting Asia Wrong: the Need for New Analytical Frameworks // International Security. 2003. Summer. Vol. 27. No 4. P. 57–85; *Kang D.* Hierarchy, Balancing, and Empirical Puzzles in Asian International Relations // International Security. 2003/04. Winter. Vol. 28. No 3. P. 165–180; *Acharya A.* Will Asia's Past Be Its Future? // International Security. 2003/04. Winter. Vol. 28. No 3. P. 149–164.

Тему международной роли КНР анализируют и китайские авторы, которые, в отличие от американских коллег, предпочитают оценивать перспективы соперничества Китая с другими странами, прежде всего США, с предельной осторожностью. См., например: Добяньчжуи юй дунъя хэцзо (Многосторонность и сотрудничество в Восточной Азии) / Цзинь Цаньжун, Ли Цинцзянь, Хун Дахуэй (ред.). Пекин: Дандай шицзе чубаньшэ, 2006. Безусловно, список работ отечественных и особенно зарубежных авторов можно легко продолжить.

[3] В 2006 году население Китая составило, по западным оценкам, 1314 млн чел. // CIA World Factbook 2006. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.cia.gov.

[4] Что составляет впечатляющий контраст со средними темпами ежегодного прироста ВВП государств «индустриального Севера» в 3–3,5% — в среднем 3% для США и 4% для Японии.

[5] CIA World Factbook 2006. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.cia.gov.

[6] *Бергстен Ф., Гилл Б., Ларди Н., Митчелл Д.* Китай: Что следует знать о новой сверхдержаве. М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2007. С. 122–123.

[7] Сообщение агентства «Синьхуа» от 4 марта 2006 года.

[8] В 2005 году этот показатель для КНР составил 1700 долларов (в США — в 25 раз больше). Характерна в этом смысле аргументация американских авторов: *Segal G.* Does China Matter? // Foreign Affairs. 1999. September/October. Vol. 78. No 5.

[9] CIA World Factbook 2005. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.cia.gov.

[10] Задача преодоления этого разрыва была провозглашена бывшим председателем КНР Цзян Цзэминем в своем итоговом докладе на XVI всекитайском съезде КПК. См.: Документы XVI всекитайского съезда коммунистической партии Китая (официальный русский перевод). Пекин: Вайвэнь чубаньшэ, 2002. С. 23.

[11] *Ху Аньган.* Чжунго: Синь фачжаньгуань (Китай: Новый взгляд на стратегию развития). Ханьчжоу: Чжэцзян жэньминь чубаньшэ, 2004. С. 201.

[12] Цай хэпин, фачжань, хэцзо ди цичжи ся: Чжунго чжаньлюэ цзиюйци ди дуйвай чжаньлюэ цзуншу (Под знаменем мира, развития и сотрудничества: Обзор внешнеполитической стратегии Китая в эпоху стратегических возможностей) / Чжэнь Бицзян (ред.). Пекин: Чжунгун чжунян дан сяо чубаньшэ, 2005. С. 3.

[13] Подробнее об этой, а также о других проблемах экономического развития КНР см.: *Портяков В. Я.* От Цзян Цзэминя к Ху Цзиньтао: Китайская Народная Республика в начале XXI века. М.: Институт Дальнего Востока РАН, 2006. С. 83–139.

[14] *Wu Xinbo.* Four Contradictions Constraining China's Foreign Policy Behavior / Suisheng Zhao (ed.). Chinese Foreign Policy. Pragmatism and Strategic Behavior. New York: East Gate Book, 2004. P. 58–65.

[15] *Kugler J. and Organski A. F. K.* The Power Transition: a Retrospective and Prospective Evaluation / Manus I. Midlarsky (ed.). Handbook of War Studies. Ann Arbor: University of

Michigan Press, 1989. P. 174; *Shambaugh D.* Containment or Engagement of China? Calculating Beijing's Responses // International Security. 1996. Autumn. Vol. 21. No 2. P. 187.

Мнение американского исследователя подтверждается официальными документами внешней политики КНР. В них существующий мировой порядок в самом деле именуется «несправедливым и неразумным». См.: Документы XVI всекитайского съезда Коммунистической партии Китая... С. 63. Сходного мнения придерживается А. Д. Воскресенский: «Вступление КНР в ряды экономических супердержав действительно может поставить под вопрос существующий мировой экономический порядок, хотя бы потому, что Китай всегда был стороной, страдавшей от структурно-экономического лидерства Запада и никогда не скрывавшей своего недовольства прошлым и настоящим положением дел». См.: *Воскресенский А. Д.* Китай на восходящей // Международные процессы. 2004. Май—август. Т. 2. № 2 (5). С. 26.

[16] Grand Strategies in War and Peace / Paul Kennedy (ed). New Haven: Yale University Press, 1991.

[17] *Е Цзычэнь.* Чжунго да чжаньлюэ: Чжунго чэнвэй шицзе дагодэ чжуяо вэньти цзи чжаньлюэ сюаньцзэ. (Большая стратегия Китая: Главный вопрос и стратегический выбор превращения Китая в великую мировую державу). Пекин: Чжунго шэхуэй кэсюэ чубаньшэ, 2003. С. 2–3; Ван Ичжоу. Мяньсянь ерши и шицзе ди чжунго вайцзяо: Сань чжун сюйцю ди сюньцю цзи ци пинхэн. (Дипломатия Китая в перспективе XXI века: Поиск решения трех задач и их равновесие) // Чжаньлюе юй гуаньли (Стратегия и управление). 1999. № 6.

[18] По смыслу к «большой стратегии» близко и китайское понятие «комплексной государственной мощи» (*цзунхэ голи),* под которой понимается «комплекс силы и влияния суверенного государства в экономической, военной, научно-технической и ресурсной сферах». См.: Шицзе чжуяо гоцзя цзунхэ голи пингу (Оценка комплексной государственной мощи мировых держав) // Цюаньцю чжаньлюэ дэ гэцзю (Глобальная стратегическая архитектоника. Международное окружение Китая в новом веке). Пекин: Шиши чубаньшэ, 2000. С. 3. См. также: *Yan Xuetong.* The Rise of China and Its Power Status // Chinese Journal of International Politics. 2006. Vol. 1. P. 5–33.

[19] *Мэнь Хунхуа.* Гоуцзянь Чжунгодэ да чжаньлюэ дэ куанцзя (Формирование контуров большой стратегии Китая). Пекин: Бэйцзин дасюэ чубаньшэ, 2005; *Пэн Пэн.* Хэпин цзюэци лунь — Чжнго чунсу даго чжилу (Концепция мирного возвышения Китая — путь к восстановлению Китая как великой державы). Гуанчжоу, 2005. В российской литературе обзор мнений китайских аналитиков о будущем «большой стратегии Китая» дан в статье Я. М. Бергера «Большая стратегия Китая в оценках американских и китайских исследователей» (Проблемы Дальнего Востока. 2006. № 1).

[20] Цзян Цзэминь лунь ю Чжунго тэсэ шэхуэйчжуи <чжуань ти чжайбянь> (Цзянь Цзэминь о социализме с китайской спецификой: Сб. тематических высказываний). Пекин: Чжунъян вэньсянь чубаньшэ, 2002. С. 520.

[21] *Yong Deng.* The Chinese Conception of National Interests in International Relations // The China Quarterly. 1998. June. No 154. P. 327. Юн Дэн является профессором Военно-морской Академии США. На условиях анонимности он цитирует высокопоставленного чиновника внешнеполитического истеблишмента КНР.

[22] *Qimao Chen.* New Approaches in China's Foreign Policy: the Post-Cold War Era // Asian Survey. 1993. March. Vol. 33. No 3. P. 240–241. Чэнь Цимао является председателем академического совета близкого к МИД КНР Шанхайского института международных исследований, оценки которого практически всегда совпадают с официальной позицией руководства КНР.

[23] В отношении новых государств Центральной Азии, граничащих с КНР, как и в случае с другими государствами СНГ, Китай попутно решал и еще одну задачу, о которой не так часто говорят исследователи: стремление заполнить «дипломатический вакуум» на постсоветском пространстве и не допустить установления дипломатических отношений новых государств с Тайванем — российский исследователь В. А. Корсун удачно назвал эту политику «борьбой за постсоветское наследство». См.: *Корсун В. А.* Внешняя политика Китая на пороге XXI века. М.: МГИМО, 2002. С. 27–55.

[24] Следует сразу оговориться, что концепция «многополярности» являлась для Пекина, скорее, нормативной истиной, «должным», а не «сущим» — что традиционно для взгляда КНР на глобальные вопросы (как уже отмечалось выше, в региональных вопросах, непосредственно затрагивавших его национальные интересы, Пекин проявлял гораздо больше прагматизма), то есть поскольку движение к многополярности отвечает интересам Китая, Китай считает эту тенденцию объективной. Однако в рамках данной работы некритическое восприятие внешнеполитических максим китайского истеблишмента представляется допустимым и не вызывающим аналитического искажения. О теоретических взглядах сообщества международников на проблемы многополярности, во многом оказавшихся пророческими, см.: *Deutsch K. W. and Singer J. D.* Multipolar Power Systems and International Stability; *Rosecrance R. N.* Bipolarity, Multipolarity and the Future / James N. Rosenau (ed.). International Politics and Foreign Policy. 2nd ed. New York: Free Press, 1969. См. также: *Ян Чэнсюй.* Китайская дипломатия в условиях изменчивой и нестабильной международной обстановки // Китай в мировой политике... С. 31–32.

[25] Цит. по: *Suisheng Zhao.* "Beijing's Perceptions of the International System and Foreign Policy Adjustment after the Tiananmen Incident" / Suisheng Zhao (ed.). Chinese Foreign Policy. Pragmatism and Strategic Behavior... P. 142

[26] См., например: *Feigenbaum E. A.* China's Challenge to Pax // Washington Quarterly. 2001. Summer. Vol. 24. No 3. P. 31–43; *Shambaugh D.* Sino-American Strategic Relations: From Partners to Competitors // Survival. 2000. Spring. Vol. 42. No 1. P. 97–110; *Gill B.* Constraining Visions: China, the United States, and World Order, remarks to the US-China Security Review Commission. Washington, D.C., 2001. August 3. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.uscc.gov/tesgil.htm; *Тренин Д. В.* Китайская проблема России. М.: Московский центр Карнеги, 1998. С. 19–21.

[27] *Johnston A. I.* Is China a Status Quo Power? // International Security. 2003. Spring. Vol. 27. No 4. P. 30.

[28] *Goldstein A.* The Diplomatic Face of China's Grand Strategy: A Rising Power's Emerging Choice // The China Quarterly. 2001. December. No 168. P. 835–864.

[29] *Medeiros Evan S. and Fravel M. T.* China's New Diplomacy // Foreign Affairs. 2003. November–December. P 23.

[30] *Swaine M. D. and Tellis A. J.* Interpreting China's Grand Strategy: Past, Present and Future. Santa Monica, CA: RAND, 2000. P. 138.

[31] *Johnston A. I.* Learning versus Adaptation: Explaining Change in Chinese Arms Control Policy in the 1980s and 1990s // The China Journal. 1996. January. No 35. P. 58–59.

[32] *Qimao Chen.* New Approaches in China's Foreign Policy: the Post-Cold War Era. P. 247.

[33] Однако, по мнению некоторых китайских исследователей, эта политика представляла собой «стратагему, а не цель». См.: *Лу Цзянжэнь.* Наньша чжэндуань цзи дуйцэ (Споры вокруг островов Наньша и противодействие им) // Наньша вэньти яньцзю цзыляо (Исследовательские материалы по вопросу островов Наньша). Пекин: Чжунго шэхуэй кэсюэ чубаньшэ, 1995. С. 311.

[34] Объем статьи не позволяет подробно рассмотреть проблему Тайваньского кризиса 1995–1996 годов. Следует отметить, что он был более чем подробно изучен западным аналитическим сообществом — см. монографию Crisis in the Taiwan Straight / James R. Lilley and Chuck Downs (eds.). National Defense University Press, 1997; *Myers R. H. and Zhang J.* The Struggle Across the Taiwan Straight. Stanford: Hoover Institution Press, 2006; *Scobell A.* China's Use of Military Force: Beyond the Great Wall and the Long March. Cambridge University Press. 2003. P. 171–192; *Ross R. S.* The 1995–1996 Taiwan Straight Confrontation: Coercion, Credibility and the Use of Force // International Security. 2000. Autumn. Vol. 25. No 2. P. 87–123. Спектр взглядов на эту проблему (разброс которых весьма узок) китайских специалистов-международников можно найти практически в любой научной или публицистической работе по вопросам национальной внешней политики, изданной в Китае.

[35] *Christoffersen G.* China and the Asia-Pacific: Need for a Grand Strategy. P. 1079.

[36] *Deng Y.* Hegemon on the Offensive: Chinese Perspectives on US Global Strategy // Political Science Quarterly. 2001. Autumn. Vol. 116. No 3. P. 348.

[37] *Goldstein A.* The Diplomatic Face of China's Grand Strategy: A Rising Power's Emerging Choice. P. 836. Суэйн и Теллис называют эту стратегию Китая «расчетливой» (*calculative*). См.: *Swaine M. D. and Tellis A. J.* Interpreting China's Grand Strategy: Past, Present and Future (Santa Monica, CA, RAND, 2000). P. XI.

[38] *Christensen T.* China, the US-Japan Alliance, and the Security Dilemma in East Asia // International Security. 1999. Spring. No 23. P. 49–80.

[39] *Idem.* Great Expectations: Interpreting China's Arrival // International Security. 1997/1998. Winter. Vol. 22. No 3. P. 60.

[40] *Idem.* The Diplomatic Face of China's Grand Strategy: A Rising Power's Emerging Choice. P. 842.

[41] *Medeiros E. S. and Fravel M. T.* China's New Diplomacy // Foreign Affairs. 2003. November–December. P. 32.

[42] *Foot R.* Chinese Power and the Idea of a Responsible State // The China Journal. 2001. January. No 45. P. 15.

[43] Кажется некоторой абсолютизацией тезис о консервации в сознании китайского руководства китаецентричных представлений и о миросистеме в целом. См.: *Корсун В. А.* Китайский мировой порядок: Альтернативная интерпретация исторической трансформации внешнеполитической парадигмы // Китай в мировой политике... С. 173–199. Д. Шамбо, например, пишет прямо противоположное: «Китаецентричной Северо-Восточная Азия не становится. Преждевременно говорить о реставрации "традиционной данни-ческой системы" отношений с Китаем или о том, что Китай становится региональным гегемоном». См.: *Shambaugh D.* The Rise of China and Asia's New Dynamics // D. Shambaugh (ed.). Power Shift: China and Asia's New Dynamics. University of California Press, 2005. P. 65.

[44] *Янь Сюэтун.* Чжунгоде цзюци: гоцзи хуаньцзин пингу (Подъем Китая: Оценка международной среды). Tianjing: Tianjing renmin chubanshe. Тяньцзин: Тяньцзин жэньминь чубаньшэ, 1998. С. 234–236.

[45] *You Ji and Jia Qingguo.* China's Re-emergence and Its Foreign Policy Strategy / Joseph Y. S. Cheng (ed.). China Review, Hong Kong: Chinese University Press, 1998. P. 128.

[46] *Shambaugh D.* China Engages Asia: Reshaping the Regional Order // International Security. 2004/05. Winter. Vol. 29. No 3. P. 69.

[47] Жэньминь жибао. 1997. 28 июля. Подробнее см. статью «отца-основателя» этой концепции Янь Сюэтуна. См.: *Янь Сюэтун.* Синь аньцюань гайнянь юй аньцюань хэцзо гуань (Новая концепция безопасности и новые взгляды на сотрудничество в сфере безопасности). Сяньдай гоцзи гуаньси (Современные международные отношения). 1997. No 3. С. 28–32.

[48] Declaration of the Conduct of the Parties in the South China Sea. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.asean.org/13163.htm.

[49] Joint Declaration of ASEAN and China on Cooperation in the Field of Nontraditional Security Issues. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.asean.org/13185.htm.

[50] Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.asean.org/13196.htm.

[51] Memorandum of Understanding between the Association of Southeast Asian Nations Secretariat and the Ministry of Agriculture of the People's Republic of China. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.asean.org/13214.

[52] Instrument of Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.asean.org/15271.

[53] Joint Declaration of the Heads of State/Government of the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China on Strategic Partnership for Peace and Prosperity. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.asean.org/15265.

[54] На сегодняшний день членами Шанхайской организации сотрудничества являются Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан и Узбекистан.

[55] *Е Цзычэн.* Чжунго шисин даго вайцзяо чжаньлюэ шицзай бисин (Императив проведения Китаем дипломатической стратегии великой державы) // Шицзе цзинцзи юй чженчжи (Мировая экономика и политика). 2000. № 1. С. 1.

[56] *Чжао Ганчжэн.* Даго гуаньси хобань жэ (Отношения с великими державами: «лихорадка партнерств») // Жэньминь жибао. 1998. 21 апреля.

[57] Элосы юй даго чжоубянь гуаньси (Россия и ее отношения с окружающими великими державами) / Фэн Шаолэй, Сян Ланьсинь (ред.). Шанхай: Шанхай жэньминь чубаньшэ. С. 118–119.

[58] *Gill B.* China's Regional Security Strategy / D. Shambaugh (ed.). Power Shift: China and Asia's New Dynamics. P. 252–253.

[59] *Jishi W.* Building a Constructive Relationship / M. Abramowitz, F. Yoichi and W. Jishi (eds.). China–Japan–US: Managing the Trilateral Relationship. Tokyo: Japan Center for International Exchange, 1998. P. 22.

[60] О взглядах этого поколения на международную жизнь и роль Китая в мире см.: *Nathan A., Gilley B.* China's New Rulers, Secret Files. New York, 2003. P. 231–257.

[61] Боаосский форум был создан Китаем в 2003 году и собирает ежегодно на китайском острове Хайнань более 1000 представителей органов власти и предпринимательского сообщества из всех государств АТР. С материалами Форума можно ознакомиться на его официальном сайте: <http://www.boaoforum.org>.

[62] *Вэнь Цзябао.* Цзиньтяньдэ Чжунго ши игэ гайгэ кайфан юй хэпин цзюйцидэ даго (Сегодняшний Китай — великая держава, проводящая политику реформ и открытости и стремящаяся к мирному подъему) // Наньфанван (Обозреватель Юга). 2003. 11 декабря. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.southcn.com/nflr/llzhuanti/hpjq/zyyl/200405100906.htm). Чжунян линдао лунь Чжунго хэпин цзюйци (Руководители Китая обсуждают мирный подъем Китая) // Информационное агентство «Синьхуа». 2004. 26 марта. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://news3.xinhuanet.com/zhengfu/2004-03/26content_1386611.htm; Чжунго хэпин цзюйцилуньдэ юлай (Истоки теории мирного подъема Китая). Zhongguo zhengzhi xue wang, Чжунго чженчжи сюйван. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.cp.org.cn/2233/ReadNews.asp/NewsID=2614&BigClassName=&BigClassID=23&SmallClassID=39&SmallClassName=&SpecialID=33.

[63] *Bijian Z.* China's «Peaceful Rise» to Great-Power Status // Foreign Affairs. 2005. September–October. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.irchina.org/en/news/view.asp?id=397.

[64] *Yunling Z. and Shiping T.* China's Regional Strategy / D. Shambaugh (ed.). Power Shift: China and Asia's New Dynamics... P. 53. Оба автора являются высокопоставленными сотрудниками Института азиатско-тихоокеанских исследований Китайской академии социальных наук.

[65] *Jiangyong L. and Xuetong Y.* Some Tentative Strategic Thoughts on Establishing an East Asian Security Community. Waijiao Shiwu (Дипломатические вопросы). 2004. March. No 17. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.irchina.org/en/news/view.asp?id=369). Лю Цзянюн и Ян Сюэтун являются высокопоставленными сотрудниками Китайского института современных международных отношений, не скрывающего своих связей с Министерством государственной безопасности КНР.

[66] Ibid.

[67] Ibid.

[68] Подробнее см.: *Lam W.* Beijing's Strategy to Counter US Influence in Asia. China Brief. 2005. December 6. Vol. V. Issue 25. P. 1.

[69] *Lai R., Rajagopalan R.* US–India Strategic Dialogue. RAND: Center for Asia Pacific Policy, 2004.

[70] *Shambaugh D.* Return to the Middle Kingdom? / D. Shambaugh (ed).). Power Shift: China and Asia's New Dynamics. P. 35–36.

[71] China Non-commital on Backing India at UNSC // Press Trust of India. 2005. April 12. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.hindustantimes.com/news/181_1316929,0008.htm.

[72] Цай хэпин, фачжань, хэцзо ди цичжи ся: Чжунго чжаньлюэ цзиюйци ди дуйвай чжаньлюэ цзуншу (Под знаменем мира, развития и сотрудничества: Обзор внешнеполитической стратегии Китая в эпоху стратегических возможностей / Чжэнь Бицзян (ред.)... С. 195.

[73] Примером китайской реакции была пресс-конференция посла КНР в России Лю Гучана, в ходе которой он назвал ШОС региональной организацией нового типа, не имеющей военного измерения. Эта пресс-конференция могла быть реакцией КНР на слухи о возможности активизации военного взаимодействия в рамках ШОС. См.: *Блинов А.* Лю Гучан отвечает Юрию Балуевскому // Независимая газета. 2007. 13 августа.

[74] *Yunling Z. and Shiping T.* China's Regional Strategy / D. Shambaugh (ed.). Power Shift: China and Asia's New Dynamics. P. 53.

[75] Цит. по: *Chong-Pin Lin.* Beijing's New Grand Strategy: an Offensive with Extra-Military Instruments // China Brief. 2006. December 6. Vol. VI. Issue 24. P. 4.

[76] *Zakaria F.* What Bush and Kerry Missed // Newsweek. 2004. October 25. P. 13.

[77] *Ван Хайюнь.* Синь синшися Чжунго вайцзяо чжаньлюэ чжундэ гоцзя динвэй (Определение национального статуса во внешнеполитической стратегии Китая в новых условиях) // Шицзе даши юй Чжунго хэпин фачжань (Общая мировая ситуация и мирное развитие Китая). Пекин: Шицзе чжиши чубаньшэ, 2006. С. 78–87.

Глава 23

Ислам как «коллективный игрок»

В течение последних двух десятилетий в мире идет сложный процесс возрастания веса и роли мусульманских государств. Неоднозначность этого явления просматривается как в экономической, так и в политической сферах. Одни мусульманские государства заняли важнейшее место в мировой экономике благодаря гигантским запасам углеводородов, поставляемых в развитые страны. Для стран—экспортеров нефти характерен высокий уровень жизни населения. Напомним, что национальный доход на душу населения Катара превысил аналогичный показатель США. Другие государства, не входя в число ведущих поставщиков энергоресурсов, добились высоких показателей в экономическом развитии. Таким примером может служить Турция.

В то же время целый ряд мусульманских государств относится к числу беднейших. Среди западных аналитиков и некоторых вторящих им отечественных специалистов распространилось мнение об «усугубляющемся отставании» исламского мира от развитой части международного сообщества. При этом исламский мир, как правило, неправомерно ассоциируется лишь с ближневосточным, а то и с арабским миром, хотя в последнем проживает лишь 15% мусульман. Насаждается не соответствующее действительности представление о мусульманских государствах как о непримиримых противниках модернизации и глобализации.

Между тем процессы в исламском мире значительно сложнее и многообразнее. Разрывы в уровнях экономического развития и огромные качественные и стадиальные различия между экономиками мусульманских государств смягчаются — хотя не ликвидируются — интеграционными институтами и различными формами оказания содействия бедным исламским государствам со стороны богатых. Подобную помощь оказывают и западные государства, и международные не-исламские финансовые организации, причем такая поддержка иногда превосходит ту, что исходит от стран исламского мира.

Показательна и сфера политики. С одной стороны, в последние годы (в особенности после 11 сентября 2001 года) исламский мир рассматривается на Западе как источник террористической угрозы или, как минимум, непримиримый антагонист западной цивилизации. С другой — в нем расположены государства, являющиеся ближайшими союзниками Запада (Турция — член НАТО), а именно те страны, с которыми США имеют договоры о тесном сотрудничестве в обороне и безопасности и в которых дислоцированы войска Соединенных Штатов и их союзников.

Между странами исламского мира существуют глубочайшие различия в политических системах, политической культуре, в значимости роли религии в обществе, в правовых нормах и институтах (от господства шариата до господства либеральных норм западного образца). Межгосударственные противоречия, соперничество, нерешенность ряда межгосударственных проблем выплескиваются во вспыхивающие время от времени между исламскими государствами конфликты. Чрезвычайное многообразие этнических групп, населяющих мусульманские страны, предопределяет их соперничество и несовпадение интересов между ними.

Различны те роли, которые играют разные мусульманские государства в системе международного разделения труда, их место в процессе глобализации и те плоды, которые она им приносит. Глубокие структурные диспропорции мусульманского мира дополняют картину его пестрой разнородности. Тем не менее в мире наблюдается тенденция обозначать исламский мир как единый, коллективный субъект международных отношений. Насколько правомерна такая постановка вопроса?

Вопрос о «субъектности» ислама в международной политике

Можно вычленить три основных подхода к «субъектности» ислама в современной системе международных отношений. В рамках **первого** *исламский мир рассматривается в качестве единого коллективного субъекта*, что предполагает существование одного не менее крупного или нескольких контр-акторов. В этой связи возникает вопрос о том, что подразумевается под «исламским миром». В данном контексте он включает в себя:

- страны с мусульманским большинством, позиционирующие себя как исламские (есть отдельные случаи, когда та или иная страна, формально входя в Организацию исламской конференции (ОИК), избегает такого позиционирования, предпочитая выглядеть европейским государством, как Албания, или евразийским, как Казахстан);
- страны со значительным мусульманским населением;

— транснациональные объединения исламских государств (ОИК, Лига исламского мира, Лига арабских государств и др.), национальные мусульманские организации (светские и религиозные) и общины.

В качестве основного контр-актора обычно выступает Запад, хотя две составные части этой антиномии, казалось бы, образованы на основе разных критериев, и вместо Запада следовало бы говорить о христианском или иудео-христианском мире (не используя мало подходящий к анализу современной международной жизни термин «цивилизация»). На самом Западе имеются многочисленные мусульманские общины, роль которых в общественно-политической жизни постоянно возрастает. Тем не менее антитеза «Запад — исламский мир» становится все более привычной, выступая в качестве объекта научных исследований и темы множества международных и национальных проектов. В пользу корректности этой антитезы говорит идеологизированный характер политики основного актора с западной стороны — американских неоконсерваторов.

Сами исламские игроки склонны придерживаться данного подхода. Исходя из этих положений, некоторые из них рассматривали военные акции против талибского Афганистана (2001–2002) или саддамовского Ирака (2003) как акты агрессии против исламского мира. Таким образом, в данной ситуации первый подход используется в качестве инструмента мобилизации.

В рамках **второго подхода** *в качестве самостоятельных акторов выступают вышеназванные государства и транснациональные структуры.* Это позволяет объяснить различия в их позициях, не исключающие и того, что в определенных ситуациях все они могут вместе выступать в качестве контр-актора по отношению к Западу. Однако классификация «исламских акторов» может быть столь дробной, что в конечном счете вообще нельзя будет говорить о сколько-либо значимой их роли в международной политике. Наверное, такой вывод был бы преждевременным, но уже отмеченное наличие глубоких противоречий в исламском мире, безусловно, является чрезвычайно важным фактором.

Достаточно вспомнить, что после Второй мировой войны между исламскими государствами неоднократно вспыхивали кровопролитные войны (одна ирако-иранская война 1980–1988 годов унесла более миллиона человеческих жизней), в то время как на Западе случаев межгосударственных конфликтов с применением военной силы (да и то в ограниченном масштабе) было всего два: война из-за Фолклендских островов (1982) и бомбардировки странами НАТО Югославии (1999).

Отношения между шиитами и суннитами в последнее время все более приобретают характер конфликтных, что усугубляется политикой США по реализации «шиитского проекта» в Ираке и подавлению антизападных шиитских политических сил в треугольнике Иран—Сирия—Ливан.

В рамках **третьего подхода** о роли ислама говорится вне привязки к государственным или негосударственным акторам, поскольку они в своей деятельности руководствуются в основном целями и задачами, имеющими мало общего с религиозными. Кроме того, все они в возрастающей степени становятся частями глобализующегося мирового сообщества, в котором сегодня пока Запад определяет основные правила игры. Здесь *ислам выступает именно как религия, как «цивилизация»*.

При всей разнородности ислам давно пытается выступать в качестве коллективного транснационального политического игрока, во всяком случае, таковым уже стал политический ислам. Так или иначе, все проекты, связанные с данной тенденцией, опираются на заложенную в исламе концепцию *уммы* — сообщества мусульман, в котором стерты все межэтнические и межгосударственные преграды. Сегодня идея всемирной уммы — одна из теоретических основ любого исламистского проекта. В суннитском варианте из нее логически вытекает концепция исламского государства.

Существуют проекты халифатистского характера, среди которых сегодня как наиболее значимый выделяется проект Хизб ат-Тахрир ал-Ислами — ХТИ, или Партия исламского освобождения. Однако халифатизм как религиозно-политическое движение появился сразу же после ликвидации последнего — Османского — халифата в 1924 году, а как религиозно-политическая концепция еще раньше. На самом деле османский халиф имел мало общего с халифами далекого исламского прошлого, когда этот правитель, начиная с первых четырех халифов, царствовавших в арабо-мусульманском государстве после пророка Мухаммада (их называют праведными), объединял всю полноту светской и религиозной власти. С эпохи сельджуков (с XI века) в Аббасидском халифате сложилась система разделения властей *халиф—султан*, при которой первый имел верховную религиозную, а второй — верховную светскую власть. О возрождении халифата в его классическом смысле говорили арабо-мусульманские религиозные реформаторы XIX века, предшественники теоретиков политического ислама нашего времени.

Партия ХТИ, образованная в начале 1950-х годов на базе другого транснационального исламского движения — «Братья-мусульмане» (существует с 1928 года), строит свой собственный глобализм в виде концепции всемирного халифата. Согласно этой доктрине, объединенным миром будет править халиф, руководствующийся в управлении этим ме-

гагосударством нормами государства пророка Мухаммада и четырех «праведных халифов».

Очевидная иллюзорность этих идей не мешает ХТИ последовательно увеличивать число сторонников в различных странах. Партия не является глобальной организацией в структурном плане: ее национальные или региональные ячейки действуют почти автономно, хотя и придерживаются одной и той же идейной ориентации. Сами эти структуры построены по иерархическому принципу. Они напоминают левые и национально-освободительные движения недавнего прошлого, которым часто приходилось действовать (так же как и большинству национальных структур ХТИ) в условиях запрета, то есть нелегально.

Другой пример транснационального действа — ставшие широко известными после 11 сентября 2001 года террористические сетевые структуры, особенно «Аль-Каида». Из-за большого количества литературы по данной проблеме вряд ли стоит останавливаться на них подробно. Но являются ли эти и подобные им примеры свидетельством некоего непримиримого отношения массы мусульман к «модерности», о чем склонны говорить немало аналитиков?

На самом деле это отношение различное у разных групп населения и неоднозначное. «Модерность»[1] почти всегда ассоциируется с Западом, западной культурой. Вспомним в этой связи рассуждения знаменитого идеолога, труды которого вдохновляют большинство исламских радикалов нашего времени, египтянина Сейида Кутба (казнен в Египте при Г. А. Насере в 1966 году).

В книге Кутба «В тени Корана» *джахилийя* (буквально «невежество» — так в арабо-мусульманской традиции называется доисламский, языческий период в арабской истории: тогда арабы еще «не ведали» Бога) интерпретируется следующим образом: она «не какой-либо исторический период, а состояние дел», и человек всегда стоит перед выбором — «ислам или джахилийя»[2]. По представлению Кутба, современные ему развитые индустриальные общества Европы и Америки — такая же джахилийя, что когда-то была в языческой Аравии. Это отвержение современного секуляризма как варварства, но при этом Кутб не отвергает современные науку и технологии.

Еще до Кутба теорию модерности как «новой джахилийи», или «нового варварства», с 1939 года развивал другой влиятельнейший идеолог радикального исламизма — пакистанец Абу-ль-Аля аль-Маудуди, который первым выдвинул идею несовместимости ислама и модерности. Маудуди не принимал не только индийский национализм 1930–1940-х годов (что в принципе было логично для исламиста, хотя в то время общим противником и индуистов, и мусульман был британский колониализм), но

даже в большей степени светский исламский национализм будущего основателя Пакистана Мухаммада Али Джинны — национализм, укорененный в территории, языке и экономических интересах[3]. Для некоторых других идеологов исламского радикализма, в частности, для ученика Маудуди — Абу аль-Хасана Али Надви арабский национализм был единственным исключением[4].

Можно ли интерпретировать это как атаку на «модерность»? И да, и нет. Да — прежде всего потому, что «модерность» всегда увязывается с секуляризмом. А именно он является врагом номер один для тех, кто выступает от имени ислама, видит в нем краеугольный камень культуры своих народов. В ноябре 1998 года Совет Исламской академии правоведения (*фикха*) при Организации исламской конференции принял постановление № 99 (2/11) «О секуляризме», в котором говорится: «Секуляризм представляет собой объективистскую систему взглядов, основанную на принципе непризнания Бога (атеизме), является антагонистическим по отношению к Исламу течением, солидаризуясь с мировым сионизмом и другими разрушительными и все дозволяющими течениями, которые отвергаются Аллахом, Его Посланником (САС[5]) и верующими»[6].

Обратимся в рамках этого дискурса к мыслям известного британского историка религии Карин Армстронг, которая вспоминает в этой связи Великую Западную Трансформацию, начавшуюся в XVI веке и продолжающуюся до сих пор. Эта трансформация принесла с собой «модерность», основанием которой явились *инновация* и *независимость*[7]. Но во многих исламских государствах «модерность» пришла не с независимостью, а с колониальным подчинением, поэтому ассоциируется именно с ним. Даже после завоевания независимости подлинная свобода в этих государствах ограничивалась, а кое-где еще ограничивается имперскими интересами западных держав. А что касается инновации, то в ходе модернизации (понимаемой как трансплантация «модерности») мусульманским странам вследствие исторически сложившегося научного и технологического опережения Запада часто приходилось лишь заимствовать и копировать. Иначе говоря, вместо независимости была зависимость, вместо инновации — имитация. Если для одних «модерность» была благом и освобождением, то для других она обратилась порабощением.

Модернистский секуляризм вызвал реакцию отторжения в виде религиозного фундаментализма. Появившаяся в XX веке воинственная набожность охватила все религии. Исламская революция в Иране явилась в значительной степени реакцией на агрессивно секулярные реформы шаха, подъем исламизма в Египте — на светский национализм Насера. Но и в США до сих не стихают споры вокруг преподавания эволюционной теории. Союз неоконсерваторов и христианских правых в Соединенных

Штатах, как будет подробнее показано далее, создал из исламского мира нового врага. Кроме того, «христианские правые в США выработали свое собственное эсхатологическое видение ближневосточного конфликта, — говорит Армстронг, — при этом их идеологический постулат является и откровенно просионистским, и глубоко антисемитским»[8].

«Исламисты совершили примечательную одиссею — попытку сделать их прошлую цивилизацию, основанную на рамках их исламской культуры, значимой как элемент будущего развития», — пишет один из крупнейших американских специалистов по исламу Грэхем Фуллер[9]. Этой идеей стремятся воспользоваться различные силы — от мракобесов и террористов до наивных романтиков и либеральных исламистов, всех тех, кто хочет соединить универсальные черты современной цивилизации и ее ценности (вплоть до прав человека) с самобытными идеалами исламского наследия. Либерал-исламисты могут выиграть только в том случае, если им удастся, с одной стороны, поддержать и сохранить непреходящие духовные ценности, которые составляют суть человеческой культуры, а с другой — предложить современное прочтение религии, отказываясь от устаревших форм джихада, не совместимых с современностью.

Вредно и ошибочно приписывать исламскому миру якобы присущие ему нетерпимость и неприятие свободы. Если обратиться к мусульманскому историческому наследию, то нельзя не вспомнить о тех поразительных проявлениях свободомыслия и терпимости, которые существовали в нем на протяжении многих веков. Именно их надо считать существом этой цивилизации, а не ту воинственность, которая сегодня появилась в ней как реакция на несправедливость и дискриминацию. К примеру, в Средние века, когда в Европе свирепствовала инквизиция, исламские философы-перипатетики и теологи-мутакаллимы[10] вели открытые споры о том, мог ли мир быть создан Богом из ничего. Тогда некоторые великие арабские и персидские поэты позволяли себе гораздо более смелые нападки на религию, чем те, за которые сегодня преследуют их собратьев, а евреи спасались от преследований, которым они подвергались в Европе, в Арабском халифате.

Посмотрим на высказывания Тарика Рамадана — одного из наиболее популярных и либерально настроенных молодых лидеров исламской общины Европы, профессора Фрибурского университета в Швейцарии, этнического египтянина и внука знаменитого основателя движения «Братьев-мусульман» Хасана аль-Банны. В книге «Ислам, Запад и вызовы модерности» он подвергает критике знаменитого французского писателя XX века Альбера Камю, искавшего в современной цивилизации общие тенденции, породившие тоталитаризм. Камю обнаружил их в древней мифологии и современной литературе и описал в книге

«Мятежник». С чем не согласен Рамадан? С тем, что Камю ограничил свои поиски мифами и литературной классикой Запада, иначе говоря, цивилизация — это только западная культура, но не исламская. А как же тогда можно говорить о единой, универсальной угрозе тоталитаризма? По Рамадану, не существует единой современной цивилизации, а есть много разных цивилизаций. Но, утверждая это, Рамадан становится невольным союзником порицаемого им Сэмюэла Хантингтона. Гораздо более последовательно антихантингтонианство выражено в позиции «одна человеческая культура — много культур».

Известный американский исследователь Пол Берман, автор книги «Террор и либерализм», критикуя одновременно и Рамадана, и Камю, язвительно замечает, что их спор — это не конфликт между швейцарским философом и французским писателем. «Позвольте мне скептически поднять бровь по поводу чистоты культурной идентичности Тарика Рамадана. Сделав так, я хотел бы поднять другую бровь по поводу Камю и его рефлексий насчет цивилизации и ее западных корней. Ведь кто в конечном счете сам Камю? Алжирец, оставивший свою родину и перебравшийся в Париж»[11]. И Берман заключает: заочный диспут двух европейских интеллектуалов — лишь ссора между двумя североафриканцами. Но он, при всем его непонятном недоверии к европейцам североафриканского происхождения (которых американский исследователь как минимум лишает права судить о европейской культуре и выступать от ее имени), находит у Камю и одну чрезвычайно полезную, по его мнению, мысль: тоталитаризм и терроризм это одно и то же. «Если мы начнем искать корни одного, то непременно обнаружим и корни другого».

Вот и ключевая для многих американских аналитиков ***связка между войной против террора и войной за демократию.*** Уже не важно, имел ли Саддам Хусейн оружие массового уничтожения и был ли связан с террористами — необходимость войны за демократию оправдывает дезинформацию.

Территориальность и детерриториальность ислама

В пользу глобальной роли ислама как игрока свидетельствует еще одно обстоятельство. Заметим, что *хиджра* (*араб.* переселение) мусульман на Запад, по мнению многих исламских интеллектуалов и политиков, не просто поиск лучших экономических возможностей. Это — формирование новой псевдоуммы с характерной для нее особой идентичностью. Известный французский исламовед Оливье Руа считает этот процесс проявлением **детерриториализации** ислама. По его мнению, «новая община может быть чисто идеальной (не имеющей других связей помимо веры), может основываться на традиционных групповых свя-

зях (сохраняя эндогамные отношения с семьями, остающимися в стране происхождения), но она всегда действует как реконструкция»[12].

Парадоксально, что новые *мухаджиры* (добровольно или вынужденно переселившиеся) зачастую приходят к выводу, что они могут свободнее исповедовать ислам в не-мусульманской стране, в которую они перебрались жить, чем на своей родине, поскольку царящие там порядки и нравы не представляются чисто исламскими[13]. Тарик Рамадан даже считает, что на Западе мусульманин имеет больше возможностей жить в соответствии со своей религией, чем в большинстве, если не во всех мусульманских странах[14].

Наиболее яркое подтверждение концепции **детерриториализованного ислама** Руа находит в парадоксально перекликающихся с мыслями Рамадана высказываниях лидера противоположной, консервативной части исламской общины Европы — радикала Абу Хамзы, много лет прожившего в Лондоне, а в настоящее время отбывающего срок в британской тюрьме: «Я говорю [мусульманам Запада], что им нужно идти в мусульманскую среду, а не в мусульманскую страну, поскольку в наших странах [откуда мы родом] мы имеем мусульман, но не имеем исламского государства... Я советую мусульманам покинуть эти общества... Мне приходится быть Моисеем в доме Фараона»[15].

Однако можно ли считать такое позитивное отношение к Западу тезисом, одинаково разделяемым фундаменталистами и либералами? Ведь есть и *хиджра* обратно в страны мусульманского мира, хотя ими правят лидеры, порицаемые как радикалами-фундаменталистами, так и либералами (каждыми за разное). Тот факт, что Абу Хамза говорит об *исламской среде*, еще не значит, что все исламские лидеры полагают, будто именно на Западе можно создать подобную среду, а в исламском мире нельзя.

Проявлением транснационального акторства стали и неосуфийские братства, которые создали себе в странах диаспоры базы поддержки. К примеру, в США действует братство накшбандийской ориентации под названием *хаккания*[16]. Оно было основано в 1973 году на Кипре турецким шейхом Назимом Хаккани, а сегодня его возглавляет его зять — шейх Хишам Каббани, выпускник химического факультета Американского университета в Бейруте. Каббани активно поддерживается властями США как лидер умеренного толка, он занимает должность председателя Высшего исламского совета Америки. Несколько лет назад он посещал центральноазиатские государства, в том числе и Узбекистан, но его попытка использовать эту поездку для установления там влияния своего ордена встретила сопротивление местных исламских кругов.

В конце 1970-х годов в США создал свое братство внук основателя сенегальского ордена *тиджанийя* — шейх Хасан Сиссе, которому уда-

лось вовлечь в него немало афроамериканцев. По мнению О. Руа, подобное братство является частью глобальной нео-этничности[17], поскольку ему удалось сформировать трансатлантическую афроидентичность.

Из Ливана в Европу переместилось восходящее своими корнями к *рифаийя* братство *ахбаш*, или Общество исламских благотворительных проектов[18], основанное шейхом Абдаллой аль-Абдари и поддерживаемое Сирией, а также известное своей непримиримой враждебностью к сторонникам политического ислама, особенно «Братьям-мусульманам».

Численность мусульманской общины Европы (без стран СНГ) быстро увеличивается. За последнее десятилетие число мусульман в европейских странах удвоилось, достигнув 23 млн, что составляет примерно 5% всей численности населения (для сравнения: в 1950 году в европейских государствах проживало не более 800 тыс. мусульман). В настоящее время наибольшее число мусульман проживает во Франции (6 из 62 млн), за ней идут Германия (3 из 82 млн), Британия (1,5 из 60 млн), Италия (около 1 из 58 млн), Испания (около 1 из 40 млн). Предполагается, что число мусульман в Европе удвоится к 2025 году, а в 2050-м, по примерным расчетам, достигнет 20% населения. А если добавить население Турции (в настоящее время около 70 млн человек), которая к тому времени наверняка будет членом Евросоюза, мусульманское население Европы будет значительно больше.

С учетом турецкого фактора в обозримой перспективе большинство населения Европы составят мусульмане. Эти расчеты не принимают во внимание некоторые другие обстоятельства, которые могут повлиять на ситуацию, изменив ее как в одну, так и в другую сторону. Это, в частности, (1) динамика прироста (или убывания) немусульманского населения Европы, (2) аналогичная динамика в отношении мусульманского населения, (3) уровень иммиграции новых групп мусульманского населения, (4) возможная иммиграция немусульманского населения (к примеру украинцев), (5) динамика изменения численности населения Турции, (6) возможный отъезд части гастарбайтеров на родину, (7) возможный переход из одного вероисповедания в другое и т.п.

Кроме того, неизвестно, в каком направлении пойдет процесс интеграции мусульманского населения в европейское общество и какой к середине XXI века будет роль религиозных маркеров идентичности, учитывая продолжающийся процесс секуляризации. Нельзя не учитывать и то, что в нынешней Европе существует несколько моделей взаимодействия с иммигрантами: модель ассимиляции (Франция), модель мультикультурализма (Великобритания) и нечто среднее между ними (Германия). В последнем случае иммигранты рассматриваются как временные гости, приехавшие в страну поработать, с тем чтобы в дальнейшем вер-

нуться на родину, и в результате даже представители второго и третьего поколений иммигрантов зачастую не могут получить немецкое гражданство. Не ясно, какая модель восторжествует в будущем объединенном Евросоюзе. Возможно, еще раньше, чем в зарубежной Европе, мусульмане составят большинство населения на постсоветском пространстве.

Парадоксально, что бунты во Франции октября—ноября 2005 года, в которых молодежь из стран Северной Африки была главной движущей силой, не были интерпретированы в исламском мире как выступления «обиженных мусульман» против западного общества. Этого не произошло, несмотря на то что дискриминация этой части населения явилась одной из основных причин, породивших эти бунты. И дело совсем не в том, что в них участвовала не только арабо-мусульманская молодежь, но и выходцы из стран Африки южнее Сахары. В *этих событиях исламский фактор не играл самостоятельной мобилизующей роли*, и этот чисто социальный протест не получил религиозного «обрамления». Нельзя отрицать и важного позитивного значения сдержанности и корректности французских властей, которые сделали все, чтобы не допустить идентификации погромщиков с мусульманами и исламом.

На этом фоне резким диссонансом выглядело столкновение западного и мусульманского миров из-за такого, казалось бы, не потрясавшего основы их взаимоотношений повода, как публикация в сентябре 2005 года в датской газете «Джайлландс постен» (*Jyllands-Posten*) карикатур с изображением Пророка Мухаммада. Бурю возмущения вызвал не столько сам факт публикации, сколько упорство, с которым датские власти отстаивали право печатного органа на свободу слова, подразумевающую право на публикацию подобных материалов, и еще в большей степени перепечатка этих карикатур печатными изданиями других стран. В результате разгоревшегося конфликта была озвучена конфликтная пара: свобода слова *versus* уважение религиозных ценностей. Однако «карикатурная война» *еще не дает повода говорить о существовании непреодолимого цивилизационного разлома*, который будет вечно порождать конфликтность. С течением времени и Запад, и ислам, и весь мир с его системой международных отношений будут динамично меняться, и мы вряд можем точно предсказать как именно. Будет ли расти и усугубляться конфликтность между Западом и исламом?

Проблема демонизации образа ислама

Отцы американской неоконсервативной революции первой половины 2000-х годов способствовали росту радикального ислама, а затем приложили усилия к тому, чтобы сформировать образ ислама/исламского мира как врага Запада. Своей риторикой и реальной политикой

они немало содействовали усилению в нем антизападных тенденций. Напомним, что у истоков неоконсерватизма стояла группа бывших социалистов, троцкистов, леваков и либералов, переметнувшихся к республиканцам в первой половине 1970-х годов[19].

Среди них выделяется колоритная фигура американского публициста Ирвинга Кристола. Перед Второй мировой войной на одной стороне исламско-американской дуги, в Египте, уже активно действовала организация «Братьев-мусульман», а по другую сторону — в троцкистскую Социалистическую лигу молодежи (*The Young People's Socialist League*) в Нью-Йорке в конце 1930-х годов вступил молодой Кристол, в то время энергично сражавшийся с противниками троцкистов в лице просоветских коммунистических молодежных групп. Но в 1960-е бывшие леваки, пережив этап острого разочарования и осознав, что линия их прежних увлечений не имеет политической перспективы, начали поворачивать оружие против своих бывших товарищей. В 1965 году Кристол стал глашатаем неоконсерватизма, выступая на страницах основанного им печатного органа «Общественный интерес» (*The Public Interest*). В автобиографии Кристол писал: «Сколько себя помню, я всегда был нео-чем-нибудь: нео-троцкистом, нео-либералом, нео-консерватором; нео-ортодоксом в религии, даже будучи нео-троцкистом и нео-марксистом. Я собираюсь закончить нео-всем или нео-ничем»[20].

В 1996 году И. Кристол заявил: «То, что нам необходимо после окончания "холодной войны", это очевидный грозный ***идеологический*** (выделено мной. — *В. Н.*) враг, достойный нашего масштаба, такой, который объединил бы нас в противостоянии ему»[21].

Не менее знаковой фигурой стал Лео Страус, в прошлом подвергший острой критике популярную в то время идею «конвергенции» между США и СССР. Обе сверхдержавы он рассматривал как непримиримых антиподов — демократия и тоталитаризм, добро и зло (позднее это легло в основу концепции «империи зла» президента Рейгана). Как заметил французский исламовед Жиль Кепель, «по Страусу, секретность и обман, вместе с силой, являются действенными инструментами лидерства, когда это необходимо для торжества демократии»[22]. В первой половине 1970-х годов[23] в республиканский лагерь переметнулись несколько видных либералов того же направления. «Неоконы» подчинили себе крупный мозговой центр — Американский предпринимательский институт (*The American Enterprise Institute*) и ряд печатных изданий. С 1980 года линия «неоконов» стала неотъемлемой частью политики администрации Рейгана.

В следующем, 1981 году произошло удивительное событие — сложился фактический альянс «неоконов» (и вдохновляемых ими республиканских политиков) с исламскими джихадистами, прибывшими из

разных концов исламского мира сражаться в Афганистане с общим врагом — Советской Армией. Символом этого альянса стал встающий на молитву со «Стингером» за плечами солдат «священной войны» (из арабской страны, Индонезии, Пакистана или даже Западной Европы). Пока это была типичная «война чужими руками» в биполярном мире. Но воинственный джихадистский ислам уже становился актором мировой политики, включившись в глобальную американскую стратегию противодействия коммунизму. Параллельно этому происходило еще одно вторжение ислама в мировую политику — в лице исламской революции в шиитском Иране (1979), но для нее американский сатана был не лучше, а хуже, чем советский. Еще не наступил тот час, когда американский политолог Дэниэл Пайпс укажет пальцем на бывших союзников и скажет: «Враг — это воинственный ислам».

Суть неоконсервативного проекта на международной арене состояла в перекройке мирового порядка по линии **идеологического водораздела**. Повсеместное распространение американской модели демократии любыми средствами, вплоть до военных, было одной из главных задач, провозглашенных неоконсерваторами. Неужели, казалось бы, отжившая и вызывающая у нас аллергию идеологизация на самом деле осознается «неоконами» в качестве императива? Но не далее, как в 2003 году Уильям Кристол (младший) в одном из своих очерков сделал поразительное сравнение: «...крупные нации, имеющие **идеологическую идентичность** (выделено мной. — *В. Н.*), как СССР вчера и США сегодня, неизбежно отстаивают идеологические интересы в дополнение к более материальным заботам. Сталкиваясь с неординарными событиями, США всегда будут чувствовать свою обязанность защищать, как возможно, демократическую нацию от нападения недемократических сил, внешних и внутренних». Израиль в этой схеме рассматривается как главный объект атаки этих враждебных сил и соответственно защиты со стороны США. Прагматичный республиканец и одновременно непримиримый критик «неоконов» Патрик Бьюкэнен по этому поводу язвительно, но справедливо замечает: «Неужто Кристол всерьез верит в то, что мы дали Израилю более 100 млрд долл. и вставали на его сторону в любой драке просто потому, что он является демократией?»[24]

Освобождение Кувейта в 1991 году воодушевило «неоконов», воспринявших это как победу своей линии в ближневосточно-исламском регионе. А подлинным апофеозом их триумфа был распад «империи зла» — СССР. Но почему-то, уже столкнувшись с враждебностью джихадистов, начавших после ухода Советской Армии из Афганистана поворачивать оружие против бывших опекунов, американский истеблишмент еще продолжал заигрывать с радикалами.

В первой половине 1990-х годов исламисты еще могли открыто действовать в США. Основатель подпольной *Джама'а исламийя* в Египте шейх Омар Абдуррахман без проблем въехал в Америку, стал имамом Джерси-сити и угодил в тюрьму лишь после организации им первого нападения на Всемирный торговый центр в феврале 1993 года. В том же году без проблем получил въездную визу в Соединенные Штаты другой известный исламский радикал — Айман аз-Завахири[25], собиравший среди исламских ученых в Силиконовой долине пожертвования на ведение джихада против США. Хотя об этом знали американские спецслужбы, ему не чинили никаких препятствий. Он не был ни арестован, ни депортирован[26].

Конструирование образа исламского врага шло в русле именно идеологического размежевания. При этом, как уже отмечалось, ставился знак равенства между исламским и ближневосточным миром, где действительно находятся его важнейшие «нервные узлы». Для неоконсервативной революции в США проблема стран Ближнего Востока стала одним из главных идеационных и мобилизирующих инструментов. Уже тогда стала развиваться тенденция относиться к региону Ближнего Востока и Центральной Азии как к ареалу этнического и религиозного «беспорядка» (позднее она получила развитие в концепции Большого Ближнего Востока). В начале 1990-х обеспечение безопасности Израиля для американской региональной политики стало более важным приоритетом, чем поддержание союза с саудовской «нефтяной монархией».

26 января 1998 года деятели неоконсервативного направления, входящие в группу под названием «Проект Нового американского столетия», обратились к президенту Клинтону с письмом[27], в котором подвергли резкой критике американскую политику сдерживания Ирака и потребовали принятия стратегии, нацеленной на смещение режима Саддама Хусейна. Только такая стратегия, писали авторы, «лишала Ирак возможности использовать или угрожать использованием оружия массового уничтожения». Поэтому неоконсерваторы уже тогда призывали к односторонним решениям: «Американская политика не должна более быть парализованной дезориентирующим требованием единодушия в Совете Безопасности ООН»[28].

На самом деле идея операции против Ирака возникла еще раньше, в середине 1990-х годов, когда «неоконы» сформулировали стратегию радикального вмешательства в ближневосточно-исламский регион. Для оправдания этой стратегии изобретались все новые аргументы. *Во-первых*, авторы неоконсеративного толка утверждали, что исламские режимы не добились социального прогресса, который позволил бы населению их стран воспользоваться благами глобализации. *Во-вторых*, нема-

ло говорилось о коррупции разжиревших от нефтедолларов авторитарных элит. *В-третьих*, объектом критики выступало отсутствие демократии (причем, по замечанию французского исламоведа Жиля Кепеля, эта критика режимов весьма напоминала ту, с которой выступали левые[29]).

В 1996 году группа «неоконов», недовольная самой логикой «процесса Осло»[30], от имени центра направила их израильскому единомышленнику, одному из лидеров «Ликуда» Биньямину Нетаньяху (он баллотировался в премьер-министры) аналитический документ «Чистый разрыв: новая стратегия обеспечения задачи», предлагавший альтернативную Осло стратегию. На документе стояли подписи связанного с Израилем влиятельного политика Ричарда Перла (заместитель министра обороны США в 1981–1987 годах), Дугласа Фейта (заместитель министра обороны США по политическим вопросам в 2001–2005 годах) и др. Авторы этого документа предлагали не «территории за мир», а «мир за мир»: стратегический альянс с Турцией и Иорданией, право преследования палестинцев на территориях, контролируемых Палестинской администрацией, и меньше зависимости от США. Другие важные рекомендации предлагали Израилю ослаблять, сдерживать и даже «отбрасывать назад» Сирию и руководствоваться стратегией не возмездия, а *преэмтивности*. Не исключалась и возможность восстановления Хашимитской монархии в Багдаде.

Одним из авторов этой стратегии был неоконсерватор Альберт Волстеттер (1913–1997) — советник нескольких президентов США, заявлявший, что военное превосходство имеет ценность только на службе «ясных демократических ценностей». Прежде Волстеттер не признавал доктрину взаимно гарантированного уничтожения США и СССР, а в 1980-х годах всецело поддерживал афганских моджахедов (которые были обязаны именно ему тем, что получили «Стингеры»). Другим разработчиком этой стратегии был бывший заместитель министра обороны США и нынешний президент Мирового банка Пол Вулфовиц[31]. Звезда Вулфовица взошла в 1990 году благодаря «Докладу о руководстве оборонным планированием» (*Defense Planning Guidance Paper*), в котором во главу угла американских интересов в регионе он поставил обеспечение бесперебойных поставок нефти и безопасности Израиля.

В январе 1998 года (более чем за четыре года до 11 сентября 2001 года) президент У. Клинтон получил послание с предложением объявить в его готовящемся обращении к нации свержение режима Саддама Хусейна задачей внешней политики США. Это письмо было подписано Д. Рамсфелдом, П. Вулфовицем, Р. Перлом, У. Кристолом и Дж. Болтоном[32].

Список ближневосточных режимов и организаций, которые Подгорец, Беннет, Ледин, Нетаньяху и отражавшая взгляды политиков и

политологов этого направления газета «Уолл-стрит джорнэл» определили как цели для силового вмешательства, включал Алжир, Ливию, Египет, Судан, Ливан, Сирию, Ирак, Саудовскую Аравию, Иран, движения «Хизбалла» и «ХАМАС», Палестинскую администрацию и «воинствующий ислам» (оставалось несколько лет до 11 сентября, и последняя цель еще не вышла на первое место)[33].

Конструировался образ «империи зла», противостоящей «демократической империи добра» — США. Развитию этого образа способствовала вышедшая в 1993 году книга С. Хантингтона «Столкновение цивилизаций» (*Clash of Civilizations*), в которой исламский мир представал в виде противника Запада. «Месяцеподобный исламский мир имеет кровавые границы...» — пугающе вещал политолог, вовремя заимствовавший идею «столкновения» у Бернарда Льюиса. Концепция цивилизационных столкновений стала дежурным блюдом западной политологии в 1990-х годах. (В России мода на нее не прошла и сегодня.)

В феврале 2004 года Чарлз Краутхаммер триумфально заявил на ежегодном обеде в Американском предпринимательском институте, что американцы создали «самую большую империю в мировой истории». Америка, по его заявлению, не только «однополярная держава», но и «хранитель международной системы»[34]. До сих пор похожий мотив «хранительства» использовался только в титулатуре королей Саудовской Аравии, называющих себя «хранителями двух святынь» (Мекки и Медины). Эта параллель символична, поскольку нынешняя американская империя в качестве одной из своих идейных опор также использует фундаментализм, но только иного, чем у ваххабитов, толка.

Однако после 11 сентября 2001 года у части «неоконов» первое место среди центров исламской угрозы заняла Саудовская Аравия. 10 июля 2002 года Р. Перл пригласил Лорента Муравика (бывшего помощника Линдона Ларуша[35]) провести брифинг в возглавляемом им тогда Бюро оборонной политики, на котором тот сказал, что США должны предъявить саудовцам ультиматум. «Или вы, — подчеркнул Муравик, — преследуете и изолируете всех тех, кто замешан в террористических сетях, включая саудовские спецслужбы, и заканчиваете всякую пропаганду против Израиля, или мы осуществляем вторжение, **захватываем нефтяные месторождения и оккупируем Мекку** (выделено мной. — *В. Н.*)»[36].

К счастью и для США, и для исламского мира, к совету Муравика администрация Дж. Буша-младшего не прислушалась и поход на Мекку не состоялся. Зато произошла оккупация Ирака. Несмотря на то что военная операция по свержению режима Саддама Хусейна была увязана с противодействием международному терроризму, понятно, что эта операция планировалась задолго до 11 сентября 2001 года.

Стремление части американского политического истеблишмента сформировать образ врага Запада в лице всего исламского мира усилило катастрофически недостающую ему для глобальной субъектности консолидацию. Навязчивое стремление распространять в исламском мире демократию и во имя этой цели свергать режимы дискредитировало лозунги демократизации. Такую стратегию мусульманские элиты стали рассматривать как прикрытие для реализации иных целей геополитического характера.

Грэхем Фуллер, говоря о политике США в исламском мире, вообще не упомянул распространение демократии. По его мнению, эта политика сфокусирована на следующих целях:

- обеспечение бесперебойных поставок энергоносителей из региона;
- обеспечение безопасности Израиля;
- нераспространение оружия массового уничтожения;
- борьба с терроризмом;
- предотвращение возникновения любого регионального гегемона[37].

В двойных стандартах американцев стали упрекать не только мусульманские аналитики, но и западные либералы. Главный редактор американского журнала «Ньюсуик» и автор книги «Будущее свободы: нелиберальная демократия дома и за рубежом» Фарид Закариа пишет, что рабство и сегрегация укоренились на американском Юге при демократической системе. «На самом деле, — отмечает Закария, — система Джима Кроу, которая сменила рабство на Юге, была разрушена в 1950–1960-х годах не с помощью демократии, а вопреки ей»[38]. Хотя к настоящему времени некоторые неоконсерваторы покинули свои офисы в администрации, их идеи продолжают вдохновлять республиканскую администрацию.

Можно в целом заключить, что при всей разнородности мусульманских государств и наличия между некоторыми из них глубоких противоречий тенденция к политической консолидации, занятию общих позиций в отношениях с западным миром и совместному отстаиванию интересов там, где это возможно, может несколько усиливаться. И все же в обозримой перспективе коллективное глобальное исламское акторство представляется нереальным.

Примечания

[1] Это тот редкий случай, когда принятому в западных языках термину (англ. *modernite*, фр. *modernité*) трудно подобрать точное соответствие в русском языке. Он может интерпретироваться и как «современный мир», и как «современная цивилизация, культура».

[12] *Кутб Сейид.* Фи Зилал ал-Кур'ан. Сура 5, айяты 44–48. Бейрут, 1962 (на арабском языке).

[3] *Sivan E.* Radical Islam: Medieval Theology and Modern Politics. New Haven and London: Yale University Press, 1990. P. 24.

[4] Op. cit. Ch. 2.

[5] САС — словосочетание, которое в исламских религиозных текстах принято употреблять после упоминания Пророка Мухаммада: салля Аллаху аляйхи ва-саллям (да будут на него благословение и благодать Аллаха).

[6] Постановления и рекомендации Совета Исламской академии правоведения (фикха) / Пер. с арабского М. Ф. Муртазина. М.: Ладомир, 2003. С. 232. В этом же сборнике содержится критика «глобального религиозного модернизма», который представляется «в виде нового идейного течения, основанного на обожествлении разума, отвержении потустороннего мира и непризнании Откровения, течения, направленного на разрушение всего человеческого наследия, связанного с верой, общечеловеческими ценностями и моралью» (Постановление № 100 (3/11). С. 233).

[7] *Armstrong K.* Presentation at the second meeting of the High-level Group // Alliance of Civilizations. Doha. 2006. February 26–28.

[8] Ibid.

[9] *Fuller G. E.* The Future of Political Islam. New York: Palgrave Macmillan, 2003. P. 213.

[10] Восточные *перипатетики* — арабо-мусульманские философы, последователи школы Аристотеля. Их оппонентами были *мутакаллимы* — те, кто занимался каламом, то есть исламской спекулятивной теологией.

[11] *Berman P.* Terror and Liberalism. New York; London: W. W. Norton & Company, 2003. P. 26–27.

[12] *Roy O.* Globalized Islam: The Search for a New Ummah. London: Hurst & Company, 2002. P. 157.

[13] *Athar S.* Reflections of an American Muslim. Chicago: Kazi Publications, 2002. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.islam-usa.com/r8.html.

[14] *Ramadan T.* Les musulmans dans la laicité. Responsibilité et droits des musulmans dans les sociétés occidentales. Lyon: Tawhid, 1994. P. 101. Несмотря на воспеваемую Рамаданом свободу, которой пользуются мусульмане на Западе, ему отказали в выдаче въездной визы в США, куда он был приглашен для чтения лекций.

[15] См.: [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.supportersofshariat.org/eng/abuhamza.html.

[16] *Суфизм* — мистическое течение в исламе, исповедующее идею приближения человека к Богу. *Неосуфийские братства* — те, которые созданы недавно как хакканийя, ахбаш, в отличие от классических, существующих много веков (накшбандийя, кадирийя и др.). *Салафиты* — исламские фундаменталисты, сторонники возрождения «чистого» ислама эпохи ас-салаф ас-салихун — «благочестивых предков» (Пророка Мухаммада и первых четырех «праведных халифов»).

[17] *Roy O.* Op. cit. P. 226.

[18] Один из его лидеров в 1995 году был убит членом салафитской группировки.

[19] Более детальное рассмотрение феномена неоконсерватизма в США не входит в задачи данной главы.

[20] См.: [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.cooperativeindividualism.org/kristolbio.html.

[21] Цит. по: *Buchanan P. J.* Where the Right Went Wrong. How Neoconservatives Subverted the Reagan Revolution and Hijacked the Bush Presidency. New York: Thomas Dunne Books, 2005. P. 37.

[22] *Kepel G.* The War for Muslim Minds. Islam and the West. The Belknap Press of Harvard University Press, 2004. P. 51.

[23] Точнее — после «революции» демократа Макговерна в 1972 году.

[24] *Buckanan P. J.* Op. cit. P. 41.

[25] Айман аз-Завахири (род. в 1951 году) позднее стал самой колоритной и зловещей фигурой мирового джихадистского подполья, главным политиком и идеологом «Аль-Каиды», правой рукой миллионера Усамы бен Ладена. Его предки по отцу и по матери были родом из Саудовской Аравии, но в XIX веке перебрались в Египет. Отец был известным профессором-фармакологом. Дед по матери, Аззам-бей, учился в исламском университете «аль-Азхар» и в Лондоне, был деканом факультета в Каирском университете, дважды послом Египта в Саудовской Аравии. Брат деда также учился в Англии, был первым генеральным секретарем Лиги арабских государств и выдал дочь за старшего сына короля Саудовской Аравии Мухаммада (основателя Исламского банка Фейсала). Еще один двоюродный дед Завахири был адвокатом духовного отца всех суннитских джихадистов Сейида Кутба, казненного в Египте в 1966 году. Сам Завахири получил медицинское образование, стал хирургом, затем вступил в организацию «Братья-мусульмане». Именно Завахири (наряду с другими) впоследствии заложил практические основы того террористического джихадистского интернационала, который должен был стать достойным, как и хотелось «неоконам», противником для США.

[26] Следует заметить, что Завахири побывал и в России на Северном Кавказе и даже был арестован, но отпущен, поскольку у российских спецслужб тогда «на него» не было ничего.

[27] A letter from «The Project for the New American Century». 1998. January 26. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www/theindyvoice.com/index.blog?entry_id=417960. P. 1. Письмо подписали Элиот Эбрамс (СНБ), Ричард Армитэдж (зам. госсекретаря), Уильям Беннет (спичрайтер Дж. Буша), Джон Болтон (зам. госсекретаря), Уильям Кристол (телеканал «Фокс ньюс»), Дональд Рамсфелд, Ричард Перл (в то время советник Еврейского института проблем национальной безопасности), Пол Вулфовиц, Роберт Зелик (кабинет Дж. Буша) и др.

[28] Ibid. P. 2.

[29] *Kepel G.* Op. cit. P. 64.

[30] Возвращение оккупированных Израилем территорий в обмен на признание еврейского государства.

[31] *Kepel G.* P. 65–66.

[32] *Buchanan P. J.* Op. cit. P. 46.

[33] Ibid. P. 52.

[34] Ibid. P. 56–57.

[35] Л. Ларуш получил широкую известность как автор книг, объяснявших многие события, в том числе и сентябрьские теракты в Нью-Йорке, с помощью теории заговора.

[36] *Buchanan P. J.* Op. cit. P. 53.

[37] *Fuller G.* Op. cit. P. 156–158.

[38] *Zakaria F.* The Future of Freedom. Illiberal Democracy at Home and Abroad. New York; London: W. W. Norton & Company, 2004. P. 21.

Раздел IV

РЕСУРСЫ, ИНТЕЛЛЕКТ, ТЕХНОЛОГИИ

24. Дипломатия океанического соуправления

25. Политико-правовой режим глобальной информационной безопасности

26. Конкуренция в космосе и международная безопасность

27. Инновационные циклы в политике России

Глава **24**

Дипломатия океанического соуправления

Освоение Мирового океана входит в число приоритетных глобальных проблем современности. Наряду с континентальной и атмосферной частями планетарной оболочки, Мировой океан представляет собой основную часть глобальной биосферы и играет определяющую роль в поддержании жизни на Земле. Его природный потенциал служит важнейшим источником продовольственных и энергетических ресурсов, не только находящихся в сфере юрисдикции прибрежных государств, но и являющихся общим достоянием человечества за этими пределами. Это составляет одну из основ взаимозависимости государств, использующих его пространства и ресурсы.

Мировое сообщество ищет пути согласованного решения глобальной проблемы сотрудничества в использовании Мирового океана. *Во-первых*, растет осознание роли океана и его экосистем как стабилизатора биосферы. *Во-вторых*, укрепляются представления о необходимости сформировать глобальную систему предотвращения негативных воздействий на океаническую среду как взаимосвязанную экосистему. *В-третьих*, освоение Мирового океана рассматривается в русле глобальной стратегии устойчивого развития и сбалансированной экономической, экологической и социальной практической деятельности. *В-четвертых*, нормой становится развитие процессов сотрудничества в освоении Мирового океана на уровне отдельных стран, регионов и мирового сообщества в целом. *В-пятых*, формируется архитектура так называемого океанического соуправления (*ocean governance*). Последнее обозначает взаимодействие в интересах использования и сохранения океанических пространств и ресурсов в условиях, когда увеличиваются масштабы океанической деятельности и взаимозависимости государств в процессе осуществления данного вида деятельности.

Эти тенденции приобретают особое значение, поскольку растет число субъектов, активно воздействующих на формирование океаничес-

кой политики не только на национальном, но и на международном уровне. Наряду с правительствами государств, в этот круг включаются представители гражданского общества, международные и национальные неправительственные организации, региональные и локальные сообщества, природоохранные и научные организации, а также бизнес.

Океаническое соуправление превращается в полигон для отработки международной (а не только межгосударственной!) системы решения основных проблем современности, включая проблему соуправления глобализацией.

Понятие и основы экосистемного подхода

Сохранение экосистем Мирового океана — магистральное направление поддержания устойчивости биосферы. Океаническая экосистема представляет собой динамичный комплекс взаимосвязанных сообществ растений, биологических и генетических организмов, а также неживой окружающей среды, взаимодействующих как единое целое. В экологическом плане здоровое состояние экосистемы предполагает, что она сохраняет свою структуру, дееспособность и устойчивость к внешним воздействиям с течением времени, то есть остается стабильной[1]. В Мировом океане имеется свыше 50 крупных экосистем, выступающих частью общей океанической экосистемы. Каждая из них состоит из совокупности экосистем меньших размеров вплоть до мелких пространственных биотических структур локального масштаба[2].

Поскольку человек пользуется океанами и оказывает на них воздействие, он также неотъемлемый элемент морских экосистем. Здоровое состояние и функционирование экосистемы содействует благополучию людей, предоставляя им живые морские ресурсы, экосистемные услуги, а также эстетическое и духовное удовлетворение. Поэтому оценка важности поддержания и восстановления здоровых экосистем должна охватывать социальные, экономические и экологические аспекты. Вклад экосистем Мирового океана в стабилизацию климата, производство кислорода, поддержание биоразнообразия и круговорота веществ и, в целом, в обеспечение устойчивости планетарной биосферы оценивается в 21 трлн долл. (соответствующий вклад континентальных экосистем составляет 12,3 трлн долл.)[3].

Ключевая роль экосистем в поддержании устойчивости океанической части глобальной биосферы, взаимозависимость и уязвимость живых организмов в морской среде в сочетании с ростом антропогенной нагрузки при ограниченности несущей емкости Мирового океана служат главными предпосылками формирования экосистемного подхода

к управлению деятельностью по изучению, использованию и сохранению ресурсного и экологического потенциала океана.

Экосистемный подход рассматривает широкий спектр экологических, природных и человеческих факторов, влияющих на социальные решения в области использования океанических ресурсов. Он направлен на содействие устойчивому развитию в океанической сфере. Одновременно данный подход представляет собой управление на основе лучшего понимания экологических взаимодействий и процессов, необходимых для восстановления и поддержания здоровых, продуктивных и биологически разнообразных экосистем, их целостности, структур, функций и ценностей, а также качества жизни населения посредством интегрированного управления природными ресурсами, экономическим развитием, согласованным с целями и потребностями общества[4].

Характерными чертами экосистемного подхода являются:

— конкретность пространственного охвата;
— комплексность и целостность;
— непременный учет всех компонентов экосистемы и всех видов деятельности (как физических, так и биологических), которые могут влиять на них;
— учет множества возникающих факторов и неопределенностей; необходимость уравновешивать различные социальные цели.

Становление экосистемного подхода происходит параллельно на национальных, региональных и глобальном уровнях, причем экосистемы Мирового океана имеют свои границы, которые, как правило, не совпадают с границами политическими. На уровне государства различные компоненты экосистемы, деятельность по ее использованию, а также негативно влияющие на нее факторы должны рассматриваться различными местными и национальными органами в отдельности и в разбивке по секторам.

Для субъектного поля участников океанической деятельности и реализации экосистемного подхода характерна множественность заинтересованных граждан и организаций, включая вовлеченных напрямую участников морских работ. Среди них — законодательные и исполнительные органы власти, территориальные административные структуры, отрасли и их структурные образования, компании, корпорации (в целом бизнес и частный сектор), гражданское общество в лице общественных организаций, природоохранных и иных неправительственных структур, научного сообщества, населения страны и прежде всего — прибрежных районов.

Экосистемный подход требует, чтобы компоненты экосистемы, воздействующие на нее явления и виды деятельности, а также законода-

тельные и политические механизмы координировались систематическим образом в целях комплексного рассмотрения взаимодействий и кумулятивных последствий. Для этого может потребоваться создание новых организационных механизмов, а также координация и сотрудничество между руководителями различных секторов.

С одной стороны, подобная координация может происходить в рамках двусторонних соглашений. Здесь возникает трансграничная экологическая взаимозависимость операций в морской среде, проводимых смежными государствами. Как следствие, возникает понятие ответственности за экологический ущерб соседней стране в результате неправомерных действий государства-нарушителя.

С другой стороны, координация может осуществляться и на уровне международных регионов. В данном случае ситуация сопряжена с общим воздействием государств на экосистемы контролируемого ими океанического пространства. Это, как и в случае двусторонних отношений, предопределяет необходимость выработки сторонами экосистемного подхода к использованию регионального экологического потенциала[5].

Экологическая взаимозависимость на уровне государств усугубляется тем обстоятельством, что национальные и региональные океанические экосистемы выступают компонентами единой экосистемы Мирового океана. Океаническая экосистема, в свою очередь, является частью глобальной биосферы, что предопределяет глобальную трансграничную взаимозависимость всех государств.

Данные направления кооперации образуют основания для международной ответственности государств, использующих экологический потенциал Мирового океана. Одновременно они служат стимулом для развития глобального экологического сотрудничества не только прибрежных государств, но и всего мирового сообщества по сохранению экологического потенциала и предотвращению его нерационального и противоправного использования.

Экосистемы не подчиняются морским границам. В случаях, когда они пересекают международные границы, экосистемный подход предписывает налаживать трансграничное сотрудничество. Во многих районах платформу для такого сотрудничества обеспечивают программы развития региональных морей и связанные с ними планы действий. В других районах механизмом применения экосистемного подхода, напротив, выступают проекты, посвященные крупным морским экосистемам. Многие региональные организации уже инкорпорировали экосистемный подход в программы своей работы[6].

Сложность в том, что права на использование большей части экологического потенциала Мирового океана не распределены. Этот по-

тенциал ограничен, а бесконтрольная антропогенная нагрузка на него возрастает по мере продолжения мирового экономического роста. Основными объектами антропогенных угроз в Мировом океане выступают биологические и генетические организмы водной толщи и морского дна, а также биоразнообразие океанических пространств.

Главный источник угроз в Мировом океане — поступающие с суши загрязнения. На их долю приходится 80% общего объема таких загрязнений. Острота проблемы поступления загрязнений из наземных источников и сохранения морской среды обусловлена той колоссальной ролью, которую состояние прибрежных экосистем (прежде всего мест обитания морских организмов) играет в экономическом и социальном развитии государств, граничащих с морем[7]. В этой связи в 1995 году была принята Глобальная программа действий по защите морской среды от загрязнения в результате осуществляемой на суше деятельности (ГПД).

В 1992 году в Рио-де-Жанейро состоялась конференция ООН «Окружающая среда и развитие». Основной темой встречи стала взаимозависимость проблем сохранения окружающей среды, экономического и социального развития человечества. Императив согласованного решения этих проблем в рамках стратегии устойчивого развития стал концептуальной основой итогового документа совещания «Повестки дня — XXI»[8].

В декларации саммита подчеркивается, что философия встречи строилась на признании комплексного и взаимозависимого характера планетарных процессов. Ее целью было создание новых уровней сотрудничества между государствами, ключевыми секторами общества и гражданами посредством заключения международных соглашений, обеспечивающих уважение интересов всех и защиту целостности глобальной системы окружающей среды и развития[9]. Это положение стало одной из концептуальных основ системы международного соуправления использованием природного потенциала Земли.

Проблема освоения Мирового океана была включена в «Повестку дня — XXI» как одно из магистральных направлений развития цивилизации. Мировой океан — органическая часть биосферного пространства, освоение которой имеет глобальные экономические, экологические и социальные последствия. В экономическом смысле общая стоимость океанических ресурсов и видов его использования достигает 7 трлн долл. в год. Из них 1 трлн долл. приходится на добычу органического топлива и другого минерального сырья.

Доля подводной добычи нефти составляет 30%, а газа — 50% общемировой добычи. В объеме грузоперевозок на долю морского транспорта приходится 80%. Мировой улов рыбы достигает 36 млн тонн в год, а к 2010 году он, как ожидается, превысит 100 млн тонн. Стоимость вклада

океанических экосистем в поддержание жизни на Земле составляет 21 трлн долл., что почти вдвое превышает соответствующий показатель для сухопутных пространств. Более половины населения планеты проживает на расстоянии до 60 км от побережья. Доля «прибрежного» населения может возрасти до 75% к 2020 году[10].

Однако способность океанической среды абсорбировать отходы и нейтрализовывать последствия деятельности человечества ограничена. Экосистемы Мирового океана уязвимы, а перенесение суммарной антропогенной нагрузки на эту часть глобальной биосферы чревато экологической катастрофой. Поэтому освоение Мирового океана выделено как одно из важнейших направлений устойчивого развития человеческого общества. Последнее определяется как удовлетворение потребностей ныне живущих людей с учетом аналогичных прав будущих поколений.

Основанная на концепции взаимозависимости, стратегия устойчивого развития в применении к сфере океанической деятельности предусматривает:

- согласованность экономического, социального и экологического направлений освоения Мирового океана и интегральный подход к управлению этими компонентами устойчивого развития;
- учет единства глобальной биосферы в составе ее океанической, наземной и атмосферной составляющих;
- согласованный и сбалансированный подход к использованию ограниченной несущей емкости[11] океанической части биосферы и ее экологического потенциала;
- интегрированное управление деятельностью в прибрежной зоне в рамках единой, взаимозависимой системы пресноводных бассейнов, затопляемых земель и океанических пространств;
- интегральный подход к транссекторальному и трансграничному управлению в океанической сфере, согласованный с использованием ресурсного, нересурсного и экологического потенциалов в рамках конкретного пространства.

В «Повестке дня — XXI» изложена программа действий для обеспечения устойчивого развития океанов, прибрежных территорий и морей с помощью программных областей. Имеются в виду шаги по комплексному рациональному использованию и развитию прибрежных и морских районов (включая исключительные экономические зоны), охране морской среды, использованию и сохранению морских живых ресурсов открытого моря и морских вод под национальной юрисдикцией, укреплению международного (включая региональное) сотрудничества и координации.

В 2000 году в ООН руководителями 191 государства была принята Декларация тысячелетия[12], в которой страны-участницы подтвердили свою приверженность принципам устойчивого развития. Они подчеркнули, что удовлетворение потребностей жителей Земли неразрывно связано с охраной окружающей среды ради избавления потомков от угрозы проживания на экологически искалеченной планете. Была отмечена важность стратегии устойчивого развития и необходимость изменения существующих неустойчивых моделей производства и потребления в интересах будущих поколений.

Эти позиции отражают опасения, связанные с тем, что бурный экономический рост передовых государств и сопутствующие ему огромные диспропорции в потреблении природных (в частности океанических) ресурсов стали оцениваться в увязке с проблемой подрыва социальных основ глобальной «устойчивости».

Генеральная Ассамблея ООН предложила изучить вопросы о научной разработке путей преодоления угроз и рисков для морских экосистем и биоразнообразия в районах за пределами национальной юрисдикции. Сделать это предполагается на базе международного права, в частности — принципа комплексного экосистемного подхода к хозяйствованию. Возможно использование существующих международных договоров на предмет выявления приоритетных типов океанических экосистем[13].

В 2002 году в городе Йоханнесбурге (ЮАР) состоялся Всемирный форум по устойчивому развитию[14]. В его материалах отмечалось, что океаны, моря, прибрежные территории и острова образуют неотъемлемый компонент земной экосистемы и имеют первостепенное значение для всемирной продовольственной безопасности, устойчивого экономического процветания и социального развития на локальном, национальном, региональном и глобальном уровнях. В принятой на Форуме стратегии были конкретизированы вопросы регламентации производства и потребления океанических ресурсов. Было указано на необходимость признания *общей, но дифференцированной ответственности государств за глобальную деградацию окружающей среды*. Особо говорилось об императиве социального и экономического развития в пределах несущей емкости экосистем[15].

Одновременно в Йоханнесбурге была принята рекомендация обеспечить к 2010 году повсеместное введение экосистемного подхода к управлению прибрежными и океаническими районами на национальном уровне, включая содействие прибрежным государствам в разработке морской политики и механизмов комплексного управления прибрежными районами.

Наряду с экономическим использованием и решением социальных задач, в основу западного подхода к освоению Мирового океана положен и ряд общих соображений. Экологическое измерение океанической деятельности считается основой освоения океанического потенциала. Экосистемный подход подается как применимый к управлению прибрежными районами, открытым морем и окружающей средой глубоководных районов. Он не связывается границами национальных правовых систем, а апеллирует к логике сочетания экологических границ с пространствами деятельности всех заинтересованных сторон, осваивающих прибрежные области, открытое море и глубоководные участки дна Мирового океана[16].

Существенный вклад в становление экосистемного подхода в международных отношениях вносят действующие конвенции (подобные Конвенции ООН о биоразнообразии), решения международных конференций по проблемам загрязнений, поступающих с суши, работа организаций системы ООН (ЮНЕП, Программа развития ООН[17]), Мирового банка и Глобального экологического фонда.

Процесс становления экосистемного подхода не завершен. Его разработка и реализация будут сопрягаться с ужесточением международных мер, предпринимаемых в отношении государств—нарушителей глобальных договоренностей не только в открытом море и глубоководных участках океанического дна, но и в отношении деятельности, которую государства проводят в рамках национальной юрисдикции. Ущерб глобальной океанической экосистеме от наземных стоков может обострить вопрос о международной ответственности государства за деятельность на его собственной территории.

Различима перспектива формирования в Мировом океане экологических границ. В определенных обстоятельствах они могут быть сочтены приоритетными по отношению к государственно-политическим границам.

Это может привести к введению международного ограничения и даже контроля над деятельностью суверенных государств в открытом море и в прибрежной зоне, включая не только морскую, но и наземную пространственную область.

Проблема соотношения экологических и политических границ между государствами

Главными стимулами к согласованию интересов участников освоения океанического потенциала выступают взаимосвязанность природных процессов в Мировом океане, взаимозависимость направлений

океанической деятельности лиц и организаций, осваивающих конкретное пространство, и стремление устранить угрозу возникновения конфликтных ситуаций при проведении трудно совместимых морских работ. На уровне отдельных государств сотрудничество развивается по двум направлениям. Первое предполагает интеграцию океанической деятельности в систему национального развития. Второе — интеграцию национальной океанической политики в систему международных отношений в области освоения Мирового океана.

Основное внимание уделяется интеграции системы океанического управления в структуры принятия решений в рамках как законодательной, так и исполнительной ветвей власти, ответственных за финансирование национальных программ социально-экономического развития. Одновременно интегрируются наземные и океанические отрасли, связанные с ресурсной деятельностью (продовольственный сектор, нефтегазовая промышленность), транспортировкой (судоходство, речной и железнодорожный транспорт) и обеспечением безопасности жизни на суше и в море. Происходит также интеграция природоохранных мер в приморских и прибрежных бассейнах.

Океанические пространства покрывают около 70% поверхности земного шара. По периметру Мирового океана прилегающие к суше акватории входят в состав так называемых прибрежных зон (ПЗ). Они располагаются по обе стороны береговой линии[18] и остаются уникальными в физико-географическом, экологическом, промышленном и социально-экономическом отношениях. Соответствующие программы сотрудничества разрабатываются исходя из особенностей прибрежного пояса. Их реализация является перспективным направлением развития самих прибрежных стран и их отношений с соседями и мировым сообществом в целом.

ПЗ играют важнейшую роль в стабилизации биосферных процессов и поддержании жизни на Земле. На долю морских прибрежных районов приходится более половины стоимости услуг экосистемы Мирового океана для человечества (12,5 трлн долл.).

В природных зонах соприкасаются и взаимодействуют отрасли промышленности различных государств, связанные с освоением сырьевого и продовольственного потенциала океана, эксплуатацией вспомогательных наземных и внебереговых предприятий и транспорта. Имеющиеся в таких зонах отрасли производства требуют потребления больших объемов воды. Для большинства граничащих с морем государств ПЗ, будучи сферой интенсивной промышленной деятельности, остаются областью наиболее высокой концентрации населения и важнейшим рекреационным районом.

Множественность видов деятельности в наземной и морской частях прибрежной зоны, разнообразие участников таких работ и вовлеченных экономических, социальных и экологических интересов, а также культурных, исторических и эстетических ценностей, соотносимых с жизнью человека в пограничной сфере на стыке океана, суши и атмосферы, предопределяют конфликтный характер использования ПЗ.

На уровне государства решение проблем освоения прибрежных зон требует наличия курса на выработку согласованных подходов к использованию и сохранению потенциала прибрежных и приморских территорий, балансированию ключевых интересов, функций и механизмов, используемых в управленческом процессе, получившем название интегрированного управления прибрежной зоной (ИУПЗ).

Первым государством, внесшим проблему освоения ПЗ в перечень важнейших национальных приоритетов, стали США[19]. В 1972 году конгресс Соединенных Штатов принял закон об управлении прибрежной зоной (P.L. 92–583).

В законе была сформулирована политика, предусматривавшая сохранение, защиту, развитие и восстановление ресурсов ПЗ, содействие штатам в повышении их ответственности за освоение соответствующих зон, сотрудничество всех заинтересованных ведомств в осуществлении программ управления ПЗ на уровнях федерального правительства, штатов, региональных и местных организаций.

В последующие годы одним из центральных в американской политике освоения прибрежных зон стал социальный компонент. На пространстве этих зон (менее 10% площади США) проживает свыше половины населения страны. Активизация этого компонента осуществлялась через содействие повышению качества жизни в прибрежных районах, а также вовлечение местной общественности в разработку инициатив и оценку предлагаемых администрациями проектов.

Реализация политики интегрированного управления прибрежной зоной (ИУПЗ) предопределила тенденцию к совершенствованию такого управления на уровне отдельных государств и регионов[20]. ИУПЗ изначально была призвана гармонизовать:

- подходы к принятию экономических, социальных и экологических решений на государственном и иных уровнях;
- национальные, общественные, корпоративные и частные интересы;
- краткосрочные и долгосрочные цели освоения ПЗ (интересы живущего и будущих поколений);
- ведомственные и отраслевые интересы;
- морскую и наземную деятельность в прибрежных зонах.

Соотнесение проблемы освоения Мирового океана и его прибрежных зон с глобальным развитием способствует решению многих задач. Оно дает основу концепции взаимозависимости государств, связанных с океанической деятельностью. Одновременно оно побуждает государства включать экологический компонент в национальную морскую политику. Наконец, такое соотнесение стимулирует развитие интегрального подхода к управлению прибрежными зонами[21].

На уровне международных регионов интеграционные процессы в освоении смежных морских территорий развиваются в направлении согласования национальных систем ИУПЗ, создания «узлов морского развития» и программ регионального сотрудничества[22].

Начало создания современной системы морского регионализма было положено разработанной ЮНЕП Программой региональных морей (1974). В ней участвует 140 стран, 16 учреждений системы ООН и 50 других международных и региональных организаций в 14 регионах мира. Основополагающий принцип программы — положение о том, что «сброс отходов одной страны не должен причинять ущерба другой». В перечне задач системы регионального океанического сотрудничества указаны:

- содействие интеграционным процессам в планировании и управлении прибрежными и морскими регионами;
- развитие горизонтальных связей между конвенциями региональных морей и их планами действий, с одной стороны, и глобальными конвенциями по сохранению биоразнообразия, торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения, контролю трансграничного переноса опасных веществ — с другой;
- разработка альтернатив политического и технологического реагирования на изменение обстоятельств или ситуации в регионе, которое должно быть учтено в процессе управления;
- научная, техническая и финансовая поддержка проектов, связанных с решением проблем деградации среды и мест обитания, загрязнением вод и исчезновением видов;
- содействие межрегиональным интеграционным процессам в сфере океанической деятельности[23].

В контексте регионального соуправления показателен опыт развития сотрудничества в северном полярном регионе под эгидой Арктического совета. Этот межправительственный форум был создан в 1996 году восемью странами циркумполярного[24] региона для содействия сотрудничеству, координации и интеграции государств региона в решении общих проблем устойчивого развития и защиты окружающей среды, а также диалога с международным сообществом.

Совет включает правительства, представителей региональных властных структур и неправительственных объединений, научных экспертов, а также международные организации коренных народов. Важность этого обстоятельства заключается в том, что традиционные сообщества стран Севера давно осознали необходимость сосуществования с постепенными и даже быстрыми изменениями окружающей среды и накопили знания о том, как реагировать на изменения экосистем прибрежных зон. В этих сообществах сформировались социальные механизмы, способные не только своевременно реагировать на экосистемные изменения, но и предвидеть реакцию экосистем на предпринимаемые населением меры. Правительства и коренные народы объединились, чтобы закрепить в регионе практику постоянного диалога между учеными, лицами, планирующими политику и принимающими решения, и коренными жителями арктического региона. Такой подход составляет основу соуправления в арктическом регионе.

Формирование морских регионов, начавшееся во второй половине прошлого века, перевело в сферу национальной юрисдикции прибрежные пространства с четкими административно-политическими границами. Уязвимые стороны такого разграничения очевидны. Природные процессы в океане, функционирование экосистем происходили в иных, по сравнению с наземными, масштабах и на пространствах, не совпадающих с политическими границами. Государства оказались перед необходимостью не только согласовывать свои действия с соседними странами, но и учитывать интересы мирового сообщества.

В системе развития интеграционных процессов в рамках морского регионализма на уровне глобальных международных отношений очевидным становится курс на формирование океанических регионов за пределами национальной юрисдикции приморских государств. К их числу могут быть отнесены особо охраняемые территории в открытом море (международные океанические заповедники), регионы новых видов устойчивого морепользования (освоение генетических и энергетических ресурсов на глубоководных участках дна Мирового океана), районы промысла в открытом море, а также ареалы обитания видов, сохранение популяций которых находится под угрозой.

Морские регионы выступают частью глобальной океанической экосистемы. Поэтому построение и функционирование морских региональных объединений прибрежных государств, их участие в создании и использовании потенциала регионов в открытом море должны учитывать интересы всего мирового сообщества. Одновременно такие объединения должны быть интегрированы в глобальную систему сотрудничества в области океанического соуправления.

Совершенствование систем объективных индикаторов деятельности применительно к ИУПЗ станет в ближайшее время основой для усиления требований к действиям стран-участниц на уровне регионов по соблюдению соответствующих международных стандартов. Их несоблюдение может повлечь санкции, сопоставимые по жесткости с теми, которые применяются к странам—членам Всемирной торговой организации в случае несоблюдения положений ее устава или предписаний.

Понятие океанического соуправления

Океаническое соуправление — вариант демократического управления деятельностью по освоению Мирового океана силами правительств, региональных и локальных сообществ, промышленности, бизнеса, неправительственных организаций и других заинтересованных сторон.

Оно ориентировано на согласование интересов и позиций всех субъектов и на всех уровнях принятия решений ради достижения целей гражданского общества отдельных стран и мира в целом. Океаническое соуправление осуществляется посредством национальных и международных законов, политики, административных структур, а также неформальных объединений граждан, действующих с учетом традиций, обычаев, культур и на основе учрежденных ими институтов. Этот вариант соуправления определяет характер деятельности властей различных уровней и власти, разработку и принятие решений, реализацию гражданами или другими заинтересованными сторонами своих интересов, прав и обязанностей в области освоения пространств и ресурсов Мирового океана[25].

Океаническое соуправление — процесс, протекание которого во многом определяют четыре фактора. *Во-первых*, многоаспектность океанической деятельности, взаимозависимость ее видов и направлений, трансграничный характер ее негативных последствий. *Во-вторых*, множественность участников такой деятельности и императив их сотрудничества с целью предотвращения конфликтного использования океанических пространств и ресурсов и повышения эффективности морских работ. *В-третьих*, взаимозависимость всех субъектов (как национальных, так и международных), вовлеченных в освоение Мирового океана, которые действуют на общих пространствах и используют общие ресурсы, включая ограниченный и уязвимый экологический потенциал океана. *В-четвертых*, чрезмерный характер антропогенной нагрузки на биосферу Мирового океана и императив глобального сотрудничества в поддержании ее устойчивости ради сохранения человека как вида[26].

Истоки системы океанического соуправления можно найти в истории освоения пространств и ресурсов прибрежной зоны. Научно-технический прогресс второй половины XX века открыл новые возможности в использовании пространственного и ресурсного потенциала ПЗ, расширения его диапазона и масштабов. Такое использование было заключено в рамки комплексного управления прибрежными зонами, в котором доминировали интересы отраслей и секторов океанической деятельности. Регламентация работ основывалась на «одноцелевых» законах и была ориентирована главным образом на смягчение конфликтного характера работ. Низкая эффективность старой системы обусловила стремление перейти к системе интегрированного управления.

В число активных участников прибрежного управления (как частного вида океанического соуправления), наряду с ресурсными и промышленными отраслями, вошли представители местных органов власти, гражданских объединений и неправительственных организаций, связанных с изучением природных процессов в ПЗ и Мировом океане, охраной морской среды и согласованием локальных экономических, экологических и социальных направлений освоения ПЗ. На этом этапе была осознана роль решений на местах.

В ряде стран (например, в США) получил развитие так называемый федералистский подход к управлению деятельностью в ПЗ. В соответствии с ним власть принадлежит наиболее низкому уровню, способному обеспечить осуществление конкретных действий и достижение цели. В рамках такой системы верхний уровень организации создает широкую структуру и основополагающие правила, в соответствии с которыми функционирует организация. Этот уровень ответствен за постановку цели, определение принципов, способов оценки результата. Он обеспечивает механизмы согласования позиций и создает условия для групп, которые могут принимать на себя полномочия и ответственность за выбор курса. Федералистский подход ведет к повышению эффективности обеспечения интересов страны в использовании морской среды, учитывая интересы региональных и локальных уровней[27].

Подключение негосударственного сектора к разработке и реализации программ интегрированного управления было основополагающим этапом становления системы океанического соуправления, осуществляемого государством, частным сектором и гражданским обществом.

Принятие Организацией Объединенных Наций концепции устойчивого развития и ее внедрение в океаническую сферу деятельности стало вторым важнейшим этапом становления системы океанического соуправления[28]. Это стало основанием для отказа от отношения к океа-

нической сфере как «морской отрасли» в традиционной цепочке ведомственно-отраслевых структур, функционирующих на основе государственного бюджета или в рамках частного сектора. В США система соуправления официально закреплена как основа океанической политики. Накопленный опыт показывает, что эта сфера деятельности требует участия в ней не только правительственных чиновников, но и различных по профилю структур бизнеса и гражданского общества.

Продолжающееся внедрение стратегии устойчивого развития в океаническую политику государств, в сочетании с развитием морского регионализма, является важным фактором становления системы глобального океанического соуправления в международных отношениях.

В число объектов соуправления входят проблемы определения допустимого уровня антропогенной нагрузки на океаническую среду[29], распределения прав на такую нагрузку между государствами и иными субъектами, а также использование ресурсного и экологического потенциала пространств общего наследия человечества. В этот ряд можно включить создание глобальной системы контроля над соблюдением соглашений.

Проблема соотношения прав и ответственности государств, воздействующих своей наземной деятельностью на океаническую экосистему, и мирового сообщества, жизненно заинтересованного в поддержании устойчивости биосферы, включая окружающую среду Мирового океана, будет оставаться одной из центральных в создаваемой системе глобального океанического соуправления. Развитие получает и процесс расширения числа новых субъектов принятия решений по этим международным проблемам. На национальном уровне к традиционным игрокам, связанным с секторальной деятельностью в Мировом океане, добавляется ряд неправительственных организаций общественного профиля, научных центров и местных объединений, ассоциаций коренных народов.

Примером целевой неправительственной организации, предложившей ряд важнейших рекомендаций по совершенствованию океанической политики США в 2000–2004 годах, можно считать PEW Commission. Комиссия состоит из ведущих представителей научного сообщества, природоохранных групп, бизнеса, образования, а также специалистов в области управления, обладающих опытом работы и в Конгрессе, и в федеральном правительстве, и администрациях штатов и местных органов власти[30].

На местном уровне в ряде стран (США, Канада) важную роль в обсуждении океанических проектов, планов и программ соуправления деятельностью в ПЗ и оптимизации системы принятия решений играют «круглые столы» местных общин и неправительственных организаций. В рамках данной модели упор делается на создание коалиций и

сетей, которые участвуют в разработке национальной океанической политики и способствуют диалогу между различными заинтересованными сторонами.

В рамках ООН продолжают разрабатываться документы, регламентирующие деятельность государств в Мировом океане. Международные организации системы ООН (Программа по окружающей среде, Программа развития), Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию, Комиссия по глобальному соуправлению, Независимая всемирная комиссия по океанам, Открытый процесс неофициальных консультаций ООН по вопросам Мирового океана и международного морского права работают в контакте с научным сообществом, бизнесом, местными объединениями ради создания системы глобального океанического соуправления.

В последние годы существенную роль в развитии океанического соуправления сыграли проводимые под эгидой ООН форумы по использованию морских пространств и ресурсов. Наиболее интересными среди них были Глобальный форум по выживанию (Великобритания, 1988), Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Бразилия, 1992), Всемирный форум по неправительственным организациям (Канада, 1999), Всемирный саммит по устойчивому развитию (ЮАР, 2002), Саммит по океанической политике (Португалия, 2005), Глобальная конференция по океанам, прибрежным зонам и островам (Франция, 2006). На этих совещаниях выносятся на обсуждение ключевые проблемы освоения Мирового океана и вопросы национального и международного управления этой деятельностью. На таких встречах обсуждаются новые идеи и стратегии, вызовы и перспективы[31], формирование глобальной политики использования потенциала океанической части биосферы.

Усилия международного сообщества в области освоения Мирового океана преломляются сквозь призму трех важнейших проблем. Первая — взаимосвязанность природных процессов и антропогенного воздействия на океаническую среду. Вторая — совмещение интересов экономического развития с социальной справедливостью в использовании ресурсов Мирового океана как общего достояния человечества. Третья — увязывание потребностей государств, мирового гражданского сообщества, бизнеса, неправительственных объединений[32]. Между всеми этими проблемами существует «перекрестная взаимозависимость». Ни одна из них не может быть решена изолированно и силами одного субъекта. Именно из этого проистекает объективная необходимость принятия логики глобального океанического соуправления, открывающей возможности выработки согласованного подхода к процессу урегулирования проблем освоения Мирового океана.

Океаническая проблема выступает одним из компонентов глобализационного процесса. Достигнутый уровень межгосударственного соуправления в рамках Конвенции ООН по морскому праву (1982)[33] создал прецедент пакетного подхода к согласованию интересов отдельных стран и групп государств на основе консенсуса. В принципе он применим и к более обширному комплексу правовых, экономических, территориальных и иных проблем. Поэтапное создание всеобъемлющей системы океанического соуправления — перспективный идеал-конструкт того, что со временем способно оказаться механизмом управления глобализацией[34].

Примечания

[1] *Писарев В. Л.* Биосфера Планеты: Трагедия общего достояния // Международные процессы. 2003. Сентябрь—декабрь. Т. 1. № 3.

[2] *Juda L.* Considerations in Developing a Functional Approach to the Governance of Large Marine Ecosystems // Ocean Development and International Low. 1999. Vol. 30. No 2.

[3] *McGill A.* Charting a New Course for Oceans. State of the World. 1999.

[4] *Arico S.* Implementing the Ecosystem Approach in Ocean Areas, with Particular View to Open Ocean and Deep Sea Environment. UNESCO, 2006; U.N. Open-ended Informal Consultative Process on Oceans and the Law of the Sea, U.N. A/61/156. 2006.

[5] Мировой океан и морское право. UN Doc. A/61/63, 2006.

[6] Ibid.

[7] U.N.Doc. A/59/62/Add1, 2004.

[8] Повестка дня — XXI. ООН, 1992. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www. un.org/russian/conferen/wssd/agenda21/.

[9] Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию. 1992. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.spbpravo.ru/abro.php?id=9978.

[10] Oceans: The Source of Life. U.N. 2002.

[11] *Несущая емкость* — максимальное воздействие, которое может выдержать биосфера Земли или любая экосистема. В пределах несущей емкости биосфера быстро восстанавливает все нарушения окружающей среды и обеспечивает ее устойчивость.

[12] UN Millenium Declation. U.N.Doc. A/RES/55/2.

[13] UN.Doc. A/59/62/Add.1.

[14] Report of the World Summit on Sustainable Development. Johannesberg, 2002.

[15] Есть основания полагать, что возможности международного контроля за соблюдением этого условия будут, по-видимому, возрастать по мере реализации глобального проекта по оценке экосистем, предложенного ООН и Институтом мировых ресурсов.

[16] *Arico S.* Op.cit.; См. также: An ocean Blueprint for the 21st century. Washington. 2004.

[17] ЮНЕП — Программа Объединенных Наций по окружающей среде; Программа развития ООН (*U.N. Development Programme*) — организация при ООН по оказанию помощи странам-участницам в области развития. ПРООН оказывает помощь правительствам в проведении изысканий и исследований природных ресурсов, в открытии учебных заведений, в развитии энергетических ресурсов, предоставляет консультационные и экспертные услуги, обучает специалистов, поставляет оборудование и т.д. Помощь Программы развития ООН безвозмездна. — *Прим. ред.*

[18] Ширина морской части этого пояса определяется самим прибрежным государством и, как правило, не выходит за пределы его территориальных вод. Отстояние внутренней

(континентальной) кромки ПЗ от береговой линии устанавливается в зависимости от характера и масштабов воздействия антропогенной деятельности на морскую среду.

[19] *Mitchell J. K.* Coastal Management Since 1980: The U.S. Experience and its Relevance for Other Countries // Ocean Yearbook. 6. 1986; *Cicin-Sain B., Knecht R.* Integrated Coastal and Ocean Management. Consepts and Practices. Washington, 1998; *Писарев В. Д.* Управление прибрежными зонами Мирового Океана: Подход США и международные отношения // США — Канада: Экономика, политика, идеология. 2002. № 7.

[20] *Sorensen J.* The International Proliferation of Integrated Coastal Zone Management Efforts // Ocean and Coastal Management. 1993. Vol. 21. No 1–2.

[21] *Писарев В. Д.* Экологизация международных отношений: Политика США и глобальные тенденции. М., 2002.

[22] *Kullenberg G.* Challenges and Potential Solutions for Achieving Synergies at the Regional Level on Ocean and Coastal Governance. Paris, 2003; *Vallega A.* The Regional Scale of Ocean Governance. Facing the Ecosystem. Medcoast 99. Turkey, 1999.

[23] *Kimbell L. A.* Regional Ocean Governance. IUCN, U.K. 2003.

[24] *Циркумполярный* — регион, примыкающий к Северному Ледовитому океану. — *Прим. ред.*

[25] Toward Effective Ocean Governance // The Ocean: Our Future. Cambridge Univ. Press., 1998; *Kimball A.* International Ocean Governance. IUCN, 2001; The International Ocean Governance Network. Tokyo, 2004; *Писарев В. Д.* Океаническое соуправление и политика США // США — Канада: Экономика, политика, идеология. 2007. № 2.

[26] Governance Improvement and Harmonization of International Agreements and Emerging Issues // Toward the 2002 World Summit on Sustainable Development. Paris, 2001.

[27] Striking a Balance. Improving Stewardship of Marine Areas. Washington: National Academy Press, 1997.

[28] UNDP. Governance for Sustainable Human Development. New York, 1997; *Glive G.* Sustainable Development and Global Governance // The Journal of Environment and Development. 2007. Vol. 16. No 1.

[29] Включая выбросы CO_2 (в результате чрезмерного потребления энергии), главным стоком для которых служит океаническая часть биосферы.

[30] PEW Ocean Commission. A Report to the Nation. Recommendations for New Ocean Policy. Washington, 2003.

[31] Например, предложение, сделанное в ходе подготовки форума в ЮАР, о дополнении триады устойчивого развития четвертым компонентом в виде глобального соуправления.

[32] *Gordon S. and Naim M.* Altered States: Globalization, Sovereignty, and Governance. Ottawa, 2000.

[33] United Nations Convention on the Law of the Sea. U.N., New York, 1983.

[34] *Friedheim R. L.* Ocean Governance at the Millenium: Where We Have Been-Where We Should Go // Ocean and Coastal Management, 1999. Vol. 42. No 9; Governance in a Globalizing World / J. S. Nye Jr., J. D. Donahue (eds). Washington, 2000; *Carin B., Higgott R. et all.* Global Governance: Looking Ahead, 2006–2010 // Global Governance. 2006. Vol. 12. No 1.

Глава 25

Политико-правовой режим глобальной информационной безопасности

Основная озабоченность в сфере обеспечения международной информационной безопасности связана с возможностью применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в целях, несовместимых с задачами обеспечения международной стабильности и безопасности. Важнейшими угрозами здесь видятся враждебное использование ИКТ на уровне государств против информационных инфраструктур в политических, в том числе военных целях, преступная и террористическая деятельность в киберпространстве.

В современном мире происходит постепенная «информатизация» вооруженных сил и «интеллектуализация» традиционных вооружений. Информационное оружие становится важным элементом военного потенциала государств. Оно эффективно дополняет традиционные военные средства и в ряде случаев способно заменить их. В таких условиях Россия стала первым государством, которое на международном уровне подняло вопрос о появлении принципиально новых (информационных) угроз национальной и международной безопасности в XXI веке.

Информационно-коммуникационные технологии и международная деятельность России

Рубеж XX–XXI веков стал периодом смены формы межгосударственных конфликтов: при помощи ИКТ нападения и агрессии могут осуществляться трансгранично, без привлечения армейских подразделений и использования традиционных вооружений и военной техники, с помощью негосударственных субъектов. Дестабилизация экономики, подрыв суверенитета и основ государственного устройства, нарушение нормального функционирования инфраструктур могут быть достигнуты за счет применения информационных средств. Вот почему эффективное обеспечение национальной и международной безопасности

невозможно без укрепления международной информационной безопасности (МИБ), прежде всего — за счет снижения угроз враждебного использования ИКТ.

С 1998 года Россия продвигает идею налаживания международного сотрудничества по укреплению МИБ. Эта работа ведется параллельно по нескольким направлениям.

На двустороннем уровне в 1998–2006 годах были проведены *межведомственные экспертные консультации* с США, Китаем, Бразилией, ЮАР, Индией и другими странами. Эти встречи выявили близость позиций сторон по основным вопросам информационной безопасности. Договоренности о межгосударственном сотрудничестве в целях ее укрепления были впоследствии закреплены в совместных российско-американском, российско-китайском и российско-бразильском заявлениях.

Вопросам МИБ были посвящены *аналитические семинары*, проведенные, в частности, под эгидой Института ООН по проблемам разоружения и Международного комитета Красного Креста. По инициативе России проблематика МИБ рассматривалась *на высоком политическом уровне и многосторонней основе* — в «группе восьми», Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на Полномочной конференции Международного союза электросвязи (МСЭ), Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного общества, в рамках СНГ и Регионального содружества в области связи (РСС)[1]. В соответствующих итоговых документах были закреплены положения о наличии угроз для МИБ и о необходимости сотрудничества в интересах снижения их интенсивности.

Первым шагом в направлении организации эффективного международного взаимодействия в сфере МИБ стало предложение России, сделанное Вашингтону еще в 1998 году, подписать на уровне глав государств совместное заявление по проблематике международной информационной безопасности. В проекте документа отмечалось, что в современной ситуации в информационной сфере, с одной стороны, имеется потенциал развития человечества через глобальную информационно-технологическую революцию, а с другой — присутствуют угрозы использования новых технологий в целях подрыва международной стабильности.

Подчеркивалось, что наличие новых угроз требует принятия превентивных мер, среди которых могут быть:

— согласование взглядов мирового сообщества на проблемы возможного использования информационных технологий в военных целях;

— определение основных понятий («информационное оружие», «информационная война»);
— выявление возможностей использования информационных технологий для совершенствования существующих и создания новых систем оружия;
— рассмотрение вопроса о том, насколько целесообразно создать международную систему мониторинга угроз информационной безопасности;
— вынесение вопроса о глобальной информационной безопасности на рассмотрение ООН и других представительных международных форумов;
— создание международно-правового режима запрещения разработки, производства и применения особо опасных видов информационного оружия;
— выработка многостороннего договора о борьбе с информационным терроризмом и преступностью.

По мнению российской стороны, такое совместное заявление могло бы способствовать началу конкретного, всестороннего и целенаправленного обсуждения возникающих проблем. В итоге обсуждения этого предложения идея заявления по МИБ реализована не была. Однако обеспокоенность возникающими угрозами в этой сфере нашла отражение в Совместном российско-американском заявлении об общих вызовах безопасности на рубеже XXI века, подписанном президентами России и США по итогам Московского саммита 2 сентября 1998 года.

В этом заявлении отмечалось, что стороны согласились активизировать совместные усилия по противодействию транснациональным угрозам экономике и безопасности, включая преступления с использованием компьютерной техники и других высоких технологий. Россия и США признали «важность содействия положительным сторонам и ослабления действия отрицательных сторон происходящей информационно-технологической революции, что является серьезной задачей в деле обеспечения стратегических интересов безопасности наших двух стран в будущем»[2]. В документе было также сказано о том, что с общими вызовами безопасности на рубеже XXI века можно справиться только посредством мобилизации усилий всего международного сообщества. В случае необходимости мировое сообщество должно своевременно принимать эффективные меры по противодействию таким угрозам. Две великие державы впервые признали наличие проблемы информационной безопасности как таковой, обозначили реальные угрозы в этой сфере и высказались за комплексное, многостороннее сотрудничество для противодействия общим вызовам безопасности.

Дальнейшая работа по согласованию конкретных мер в интересах упрочения МИБ проводилась главным образом через механизм Организации Объединенных Наций. 23 сентября 1998 года Генеральному секретарю ООН Кофи Аннану было направлено по этому поводу специальное послание тогдашнего министра иностранных дел России И. С. Иванова[3]. Генеральная Ассамблея ООН на протяжении ряда лет рассматривала на сессиях вопрос о роли науки и техники в контексте международной безопасности, разоружения и других областей, связанных с этим процессом. По мнению России, эта роль возрастает на современном этапе научно-технической революции с ее беспрецедентным уровнем развития и внедрения принципиально новых информационных технологий и средств телекоммуникаций.

В послании И. С. Иванова также констатировалось, что информационная революция проникает во все сферы жизнедеятельности общества, открывает перспективы для ускоренного развития мировой цивилизации и способствует увеличению созидательного потенциала человечества. Формируется глобальное информационное пространство, в котором информация приобретает свойства ценнейшего элемента как национального, так и общечеловеческого достояния, его стратегического ресурса.

При этом, однако, была подчеркнута потенциальная, но серьезная опасность использования достижений в информационной сфере в целях, не совместимых с задачами поддержания мировой стабильности. Речь шла о необходимости соблюдения принципов неприменения силы, невмешательства во внутренние дела, расширения спектра прав и свобод человека.

Особый акцент был сделан на предотвращение конфронтации в информационной области, способной спровоцировать новый виток гонки вооружений в мире. В этой связи отмечалось, что речь идет о создании информационного оружия (ИО) и опасности возникновения информационных войн (ИВ). С учетом высокого уровня информатизации общества и одновременно уязвимости информационных структур, нельзя, однако, исключить возможности появления ИО, которое по своим разрушительным свойствам может сравниться с оружием массового уничтожения.

К посланию был приложен проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности»[4]. Проект представлял собой развитие данной резолюции: в нем подчеркивалось, что научно-технические достижения могут иметь гражданское и военное применение, причем содействие следует оказывать развитию науки и техники именно в

гражданских целях. В проекте, в частности, содержалось приглашение всем государствам—членам Организации Объединенных Наций информировать Генерального секретаря ООН о своей точке зрения по вопросам использования информационных технологий в военных целях, уточнения понятий, враждебного или несанкционированного воздействия на информационно-коммуникационные системы и информационные ресурсы. Особо указывалось на важность диалога о целесообразности разработки международно-правовых режимов запрещения разработки, производства и применения особо опасных видов информационного оружия, а также борьбы с информационным терроризмом и криминалом, включая создание международной системы мониторинга угроз для безопасности глобальных информационно-коммуникационных систем.

Инициативные предложения России стимулировали обсуждения в Первом комитете Генассамблеи ООН, занимающимся вопросами разоружения и международной безопасности. Результатом этих дискуссий стала модификация проекта резолюции — в основном в части рекомендаций относительно информирования Генерального секретаря о точках зрения и оценках государств—членов Организации Объединенных Наций. 2 ноября 1998 года пересмотренный проект был одобрен Комитетом, а 4 декабря 1998 года — принят без голосования (консенсусом) Генеральной Ассамблеей ООН (A/RES/53/70)[5].

Положения российского проекта об ограничениях использования информационных технологий в военных целях, определении понятий «информационное оружие» и «информационная война», о разработке режима запрещения информоружия в резолюции отражения не получили. Но ее политическое значение определялось тем, что впервые проблематика МИБ вошла в повестку дня широких международных обсуждений. В рамках этого документа были названы угрозы, связанные с возможностью деструктивного потенциала ИКТ.

В заявлении делегации США по мотивам голосования в Первом комитете было подчеркнуто, что одобрение резолюции означало вступление международного сообщества в фазу решения задач, которые включают многие взаимосвязанные факторы, не относящиеся обычно к компетенции Первого комитета. Речь идет о технических аспектах экономического сотрудничества и торговли интеллектуальной собственностью, правоохранительной деятельности, борьбе с терроризмом. Традиционно подобные проблемы рассматривались в комитетах по экономическим, финансовым и правовым вопросам. При этом в заявлении Соединенных Штатов указывалось на полезность обсуждения действий не только правительств, но и корпораций, предприятий и личностей, действующих в частном секторе.

Вплоть до 2005 года российские резолюции по МИБ консенсусно принимались Генассамблеей ООН. Усилиями российской стороны положения резолюции развивались и наполнялись конкретными положениями. В принятой в 1999 году резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 54/49 впервые была сформулирована «триада угроз» в сфере МИБ: применение информационных технологий в (1) военных, (2) террористических и (3) преступных целях. Этот документ сформулировал, таким образом, *саму проблему незаконного использования информационно-коммуникационных технологий.*

В августе 1999 года МИД России, по согласованию с заинтересованными российскими ведомствами, направил в Секретариат ООН новый документ — «Принципы, касающиеся международной информационной безопасности». Речь шла о варианте кодекса поведения государств в информационном пространстве, который был призван создать морально-политическую базу для международных переговоров под эгидой ООН по данной проблематике. В этом документе содержались варианты определения международной информационной безопасности, угроз информационной сферы, информационного оружия, информационной войны, международного информационного терроризма и преступности. В нем также говорилось о пяти базовых принципах международной информационной безопасности, роли права, обязательствах и ответственности государств в информационном пространстве, а также возможной роли ООН в контексте общих усилий в этой области.

План обеспечения МИБ, предложенный Россией, включал в себя определение признаков и классификацию информационных войн, информационного оружия и относимых к нему средств воздействия. Проект предусматривал меры по ограничению оборота информационного оружия, запрещению разработки, распространения и применения особо опасных видов ИО, предотвращению угрозы информационных войн. В документе говорилось также о запрещении использования ИТ во враждебных целях и, в частности, против согласованных категорий объектов. 20 ноября 2000 года участники 55-й сессии Генассамблеи ООН единогласно приняли резолюцию № 55/28, в которой удалось сформулировать положение о необходимости изучения различных «концепций укрепления безопасности глобальных информационных и телекоммуникационных систем». *Это был уже шаг от констатации проблемы к поиску путей ее согласованного решения.*

В докладе Генерального секретаря ООН (A/56/164/Add.1 от 3 октября 2001 года) были названы основные угрозы личности, обществу и государству в информационном пространстве. К таким угрозам были отнесены:

— разработка и использование средств несанкционированного вмешательства в информационную сферу другого государства;
— неправомерное использование чужих информационных ресурсов и нанесение им ущерба;
— целенаправленное информационное воздействие на население иностранного государства;
— попытки доминирования в информационном пространстве;
— поощрение терроризма;
— ведение информационных войн.

Принципиально важным было решение 56-й сессии Генассамблеи ООН от 29 ноября 2001 года, нашедшее выражение в ее резолюции № 56/19. На этой основе в 2004 году была учреждена специальная группа правительственных экспертов для изучения проблемы международной информационной безопасности. В мандат группы вошло рассмотрение угроз в сфере информационной безопасности, возможных совместных мер по их устранению, а также проведение исследования концепций укрепления безопасности глобальных информационных и телекоммуникационных систем. В 2002 году Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о финансировании исследований на соответствующие цели, что позволило активизировать эту деятельность. *Исследовательская работа ООН была впервые поставлена на относительно систематическую основу.*

Информационное оружие и международная безопасность

Важно отметить, что порой довольно радикальные первоначальные позиции отдельных государств (от отказа признать существование проблемы МИБ до призывов к полному и немедленному запрещению информационного оружия) в течение 1999–2002 годов стали умереннее и прагматичнее. Это произошло благодаря многостороннему диалогу, разъяснению взаимных подходов, а также объективному развитию международной ситуации, в которой большинство стран мира стало осознавать свою уязвимость перед вредоносными информационными воздействиями. Отсюда — естественное стремление государств переориентироваться с обсуждения абстрактных опасностей на решение конкретных задач.

Всего за шесть лет обсуждения проблематики МИБ в ООН были представлены 33 доклада разных государств, в том числе 4 документа Российской Федерации. Помимо России соответствующие документы направили США, Великобритания, Австралия, Украина, Белоруссия,

Грузия, Швеция (от имени государств—членов Европейского Союза), КНР, Куба, Иордания, Мексика, Аргентина. Все эти доклады в конце концов признали наличие новой глобальной проблемы и необходимость обеспечения международной информационной безопасности.

При этом выявились различия в расстановке акцентов (военно-политическая, правовая, гуманитарная и другие составляющие), а также в предлагаемых методиках и форматах рассмотрения и решения проблемы. Официальные оценки продемонстрировали, что вопрос обеспечения информационной безопасности актуален для широкого круга стран. Решение данной проблемы невозможно, если не дополнять усилия отдельных стран созданием механизмов многостороннего сотрудничества.

8 декабря 2003 года Генассамблея ООН консенсусом приняла новую резолюцию по информационной безопасности (AVR.ES/58/32), согласно которой начал действовать механизм формирования рабочей группы правительственных экспертов (ГПЭ). В ее состав на основе принципа справедливого географического распределения вошли представители Российской Федерации, США, Великобритании, Франции, Китая, Германии, Белоруссии, Бразилии, Мексики, Иордании, ЮАР, Мали, Индии, Малайзии и Республики Корея. Председателем группы был избран российский эксперт, что свидетельствовало о признании инициативной роли Российской Федерации в обсуждении данной проблематики. Сессии ГПЭ в дальнейшем проходили в Нью-Йорке (2004), Женеве (2005) и снова в Нью-Йорке (2005).

С первого дня выявились расхождения в позициях стран. Главным оппонентом России оказалась делегация США. Для американской стороны ИКТ являются мощным средством наращивания военного потенциала. ИО активно применялось американцами в ходе всех вооруженных конфликтов последнего десятилетия. Соединенные Штаты заинтересованы в сохранении свободы рук для военно-политического применения ИКТ и желают оставаться, по сути дела, вне сферы регулирования международного права.

В ходе переговоров американцы делали акцент исключительно на технологических аспектах защиты информационных сетей, борьбы с терроризмом и криминалом. Они выступали за исключение из текста доклада Генерального секретаря ООН формулировок ограничительного характера и указаний на военно-политическую составляющую МИБ.

Страны ЕС при этом выказывали озабоченность, прежде всего, относительно защиты от информационных угроз для экономики. Для развивающихся стран приоритетными оказались вопросы собственного информационного развития и сокращения «цифрового разрыва» (*digital divide*).

Все члены ГПЭ, за исключением США, признали:

1) способность ИКТ быть эффективным средством оказания негативного воздействия на гражданские и военные сферы государства;
2) наличие мощного разрушительного потенциала информационных агрессий;
3) возможность осуществления враждебных действий в информационном пространстве со стороны и государств, и негосударственных субъектов (преступники, террористы);
4) существование у государств потенциалов для тайного использования киберпреступников;
5) необходимость принятия совместных усилий по снижению угроз и укреплению доверия в информационной сфере.

Однако решений принять не удалось: несогласие США сорвало консенсусное одобрение группой подготовленного проекта доклада Генерального секретаря ООН. В результате был принят «процедурный доклад», в котором лишь констатировался факт имеющихся разногласий.

Тем не менее проблематика МИБ заняла видное место в ходе международных дискуссий. Удалось не только сохранить обсуждение этой темы в Первом комитете, но и убедить в преимуществах коллективных мер ряд стран, связанных с США союзническими обязательствами. Несмотря на давление американской делегации, на Генассамблее ООН в декабре 2005 года российские предложения по вопросам МИБ поддержали Япония, Израиль, Южная Корея, Австралия и Канада.

ГПЭ является важным многосторонним механизмом рассмотрения темы МИБ. Генассамблея ООН приняла решение создать в 2009 году под эгидой Организации Объединенных Наций новую группу правительственных экспертов для дальнейшего рассмотрения вопросов МИБ. Ряд стран, ранее не участвовавших в работе группы, пожелали к ней присоединиться.

В 2006 году на 61-й сессии Генассамблеи российская делегация снова предложила свой вариант резолюции по МИБ, выдвинув его в качестве коллективной инициативы ряда стран Организации договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества. За российский проект высказались 176 государств, против голосовали только США.

Согласование позиций государств относительно объектов обеспечения международной информационной безопасности велось и по линии подготовки «Хартии глобального информационного общества» на встрече лидеров стран «группы восьми» в июле 2000 года на Окинаве (Япония). Тогда удалось зафиксировать: (1) признание ИКТ в качестве

основного фактора, формирующего общество XXI века; (2) готовность содействовать переходу к информационному обществу; (3) необходимость решения проблем, связанных с обеспечением безопасности использования этих технологий.

Для защиты инфраструктур жизнеобеспечения и информационных инфраструктур было решено привлекать представителей промышленности и негосударственных организаций, поскольку одни только правительства не способны обеспечить безопасность киберпространства. Особо была отмечена важность усилий каждого пользователя киберпространства для содействия обеспечению безопасности того участка пространства, которым он владеет или пользуется. Имелись в виду не только промышленные предприятия, но и организации всех секторов экономики, университеты, местные органы власти, а также граждане — пользователи системы Интернет.

Страны «группы восьми» пошли на закрепление в итоговом документе лишь вопросов целостности информационных сетей и пресечения преступлений в компьютерной сфере, обойдя военно-политическую составляющую МИБ. Проблема военного применения ИКТ государствами не была отражена, хотя военный аспект использования информационных средств является первостепенным.

Проблематика МИБ обсуждалась на Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО). Первый этап этой встречи проходил в декабре 2003 года в Женеве, второй — в ноябре 2005 года в Тунисе. Важную роль в ее популяризации сыграла прошедшая в Марракеше (Марокко, сентябрь—октябрь 2002 года) 16-я Полномочная конференция Международного союза электросвязи.

В качестве одной из мер, возможных для изучения в ходе подготовки к ВВУИО, страны назвали рассмотрение существующих и потенциальных угроз для безопасности информационных и коммуникационных сетей.

Участники ВВУИО также согласились внести вклад в реализацию усилий ООН, направленных на оценку состояния информационной безопасности, а также в рассмотрение вопроса о разработке (в долгосрочной перспективе) международной конвенции по безопасности в среде информационных сетей и сетей связи.

Нашедшие отражение в документах МСЭ формулировки по МИБ в дальнейшем легли в основу положений итоговых документов региональных конференций ВВУИО: общеевропейской (Бухарест, 7–9 ноября 2002 года) и азиатской (Токио, 13–15 января 2003 года). Включение формулировок по МИБ в декларации этих подготовительных встреч заложило основу для закрепления этой проблематики в повестке дня саммита и в его итоговых документах. В частности, был зафиксирован прин-

цип универсального и недискриминационного доступа к ИКТ для всех стран, которые поддерживают деятельность ООН, направленную на предотвращение использования ИКТ в целях, несовместимых с задачами международной стабильности и способных оказать отрицательное воздействие на безопасность государств. Было сказано о необходимости предотвратить попытки использовать информационные ресурсы и технологии в преступных и террористических целях.

В качестве мер укрепления доверия и безопасности при использовании ИКТ авторы «Плана действий» выделяли содействие сотрудничеству в рамках ООН в целях анализа реальных и потенциальных угроз в области ИКТ; решение вопросов безопасности сетей; изучение проблем совершенствования законодательства; проведение эффективных расследований и пресечение случаев ненадлежащего использования ИКТ. Говорилось о взаимопомощи в сфере профилактики компьютерных инцидентов, поощрении участия в деятельности ООН по укреплению доверия при использовании ИКТ.

В ходе работы конференции МСЭ в ноябре 2006 года в Турции было уделено много внимания вопросам борьбы против использования ИКТ в целях разрушения. Участники встречи договорились создать специальный механизм — рабочую группу совета МСЭ — для проведения регулярных исследований по соответствующей проблематике и определению терминов, относящихся к технической сфере деятельности МСЭ. Группе было поручено представить доклад совету МСЭ в 2009 году.

Международное сотрудничество в сфере информации

Состоявшийся в Тунисе в ноябре 2005 года второй этап Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества одобрил два итоговых документа: политический («Тунисское обязательство») и юридический («Тунисская программа для информационного общества»). Первый подтвердил и конкретизировал положения одобренной женевским этапом ВВУИО декларации принципов «Построение информационного общества — глобальная задача в новом тысячелетии»[6]. Второй документ определил механизмы реализации решений саммита, финансовые аспекты и вопросы управления Интернетом.

Главным и наиболее острым в ходе обсуждения стал вопрос о регулировании использования Интернета. Основная проблема заключалась в нежелании США отказаться от контроля над этой информационной сетью в пользу международного сообщества. Между тем она превратилась в основной элемент инфраструктуры глобального информационного об-

щества. Наиболее жестко на интернационализации управления Интернетом и его ресурсами настаивали развивающиеся страны, которые поддержал Евросоюз. Россия выступала за то, чтобы ни одно правительство не играло определяющей роли в этом вопросе, предлагая сделать управление сетью многосторонним, прозрачным и демократичным, с привлечением межправительственных и международных организаций.

Саммит поддержал эти принципы. Он принял важнейшее решение о начале процесса интернационализации управления Интернетом при обеспечении стабильности, безопасности и непрерывности функционирования этой глобальной информационной системы. Процесс стартовал в Афинах, где в октябре—ноябре 2006 года было проведено первое заседание Форума по вопросам управления Интернетом (ФУИ). Второе собрание прошло с 12 по 15 ноября 2007 года в Бразилии[7].

В Тунисе серьезное внимание уделялось вопросам безопасности. В итоговые документы саммита был включен предложенный Россией пункт о том, что ИКТ являются эффективным инструментом содействия делу мира, безопасности и стабильности. В документах также говорилось о недопущении злоупотреблений информационными ресурсами и технологиями. Помимо этого в них подтверждалась необходимость общего понимания участниками целей построения глобального информационного общества.

В итоговых документах второго этапа ВВУИО были отражены (не в последнюю очередь благодаря усилиям России) положения, подтверждающие значимость международного права, национального законодательства и суверенитета. Кроме того, российской делегации удалось отстоять положение о признании ведущей роли правительств в процессе, инициированном ВВУИО.

Новым этапом в мобилизации союзников ради выработки правил обеспечения МИБ на международной арене и организации практического сотрудничества в этой области стало заседание совета ШОС 15 июня 2006 года. Главы государств этой организации приняли заявление по международной информационной безопасности. Руководители России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана признали реальную опасность использования ИКТ против интересов безопасности человека, общества и государства в нарушение принципов равноправия и взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела государств, мирного урегулирования конфликтов и неприменения силы. В заявлении ШОС подчеркивалось, что угрозы использования ИКТ в преступных, террористических и военно-политических целях могут реализовываться в гражданской и военной сферах, приводя к тяжелым политическим и социально-экономическим последствиям.

Негативные последствия деструктивного применения информационных технологий преступниками и террористами, а также отдельными государствами для решения военно-политических задач могут затрагивать интересы многих стран, приобретая глобальный масштаб. Подобное использование ИКТ может вызывать катастрофы, сопоставимые по разрушительным последствиям с результатом применения оружия массового уничтожения. В таком контексте главы государств ШОС договорились о возможности проведения совместных мер по устранению информационных угроз при соблюдении норм международного права.

В октябре 2006 года состоялось учредительное заседание Группы экспертов государств-членов ШОС по МИБ. В заседании приняли участие представители Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Киргизской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. Группе экспертов было поручено выработать к саммиту ШОС 2007 года план действий и определить возможные пути решения проблемы МИБ в рамках компетенции стран-членов организации. Председателем группы консенсусом был избран российский эксперт.

По сути дела, страны ШОС, реагируя на угрозу переговорного тупика в соответствующей сфере на уровне ООН, заложили основу регионального сотрудничества в вопросах обеспечения информационной безопасности. Политико-дипломатические последствия этого шага могут быть самыми разнообразными.

Разработка политико-правовой базы сотрудничества в обеспечении международной информационной безопасности идет медленно и крайне сложно. Международное сообщество сталкивается со старой проблемой — несовпадением интересов стран в вопросах кодификации деятельности в информационной сфере, которая, как уже общепризнано, стала важнейшей сферой обеспечения национальной и международной безопасности и в этом смысле крайне чувствительной областью взаимоотношений между странами.

Работа над договоренностями тем не менее поэтапно продолжается. Каждый последующий документ опирался на предыдущий; параллельно принимались общие принципы деятельности государств в соответствующих областях. В случаях когда достичь согласия относительно обязательных норм оказывается сложно, находятся иные, менее обязывающие и поэтому более приемлемые формы регулирования:

— кодексы поведения (например, по предотвращению распространения баллистических ракет);

— руководящие принципы (например, правила, публикуемые Группой ядерных поставщиков);
— меморандумы о намерениях (как это происходит в сфере нераспространения ракетных технологий).

Эти компромиссы ориентированы в некоторых случаях на достижение юридически обязывающих договоренностей. Документы такого типа можно было бы использовать как основу для будущей многосторонней конвенции о создании универсального режима международной информационной безопасности. Основой такого режима могло бы стать всеобщее обязательство не прибегать к действиям в информационном пространстве. Речь, таким образом, идет об отказе от действий, целью которых служит нанесение ущерба информационным системам, процессам и ресурсам другого государства с целью подрыва политической, экономической и социальной систем через психологическую обработку населения.

Примечания

[1] Региональное содружество в области связи (РСС) было создано 17 декабря 1991 года по инициативе Администраций связи 11 государств с целью широкого сотрудничества и проведения согласованных действий этих государств в области электрической и почтовой связи. В соответствии с Соглашением о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи, подписанным правительствами государств — участников СНГ (Бишкек, 9 декабря 1992 года), РСС одобрено как межгосударственный координирующий орган. РСС официально признано наблюдателем в Международном союзе электросвязи и Всемирном почтовом союзе — специализированных учреждениях ООН по связи. Высшим органом РСС является Совет глав Администраций связи. Постоянно действующим исполнительным органом РСС является Исполнительный комитет, который находится в Москве. Официальный сайт организации: <http://www.rcc.org.ru>. — *Прим. ред.*

[2] Дипломатический вестник МИД России. 1999. № 10. С. 13–14.

[3] UN Doc. A/C/1/53/3. 30 сентября 1998. С. 2–3.

[4] Ibid. С. 4–5.

[5] UN Doc. A/Res./53/70. 4 января 1999. С. 1–2.

[6] В документе подчеркивалась значимость ИКТ для преодоления «цифрового разрыва» в мире и необходимость сотрудничества на международном, региональном и национальном уровнях в целях построения глобального информационного общества.

[7] В работе форума участвовала межведомственная делегация РФ под руководством и.о. директора департамента стратегии построения информационного общества Минин-формсвязи Владимира Васильева. В состав делегации вошли представители Администрации президента РФ, Совета безопасности, МИД России, ФСБ России, а также представители российского частного сектора и научных организаций. По итогам форума был подготовлен заключительный документ «Резюме председателя форума по управлению использованием Интернет», в котором нашло отражение предложение России о создании в рамках форума рабочей группы по переходу системы управления использованием Интернета под контроль международного сообщества. — *Прим. ред.*

Глава 26

Конкуренция в космосе и международная безопасность

К концу первого десятилетия XXI века попытки кооперационного освоения космического пространства сменились «космической гонкой»[1]. Великие державы рассматривают деятельность в космосе как путь к созданию военных технологий и приобретению выгодных стратегических позиций. Второе рождение получают проекты милитаризации околоземного пространства и достижения победы в военных конфликтах посредством широкого использования аэрокосмических систем[2]. Развитие этих тенденций угрожает подрывом норм космического права, повышением опасности возникновения военных столкновений в ближнем космосе и деградацией системы взаимно гарантированного уничтожения. Назревает пересмотр относительно кооперационных принципов использования космоса в пользу конкурентных.

Понятие космической безопасности

В современной политической теории понятие «космическая безопасность» (*space security*) имеет несколько значений[3]. В 1950-х годах этот термин обозначал способность предотвратить достижение оппонентом военного превосходства в космосе[4]. Всплеск интереса к проблематике космической безопасности произошел в 1980-е, когда американская программа «стратегической оборонной инициативы» (СОИ) вызвала международное движение против милитаризации космоса[5]. На официальном уровне данное понятие закрепилось в 2004 году. Тогда в Министерстве обороны США был создан Отдел национальной космической безопасности (*National Security Space Office*). Это событие породило волну публикаций о проблемах безопасности космического пространства[6].

В начале XXI века в официальном лексиконе[7] понятие «космическая безопасность» обозначает:

— техническую и правовую защищенность космических активов;
— способность вооруженных сил защищаться от нападения с использованием космических систем навигации и связи (аэрокосмическая безопасность);
— отсутствие угроз для научной, телекоммуникационной, а в перспективе — и экономической деятельности в космическом пространстве;
— состояние космической инфраструктуры, которое считается «безопасным» с точки зрения интересов государства.

Каждое из этих определений подразумевает ситуацию, в которой возникает угроза для космических аппаратов. Источником опасности могут выступать действия враждебного субъекта, природные помехи или столкновения с космическим мусором[8]. Особую группу угроз составляет произвольное толкование правовых норм или попытки оппонента помешать ведению деятельности в космосе.

В целом, космическая безопасность предстает как способность субъекта контролировать часть космического пространства и осуществлять в нем определенную деятельность, не подвергаясь при этом внешнему давлению, угрозам или нападению со стороны оппонентов[9].

На этой основе возник ряд исследовательских направлений, которые по-разному трактуют механизмы обеспечения космической безопасности. Сторонники *глобального институционализма*[10] утверждают, что для ведения безопасной деятельности в космосе нужно создать наднациональные институты управления космическим пространством. Представители *космического национализма*[11] заявляют о необходимости разработать системы защиты космических активов. Теория *технологического детерминизма*[12] предусматривает, что прогресс в освоении космоса усилит контроль над деятельностью отдельных субъектов подобно тому, как в прошлом это произошло в сфере освоения электричества и атомной энергии. В рамках школы *социального взаимодействия*[13] космическая политика рассматривается как совокупность интересов различных субъектов — от государственной бюрократии до научных центров и лоббистских групп. Все перечисленные подходы соотносят понятие космической безопасности с определенной моделью поведения государств.

В последней трети прошлого века «космические державы» строили свою политику на основе модели многостороннего диалога. Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства 1967 года («Договор о Луне») установил нормы межгосударственного взаимодействия в этой сфере. Важнейшими

из них были исследование и использование космоса в интересах всего человечества, равенство всех стран при проведении космических исследований, ведение космической деятельности в соответствии с международным правом, а также запрет на присвоение космического пространства государствами. Особое место занимали положения об использовании небесных тел исключительно в мирных целях, а также о запрещении вывода в космос и установки на небесных телах объектов с оружием массового поражения (ОМП). Этот документ был позднее дополнен серией соглашений, которые уточняли правила проведения космических исследований — от изучения небесных тел до проведения дистанционного зондирования Земли. Не все договоры были обязательны к исполнению и свободны от внутренних противоречий. Тем не менее они учреждали механизмы межгосударственных консультаций, на базе которых возникли кооперационные схемы взаимодействия в использовании космоса в мирных целях.

Принципы сотрудничества складывались и служили основой понимания космической безопасности в период, когда государства осуществляли только эпизодические проекты изучения ближайших небесных тел и околоземного пространства. Однако в 2000-х годах, с реализаций новых технологических проектов освоения космоса, положение изменилось. Государства и крупные коммерческие компании получили возможность осуществлять эффективный контроль над определенными сегментами космического пространства[14]. На первый план вышли незаметные прежде правовые лакуны договора 1967 года[15].

Во-первых, в международном праве отсутствует *определение космического пространства*. Большинство государств, включая Россию, вслед за Международной федерацией аэронавтики считают, что граница между воздушным и космическим пространством проходит на высоте 100–120 км над уровнем моря. США придерживаются иного — функционального — подхода. В соответствии с ним нет необходимости устанавливать границу между двумя пространствами. Лучше различать авиационную и космическую деятельность в зависимости от типа используемого аппарата. Это открывает возможности для провозглашения государствами суверенитета над пограничными слоями космоса, выдавая их за «верхние слои атмосферы».

Во-вторых, серьезную проблему представляют *спорные сегменты космического пространства*. Еще в 1976 году экваториальные страны заявили, что рассматривают геостационарную орбиту как продолжение геомагнитного поля Земли и требуют распространить на нее свой суверенитет. С такими претензиями не согласны «космические страны», рассматривающие эту орбиту как часть космоса. Не до конца прояснен-

ной остается ситуация вокруг статуса небесных тел. «Соглашение о Луне» 1979 года[16] распространило нормы международного права на все небесные тела (кроме Земли), включая их орбиты. Но этот документ ратифицировали лишь несколько государств, среди которых нет постоянных членов Совета Безопасности ООН. Теоретически здесь заложены правовые коллизии с «Договором о Луне» 1967 года, который фиксировал нейтральный статус небесных тел, но не объявлял об их принадлежности какому бы то ни было субъекту.

В-третьих, сложный комплекс проблем порождает *коммерциализация космической деятельности*. Основные проекты изучения космоса традиционно реализовывали государства. С развитием телекоммуникационных технологий, метеорологии, спутниковой связи, систем дистанционного зондирования Земли и рынка коммерческих запусков орбитальных аппаратов все более весомую роль приобретает космический бизнес[17]. Коммерческие компании выводят свои спутники или покупают у государства услуги, предоставляемые его орбитальной группировкой. Новый ракурс эта проблема получила в связи с появлением проектов космического туризма на основе частных суборбитальных аппаратов и космодромов. Однако международных правил ведения коммерческой деятельности в космосе нет. Применимы ли нормы «Договора о Луне» к транснациональным компаниям, если они не являются его участниками?

В-четвертых, большую опасность представляет *проблема вывода в космос ударных боевых платформ и/или развития противоспутниковых технологий*. «Договор о Луне» запрещал выводить в космическое пространство все виды ОМП. Но в документе не говорилось о запрете на размещение в космосе обычных вооружений или оружия на новых физических принципах[18]. Между тем, в соответствии с функциональным подходом к определению космоса, боевые платформы можно выводить в ближний космос, выдавая их за системы «высоковоздушного» перехвата. Возникает тенденция к милитаризации космического пространства без формального нарушения условий Договора 1967 года.

Под воздействием этих процессов в политической науке растет интерес к изучению альтернатив старой системы космической безопасности[19]. «Националисты» утверждают, что великие державы будут развивать противоспутниковое оружие и системы защиты космических объектов. Сторонники технологического детерминизма прогнозируют обострение межгосударственного соперничества на околоземных орбитах. «Институционалисты» надеются на прогресс кооперационных форм освоения космоса. Сторонники «социального взаимодействия» опасаются излишней коммерциализации ближнего космоса.

Выдвигаемые теории космической безопасности выглядят сегодня как попытки проработать варианты поведения «космических держав» на случай пересмотра принципов использования космического пространства.

На протяжении последних двух десятилетий политики пытались опробовать эти рекомендации. «Первая космическая гонка» СССР и США в начале 1960-х годов сменялась попытками управления космическим пространством на основе сотрудничества в 1980-х годах. В следующем десятилетии возникла конкуренция в сфере создания системы контроля за пусками баллистических ракет. В 2000-х годах последовала ее новая вспышка в связи с успехами в освоении небесных тел и началом процесса милитаризации ближнего космоса.

Ситуация 1990-х годов содержала в себе потенциал сотрудничества в деле обеспечения международной космической безопасности. Но в начале нынешнего столетия влияние приобрели технократический и националистический подходы. Они привели к началу «второй космической гонки» и повышению вероятности попыток раздела космоса на сферы влияния великих держав.

Международное сотрудничество в освоении космоса

После распада СССР российские и американские политики задумались над трансформацией «космической гонки» в политику со-освоения космического пространства. Первый шаг в этом направлении был сделан в ходе совместного полета космических кораблей «Союз-19» и «Аполлон» (1975). После запуска Соединенными Штатами автоматических станций для изучения газовых планет Солнечной системы (1977) и испытания ими многоразовой транспортной системы «Спэйс-Шаттл» (1981) космическая гонка возобновилась. Однако к концу 1980-х годов сторонам стала понятна бесперспективность ее продолжения: ни одна из сверхдержав не достигла превосходства в военно-космической сфере. К тому же СССР и США ощутили общность интересов перед лицом конкуренции со стороны Европейского космического агентства (ЕКА). Возникли проекты совместного изучения космического пространства силами нескольких держав.

Прекращение «первой космической гонки» во многом было связано с решением Советского Союза отказаться от орбитальных баллистических ракет. По условиям Договора ОСВ-2 (1979) СССР и США обязались не создавать, не испытывать и не развертывать частично орбитальные ракеты. Единственной системой подобного класса в то время были советские баллистические ракеты РС-36орб (SS-9 Mod 3 «Scarp») с неограниченной дальностью полета в пределах одного витка вокруг Земли.

В 1983 году они были сняты с боевого дежурства. По условиям Договора СНВ-1 (1991) СССР отказался также от межконтинентальной баллистической ракеты РС-18А (SS-19 «Stilet»), которая, имея дальность полета до 10 000 км, теоретически могла рассматриваться как частично орбитальная. На ее основе были созданы ракеты-носители «Стрела» и «Рокот». Действия СССР доказали, что развитие ракетно-космических технологий не обязательно ведет к милитаризации космического пространства.

Параллельно Соединенные Штаты стали разрабатывать проекты космического сотрудничества на основе орбитальных станций. Еще в 1984 году НАСА объявила о намерении создать станцию «Фридом». В 1986 году Вашингтон привлек к этой работе ЕКА, Канадское космическое агентство и Японское агентство аэрокосмических исследований. Но реализовать эту идею на тот момент не удалось. Ни один из участников проекта не имел технических ресурсов для создания космических станций нового поколения[20]. На этом фоне запуск СССР первого модуля орбитальной станции «Мир» («Салют-8») 19 февраля 1986 года был воспринят как заметное отставание США в области освоения ближнего космоса.

В начале 1990-х годов интерес к международным программам развития космонавтики проявила и Российская Федерация. Причиной тому стало сокращение финансирования российских космических исследований в условиях структурного кризиса экономики. США, со своей стороны, также были заинтересованы в развитии такого партнерства, отдавая должное советскому опыту в создании орбитальных станций. 17 июня 1992 года президенты Б. Н. Ельцин и У. Клинтон подписали в Вашингтоне соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Проблемы сотрудничества в космосе стали регулярно обсуждаться на заседаниях межправительственной «комиссии Гора—Черномырдина».

Особую роль в развитии партнерства сыграла частичная коммерциализация российской космической промышленности. Федеральное космическое агентство России (Роскосмос) приватизировало часть акций принадлежащих ему предприятий. На их основе было создано несколько коммерческих предприятий: «Интернешнл лонч сервис» (Россия—США), «Си Лонч» (Россия—США), «Стерсем» (Россия—ЕС) и «Еврокот» (Россия—ЕС). Новые объединения стали использовать российские ракеты-носители для реализации коммерческих запусков орбитальных аппаратов. В такой ситуации американские и западноевропейские партнеры меньше опасались попыток российских военных восстановить контроль над космической промышленностью и потому легче шли на разработку совместных проектов.

Первым шагом к развитию российско-американского сотрудничества стала запущенная 5 октября 1992 года совместная программа Роскосмоса и НАСА[21] «Мир—Шаттл». Российские космонавты стали доставляться на орбитальную станцию «Мир» американскими кораблями системы «Спэйс-Шаттл», а американские астронавты проводили на ней научные экспедиции. До затопления «Мира» 23 марта 2001 года было осуществлено семь кратковременных экспедиций, в ходе которых к станции были пристыкованы три модуля и состоялись визиты 34 американских астронавтов[22].

Другим направлением российско-американского партнерства стало привлечение России к проектам развития космической связи. К началу 1980-х годов в Канаде, Японии, Скандинавских странах, Испании, Британии и США были развернуты системы мобильной спутниковой связи для гражданских пользователей. В 1991 году американские телекоммуникационные корпорации «Loral Space and Communications» и «Qualcomm» учредили с этой целью международный консорциум «Глобалстар». Россия отставала на рынке гражданских спутниковых технологий: первая линия мобильной связи появилась в нашей стране только в 1990 году. В такой ситуации ОАО «Ростелеком» и консорциум «Глобалстар» создали в 1996 году ЗАО «ГлобалТел» — эксклюзивного оператора системы связи «Глобалстар» в России. Новые формы сотрудничества позволили покрыть большую часть российской территории мобильной спутниковой связью и частично сохранить государственный контроль над ее использованием[23].

На базе этих проектов Москва и Вашингтон преобразовали проект «Фридом» в идею строительства Международной космической станции (МКС)[24]. Это предложение Роскосмоса вызвало летом 1993 года серьезные дебаты в США. Однако администрация У. Клинтона стремилась «повязать» Россию серией стабилизирующих соглашений. 2 сентября 1993 года вице-президент США А. Гор и председатель правительства России В. С. Черномырдин объявили о намерении создать «подлинно международную» космическую станцию. 1 ноября 1993 года Роскосмос и НАСА подписали «Детальный план работ по строительству МКС». 23 июня 1994 года был утвержден план участия России в строительстве Международной космической станции. 29 января 1998 года пятнадцать стран подписали межправительственное соглашение о космической станции, в котором провозглашался переход к системе «искреннего партнерства» в космосе. Участники проекта закрепили за НАСА статус назначенного управляющего МКС.

Ключевую роль в создании МКС сыграли Россия и США. С ноября 1998 года Роскосмос и НАСА вывели на орбиту ключевые модули МКС. Грузовым транспортом для снабжения станции стали корабли «Спэйс-

Шаттл», «Союз» и «Прогресс». Но вопреки опасениям станция не стала формой сохранения российско-американской монополии на космические исследования. Другие субъекты получили возможность реализовывать проекты изучения космического пространства. Европейское космическое агентство вывело на орбиту свой исследовательский модуль «Коламбус»[25] и создало грузовой космический корабль типа «ATV»[26]. Япония с помощью НАСА пристыковала к станции экспериментальный модуль «Кибо» и также предполагает запустить к станции беспилотный многоразовый корабль «HTV»[27]. Канада поставила на МКС мобильную систему техобслуживания. Возник задел для широкого участия ЕКА, Японии и Канады в совместных с Россией и США проектах освоения космического пространства.

Российско-американское взаимодействие в космосе стало охватывать даже военную сферу. Москва и Вашингтон в 1992 году запустили программу создания российско-американской спутниковой системы наблюдения (*Russian-American Observation Satellite, RAMOS/PAMOC*). Речь шла о совместной эксплуатации на орбите двух спутников дистанционного зондирования Земли, способных проводить стереоскопическое наблюдение за пусками баллистических ракет. Весной 1995 года Россия и США начали проводить эксперименты в околоземной атмосфере с использованием самолетов-лабораторий и космических аппаратов из состава своих орбитальных группировок[28]. Реализация этой цели позволила бы создать центр наблюдения за ракетными пусками и одновременно повысить точность целеуказания для противоракет. В этой связи на саммите в Хельсинки 21 марта 1997 года президенты обеих стран договорились о сотрудничестве Агентства по противоракетной обороне при Министерстве обороны США с российским Научно-производственным центром «Комета». Российская сторона обеспечивала материально-технический, а американская — финансовый аспекты проекта.

К концу 1990-х Россия и США стали подключать программу РАМОС к режиму контроля над ракетными технологиями. 2 сентября 1998 года президенты У. Клинтон и Б. Н. Ельцин подписали Совместное заявление об обмене информацией о пусках ракет и раннем предупреждении. 20 июня 1999 года на саммите стран «группы восьми» в Кельне Россия предложила расширить РАМОС до глобальной системы контроля за нераспространением ракет и ракетных технологий (ГСК). 4 июня 2000 года президенты У. Клинтон и В. В. Путин подписали меморандум о создании в Москве совместного центра обмена данными, поступающими от систем раннего предупреждения, и взаимном уведомлении о пусках баллистических ракет[29]. Это решение было одобрено 15 февраля 2001 года на московской встрече экспертов по созданию ГСК.

Однако 13 июня 2002 года Соединенные Штаты вышли из Договора по ПРО. С этого времени Вашингтон стал терять интерес к реализации совместных с Россией космических инициатив. 13 февраля 2004 года Пентагон объявил о завершении участия в программе РАМОС. Вскоре была заморожена и система взаимодействия в рамках центра «Комета». Растущие российско-американские противоречия в стратегической сфере не позволили начать строительство центра обмена данными о пусках баллистических ракет.

Параллельно обозначились трудности вокруг проекта МКС. В Америке возросло число скептиков, утверждающих, что финансирование станции не позволяет создать космические корабли нового типа для пилотируемых полетов к Луне и Марсу. Российские ученые ставят вопрос о создании собственной орбитальной станции «Мир-2» и сокращении финансирования проекта. Критика МКС появляется и в Японии, где реализуется свой проект развития космонавтики. Подобный выбор в перспективе может возникнуть и перед Европейским космическим агентством.

Международная космическая станция и система контроля над пусками баллистических ракет могли стать прообразом кооперационной формы использования космического пространства. Они доказали возможность реализации положений Договора 1967 года о международном статусе космического пространства. Однако в 2000-х годах *реализация национальных проектов стала вновь считаться более перспективной, чем международное сотрудничество в космическом пространстве*. Возникла опасность маргинализации международного сотрудничества в космосе на узком сегменте МКС.

Нарастание космического соперничества

Официальной датой начала «второй космической гонки» считается рубеж 2003 — 2004 годов[30]. Толчком к ее началу послужили успехи Китая[31] в области непилотируемой и пилотируемой космонавтики. В марте 2003 года КНР вывела на орбиту автоматический космический корабль «Шэньжоу-3». 15 октября 2003 года состоялся первый китайский пилотируемый полет в космос на корабле «Шэньжоу-5». Эти события вызвали болезненную реакцию США[32]. 14 января 2004 года президент Дж. Буш заявил о запуске новой программы космических исследований, включавшей в себя организацию в ближайшее десятилетие пилотируемых полетов на Луну и Марс. Россия, ЕКА, отчасти Индия и Япония были вынуждены скорректировать свои космические приоритеты.

Под воздействием успехов КНР ряд стран «третьего мира» также ускорили развитие своих космических программ. Индия запустила в

2001 году трехступенчатый ракетоноситель «GSLV»[33] и разместила семь искусственных спутников на полярных орбитах Земли. Бразилия 23 октября 2004 года вывела модель двухступенчатой ракеты «VSB-30»[34] на границу атмосферы с космическим пространством. Иран с помощью России вывел в 2005 году на орбиту свой первый исследовательский спутник «Синах-1», а 17 августа 2008 года объявил об успешном испытании ракетоносителя «Посланник надежды». Саудовская Аравия вела в 2003–2004 годах переговоры с американской компанией «Space Adventures» о строительстве на ее территории первого частного космодрома и стала запускать свои спутники с арендуемого Россией у Казахстана космодрома «Байконур». Интерес к развитию непилотируемой космонавтики проявили Австралия и Аргентина, Британия и Германия, Венгрия и Израиль, Индонезия и Испания, Южная Корея и Малайзия, Таиланд и Пакистан.

Особую роль в расширении космического клуба сыграло взаимодействие новичков с великими державами. ЕКА подписало соглашения о сотрудничестве в области создания системы спутниковой навигации и связи с Китаем, Израилем, Южной Кореей и Украиной. Вьетнам с помощью Франции вывел на орбиту спутник «Vinasat-1». Россия реализует программу космического партнерства с Израилем, запустив в космос его спутники «Eros-A» (2000) и «Eros-B» (2006). Российская корпорация «Воздушный старт» сотрудничает с индонезийской компанией «Air Launch Aerospace Indonesia» по запуску спутников с борта тяжелого транспортного самолета АН-124 «Руслан». Роскосмос ведет также переговоры с Австралией о совместном строительстве космодрома на острове Рождества (Тихий океан). Летом 2002 года стороны были близки к заключению соглашения, однако австралийская компания «Asia Pacific Space Center» (не без влияния США) отказалась от его подписания.

По пути распространения космических технологий идет и КНР. Еще в 1992 году Китай предложил создать региональную организацию по сотрудничеству в области мирного освоения космического пространства. В 2003 году КНР и Бразилия запустили спутник дистанционного зондирования Земли «CIBER»[35]. 7 сентября 2008 года китайская ракетаноситель вывела в космос совместный исследовательский спутник Ирана, Таиланда и КНР. Осенью 2008 года Китай построил и вывел на орбиту спутник «Симон Боливар» — первый совместный проект стран Латинской Америки в области космонавтики.

Ключевым направлением «второй космической гонки» стал возродившийся интерес к проектам освоения Луны. Эксперты заявляют о существовании на Луне редкого изотопа гелия-3, который необходим для создания реакторов на основе термоядерного синтеза. В 1994–1999 годах США высадили на лунную поверхность автоматические

межпланетные станции «Clementine» и «Lunar Prospector», которые составили глобальную карту элементарного состава Луны и обнаружили лед на ее южном полюсе. Подобную деятельность осуществляла в 2003–2006 годах принадлежащая ЕКА станция «SMART-1»[36]. Япония и Китай запустили осенью 2007 года автоматические аппараты «Кагуйя» и «Чанъэ-1» для аэрофотосъемки Луны. 22 октября 2008 года Индия отправила более совершенный спутник «Чандраян-1» для дистанционного зондирования спутника Земли в поисках минералов, воды и гелия-3. В ближайшее время к ним планирует присоединиться и Россия, запустив в 2010–2012 годах свой спутник «Луна-Глоб».

Существуют и более масштабные проекты. Соединенные Штаты планируют создать к 2016 году космические корабли типа «Орион/Созвездие», на базе которых предполагается совершать пилотируемые лунные экспедиции. В России для достижения аналогичных целей РКК «Энергия» разрабатывает проекты многоразового корабля «Клипер» и межорбитального буксира «Паром». Представители обеих стран заявили о возможности строительства в 2020-х годах обитаемых лунных баз. В 2030-х годах свою лунную базу планирует ввести в строй Японское космическое агентство. Китай намерен начать пилотируемое освоение Луны примерно в 2040-х годах. О намерении создать на Луне беспилотную научно-исследовательскую базу заявила в декабре 2008 года и Британия.

Жесткое соперничество разворачивается вокруг исследования Марса. 4 июля 1997 года НАСА высадила на его поверхность непилотируемый аппарат «Mars Pathfinder» и марсоход «Sojourner», однако связь с ними вскоре была потеряна. В 1999 году Вашингтон попытался доставить на Марс три аппарата, но они потерпели крушение. Только в 2000-х годах США удалось реабилитироваться. В январе 2004 года на марсианскую поверхность были доставлены управляемые марсоходы «Spirit» и «Opportunity». На марсианские орбиты были выведены космические аппараты «Mars-Odyssey» (2001) и «Mars Reconnaissance Orbiter» (2005). 25 мая 2008 года США доставили на Марс автоматическую станцию «Феникс» для изучения состава марсианской воды. Однако 2 ноября 2008 года связь с ней была потеряна, и НАСА заявила о прекращении его миссии. Это событие несколько пошатнуло лидирующую роль Америки в изучении «красной планеты».

Менее удачными были попытки исследования Марса другими странами. Япония в 1998 году не сумела доставить на планету зонд «Нодзоми». Европейское космическое агентство в 2003 году отправило с помощью российского ракетоносителя «Союз-ФГ» космический аппарат «Марс-экспресс». Но по объему выполняемых задач аппарат ЕКА уступает американским марсоходам. Роскосмос ограничился проведением

в ноябре 2007 года эксперимента «Марс-500», который моделировал пилотируемый полет на эту планету. Участие в нем приняли наблюдатели ЕКА.

Похожее соперничество складывается и вокруг Венеры. Еще в 1980-х годах НАСА разработала проект полного картографирования этой планеты. С этой целью 4 мая 1989 года к Венере была запущена американская межпланетная станция «Магеллан». В 1990–1994 годах она подробно исследовала венерианскую поверхность, включая эксперименты по изучению гравитационного поля и апробацию технологии атмосферного торможения. Однако 12 октября 1994 года контакт с «Магелланом» при не вполне ясных обстоятельствах[37] был утерян. С этого времени США больше не осуществляли крупных венерианских проектов.

Спадом американского интереса к Венере воспользовались Европейское космическое агентство и Россия. В июне 2003 года ЕКА и компания «Старсем» заключили соглашение о совместной отправке аппарата «Венера-экспресс» для изучения венерианской поверхности. 9 ноября 2005 года он был запущен с космодрома Байконур российской ракетой-носителем «Союз-ФГ». В 2006–2008 годах «Венера-экспресс» проводила детальное картографирование поверхности этой планеты, передавая полученные данные в Европейский центр управления космическими аппаратами (Оберфафенхофен, Германия). На основе этой информации сотрудники Института геохимии и аналитической химии РАН составили в феврале 2008 года подробную геологическую карту Венеры. Возникла своеобразная конкуренция между американскими проектами исследования Марса и деятельностью России и ЕКА по изучению Венеры.

Неудачи на Венере США пытаются наверстать изучением Меркурия. Интерес к изучению этой планеты возник сравнительно недавно из-за появившихся сведений о существовании на Меркурии ледяных полюсов и большого количества солнечной энергии («пиков вечного света»). Для проверки этих сведений НАСА запустила 3 августа 2004 года к Меркурию аппарат «Мессенджер». 14 января 2008 года он совершил первый пролет мимо планеты и передал полученные фотографии на Землю. В ответ 2 марта 2008 года ЕКА и Япония подписали соглашение о запуске совместного проекта «БепиКоломбо», который предусматривает запуск к Меркурию двух межпланетных аппаратов в 2013 году.

Объектом «новой космической гонки» становятся даже отдаленные планеты-гиганты. В 1990-х годах НАСА сделала ставку на проекты изучения газовых планет совместно с ЕКА. В 1990 году к Юпитеру был отправлен аппарат «Улисс». В 1997 году похожий аппарат «Кассини-Гюйгенс» стартовал для изучения Сатурна. Теперь Соединенные Штаты

возвращаются к самостоятельному изучению газовых планет. 19 января 2006 года НАСА запустила аппарат «Новые горизонты» для изучения Плутона и его спутника Харона. В запасе у Вашингтона есть проект станции «Юнона» для изучения спутников Юпитера. Подобные миссии США вызвали дискуссии в России и ЕКА о возможном запуске своих аппаратов для изучения дальнего космоса. (Роскосмос, в частности, предлагает ЕКА отправить непилотируемые станции для исследования спутников Юпитера — Ио, Европы и Ганимеда.)

Более напряженное соперничество складывается в ближнем космосе. Основным его направлением выступает развертывание систем спутниковой навигации и связи. С 1995 года единственной подобной системой остается американская «GPS» (*Global Positioning System*). К концу 2000-х годов появился ряд государств, намеренных развернуть альтернативные орбитальные группировки. Для Вашингтона это чревато потерей монополии на производство полноценного высокоточного оружия и лидирующих позиций на рынке цифрового телевидения, космического Интернета и спутниковой связи.

Наибольших успехов на этом пути достигла Россия. В 1995 году Москва вывела на орбиту 24 спутника «Ураган», необходимых для запуска Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС). Из-за экономических трудностей 1990-х годов она не вступила в действие, и часть спутников была потеряна. В 2007 году Российская Федерация начала воссоздание этой системы. К 2010 году Россия планирует вывести на орбиту 18 более совершенных спутников «Глонасс-М», доведя их общее количество до 24 аппаратов (12 из них уже действуют на постоянной основе). 27 декабря 2007 года в продажу поступили спутниковые навигаторы «Glospace», рассчитанные на ГЛОНАСС. После окончания конфликта в Южной Осетии темпы вывода российских спутников в космос ускорились.

Свою систему космической навигации «Галилео» разворачивает и Европейский Союз. В настоящее время эта система сильно зависима от России и США: ее компоненты доставляются на орбиту российскими ракетоносителями, а сигналы будут обрабатывать усовершенствованные приемники GPS. Но в будущем система «Галилео» должна включать в себя 27 операционных и 3 резервных спутника стран ЕС, дополненные двумя центрами управления, а также глобальной сетью передающих и принимающих станций. Это позволит государствам ЕС конкурировать с Америкой на рынке космической связи и телекоммуникаций, а в перспективе — создать свои образцы высокоточного оружия.

Есть и другие претенденты создания систем спутниковой навигации и связи. Китай заявил о намерении расширить локальную систему

спутниковой навигации «Бэйдоу», включив в нее два новых аппарата. Индия объявила о своих планах расширить в будущем свою спутниковую группировку на полярных орбитах. Япония создала совершенную систему космической метеорологии, которая может быть преобразована в систему спутниковой навигации. Интерес к расширению числа своих спутников проявляют Израиль, Иран, Индонезия и Тайвань.

Возрождение космической гонки порождает ряд негативных последствий, чреватых пересмотром принципов использования космического пространства. *Во-первых*, обостряется соперничество государств за первенство в изучении определенного космического объекта. *Во-вторых*, увеличилась опасность столкновения космических аппаратов. *В-третьих*, развертывание новых систем глобальной спутниковой навигации и связи меняет соотношение сил, в частности — влияет на возможности использовать высокоточное оружие в одностороннем порядке. *В-четвертых*, возникает технологический задел для создания первых образцов реально действующего «космического оружия». Возникает объективная потребность государств в защите собственных космических аппаратов от возможных посягательств со стороны оппонента и предотвращении удара по своим военным объектам, наносимого посредством аэрокосмических систем.

Военный фактор в космосе

Сама по себе идея милитаризации космического пространства не нова. Еще в 1940-х годах были разработаны проекты использования орбитальных систем в разведывательных и коммуникационных целях. В 1960–1970-х годах Москва и Вашингтон развернули в ближнем космосе спутники военной разведки, связи и наблюдения. Одновременно обе державы создали системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), включавшие в себя спутники наблюдения за районами базирования баллистических ракет. Кроме того, СССР и США пытались создать системы стратегической и тактической ПРО, связанные с орбитальными аппаратами[38].

Между тем в каждом из этих случаев космическое пространство использовалось для обеспечения действия обычных вооружений и/или стратегических ядерных сил. Проекты создания «космического оружия» не получили реального воплощения[39]. В 1960-х годах концепции «боевых космических кораблей» обсуждались в рамках «Лунной программы» США. В начале 1970-х советские ученые разработали проекты использования орбитальных станций в военных целях. Выдвинутая администрацией Р. Рейгана программа СОИ (1983) предусматривала создание стратегической ПРО посредством вывода в ближний космос орбиталь-

ных лазерных станций и автономных перехватчиков. В 1987 году СССР также провел неудачные испытания макета боевой лазерной станции «Полюс» («Скиф-ДМ»). Однако к концу 1980-х годов эксперты пришли к выводу, что существующий технологический уровень не позволяет создать боевые системы космического базирования. Немалую роль в свертывании СОИ сыграла эффективность советских мер в рамках стратегии «асимметричного ответа»[40].

Более успешно проходило создание противоспутникового оружия — баллистических ракет, предназначенных для уничтожения космических аппаратов. Советский Союз в 1970 году успешно испытал противоспутниковую систему «ИС-М» и в 1979 году поставил ее первый комплекс на боевое дежурство. США создали в 1977–1985 годах систему противоспутникового оружия «ASAT» (*Anti-Satellite System*), в состав которой входил модернизированный истребитель F-15 и двухступенчатая ракета «ASAT». В тот период обе стороны осознали опасность этой тенденции. В 1983 году СССР объявил мораторий на испытания противоспутникового оружия. Вашингтон не взял на себя подобных обязательств, но с 1985 года не проводил его испытаний.

В 1990-х годах лидером военной деятельности в космосе стали США. В распоряжении Вашингтона находилась самая крупная в мире спутниковая группировка. Развертывание GPS позволило Соединенным Штатам создать интегрированные орбитальные системы навигации и связи. Внедрение систем спутниковой навигации в вооруженные силы позволило получать голографические изображения местности и управлять военными действиями в режиме реального времени. Высокоточное оружие стало переводиться на космические средства навигации, что увеличило точность поражения целей. Параллельно Пентагон начал создание системы высоковоздушного перехвата «THAAD» (*Theater High Altitude Area Defense*), способные поражать цели на высоте в 120–150 км. В американском стратегическом планировании закрепилась концепция «глобальных совместных операций» (*global joint operations*), осуществляемых через взаимодействие всех родов войск на базе единой телекоммуникационной системы[41].

Действия США вызвали кризис в американо-китайских отношениях. 9 ноября 1994 года США подписали с Японией соглашение о взаимодействии в области создания систем тактической ПРО. В декабре 1994 года Вашингтон начал консультироваться с Тайванем о возможности развертывания на его территории системы «THAAD». Эти события, совпавшие с всплеском тайваньского сепаратизма, вызвали негативное отношение КНР. 12 февраля 1995 года Пекин заявил, что размещение комплексов «THAAD» на Тихом океане создает угрозу его стратегическим интересам.

Но несмотря на этот протест, Пентагон 21 апреля 1995 года приступил к испытаниям «THAAD». Такой шаг спровоцировал Китай на проведение летом 1995 года двух крупных военных учений в Южно-Китайском море. Эксперты предполагают, что попытка США развернуть систему «заатмосферного перехвата» вблизи КНР стала одной из причин Тайванского ракетного кризиса в марте 1996 года[42]. (Пекин демонстрировал готовность идти на жесткие меры в случае развертывания противоракетных систем вблизи разгонного участка траектории полета его баллистических ракет.) После этого события Вашингтон не ставил вопрос о развертывании комплекса «THAAD» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Определенное беспокойство создание «THAAD» вызвало и в России. 26 сентября 1997 года госсекретарь США М. Олбрайт и министр иностранных дел РФ Е. М. Примаков подписали протокол о разграничении систем тактической и стратегической ПРО. Этот документ входил в Нью-Йоркский пакет соглашений, призванных дополнить подписанный в 1993 году российско-американский Договор СНВ-2. Сенат США отказался ратифицировать Нью-Йоркские договоренности, поскольку они ограничивали работы по созданию систем «заатмосферного перехвата». Россия, напротив, ратифицировала в 2000 году СНВ-2 в пакете с Нью-Йоркскими соглашениями. В результате договор в действие не вступил, а проблема милитаризации космического пространства привела к возникновению новой паузы в российско-американских переговорах о контроле над вооружениями.

Опыт США в использовании космических систем навигации и связи спропоцировал в России дискуссии о необходимости реформы вооруженных сил. В СССР существовали два автономных друг от друга рода войск — Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) и Военно-космические силы. В 1990-х годах руководство РФ попробовало реформировать эту систему. В 1994 году был создан Главный центр испытаний и применения космических средств (ГЦИП КС) Военно-космических сил. В 1997 году Военно-космические силы РФ были включены в состав Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Однако эта реформа привела к сокращению финансирования военно-космических программ. Поэтому в 2001 году Военно-космические силы были вновь выделены из состава РВСН. Задачей этого рода войск стала организация запуска военно-космических аппаратов и создания средств космической обороны.

Наработки администрации У. Клинтона стали основой для военно-космических программ администрации Дж. Буша-младшего. 11 января 2001 года комиссия Пентагона под руководством Д. Рамсфелда подготовила доклад о перспективах военно-космической политики США[43]. Ав-

торы сфокусировали внимание на росте зависимости американских вооруженных сил от космических систем навигации и связи. Эта зависимость повышала, по их мнению, опасность нанесения превентивного удара по американской спутниковой группировке. Возник запрос на разработку оборонительных операций по защите центров связи и региональных группировок американских вооруженных сил. В июне 2002 года корпорация «РЭНД» представила доклад о возможности использования боевых лазеров воздушного базирования, бронебойных снарядов и авиационных транспортных средств для защиты космических аппаратов США.

В середине 2000-х годов тенденция к милитаризации космоса усилилась. 17 февраля 2004 года был утвержден доклад Военно-воздушных сил США «U.S. Air Force Transformation Flight Plan-2004»[44]. Его авторы намечали новые приоритеты: создание противоспутникового оружия воздушного базирования, систем поражения телекоммуникационных космических аппаратов, лазеров воздушного и космического базирования, аппаратов изучения дальнего космоса, более мощных грузовых космических кораблей и СПРН нового поколения. На его основе администрация Дж. Буша запустила программы по увеличению числа спутников оптико-электронной и радиолокационной разведки, наблюдения за пусками баллистических ракет и ядерными взрывами, космической связи топогеодезической и метеорологической направленности[45]. В США ускорились работы по созданию систем кинетического подрыва боеголовок, лазеров воздушного базирования и противоспутникового оружия. Принятая 31 августа 2006 года «Новая космическая политика США»[46] предусматривала расширение космического компонента создающейся системы ПРО.

Американские проекты вызвали озабоченность других стран. Еще 6 сентября 2000 года президент В. В. Путин призвал на «Саммите тысячелетия» ООН помешать милитаризации космоса[47]. Летом 2005 года Москва выдвинула проект «коллективной безопасности в космосе», предусматривавший запрет на вывод в космическое пространство обычных вооружений. Эти предложения поддержали Индия и КНР. 9 декабря 2006 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюции «О запрещении использования достижений в сфере информатизации и телекоммуникаций для милитаризации космического пространства» и «Об укреплении мер доверия в космическом пространстве».

Параллельно российская сторона стала жестче заявлять о возможном принятии адекватных военных мер. Принятая в апреле 2006 года «Концепция воздушно-космической обороны Российской Федерации» предусматривала развитие систем ПВО и воссоздание единого радиолокационного поля страны за счет строительства метровых радиолока-

ционных станций типа «Воронеж». Первая такая станция была введена в строй 30 января 2006 года в местечке Лехтуси под Санкт-Петербургом.

4 октября 2007 года главнокомандующий Военно-космическими войсками России В. А. Поповкин заявил, что Москва предпримет адекватные меры в ответ на попытки Вашингтона развернуть систему ПРО с элементами космического базирования[48]. У России, судя по заявлениям командования РВСН, есть перспективные проекты в области развития средств преодоления космического эшелона ПРО: (1) мобильный ракетный комплекс «Тополь-М» с боеголовкой, устойчивой к лазерному оружию; (2) межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 с разделяющимися головными частями индивидуального наведения; (3) воссоздание производства орбитальных баллистических ракет РС-36орб[49]. Эти меры возрождают концепцию «асимметричного ответа» СССР на программу СОИ 1980-х годов[50].

Еще дальше пошел в своих действиях Китай. 11 января 2007 года он уничтожил боеголовкой кинетического подрыва свой метеорологический спутник «FY-1C» на высоте 865 километров над уровнем моря. Это событие вызвало тревожную реакцию США, которые увидели в нем угрозу для своих позиций в космосе[51]. 23 января 2007 года администрация Дж. Буша одобрила документ «Космические операции» (*Space Operations*)[52]. Основными направлениями космической политики США в нем были названы создание спутников защиты космических аппаратов, систем бесперебойной замены поврежденных космических аппаратов и противоспутниковых систем.

В таких условиях Россия и КНР предприняли срочные меры по спасению «Договора о Луне». 11 апреля 2007 года российская сторона представила в ООН проект Договора о предотвращении размещения оружия в космосе, применения силы или угрозы применения силы в отношении космических объектов. Документ запрещал размещать в космическом пространстве ударные боевые системы, выводить любые вооружения в космос и применять силу против космических объектов. Китай выразил солидарность с этим документом, и 7 августа 2007 года Комитет ООН по космосу одобрил этот проект.

Окончательное утверждение документа должно было произойти на ежегодной Конференции ООН по разоружению в Женеве 12–13 февраля 2008 года. Но Вашингтон отказался от подписания Договора, сославшись на необходимость защиты своих космических активов. 21 февраля 2008 года Пентагон испытал противоспутниковое оружие, уничтожив с помощью противоракеты «SM-3» свой спутник «USA-193». 23 мая 2008 года была подписана российско-китайская декларация о запрещении размещения в космосе ударных боевых систем. Но США отказа-

лись вернуться к рассмотрению проекта нового Договора. Политика милитаризации космоса может подтолкнуть Россию к выходу из моратория на испытания противоспутникового оружия и вернуться к обсуждению проектов развития космической обороны. Похожие шаги предпримет, по-видимому, и Китай, что усилит военно-космическую активность Индии, а потенциально — и Японии.

Создание космических перехватчиков или ударных боевых платформ космического базирования пока остается экзотическим проектом. Более реалистичны варианты развития противоспутникового оружия, орбитальных баллистических ракет, усиления спутниковых систем навигации и связи, использования ближнего космоса в интересах системы ПРО. В любом случае проблема милитаризации космоса означает нарушение духа «Договора о Луне» и всех последующих договоренностей. Не ясно, удастся ли удержать державы от борьбы за раздел космического пространства.

«Вторая космическая гонка» стала политикой нового соперничества великих держав в космическом пространстве. Отношения в рамках этой модели включают в себя маргинализацию проектов сотрудничества в области космических исследований, попытки добиться превосходства в исследовании небесных тел, стремление приобрести новые военно-космические технологии в рамках реализации научно-исследовательских проектов, разработку проектов вывода в космос ударных боевых систем. Повышается опасность возникновения конфликта в космосе с прицелом на вывод из строя систем навигации и связи, телекоммуникационных технологий, инфраструктуры стратегических ядерных сил. В этом контексте международная космическая безопасность становится политикой, направленной на упрочение сложившихся сорок лет назад принципов кооперационного использования космоса в мирных целях.

Потенциальную опасность новый раунд космического соперничества несет для России. Москва озабочена американскими (а потенциально — и китайскими) проектами милитаризации космического проекта и выдвигает проекты совершенствования РВСН, СПРН, систем навигации и связи. Но из-за недостатка финансирования космических программ намечается угроза отставания России в изучении дальнего космоса. В большинстве проектов исследования небесных тел Российская Федерация предоставляет транспортные средства для НАСА и ЕКА. Россия рискует остаться в стороне от нового технологического прорыва, который может завершиться размещением принципиально новой военной инфраструктуры в космосе. Возникает трудная задача — усовершенствовать потенциал научно-исследовательской деятельности в отдаленных сегментах космического пространства.

Примечания

[1] Понятие «космическая гонка» используется в литературе для обозначения советско-американского соперничества в космосе в 1960-х годах. Однако оно все чаще применяется для описания современной борьбы великих держав за передел космического пространства. См.: *Moltz J. C.* The Politics of Space Security. Strategic Restraint and the Pursuit of National Interests. Stanford: Stanford University Press, 2008; *Freeze J. J.* Space as a Strategic Asset. New York: Columbia University Press, 2007; *Саган К.* Космос. М.: Амфора, 2008.

[2] *DeBlois B. M., Garvin R. L., Kemp R. S., Marwell J. C.* Space Weapons: Crossing the U.S. Rubicon // International Security. 2004. Fall. Vol. 29. No 2. P. 50–84.

[3] Подробная информация о понятии «космическая безопасность», его истории и развитии приведена на специальном интернет-портале Space Security.org. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.spacesecurity.org.

[4] *Clarke A. C.* The Exploration of Space. New York: Harper, 1959; *Ducrocq A.* The Conquest of Space: Moon Problems and Artificial Satellite: Their Impact on Human Destiny. London: Putnam, 1961.

[5] *Stares P. B.* Space and National Security. Washington: Brookings Institution, 1987; Космическое оружие: Дилемма безопасности / Под ред. Е. П. Велихова, А. А. Кокошина, Р. З. Сагдеева. М.: Мир, 1986.

[6] *Temple P.* Shades of Gray: National Security And The Evolution of Space Reconnaissance. Washington: American Institute of Aeronautics, 2004; *Hitchens T.* Future Security in Space: Charting a Cooperative Course. Washington: Center for Defense Information, 2004.

[7] Материалы об использовании понятия «космическая безопасность» в официальной риторике США см. в специальном проекте Центра оборонной информации Вашингтона: Space Security Links // CDI — Center for Defense Information. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.cdi.org. Из выступлений российских официальных лиц укажем, например: Вступительное слово президента РФ В. В. Путина на совещании с членами Совета Безопасности «О политике Российской Федерации в области космической деятельности на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». 11 апреля 2008 года. Москва, Кремль; Совместное заявление Президента Российской Федерации и Президента Республики Казахстан. Принято 2 июня 2005 года в Байконуре // Официальный сайт президента Российской Федерации. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.kremlin.ru/. См. также: Космическая безопасность «на грани» // Новости космонавтики. 2006. № 1. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.novosti-kosmonavtiki.ru.

[8] *McDougall W.* The Heavens and the Earth: A Political History of the Space Age. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997.

[9] *Clay M. J.* Op.cit. P. 11.

[10] Imperfect Unions: Security Institutions Over Time and Space / Ed. by H. Haftendorn, R. O. Keohane, C. A. Wallender. Oxford: Oxford University Press, 1999; *Detlev W.* Common Security in Outer Space and International Law. Geneva: United Nations Publications. 2006; В российской литературе подобные положения высказаны в работе: *Крутских А. В.* Технологический процесс и современные международные отношения: Учебник. М.: Просвещение, 2004.

[11] См.: *Dolman E. C.* Astropolitik; Classical Geopolitics in the Space Age. London: Frank Cass, 2002; *Klein J. J.* Space Warfare: Strategy, Principles and Policy. London: Routledge, 2006.

[12] *York H. F.* Making Weapons, Talking Peace: A Physicist's Odyssey from Hiroshima to Geneva. New York: Basic, 1987. В отечественной литературе похожие взгляды высказывались в работах: *Жуков Г. П.* Космос и мир. М.: Наука, 1985; *Глушко В. П.* Штурм космоса ракетными системами // Развитие ракетостроения и космонавтики в СССР. М.: Машиностроение, 1987.

[13] *Krepton M., Clary C.* Space Assurance or Space Dominance? The Case Against Weaponisation of State. Washington: Henry L. Stimson Center, 2003; U.S. — Soviet Security Cooperation: Achievements, Failures, Lessons. New York; Oxford University Press, 1988.

[14] См.: *Фененко А. В.* Космические грезы Вашингтона // Русский журнал. 2008. 11 апреля. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.russ.ru.

[15] См.: Civil Space Programs and Global Utilities. Key Trends and 2004 Developments // Space security 2004. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.spacesecurity.org.

[16] «Соглашение о Луне» — Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах. Документ был открыт для подписания в 1979 году и вступил в силу для 13 стран в 1984 году. — *Прим. ред.*

[17] См.: *Крутских А. В.* Космос в политическом измерении // Международные процессы. 2007. Май—август. Т. 5. № 2 (14). С. 17–26.

[18] Оружие на новых физических принципах (ОНФП) — средства вооруженной борьбы, поражающее действие которых основывается на использовании направленных высокоэнергетических излучений и полей, нейтральных или заряженных частиц, доводимых до объектов поражения, а также на других нетрадиционных способах полного или частичного поражения живой силы, боевой техники, объектов или территории противника. К нему относятся лазерное, ускорительное, сверхвысокочастотное, информационное, инфразвуковое, геофизическое и другие виды оружия. — *Прим. ред.*

[19] *Moltz J. C.* Op. cit. P. 302–329.

[20] В 1973 году США запустили в космос орбитальную станцию «Скайлэб» для проведения астрофизических, технологических и биологических исследований. Однако эта станция была технически несовершенной и уступала советским орбитальным станциям типа «Алмаз» и «Салют». (Ее конструкция представляла собой модернизированную верхнюю ступень ракеты «Сатурн-1В».) Большой проблемой были постоянные поломки станции. В 1979 году НАСА решила ликвидировать «Скайлэб».

[21] НАСА — *National Aeronautics and Space Administration*, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

[22] См.: Мировая пилотируемая космонавтика: История, техника, люди / Под ред. Ю. М. Батурина. М.: РТСофт, 2005.

[23] 1 февраля 2000 года Федеральное Собрание РФ приняло Положение о государственном регулировании допуска и использования иностранных систем спутниковой связи и вещания в информационном (телекоммуникационном) пространстве Российской Федерации.

[24] Историю создания и развития МКС см.: *Фернисс Т.* История завоевания космоса: Энциклопедия космических аппаратов. М.: ЭКСМО, 2007.

[25] *Reibaldi G. et al.* The ESA Payloads for Columbus — A bridge between the ISS and exploration // ESA bulletin. 2005. May. No 122. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.esa.int/.

[26] ATV (*Automated Transfer Vehicle*) — автоматический грузовой космический корабль (АГК), разработанный Европейским космическим агентством. Корабль предназначен для доставки топлива, научного оборудования, продуктов, воздуха и воды на Международную космическую станцию. Первый АГК «Жюль Верн» отправился к МКС 9 марта 2008 года. — *Прим. ред.*

[27] HTV (*H-II Transfer Vehicle*) — японский грузовой беспилотный автоматический космический корабль многоразового использования, предназначенный для дооснащения экспериментального модуля «Кибо» или других компонентов МКС. Первый запуск корабля запланирован на лето 2009 года. — *Прим. ред.*

[28] США покидают секретный проект RAMOS // Эл. портал RussiaUS.com. Сетевая версия. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.rususa.com.

[29] Меморандум о договоренности между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о создании совместного центра обмена данными от систем раннего предупреждения и уведомления о пусках ракет. Москва, 4 июня 2000 // Официальный сайт президента Российской Федерации. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.kremlin.ru/.

[30] *Samson V.* Could U.S. Missile Defense Policy Restrict Access to ISS? 2008. October 1 // CDI Center for Defense Information [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.cdi.org.

[31] *Macdonald B. W.* China, Space Weapons, and U.S. Security. Washington: Council on Foreign Relations Press. 2008. October.

[32] *Samson V.* Could U.S. Missile Defense Policy Restrict Access to ISS? 2008. October 1 // CDI Center for Defense Information. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.cdi.org.

[33] GSLV (*Geostationary Satellite Launch Vehicle*) — система для многократного выведения спутников на геосинхронную орбиту, разработанная по заказу Индийской организации космических исследований. — *Прим. ред.*

[34] VSB — экспериментальная ракета бразильского производства. — *Прим. ред.*.

[35] CIBER — China-Brazil remote-sensing satellite. — *Прим. ред.*

[36] SMART-1 (*Small Missions for Advanced Research in Technology*) — экспериментальная межпланетная станция для отработки перспективных технологий, в первую очередь — электрореактивной двигательной установки. — *Прим. ред.*

[37] Осенью 1994 года «Магеллан» проводил эксперимент по исследованию поведения молекул в верхних слоях атмосферы Венеры. 11 октября 1994 года орбита станции была снижена в последний раз. 12 октября контакт с аппаратом, приближавшимся к Венере по спирали, был потерян. Заявления НАСА носили сбивчивый характер: только 14 октября 1994 года агентство признало гибель «Магеллана». Такая неопределенность породила в СМИ многочисленные инсинуации о том, что США в действительности осуществляли более масштабные исследования Венеры, которые закончились неудачей. Официальных доказательств эта версия не получила. Подробнее о миссии «Магеллана» см.: Magellan Mission to Venus // National Aeronautics and Space Administration. Official veb-site. Special Project. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www2.jpl.nasa.gov/magellan.

[38] СССР создал в 1970-х годах систему стратегической ПРО вокруг Москвы А-135, которая работает в связке с космическим компонентом СПРН. США не смогли создать систему стратегической ПРО около баз Гран-Форкс в штате Северная Дакота. Однако американцы в 1969 году добились успеха в разработке системы тактической ПРО «Иджис» (*AEGIS*), которая опиралась на данные орбитальных систем навигации и связи.

[39] Подробнее см.: *Арбатов А. Г.* Военно-стратегический паритет и политика США. М.: Политиздат, 1984; *Дворкин В. З.* Ответ СССР на программу «звездных войн». М.: ФМП-МГУ — ИПМБ РАН, 2008.

[40] *Озноби щев С. К., Потапов В. Я., Скоков В. В.* Как готовился «асимметричный ответ» на «Стратегическую оборонную инициативу» Р. Рейгана. Велихов, Кокошин и др. М.: ЛЕНАНД, 2008.

[41] См.: Joint Vision-2010. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.dtic.mil; Joint Vision-2020 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.dtic.mil.

[42] *Sigal J.* East Asia and the "Constrainment" of China // International Security. 1996. Spring. Vol. 20. No 4. P. 107–135; *Jonston A. I.* China's New "Old Thinking": The Concept of Limited Deterrence // International Security. 1995/96. Winter. Vol. 20. No 3. P. 5–42.

[43] Report of the Commission to Assess United States National Security Space Management and Organization // Интернет-портал Globalsecurity.org. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.globalsecurity.org.

[44] *Leonard D.* U.S. Air Force Plans for Future War in Space. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.space.com.

[45] The Army's Future Combat System (FCS): Background and Issues for Congress. CRS Report for Congress. Order Code RL32888. 2008. May 12. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.fas.org.

[46] National Space Policy, 2006 // SpaceRef — Space News as it Happens. Official site. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.spaceref.com.

[47] *Путин В. В.* Выступление на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций («Саммите тысячелетия»). 6 сентября 2000. Нью-Йорк. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.kremlin.ru.

[48] Командующий Космическими войсками: «Никакой стране мы не позволим хозяйничать в космосе» // Интернет-портал Viperson.ru. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.viperson.ru.

[49] См.: Николай Соловцов: «Российские ракеты смогут преодолевать американские ПРО»; Виктор Есин: «Россия может создать орбитальные баллистические ракеты в ответ на ПРО» // Интернет портал Viperson.ru. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.viperson.ru.

[50] *Кокошин А. А.* «Асимметричный ответ» на «Стратегическую оборонную инициативу» как пример стратегического планирования в сфере национальной безопасности // Международная жизнь. 2007. № 7. С. 29–42.

[51] См.: *Gill B. and Kleiber M.* China's Space Odyssey // Foreign Affairs. 2007. May—June. Vol. 86. No 3. P. 2–6; *Marder E.* Chinese ASAT Test: A Breach of International Law? July 1, 2008 // CDI — Center for Defense Information. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.cdi.org.

[52] Space operations. Air Force Doctrine Document 2-2. 2006. November 27. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.fas.org/.

Глава **27**

Инновационные циклы в политике России

Важнейшим фактором научно-технологического развития передовых стран в XX веке стало формирование феномена Национальных инновационных систем (НИС). НИС представляет собой систему институтов, обеспечивающую постоянный процесс создания и овеществления знаний и технологий и рост динамизма инновационных процессов — условия формирования и развития «экономики знаний». Определяющую, центральную роль в этой сложной системе играет бизнес. На его долю приходится основной объем НИОКР и большая часть коммерческих инноваций (сердце НИС)[1]. Иными словами, бизнес-процессы выполняют роль двигателя и движителя НИС. Однако особенностью НИС и залогом их эффективности является то, что они обеспечивают сложную и динамичную систему отношений между всеми основными акторами инновационного процесса: государством, наукой, бизнесом. Эти субъекты вступают в разнообразные взаимодействия друг с другом, причем их функциональные роли и характер диалога постоянно эволюционируют. Корпорации вкладывают деньги в академические структуры ради получения новых фундаментальных и прикладных знаний и прорывных идей, государство софинансирует и/или участвует в разработке новых поколений коммерческих технологий, университетские городки становятся инкубаторами новых технологий и т.д. Причем эти отношения имеют тенденцию к усложнению.

В силу подобной структуры национальных инновационных систем и учитывая определяющую роль частного сектора в них, едва ли не важнейшим фактором успеха инновационных систем оказывается государственно-частное (ГЧП, или, иначе, частно-государственное, ЧГП) партнерство. Благодаря ГЧП обеспечивается выработка оптимальных для всех игроков «правил игры»; формируются эффективные стимулы и рамки для максимальной реализации национального инновационного

потенциала (включая академическое сообщество) и диалога акторов; государство и бизнес разделяют риски и бремя расходов по созданию новых знаний и технологий и т.д.

Вопросы государственно-частного партнерства в сфере инноваций оказываются в высшей степени актуальными, даже центральными, и для России. Российская инновационная система и инновационная политика все еще находятся в стадии становления и развития после распада государствоцентричной модели СССР и хаоса 1990-х годов. В этих условиях и с учетом преимущественной ориентации НИС на коммерческие инновации, а также определяющей роли бизнес-сектора в их развитии только инструменты государственно-частного партнерства способны дать адекватные ответы на стоящие перед РФ проблемы. В этой главе кратко проанализированы путь, который прошла в этом отношении за последние годы российская политика в инновационной сфере, а также возникающие проблемы и перспективы с точки зрения отработки механизмов ГЧП.

Роль государства в российской инновационной политике

Несмотря на все перипетии последних двух десятилетий и декларируемую цель формирования рыночной экономики, российское государство и до сих пор оказывается ведущим игроком в сфере науки и техники в РФ. На долю федерального и регионального бюджетов приходится более 70% расходов на НИОКР, тогда как в ведущих странах ОЭСР эта доля не поднимается выше 40%[2]. Почти все наиболее наукоемкие отрасли (ядерная, оборонная, авиакосмическая и др.) в России находятся в полной или частичной государственной собственности. И это при том, что научно-техническая политика государства, бюджетирование и государственное управление наукоемкими производствами вызывали и вызывают весьма серьезные вопросы. Что касается корпоративного сектора, то наибольшую инновационную активность проявляют крупные или сверхкрупные предприятия, более половины из которых находятся в государственной или смешанной собственности. При этом крупные частные компании по большей части связаны с производством сырья или полуфабрикатов, но даже здесь их уровень наукоемости и расходы на НИОКР заметно отстают от западных аналогов. Сильного и крупного частного инновационного наукоемкого бизнеса в России реально нет, за исключением некоторых отдельных «анклавов», прежде всего в сфере ИКТ (АФК «Система», операторы мобильной связи и т.д.), а также

некоторых машиностроительных предприятий. К тому же российские «гиганты индустрии» вряд ли могут рассматриваться как «системные интеграторы» для развития высокотехнологических отраслей, включая наиболее динамичный малый и средний инновационный бизнес (МСБ). Не менее сложна ситуация и с самим малым и средним инновационным бизнесом, который в РФ реально развивается только в сфере информационных технологий. И это только основные проблемы, список которых можно продолжать.

Но, несмотря на все это, понимание того, что России нужны высокотехнологический малый и средний бизнес и сильные крупные инновационные корпорации (в частной собственности или, по крайней мере, частично принадлежащие бизнесу), сложилось. Более того, несмотря ни на что, существует убежденность в том, что «инновационный прорыв» России невозможен без консолидации государственных и частных усилий, то есть посредством продуктивного государственно-частного партнерства.

Вопрос о так называемом «инновационном рывке» и обусловленный им интерес к ГЧП в сфере инноваций приобрел реалистичное звучание с 2002–2004 годов. В ситуации, когда РФ стала постепенно оправляться от «шоковых» 1990-х годов и наращивать свои финансово-экономические «мышцы» за счет увеличения прибылей от экспорта углеводородов, активность российской инновационной политики заметно возросла. Фактически была сделана попытка в условиях относительно стабильного развития и с новыми силами придать мощный импульс формированию и развитию НИС[3]. В рамках новой политики концепция и практика государственно-частного партнерства в сфере инноваций де-юре и де-факто стали существенно трансформироваться, следуя за философией, общей линией и приоритетами профильных федеральных усилий. С достаточно высокой степенью условности данный процесс можно разделить на два этапа: 2002/2004 — 2006/2007 годы и 2006/2007 год — по настоящее время.

С точки зрения основ ГЧП, первый этап «волны» преобразований в инновационной политике был основан на рациональном принципе опоры на государственные усилия по формированию «инфраструктуры инноваций» с акцентом на стимулирование частного сектора. Основными формами ГЧП в данном случае были усилия государства по созданию рамочных институциональных и экономических условий развития инноваций (в том числе инфраструктурных «оболочек» — технопарков и особых зон) для поддержки малого и среднего инновационного бизнеса, ряда высокотехнологических производств, а также разделение

рисков и расходов с крупными игроками по ряду направлений НИОКР в сфере экономически значимых технологий. Таким образом, стратегия предполагала взращивание «инновационных чемпионов», создание прослойки малого и среднего высокотехнологического бизнеса и рост наукоемкости уже существующих корпораций в средне- и низкотехнологических отраслях.

Предлагаемая модель ГЧП просматривается в общих чертах уже в программных документах, определявших видение целей, задач и инструментов государственной инновационной политики. Таковы «Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу» (от 30 марта 2002 года), «Основные направления политики Российской Федерации в области развития инновационной системы на период до 2010 года» (от 5 августа 2005 года), «Концепция Федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007–2012 годы"» (от 6 июля 2006 года). В этом русле развивалась и «практическая» государственная политика.

Процесс начался с институциональных изменений 2004 года, которые должны были привести систему управления в соответствие с новым видением инновационной политики. На уровне вершины новой «вертикали» были созданы Совет по науке, технологиям и образованию (как высшая «стратегическая» и координирующая структура в научно-технической и инновационной сфере), Совет по конкурентоспособности и предпринимательству (основной инструмент институционализированного диалога руководства страны с бизнесом, в том числе в сфере инноваций) и Межведомственная комиссия по научно-инновационной политике во главе с министром образования и науки. Среди ответственных ведомств возникла иерархия функций. Организацию и управление инновационным процессом на разных его стадиях должны были выполнять последовательно Минобрнауки (фундаментальная наука, ряд прикладных исследований, частично коммерциализация знаний) и Минэкономразвития (ранее МЭРТ, коммерциализация технологий, создание инфраструктуры инноваций). Практические технико-технологические вопросы и связанные с ними системные задачи решались Мининформсвязи, Минпромэнерго, Росатомом и т.д.

Выстроив «вертикаль» процесса принятия и исполнения решений в сфере инноваций, российское руководство приступило к реализации инновационных стратегий в русле намеченных приоритетов ГЧП. Если говорить о прямой поддержке, то основное внимание стало уделяться совершенствованию существующих структур. Ревизии были подверг-

нуты некоторые бюджетные механизмы, прежде всего Федеральные целевые программы (ФЦП). Для ФЦП были прописаны механизмы софинансирования проектов частным сектором (на уровне 30–35%). Например, в ключевой для науки и технологий ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007–2012 годы» каждый контракт (за исключением методических работ) предполагал привлечение внебюджетных средств. В зависимости от направления уровень частных вложений, по официальным данным, составлял от 5 до 25%, но в ряде случаев достигал 75%[4]. Причем изменились и сами основы ФЦП, которая теперь подразумевала поддержку всего спектра инновационных усилий: от научных исследований до коммерциализации технологий. Еще раньше стали реализовываться важнейшие инновационные проекты государственного значения (так называемые мегапроекты[5]) на экономически значимых технологических направлениях, обязательными условиями которых являлось участие (в идеале равновеликое) частного капитала и коммерциализация созданного продукта.

Большое внимание уделялось мерам по поддержке малого и среднего инновационного бизнеса. Так, возросла роль Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (так называемый Фонд Бортника), который осуществлял поддержку НИОКР в соответствующих необходимым критериям бизнес-структурах. Были увеличены размеры его финансирования — с 0,5% от общего объема государственных расходов на гражданскую науку до 1,5%. При этом по образу успешных американских программ поддержки малого и среднего инновационного предпринимательства SBIR и STTR (*Small Business Innovative Research Program u Small Business Technology Transfer Program*) с 2004 года были начаты программы «СТАРТ», «ТЕМП», «ПУСК», а также ряд иных инициатив. Особо следует выделить «СТАРТ», в рамках которой осуществлялось финансирование зарождающихся и только выходящих на рынок фирм (ранее Фонд поддерживал уже состоявшиеся малые инновационные компании). «СТАРТ» стала одной из наиболее важных программ, выделяемые для нее ресурсы постоянно росли, так что уже в 2005 году они составили более трети средств Фонда.

Параллельно активизировалась государственная политика по созданию в стране венчурных фондов, необходимых на стадии «запуска» инновационных проектов — особенно в России, с ее труднодоступными кредитами и сложностью поиска инвесторов. В свете неудач проекта Венчурного инвестиционного фонда (созданного в 2000 году) и с учетом анализа его опыта в 2007 году были организованы «Российская вен-

чурная компания» (РВК), деятельность которой сосредоточилась на конкурсном отборе венчурных управляющих компаний и приобретении паев создаваемых венчурных фондов, а также Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий.

Масштабные усилия были направлены на создание «инфраструктурных оболочек» для взращивания инновационного бизнеса и развития высокотехнологических производств. Наиболее крупными государственными инициативами в данной сфере стали программы по созданию особых экономических зон (ОЭЗ) и технопарков. Во многом они являлись своего рода «реинкарнацией» в новых условиях политики, проводившейся с начала 1990-х годов. В тот период по многим причинам данная политика потерпела крах (из 80 технопарков по результатам аккредитации 2000 года лишь 30 были признаны отвечающими минимальным профильным критериям[6]), однако сама идея, основанная на широко использующейся в мире модели, не умерла.

Идеология и заявляемые цели новых программ выглядели достаточно многообещающе. *Во-первых*, ОЭЗ и технопарки должны были дать «путевку в жизнь» целому ряду важных проектов. *Во-вторых*, будучи крупными инициативами системного характера, они, по мысли разработчиков, могли стать своего рода «инновационными локомотивами» для своих регионов и триггерами процесса формирования целой сети подобных образований. В совокупности с иными государственными усилиями это придало бы экономике России мощный инновационный импульс. Можно говорить о своего рода взаимодополняющем характере обеих программ. Если технопарки были ориентированы на становление малого и среднего инновационного бизнеса в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, то ОЭЗ — на развертывание промышленных, в том числе высокотехнологических производств (в Технико-внедренческих зонах, ТВЗ)[7].

По итогам жесткого конкурса заявок было одобрено 4 проекта ТВЗ: в Санкт-Петербурге (информационные технологии и аналитическое приборостроение), Зеленограде (микроэлектроника), Дубне (ядерно-физические технологии) и Томске (новые материалы). При Минэкономразвития было создано специальное Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ), и после вступления в силу соответствующего закона (1 января 2006 года) программы начали осуществляться. Несколько позднее — с 10 марта 2006 года, когда было подписано соответствующее распоряжение правительства, — началось создание технопарков. Локациями для пилотных технопарков были выбраны проекты в Московской, Тюменской, Нижегородской, Калужской и Но-

восибирской областях, а также в Республике Татарстан и Санкт-Петербурге. Координация процесса была поручена Мининформсвязи.

Для повышения эффективности программ и достижения поставленных целей правительство и региональные власти приняли решение предоставить особым экономическим зонам и технопаркам налоговые льготы. Были предприняты шаги для организации льготного государственного кредитования ТВЗ. Для технопарков предполагалась и прямая финансовая поддержка: выделение правительством до 20% средств на проектно-изыскательские работы по созданию инфраструктуры технопарков.

Развивалось ГЧП в сфере трансфера и коммерциализации технологий, формирования эффективных связей науки, образования и бизнеса ради повышения их совокупного инновационного потенциала. Еще в 2003 году были созданы Центры по продвижению технологий (ЦПТ). Число ЦПТ постепенно увеличивалось, как и уровень их финансирования (гарантированное госфинансирование ЦПТ предполагалось лишь в первый год его существования). Продолжалась и работа Инновационно-технологических центров (ИТЦ), программа по созданию которых была инициирована еще в конце 1990-х годов.

Осознавая, что за счет только внутренних ресурсов задачу построения инновационной экономики не решить, российское руководство с середины 2000-х годов заметно активизировало и рычаги международной кооперации в сфере высоких технологий. Эти усилия также в значительной мере строились с привлечением специфических механизмов ГЧП. Диалог в данном отношении развивался между российским государством и госкомпаниями РФ и частным иностранным высокотехнологическим бизнесом, главным образом крупными западными транснациональными корпорациями (ТНК). Основными формами партнерств стали совместные предприятия, а также сбытовые альянсы. Кооперация и взаимодействие развивались как ради получения новейших западных технологий и совместной разработки новых инноваций, так и для продвижения российской продукции и услуг «хай-тек» на мировые рынки. Наиболее выражено данная линия проявлялась в аэрокосмической сфере, а с 2006–2008 годов в гражданской ядерной отрасли и в ряде других областей высоких технологий[8]. Причем важно отметить, что дрейф российской политики в сторону формирования исследовательских, производственных и сбытовых альянсов полностью соответствовал мировой практике[9].

Западные ТНК рассматривались также как важные стратегические инвесторы, способные оказать позитивное влияние на российскую экономику и процессы инновационного развития. По этой причине достаточно серьезные усилия по привлечению инвестиций зарубежных

ТНК в российские высокотехнологические проекты были предприняты в связи с реализацией программы создания технопарков и ОЭЗ. Эти вопросы обсуждались в ходе визита В. В. Путина в Японию в ноябре 2005 года, премьер-министра М. Е. Фрадкова в Финляндию в феврале 2006 года и в ходе переговоров с руководством и представителями бизнеса ряда других государств.

Бизнес и инновации

Несмотря на всплеск активности государственной инновационной политики и формотворчества, к 2006–2007 годам энтузиазм в отношении формирования «инновационного климата» и поддержки формирования российского инновационного бизнеса стал снижаться. Ни одно из начинаний не привело к ожидаемому «инновационному рывку». Хотя успехи были (программа «СТАРТ», ряд технопарков), они не стали катализаторами каскадных инновационных преобразований в российской экономике. Более того, в реализации программ ОЭЗ и технопарков наметилось существенное торможение; развитие ЦПТ и ИТЦ в ряде случаев замерло. Не наблюдалось и качественного роста инновационности крупного бизнеса.

В этих условиях наметилось невысказанное четко, но четко ощущаемое разочарование правящих элит в прежней политике. Главным образом оно касалось усилий по стимулированию крупного бизнеса, который не смог воспроизвести стратегию повышения наукоемкости, обеспечить развитие высокотехнологических производств и стать системным интегратором российских инноваций. Характерное выражение этого сохраняющегося ощущения прозвучало в мае 2009 года в заявлении президента России о создании специальной комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики. С известной долей недовольства Д. А. Медведев отметил пассивность бизнеса в развитии российских инноваций: «Бизнес никак не мотивирован на такого рода [инновационную. — *И. Д.*] деятельность, он не хочет этим заниматься... Это... и вопрос психологической установки: не хочется вкладывать деньги в то, что не приносит быстрой отдачи»[10]. Отношение к поддержке малого и среднего инновационного бизнеса в целом не изменилось: официально периодически подтверждалось, что без его развития становление «экономики знаний» невозможно. Но надежды на расцвет инновационных старт-апов заметно поубавились.

Соответственно, существенной ревизии подверглись прежние подходы к инновационной политике в целом и к ГЧП в частности. Свою роль сыграла, вероятно, и очередная смена системы приоритетов в со-

знании российских чиновников — новый эпизод в бесконечном поиске «волшебных рецептов» для российской инновационной системы и экономики. Окрепло убеждение, что в России на данном этапе только государство способно взять на себя роль главного двигателя инноваций и системного интегратора. В свою очередь, крупный бизнес стал рассматриваться либо как второстепенный (пусть и в ряде случаев важный) партнер, либо как сила, способная подхватить «знамя инноваций» на более поздних этапах, а МСБ — как своего рода «отраслевой» игрок (в сфере информационных технологий и др.) или как фактор будущего развития НИС. Показательно, что в этот период происходит перемена в терминологии инновационной политики России, где формулировка «частно-государственное партнерство» окончательно заменяется на «государственно-частное партнерство».

Основным направлением и символом произошедших изменений стала политика по созданию госкорпораций, активизировавшаяся в 2006–2007 годах. Фактически государство приняло на себя прямую ответственность не только за поощрение, но и за непосредственное развитие инноваций и формирование крупного инновационного бизнеса — в том числе коммерчески ориентированного. Заметим, что изначальная логика российских властей была понятна и даже частично оправданна. Концепция, уходившая корнями еще в 1990-е годы, предполагала, что консолидация активов позволит ликвидировать распыление сил и средств и непродуктивную конкуренцию между разрозненными предприятиями. Новые госкорпоративные «титаны» должны были обеспечить всей мощью ресурсов развитие наиболее передовых российских технологических заделов (прежде всего в таких капиталоемких сферах, как вооружения и военная техника, атомная энергетика и т.д.), стать системными интеграторами отраслей и конкурентоспособными глобальными игроками в сфере высоких технологий.

С точки зрения вышеописанных целей основополагающей стала модель госкорпорации-холдинга, призванная заполнить пустующую в РФ нишу крупного инновационного бизнеса и претендующая на выполнение его функций. Появились Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), ГК «Ростехнологии», ГК «Атомэнергопром» и т.д.

Другим направлением стало акцентирование инструментов госзаказа для стимулирования спроса на отечественную наукоемкую продукцию и услуги. Причем эта идея получила еще большее звучание на волне мирового финансового кризиса, больно ударившего по российской экономике.

Да и сам кризис стал катализатором определенных тенденций в ГЧП, когда государство заявило о готовности увеличить свою прямую под-

держку «стратегическим» компаниям (выкуп акций, оплата долгов и т.д.) при сохранении прямой помощи и поддержки опережающего развития избранных отраслей высоких технологий.

Все это, разумеется, не означает, что прежние подходы и инициативы были преданы забвению, например, сохраняются и даже развиваются уже существующие механизмы, такие как ОЭЗ и технопарки. Однако акцент все больше и больше делается, скорее на усилиях, связанных с поддержкой МСБ, или же проектах, важных для реализации государственных приоритетов. В условиях кризиса было объявлено о твердом намерении поддержать малый и средний инновационный бизнес, венчурные фонды, сформировать новые технопарки и пр.[11] Есть некоторые намеки на возможности усиления инновационного потенциала ВУЗов и НИИ[12].

Изначально по более «классическим» моделям построена деятельность Роснано, оперирующей в интригующей и перспективной сфере нанотехнологий. Будучи аналогом американской Национальной нанотехнологической инициативы, Роснано является фондом поддержки разработок и коммерциалиации нанотехнологических продуктов и услуг, то есть ориентирована не столько на формирование новых государственных бизнесов, сколько на создание коммерческой основы развития наноотрасли в РФ. В период кризиса Роснано подтвердила, что не только не собирается менять свой modus operandi, но будет развивать и расширять свою деятельность. Перспективы ГЧП были обозначены и для иных госкорпораций. В перспективе официально предполагается их постепенная трансформация в структуры со смешанным капиталом, где бизнес дополнит государство — но в лучшем случае на уровне равного партнера[13]. Аналогичным образом, согласно заявлениям российских властей, нынешние антикризисные меры, связанные с приобретением пакетов акций ряда российских предприятий, не приведут к национализации, и после нормализации экономической ситуации в мире и в стране государство продаст пакеты частным инвесторам.

Обсуждаются и новые формы диалога с российским крупным бизнесом. Так, в 2007 году была сформулирована инициатива МЭРТ по формированию инновационных кластеров (на основе особых экономических зон); в 2008 году было объявлено о новой форме ГЧП — совместном государственно-частном НИИ «Ситроникс» для создания технологий нового поколения. (Подобная задача не под силу российскому бизнесу с его краткосрочным планированием и нехваткой ресурсов[14].) Инициируются и новые крупные совместные усилия, как, например, проект Роснано и «Реновы» по созданию в Новочебоксарске завода по производству солнечных модулей, Роснано и Группы ОНЭСИМ по про-

изводству твердотельной светотехники, поддержку получали некоторые проекты «Ситроникс» и т.д.

Однако на фоне общего курса государственной политики многие прежние модели и инструменты ГЧП более не рассматривались как центральные для развития российских инноваций, а виделись, скорее, как дополнительный, пусть и важный инструмент.

Проблемы взаимодействия власти и бизнеса в сфере инноваций

Хотя динамика процесса превращения концепций ЧГП в ГЧП и образы «государства-инноватора» более или менее ясны, движущие силы, материальная база неудач модели инновационной политики 2002–2006 годов, а также перспективы идеологии «государственничества» российских властей требуют краткого анализа.

В чем же истинная причина провала изначальных концепций ГЧП и создания «инновационного климата»? Правы ли власти в своем разочаровании инертным, с опаской идущим на риск бизнесом, который оказался неспособен обеспечить «инновационный рывок»?

Как представляется, «поражение» прежней модели связано с сочетанием объективных и субъективных факторов, которые предотвратили формирование дружественного к инновациям климата и для чувствительной к любым рискам сферы инноваций оказались почти фатальными. Причем большинство из них имеет совершенно универсальное негативное влияние на всю экономическую жизнь России.

С точки зрения корпоративной политики сказывается достаточно банальное сочетание причин (хотя, конечно, российский бизнес весьма разнообразен и любые усредненные оценки равнозначны расчету «общей температуры по больнице»). Это и феномен «трусливых» управляющих и акционеров, опасающихся вкладывать деньги в долгосрочные и рисковые проекты и НИОКР; модели-архетипы наживы и надежных средств получения прибыли, сложившиеся в 1990-е годы; нехватка доступных средств для осуществления масштабных проектов и фрагментированность российской инновационной системы; отсутствие инновационного опыта и т.д. Сказывается и «сырьевое проклятие» российской экономики. *Во-первых*, это ориентация крупного бизнеса преимущественно на экспорт сырья или полуфабрикатов, предполагающая в основном процессные инновации, в том числе наименее рисковые из них — закупки за рубежом оборудования. *Во-вторых*, незаинтересованность в инвестициях в инновационные отрасли: в условиях роста цен на ресурсы они оказывались много менее привлекательными, а в условиях кризиса — непозволитель-

ными и неоправданными. Важно отметить, что с 2000-х годов начался процесс постепенного выстраивания собственных корпоративных лабораторий, приобретение за рубежом активов ради доступа к передовым технологиям[15] и т.д. Однако темпы повышения наукоемкости российского бизнеса все равно оставляют желать лучшего. Более интересные характеристики проявлял инновационный средний и малый бизнес в ряде специализированных суботраслей, однако в сложившихся условиях общий инновационный ландшафт эти достижения не меняли.

Более принципиальны, как представляется, оказались просчеты государственной инновационной политики и ее подходов к ГЧП, а также существующие «системные» проблемы федеральных усилий. В конечном счете, именно государство отвечает за формулирование и имплементацию решений по созданию подходящих условий, «правил игры», инфраструктуры и т.д. Не полностью оправданы и звучащие обвинения в адрес крупного бизнеса. Не снимая с корпораций ответственности за очевидную недальновидность и проблемность политики, заметим, что в общем-то их поведение было предсказуемо с самого начала и строить профильную политику следовало с учетом этих реалий, а не в ожидании идеальных сценариев.

В сфере госусилий наиболее серьезные проблемы были — классически — связаны с правоприменением: эффективностью и полнотой реализации принятых решений, тесно связанной с этим непоследовательностью политики, ее дискретностью, а также бюрократизмом.

Российские государственные инициативы после первоначального всплеска сначала концептуальной, а затем и политической активности спустя относительно небольшое время утрачивают динамику развития и первоначальное внимание к ним, что приводит к появлению «лагов» в их осуществлении и незавершенности процесса. Показателен пример инициатив 2005–2006 годов. Уже в ноябре 2007 года на заседании Совета при Президенте России по науке, технологиям и образованию было констатировано, что процесс создании ОЭЗ и технопарков затормозился, затянулось объявление второго конкурса в рамках проекта РВК и т.д. При этом даже на пике политической активности происходят серьезные упущения в процессе реализации концепций. В новом законодательстве остаются «пробелы», необходимые изменения не вносятся в уже существующие законы и распоряжения. Все это создает несоответствия и противоречия между различными решениями, тормозит усилия частного сектора и процесс в целом или даже блокирует их. Характерна в этом отношении ситуация с теми же ОЭЗ, где на первых порах существовали несоответствия между решениями по налоговым изъятиям и внесению изменений в пенсионное законодательство.

Большую роль в затягивании процесса и его сбоях играет и нерациональная организационная «чересполосица» в реализации программ (Минобранауки—Минэкономразвития—Мининформсвязи и др.), а также отсутствие их должной координации.

В свою очередь это приводит к появлению ложной цикличности политики и феномена «нового старта». В условиях неэффективности и незавершенности целого ряда крупных системных инициатив (например, реформирование РАН и образовательной сферы или создание различного рода «особых зон» инноваций) российские власти периодически воспроизводят модель, основанную на отказе от прежней инициативы в пользу весьма схожей. Предполагается, что для решения той или иной группы проблем и в условиях неудачи очередной попытки аналогичная или основанная на схожих концептуальных основах инициатива скорректирует ситуацию. Примером может служить предложение МЭРТ по инновационным кластерам. Пилотные проекты по их формированию планировалось провести на базе ОЭЗ и технопарков, да еще и без дополнительного госфинансирования. Показательна и сама эволюция концепций «ключевых» программ и средств формирования НИС: технопарки и «особые зоны» — кластеры — технологические платформы и т.д.

Очень серьезная ситуация складывается в сфере бюрократизма, коррупции и тесно связанной с ними проблемы запутанности отечественного законодательства и регулирования. Сочетание этих факторов оказывает долгосрочное депрессивное воздействие на развитие малого и среднего инновационного бизнеса, но и для крупных компаний оно не так безболезненно.

Нельзя обойти стороной и ряд «системных» вопросов. Высокий уровень инфляции в разы снижает шансы на успех новых инновационных проектов. Реально не решена проблема доступности для бизнеса так называемых «длинных денег», критически важных для инновационного развития. В частности, слабо развиты (в том числе с точки зрения объемов) инструменты венчурного финансирования, а сложности с получением доступных кредитов и иных оборотных средств являются серьезной проблемой даже для инноваций в сверхкрупных корпорациях[16]. Остаются и проблемы, связанные с цивилизованным урегулированием проблемы банкротства — очень важный для формирования культуры старт-апов аспект. Прямо «бьет» по ГЧП в сфере инноваций тот факт, что в РФ до сих пор не решен вопрос трансфера знаний и технологий. Известно, что огромное число технологий и инновационных малых и средних фирм появляется в рамках ВУЗов и иных научных структур. Этот процесс стимулируется в США, ЕС, Японии и многих других странах

законодательством, позволяющим в определенных случаях передавать коммерческим структурам права на интеллектуальную собственность, полученную в результате бюджетного финансирования НИОКР (при том что государство было и остается основным источником средств для академической и университетской науки). Это позволяет коммерциализовать дополнительный объем знаний и технологий как в рамках партнерства ВУЗов и НИИ с ТНК, так и благодаря созданию малых инновационных фирм. Однако в России, где государство было и остается правообладателем на результаты спонсируемых им НИОКР, подобная практика неразвита. Не вполне удачен и опыт институтов трансфера технологий.

Существенным ограничителем, несмотря на значительное улучшение ситуации в последние годы, являются невысокие в целом объемы прямой и косвенной государственной поддержки инновационного бизнеса. Например, программы так называемого Фонда Бортника и в абсолютном (что понятно), и в относительном выражении много меньше своих американских прототипов (SBIR — 2,5% расходов на НИОКР крупнейших министерств и ведомств США, включая Министерство обороны). Более того, отсутствие специальных механизмов адресной поддержки малого и среднего инновационного бизнеса в инструментарии госзаказа также существенно ослабляет потенциал российской инновационной политики и ГЧП в данной сфере.

Все вместе эти и другие факторы создали ситуацию, когда даже потенциально успешные и проверенные мировым опытом инициативы стимулирования инноваций в рамках ГЧП не раскрыли свой потенциал.

Но хотя объективно неуспех прежних подходов и политики ГЧП был предопределен, пришедшие им на смену инициативы были, пожалуй, еще более далеки от совершенства. Прежде всего, бесперспективны для развития инноваций усилия по созданию госкорпораций в том виде, в котором они сформировались к 2009 году. Эти ГК пока напоминают аморфный набор предприятий без жесткой бизнес-стратегии, иерархии проектов, процесса принятия и исполнения решений, сети необходимых партнерств и альянсов. Ко всему прочему они остаются непрозрачными структурами, слабо поддающимися контролю (возможности которого, кстати, весьма ограниченны и туманно прописаны), да еще и крайне зависящими от бюджета, а не от рынка. Единственным исключением являются «Атомэнергопром» и, частично, ОАК (ГСС и ряд иных структур). Но это особые случаи, так как еще до формирования ГК Росатом и Гражданские самолеты «Сухого» в большей мере напоминали нормальную корпорацию, нежели все новые госкомпании вместе взятые.

Иными словами, для того чтобы стать конкурентоспособными корпорациями мирового уровня, российским ГК еще предстоит огромная работа по реформированию. Более чем показателен пример «Ростехнологий», монстра, впитавшего в себя совершенно различные производства и предприятия. Этот холдинг построен по в общем-то непонятному с рационалистической точки зрения принципу и скорее напоминает Ноев ковчег, чем компанию с четкой линейкой продуктов, услуг и планов развития. И это уже не говоря о том, что, как признают ныне руководители корпорации, значительная часть поглощенных активов изначально была проблемной.

Положение ухудшает своего рода «инновационный национализм» российского руководства и бюрократии. Несмотря на мировые тенденции, чиновничество РФ почти не применяет и, судя по всему, с огромным подозрением относится к процессам интернационализации производств, практике «открытых» инновационных систем с поиском идей и талантов по всему миру и т.п. подходам. Помимо довольно архаичных воззрений о том, как должна функционировать НИС, здесь несомненно сказываются элементы популизма и своего рода инновационной «великодержавности» в политике властей: нежелание «уводить» рабочие места и производства из страны, опора преимущественно на собственные силы ради обеспечения «технологической безопасности» и самостоятельности и т.д. Неудивительно, что в последнее время все чаще вспоминают гражданские и военные технологические успехи СССР, созданные самостоятельно и «в пику» западным конкурентам. Причем в этом позиция властей находит полное понимание и поддержку части научного сообщества. Весьма иллюстративна та критика, которой подвергается проект среднемагистрального самолета Sukhoi Super Jet (*SSJ*) из-за большой роли иностранных субподрядчиков и партнеров. Однако подобный подход просто невероятен в современном мире, где modus operandi инновационного бизнеса предполагает создание дизайна товара/услуги, производство ключевых компонентов и системную интеграцию продукта[17], тогда как прочие услуги, системы и комплектующие поставляются субподрядчиками, а значительная часть производств и сборка осуществляются вне страны происхождения.

Массу вопросов вызывает и акцентирование госзаказа для поддержки инноваций. Как показывает, например, опыт США, господдержка новых технологий оказывается продуктивной в случае, если изначально предусматривает последующий вывод технологии на свободный рынок и коммерческую ориентацию технологии, тогда как сам по себе госзаказ не является залогом успеха[18].

Перспективы инновационной политики России

Во многом сложившаяся ситуация обусловлена тем, что нынешняя государственная инновационная политика России отражает в большей мере представления госчиновников и части экспертного сообщества о том, где находятся «узкие места» и перспективы развития инноваций и технологий бизнеса и промышленности в целом, чем мнение и интересы последних[19]. Даже в рамках софинансирования НИОКР наблюдаются серьезные «технические» просчеты, так как государство при формулировании, например, федеральных целевых программ не вполне адекватно оценивает потребности рынка и интересы бизнеса, что ведет к снижению интереса бизнес-сообщества[20]. То же относится и к интерпретации советского и мирового опыта. А бесконечные волюнтаристские поиски «инновационной панацеи» делают даже это видение нестабильным. И это — наряду с такими общими бедами российской экономики, как правоприменение и коррупция, — вскрывает одну из основных проблем ГЧП в сфере инноваций в России.

Российская модель ГЧП по проблемам науки, технологий и коммерциализации НИОКР страдает от нехватки эффективных каналов коммуникации и в первую очередь «обратной связи» — от бизнеса к власти. Государство крайне редко, местами непозволительно редко, говорит с бизнесом в процессе принятия и исполнения решений, а еще реже — слышит его. В США, ЕС, Японии и иных странах существуют эффективно действующие механизмы «прямой» и «обратной» связи в форме парламентских слушаний, лоббистской деятельности отдельных компаний или отраслевых ассоциаций, постоянных или временных специализированных комитетов, комиссий, которые оказывают воздействие на формулирование и имплементацию государственной инновационной политики. В России в инновационной сфере большинства этих инструментов либо просто нет, либо они используются спорадически, нередко формально и без нужного эффекта.

В определенной степени выходом из этого «заколдованного круга» должны были стать Совет по конкурентоспособности и предпринимательству и Совет по образованию, науке и технологии — на высшем уровне, а на уровне «техническом» — бесконечные «мероприятия» («круглые» столы, конференции и т.д.) министерств и ведомств, всегда собирающие множество игроков из профильных отраслей. Парадокс, впрочем, заключается в том, что при формальном наличии «контактов» коммуникационный «разрыв» не сокращается. Во-первых, каналов все-таки недостаточно; во-вторых, при ближайшем рассмотрении выясняется, что практическая отдача от их работы невелика; в-третьих, на пути

даже поступающих небольших порций важной информации оказываются элементарные бюрократические препоны, в том числе психологического характера. При этом по многим причинам такие структуры, как Торгово-промышленная палата РФ, организация малого бизнеса «Опора России», и другие аналогичные организации не могут выполнить роль проводника интересов именно инновационного бизнеса.

Дело дошло до того, что управленцы в компаниях (в отличие от владельцев) говорят с чиновниками и научным сообществом буквально на разных языках[21]. В подобной ситуации даже элементарная настройка государственной политики для повышения эффективности едва ли возможна в полной мере. Инновационный бизнес не может быть услышан, пока он не стал сильным игроком и лоббистом (энергетики, например, все необходимые инструменты уже освоили), но он и не имеет шанса стать таковым, если его не услышат и не «настроят» под него политику.

Таким образом, для повышения эффективности ГЧП и инновационной политики необходимо отнюдь не механическое увеличение роли государства, а интенсификация диалога с бизнесом на всех уровнях формирования и осуществления политики. И здесь именно вопрос о механизмах ГЧП оказывается ключевым. Решения, способные инициировать начало перемен, более или менее очевидны. Прежде всего, это расширение имеющихся и генерация новых форматов профильного диалога бизнес-сообщества или его отдельных сегментов и власти. Это касается как постоянных, так и временных, специализированных форм. Важной задачей остается и обеспечение практической, а не формальной отдачи от процесса. Отчасти формирование новой президентской комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики является шагом в нужном направлении, но это лишь первый шаг, формат, который нужно наполнить реальным содержанием и дополнить разветвленной системой органов.

Не стоит полагать, что те проблемы российского бизнеса, которые были перечислены выше, являются непреодолимым препятствием на пути решения поставленных задач. Во-первых, многие из существующих вопросов определяются системными условиями российской экономики. Во-вторых, в целом ряде суботраслей российский бизнес (крупный, средний и малый) доказал свою достаточную инновационность и способность успешно работать на отечественном и мировом рынках.

И это подводит нас к еще одному важному выводу. Как представляется, для того чтобы повысить продуктивность ГЧП и политики поддержки инновационного бизнеса, следует трезво оценить реальный потенциал российского предпринимательства и российских инноваций, отказавшись от завышенных ожиданий и своего рода инновационной

великодержавной гигантомании. Безусловно, поддержка и стимулирование национально значимых отраслей, таких как аэрокосмическая, оборонная или атомная, необходимы. К счастью, они пока достаточно успешны. Но вне их в частном, а частично и в государственном секторе, возможно, наконец настало время отказаться от распыления сил и средств на все возможные перспективные направления и сконцентрировать усилия ГЧП на поддержке групп предприятий и суботраслей, где у РФ есть наиболее сильные заделы и возможности для роста с учетом реалий мирового рынка. Эти усилия позволят вырасти национальным чемпионам в своих нишах, а в будущем могут привести к созданию крупных корпораций мирового класса. Соответственно, более реалистичный подход к оценке потенциала российских компаний способен повысить отдачу ГЧП, так как в этом случае возможно будет выработать достаточно эффективную систему стимулов и ограничителей («направляющих») инновационного развития. Это, разумеется, не означает отказ от работ в других сферах и тем более от возможности увеличения их поддержки, но следует осознавать реальную ситуацию, распределяя ресурсы и формируя регулирование и законодательство соответственно.

Выбор модели ГЧП и трезвый подход позволят более четко определить и границы ответственности самого государства. Понятно, что в российских реалиях отказать государству в функциях прямой поддержки инноваций будет равносильно развалу отраслей. То же можно сказать и о государственной инновационной политике в целом. Наоборот, роль государства нужно повысить, а усилия — активизировать, но при этом провести ревизию и оптимизацию политики.

Процесс должен осуществляться в тех формах и на тех направлениях, которые обеспечивают максимальный эффект и стимулируют инновационные процессы[22]. Прежде всего, это поддержка фундаментальной и прикладной науки и подготовки кадров (расходы на которые необходимо увеличивать), софинансирование разработки новых поколений коммерческих технологий, налоговое и административное стимулирование инноваций, обеспечение трансфера технологий. Возможно и даже желательно грамотное использование госзаказа[23] — однако при этом государство не должно претендовать на функции полного «заменителя» рынка.

Аналогичным образом, в сфере создания коммерческих технологий и наукоемкой продукции в целом государству непозволительно выступать в качестве своего рода «госплана инноваций». В конце концов, в большинстве случаев непосредственное участие государства в осуществлении коммерческих инноваций чисто практически оказывается неэффективным (в том числе из-за меньшей оперативности, низкой

императивности задач окупаемости и прибыльности проектов и других моментов). Кстати сказать, широко рекламируемый ГЛОНАСС уже выявил все эти проблемы и неплохо было бы изучить полученный опыт.

Если уж и прибегать в российских условиях к инструментам прямого государственного участия в коммерческих инновациях, то с учетом двух моментов. В организационном отношении ключевой должна стать форма госкорпорации, действующей как независимый хозяйствующий субъект и вынужденной поэтапно переориентироваться на рынок, а не на бесконечный и слабо контролируемый доступ к бюджетным средствам (пусть и при наличии определенной госпомощи). При этом положительно необходимо обеспечить прозрачность операций этих ГК, реформирование процесса принятия и исполнения решений, привлечение иностранных и российских партнеров и инвесторов, создание открытых инновационных систем в противовес «инновационному национализму», оптимизацию производственной структуры (в том числе в пользу интернационализации), а также иммунитет от политического популизма. Далее, важно учитывать и специфику отраслей. В таких капиталоемких отраслях, как авиакосмическая, атомная и др., в силу масштаба необходимых вложений и расходов оптимизированным госкорпорациям альтернатив пока нет. В других отраслях желательны смешанные формы, а там, где предприятия (даже в госсобственности) демонстрируют успешность и конкурентоспособность, следует вообще задуматься о целесообразности «госкорпоративизации». Скорее, в этих сферах коммерческих инноваций государство окажется более эффективным в роли партнера и регулятора рынка.

Высокая инфляция, бюрократизм, коррупция, некорректное или выборочное правоприменение и другие моменты способны не просто ухудшить, но и погубить хрупкие элементы инновационной экономики. Реальные усилия, направленные на преодоление этих проблем, и системные реформы российской экономики пока в большей мере отражены в речах политического руководства, нежели в практической политике. Настораживают и перемены в настроениях части российских элит, которые в условиях финансового кризиса и некритических оценок успехов мобилизационной модели научно-технического «рывка» СССР в 1940–1960-х годах явно нашли «убедительные доказательства» безальтернативности роли государства для инноваций в России и весьма своеобразно интерпретируют мировой опыт.

В конечном счете гарантией успеха может стать кардинальная перемена самого мышления российских элит, чтобы концепция, акценты и практика госполитики изменились, а вместе с ними изменились и приоритеты ГЧП в сфере инноваций. Парадоксальным образом един-

ственная надежда в этом отношении связана с мировым кризисом. Однако огромная ответственность ложится и на бизнес-сообщество, и на сообщество академическое. Требуются их скоординированные усилия по изменению ситуации. Ожидание того, что политика РФ и позиции властей изменятся «по щучьему велению», а правительство должно само «осознать свои ошибки», наивно. На этом пути встанут и внутренние противоречия по вопросу о путях развития инноваций в РФ и российской экономики в целом, и многие другие препятствия. Но политика — это искусство компромиссов. А взращивание ростков экономики знаний в России — дело общее, имеющее приоритетное значение для будущего РФ и отвечающее интересам всех игроков, и как таковое требует большой гражданственности и активности всех участников процесса.

Примечания

[1] Надежные данные о размерах и пропорциях поддержки НИОКР государством и бизнес-структурами, динамике и характеристике инновационных процессов см.: OECD Science, Technology and Industry Outlook 2006. Paris: OECD, 2006; OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2007. Paris: OECD, 2007.

[2] См.: OECD Science, Technology and Industry Outlook 2006.; OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2007.

[3] Об основных проблемах, структуре и динамике инновационных элементов в российской экономике, в том числе теоретическое измерение вопросов, см.: *Иванова Н. И.* Национальные инновационные системы. М.: Наука, 2004; Национальные инновационные системы в России и ЕС / Под ред. В. В. Иванова, Н. И. Ивановой, Й. Розебума, Х. Хайсберса и др. М.: ЦИПРАН РАН, 2006; *Голиченко О. Г.* Национальная инновационная система России: Состояние и пути ее развития. М.: Наука, 2006. Глубокий и подробный анализ научно-технической политики России содержится в кн.: *Дежина И. Г.* Государственное регулирование науки в России. М.: Магистр, 2008.

[4] См.: «Круглый стол»: «Государственно-частное партнерство в сфере НИОКР» // Наука и технологии РФ. 2008. 3 октября. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.strf.ru/ organization.aspx?CatalogId=221&d_no=16209.

[5] См., например, о некоторых промежуточных итогах мегапроектов: *Фурсенко А.* Объем финансирования важнейших инновационных проектов в России в 2007–2010 гг. должен составить 1 млрд долларов // ПРАЙМ-ТАСС. 2006. 7 декабря. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.prime-tass.ru/news/ show.asp?id=646262&ct=news; В правительстве РФ посчитали недостаточным доход от реализации инновационных проектов // ИА «REGNUM». 2006. 7 декабря. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.regnum.ru/news/751539.html. Тезисы выступления см.: Тезисы доклада А. Фурсенко «Совершенствование механизмов формирования и реализации важнейших инновационных проектов государственного значения». Официальный веб-сайт Министерства образования и науки. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.mon.gov.ru/ruk/ministr/dok/3231.

[6] См.: *Дежина И. Г.* Указ. соч. С. 267.

[7] Были созданы также промышленно-производственные зоны.

[8] Подробнее тема международного сотрудничества России с иностранными ТНК и развивающимися странами рассмотрена автором в ст.: *Данилин И. В.* Новый этап российской

политики развития международного сотрудничества и кооперации в сфере «хай-тек» // Год планеты-2008. М.: Наука, 2008.

[9] См., например: Science and Engineering Indicators 2006. National Science Foundation. 2006. Vol. 1. P. 4-31–4-37; OECD Science, Technology and Industry Outlook 2006 и т.д.

[10] Цит. по: При президенте РФ создается комиссия по модернизации и технологическому развитию экономики // Интерфакс. 2009. 15 мая.

[11] См., например: Малый бизнес поддержат триллионом рублей // Интерфакс. 2009. 18 мая; РОСНАНО приступает к созданию венчурных и посевных фондов // Официальный сайт Роснано. 2009. 15 июня. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: http://www.rusnano.com/Publication.aspx?PublicationId=1728 и т.д.

[12] См., например: Финансирование инновационной деятельности сокращаться не будет // Взгляд. 2008. 6 декабря. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.vz.ru/news/2008/12/6/236169.html.

[13] См., например: Владимир Путин: «Государство не собирается вечно держать госкорпорации...» // Finam.ru. 2008. 12 декабря. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www. finam.ru/analysis/forecasts009B8/default.asp.

[14] См.: Михаил Миньковский: «В мире НИОКР сложением двух единиц можно получить четыре» // Наука и технологии РФ. 2008. 3 июня. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.strf.ru/organization.aspx?CatalogId=356&d_no=14507.

[15] См. об этом, например: *Thorsten N. and Orlova D.* Russia's Outward Investment // Current Issues. Deutsche Bank Research. 2008. April 30. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000224964.pdf.

[16] *Гончар К.* Инновационное поведение сверхкрупных компаний: Ленивые монополии или агенты модернизации? Доклад на Ученом Совете ИМЭМО РАН 3 декабря 2008 года (исследовательский проект в рамках гранта ГУ-ВШЭ № 07-01-149).

[17] Примеров тому множество, но мы не имеем возможности рассмотреть их все в данной статье. Подробно феномен корпоративных открытых инновационных систем рассмотрен в кн.: *Чесбро Г.* Открытые инновации. М.: Поколение, 2007, и в других работах Гарвардской школы бизнеса (Harvard Business School).

[18] См. об этом, например: *Harris J., Shugars J., Westling H.* Technology Procurement as a Market Transformation Tool. Proceedings of the 1998 ACEEE Summer Study on Energy-Efficient Buildings. Asilomar, CA. August 2002. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: http://www1.eere.energy.gov/femp/pdfs/techproc.pdf.

[19] Проблема местами почти полного несовпадения представлений государства и бизнеса о барьерах на пути развития инноваций прекрасно отражена в исследовании К. Гончар по материалам Росстата.

[20] См: «Круглый стол»: «Государственно-частное партнерство в сфере НИОКР» // Наука и технологии РФ. 2008. 3 октября. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.strf.ru/ organization.aspx?CatalogId=221&d_no=16209.

[21] Например, понятие «инновации» не в ходу у многих управленцев из промышленности, продолжающих использовать лексику 1970–1980-х годов — «нововведения», «научно-технический прогресс» и т.д. (*Гончар К.* Инновационное поведение сверхкрупных компаний: Ленивые монополии или агенты модернизации?).

[22] См. о современных практиках стран ОЭСР: OECD Science, Technology and Industry Outlook 2006. P. 24, 67–78, etc.; *Авдулов А. Н., Кулькин А. М.* Программы регионального развития в контексте государственной научно-технической политики: Опыт США. М.: ИНИОН РАН, 1999; Japanese Research Parks: National Policy and Local Development // Regional Studies. Oxford, etc. 1998. Vol. 32. No 5; The Reconfiguration of national innovation systems — the example of German biotechnology // Research Policy. 2004. Vol. 33. No 3 и т.д.

[23] О конструктивном потенциале госзаказа и подобных же инструментов см., например: *Edler A. and J., Georghiou L.* Public procurement and innovation-Resurrecting the demand side // Research Policy. 2007. September. Vol. 36. No 7.

Раздел V

ИНТЕГРАЦИЯ И ГРАНИЦЫ

28. Интеграция и вовлечение как инструменты глобального управления

29. Безопасность пограничных пространств

30. Региональные варианты международной интеграции

Глава 28

Интеграция и вовлечение как инструменты глобального управления

Глобальное управление представляет собой политический процесс, в ходе которого, в отсутствие верховной мировой власти, устанавливаются ясно выраженные цели для человечества в целом, а также происходит наднациональное вмешательство в общественную практику ради достижения этих целей. Соответствующие решения должны восприниматься в качестве легитимных большинством тех, кого они затрагивают, или, по крайней мере, его наиболее влиятельными частями. Однако эти решения принимаются к действию в отношении всех людей, включая и тех, кто не выразил с ними явного согласия. Агентами глобального управления выступают правительства, международные организации, неправительственные объединения, транснациональные корпорации, эпистемические сообщества и даже отдельные лица, располагающие необходимыми для этого ресурсами. Если толковать глобальное управление в духе критической теории Франкфуртской школы, то речь идет о направлении в теоретическом осмыслении мировой политики, которое претендует на выработку организационных форм, наиболее точно соответствующих глобальным общественным запросам.

Интеграция по типу Европейского Союза в данной связи предстает как форма и способ региональной реакции на глобальные вызовы, а вовлечение — как метод распространения транснационального управления путем расширения круга его субъектов и объектов. В контексте европейской интеграции многоуровневое управление непосредственно затрагивает граждан в их повседневной жизни. Вследствие этого можно судить о характере трансформации государства как основного института в представлениях политической науки. Поэтому, как следует, в частности, из публикации М. Яхтенфухса и Б. Колер-Кох, изучение

управления в Европейском Союзе и за его пределами «должно не только привести к лучшему пониманию общих процессов. Оно должно также напомнить, что речь идет не просто о технократической оптимизации политики, но и о том, какой именно политический порядок является целесообразным»[1].

Новый понятийный аппарат исследования интеграции

Под интеграцией в самом широком значении понимается возникновение новой общности из прежде разрозненных частей. В случае политической интеграции речь может идти либо о создании в конечном итоге самостоятельного политического целого в определенных территориальных границах, либо о возникновении политического сообщества, не имеющего четкой привязки к территории. В первом случае обычно имеется в виду оформление государственности — возникновение наднационального объединения в форме федерации или конфедерации государств. При этом политическая интеграция имеет пространственное измерение и внешние границы, то есть является региональной, а не глобальной. В результате интеграционного процесса происходит постепенное отмирание или устранение политических границ внутри интегрирующегося пространства.

Региональная интеграция способствует глобализации в том смысле и в той мере, в которых последнюю можно понимать как процесс «денационализации», точнее, «десуверенизации» (в индивидуально-государственном смысле), всемирного политического пространства.

Глобализация в таком понимании размывает правдоподобие идеал-типической картины мировой системы, которую составляют исключительно государства-нации с соответствующими каждому из них особыми общественными и экономическими укладами.

Но политическая интеграция может иметь и иную конечную цель — оформление политического сообщества, лишенного территориальной привязки. В таком случае мы непосредственно имеем дело с *коммуникативной интеграцией* между политическими действующими лицами, концептуальные основания которой разрабатывались К. Дейчем[2]. При таком понимании деление мира на государства и государственные границы как таковые, строго говоря, не имеет большого практического значения. Участники подобного политического сообщества объединены в первую очередь не территорией или государством, а общей культурой, формальными и неформальными нормами, обычаями, нравами и ценностями. Приверженность им и образует некое единство, составля-

ет отличительную особенность всех принадлежащих к нему, обеспечивая повышенный уровень доверия и взаимопонимания между всеми, кто ощущает и признает свою сопринадлежность такому целому.

Распространение и воспроизведение политической культуры подобного сообщества может происходить различными способами, однако наиболее эффективным среди специалистов считается вовлечение. Данный способ подразумевает, что действующие лица интеграции непосредственно встраиваются в институциональный процесс обучения интеграционному поведению. Благодаря этому происходит их адаптация к условиям интеграции и приобщение к выработке и корректировке политической культуры сообщества в целом[3]. Такой способ соответствует пониманию «вовлеченного участия» у М. Хайдеггера, для которого мир агента оформлен его образом жизни, погружением в культуру[4].

О транснационализации в политическом смысле можно говорить тогда, когда национальные государства, сохраняя существенное политическое влияние, утрачивают тем не менее монополию на международное представительство интересов собственных граждан, вступающих ради достижения своих целей в транснациональные связи и сообщества. Транснационализация сопряжена с возникновением достаточно влиятельных наднациональных институтов, имеющих собственную, автономную сферу полномочий, прямого доступа к которой отдельные государства не имеют. На практике это условие пока реализовано только в рамках Европейского Союза. Однако и в этом случае (если быть точным) речь опять-таки может идти о транснационализации региональной, а не глобальной.

Способен ли Евросоюз определить собою развитие глобальной системы глобального управления? Теоретически такая возможность существует, причем для российского общества подобная перспектива не безразлична. Фактически наша страна медленно, но неуклонно вовлекается в экономическое, гуманитарное и политическое пространство ЕС, однако ей крайне трудно добиться доступа к принятию общеевропейских наднациональных политических решений.

Налицо явная асинхронность двух процессов: Россия де-факто становится частью «единой Европы» скорее, чем возникает соразмеренное приращение ее права влиять на европейские дела.

При сохранении нынешних неблагоприятных тенденций россиянам грозит опасность оказаться одним из пассивных объектов управления со стороны ЕС.

С точки зрения либеральной школы, которая сегодня доминирует в теоретической сфере, всякое политическое сообщество, за исключением

национального, должно изначально вызывать большие подозрения. (К. Дейч был в полной мере согласен с этой позицией, что делало его теоретические построения внутренне несколько противоречивыми.) В рамках традиционной либерально-рационалистической логики принято считать, что любое действующее лицо политики, будь то человек или государство, заботится прежде всего о максимизации собственной выгоды. При этом имеется в виду, что субъект политического действия ограничен в проявлениях эгоизма главным образом соображениями заботы о собственной безопасности. Поэтому серьезная политика, достойная именоваться таковой, возможна только в относительно безопасных для проживания граждан пределах государственных границ, внутри которых существует сообщество, выступающее своего рода «моральным гарантом» этой безопасности. Вне границ соответствующего государства стандарты «правильного» поведения, которые приняты «его» обществом для регулирования поведения «своих» граждан, якобы неизбежно нарушаются.

Кроме того, либерализм ассоциирует политическую власть главным образом с публичной сферой. Вследствие этого затушевывается политическая значимость экономической власти, находящейся в частных руках. Разделение на частную и публичную сферы в сочетании с государствоцентричным анализом ведет к игнорированию или недооценке политического влияния транснациональных корпораций. Связывая власть исключительно с публичной сферой, либеральные теоретики ограничивают фокус политического дискурса: он охватывает только государства в их территориальных границах. Игнорируя внутренние негосударственные процессы, аналитики при этом упускают из виду транснациональные влияния[5].

Между тем глобализация принципиально ограничивает способность государств самостоятельно влиять на экономические, финансовые и природные процессы, которые оказывают непосредственное воздействие на сами эти государства и их общества, невзирая на территориальные границы. Ни одно государство не готово более претендовать в одиночку на успешное сдерживание международной преступности, ведение борьбы с распространением болезней или техногенными изменениями климата. Радикальные приверженцы теорий глобализации даже полагают, будто государственные границы и территориальное деление мира в данной связи вообще утратили практическое значение, а государственность постепенно «истончается», слабея перед лицом наступления «мирового правительства».

Однако такой вывод выглядит поспешным и преувеличенным. В реальности даже в случае наиболее развитой и сложной по формам реги-

ональной интеграции (Европейский Союз) общественные взаимосвязи лишь отчасти утрачивают прежний, резко выраженный территориальный формат. Более того, по мере растворения внутри интегрирующегося пространства Европы границ внутренних его внешние рубежи становятся еще важнее, усугубляя разницу между теми, кто оказался в зоне европейской интеграции, и теми, кто остался за ее пределами.

Проблемы, с которыми сегодня сталкиваются европейские государства при определении своей интеграционной стратегии, лежат вне пределов традиционной внешней политики. Требуются иные концепции, которые прояснили бы происходящую трансформацию. Однако новые курсы приходится прокладывать в старых институциональных контекстах, где живы прежние идеи и представления (в первую очередь либерально-рационалистические). Между тем приверженность традиционной рационалистической парадигме предполагает заметный разрыв между реальностью и обликом этой реальности в том виде, в каком он складывается в головах людей, принимающих политические решения и/или испытывающих на себе последствия их принятия. С «точки зрения ниоткуда», для рационалистически мыслящего агента есть мир и есть «картина» этого мира, на основании которой он действует. Подразумевается, что «картина» глобализирующегося мира не может измениться прежде, чем изменится сам этот мир, прежде чем нагнетается состояние неопределенности, в котором большинство людей инстинктивно могут искать ясного порядка, хоть в чем-то напоминающего прежний. Новая ситуация неопределенности (по сути уже «нормальная», если погрузиться в нее как в собственный жизненный мир) для рационалиста выступает как фактор раздражающий, если не грозный и пугающий.

С либерально-рационалистической точки зрения, в ЕС европейскую политику по-прежнему ведут главным образом правительства отдельных государств. Они якобы вынужденно, неохотно и даже с опозданием соглашаются на интеграцию, чтобы сохранить свою прежнюю роль и ускользающее международное влияние на «объективном» фоне мощной конкуренции. Интегрируясь, государства «жертвуют» часть своего суверенитета наднациональным европейским институтам или международным организациям. При этом к наднациональным органам уходят в первую очередь те сферы прежней компетенции государств, с которыми они хуже всего справлялись (торговля, финансы). Возникает своего рода региональное квазигосударство, в рамках которого наднациональный уровень «перехватывает» у национальных государств только те стороны управления хозяйством, где национальное политическое управление недостаточно эффективно.

Парадоксальным, казалось бы, образом государственность видоизменяется, но она не подрывается и даже бывает способна укрепиться. Европейский Союз начинает чувствовать себя более уверенным субъектом международной политики за счет того, что внутри него наиболее сильные государства соглашаются ощущать себя менее важными и почитаемыми, чем им хотелось бы. Таково может быть рационалистическое объяснение происходящего, за которым в существенной мере скрывается его подлинный смысл.

Негативная и позитивная «интеграции»

Между тем в аналитическом плане специалисты делят интеграцию на негативную и позитивную. На это следует обратить особое внимание. *Негативная интеграция* предполагает устранение национальных барьеров для оформления рынка больших масштабов, где никакая общая модель хозяйственного поведения заранее не предписывается. Ликвидация торговых барьеров в отношении определенного вида товаров не предполагает одновременного установления стандартов, которыми регулировалось бы в дальнейшем их производство в национальных рамках. Подразумевается лишь, что товары данного вида могут (должны) свободно продаваться в других государствах-членах интеграционного объединения.

Негативная интеграция исходит непосредственно из постулатов неолиберальной идеологии, которая требует сокращения масштабов социальных выплат и максимального отстранения государств от политического вмешательства в функционирование рынка. При этом национальная принадлежность, сохраняемая в форме гражданства, превращается в средоточие борьбы за индивидуальные права, в ходе которой национальное гражданство (подобно кровному родству в предшествующие эпохи) становится принципом исключения. К нему прибегают и из сугубо корыстных побуждений, чтобы отказать в правах тем, кого все еще можно более или менее убедительно представить в качестве «Другого».

Роль наднациональных институтов в контексте негативной интеграции состоит в том, чтобы не позволять государствам вмешиваться в функционирование регионального рынка ради поддержания равных для всех экономических акторов конкурентных условий. Государства при этом еще выступают как участники политической интеграции, но выстраивания общей, многоуровневой региональной политической системы не происходит. Наднациональность как политическое качество остается целью сугубо вспомогательной. Она существует «над» национальным государством в образе инспектора, рефери, арбитра, который,

однако, не вмешивается в процессы, происходящие на внутриполитических площадках каждой из стран.

Общая европейская валюта (евро) относится к проявлениям негативной интеграции. Европейская модель единой валюты не предполагает введения в действие инструментов, помогающих отдельным государствам — участникам валютного союза справляться с экономическими шоками, особенно болезненно их поразившими. В принципе это составляет серьезную проблему: в известном смысле страны ЕС «брошены» один на один со своими специфическими экономическими трудностями. В их распоряжении уже нет регулирующего механизма обменного курса, и они ограничены в использовании фискальных инструментов. При этом переток рабочей силы (тем более ввиду сохраняющихся культурных различий и нарастающей ксенофобии в Европе) вряд ли окажется столь динамичным и пластичным, чтобы в равной степени обеспечить всем странам ЕС «мягкую» адаптацию к меняющимся экономическим условиям.

Не лучше обстоит ситуация с Экономическим и валютным союзом. Здесь принятие соответствующих хозяйственных решений оказалось в руках узкого круга технократов. Руководство ЕС пока исходит из того, что низкая инфляция является благом, которого легче добиться независимым центральным банкам, а не министрам. Считается аксиомой, что правительствам ради победы на очередных выборах приходится угождать широкой публике, а это мешает соображениям экономической эффективности. Подобные умонастроения и позволили «спецам» Евросоюза относительно легко добиться серьезных изменений в денежной политике даже стран с «низким потенциалом модернизации» (Италия и Греция).

Такой успех стал возможен потому, что управление денежной политикой по большому счету сводится исключительно к формулированию политических решений, а их выполнение зависит от реакции финансовых рынков. Иными словами, политические и административные структуры государств-участников оказываются несколько оттесненными от прямого участия в принятии и реализации финансово-экономических решений, а провозглашение таковых (в области денежной политики, например) адресовано в первую очередь рыночным игрокам и рассчитано на их ожидаемые реакции. Немедленного «ответа» политических институтов стран-участниц никто не ждет и не требует.

Но такое возможно не во всех хозяйственных сферах. Так, либерализация транспортной политики в ЕС оказалась заложницей мелких групп давления, отстаивавших свои несовместимые друг с другом предпочтения. В фискальной сфере в выполнении соответствующих реше-

ний должны непосредственно участвовать налоговые инспекции, банки и другие институции, а зачастую даже полицейские силы стран-участниц. А потому для ряда стран внедрение общих правил оказалось гораздо сложнее, чем это предполагалось вначале. Процесс усложнялся по мере того, как от управляющих политических уровней отдельных государств требовалось больше конкретных административных и технических шагов.

Когда рынки открываются вследствие приведения в действие механизмов негативной интеграции, то существовавшее прежде внутри страны равновесие общественных сил нарушается. Прямые указания на то, в какой форме его следует восстановить, отсутствуют, но ясно, что в выигрыше оказывается бизнес как наиболее транснационализованный игрок. Способность государства управлять национальными рынками, контролировать потоки капитала, осуществлять национальный контроль над денежной политикой (инфляцией и процентными ставками), сохранять централизованную систему переговоров о заработной плате — все это помогало прежде укреплению позиций наемного труда в его оппозиции капиталу. Но государство благосостояния «по Кейнсу» безвозвратно ушло. Опыт Франции 1980-х показал: в условиях углубляющейся интеграции левым партиям уже недостаточно прийти к власти в одной стране, чтобы добиться большей социальной справедливости даже для собственных граждан[6]. Для этого требуется позитивная интеграция, подразумевающая сознательную коррекцию действия рыночных сил в масштабах всего интегрированного пространства.

В случае с *позитивной интеграцией* государства-участники должны приводить внутренние механизмы в соответствие с моделью, которая задается в наднациональных политических решениях. В Европейском Союзе примеры позитивной интеграции можно найти прежде всего в области защиты прав потребителей, охраны окружающей среды и безопасных условий труда. Позитивная интеграция в большей мере социально ориентирована. Она представляет собой системы регулирующих импульсов, устанавливающих стандарты в отношении товаров, производства, условий труда и охраны окружающей среды, исходящие из того, что признано считать общественным благом. Настаивая на внимании к проблемам, связанным с социальными сторонами охраны условий труда, окружающей среды, здоровья и занятости, ЕС вторгается, хотя и робко, в те сферы, которые в противном случае оставались бы вообще без всякого внимания со стороны отдельных правительств[7].

Существование негативной и позитивной интеграций в Европе по-своему отражает «два лика» либерализма. «Экономический», «чистый либерализм», или «неолиберализм», ставит на первое место рынок.

Подразумевается, что демократия, мир и соблюдение индивидуальных прав зависят от успешного функционирования рыночной экономики. В отличие от «чистых либералов», социальные либералы на первое место помещают права человека. Они допускают ограничения в функционировании рыночных сил ради удовлетворения базовых людских потребностей, в том числе и непосредственно политическими способами, не доверяя рынку в полной мере. В политике «чистым либералам» свойственно находить взаимопонимание с консервативными и даже авторитарными силами. Социал-либералы склонны к союзам с социал-демократами.

В случае с позитивной интеграцией как воплощением социал-либеральной части европейского проекта власть оказывается распыленной между акторами, которые находятся на разных уровнях правительственной и общественной структуры, а национальные правительства не способны ее монополизировать. Государства при таком раскладе не могут блокировать выход на общеевропейскую арену внутриполитических сил отдельных государств (социалистов, христианских или исламских партий, например). Так облегчаются условия региональной политической транснационализации. Действовавшие в пределах «контейнеров» отдельных государств силы получают дополнительный простор. Они могут теперь непосредственно обращаться к наднациональным институтам (Комиссии, Европейскому суду, Европарламенту), минуя национальное правительство. Индивиды получают новые возможности и одновременно попадают в более сложную и размытую политическую среду, требующую от них смелости и инициативы, новых навыков и квалификации. Пассивно рассчитывать на поддержку «своих» государственных и квазигосударственных структур теперь не слишком благоразумно.

В контексте *негативной интеграции* принято считать, что государства как основные политические акторы эгоистически преследуют собственную выгоду, но на их действия можно повлиять, изменив институциональную «среду обитания». При *позитивной интеграции* ключевая роль отводится структуре, то есть вопросу о путях передачи управляющих импульсов с общеевропейского на национальный уровень, а государства фактически в качестве самостоятельных политических акторов не рассматриваются.

Позитивная интеграция ведет к оформлению общеевропейского управления хозяйственной деятельностью в самом широком смысле слова. Такое управление, в свою очередь, способствует распространению транснациональных политических сетей как своеобразной управ-

ленческой формы. В сетях, специализирующихся на выработке политических правил, взаимодействуют публичные и частные акторы (политики, предприниматели, экологи, чиновники). Но сетевое управление развивается неравномерно. Валютная сфера, внешняя политика и политика безопасности, сотрудничество в области внутренних дел и юстиции, которыми занимаются и правительства отдельных стран, и общеевропейские институты, не знают сетевого управления. Трудно представить даже теоретически, чтобы частные и публичные субъекты сотрудничали в названных областях, создавая транснациональные коалиции.

Бюджет Союза в возрастающем масштабе используется для развития европейских политических сетей, которые уже носят транснациональный характер. Их участники получают финансовую подпитку, черпают из коммуникации новые идеи и альтернативные стратегии политического лоббирования на уровнях отдельных государств. Сети создают возможность для согласованных действий в преодолении тупиковых ситуаций и служат механизмом развития совещательной демократии.

Появление на европейском уровне специфических структур управления (политических, правовых и социальных институтов, связанных с решением политико-хозяйственных проблем), а также политических сетей, специализирующихся на выработке властных правил, в литературе стали называть *европеизацией*. Она в этом смысле подразумевает прежде всего воздействие интеграционной культуры и практики на политические системы отдельных стран Евросоюза. Особое внимание уделяется при этом проникновению европейского измерения на внутригосударственные арены принятия политических решений, в ходе которого политическая и экономическая динамика ЕС становится частью организующей логики на уровне национальных политик.

Под наднациональным влиянием оказываются и национальные политические системы, и содержание проводимой ими политики. На «внутренних» акторов оказывают мощное социализирующее воздействие методами вовлечения, в ходе которого меняются не только их представления о собственных интересах, но также тип поведения, их привычки, предпочтения, идентичность.

В качестве одного из ранних явлений европеизации некоторые авторы называют Римскую империю. Там весьма существенную роль в социализации населения к общей культуре играл «наднациональный» институт римского гражданства. При Юлии Цезаре предоставление прав римского гражданства в провинциях было распространенной мерой укрепления политической власти империи. Эта практика была продол-

жена при его преемниках. В 212 году император Каракалла предоставил права римского гражданина всему свободному населению империи. Пожертвовав исключительным положением «римского народа» (то есть первоначально жителей Апеннинского полуострова), удалось добиться укрепления массовой поддержки режима. В то же время римское гражданство было чисто статусным. Оно не давало возможности подключиться к выработке основных государственных решений. «Вовлечения» в современном понимании данного термина не происходило.

В целом европейская интеграция не ведет к атрофии национально-государственных форм. Определение рамок, в которых рассматривается тот или иной вопрос, лидеры национальной исполнительной власти по-прежнему оставляют за собой. Но интеграция изменяет взаимоотношения между частными и публичными акторами, расположенными на разных правительственных уровнях (субнациональном, национальном, наднациональном). Иногда такое изменение оказывается в пользу национального правительства, иногда — в пользу региональных или частных интересов, вступающих в коалиции с Комиссией ЕС.

Европеизация подразумевает процессы создания, распространения и институционализации формальных и неформальных правил, процедур, политических парадигм, стилей, общих норм и убеждений, которые сначала закрепляются в процессе принятия решений на уровне ЕС, а затем транслируются в национальный политический дискурс. Европеизация невозможна без региональной интеграции, но она ей не равнозначна. Традиционные теории интеграции старались ответить на вопрос, почему правительства отдельных суверенных государств идут на создание наднациональных институтов. Феномен политической интеграции поэтому обычно подавался в контексте описания процесса, в ходе которого государства добровольно отказывались от доли национального суверенитета. Однако термин «европеизация» применяют и для прояснения новых наднациональных качеств европейской политики, и для описания характера взаимодействий в общих рамках политической системы региональной интеграции.

Но как соотносятся политика интеграции и процессы глобализации? Единство во мнениях здесь отсутствует. Одни специалисты считают региональную интеграцию способом ускорить глобализацию. В таких случаях обычно происходит сосредоточение внимания на объективных сторонах глобализации. Ее изображают или представляют безликим процессом без субъекта, который просто существует «где-то там», но при этом затрагивает (возможно благодейственно) всех и вся. Цель интеграции видится в оказании помощи в деле рационального обретения доступа к благам глобализации.

В иных случаях в европейской интеграции усматривают скорее способ «усмиряющего» влияния на глобализацию в ее нынешнем американизованном варианте (считается, что он наносит неоправданный урон привычным для европейцев формам социальной жизни) и — в силу чрезмерного упора на капитализацию и рыночную гибкость — враждебность инновациям и росту производительности[8]. Интегрированная мощь нескольких государств предстает в роли фактора ограничения «несправедливых» международных политических правил. Им на смену предполагаются более разумные и справедливые нормы, основанные на европейских ценностях. Британский автор Уилл Хаттон по этому поводу довольно высокопарно замечает: «Приверженность ЕС идеям общественного договора, а также общедоступности высококачественных социальных услуг является маяком для остального человечества. В отсутствие уравновешивающей силы, обладающей достаточной мощью и готовой при необходимости использовать свои финансовые и политические мускулы, прекратится развитие многосторонних институтов и процедур, с помощью которых можно управлять глобализацией. Только ЕС обладает сейчас необходимым весом в мире, чтобы взять на себя такую роль»[9].

Интеграционная политика ЕС в глобальном контексте

Действительно ли интеграция в ЕС представляет собой региональную версию «транснационализации по-европейски», особую стратегию *по отношению* к глобализации, предпринятую европейцами, сознательно или интуитивно, попытку релятивизации «себя» по отношению к «ней»?

Евросоюз как объединение с наднациональными чертами имеет немало действенных способов, чтобы помешать государствам-членам по политическим мотивам вмешаться в свободное функционирование рынков. Негативная интеграция повышает накал конкуренции, в том числе (в какой-то степени) и на рынке труда. ЕС запрещает оказание прямой государственной поддержки «собственным» отраслям промышленности и компаниям. Национальное регулирование и национальная политика не исключаются полностью, но ограничиваются в наиболее чувствительных аспектах. Политика ЕС исключает возможность одних стратегий по отношению к глобализации, но допускает возможность других. Однако выбор в пользу интеграции в принципе, согласие с политикой европеизации подразумевают сами по себе готовность участвовать в интенсивных глобализационных процессах. Искать даже теоретические альтернативы ей кажется европейцам неосторожным и излишним, особенно ввиду их собственных разногласий в оценках успешности сугубо европейских стратегий регионального регулирования.

Немецкий специалист Фриц Шарпф, автор многих работ по данной теме, в этом смысле принадлежит, скорее, к числу скептиков. Он указывает на «конфликт интересов» между государствами — членами ЕС, проистекающий из разницы в уровнях их экономического развития[10]. Ради сохранения конкурентоспособности в условиях единого внутреннего рынка менее конкурентоспособным странам следует, считает он, постараться снизить затраты на оплату рабочей силы и природоохранные меры. При подтягивании таких затрат к уровню стран с наиболее производительной экономикой менее производительные национальные хозяйства окажутся разрушенными. «Чем больше предприятия подвержены ценовой конкуренции, — пишет он, — тем меньше отвечающие перед своими избирателями политики экономически слабее развитых стран готовы были бы согласиться на инициативы по гармонизации, предполагающие повышение затрат. И это тем более верно, что ...богатые страны ЕС, вне всякого сомнения, не захотят (или даже не смогут) оплатить компенсацию жертвам...»[11].

По мнению Шарпфа, хотя европейской экономике и нужен большой рынок, а следовательно, и общие правила, чтобы не отстать от американских и японских конкурентов, Европа все равно отстанет от них, если ничем не ограничиваемая негативная интеграция парализует процессы решения проблем на национальном и субнациональном уровнях и в области позитивной интеграции. Ввиду институциональных сложностей и длительности трудных переговоров успехов будет по-прежнему мало, а соответствующие решения останутся половинчатыми[12].

Между тем европейские государства, до сих пор существующие вне интеграционного пространства, могут быть связаны отдельными соглашениями с ЕС, которые будут фактически вынуждать их проводить у себя такую же политику, как в Европейском Союзе. При этом совсем уже не ясно, какие «дополнительные меры защиты» по отношению к глобализации могли бы предпринять не вошедшие в ЕС Норвегия или Швейцария, на какие не пошли государства, входящие в Евросоюз[13].

В случае сохранения в ЕС влияния неолиберальных доктрин (как это характерно для текущего момента) европейские государства, пока остающиеся вне рамок Союза, столкнутся с дилеммой: принять неолиберальную практику вне ЕС либо сделать то же самое внутри Союза. Притягательность членства в нем при таком раскладе уменьшится, поскольку оно не будет сулить альтернативу «бесчеловечному варианту» глобального управления по законам рынка.

Если же рассматривать интеграцию как проект, который компенсирует утрату рычагов управления в национально-государственных рам-

ках, то она таит в себе угрозу недемократичного и нелегитимного доминирования крупных и развитых европейских стран над остальными — как вошедшими, так и не вошедшими (пока) в его состав. «Дефицит демократии»[14] может оказаться слишком высокой платой за обещание победы (до сих пор ничем не гарантированной) над «глобализацией по-американски». С европеизацией, таким образом, связаны две опасности: *слабость наднационального управления и наднациональное управление несправедливое и недемократическое.*

«Вовлечение» в европейском интеграционном контексте подразумевает, что экономические и социальные акторы встраиваются в институциональный процесс обучения, осваивая европейский стиль ведения политики. Последний имеет следующие отличительные свойства:

1) *изменчивый институциональный контекст* (неопределенная, текучая повестка дня, неустойчивость политических сетей и коалиций, частые уточнения конституционных основ интеграции, постоянно меняющийся состав участников);
2) *открытость* (Комиссия восприимчивее к новациям, чем правительства отдельных стран; в получении необходимой информации она зависит от экспертов и склонна поддерживать лоббизм разного рода);
3) *сетевая основа* (переход от иерархического контроля к неиерархической координации с участием негосударственных действующих лиц);
4) *приверженность континентальной правовой традиции* (большое значение имеют публичное право, кодификация законов и формальные институции);
5) *профессионально-отраслевой принцип организации* (предпочтение отдается выработке консенсуса, к голосованию прибегают только в крайнем случае)[15].

В сфере международной политики за пределами собственных границ ЕС особенно эффективен, когда он может использовать невоенные инструменты внешней политики, основанные на экономической мощи. Здесь подразумеваются: возможность доступа продукции из третьих стран на европейский рынок, предоставление бюджетных средств на разнообразные программы, привлекательность Европейского Союза в роли сообщества, выстроенного на общих ценностях, а также способность навязывать заинтересованным странам собственные условия присоединения к ЕС. В то же время Евросоюз бывает довольно слаб, когда нужно быстро реагировать на чрезвычайные международные события и

требуется отстоять мнение, отличное от позиции США (по вопросу, в котором Вашингтон может быть «особо заинтересован»), или когда расходятся интересы его собственных участников.

Европеизация затрагивает не только страны, непосредственно участвующие в ЕС. Она влияет и на государства, которые хотели бы присоединиться к Евросоюзу, а также на страны, находящиеся с ЕС в разных формах ассоциации и партнерства (как Россия). Вокруг Европейского Союза множатся «пространства», им же порождаемые[16]. Их общей чертой является то, что они и не «вне», и одновременно не «внутри» какой-либо традиционной политии. Скажем, для российских акторов (компаний, ведомств, организаций), которым предстоит действовать на такого рода пространствах, подключение к европейским политическим сетям — при всей их неформальности — естественным образом крайне затруднено.

Расширение политического пространства интеграции ставит в особенно невыгодное положение те страны, которые уже зависят от принимаемых в Брюсселе решений, но еще не способны стать полноценными партнерами ЕС. Для них Европейский Союз — «неоимперия», которой им предлагают пассивно довериться. Но если представить себе чисто гипотетически, что в России однажды какие-то политически остро значимые вопросы будут только обсуждаться на национальном уровне, а затем решаться на общеевропейском, то представляется очевидным, что, вместо содействия процессам демократизации, это лишь усугубило бы деполитизацию и разочарование массового российского избирателя в политике.

Предлагая России партнерство, «единая Европа» обосновывает свое предложение намерением обустроить мир на более благоприятных основаниях, чем те, которые вытекают из «Вашингтонского консенсуса». На деле повестка дня Евросоюза в сотрудничестве с Москвой проникнута духом радикального неолиберализма. Именно в этом ключе выдержаны «европейско-российские» планы оформления общего экономического пространства и сотрудничества в сферах внешней политики и борьбы с международной преступностью. Причем в качестве меры давления Россию побуждают принимать подобные предложения «в пакете», включающем, наряду с «безобидными» условиями научного или образовательного сотрудничества, крайне невыгодные или болезненные для нее положения, касающиеся реадмиссии или урегулирования конфликтов на постсоветской территории.

Россия остается за внешней границей европейского интегрирующегося пространства в положении, когда российские игроки испытывают растущее давление со стороны Евросоюза и не имеют каналов, пригод-

ных для трансляции российских требований и видения ситуации. В таких условиях получение российскими социальными и экономическими акторами прямого доступа к европейским политическим сетям и иным формам вовлечения можно считать настоятельной задачей на ближайшее будущее.

Одна из проблем, связанных с реализацией идеи глобального управления, состоит в том, что правительства ведущих стран Запада (в том числе европейских) по существу претендуют на роль субъектов глобализации. Обоснованию таких претензий служит демократия в качестве идеологического направления, которое позволяет считать допустимым рассмотрение государств, признанных не соответствующими критериям демократичности, в качестве объектов внешнего управления. Европейский Союз, выступая от лица Европы в целом, тоже примеривает на себя подобную роль. Свое преимущество в сравнении с американцами европейцы в данном отношении зачастую склонны усматривать в том, что в качестве средства принуждения они больше опираются на «мягкую силу», тогда как США — на «жесткую». Но подобное преимущество не стоит принимать на веру. Полезнее было бы в нем усомниться.

Во-первых, Европейский Союз просто не располагает «жесткой силой» в масштабах, сопоставимых с военными возможностями США. При этом ЕС в принципе явно не прочь был бы нарастить собственную военную мощь, и в случае успеха на этом пути ничто не исключало бы возможности его перехода к более жестким формам давления на внешних оппонентов.

Во-вторых, европейская позиция может быть расценена даже как более уязвимая с морально-этической точки зрения, нежели американская. Если США давят на внешних оппонентов со всей откровенностью, то ЕС пытается добиваться того же, но исподтишка, украдкой, то есть поведение европейцев в известном смысле выглядит более фальшивым.

В-третьих, даже признавая бесспорными достижения ЕС на ниве содействия модернизации различных стран, заявку такого бюрократического органа, как Европейская комиссия, на роль глобального «демократизатора» трудно воспринимать всерьез в силу несоответствия политической системы ЕС глобальной модели демократического государства.

В-четвертых, убеждение как метод воздействия ЕС на третьи страны действует все же довольно слабо на тех, кто по тем или иным причинам не видит для себя реальной перспективы вхождения в круг непосредственных участников Европейского Союза.

Таким образом, попытки ЕС использовать на практике возникающие каналы глобальной коммуникации для экстерриториального стра-

тегического манипулирования своими партнерами, в конечном счете, способны скорее дискредитировать и тем самым ослабить эффективность таких важных элементов глобального управления, как интеграция и вовлечение. Целесообразны усилия, направленные на подлинную демократизацию международной сферы, включая возникающие в ней интеграционные пространства.

Примечание

[1] *Jachtenfuchs M. and Kohler-Koch B.* Governance and Institutional Development // European Integration Theory / A. Wiener and T. Diez (eds.). Oxford, 2004. P. 114.

[2] *Deutsch K. W.* Political Community and the North Atlantic Area. International Organization in the Light of Historical Experience. New York, 1969.

[3] *Колер-Кох Б.* Эволюция и преобразование европейского управления // Мировая экономика и международные отношения. 2001. № 7. С. 52–53.

[4] См.: *Чарльз Т.* Вовлеченное участие и фон у Хайдеггера // Хайдеггер М. Сб. статей / Сост. Д. Ю. Дорофеев. СПб., 2004. С. 302–322.

[5] *Cutler A. Claire.* Locating «Authority» in the Global Political Economy // International Studies Quarterly. 1999. March. Vol. 43. No 1. P. 72–73.

[6] *Cox R. W.* Structural Issues of Global Governance: Implications for Europe // Gramsi A. Historical Materialism and International Relations / S. Gill (ed.). Cambridge, 1993.

[7] *Scharpf F. W.* Economic Integration, Democracy and the Welfare State // Journal of European Public Policy. 1997. No 4. P. 18–36.

[8] *Хаттон У.* Мир, в котором мы живем. М.: Ладомир, 2004. С. 279.

[9] Там же. С. 463.

[10] *Scharpf F. W.* Negative and Positive Integration in the Political Economy of European Welfare States // Marks Gary, Scharpf Fritz W., Schmitter Philippe C. and Streeck Wolfgang. Governance in the European Union. London: Sage Publications, 1996. P. 22.

[11] Ibid. P. 23.

[12] Ibid. P. 38.

[13] *Morten K.* The European Union and Globalisation: Reflections on Strategies of Individual States // Working Papers 38/2001. Copenhagen Peace Research Institute. P. 29–33.

[14] По этому вопросу см., например: *Gustavsson S.* Reconciling Suprastatism and Democratic Accountability // Democratizing the European Union. Issues for the 21st Century / C. Hoskyns and M. Newman (eds). Manchester: Manchester University Press, 2000. Ее автор считает, что в условиях функционирования ЭВС необходимо оживить систему общенациональных политических партий, народных движений и открытого правительства. В противном случае при отсутствии налогового союза издержки национальной политической жизни в рамках валютного союза — в периоды и в районах спада и дефляции — потребуют выбора между переходом к налоговому союзу и отказом от политических прав и свободных выборов ради предотвращения общественных беспорядков и прихода к власти популистских партий.

[15] *Bulmer S. and Burch M.* The 'Europeanization' of Central Government: the UK and Germany in Historical Institutional Perspective // The Rules of Integration / M. Aspinwall and G. Schneiders (eds). Manchester, 2000.

[16] См.: *Manners J. and Whitman R. G.* The 'difference engine': Constructing and representing identity of the European Union // Journal of European Public Policy. 2003. June. No 10. P. 380–404.

Глава 29

Безопасность пограничных пространств

Понятие «пограничная безопасность» (ПБ) — важный современный концепт, широко используемый исследователями и лицами, принимающими решения (ЛПР). Интерес к термину возрастает в связи с обострением проблем, имеющих трансграничное измерение: региональных конфликтов, нелегальной миграции, деятельности международных террористов и транснациональных преступных группировок. Необходимость обустраивать новые межгосударственные границы также побуждает оперировать понятием «пограничная безопасность», например, вследствие интенсификации легальных и нелегальных трансграничных потоков товаров, мигрантов, услуг. Часто рост интенсивности таких связей опережает способность государств реагировать на них соответствующим образом.

Понятие пограничной безопасности и лимология как наука о границах

В современной специальной литературе эмпирические разработки в сфере ПБ мало подкреплены теоретическими изысканиями. Это объясняется промежуточным положением предметного поля подобных исследований: оно находится на пересечении исследований безопасности, которые, в свою очередь, связаны с теорией международных отношений (ТМО), и науки о границах (лимологии). Недостаточная устойчивость проблематики усугубляется размытостью понятийного аппарата. На столь зыбкой основе нелегко построить стройную теорию, хотя практическое значение проблематики ПБ служит важным стимулом для работы в данном направлении.

Трудности возникают уже при определении термина. Чем является пограничная безопасность: целью или процессом, в ходе которого само состояние пограничной безопасности обеспечивается посредством реагирования на вызовы?

Если исходить из первого толкования, то мы вынуждены констатировать: достичь цели можно лишь тогда, когда известны ее четкие и измеримые критерии. Однако те цели, которые ставятся теоретиками и практиками в сфере ПБ, ни четкому определению, ни измерению зачастую не поддаются. Так, эксперты Пограничной службы ФСБ России полагают, что ПБ — это то состояние пограничных отношений, при котором обществу, государству и его гражданам не наносится вреда[1]. Выявить и измерить точные параметры такого состояния невозможно, и поэтому научная ценность такой версии определения оказывается под вопросом. Более того, оно может легко стать идеологизированным лозунгом, оправдывающим принятие чрезвычайных и дорогостоящих мер — допустим, ради «спасения рубежей Отечества».

Не проще и с другой версией. Если рассматривать обеспечение пограничной безопасности как движение к расплывчатой идеальной цели, то в чем познавательная значимость такого концепта?

Некоторые исследователи сомневаются в целесообразности употребления понятия ПБ[2], предлагая использовать вместо него получивший распространение в странах ЕС термин «пограничный менеджмент»[3]. Такое словосочетание смещает акцент на отсутствие чрезвычайности, постулирует заурядность, обыденность пограничных проблем, необходимость отказа от абсолютизации интересов безопасности при их решении (*desecuritisation*).

Однако полностью вывести обсуждение пограничных проблем из комплекса вопросов обеспечения безопасности вряд ли возможно. Во-первых, подавляющее большинство вопросов, которые приходится решать на границе, относятся к нетрадиционным аспектам безопасности. Следовательно, ПБ — это, по сути, одна из форм безопасности, пусть и «мягкой» (*soft security*).

Во-вторых, стремление индивида и группы (нации) в определенной степени отгородиться от внешней среды ради реального или эфемерного ощущения защищенности является важной психологической потребностью, а не только представлением, искусственно навязываемым обществу элитами и СМИ.

В-третьих, в чистом виде «securitisation» так же непродуктивна в анализе, как и «desecuritisation». Видеть всю пограничную тематику только лишь через призму обороны и безопасности так же ошибочно, как и считать ее целиком не относящейся к этим сферам. Абсолютизация как первого, так и второго подхода мешает принятию конкретных решений, особенно если они должны вырабатываться быстро и учитывать не только физические и материальные реалии, но и субъективно-психологическую сторону ситуации. Американский исследователь П. Лайотта заметил, что

«нигилистские концепции десекьюритизации постулируют "веру" в то, что... угрозы и вызовы являются немного большим, чем простые социальные конструкции»[4]. Ссылаться на эти постулаты сегодня — знак хорошего тона, хотя они работают не на практике, а лишь в теории.

Включать пограничные проблемы и процесс принятия решений по ним в контекст обеспечения безопасности уместно, хотя это и не является единственно возможным алгоритмом их анализа. Плодотворность того или иного подхода в конкретных ситуациях будет зависеть от многих условий и обстоятельств объективного и субъективного характера.

Содержание ПБ определяется прежде всего ее территориальными рамками и проблемным наполнением. Вызовы связаны в первую очередь с грубыми нарушениями правил пересечения границ, ввоза товаров и других предметов, животных и растений, а также несоблюдением режима пограничной или карантинной зоны. Часто такие нарушения бывают массовыми и влекут за собой серьезные политические, социальные и экономические последствия. В крайних случаях речь может идти о военной агрессии, нелегальной миграции и наиболее опасных видах контрабанды.

В круг вопросов ПБ уместно ввести некоторые острые социальные проблемы: нестабильность и конфликты в пограничных регионах, наличие в них очагов агрессивного сепаратизма или ирредентизма[5]. Есть основания отнести к этой же категории проблемы, создаваемые самим пограничным режимом, — помехи трансграничному сообщению, возникновение условий для коррупции и вымогательства на границах.

За рамки контекста безопасности, вероятно, логично выводить вопросы, лишенные подобной остроты, не связанные напрямую с контролем за соблюдением правового режима границы и пограничной зоны. Такие проблемы в самом деле перегружают повестку ПБ и только размывают ее специфику.

> **Пограничную безопасность** — это приемлемое для правящей элиты и общественного мнения соответствующей страны состояние защищенности пределов ее территории от опасных трансграничных потоков и условий, как правило подразумевающих серьезное нарушение территориальной целостности государства и установленного пограничного режима. Такое состояние достигается путем мероприятий силами, специально ответственными за охрану границы и контроль над трансграничными потоками.

В данном рабочем определении учитывается как субъективность критериев определения уровня достаточности ПБ, так и целесообразность редукции ее повестки дня к узкому кругу наиболее острых проблем, с которыми в основном имеют дело структуры, специализирующиеся на охране границ.

Основные подходы к обеспечению безопасности границ

Как ни странно, проблематика ПБ до недавнего времени редко становилась объектом систематического исследования политических географов и международников. Исключением в какой-то мере можно считать политико-географические исследования в русле «*теории естественных границ*». В ее рамках границы рассматривались как оборонительные рубежи против внешней агрессии. С этой точки зрения ставился вопрос о целесообразности их проведения по крупным естественным препятствиям (горам, пустыням, рекам), а также границам этнического расселения разных групп[6]. Однако после 1945 года в связи с закреплением в международном праве принципов нерушимости и неприкосновенности границ и крушением колониальной системы вопрос о проведении «удобных» рубежей в значительной степени утратил свою актуальность.

В рамках *функционализма* связанные с границами проблемы безопасности рассматривались географами сквозь призму в первую очередь «барьерности», то есть способности границы служить эффективным рубежом против нелегальных и нежелательных трансграничных потоков, или контактности, то есть ее проницаемости для потоков желательных. По мере развития интеграционных процессов в Европе распространение получили «*нигилистические*» взгляды на границы, носители которых считали барьеры ненужными, мешающими нормальному трансграничному сообщению и развитию приграничных районов. Некоторые экономисты, желая выяснить ущерб от границ для трансграничной экономики, пытались рассчитать «эквивалент дистанции» — расстояние, которую трансграничные потоки могли бы преодолеть за время, затрачиваемое на прохождение пограничного контроля.

В *теории международных отношений* (ТМО) и исследованиях в области безопасности проблематике межгосударственных границ до недавнего времени уделялось скромное внимание. Это почти в одинаковой степени характерно для основных позитивистских направлений: реализма, транснационализма и неомарксизма. Различные школы рассматривали границы лишь в качестве проекции характеристик сопредельных государств и отношений между ними[7]. Авторы были убеждены, что в современных условиях рубежи потеряли свое оборонительное значение: они больше не могут быть препятствием для современного оружия[8], потока идей и даже многих форм международного общения[9]. Возможно, сыграло роль и то обстоятельство, что ТМО развивалась долгое время преимущественно усилиями американских ученых, а в США пограничные проблемы долгое время не считались особенно важными.

Окончание биполярной конфронтации серьезно изменило повестку дня исследований ПБ. Острота военной угрозы в глобальном масштабе снизилась. Набрали оборот процессы глобализации, выразившиеся в резкой интенсификации трансграничного сообщения. Скорость и плотность трансграничных потоков стали мерилом процветания экономики, а их снижение создавало, как считалось, угрозу огромных финансовых и других потерь, вело к обострению социальной ситуации в приграничье и к кризису проходящих через границы транспортных сетей. В 1990-е годы представители таможенной службы США заявляли о том, что тщательная проверка каждого грузовика на наркотики за две недели привела бы к образованию 2000-километровой очереди от Мехико до американо-мексиканской границы[10].

Плодами глобализации стали интенсивно пользоваться транснациональные преступные группировки. Их деятельность зачастую гораздо более эффективна, чем усилия противостоящих им национальных и межнациональных правоохранительных структур, скованных многочисленными бюрократическими правилами и во многих случаях недостаточно координирующих свои действия. В большинстве случаев сектора трансграничной преступности децентрализованы: в них оперируют не «спрутообразные» организации, подчиненные одному центру, а кластеры группировок различного калибра, которые могут как сотрудничать, так и конфликтовать друг с другом. Поэтому уничтожение одной, даже крупной, группы не ведет к победе над преступностью во всем секторе. Более того, освободившееся место занимают более конкурентоспособные криминальные структуры.

Вопрос о роли границ оказался в центре внимания политических географов и международников-*постмодернистов*. Они выдвинули тезис о том, что в условиях глобализации границы теряют значение маркеров территориальных пределов легитимности государств и регуляторов трансграничных потоков. Эти симптомы в зарубежной литературе обозначаются терминами «deterritorisation» и «debordernisation», не вполне пригодными для русского словоупотребления.

Радикальные постмодернисты 1990-х годов утверждали, что границы вообще отмирают, уступая место другим, поточным, формам организации пространства[11]. Более умеренные полагали, что речь идет лишь о «перекройке границ». Они допускали, что за периодами падения роли границ должны следовать явления повторного возрастания их роли (*reborderisation*) в результате ужесточения пограничных режимов или, например, проведения границ в новых местах[12].

Слабым местом постмодернистских концепций можно считать их европоцентризм: интеграционные процессы и облегчение пограничного

режима в ЕС принимались за общемировые закономерности. Между тем за пределами Евросоюза происходили обратные процессы, сопровождавшиеся усилением роли национального государства и его границ[13].

В XXI веке приоритеты обеспечения пограничной безопасности изменились. Значение ее военной составляющей для многих благополучных стран уменьшилось, хотя в государствах «третьего мира», особенно участвовавших в пограничных конфликтах, оно по-прежнему велико. При этом границы почти неспособны быть ограничителем информационных потоков (Интернет, спутниковая связь), даже если последние объективно представляют угрозу национальной безопасности.

Важнейшее место в повестке дня ПБ занимают проблемы транснациональной преступности и незаконной миграции. Несмотря на применение более совершенных технических средств пограничного контроля, достижения сил правопорядка остаются скромными. Это объясняется не только возрастающим профессионализмом нарушителей закона, но и интенсивностью проходящих через границы потоков. Ради избежания задержек сообщения пограничники и таможенники вынуждены проверять основную часть (в западных странах — более 90%) людей и грузов менее тщательно, чем это требуется для полноценного контроля. Вероятность задержания наркотиков и других видов контрабанды на границах с интенсивным трансграничным потоком минимальна. Вот почему контрабандисты предпочитают ввозить нелегальные товары, особенно крупные партии, не в обход пунктов пропуска (что увеличивает время и расходы и грозит практически неминуемым арестом при обнаружении), а через них.

С точки зрения пограничной политики остро стоит дилемма между приоритетами обеспечения безопасности и созданием благоприятных условий для трансграничного сообщения. С одной стороны, эффективность контроля и выявления наркотиков, оружия, террористов и жертв торговли людьми можно повысить за счет тщательного и продолжительного досмотра людей и грузов. С другой — подобные меры ведут к снижению доходов от туризма, международной торговли, использования дешевой рабочей силы.

Особую роль играет этический аспект проблемы: среди пересекающих государственные границы людей доля опасных преступников составляет менее 1%, административных нарушителей — считанные проценты. Если пойти на резкое ужесточение пограничного режима, то жертвами таких мер станет большинство ни в чем не повинных путешественников.

Тезис о том, что граница должна быть проницаемой для законопослушных людей и непроницаемой для нарушителей, банален. Он провозглашен пограничными службами разных государств — от России и США до Непала. В конкретных ситуациях все происходит наоборот: от ограниче-

ний страдают законопослушные люди, а убежденные нарушители прекрасно пользуются изъянами систем пограничного и таможенного контроля.

Возможно, это противоречие в перспективе удастся отчасти разрешить за счет использования на границе новейших технических средств. Набор таких средств постоянно пополняется: в настоящее время он включает в себя беспилотные летательные аппараты, системы спутникового наблюдения, инфракрасные и сейсмические датчики, тепловые сенсоры, сканирующие устройства, газоанализаторы. Эти технологии обеспечивают эффективный контроль над трансграничными потоками даже в условиях террористической угрозы и позволяют сохранить высокую пропускную способность границы. На внедрение подобных средств сделана ставка в странах ЕС. Аналогичная тенденция заметна и в США, где после терактов 2001 года для охраны рубежей с соседними странами была разработана концепция «интеллектуальной границы» (*smart border*).

Однако технические устройства не панацея. Американо-мексиканская граница насыщена подобными устройствами с 1970-х годов, но остается одной из самых криминализированных в мире. Во избежание паралича трансграничного сообщения приходится, как и ранее, прибегать к проверке небольшой части потоков на основе или произвольного выбора, или подозрений.

При этом часть контрабандистов использует изощренные приемы сокрытия нелегального груза, что еще больше осложняет задачу правоохранительным органам, даже оснащенным современным оборудованием. Теоретически ситуацию может исправить появление принципиально новых устройств с гораздо большими эффективностью и быстродействием. Но это — дело неблизкого будущего.

Новая проблематика безопасности границ

На фоне интенсификации трансграничных потоков усиление пограничного контроля создает проблему развивающегося по спирали противостояния между контролирующими границу государственными структурами и нарушителями. Такое противостояние начинается с усиления государством мер пограничного и таможенного контроля в ответ на активность наркоторговцев, других контрабандистов и нелегальных мигрантов. Эти меры способны отпугнуть часть потенциальных нарушителей, но другой части удается приспособиться к новым условиям. Преступники даже получают дополнительные стимулы для своей деятельности: государство «освобождает» поле от конкурентов. Кроме того, ввиду повышенного риска возрастает стоимость переброса контрабанды. Прибыль, вырученная от продажи наркотиков (превышающая

1000%), других предметов контрабанды или поставок нелегальной рабочей силы, перекрывает, в глазах нарушителей закона, риск или дополнительные затраты на преодоление пограничного контроля.

Контрабандисты, подобно пограничникам, применяют современные технические достижения — мобильную связь, транспортные средства, приборы ночного видения, размещенные в Интернете видеоснимки местности в режиме реального времени. Однако гораздо большее значение имеют для них выявление и использование уязвимостей в пограничном контроле.

Ставка делается на помощь местных жителей, проведение «экспериментов» по определению слабостей пограничного режима. Особая роль отводится коррупционным связям, которые трудно отследить, ибо от коррумпированного представителя власти в критический момент нередко требуется лишь бездействие или недостаточно активные действия по обнаружению запрещенных грузов. Опыт американо-мексиканской границы показывает, что контрабандистов и нелегальных мигрантов не останавливают технические новшества и трехметровые заборы усложненной конструкции[14]. Нарушители преодолевают препятствия за счет быстроты или скрытности — перелезая заборы, перелетая через них или вырывая под ними тоннели. В более уязвимых местах (вдали от населенных пунктов) часть нелегальных потоков переориентировалась на каналы, проходящие через пункты пропуска.

Противостояние между ответственными за охрану государственными структурами и нарушителями ведет к парадоксальной ситуации, которую отметил американский политолог П. Андреас. В то время как пограничный контроль силен как никогда, его эффективность низка, он выступает скорее «мифом, чем реальностью, политическим конструктом, обеспечивающим видимость контроля». Слабость государства стала еще более очевидной, чем ранее[15].

С 1970-х годов до настоящего времени расходы на пограничную безопасность в Соединенных Штатах увеличились в десятки раз[16]. Однако количественные показатели фиксируемых нарушений остаются примерно на том же самом уровне (1 млн задержаний в год), как в 1950-х годах, когда граница была фактически открытой. Эффективность вложений в пограничный контроль не пропорциональна получаемым результатам.

Сложившаяся ситуация оказывается, тем не менее, на руку силовым структурам. Во-первых, вместе с ростом интенсивности нелегальных трансграничных потоков увеличиваются количественные показатели задержаний, что позволяет пограничникам и таможенникам говорить об успешности своей работы. Во-вторых, у пограничных служб возникают основания претендовать на дополнительные полномочия и

увеличение финансирования. Ситуация нарочито драматизируется чиновниками, политиками и журналистами посредством некорректной интерпретации статистических данных и необоснованных «авторитетных экспертных оценок»[17]. Обеспечение ПБ преподносится как универсальное средство решения любых проблем безопасности, в том числе социальных — таких, как, например, снижение потребления наркотиков (на границе в самом деле задерживается только ничтожная их часть).

Охраняющие границу службы и трансграничные преступники, находясь в конфронтации, оказываются вместе с тем в сложной и двусмысленной взаимозависимости. Нарушители закона извлекают прибыль из закрытости границы, а государственные структуры разрастаются и получают дополнительную помощь в силу роста числа нарушений[18]. Эскалация этой связи идет по спирали, но перелома в пользу правоохранительных органов не происходит.

При этом нелегальные мигранты — например, совершающие не очень тяжелые правонарушения с целью заработать себе на существование, — подвергаются смертельной опасности, пытаясь преодолеть возводимые на их пути преграды. Многие из них гибнут при нелегальном переходе границы от жажды в пустынях, замерзают, тонут в пограничных водоемах, задыхаются от нехватки воздуха в контейнерах-тайниках, становятся жертвами преступных группировок и даже представителей сил правопорядка.

Серьезные проблемы создает и происходящая на некоторых границах (например, американо-мексиканской) милитаризация их охраны, выражающаяся в использовании армейских подразделений, стратегии, тактики и оборудования[19]. Военные чаще, чем пограничники и полицейские, предпочитают разрешать спорные ситуации с участием мелких нарушителей при помощи оружия, что приводит к неоправданным жертвам. Во многом поэтому, в соответствии со стандартами ЕС, пограничная охрана членов Евросоюза и стран-кандидатов должна быть главным образом полицейской, а не военной. Проблема формирования эффективной пограничной политики с учетом этих критериев рассматривается в ряде недавних исследований[20].

В начале 2000-х годов в ответ на угрозу терроризма последовал новый раунд мероприятий по ужесточению пограничного контроля на базе внедрения современных средств наблюдения, идентификации и анализа информации. Укрепление границ стало одним из основных мероприятий по противодействию этой угрозе. К ней прибегли США, Россия и государства ЕС.

Реальная роль террористической опасности в этом контексте не совсем ясна и варьировала в каждом конкретном случае. Поток террорис-

тов через границы в среднем составляет мизерную долю трансграничных потоков. При этом руководители и непосредственные исполнители терактов часто не приезжают из-за границы, а постоянно проживают в странах, которые избираются мишенями террора. Следовательно, ужесточение пограничного контроля в качестве ответной меры противодействия терроризму не во всех случаях бывает оправданным и эффективным. Но и этот аргумент легко оспорить: проникновение в страну даже нескольких пришлых террористов может вызвать непрогнозируемую активизацию действий местных.

Выбор оптимального варианта противодействия терроризму основывается на анализе закрытой информации, что затрудняет адекватную оценку гражданскими экспертами эффективности мер властей. Видимо, по этой причине фундаментальные исследования о влиянии террористической опасности на пограничную политику практически отсутствуют[21].

В последние годы импульс к развитию получила новая субдисциплинарная область — «исследования в сфере средств слежения» (*surveillance studies*). В центре ее внимания находятся сбор и анализ персональной информации[22]. В более широком смысле в рамках этого направления прорабатывается возможность создания «внетерриториальной» или даже «транстерриториальной» системы безопасности. Такая система будет нацелена на установление контроля над всем маршрутом трансграничных потоков, обобщение всей доступной информации о путешественниках и мигрантах.

Другим потенциально продуктивным веянием может стать анализ ПБ с антропологической точки зрения. Речь идет об исследованиях *«телесного поведения»* (*body experience*). В их фокусе находится обезличенный индивид, который на стадии перехода из одного государства в другое должен совершать определенные действия (ритуалы), необходимые для того, чтобы получить разрешение на такой переход. Таким образом, моделируются поведенческие алгоритмы и строятся варианты противодействий тем из них, которые могут представлять опасность.

Не исключено, что потенциальные нарушители сумеют приспособиться к новым условиям ужесточения пограничного контроля, что вытолкнет ситуацию на очередной виток спирали эскалации. Этот порочный круг теоретически может быть разорван в результате снижения экономических и социальных стимулов к пересечению границы. Но мероприятия по управлению такими стимулами не относятся к сфере ПБ, а их осуществление требует точных расчетов на длительную перспективу.

Безопасность и ее восприятие на пограничных территориях

Помимо объективного, рассматриваемая проблема имеет и субъективно-психологическое измерение. Оно отражает как увеличение значения информации, так и защитную реакцию коллективного сознания на негативные последствия ее избытка. Такое измерение проявляется в самых различных аспектах:

- восприятии (зачастую — массовом и иррациональном) границ и ПБ как барьера против вредных влияний «агрессивной чужеродной среды»;
- апелляции к общественному мнению со стороны властных структур в процессе принятия решений;
- поддержании государством имиджа своей эффективности на границах;
- влиянии демонстрации силы на границе на поведение потенциальных нарушителей;
- распространении стереотипов и искаженных восприятий проблем ПБ;
- идентификации потенциально опасных проблем и объектов в процессе охраны границ.

Психологическое измерение проблемы часто недооценивается политологами и политиками-практиками. Еще в конце 1960-х годов норвежский антрополог Ф. Барт и его последователи поставили вопрос о роли различного рода «виртуальных» границ как феномена, присущего коллективному сознанию. Для данного явления характерно стремление отгородиться от «чужих» и почувствовать себя в безопасности, если внешняя среда воспринимается как потенциально агрессивная[23].

В начале 1990-х эта идея была перенесена в географическую лимологию, где она получила развитие в трудах финского географа А. Паасси[24] и ряда других исследователей[25]. Сходным образом оценивают роль границ в ряде конфликтологических исследований последних лет. Их авторы подчеркивают, что при разрешении международных конфликтов с выраженным этнополитическим измерением (например, на Кипре) рискованно пытаться разрушить жесткую границу между конфликтующими общностями, ибо это может быть воспринято сторонами как угроза безопасности. Более разумным вариантом в таких ситуациях бывает дозируемое трансграничное общение[26].

Аналогичные соображения, хотя и в другом контексте, высказывал в своей работе французский политолог Д. Биго. По его мнению, ослаб-

ление роли границ в современном мире может привести к их «компенсации», то есть к становлению более жестких незримых барьеров между различными этническими, расовыми и другими группами. Это осложнит межэтнические отношения[27].

Психологическая потребность отгородиться от «враждебной внешней среды» и хотя бы условно ощутить себя в безопасности способна проявляться в кризисных ситуациях (теракты 11 сентября). Общественное мнение может продиктовать власти решение закрыть границы, даже если реальная эффективность подобного шага неочевидна. Именно таков был политико-психологический мотив решения Вашингтона сразу после упомянутых терактов резко ужесточить режим пересечения... американо-канадской границы. Вряд ли это позволило взять ее под полноценный контроль и уменьшить возможность проникновения через нее нежелательных людей. Но, в сочетании с другими, эти меры позволили отчасти успокоить общественное мнение США.

Не исключено, что и в России не вполне достаточное, с логической точки зрения, основание (крупный теракт) может стать поводом к серьезному изменению пограничной политики под влиянием общественного резонанса. Поскольку чрезвычайные меры в подобных случаях предпринимаются в комплексе, не всегда просто определить, какие из них в действительности могут быть эффективными. Террористы или наркоторговцы могут сосредоточиться на поиске уязвимостей в системе пограничной безопасности или заняться построением альтернативных схем с использованием других каналов проникновения в страну.

Рассматривая субъективный аспект взаимосвязи системы ПБ и нарушителей, следует учитывать, что такая система, даже будучи уязвимой, самим фактом своего существования отпугивает значительную часть потенциальных нарушителей, считающих для себя неприемлемым риск, сопряженный с необходимостью ее преодоления. В более широком контексте речь идет о поддержании «имиджа эффективного государства», которое в глазах законопослушных граждан способно обеспечить их защиту, а в глазах нарушителей закона — прибегнуть к карам и репрессиям[28].

Роль субъективных факторов велика не только для осмысления значимости ПБ как таковой, но и для определения содержания мер по ее обеспечению. Следует внимательно учитывать субъективные предпочтения лиц, принимающих решения (ЛПР), СМИ и общественного мнения.

В первую очередь речь идет о негативных последствиях абсолютизации такого явления, как безопасность, или «секьюритизации» (*securitisation*). В этом случае исследователи придают чрезвычайный характер тем вопросам регулирования положения в пограничных зонах,

которые могут быть решены в рабочем порядке без экстренных мер и выделения дополнительных ресурсов, в частности силовых.

Спорным представляется квалификация нелегальной миграции как вызова пограничной безопасности Российской Федерации. То же относится и к заселению мигрантами приграничных районов. Подавляющее большинство мигрантов въезжают в Россию легально, и ни в одном приграничном регионе России (кроме Астраханской области) доля титульной для сопредельной страны этнической группы в местном населении не превышает 6%.

Искажением можно считать явление «барьеризации» (*bordernisation*) проблем безопасности — стремление местных властей решать все вопросы пограничных территорий, как если бы они имели прямое отношение к потенциалу возникновения внешних угроз для местной ситуации. Это явление типично для восприятия проблем неконтролируемой миграции и наркоторговли в пограничных регионах России.

Подобные негативные тенденции отягощают положение в пограничных районах. Но отечественный и зарубежный опыт свидетельствует, что чрезвычайные меры мало эффективны против них. Эффективность границ как «фильтра» против наркотрафика не только в России, но и в подавляющем большинстве других стран мира ничтожно мала[29].

Субъективный фактор играет заметную роль в определении режима применения мер контроля над трансграничными потоками. Пограничные и таможенные службы интуитивно стремятся выявлять потенциально подозрительных (по внешним признакам и поведению) людей. Со своей стороны, контрабандисты и нарушители пытаются создать о себе благоприятное психологическое впечатление. Для перевоза наркотиков и запрещенных товаров используются люди, относимые к «не вызывающим подозрения» категориям: инвалиды, дети, священники. Разыгрывается своего рода сложная партия. Однако анализ ее неписаных правил заслуживает специального исследования.

В условиях глобализации содержание пограничной безопасности включает в себя важнейшие проблемы безопасности «мягкой»: борьбу с трансграничной преступностью, нелегальной миграцией и терроризмом. При всей важности охраны границ самой по себе на тех рубежах, через которые проходят наиболее интенсивные потоки, практически ни одна из этих проблем не может быть эффективно решена. Системы охраны таких границ, как правило, способны перехватывать лишь небольшую часть нелегальных потоков.

Однако роль ПБ нельзя оценить при помощи формальных количественных критериев. В ней есть много неизмеримых аспектов, связанных с имиджем власти и государства. Демонстрация реальной или мни-

мой способности контролировать свои границы должна успокаивать население — прежде всего ту его часть, которая ощущает исходящую со стороны внешней среды опасность. Вместе с тем необходимо и устрашение потенциальных нарушителей, многие из которых могут воздержаться от противоправных трансграничных операций.

Необходимо очертить круг проблем, с которыми реально и систематически имеют дело структуры, несущие ответственность за ПБ. Это позволит сократить чрезмерно пространный перечень трансграничных вызовов, который содержится в официальных документах и многих научных работах.

Исследователям и практикам стоит более вдумчиво учитывать побочные результаты силовых мер по укреплению ПБ и отдаленные последствия их применения, включая возникновение стереотипов, потенциально разрушительных для общественной стабильности. Наконец, важно выявить альтернативные подходы к регулированию трансграничных потоков и к разработке мер социально-экономического характера, которые способны уменьшить стимулы трансграничных нарушений.

Примечания

[1] *Гришин М. Л., Губченко В. Н., Дмитриев В. А. и др.* Проблемы пограничной политики государства и пути их решения. М.: Изд. группа «БДЦ-пресс», 2001. С. 8.

[2] См., например: *Макарычев А.* Безопасность: Трудности перевода? // Евразийский дом. Информационно-аналитический портал. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.eurasianhome.org/xml/t/expert.xml?lang=ru&nic=expert&pid=768.

[3] Точка зрения о целесообразности употребления понятия «пограничный менеджмент» вместо термина «пограничная безопасность» была, в частности, высказана автору британским исследователем Мартином Праттом в ходе конференции «Border Management in an Insecure World» (Дарем, апрель 2006).

[4] *Liotta P. H.* Through the Looking Glass: Creeping Vulnerabilities and the Reordering of Security // Security Dialogue. 2005. Vol. 36. No 1. P. 69.

[5] *Ирредентизм* (от итал. *irredento* — неосвобожденный, находящийся под чужим владычеством) — политическое и общественное движение за присоединение к национальному государству этнических земель его народа. — *Прим. ред.*

[6] Анализ данных концепций содержится в работе: *Колосов В. А., Мироненко Н. С.* Геополитика и политическая география. М.: Аспект Пресс, 2001. С. 302–313.

[7] *Aron R.* Paix et guerre entre des nations. P.: Calmann-Lévy. 1984. P. 290.

[8] *Herz J.* Rise and Demise of the Territorial State // World Politics. 1957. Vol. 9. No 4. P. 482; *Aron R.* Op. cit. P. 290, 392.

[9] *Keohane R. O., Nye J. S.* Transgovernmental Relations and International Organization // World Politics. 1974. Vol. 27. No 1. P. 56.

[10] См.: *Andreas P. R.* Sovereigns and Smugglers: Enforcing the U.S. — Mexico Border in the Age of Globalization / A Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy. S. l, 1999. P. 148.

[11] См., например: *Lash S., Urry J.* Economies of signs and space. London: Sage, 1994. P. 28.

[12] *Albert M.* On Boundaries, Territory and Postmodernity: An International Relations Perspective // Geopolitics. 1998. Vol. 3. No 1. P. 62.

[13] *Paasi A.* Boundaries as Social Processes: Territoriality in the World of Flows // Geopolitics. 1998. Vol. 3. No 1. P. 69–88.

[14] Роль пограничных стен была исследована в работе: *Donaldson J.* Fencing the Line: Analysis of the Recent Rise in Security Measures along Disputed and Undisputed Boundaries // Global Surveillance and Policing. Borders, Security, Identity / Ed. by E. Zureik and M. B. Salter. Portland: Willan Publishing, 2005. P. 173–193. Автор приходит к выводу о том, что использование заградительных стен (заборов) на границе не создает эффективной преграды для контрабандистов.

[15] *Andreas P. R.* Op. cit. P. 29, 31, 55.

[16] Например, финансирование одного лишь пограничного патруля возросло с 78,1 млн долл. в 1978 году до 1,4 млрд долл. в 2007 году.

[17] В России практически ничем не обоснованные «экспертные оценки» широко используются при попытках определить опасность проблем наркоторговли или нелегальной миграции, а также в рамках концептуального обоснования политики. Критический анализ подобных оценок проделан в ст.: *Голунов С. В.* Наркоторговля — вызов безопасности // Стратегия России. 2007. № 3; *Он же.* Этническая миграция в Российскую Федерацию: Проблема пограничной безопасности? // Свободная мысль. 2007. № 5.

[18] *Andreas P. R.* Op. cit. P. 4–5.

[19] Данной проблеме специально посвящена работа: *Dunn T. J.* Op. cit.

[20] См., например: *Hills A.* Border Security in the Balkans: Europe's Gatekeepers. Oxford; New York: Oxford University Press, 2004.

[21] См.: *Ackleson J.* Directions in border security research // The Social Science Journal. 2003. Vol. 40. Issue 4. P. 579–580; *Stoddard E. R.* U.S. — Mexico Borderlands Studies: Multidisciplinary Perspectives and Concepts. El Paso: The Promontory, 2002. P. 131.

[22] Примером интенсивного развития дисциплины в период после терактов 11 сентября 2001 года стало создание в Великобритании журнала «Surveillance and Society» начавшего выходить с конца 2002 года. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.surveillance-and-society.org/journal.htm. В 2006 году на его основе была учреждена исследовательская группа «Surveillance Studies Network».

[23] См.: *Barth F.* Introduction // Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Culture Difference / Ed. by F. Barth. Boston: Little, Brown and Company, 1969. P. 9–38.

[24] *Paasi A.* Constructing Territories, Boundaries and Regional Identities // Contested Territory. Border Disputes at the Edge of the Former Soviet Empire / Ed. by T. Forsberg. Aldershot: Edward Elgar Publishing Limited, 1995. P. 43.

[25] См., например: *Van Houtum H.* Op. cit. P. 62–65; *Schack M.* Regional Identity in Border Regions: The Difference Borders Make // Journal of Borderlands Studies. 1991. Vol. 16. No 2. P. 100.

[26] *Diez T.* Borders: From Maintaining Order to Subversion // New Frontiers of Europe: Opportunities and Challenges (Новые границы Европы: Возможности и вызовы) / Под ред. И. М. Бусыгиной. М.: МГИМО (У) МИД России, 2003. P. 131–134; *Henrikson A. K.* Facing Across Borders: The Diplomacy of Bon Voisinage // International Political Science Review. 2000. Vol. 21. No 2. P. 128–129; *Hocknell P. R.* Boundaries of Cooperation. Cyprus, de Facto Partition and the Delimitation of Transboundary Resource Management. Hague: Kluwer Law International, 2001. P. 59–63.

[27] *Bigo D.* Security, Borders, and the State // Borders and Border Regions in Europe and North America / Ed. by P. Ganster, A. Swedler, J. Scott, W.-D. Eberwein. San Diego: San Diego University Press, 1997. P. 81–104.

[28] См.: *Donnan H., Wilson T.* Borders: Frontiers of Identity, Nation and State. Oxford; New York: Berg, 1999.

[29] По нашим подсчетам, на границах РФ задерживается лишь около 1% годовой потребности российского героинового рынка. Подробнее см.: *Голунов С. В.* Наркоторговля — вызов безопасности // Стратегия России. 2007. № 3.

Глава 30

Региональные варианты международной интеграции

Проблематику интеграционных процессов нельзя отнести к числу мало изучаемых. Возможно, поэтому наметилась тенденция к беспорядочному употреблению термина «интеграция» по отношению ко всем формам сближения государств, включая те из них, которые правильнее классифицировать как сотрудничество или союз. Авторы большинства публикаций опираются главным образом на европейские материалы, лишь формально регистрируя факт развития интеграционных процессов вне Западной и Центральной Европы.

Между тем политико-экономические проекты интеграционного типа определяют международно-политическую реальность далеко за пределами Европейского Союза. Их ареал сегодня — Северная и Южная Америка, Восточная и Южная Азия, отчасти — даже пространство СНГ. Это реальные и сложные политические, экономические, культурно-идеологические процессы, проблемы, противоречия и результаты. Накоплен и продолжает копиться разнообразный и по-своему богатый материал, осмысление которого в сопоставительном ключе способно существенно обогатить представления о закономерностях интеграции и возможностях построения схем управления интеграционными процессами в разных частях земного шара.

Ключевая цель в этом смысле — понять, стоит или не стоит сводить интеграцию к ее единственному, «евросоюзному» типу, считая все остальное недостойной внимания «самодеятельностью» и «кустарщиной», которая обречена уподобиться интеграции европейского типа или умереть, так и не состоявшись. Альтернативной гипотезой может служить предположение об отсутствии нормативной интеграции как универсального образца для подражания и, напротив, возможности множественных вариантов интеграционных сближений. Согласно этой гипотезе, каждая региональная версия интеграции соответствует конкретным ме-

стным условиям и строго с ними сообразуется — прежде всего в том, что касается форм интеграционного взаимодействия, его этапности, условий, темпов — и даже (последнее по порядку, но не по значению) конечных целей сближения.

Возможно, именно последнее — ключ к обоснованию логики сопоставлений. Полезно ли сопоставлять интеграцию в зарубежной Европе с интеграцией прибрежных стран тихоокеанской Азии, если в первом случае формально ставится вопрос о создании «Европейского надгосударства», а во втором ни о каком надгосударственном объединении речь никогда не заходила, не заходит и вряд ли когда-либо зайдет?

Теоретически непривычно, но эмпирически полезно. Например, потому, что только сравнение интеграционных моделей и, что еще важней, маршрутов и стратегий их поиска позволит Российской Федерации раньше или позднее принять научно проработанное решение по поводу интеграционных явлений в своем ближайшем международном окружении: либо вовсе отказаться от экспериментов и смиренно просить ЕС принять к себе Россию, либо продолжить линию параллельного движения — одновременно к построению системы преференциальных отношений с некоторыми из государств СНГ и к выработке оптимальной формулы сотрудничества с Евросоюзом, которое однажды или перерастет, или так никогда и не перерастет в интеграцию классического европейского типа.

Беглого взгляда на литературу достаточно, чтобы обнаружить ограниченность европоцентристских подходов при анализе интеграционных процессов где-либо вне Европы. С позиций европейских интеграционных теорий «патологией» кажется всякая интеграция вне ЕС, или ей просто отказывают в праве называться интеграцией. Это, может быть, в какой-то мере снимает проблему для европейских авторов, но не для науки в целом и не для политики. Лидеры в Западном полушарии, странах Азии и в самой России упорно и не смущаясь применяют слово «интеграция» для характеристики реальных экономических и политических тенденций, в которых участвуют их страны, не считаясь с мнением ученых-европоцентристов. Надо признать, что и политики стран ЕС, возможно склонные в душе поддерживать «европатриотов», на практике не спешат солидаризироваться с ними. Наоборот, европейские политики стараются выказывать уважение интеграционным процессам в других частях мира. Они не отказывают им в праве называться словом «интеграция» или в шансах найти типологическое родство между европейской и неевропейскими версиями интеграционных тенденций.

Практика опережает теорию. Чем дальше от Европы, тем выше концентрация всевозможных вариаций (с точки зрения «европофи-

лов» — девиаций) интеграционных взаимодействий. Опыт Азии и Америки выпадает из объяснительной канвы теорий евроинтеграции, не опровергая их, но ставя под обоснованные сомнения их претензии на универсальную познавательную ценность.

Все это нисколько не принижает вклад исследователей европейского варианта интеграции. Именно благодаря ему и на его основе возможно выделение главных типологических черт европейской модели, по которым она может быть сравнена с моделями неевропейскими, в частности восточноазиатской, построению типологических особенностей которой она, таким образом, тоже косвенно может содействовать.

Сдвиги в понимании интеграции и современный аналитический дискурс интеграционных исследований

Анализ «классической» литературы позволяет назвать несколько «обязательных» признаков интеграции, которые признаются таковыми большинством авторов, описывающих «евроинтеграцию»[1]. Ожидается, что эти признаки должны так или иначе присутствовать в интеграционных процессах в других частях мира. Как видно, признаков немного и они смущают строгостью:

- наличие наднациональных институтов;
- комплексная природа интеграции: начавшись с экономики, она теоретически должна перелиться в социальную и политическую сферы;
- формирование единого демоса[2] — с общими социокультурными, нормативными, ценностными и политическими ориентациями.

Смущения станет меньше, если задуматься, насколько сам ЕС на деле соответствует заявленным выше критериям. Они были выработаны на европейском материале. Но это не означает, что Европейский Союз в своем нынешнем виде им всецело отвечает.

Стоит начать с самого ключевого параметра интеграционности — «наднациональности». Этот принцип официально провозглашается чуть ли не главной характеристикой ЕС. В Восточной Азии о таком даже не помышляют. Но на деле по этому параметру «зияющего разрыва» между европейской и восточноазиатской моделями нет. Фактически и в Евросоюзе, и, скажем, в формирующемся в АТР Восточноазиатском сообществе (ВАС)[3] механизм принятия ключевых решений работает в режиме элитного картеля[4]. Первую скрипку в нем играют не наднацио-

нальные институты, а исполнительная власть стран-членов[5]. В ЕС — это Европейский совет, а в Восточной Азии — саммиты глав государств и правительств. Сфера компетенции наднациональных органов в Евросоюзе охватывает только самые «технократические» сферы[6] — отношения экономического и научно-технического характера в рамках ЕОУС (до 2002 года), ЕЭС, Евратома. Вопросы реального делегирования суверенитета по-прежнему решаются путем межправительственных согласований.

Государства ЕС неохотно следуют наднациональной процедуре принятия решений. Согласно официальной статистике Комиссии ЕС, несмотря на то что простое и квалифицированное большинство определены базовыми договорами в качестве основных методов голосования, около 80% решений в Совете (старое название — Совет министров ЕС) принимается консенсусом, подчеркивая *фактическое* сходство ЕС и восточноазиатских механизмов интеграции — преобладание в институциональной структуре черт режима элитной, а не выборной политики[7].

Известны и трудности Евросоюза, связанные с распространением интеграции из экономики в сферу социальных отношений и формирования «единого этноса». Бурный рост межэтнических трений в ЕС в последние годы оттеняет относительность и условность выделения интеграции в социальной области как базового и обязательного параметра интеграции. Сделанная несколько десятилетий назад заявка Западной Европы на социальную интеграцию сегодня может выглядеть в лучшем случае как «забегание вперед». В ином случае она предстает воплощением сугубо эмпирической стратегии, в основе которой — не научная теория, а ситуативная констатация — учет всего лишь этнодемографического состава западноевропейских стран в 1960–1970-х годах и преобладавших тогда миграционных тенденций.

С этой точки зрения, нежелание стран Восточной Азии форсировать интеграцию в социальной сфере — не антипод, а скорее подобие европейского подхода. Восточноазиатские страны тоже исходят не из фундаментальных теорий (их нет), а из практики. Отсрочка социальной интеграции в Восточной Азии на неопределенное будущее — такой же сугубо прагматический ответ современным этнодемографическим реалиям региона, каким в Западной Европе середины прошлого века была смелая и не вполне адекватная по критериям сегодняшнего дня попытка создать «интегрированного западноевропейца».

С точки зрения теории анализа ситуаций (*case studies*), ЕС и ВАС (как и другие региональные группировки Восточной Азии) следует при-

знать *«минимально подобными»* системами. Таковыми именуются системы, которые разнятся по большинству параметров, но характеризуются сходством по какому-либо одному признаку, существенному для их функционирования.

Если руководствоваться принципом подобия, появится немало оснований утверждать, что интеграционная модель — опытным путем, без особой заранее созданной теории, родившись в сугубо специфических исторических и культурных условиях послевоенной Западной Европы, начинает утрачивать свою *принципиальную уникальность, хотя сохраняет историко-феноменологическую неповторимость.* Иными словами, нигде, кроме Западно-Центральной Европы, модель интеграции ЕС не кажется достойной попыток ее воспроизвести в чистом виде. Но в разных частях мира по собственной логике возникли и стали развиваться интеграционные тенденции, на оформление и механизмы управления которыми не может не оказывать влияния в той или иной степени конкретно-исторический опыт Евросоюза.

Даже принципиальное отсутствие ориентации на наднациональность в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)[8] и форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)[9] само по себе не дает оснований восприниматься как аргумент против подобия европейских и восточноазиатских интеграционных процессов и тем более против тезиса о вызревании в пространственно отделенных друга от друга частях мира однотипного интеграционного потенциала. Опыт региональных сопоставлений подводит и к другому важному наблюдению. В Латинской Америке, например, региональная версия интеграции в лице МЕРКОСУР[10], подобно своему европейскому аналогу или (в этом случае) даже прототипу, строится в расчете на воплощение элементов наднациональности в будущем[11]. Но и в этом случае конкретная форма интеграционного сближения «вбирает в себя» ровно такую долю наднациональности, которая признается полезной для каждого конкретного момента исторического времени и каждого специфического отрезка интеграционного процесса.

Типологическое подобие во всех трех названных случаях (ЕС, АСЕАН-АТЭС и МЕРКОСУР) определяется *не процедурой принятия интеграционных решений* (она воплощается в наднациональности), *а их характером,* устойчивым стремлением стран-участниц к формированию институциональной основы интеграции, систематической направленностью их действий на нахождение механизмов управления, которые способны наиболее эффективно способствовать преодолению экономических барьеров в конкретных региональных условиях.

Следовательно, для получения аналитически полезных результатов важно сравнивать не только и не столько формы воплощения интеграционных устремлений, сколько сами эти устремления, меру их устойчивости, направленность и результативность. Последняя, конечно, во всех известных вариантах интеграционных сближений неодинакова, *но всюду строго коррелируется с местными условиями* — еще одна типологически общая черта всех интеграционных вариантов.

Именно уникальность ярко выраженной конкретики условий региона Западной Европы, ее «слишком полное» воплощение в нормах, процедурах и институтах ЕС не дают европейской версии интеграции прижиться за пределами европейских стран. Показательно, что предпринимающиеся после 1991 года попытки выйти за пределы этой страновой и региональной конкретики не просто затормозили консолидацию Евросоюза, но, может оказаться, несколько изменили направление развития евроинтеграции. Она в известном смысле стала если не менее европейской, то, по крайней мере, явно менее *западно*европейской — менее классической, если иметь в виду библиографию вопроса.

Анализ процесса европейской интеграции в широком сопоставительном контексте очень полезен еще и потому, что изучение слоя аналитики, относящегося к неевропейским вариантам интеграции, побуждает существенно дополнить список признаков интеграции, описанных выше по классическим версиям рассуждений на базе материалов об истории и современности Европейского Союза.

> Многие авторы причисляют к «достаточным признакам» интеграции явно выраженную ее участниками волю к многостороннему сотрудничеству для решения общих проблем, подтверждаемую регулярностью встреч для решения вопросов, выходящих за рамки обычного международного общения[12].

По признаку устойчивости интеграционных настроений страны ЮВА, например, не уступают европейским, если не превосходят их в каком-то смысле. После Второй мировой войны странам Западной Европы понадобилось около шести лет, чтобы сделать первый крупный шаг к экономической интеграции (создание ЕОУС в 1951 году). Малые и средние страны и территории Восточной Азии потратили на подготовку условий для первых интеграционных шагов (подписание соответствующих соглашений в АСЕАН, создание и развитие АТЭС) около 30 лет — с начала 1960-х до середины 1990-х годов. Срок достаточный, чтобы разочароваться в интеграционной идее, которая тем не менее продолжает медленно воплощаться. И это при том, что, в отличие от ком-

пактного и культурно однородного интеграционного очага Западной Европы, регион даже Юго-Восточной Азии, не говоря о Восточной Азии и АТР в целом, огромен. Он лишен всякой компактности, культурно разнороден и политически разобщен во всем, что не касается довольно устойчивого общего стремления к материальному благополучию без применения силы, которое преобладает в АТР уже более 35 лет — с окончания войны во Вьетнаме в 1973 году[13]. Восточноазиатские страны доказали свою приверженность задаче вывести региональное сотрудничество далеко за рамки традиционного межгосударственного взаимодействия.

Сказанное позволяет уточнить понятия.

«Достаточными» признаками интеграционного процесса в любом регионе мира логично считать не меру реализованности принципа наднациональности, а устойчивую ориентацию участников интеграции на преференциальность отношений друг с другом, приоритетность развития внутригрупповых связей по отношению к внегрупповым, готовность ради этого предоставлять друг другу на взаимной основе особые права, льготы и привилегии.

Такое понимание интеграции не соответствует аналитической классике, как, правда, не соответствует ей и накопленный за последние полвека опыт живых интеграционных процессов за пределами ареала ЕС.

Вместе с тем такое определение интеграции аналитически полезно. Оно позволяет всесторонне проанализировать реальные экономические и политические процессы вне Европы, в частности в Восточной Азии, не «обрезая» фокус аналитического видения рамками европейского опыта, по определению имеющего для понимания азиатских процессов лишь вспомогательный характер.

Профессор Гетеборгского университета (Швеция) Бьёрн Хеттне в одной из своих работ об азиатском регионализме дает довольно подробный перечень «достаточных признаков» интеграции, называя среди таковых:

- высокий уровень сотрудничества в культурной, политической, экономической и в меньшей степени военной областях;
- наличие эффективных институтов принятия решений;
- наличие институтов, занимающихся обеспечением региональной безопасности, необязательно структурно связанных с институтами экономического профиля;
- частичное и выборочное применение наднациональных методов принятия решений — в основном в сфере внешнеторговой политики;

— способность региональной структуры выступать в качестве консолидированного субъекта международного общения, обладающего легитимностью в глазах других участников мировой политики[14].

Судя по словоупотреблению в литературе и политических документах, относящихся к развитию преференциальных групповых отношений в Восточной Азии, многие авторы, как и местные политики, иногда предпочитают избегать, по крайней мере в официальном дискурсе, употребления термина «интеграция». Слово «интеграция» кажется азиатам слишком европейским, дезориентирующим, пугающим ассоциациями с явно неприятным в азиатском историческом и политико-психологическом контексте образом «надгосударства».

В Азии не просто не могут построить наднациональную федерацию. Там ее решительно не хотят. На фоне вековых борений за национальный суверенитет в политике сама идея чего-то подобного глубоко неприятна. В Восточной Азии идея ограничения суверенитета, его делегирования на наднациональную ступень связывается с реанимацией колониализма. Идеал Восточной Азии — не универсальная, а избирательная, не максимальная, а дозированная интеграция в экономике под строгим контролем суверенных национальных правительств. Они готовы понемногу делегировать международным органам некоторые свои экономические полномочия, но никогда, насколько можно пока судить, — политическую власть. Загадочным (для ума гражданина ЕС) образом идея регионального сотрудничества вполне совмещается в мышлении жителей восточноазиатских стран с идеей сильного государства.

Следует констатировать, что это противоречит логике «перелива» интеграции из экономики в социальную сферу и политику или, можно сказать, не соответствует логике «тотальной», «сплошной» интеграции европейского типа. Важно, строго говоря, не это. Восточноазиатские страны, несмотря на сомнения в опыте ЕС, упорствуют в стремлении к взаимному экономическому сближению, применяя для его характеристики слово «регионализм»[15]. При этом оно употребляется в том же значении, что и слово «интеграция» в применении к ЕС. В обоих случаях имеется в виду **преференциальное сближение для достижения общих целей**.

Разнится, конечно, потолок целей развития. Во многом потому, что различным остается политико-институциональный опыт. В европейских странах национальная консолидация завершилась к середине прошлого века, а в азиатских она к тому времени только началась. Неодинаков политико-аффективный опыт. После двух мировых войн Запад-

ная Европа «пресытилась» суверенитетом, осознав его ограниченность и экономическую недостаточность. Азия — все еще на этапе пестования суверенитета. Не совпадают социально-институциональные традиции. В Европе — зрелость политической культуры, политическое сотрудничество общественных групп, формализованные каналы улавливания и формулирования массовых интересов. В Азии — преобладание вертикальных связей, отсутствие дифференциации интересов[16].

На этом фоне показательна приверженность восточноазиатских стран интеграции, значение которой, впрочем, несколько перекодируется в азиатском контексте. В нем экономическая интеграция выступает как инструмент укрепления политической независимости, ускорения хозяйственного и культурного развития, выживания в условиях глобальной конкуренции через построение групповых защитных механизмов, в том числе на базе коллективного протекционизма. Впрочем, эти цели типологически сближают все региональные варианты интеграции, в том числе западноевропейский.

Основные мотивы и исторические обусловленности интеграции в Европе и Азии

Принято считать, что основное направление евроинтеграции — постепенный переход от секторальной интеграции к комплексной, от «негативной» — к «позитивной» и от поверхностной — к углубленной. Такое понимание полностью соответствует модернистским[17] взглядам на варианты построения сообщества, стремящегося к достижению единства, а в идеале — централизации.

Вместе с тем анализ истории ЕС в 1970-х (период «евросклероза») и 2000-х годах (период «конституционного кризиса») позволяет сделать ряд выводов, существенных для типологизации и непосредственного сопоставления интеграционных тенденций в зоне ЕС и регионе Восточной Азии. Представляется, что «кризисы» на отдельных отрезках эволюции ЕС — скорее, «кризисы в умах» наблюдателей, порождаемые периодическими обострениями синдрома завышенных ожиданий.

В европейских интеграционных процессах, по-видимому, периодически проявлялись и, скорее всего, будут проявляться в дальнейшем механизмы саморегулирования, или самонастраивания, свойственные любым открытым системам — Евросоюз складывался и развивается как такая система. Подобный алгоритм свертывания-развертывания сложных социальных и механических явлений, между прочим, предписывается теорией самоорганизации сложных систем — синергетикой.

Другими словами, динамика интеграции, ее скорость и интервалы перехода к новым ступеням *не всецело* определяются политиками. Отчасти это — самостоятельные факторы действия. Их своевременное «включение» в процесс позволяло избежать форсирования интеграционной деятельности, продиктованной сиюминутной политической конъюнктурой, которая характеризуется совпадением интересов наднациональных руководящих органов и неформальных структур Сообщества (Комиссия, агентства, еврократия, лобби транснационального бизнеса). Противовесом им и одновременно объективным инструментом реализации механизма саморегулирования выступала система ограничителей в лице отдельных государств, население или элиты которых в определенный момент оказывались не готовыми взять очередной интеграционный рубеж. С этой точки зрения, «кризисы» предстают не симптомами слабости евроинтеграции, а средством обеспечения ей более медленного, зато и более плавного и при этом все-таки поступательного развития.

Такое прочтение европейского опыта побуждает по-новому взглянуть на то, что у некоторых авторов принято называть отставанием интеграционных процессов, например в АТР. В Восточной Азии, как и в ЕС, процесс сближения идет с «переменной» скоростью.

В Западной Европе преобладает забегание вперед, когда напор интеграционной активности наталкивался на жесткое сопротивление либо национальных государств, либо электоральной публики. Особенно отчетливо описанные компенсационные механизмы «торможения» интеграционного движения проявились во время уже упоминавшихся здесь двух кризисов (по крайней мере, именно такое определение эти эпизоды получили в публицистике и исследовательской литературе). Назовем их «откатами адаптации».

Первый откат — 1970-х годов — был вызван нежеланием государств, прежде всего Франции, торопиться с усилением наднациональных органов. Считалось, что «злоупотребление наднациональностью» могло сузить сферу компетенции правительств национального уровня и, как следствие, ограничить их возможности для усовершенствования «государства всеобщего благосостояния», к принципам которого восходила самолегитимизация правительств стран Западной Европы в послевоенный период.

Второй откат происходит в 2000-х годах. Он порожден трудностями утверждения конституции Евросоюза[18] и сомнениями среди населения входящих в него стран в целесообразности дальнейшего географического расширения союза в ближайшей или, может быть, среднесрочной перспективе.

Интеграционный процесс в восточноазиатском варианте, по контрасту с европейским, характеризуется медлительностью, выжидательностью, осмотрительностью. Там также случались откаты, однако в силу исходно низкой скорости интеграционного движения они не казались кризисами, при том что самый первый откат наступил сразу после создания АСЕАН и длился с 1967 по 1976 год. Он был продиктован страхами, которые наполняли столицы АСЕАН: все были уверены, что в условиях войны США во Вьетнаме американцы обязательно попытаются вмешаться в региональные интеграционные процессы, подмяв их под себя и подчинив их задачам противостояния с коммунизмом. Но в АСЕАН не хотели активно противостоять кому бы то ни было, хотя и не любили коммунизм.

Сравнение европейского и восточноазиатского интеграционных маршрутов провоцирует необычное обобщение: может быть, не в Восточной Азии интеграция «медлит», а в Евросоюзе она страдает от периодических «спазмов забегания вперед»? Зато в Юго-Восточной Азии (ЮВА) интеграционные сближения происходят спокойнее и, главное, в большем соответствии с местной конкретикой — мерой готовности или неготовности местных стран сближаться друг с другом, не ссорясь и не конфликтуя. К такой логике рассуждения не сразу привыкаешь, и она кажется спорной.

Бесспорно другое: скорость интеграции в АТР строго соизмеряется с ритмами восточноазиатской истории *точно так же,* как Евросоюз развивался темпами, которые ему задавал общий ход истории послевоенной Европы. То же самое можно сказать о векторах движения европейских и восточноазиатских интеграционных процессов, а отчасти и о фазах, по которым они, с соответствующими поправками, развиваются.

В Западной Европе интеграционные планы конкурировали друг с другом, например, ЕЭС и ЕАСТ, «план Плевена» и «план Шумана». В восточноазиатском регионе инициативы объединительного характера также налагались одна на другую, взаимно встраиваясь. В основе объединительных тенденций в экономике АТР — «интеграционное ядро» государств АСЕАН. Все остальные проекты и инициативы представляют собой своего рода «оболочки» вокруг этого ядра (отсюда — любимый журналистами образ восточноазиатской «интеграционной матрешки»).

В самом деле, на АСЕАН замкнуты все другие сколько-нибудь важные региональные группы интеграционного типа — АТЭС, механизм региональных совещаний АСЕАН плюс три (страны АСЕАН и представители Китая, Южной Кореи и Японии), и АРФ (Региональный форум АСЕАН по вопросам безопасности). К ним примыкает активно заявля-

ющая о себе, но официально не оформляющаяся пока интеграционная схема Восточноазиатского сообщества (ВАС). Все названные организации институционально базируются на механизмах АСЕАН и официально разделяют ценностные подходы этой организации («ASEAN way»[19]). Фактически в организационном отношении, а также в немалой мере и политически страны АСЕАН сегодня играют в регионе роль, приблизительно сходную с той, которую играло ЕЭС в Западной Европе с середины 1960-х годов.

И европейская, и восточноазиатская интеграции были мотивированы «синдромом страха» — психологической реакцией на отрицательный опыт прошлого. В Западной Европе — это был страх повторения войны (прежде всего — Германии с ее западными соседями). Государства Юго-Восточной Азии тоже боялись, но прежде всего — возвращения диктата внерегиональных «великих держав». В Западной Европе боялись германского реваншизма и коммунистической экспансии. В ЮВА — проникновения китайского и советского коммунизма, военного вмешательства западных держав по образцу сначала французской (1950-е годы), а затем американской (1960-е годы) войн в Индокитае.

Западная Европа хронологически раньше осознала выгоды от преференциальных групповых отношений и встала на путь объединения в начале 1950-х годов[20]. В Юго-Восточной Азии интеграционный импульс возник с шестнадцатилетним отставанием — только после завершения политической деколонизации[21], точкой в которой можно считать уход США из Вьетнама в 1973 году. Боязнь внутренних потрясений (особенно после событий 1965 года в Индонезии) оттенила привлекательность идей региональной стабильности, процветания и порядка[22].

В Западной Европе и в ЮВА функцию «ядра» выполнила узкая группа стран — «шестерка» западноевропейских стран и «пятерка» восточноазиатских. В обоих случаях исходный многосторонний формат «ядра» растворял двустороннее соперничество ведущих стран каждой из групп. В Западной Европе гасился франко-германский антагонизм, в ЮВА — территориальные споры и историческое соперничество Индонезии и Малайзии.

Обе протоинтеграционные группировки должны были так или иначе определиться в отношении глобального биполярного противостояния, которое в принципе было чуждо интеграции. Но выбор ЕЭС и АСЕАН сделали разный: азиатские государства встали на позиции *неприсоединения*, а западноевропейская «шестерка» взяла на вооружение, если так можно выразиться, концепцию *присоединения*, поставив себя на платформу союза с США.

Интеграция в Западной Европе представляла собой *линейный* процесс поглощения «ядром» сопредельных зон исторической периферии европейского культурно-цивилизиционного ареала[23]. В Восточной Азии наблюдается *пульсирующий* алгоритм распространения интеграции.

Сначала, в конце 1960-х годов, возник очаг субрегиональной интеграции АСЕАН. Он консолидировался между серединой 1970-х и серединой 1980-х годов. Со второй половины 1980-х годов стали обсуждаться проекты распространения интеграционных тенденций на северную часть Восточной Азии и даже на неазиатские страны АТР.

Сложилось две группы предложений. Первая строилась вокруг предложенного Малайзией «Восточноазиатского экономического кокоса» — интеграционной группы азиатских стран и территорий без участия «белых стран»: США, Австралии и Новой Зеландии. Вторая группа инициатив предусматривала создание более обширной зоны свободной торговли в масштабах всего Азиатско-Тихоокеанского региона. В такой зоне на роль неформального лидера автоматически претендовали США. Австралия поддерживала такое понимание интеграционных перспектив. Япония непрерывно лавировала: ей было гарантировано место и в проекте «кокоса», но, согласившись на него, она могла невольно противопоставить себя Соединенным Штатам, с которыми была к тому времени связана тысячами совершенно неразрывных экономических уз, закрепленных военно-политическим союзом.

Страны АСЕАН, со своей стороны, не могли позволить себе экономическую ссору с Японией и США, поскольку сильно зависели от них технологически и отчасти финансово. Конфликт с крупнейшими экономическими партнерами был невыгоден, и, желая его избежать и одновременно воспользоваться преимуществами от дальнейшего торгово-экономического и технологического сотрудничества с ними, малые и средние страны региона предпочли дать согласие на вхождение в 1989 году в проект АТЭС, основанный на формуле «широкого регионализма». Компромисс был взаимным. США официально согласились развивать интеграцию в АТР на чисто экономической основе, как того требовали страны АСЕАН. В ответ они нехотя пошли на создание АТЭС в том виде, как это предлагалось Вашингтоном. Это был «цикл расширения» восточноазиатской интеграции.

Но в столицах стран АСЕАН сомнения в жизнеспособности идеи «широкого регионализма» в АТР не улеглись. И после 1989 года укрепление «узкого» (базового) интеграционного «ядра» осталось приоритетом внешней политики малых и средних стран. После распада СССР и начала экономических реформ во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже нача-

лась осторожная работа по привлечению всех этих государств в ряды АСЕАН. Она завершилась в 1999 году с вхождением в эту организацию Камбоджи.

Можно сказать, что период «консолидации» интеграционного «ядра» в регионе занял в общей сложности более 20 лет. Характерно, что «уплотнение» интеграционного «ядра» АСЕАН проходило параллельно процессу «разрыхления» зоны «широкого регионализма» АТР, поскольку создание АТЭС предопределило последовавшее замедление интеграционных тенденций в регионе в целом. Это был тоже своего рода спазм «забегания вперед», похожий и одновременно очень непохожий на те, которые переживает ЕС в ходе волн расширения последних полутора десятилетий.

«Цикл сжатия» не заставил себя ждать — он начался в 1998 году. Страны АСЕАН разуверились в эффективности интеграции в рамках АТЭС. Это был аналог того, что в европейской истории принято называть «кризисами интеграции». Сохранявшийся исходный скептицизм АСЕАН в отношении сближения с неазиатскими странами региона резко возрос после азиатского финансового кризиса 1997–1998 годов. Западные партнеры, с точки зрения стран АСЕАН, вели себя во время кризиса как минимум несолидарно. В умах восточноазиатских лидеров укоренилась идея о неслучайности и направляемости мировых финансовых кризисов, обращенных против экономических конкурентов.

Возник повторный импульс ограничить круг «интеграционного пула», включив в него помимо АСЕАН только Китай, Южную Корею и Японию. Получившийся формат взаимодействия стал называться механизмом консультаций «АСЕАН плюс три» (1997). В 2003 году заработала зона свободной торговли в составе шести наиболее развитых стран АСЕАН. К 2015 году должно возникнуть Экономическое сообщество АСЕАН с участием всех десяти государств-членов. Интеграция стала возвращаться в «сугубо азиатское» русло. Продолжением этой тенденции стал саммит группы «АСЕАН плюс три» в Куала-Лумпуре в декабре 2005 года. На этой встрече было принято решение об учреждении Восточноазиатского сообщества, к участию в котором из неазиатских стран были допущены только Австралия и Новая Зеландия, плотно встроившиеся за минувшие десятилетия в экономические связи с близлежащими странами Азии.

Чередование циклов расширения и сжатия можно описать как соперничество в восточноазиатском регионализме двух тенденций — азиатской и тихоокеанской. Первая представляет идею более медленного, избирательного и ограниченного сближения преимущественно на ази-

атской основе. Вторая — широкой интеграции с теоретически неограниченным участием неазиатских стран. Внешне немного похоже на то, как в Западной Европе 1950–1970-х годов боролись между собой идеи континентальной и евроатлантической интеграции. Есть сходство и в другом. В Восточной Азии, как и в Западной Европе, соответствующие конкурирующие идеи не противостояли друг другу фронтально. Они развивались параллельно, влияя друг на друга.

Но в восточноазиатской интеграции есть как минимум одна черта, резко отличающая ее от европейской. Западноевропейская интеграция — это, прежде всего, сближение стран-лидеров, самых мощных стран региона, которые «тащили» и «тащат» за собой остальных, давая им поблажки, но так или иначе вынуждая подчиняться своей воле. В Восточной Азии дело обстоит противоположным образом. Экономическое сотрудничество в этой части мира двигалось группой средних и малых стран. За истекшие сорок лет ни одна из попыток «растащить» АСЕАН, нарушить ее единство не оказалась успешной. Парадоксальным образом региональные лидеры — Япония и Китай вынуждены не просто прислушиваться к мнению АСЕАН, а принимать его как единственную (по опыту) приемлемую основу для обсуждений с целью выработки действенных решений[24]. Более того, по инициативе АСЕАН и фактически под ее эгидой осуществляется интеграционное строительство во всем восточноазиатском регионе. Именно малые и средние страны региона оказались и источником интеграционных импульсов, и решающим фактором формирования интеграционной политики — насколько таковая вообще существует в регионе.

Географически региональная интеграция наиболее ясно проявляет себя тремя «концентрическими кругами» особых отношений: по узкому — в рамках АСЕАН, по более широкому — по линии отношений АСЕАН с Японией и по внешнему — в отношениях с другими региональными партнерами, в том числе неазиатскими.

Культурно-политический фон европейской и восточноазиатской моделей интеграции

Понятие интеграции так или иначе связано с представлением о гомогенности. Однако характер этой связи в ЕС и ВА не прояснен. Можно предположить, что политическая однородность — одно из ключевых условий успешной интеграции. Но допустима и иная гипотеза: формирование политической однородности — не начальная точка интеграции, а один из ее возможных (необязательно главных) результатов.

Многие авторы отмечают, что интеграция политически подобных стран развивается быстрее и имеет более устойчивый характер, чем сближение стран с разными политическими системами. Это положение в равной мере работает на материале Западной Европы и Восточной Азии. Все, по крайней мере старые, участники европейской интеграции принадлежат к числу демократических стран. Гомогенность присутствует.

Но она налицо и в Восточной Азии. Политические системы интегрирующихся стран этого региона кажутся не менее однородными, чем в странах ЕС, хотя, несомненно, менее демократическими. В момент создания АСЕАН в большинстве стран региона существовал «мягкий авторитаризм» (в терминологии российского политолога Н. А. Симонии — «авторитарный парламентаризм»). К концу 1980-х годов он начал трансформироваться в «нелиберальную демократию»[25]. В рамках этой модели развиваются почти все «старые члены АСЕАН». Некоторые исследователи относят к ней Южную Корею и Тайвань. Не исключено, что к каким-либо версиям режима такого типа имеют шанс «свернуть» КНР и Вьетнам.

Но абсолютизировать принцип гомогенности вряд ли есть основания — и этот тезис тоже применим в равной мере к ЕС и региону Восточной Азии. В Евросоюзе между отдельными странами наблюдались весьма значительные отклонения от усредненной модели. Вариации касались в первую очередь механизмов политического представительства и концепций социального государства. Картина западноевропейских политических режимов довольно мозаична. Во Франции политики старались воплотить социал-демократическую модель общественного устройства в чистом виде. В Великобритании реализовано сочетание американо-французской модели в социально-экономическом плане и мажоритарной — в политическом. В Германии функционировала троичная модель — элементы государства всеобщего благосостояния в социальном аспекте сопрягаются с либерализмом в экономике и консенсусно-агрегативной моделью в политике. Получается, однородность и разнородность сосуществуют и в ЕС, хотя и в неравных пропорциях.

Сходное сосуществование и неравновесность заметны в Восточной Азии. В политическом устройстве современных Китая и Вьетнама, с одной стороны, Малайзии и Индонезии, с другой, существуют серьезные различия. Но фактом остается и то, что все названные страны проявляют большую настойчивость следовать интеграционным курсом, невзирая на политические различия. Экономическая политика большинства стран интеграционного «ядра» региона не одинакова, но однородна. Это политика рыночного регулирования с более или менее

заметной долей государственного контроля. Похоже, что отправной точкой восточноазиатской версии интеграции является не политическое родство, а однотипность экономических политик. В Евросоюзе на сближение работает демократическая идея, в Восточной Азии — экономический прагматизм.

Может ли «философия» такого прагматизма быть основой интеграционной политики? Возможно, в чистом виде ее было бы недостаточно. Но она подкреплена в Азии поддержкой мощных факторов социокультурной специфики (идентичности — в терминологии автора теории коммуникации К. Дойча). Вопрос в том, чтобы правильно ее проанализировать.

В той региональной идентичности, о которой можно говорить сегодня в восточноазиатском регионе, очень отчетливо (до болезненности) различима ее собственно азиатская (а не *восточно*азиатская) макросоставляющая. Именно она остается для самовосприятия государств главной. При этом заложенный в ней заряд эмоциональной привлекательности для местных народов (идея униженности, «обманутости», в чем-то даже реванша) оказывается внешне достаточным, чтобы служить — в той мере, в какой это может быть необходимым и востребованным — «локомотивом» региональной интеграции при ее нынешних темпах и формах развития.

В ЕС фактором консолидации принято считать чувство «принадлежности к Европе». В этом ареале общеевропейская («мы живем в Европе») и региональная («мы — граждане ЕС») идентичности сливаются. Больше того, государства ЕС почти официально стимулируют слияние понятий «Европа» и «Евросоюз», успешно индуцируя такое понимание даже в России — российские политологи, не говоря о журналистах, в самом деле не стыдятся употреблять слово «Европа» в значении «Европейский Союз». В силу слитности обеих этих идентичностей в ЕС бывает сложно определить, которая из них является питательной средой интеграционных идей. Обычно аналитики ограничиваются расплывчатым суждением: «европейское я» работает на интеграцию.

В Восточной Азии структура идентичностей другая, но на интеграцию парадоксальным образом работает и она. Граждане стран АСЕАН, Китая или Южной Кореи, конечно, так или иначе ощущают себя соседями и жителями тихоокеанских стран. Но гораздо мощнее на них воздействует знание о со-принадлежности к Азии. В ЕС — принадлежность к Европе воспринимается как знак культурного и иного превосходства. В Восточной Азии — быть азиатом значит ощущать исторический комплекс обиды, подчиненности и, соответственно, призвание встать вро-

вень с бывшими угнетателями-обидчиками, если не превзойти их. Интеграция в ЕС — сегодня уже не столько гарантия против внутренней войны, сколько обещание роста благосостояния. Интеграция в Восточной Азии — инструмент самовозвышения через экономический успех и возвеличивание духа Азии, в прошлые века поруганного Западом. Европейская интеграционная идея — в известном смысле была средством преодоления национализма. Восточноазиатская — инструмент его формирования в культурной, неагрессивной, экономической форме. Вопрос не в том, какая из версий лучше. Значимо то, что их совокупная политико-психологическая мощь сопоставима.

В процессе западноевропейской интеграции экономические, военные и политические аспекты были сплетены в единый узел проблем. Они подлежали комплексному разрешению, при котором, например, экономическая интеграция выступала средством для достижения политической стабильности и обеспечения всеобъемлющей (в том числе военной) безопасности. За кулисами происходил процесс перманентного согласования политических интересов, единство которых гарантировало бесконфликтное развитие[26]. Адепты европейского единства сознавали, что через уничтожение ростков конфронтации как внутри, так и вовне группировки политическая и экономическая интеграции повлекут за собой повышение уровня защищенности европейцев. Помимо безопасности, архитекторы «единой Европы» стремились «подтянуться» до уровня США, пусть и в коллективном формате.

Восточноазиатские страны, подобно европейским, также воспринимают интеграционный проект как способ обеспечить мир между собой и обрести мощь на международной арене. Современную Восточную Азию отличает высокая степень стабильности, и хотя в регионе соседствуют весьма разные политические режимы, магистральным трендом остается движение к экономической стабилизации и размыванию жесткой авторитарности политических систем, возникших в этой части мира во второй половине прошлого века, как правило, на волне вооруженной борьбы — в той или иной форме — за национальное самоопределение.

Примечания

[1] The European Integration Theory / A. Wiener и T. Diez (eds). Oxford: Oxford University Press, 2005. P. 54–61.

[2] Употребление термина «демос» в данном контексте, в отличие от более распространенного — гражданское общество, определяется вниманием к политическому характеру ценностных ориентаций населения, к вертикальному, идущему по линии «управляющие—управляемые», а не горизонтальному пласту взаимодействий. В межгосударственном ин-

теграционном объединении общества разных стран должны обрести лояльность к одному центру, сформированному помимо или в дополнение к существующим национальным политическим структурам.

[3] Восточноазиатское сообщество должно объединить государства-члены АСЕАН, Австралию, Индию, Китай, Новую Зеландию, Японию и Корею. Учредительный саммит ВАС состоялся 14 декабря 2005 года в Куала-Лумпуре.

[4] Под «элитным картелем» принято понимать механизм принятия решения, в который вовлечены только эксперты, чиновники и государственные деятели при минимальной представленности национального электората, с одной стороны, и наднациональной технократии — с другой. По существу, речь идет о межправительственном подходе.

[5] *Стрежнева М. В.* Европейский Союз и СНГ: Сравнительный анализ институтов. М., 1999. С. 11–19.

[6] *Технократический подход* к интеграционному строительству превалировал на первых этапах эволюции «единой Европы». Тогда считалось, что преодоление национального эгоизма государств возможно через минимизацию влияния политиков на сферы интегрирования и через передачу основных полномочий экспертам (фактически — создание закрытых сетей). Существовала иллюзия о реальности отграничения политических и специальных сфер, интересов государств, сообщества и самой технократии. В соответствии с этой логикой наднациональный метод изначально отводился только сугубо специальным вопросам (использование мирной атомной энергетики, установление единого внешнеторгового тарифа и, в крайнем варианте, изъятие целых отраслей промышленности из-под национального контроля — угледобывающей и сталелитейной).

[7] *Режим элитного управления* (РЭУ) и *режим выборной политики* (РВП) — две разновидности регионального политического режима, понимаемого как некое целостное пространство, характеризующееся общностью ценностных подходов и поведенческих норм, а также элементами координации курсов национальных политик. РЭУ — авторитарный подход к политическому процессу правления, которым заняты профессионально компетентные люди. РВП — подход к политическому процессу с точки зрения плюралистической демократии, в которой ведущими акторами являются политические партии, группы интересов и давления, парламенты, выборные политики. См.: *Стрежнева М. В.* Европейский Союз и СНГ: Сравнительный анализ институтов. М., 1999.

[8] АСЕАН (*the Association of South East Asian Nations*) — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, интеграционная группировка, созданная в 1967 году в Бангкоке. В настоящее время в ее состав входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.

[9] АТЭС (*Asian Pacific Economic Cooperation*) — форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, крупнейшая региональная экономическая организация, образованная в 1989 году в Канберре. В настоящее время в ее составе 21 страна и территория (Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, КНР, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа—Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Южная Корея, Япония).

[10] The Mercosur on its way to supranationality (A comparison with the European Union). [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.onzek.at/stefan/en/law_mercosur.htm.

[11] *Наднациональность* подразумевает, что решения, принимаемые органами региональной группировки (как правило, простым или квалифицированным большинством), являются обязательными для всех ее членов, в том числе тех, кто при голосовании воздержался или высказался против.

[12] *Beeson M.* Regionalism and Globalisation in East Asia. London: Palgrave Macmillan, 2007. P. 218.

[13] В 1973 году были подписаны Парижские соглашения, по результатам которых США вывели свои войска из Вьетнама.

[14] *Hettne B.* Globalisation and the New Regionalism: the Second Great Transformation / B. Hettne, A. Inotai and O. Sunkel (eds). Globalism and the New Regionalism. London: Macmillan, 1999. P. 3–24.

[15] Ibid. P. 218.

[16] *Avery D. H. Poole.* Cooperation in Contention: The Evolution of ASEAN Norms. University of British Columbia YCISS Working Paper. 2007. January. No 44. P. 5.

[17] Ссылка на модернизм в данном контексте призвана подчеркнуть увязку происхождения термина «интеграция» и его европейского прочтения с тем, что в социальной философии принято именовать проектом «модернити». В его рамках мир мыслится как рационально постигаемая реальность, главными законами существования которого являются разумная организация и линейно-поступательный вектор развития через восхождение от простых форм к более сложным.

[18] Договор, учреждающий конституцию для Европы (*The Treaty Establishing a Constitution for Europe*).

[19] Английским выражением «ASEAN way» (методом АСЕАН) в публицистической, а сейчас и в специальной литературе обозначают негласный свод принципов поведения стран-членов Ассоциации во взаимоотношениях друг с другом. В основе концепции «метода АСЕАН» лежат примат консенсусного принятия решений и принцип неформального разрешения споров. Члены АСЕАН сознательно отвергают «легалистский», формализованный стиль функционирования западных многосторонних структур (в том числе ЕС) и отдают предпочтение кулуарной политической культуре, в которой доминируют компактные элитарные группы.

[20] К такому выводу подводят, в частности, факты об активности американской дипломатии в процессе создания Брюссельского пакта (1948), позднее трансформировавшегося в Западноевропейских союз. (Ныне он — материальная основа Общей внешней политики и политики в области безопасности.) Похожую деятельность американская дипломатия развернула и при создании НАТО в 1949 году. Другим аргументом в пользу этого вывода служит изначальная позиция Великобритании, проводившей интересы США в Европе. В 1940-х годах Великобритания призывала к созданию Соединенных Штатов Европы (правда, без самой Великобритании), которые должны были служить инструментом сдерживания распространения коммунистического влияния.

[21] Бруней окончательно обрел независимость лишь в 1984 году.

[22] *Beeson M.* Regionalism and Globalisation... P. 217.

[23] Не случайно, наверное, некоторые исследователи предлагают первым действительным расширением ЕС называть эвентуальное присоединение Турции. Ведь все остальные волны расширения представляли собой не что иное, как материализацию географического измерения идеи европейского единства.

[24] Причины приобретения АСЕАН статуса наиболее влиятельной региональной дипломатической площадки не являются предметом рассмотрения в настоящей главе. См.: *Малетин Н. П.* АСЕАН: Три десятилетия внешней политики (1969–1997 гг.) М., 1999. Ч. II; АСЕАН в системе международных политических отношений. М.: Наука, 1993.

[25] Авторство термина «нелиберальная демократия» и его разработка обычно приписываются Фариду Закарии, опубликовавшему в 2003 году монографию под таким названием. Однако почти за десять лет до этого вышла другая работа, посвященная той же тематике: *Bell D., Brown D., Jayasuriya K., Jones D. M.* Towards Illiberal Democracy in Pacific Asia. New York, 1993.

[26] *McCormic, J.* The European Union: Politics and Policies . Colorado: Westview, 1999. P. 45.

Рекомендуемая литература

Алчинов В. М. Политические проблемы международных экономических отношений. М.: Восток—Запад, 2009.

Баталов Э. Я. Мировое развитие и мировой порядок. М.: РОССПЭН, 2005.

Баталов Э. Я. О философии международных отношений. М.: НОФМО, 2005.

Баталов Э. Я. Человек, мир, политика. М.: НОФМО, 2008.

Богатуров А. Д. Великие державы на Тихом океане. История и теория международных отношений в Восточной Азии. 1945–1995. М.: Сюита, 1997.

Богатуров А. Д., Аверков В. В. История международных отношений. 1945–2008 гг. М.: МГИМО-Университет, 2009.

Богатуров А. Д., Косолапов Н. А., Хрусталев М. А. Очерки теории и методологии политического анализа международных отношений. М.: НОФМО, 2002.

Боришполец К. П. Национальное измерение глобального мира. М.: Навона, 2009.

Виноградов А. В. Китайская модель модернизации. Поиски новой идентичности. 2-е изд., испр. и доп. М.: НОФМО, 2008.

Внешняя политика и безопасность современной России 1991–2002: Хрестоматия: В 4 т. Исследования / Под ред. Т. А. Шаклеиной. М.: РОССПЭН, 2002.

Войтоловский Ф. Г. Единство и разобщенность Запада: идеологическое отражение в сознании элит США и Западной Европы трансформаций политического миропорядка в 1940–2000-е годы. М.: ИМЭМО РАН; Крафт +, 2007.

Воскресенский А. Д. Российско-китайское стратегическое взаимодействие и мировая политика. М.: Восток—Запад, 2004.

Дипломатия ресурсов. Сырьевые ресурсы и система международных отношений двадцатого века / Отв. ред. А. В. Торкунов; Пер. с итал. М.: Навона, 2008.

Звягельская И. Д. Специфика этнополитических конфликтов и подходы к их урегулированию. М.: Навона, 2008.

Кулагин В. М. Международная безопасность. М.: Аспект Пресс, 2007.

Лебедева М. М. Мировая политика: Учебник. 2-е изд., доп. и испр. М.: Аспект Пресс, 2007.

«Левый поворот» в Латинской Америке / Отв. ред. В. П. Сударев. М.: Изд-во ИЛА РАН, 2007.

Лидерство и конкуренция в мировой политической системе: Россия и США / Под ред. А. Д. Богатурова, Т. А. Шаклеиной. М.: КРАСАНД, 2009.

Мировая политика и международные отношения / Под ред. С. А. Ланцова, В. А. Ачкасова. СПб.: Питер, 2008.

Мировая политика: Теория, методология, прикладной анализ / Отв. ред. А. А. Кокошин, А. Д. Богатуров, М.: КРАСАНД, 2004.

Основы общей теории международных отношений: Учеб. пособие / Под ред. А. С. Маныкина. М.: Изд-во МГУ, 2009.

Российская политическая наука: В 5 т. Т. 1: XIX — начало XX века. Т. 2: 1920–1950-е годы. Т. 3: 1960–1985-е годы. Т. 4: 1985–1995 годы. Т. 5: 1995–2006 годы. М.: РОССПЭН, 2008.

Россия в современной системе обеспечения глобальной стабильности: Политика и восприятие / Под ред. А. А. Кокошина. М.: УРСС, 2008.

Россия в формировании международной системы профилактики распространения оружия массового поражения / Под ред. А. Д. Богатурова и А. А. Кокошина. М.: УРСС, 2008.

Салмин А. Современная демократия: Очерки становления и развития. М.: Форум, 2009.

Системная история международных отношений: В 4 т. 1918–2003. События и документы / Под ред. А. Д. Богатурова. Т. I–II. М.: Московский рабочий, 2000. Том III–IV. М.: НОФМО, 2003–2004.

Современные международные отношения и мировая политика / Под ред. А. В. Торкунова. М.: Просвещение, 2004.

Троицкий М. А. Трансатлантический союз 1991–2004. Модернизация системы американо-европейского партнерства после распада биполярности. М.: НОФМО — Институт США и Канады РАН, 2004.

Фененко А. В. Теория и практика контрраспространения во внешнеполитической стратегии США / Отв. ред. А. Д. Богатуров, В. А. Веселов. М.: Изд-во ЛКИ, 2007.

Хрусталев М. А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. Очерки теории и методологии. М.: НОФМО, 2008.

Цыганков А. П., Цыганков П. А. Социология международных отношений. М.: Аспект Пресс, 2008.

Чешков М. А. Глобалистика как научное знание. Очерки теории и категориального аппарата. М.: НОФМО, 2005.

Шаклеина Т. А. Россия и США в новом мировом порядке. Дискуссии в политико-академических сообществах России и США (1991–2002). М.: Институт США и Канады РАН, 2002.

Экономика и политика в современных международных конфликтах / Под ред. А. Д. Богатурова. М.: УРСС, 2008.

Этциони А. От империи к сообществу: Новый подход к международным отношениям. М.: Ладомир, 2004.

Ядерное распространение: Новые технологии, вооружения и договоры / Под ред. А. Арбатова и В. Дворкина. М.: РОССПЭН, 2009.

Сведения об авторах

Байков Андрей Анатольевич — кандидат политических наук, заместитель главного редактора журнала «Международные процессы», преподаватель МГИМО (У) МИД России

Балуев Дмитрий Геннадьевич — доктор политических наук, профессор Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского

Баталов Эдуард Яковлевич — доктор политических наук, профессор, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН

Боровский Юрий Викторович — кандидат исторических наук, доцент МГИМО (У) МИД России

Булатов Александр Сергеевич — доктор экономических наук, профессор, заведующий Кафедрой мировой экономики МГИМО (У) МИД России, главный редактор журнала «Мировое и национальное хозяйство»

Богатуров Алексей Демосфенович — доктор политических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, проректор МГИМО (У) МИД России, заместитель директора Института проблем международной безопасности РАН, главный редактор журнала «Международные процессы»

Виноградов Андрей Владимирович — доктор политических наук, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН

Воскресенский Алексей Дмитриевич — доктор политических наук, доктор философии (Ph. D.), профессор, декан Факультета политологии МГИМО (У) МИД России

Голунов Сергей Валерьевич — доктор политических наук, директор Центра региональных и трансграничных исследований Волгоградского государственного университета

Данилин Иван Владимирович — кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН

Крутских Андрей Владимирович — доктор исторических наук, профессор МГИМО (У) МИД России

Кулагин Владимир Михайлович — кандидат исторических наук, профессор МГИМО (У) МИД России

Мамонов Михаил Викторович — преподаватель Факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова

Наумкин Виталий Вячеславович — доктор исторических наук, профессор, директор Института востоковедения РАН

Писарев Владимир Денисович — доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН

Стрежнева Марина Вадимовна — доктор политических наук, доктор философии (Ph. D.), профессор МГИМО (У) МИД России, заведующая Сектором институциональных проблем международных отношений Института мировой экономики и международных отношений РАН

Фененко Алексей Валерьевич — кандидат исторических наук, доцент Факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института проблем международной безопасности РАН, ответственный секретарь журнала «Международные процессы»

Хесин Ефим Самуилович — доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, профессор Государственного университета — Высшая школа экономики

Хрусталев Марк Арсеньевич — доктор политических наук, профессор МГИМО (У) МИД России

Цыганков Андрей Павлович — кандидат философских наук, доктор философии (Ph. D.), доцент Университета Сан-Франциско (США)

Цыганков Павел Афанасьевич — доктор философских наук, профессор

Шаклеина Татьяна Алексеевна — доктор политических наук, заведующая Кафедрой прикладного анализа международных проблем МГИМО (У) МИД России

Учебное издание

СОВРЕМЕННАЯ МИРОВАЯ ПОЛИТИКА
Прикладной анализ

Ведущий редактор *Л. Н. Шипова*
Корректоры *А. А. Баринова, Т. Я. Шальнева*
Художник *Д. А. Сенчагов*
Компьютерная верстка *С. А. Артемьевой*

Подписано к печати 25.01.2010. Формат 60×90 1/16.
Усл.-печ. л. 37,0. Тираж 2000 экз. Заказ №1719

ЗАО Издательство «Аспект Пресс»
111141 Москва, Зеленый проспект, д. 8.
e-mail: info@aspectpress.ru www.aspectpress.ru
Тел. (495)306-78-01, 306-83-71

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200, Можайск, ул. Мира, 93.